

ГОЛОСА СИБИРИ

Выпуск первый



Кемерово
Кузбассвузиздат
2005

ББК
Г

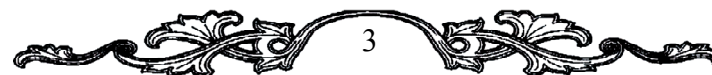
Издание подготовлено при участии:
*Омского отделения Союза российских писателей,
Омского литературно-мемориального музея им.
Ф. М. Достоевского,
Новокузнецкого литературно-мемориального музея
им. Ф. М. Достоевского,
Кемеровского областного отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры*

Редакционная коллегия:
*Александр Лейфер, Виктор Вайнерман,
Мэри Кушникова, Виктория Кинг, Вячеслав Тоголев*

Г Голоса Сибири. Литературно-художественный
альманах. — Вып. первый. - Кемерово:
Кузбассвуиздат, 2005. - 640с.

Первый выпуск литературно-художественного альманаха
приурочен к 185-летию Ф. М. Достоевского.

ISBN © Коллектив авторов. 2004
 © Брагин А.В. - компьютерная верстка. 2004
 © Издательство «Кузбассвуиздат. 2005

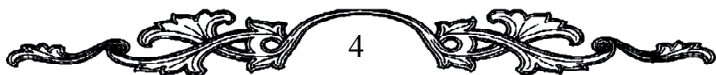


Слово к читателю

аш новый литературный проект, объединивший авторов из Омска, Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка (а география написанного ими охватывает, помимо перечисленных, также города Иркутск, Красноярск, Барнаул и многие другие) — отнюдь не дань моде. Сегодня мы часто слышим о необходимости объединения литераторов, «всех со всеми», по признаку обладания писательским билетом. Именно о таких ревнителях «слияний в экстазе» писал ныне покойный омский литератор *Вильям Озолин*: «Да и в целом-то, объединяется серость, бездари, талантливому художнику и ранее, и нынче чуждо объединяться в партийные кучки...» (подробнее см. ниже эссе *Ксении Тилло* «О свинцовых временах и человеке среди людей»).

Составителей настоящего сборника менее всего интересовала «организационная» принадлежность авторов, их отношение к довольно частым в сибирской писательской среде временным союзам и расколам — почти половина их вообще не имеет писательских билетов. Хотя нельзя не согласиться, что сама история литобъединений не лишена интереса, о чем можем судить по открывающему наш сборник эссе *Александра Лейфера* «Личный архив или отпуск на Канарских островах» — в нем мы находим «срез времен», своеобразную хронику многодесятилетнего содружества сибирских писателей.

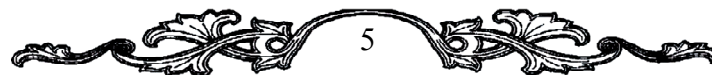
Отраженная в известных публикациях *А. Лейфера* «национальная» тема, очень «болюче» переживаемая в писательских отделениях Сибири, ориентирующихся на журнал «Наш Современник», находит продолжение в статье *Марии Фаликовой* «О маленьком принце и кодексе порядочного человека». «Его сверстники заклеили словом жид. Они отторгли его, показав, что он «другой», отличный от



них. И эту рану, давно как бы зажившую, он пронесет через всю жизнь». Это – о главном герое статьи, который тоже – среди авторов альманаха: литератор *Виктор Вайнерман*, директор омского литературно-мемориального музея имени Ф. М. Достоевского, выступает на наших страницах с двумя биографическими эссе «Портрет неизвестного, или очерк о *Николае Васильевиче Феокисто*» и «Двое из шеренги бессмертных».

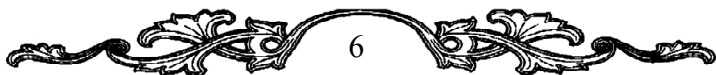
Раздел «Изящная словесность», помимо написанных безупречным слогом произведений достаточно хорошо знакомой не только пользователям Интернета *Алисы Поникировской* (Сергеевой Аллы Борисовны), содержит также главы из будущей книги американской русскоязычной писательницы *Виктории Кинг* «Отшельница». Автор известен сибирякам по роману «Виктуар», написанному, как сказано в одном из откликов, отчасти в форме «воспоминаний девочки, впитавшей обычаи уральского села, в некотором роде кержацкого, а также бытовые и культурные традиции старозаветной татарской семьи». *Виктория Кинг*, если судить по ее роману, сохранила глубокую память о своей первородине.

Переводная литература представлена книгой *Шимона Токаржевского* «Семь лет каторги», опубликованной в Варшаве еще в 1907г., в ней повествуется о событиях в Польше 1848 года и о их печальных последствиях, дается убедительное объяснение давнишних счетов поляков к «державным» замашкам бывлой имперской России. В том же разделе альманаха - рассказ *Бернарда Маламуда* «Еврейская птица». Существуют и другие переводы этого рассказа, но в изложении *Владимира Каганова* текст получился, на наш взгляд, из наиболее удачных: может, оттого, что автор – поэт, и проза его, даже переводческая, этой поэзией проникнута (в разделе «Изящная словесность» см. два цикла его сонетов о великих философах).



Альманах приурочен к 185-летию Ф. М. Достоевского. Кстати, упомянутый выше *Шимон Токаржевский* отбывал вместе с Ф. М. каторгу в Омске и в следующем номере читатель найдет продолжение перевода его книги, где описано пребывание ссыльного поляка в Сибири. Сегодня в числе наших авторов также сотрудники двух музеев имени великого писателя. *Юлия Зародова* в очерке «Первый в Сибири, единственный в мире» рассказывает об истории создания омского музея Достоевского, а *Екатерина Алешина* – об особенностях экспозиции музея Достоевского в Новокузнецке. Как известно, в 1857 году писатель венчается с М. Д. Исаевой именно в Кузнецке, победив в драматичной психологической схватке соперника, учителя Николая Вергунова (подробнее см. в том же разделе главы из новой книги «Кузнецкий венец Федора Достоевского»). В образной экспозиции Дома-музея можно, например, увидеть «треугольную» кровать и две восковых фигуры М. Д. Исаевой. Казалось бы, странно? Но все находит объяснение: в создавшемся любовном треугольнике «две» Исаевы символизируют как бы «раздвоение»: до конца дней своей недолгой жизни М. Д. Исаева тянется к Вергунову, пребывая, тем не менее, в несчастливейшем браке с Достоевским. Экспозиция «проблемна» во многих отношениях, и вызывает самые разные толкования, но тем и хороша. Трактовка Екатерины Алешиной – одна из многих.

Под рубрикой «Архив» - очерк новосибирского профессора *Сергея Папкова* (с соавторами) о судьбе сибирского общественного деятеля и одновременно литератора *Дмитрия Тизенгаузена*. До революции он занимал ряд вице-губернаторских должностей, но не чужд был и писательскому ремеслу. В 1937 году расстрелян за видный чин, «не то» происхождение и за сочинение «контрреволюционной литературы», которой горстка новосибирской интеллигенции восхищалась на своих «субботних вечерах». Рукописи *Тизенгаузена* были изъяты и до сих пор хранятся в малодоступном месте, хотя есть надежды с



ними ознакомиться.

«Архивную» тему продолжает эссе *Лавинии Мятлевой*. Она поведаст об удивительном портрете княгини Волконской, матери декабриста Сергея Волконского. Более двухсот лет портрет путешествовал «по рукам», прежде чем попал в иркутский музей декабристов, в экспозиции коего находится сегодня на почетном месте.

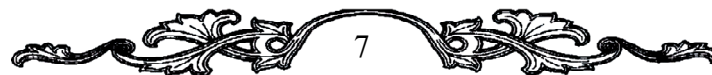
И, наконец, один из самых актуальных материалов номера – очерк *Бориса Гросбейна* «Последователи Льва Толстого в Сибири», из которого узнаем, что в наших краях в 1920-1930-е годы непродолжительное время существовали коммуны толстовцев. Пропаганда непротivления злу насилием в условиях сталинского террора не могла не привести к разгону коммун с последующими репрессиями. *Гросбейн* справедливо считает, что ныне идеи Толстого возрождаются на сибирской земле, и это особенно важно в пору непрекращающейся чеченской бойни.

Идеалам добра посвящена рубрика «О малых сих», представленная поэтическими миниатюрами (проза) и пестрыми житейскими сюжетами *Александра Дегтярева*, *Сергея Дрыгина* и *Татьяны Багровой*. На наш взгляд, многие беды сегодняшних дней исходят от людей, которые «не слышат, как растет трава», и ни разу не удостоили своей ласки ни одной божьей твари.

Мы живем в жестоком мире. Человек не рождается жестоким. Жестокость, как болезнь, прививается, ею заражаются от соседа, от героя триллера, от дурного чтива.

Наш альманах – тоже чтиво. Его цель – объединение творческих и сомыслящих людей, готовых поделиться с читателем своими самыми сокровенными мыслями, чаяниями и убеждениями.

Декабрь 2004 г.



Александр Лейфер

ЛИЧНЫЙ ФОНД,

или

Отпуск на Канарских островах



Мы всё играем. В ток-шоу бесчисленные, в столь же бесчисленные рейтинги, в анкеты...

Вот и мне предложили недавно поиграть, то бишь принять участие в одной коллективной книге. Ее составители разработали для всех авторов (как бы «для разгона») некую анкету - с полушутливыми, а порой и с весьма серьезными вопросами. В предполагаемую книгу - должно быть, красивую и толстую, а главное - вроде бы подводящую некие эпохальные итоги, - скрывать не стану - попасть охота. Поэтому попытаюсь поиграть и я. Попробую ответить, если не на все, то хотя бы на часть предложенных «Вопросов для обсуждения». Скорее - даже не ответить, а хотя бы «потоптаться» возле некоторых из них.

Ведь, с другой-то стороны, данный вопросник, данные правила игры, где нет строгого условия «шаг вправо, шаг влево - считается побег от ответа», - это ведь не что иное, как редкая возможность высказаться. Причем на любую практически тему. А то случайное обстоятельство, что возможность такая предоставлена именно в начале XXI века, воспринимаю именно как случайность, не более. И как ни силось выдавить из себя священный трепет от величия момента, от уникальности и магии цифры, от того, что стою, дескать, на «рубеже тысячелетий» и т. д. и т. п., - не могу: дожил, ну и ладно.

В личном плане гораздо важнее другое: теперь не худо бы попытаться дотянуть до отцовского рубежа (он умер на 85-м году жизни). А что? По отцовской линии в моей родне немало таких долгожителей - в общероссийском, не в кавказском,

конечно, понимании. Может, и у меня получится... Пока же надо пережить хотя бы маму. Она умерла рано - в шестьдесят шесть. Да три без малого года перед этим проболела, бедная, ничего почти не осознавая. Её редкая, даже не включённая в медицинскую энциклопедию болезнь, вызывала у врачей особое внимание. В том смысле, что не раз я видел, какой алчный профессиональный интерес разгорается в их глазах, когда они берут в руки материны рентгеновские снимки или читают результаты анализов, когда в который раз осматривают её саму - вялую, ко всему безразличную, редко (да и то чаще всего невпопад) отвечающую на их вопросы. И каждый раз хотелось вытолкать внахлёст этих естествоиспытателей, но, понятное дело, приходилось сдерживаться - вины их в том, что происходило с мамой, не было никакой. Судьба.

Бабушка по материнской линии - Глафира Алексеевна Болотова, слава тебе Господи, как и её единственный зять, мой отец, прожила тоже долго - до 87-ми лет и умерла, можно сказать, на моих руках. Сколько бы смог прожить её супруг - мой дед Василий Васильевич, неизвестно, он через несколько месяцев после моего появления на свет умер смертью неестественной - утонул, провалившись под лёд затона. Там, где сейчас шумит и веселится в Омске зона отдыха — Зелёный остров. Так что, есть ли, выражаясь несколько выспренне, традиции долгожительства в нашей семье по её материнской ветви, сказать трудно. Вглубь почти ничего не просматривается, «направо» и «налево» тоже - близких родных у нас с маминой стороны нет, единственная её сестра Тоня ещё девочкой умерла от скарлатины. Случилось это, кажется, вскоре после начала Первой мировой: дед похоронил дочку и вскоре был угнан «воевать германца».

...Как-то в руки мне подвернулась старая записная книжка, которую вёл ещё подростком. «Вёл», конечно, громко сказано. Расписание уроков, адреса одноклассников (будто я их и так

не знал, эти адреса), какие-то алгебраические задачи (которые, кстати сказать, сейчас и под пистолетом не решу), другая чепуха... Но внимание привлекло, что несколько раз в книжке этой значатся записанные моим, ещё не установившимся как следует, почерком разные даты. Например, 25 марта 1957 года. Или - 17 октября того же года. Или 5 января 1958-го. И я вспомнил - да, была у меня в те времена такая - как это назвать? - привычка, потребность: просто взять и записать ту или иную дату. Шевелилась, видимо, во мне некая неосознанная ещё мальчишеская оторопь перед неостановимостью времени, вздрагивала душонка, и хотелось хоть так, - записав число, месяц и год, зафиксировать, как бы остановить его, этого времени, неумолимое течение. Что-то ведь трепыхалось у меня тогда под причёской, не только рыбка, голуби, Майн Рид и круглые коленки соседской девочки Розы были на уме.

О том же, что я доживу до XXI века, в те времена (да и много позже) тоже, конечно, думалось, наверняка думалось. Но приблизительно в том же разрезе, как сегодня, например, об отпуске на Канарских островах: теоретически, разумеется, возможно, но...

Впрочем, начнём, помолясь. И по старой студенческой привычке начнём с вопроса самого лёгкого - про характерный для нашего времени анекдот.

Предупреждаю - анекдот будет из тех, что «с картинками». Но кого сейчас какой картинкой шокируешь? Читатель у нас в этом смысле закалённый, например, наш, омский. Его ещё в 1992 году, сразу же после крушения коммунистической власти с её цензурой, по сравнению с которой цензура при распроклятом царизме была детским садиком, попыталось попробовать на излом Омское издательство, выпустив стотысячным тиражом (как ещё недавно речи Леонида Ильича) главное сочинение Эдички Лимонова. Ничего с ним, с читателем, не случилось: поудивлялся, поморщился, поворчал немного, но в конце концов это «мерзопакостное»,

как говаривал Райкин, произведение проглотил - все сто тысяч экземпляров были раскуплены, под макулатурный нож их пускать не пришлось, что, как правило, случалось с изданиями тех же речей того же Л.И.

У меня законы жанра требуют одно только словечко употребить из ненормативной, как это сегодня принято называть, лексики, частично заменяю его точками. Если же бы вдруг тогда, в 1992 году, упомянутое выше издательство проставило бы вместо аналогичных слов в упомянутом шедевре господина Лимонова точки, то получилось бы, как в песне: в каждой строчке только точки. Так много слов перекочевало в эту книгу прямо с заборов и стен общественных туалетов.

Итак, в одном российском городе жил старый, больной, но мудрый раввин. И вся округа ходила к нему советоваться, причём не столько по религиозным, сколько по разнообразным житейским вопросам. Однажды пришёл скромно одетый, но солидный мужчина и осторожно завёл речь о деньгах.

- Господин ребе, - начал он, - все говорят, что якобы будет денежная реформа. Предположим, у меня есть кое-что. Что делать? Одни советуют не волноваться - мол, откроют обменные пункты, где всё обменяют один к одному. Другие рекомендуют приобретать доллары. А третьи пугают, что доллар после реформы ходить перестанет, и учат накопить на всё золота и камешков. Как быть, господин ребе?

Раввин, который, как уже отмечалось, был старым и больным, долго откашливался и боролся с одышкой. И уже начал было говорить, как дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетела молодая и, естественно, хорошенькая девушка и прямо с порога затрещала, как пулемёт:

- Господин ребе, господин ребе! Меня - без очереди, я сегодня выхожу замуж, мне очень некогда, у меня ещё платье недошито...

Увидев, что ей никто не возражает, девушка затараторила дальше:

- Господин ребе, сегодня после свадьбы я должна буду лечь с мужем в постель. Как ложиться - в рубашке или без рубашки? Одни мои подружки говорят: обязательно ложись в рубашке, иначе он подумает, что ты бесстыжая. А другие советуют: рубашку обязательно сними, а то он подумает, что ты недостаточно сильно его любишь. Как же мне быть?

На этот раз раввин кашлял ещё дольше.

- Девочка моя, - заговорил он, наконец отдышавшись, - в рубашке ты ляжешь, без рубашки ты ляжешь, - все равно тебя вые..т. - И добавил, обращаясь уже к мужчине:

- Кстати, молодой человек, это и Вас касается.

* * *

Вот ещё два печальных анекдота на ту же тему, но уже из собственной практики.

Когда тридцать пять лет назад родился мой старший сын, его дед - мой отец завёл на него сберкнижку, положив туда тысячу рублей на 18-летний срок. Сын снял вклад даже позже - когда отслужил в армии: на довольно-таки возросшую сумму он оделся с ног до головы. Второй мой сын младше брата на девять лет, но за эти девять лет случилось то, что случилось. А после появления на свет второго внука дедом была проведена та же нехитрая финансовая операция: был сделан срочный вклад на ту же сумму и с таким же условием - до совершеннолетия.

Вот она, эта вторая сберкнижка. В результате общеизвестных манипуляций государства с вкладами своих граждан на ней значится 38 рублей и 47 копеек. Вполне можно купить носки или носовой платок.

Другой анекдот произошёл уже со мной и не так давно - накануне 55-летия Победы. Тогда во всех газетах с благородно сдерживаемой гордостью было объявлено, что частично гасятся старые вклады Сбербанка, что касается это вкладчиков

не моложе 1924 года рождения. А также их наследников. На правах последнего я и отправился в соответствующее отделение СБ, положив в карман потрёпанную сберкнижку умершего пять лет назад отца, чей год рождения - 1911-й. На сберкнижке значились три с хвостиком тысячёнки. Но дудки! Оказывается, чтобы получить положенное, я тоже должен быть не моложе тех, кто родился в... том же 1924 году. В газетах об этом не говорилось, а в сбербанковских «внутренних» инструкциях было расписано вполне чётко.

Да ладно - мы (какие уж там были деньги у нашей семьи?) Вот недавно ловил я свой маленький кайф в бане - хожу иногда с веничком. Сидел после парной в раздевалке, потягивал лимонад. Рядом охлаждался пивком крепкий мужик моего же примерно возраста. Наколок на нём было совсем немного и весьма сдержанные: если и гостил у «хозяина», то имел не больше одной ходки. Разговорились - баня же, в голом виде тянет пофилософствовать. Как я и предполагал, так и оказалось: одна судимость - по молодости, за «хулиганку». Остался на Севере, в Лабытнангах. (Я немного знаю те места, бывал разок. Это «напротив» Салехарда - через Обь от него; возле Лабытнангов проходит Полярный круг, но зато от них идёт «железка» на Воркуту и далее, куда хочешь). В Омске недавно. Тридцать два года откладывал этот парень немалую часть своих очень даже неплохих северных заработков на сберкнижку, мечталось о домике где-нибудь под Феодосией. А потом наступил 1992 год, и южнее Омска с берегов Оби уехать уже не удалось...

Когда он назвал сумму потерянных денег, я чуть не поперхнулся своим лимонадом.

- Да и хер с ними! - помолчав, подвёл итог разговору недавний северянин и открыл следующую бутылку нашего знаменитого омского пива «Сибирская корона».

Что он имел в виду - деньги или тех, кто их у него отнял, я спрашивать не стал. А ведь об этом «хер с ними» можно

целую книгу написать. О глубинном, вековом презрении русского человека и к деньгам, и ко всякой власти, про которую довольно часто можно подумать, что она тем только и озабочена, как эти деньги у собственного населения не мытьём, так катаньем отнять. Книгу о нашем, как сейчас принято говорить, менталитете, на который, видимо, и рассчитывает власть в подобных случаях, надеясь, что, как с «электоратом» ни поступи, он всё равно в итоге махнёт рукой, произнесёт уже дважды процитированную фразу и потянется открывать своё пиво или чего-нибудь покрепче. Не в голландиях каких-нибудь живём, понимаешь...

А теперь - тест на наблюдательность. Какие в нашем городе самые красивые, самые современные, европейски отделанные и респектабельные здания? Правильно думаете - построенные в последние годы отделения СБ РФ. И ведь так по всей России...

А перед моим младшим сыном, перед отцом, передо мной, перед тем невозмутимым мужичком из бани и перед всей остальной страной никто пока даже не извинился.

Недавно один весьма популярный бард заявил: «Родину свою я очень люблю, а вот государство так же сильно ненавижу». Впрочем, тема это опять же особая.

Итак, считаю, что на анкетный вопрос об анекдоте, который «наиболее ярко отражает особенность сегодняшней нашей жизни», ответил.

* * *

Теперь, пожалуй, попробую взяться за другой вопрос - о том, что бы я взял с собой из нынешнего времени в новый век. Только сужу, спрессую свои «размышлизмы» - ограничу их рамками литературы.

Как хочется быть современным. Передовым. Ни в коем случае не старомодным. И уж - Боже упаси! - не ретроградом. Когда-то меня не пускали в школу из-за узких брюк, при этом в глубине души я собой гордился. Позже испытывал подобное

чувство, читая по ночам какой-нибудь затёртый четвёртый или пятый экземпляр перестуканных на машинке «Гадких лебедей», «Собачьего сердца» или аллилуевских «Двадцати писем к другу»: как же - передовой, смелый (ведь могли за такое чтение и замести). Сейчас можно все. Но вот передовым порой быть просто нет никаких сил.

Читаю в «Ex Libris» НГ» за 25 мая 2000 г. – рядом со статьями о Бродском, Прусте, обзорами последних номеров «толстых» журналов и детской литературы, рядом со списком книжных новинок, поступивших в главную библиотеку страны (а среди них - Аристотель, Пушкин, Бунин, Эренбург, Мозм), читаю интервью с модным прозаиком Владимиром Сорокиным, которого газета относит к «массовым, но серьезным» авторам и про роман которого «Голубое сало», мною по причине провинциальной отдаленности от столичных книжных магазинов пока не читанный, критика в своё время все уши прожужжала. Тут и портрет писателя - упитанного и не лишённого приятности мужчины в расцвете лет, в чёрной рубашке и с бородой-эспаньолкой. Он рассказывает о своей новой книге «Пир», которая посвящена «метафизике еды в жизни человека».

- Можно ли приготовить какое-нибудь блюдо по рецепту вашей книги? - спрашивает художника слова корреспондент.

- Да, можно, - отвечает тот. - По этой книге можно в домашних условиях приготовить блюдо из катушечного магнитофона, мужских носков или сделать женские туфли в шоколаде, например. Всё это описано в новелле «Банкет».

Далее диалог продолжается в том же духе.

- То есть как тот мужик в «Книге рекордов Гиннеса», который точил напильником машину и потихоньку ел металлическую пыль. Наточит пригоршню - и ест.

- Да, да, вы правы, примерно так это и выглядит. А пропос, я пробовал говно...

- Своё? - невозмутимо спрашивает мастера изящной словесности мой коллега-журналёр.

- Сначала своё, потом своих детей. Так вот, я попробовал и понял, что вся его мифология держится на запахе. В остальном оно абсолютно безвкусно. В его вкусе нет ничего, что могло бы отталкивать.

- Ну здесь писатель должен знать, о чём он пишет. В этом его, так сказать, честность.

- Да, поэтому я его и попробовал, когда начал писать...».

И т. д. Достаточно для цитирования.

И вполне достаточно для того, чтоб меня, не читавшего «Голубого сала» и большинства других сочинений господина Сорокина, больше не смущал этот пробел в собственном образовании. (Хотя недавно попала в руки «Норма» - первая, кажется, его книга. Ведь ничего, определенно ничего! Только зачем?..)

Вот чего я не стал бы брать с собой в начинающийся новый век - во-первых, всё это уже было: жёлтая кофта, «Пощёчина общественному вкусу», дыр-бул-шил, намалёванные на щеках перевернутые собачки, стихи без знаков препинания... А во-вторых, - и это главное, - вся теперяшняя постмодерняга в её нынешнем варианте хоть и более агрессивна, но абсолютно бездуховна. Ту, давнишнюю, делали во имя идеи, и среди носивших жёлтые кофты были гении и святые: Хлебников, загубленный потом политическим режимом Маяковский, Бурлюк, наш омич Антон Сорокин, Малевич... А кого мы видим нынче? Людей, которые ради красного словца не пожалеют и отца. А это самое «красное словцо», т.е. самореклама, при всей замысловатости формы имеет обыкновенный коммерческий расчёт и является элементом маркетинга.

И жуёт вышеозначенную субстанцию московский интеллект Сорокин. Можно предположить, что при этом на его породистом, наверняка нравящемся женщинам лице (так и хочется ввернуть банальность про лицо постмодернизма!) сохраняется глубокомысленное выражение, - ведь в этот момент идут размышления об её, данной субстанции, мифологии.

Несколько лет назад вышла тоненькая, красиво оформленная долгожданная книжечка - стихотворения Аркадия Кутилова (1940-1985) в красноярской серии «Поэты свинцового века». Книжка, повторяю, получилась тонюсенькая. Чувствуется, что денег на неё красноярцы наскребли с превеликим трудом. Дело в том, что Аркаше и тут не повезло: спонсор книжной серии «ПСВ», крупный сибирский предприниматель, погиб в автокатастрофе (подозревают - подстроенной). Но все-таки книжка состоялась! Уже третья после смерти поэта.

*Стихи мои, грехи мои святые,
плодливые, как гибельный микроб...
Учюяв смерти признаки простые,
я для грехов собою особый гроб.*

*И сей сундук учтиво и галантно
потомок мой достанет из земли...
И вдруг - сквозь жесть
и холод эсперанто -
потомку в сердце
грянут журавли!*

*И дрогнет мир от этой чистой песни,
и дрогну я в своем спокойном сне...*

*Моя задача выполнена с честью:
потомок плачет. Может, обо мне...*

Вот это я беру с собой в XXI век. И уверен, что следующая книга Кутилова выйдет уже в столице. Его фамилия то и дело начинает мелькать в московской периодике (правда, то Куриловым назовут, то Кутилиным). Бывшего омского бомжа, как собака захороненного в общей могиле, станут читать в изысканных литературных салонах, причём восхищаться им

Личный фонд, или Отпуск на Канарских островах

будут все - как «правые», так и «левые».

*Меня убили. Мозг втоптали в грязь.
И вот я стал обыкновенный «жмурик».
Моя душа, паскудно матерясь,
сидит на мне. Сидит и, падла, курит!..*

Беру в XXI век Рубцова, «Тёмные аллеи», рассказ Чехова «Архиерей», Швейка, «Воронежские тетради», пятнадцатитомник Астафьева («прощая» ему при этом местами припахивающие антисемитизмом автокомментарии), ремарковских «Трех товарищей» и многое из Хемингуэя. Беру «худлитовский» двухтомник Бабеля (тем более что комментарии к этому самому полному Бабелю писал мой товарищ по писательской организации С. Н. Поварцов), беру «Привычное дело» Белова и романы «старого», ещё незаполитизированного Распутина. А как не взять его же рассказ «Уроки французского»? Причём ставлю книги двух этих авторов рядом со стихами Ахмадулиной и сочинениями Довлатова... Список, как любят говорить опытные ораторы, можно продолжить. Впрочем, не очень намного.

То есть я беру всё, что уже не раз помогало мне жить в веке ушедшем, поэтому наверняка поможет и в течение того срока, который отведён мне небесной канцелярией и в веке наступившем.

* * *

Перед тем, как - в соответствии с анкетным вопросом - стану излагать свои соображения о будущем собственных произведений, прошу моего воображаемого читателя познаться со следующими тремя страничками.

«Глухой ночью конца ноября 1919 года на станции Куломзино под Омском не спал человек. Он то и дело выходил из душного и переполненного помещения на холод, закуривал и

Александр Лейфер

смотрел в ту сторону, где были Иртыш и взорванный недавно отступившим колчаковским арьергардом железнодорожный мост. До Куломзино он добрался накануне вечером и узнал, что за реку, в город станут пускать только после рассвета. Идти самостоятельно знающие люди не советовали: часовые, выставившиеся на ночь у разрушенного моста, могут под горячую руку и пристрелить.

До рассвета было далеко. И приезжий, затягиваясь, до рези в глазах всматривался в темноту. Будь у него крылья, он полетел бы туда сейчас, немедленно. Где-то там, в спящем за Иртышом городе, ждут его два единственных на всей вздыбленной и враждебной земле родных человека - жена и одиннадцатилетняя дочка. Это к ним он стремился столько лет, лишь на третий раз убежав из германского плена, нелегально пробираясь вначале через половину Европы, переходя по ночам границы, а потом медленно двигаясь вслед за фронтом на восток по разворошенной гражданской войной, ставшей чужой и непонятной России. Он мало смыслил в том, что происходило вокруг. Просто неистово хотел домой. И неотступно, каждодневно думал: живы ли?

На вид приезжему было чуть за сорок, и среди других пассажиров, до отказа забивших станцию и одетых большей частью разномастно и потрёпано, - мужчины в основном были в шинелях всех армий мира, - он выделялся добротной гражданской одеждой. Зря он так вырядился, хотя и хотелось явиться домой не оборванцем. Чем ближе подъезжали к ещё находившемуся на военном положении Омску, тем подозрительней к нему становились люди с винтовками, то и дело проверявшие в вагонах и на станциях документы. Утром, перед тем как пропустить в город, наверняка станут проверять ещё раз - и, может быть, строже, чем в дороге.

Зайдя после очередного перекура в помещение, мужчина устроился в углу и решил перебрать свои бумаги, чтобы при проверке сразу же показать самые важные.

Личный фонд, или Отпуск на Канарских островах

Паспорт, выданный в 1914 году, - ещё до войны, лучше спрятать подальше: большой двуглавый орел на нём может по нынешним временам только навредить. А вот эта бумага, полученная в Казани у чрезвычайного уполномоченного по приёму бывших пленных, производит на таких же полуграмотных, как и он сам, благоприятное впечатление. На ней - портрет нового правителя страны, лысого, в пиджаке и широком галстуке. Портрет держат свободными от молота и снопа руками рабочий в фартуке и крестьянин в лаптях. И крупная надпись: «Освобождённые германской революцией, добро пожаловать в революционную Россию!» Хотя и предписывает эта красивая бумага «всем волостным и деревенским Советам и Комитетам бедноты» всего-то лишь перевозить недавнего военнопленного «на лошадях от деревни до деревни», службу свою она служит хорошо - портрет лысого вождя безотказно действует на проверяльщиков самым благотворным образом.

Освободила его, если уж на то пошло, никакая не германская революция, а верная кормилица - портновская игла, которой он заработал вначале на первый побег, а потом - после неудачи - и на второй, и на третий. Портной он был классный и шил всё - от исподнего белья до овчинного полушубка. Только это и спасало: хоть в Германии, хоть в российских городах обносившимся за войну людям хотелось одеваться получше.

В Германии вначале ему сильно повезло: из лагеря взяла в свой замок какая-то важная немецкая графиня - ей тоже нужен был хороший портной. Он обшивал и двух её великовозрастных сыновей, и всю многочисленную прислугу. Жил - как сыр в масле катался. Но... Но невыносимо потянуло домой.

Когда поймали после первого побега, избили и отправили обратно в лагерь. После второй неудачной попытки опять избили до полусмерти и, отлив водой, сказали: убежишь ещё - будут судить и скорее всего - время военное - расстреляют.

Александр Лейфер

Снова отлежался, снова заработал марок и снова побежал. На этот раз был напарник - уральский татарин Саидгарей, может, это и помогло...

Каких только бумаг не выдавал ему в разных российских городах Пленбеж... Всегда долго читают вот эту, мелко заполненную, которую сам он разбирает с трудом, - «Карточка военнопленного», выданная еще в Уржуме. Из неё можно узнать, что рядовой 324-го Клязьминского полка Василий Васильевич Болотов был взят в плен раненым 15 сентября 1915 года. Воевал он в конной разведке. К моменту прибытия в Уржумский пункт Пленбежа 4 февраля 1919 года в Москве и Казани получил «полушубок, пальто, валенки, шаровары, гимнастерку, рубаху, кальсоны, портянки, утиральник, папаху» и 25 рублей денег.

Самый главный его документ теперь - «Билет военнопленного», выданный на первой родине - в городе Слободском под Вяткой. Подкормившись у имевшихся там дальних родственников, двинул дальше на восток: в билете отмечены и другие города его причудливого маршрута: Пермь, Тюмень, Ишим, Екатеринбург...

В Екатеринбурге задержался особенно долго: никак не хотел Колчак сдавать Омск. Устроился у земляков, опять сел за родную портняжную работу. И, конечно же, не было никаких вестей из-за линии фронта, эта неизвестность мучила больше всего.

В один из вечеров его уговорили сходить развеяться в театр. И там прямо во время действия на сцену вдруг вышел затянутый в чёрную кожу человек и, извинившись перед актёрами, поднял руку и прокричал в зал, что непобедимыми красными полками опрокинута белая столица Омск!

Не досмотрев спектакля, бегом побежал на квартиру, дрожащими руками собрал чемодан и прямо ночью, несмотря на уговоры погодить до утра, ушёл на вокзал: ведь в скорости могли пойти поезда на восток.

Последняя екатеринбургская бумажка – аттестат отдела снабжения Губпленбежа: «удовлетворен продуктами на трое дней».

Человек спрятал документы, опять закурил и вышел, перешагивая через спящих вповалку людей, на мороз. Небо за Иртышом уже чуть посветлело.

Где-то в городе ещё спали и ничего не знали два человека - солдатка Глафира Болотова и одиннадцатилетняя девочка Зина. Моя будущая мать».

Это отрывок из книжки «Богородская трава», которую я сейчас пишу. Она будет посвящена близким мне людям, главным образом уже упоминавшейся бабушке, которая, собственно говоря, и воспитала меня; родителям, вечно занятым работой и распутыванием сложного клубка своих отношений, заниматься моим воспитанием, как я теперь понимаю, всегда было некогда. Бабушкин дом на улице 3-ей Восточной, в котором я вырос и который давно уже снесён, до сих пор нет-нет да и снится мне. Она закончила всего-то трёхлетнее начальное училище, но это от неё, полуграмотной, впервые услышал я строки Пушкина и Лермонтова. Про бурю, которая небо мглой кроет. Про царицу Тамару, которая прекрасна, как ангел небесный, но, как демон, коварна и зла. Они в училище пели эти стихи, взявшись за руки и гуляя хороводом. Не раз спрашивал себя: а будет ли всё это интересно кому-нибудь, кроме тебя самого? Публикации нескольких готовых кусков немного подбодрили - были хорошие отзывы, причём от самых неожиданных читателей. Видимо, удалось нащупать тот тон, когда говоришь, вроде бы, о «своём», а получается, что об «общем».

Вот что будет с этим, например, моим сочинением в будущем веке?

Для начала спрячусь за спину классика. Всеволод Иванов незадолго до смерти написал в своем дневнике: «Всякая литература через сто, двести (триста лет уже для Шекспира)

отмирает. И почему ей не отмирать, когда гибнут целые цивилизации, уходя бесследно во тьму?»

Мнение, безусловно, не бесспорное, но заставляющее задуматься.

Не знаю, поверят ли в мою искренность, не заподозрят ли в рисовке, но, честное слово, - когда спрашивают, кто я по профессии, то слово «писатель» каждый раз произношу с каким-то внутренним «вздрыгом». Ну как это: сам Лев Толстой был писателем, и вот получается, что и я, выпустивший с десяток документальных книжек, - тоже. От одной этой простой мысли становится как-то не по себе. Данное ощущение сродни, пожалуй, тому, что я испытывал, когда на волне перестройки стал вдруг «службой народа», - был избран депутатом одного из райсоветов Омска. Во время первых сессий мне всё казалось, что вот сейчас кто-нибудь войдёт в зал, подойдёт ко мне и громким строгим голосом скажет:

- Ну, а ты-то здесь что делаешь?!

(Впрочем, в 93-м году примерно так и вправду сказали, только сразу всем).

А если серьёзно, то меня, пишущего прозу документальную, основанную на реальных фактах и архивных бумагах, то и дело уже начинают цитировать. Сколько будет продолжаться такое цитирование - затрудняюсь, как пишут сейчас в анкетах, ответить. Но, видимо, довольно долго. При этом вполне отдаю себе отчёт, что причина такого (чего там греха таить - лестного для меня) процесса заключается не столько в литературных красотах моих книг, сколько в их фактографической, документальной природе.

Но тем не менее - книги-то всё-таки мои! На такой полухвастливой ноте и перехожу к рассмотрению следующего анкетного вопроса.

* * *

А он про времена, которые не выбирают, и про то, что, а вдруг, если бы всё-таки каким-то чудом такая возможность предоставилась...

Карикатура - не помню чья (не Меринова ли?): двое бомжей роются в помойке - и один - наверняка вчерашний интеллигент - говорит другому: «А всё-таки в какое интересное время мы живём!...»

Присоединяюсь к его мнению.

Шутка.

Плохо, что я, у которого вечно не хватало от аванса до полочки, никак не могу представить себя богатым. Фантазии не хватает. А что делать без денег и положения? Без денег, как говаривала Глафира Алексеевна, везде худенек.

Однажды, много лет тому назад, не помню уже точно, в каком году, в иркутской гостинице «Ангара» сидела в одном из её прокуренных номеров не очень большая компания, весь состав которой я также не припомню. Все были участниками какой-то большой литературной тусовки, которые когда-то так любил и так умел собирать руководитель иркутских литераторов - незабвенный Марк Сергеев. Сидели в том номере Вильям Озолин, живший тогда уже в Чите, читинский поэт Слава Филиппов, наверняка кто-то из местных литераторов. Красноярца Романа Солнцева не было точно, почему я это подчеркиваю, станет ясно чуть позже.

Бывает ведь, что в той или иной компании целый вечер повторяют какой-нибудь понравившийся на тот момент, попавший на язык слоган - цитируют его по разным поводам и без повода. Тогда же, весь этот прекрасный вечер вместо тостов звучало одно и то же: «Плохо, но... хорошо!» А в следующий раз - наоборот: «Хорошо, но... плохо!» Я пришел туда позже всех, и вскоре взяло любопытство - попросил прокомментировать эту, показавшуюся загадочной, фразу.

- Глядите-ка! Он не понимает, - с пол-оборота завёлся Озолин. - Ты где сейчас должен быть, на телевидении?

- Да не поехал я, устал, без меня там народу хватит...

- Это же плохо: выступил бы перед иркутским народом, приобщил бы его к своей нетленке... Плохо это. Но... хорошо!

- Как это?

- А так, что вместо какого-то там телевидения ты здесь сидишь, с нами, - когда ещё вот так вот все вместе соберёмся? Хорошо это?

- Лучше не бывает.

- Вот видишь... Но хорошо-то хорошо, а одновременно и плохо!

- ?

- Так ведь завтра-то всё равно разъезжаемся...

Озолинская диалектика с тех пор прочно засела в моей голове. Как, впрочем, и многое другое из того, что было связано с моим многолетним другом - прекрасным поэтом и ярким, весёлым и глубоким, несмотря на всегдашнюю внешнюю лёгкость, человеком.

И вот недавно, начав листать полученную из Красноярска от Романа Солнцева, с которым много лет назад именно Вильям меня и познакомил, его юбилейную книгу «Маленькое тайное общество», я почти сразу же наткнулся на стихотворение «Воспоминание о друге». И вздрогнул на четвертой его строке. И все моментально вспомнил.

Приобняв друг дружку, мы во имя встречи

Наливаем в кружки, зажигаем свечи.

Наливаем в кружки, зажигаем свечи.

И твердит со вздохом, расправляя крылья:

- Хорошо, но... плохо!.. - суеверный Виля.

Хорошо, но плохо - чтоб судьбу не сглазить
(дживая эпоха тоже что-то значит!).

Хорошо, но плохо... хорошо, но страшно,

Если пули плотно рядом бьют пристрастно.

А верней, не пули, а верней - монеты,

От которых слепнут многие поэты...

Так что не за чаем хрипло на рассвете

Мы стихи читаем... смелые, поверьте!

И как будто кони, в нас сердца грохочут!

Ну а в телефоне стукачи хохочут...

Потому со вздохом, расправляя крылья,

- Хорошо, но... плохо!.. - шепчет старый Виля.

И ему без смеха в полумраке дома

Вторит, словно эхо, суеверный Рома...

Плохо, до сих пор очень мне плохо от того, что нет больше Вильяма, что никогда теперь не получу я от него разрисованного цветными фломастерами письма, никогда не услышу его гитары, не прочту ни одной новой его строки. Никогда не обниму его самого - ни в Омске, ни в Барнауле, ни в Иркутске, ни в Москве, ни в Чите...

Но как хорошо, что он был в моей, не очень-то складной, жизни, всегда буду благодарен за это судьбе. Как и за встречи со многими другими людьми - прозаиком Ваней Токаревым, волшебным детским поэтом Тимофеем Максимовичем Белозёровым, Виталиком Поповым. Никогда не забуду рано погибшего поэта Николая Разумова, иркутян - Марка Давидовича Сергеева, Сашу Вампилова и Женю Раппопорта, новосибирцев - Колю Самохина, критика Виталия Коржева, впервые напечатавшего меня в «Сибирских Огнях», и гигантски много сделавшего критика Николая Николаевича Яновского, давшего мне рекомендацию в Союз писателей (храню вместе с письмами Вильяма более 50-ти писем и от него)... Каждый из этих людей - вольно или невольно, чаще всего совершенно и не подозревая об этом, - что-то вложил в меня. Пора отдавать долги, пора записать, что помню о них обо всех.

Некогда мне обречься в каких-то иных временах. Мне и в нашем работи ещё по ноздри. И это уже совсем не шутка.

Вернусь к этому разговору и к рассказу о Вильяме чуть ниже. Пока же о другом.

* * *

Августовским субботним днём пришёл я тогда в «свою», расположенную в нашем микрорайоне библиотеку. Хожу сюда много лет - удобно, живу рядом, а по нынешним временам только здесь ещё и можно выпросить домой «толстые» журналы: в главной областной библиотеке абонемента теперь нет.

Присел возле стеллажа новинок, начал выбирать, но боковым зрением как бы почувствовал, будто кто-то смотрит на меня откуда-то сверху.

Так... Выше полка - «125 лет со дня рождения Владимира Арсеньева», ещё выше - «180 лет Алексею Константиновичу Толстому», а на самой верхней полке... Боже мой! «60 лет со дня рождения Александра Вампилова». И Саша глядит прямо мне в глаза - с обложки одной из своих книг!

Уже шестьдесят...

Да, ведь он же с тридцать седьмого...

По дороге домой сообразил: то страшное и необратимое, что случилось в 72-м в прибайкальской Листвянке, случилось ровно 25 лет назад - и тоже в августе. И родился, и ушёл он именно в этом месяце.

Дома разыскал среди старых газетных вырезок своё публиковавшееся в 1975-м «с продолжением» эссе «Всегда со мной», где была небольшая главка, которая так и называлась - «Саша». Вот она, не перепечатававшаяся толком с тех пор ни разу...

«Здоровенный парень - детский писатель из Иркутска - сидел передо мной и плакал. Он старался сдерживаться, но

слёзы катились одна за другой и скрывались в его рыжих усах и бороде. Парень рассказывал о том, как несколько месяцев назад погиб Саша Вампилов. Рассказывал, конечно же, не в первый раз - очень много людей любили Сашу, и всем хотелось знать, как это случилось. Парень говорил о том, как они шли по Байкалу на «казанке» с мотором, вёл лодку он, а Саша сидел впереди - весёлый и кудрявый. И ехали они к рыбакам, за омулем, так как послезавтра Саше бы исполнилось 35 и он хотел, чтоб на столе был омуль. И потом, когда «казанка» налетела на топляк и перевернулась, Саша крикнул: «Держись за лодку - ты в сапогах, а я поплыву к берегу!». Он хорошо умел плавать, но не доплыл - подвело сердце. Саша жил, не жалея своего сердца.

И сейчас, когда по всей стране идут его пьесы, когда о нём наперебой пишут критики, ещё несколько лет назад не писавшие о нем ни строчки, я вспоминаю другого Сашу.

Он ехал тогда в столицу, на две своих премьеры, и сделал короткую остановку в Омске. К тому времени мы уже были немножко знакомы. И вот Саша пришёл в мой дом.

Мало встречал я людей, разговаривать с которыми было бы таким же наслаждением. С виду Саша был немного странным. Чёрные его кудри были такой густоты и нечёсанности, что казалось - в них согнётся и стальная расчёска.

Но был он красив, когда говорил. Голос тихий, спокойный. Такой голос не приходится повышать, чтобы его слышали, просто, когда начинает звучать такой голос, все и так умолкают. Сами. Ибо таким голосом не произносят пошлых глупостей. Таким голосом разговаривают с друзьями, ведут беседу, а не вещают, не самоизливаются, не повторяют бесчисленное количество раз «я», «мне», «у меня».

Гость рассказал, что до того, как пойти ко мне, он обошёл все «достоевские» места города. Был и возле комендантского особняка, и во дворе медицинского училища, где много лет назад располагался сам «Мёртвый дом», и возле деревянного зданьяца, где была когда-то арестантская

палата и где Фёдор Михайлович часто получал передышку, благодаря доброте милейшего Ивана Ивановича Троицкого - штабс-доктора военного госпиталя...

А потом Саша говорил, что перед отъездом он перечитал «Записки из Мёртвого дома». Говорил, что это замечательная, глубочайшая книга, и что она не такая уж страшная, как мы привыкли считать. Много в ней и смешного, Но дело не в страхе или смехе, а в том, что она уникальна, эта книга, - своей философией, своим психологизмом, достигающим до непостижимых пределов, и тем, что она очень русская. Никакой француз, никакой немец не смог бы написать такую книгу, просиди он в каторге не четыре, а хоть сорок лет. И говорил ещё Саша, что плохо у нас понимают эту книгу, мало говорят о ней, неумело толкуют.

Он расспрашивал меня о разных подробностях сибирских лет Фёдора Михайловича, о разных деталях и деталяках. И очень жалел, что арка крепостных Тобольских ворот на набережной Тухачевского с обеих сторон забрана сейчас и нельзя под ней пройти, как сотни раз проходил когда-то каторжник Достоевский, таская для крепостных построек кирпич, или просто так - с работы и на работу.

С детства я привык к тому, что имя этого великого писателя ставят рядом с именем моего города. Я тоже любил и люблю «Записки...», перечитывал их - для работы и для души - не раз. Но с того вечера (а затянулся он чуть ли не до утра) как-то по-другому смотрю я на всё это - такое знакомое, до мелочей известное, привычное. По-другому - на Тобольские ворота, теперь уже отреставрированные, красивые. На дом коменданта де Граве. На старое (самое старое в городе из каменных) здание областного военкомата, в котором была в те времена гарнизонная гауптвахта и вокруг которой автор «Бедных людей» не раз разгребал сугробы.

Саши нет больше. Никто теперь не допишет пьесу под названием «Несравненный Наконечников», так и останутся в ней

полторы картины. Да, есть «Старший сын» и «Провинциальные анекдоты», есть «Прощание в июне» и «Прошлым летом в Чулимске». Да, осталась «Утиная охота» - лучшая его пьеса, про которую все говорят, но которую никто почему-то не ставит. (Речь идёт о 1975 году.) Но это не утешение. Не будет больше ничего из того, что могло бы быть. Никогда. Никогда. И не будет его спокойного неторопливого голоса, его узких монгольских глаз, его негромкой гитары. Его понимания Достоевского.

А тот вечер-утро мы закончили весело. Мы вышли на улицу, сели в какой-то дикий (без пассажиров) автобус и поехали на вокзал. Там в круглосуточном буфете нам продали прекрасное вино под названием «Цимлянское игристое». Оно и в самом деле было игристым - проливалось в только что выпавший снег (кажется, это был первый снег в ту зиму). До сих пор стоит в глазах: красное на белом.

Ах, как весело было нам тогда! Как весело нам было...

Прочитав это, разыскал и старый номер иркутского альманаха «Ангара» с первой публикацией «Утиной охоты» - № 6 за 1970 год. Вот и Сашина дарственная надпись: «... на добрую память, на дружбу. Сталина, не забывай Иркутск! Ноябрь 1971».

Пьесу предваряет короткое, на страничку, предисловие Марка Сергеева - тогдашнего руководителя иркутских писателей. (Будь и Вам, Марк Давидович, земля пухом!...) Но ни это предисловие с его обращениями к Гоголю и «лауреату Ленинской премии» Межелайтису, ни купюры в самом тексте пьесы не избавили Сергеева от партийной выволочки, а тогдашнего главного редактора «Ангара» Анатолия Шастина от увольнения. Правда, далеко не все тогда знали (сейчас-то об этом давно уже можно рассказать), что всё было обговорено и срежиссировано заранее: «Вы (т.е. писательская организация и альманах) печатаете пьесу, а мы (т.е. обком партии) собираем потом бюро и снимаем

редактора». Так всё и было сделано - разыграно как по нотам, вплоть до предварительного приискания: а) кандидатуры нового редактора и б) другого места работы А. Шастину. Полное тогда получилось взаимное удовлетворение: и «меры» приняты, и - главное - пьеса напечатана. Сидели же, чёрт побери, кое-где и в обкомах хорошие ребята!

О чём ещё нельзя сегодня не вспомнить, так это о гастроях в Омск Рижского театра русской драмы в 1976 году и их главном событии - единственном и полузакрытом (вне афиш и только по пригласительным билетам) спектакле «Утиная охота». Я еле успел на него (вот ведь повезло!), а запросто мог бы и не успеть, задержись тогда хоть на неделю в Якутии, куда посылал меня в то лето за репортажем журнал «Сибирские огни».

Не буду и пытаться передать «тонкости» (не театрал, да и тридцать почти лет как-никак прошло). Осталось в душе ощущение потрясения. Потрясения не только (и, может быть, - да простят меня люди театра - не столько) от актёрского мастерства и режиссуры, сколько от открывшегося второго, третьего и Бог знает какого ещё смысла, внутреннего пласта, казалось бы, такого знакомого вампиловского текста. Каждый, каждый из нас, в общем-то, Зилов. В большей или меньшей степени. И никогда в жизни - ни до, ни после этого спектакля - не наблюдал я такого: зрители вышли из театра и долго - может быть около часа - не расходились, стояли возле театрального здания. Некоторые вполголоса разговаривали. А некоторые просто молчали... А после я несколько раз видел, как в Доме актёра люди подходили к незнакомому им исполнителю роли Зилова и благодарили: просто жали руку. (Через несколько лет мне рассказали, что этот актёр тоже погиб. И смерть была не менее дикой и глупой, чем у Саши, - попал под трамвай).

Что ещё?

Вот это, пожалуй, существенно. Пьеса, которую он вёз тогда, в конце 1971 года, Товстоногову и которую в эти

Личный фонд, или Отпуск на Канарских островах

считанные дни его остановки в Омске я успел-таки, хоть и «по диагонали», но прочитать, называлась в первом варианте «Валентина». И, на мой взгляд, если бы так и осталось, то было бы лучше, во всяком случае - точнее: ведь пьеса-то о ней, о Валентине. Но, как я понимаю, потом, пока «каша» с первой постановкой в БДТ варилась, широко пошли именно в том сезоне рощинские «Валентин и Валентина», и срочно, на ходу пришлось придумывать широко известное нынче, но, в общем-то, безликое название про Чулимск...

...В тот раз я взял в своей заводской библиотеке - прямо с юбилейной выставочки - вампиловский сборник, который в своё время как-то прошёл мимо меня. В нём напечатаны его записные книжки. И одна запись особенно дёрнула за сердце: «После 11-ти к вокзалу подруливали алчные частники». Алчные частники!

Чётко помню, что в ту заканчивающуюся ноябрьскую ночь на пустой привокзальной площади (после того как было покончено с «Цимлянским игристым» и пора было возвращаться домой) он именно так и шутил: «На такси сейчас не надейся, надежда одна - на алчного частника».

Именно с той ночи и я - может быть когда кто обращал внимание? - при случае так говорю.

Эх, да будь оно всё неладно!..

* * *

Ещё разок обращусь к анкете - к вопросу об отражающем время изречении и вопросу о поэтических или прозаических строках, посвящённых времени.

Несколько лет назад меня поразило одно из последних стихотворений Владимира Соколова, точнее - вот эти четыре строки из него:

*Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.*

Александр Лейфер

*И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.*

Это ж сколько надо пережить и передумать, чтоб в конце жизни написать такое?..

* * *

Всё. Дальше отодвину в сторону анкету предполагаемой книги (да и выйдет ли она, найдутся ли на это деньги - при нашей-то непредсказуемости?). Позволю себе «свободное парение» - просто попробую ещё высказаться о том о сём...

То, что, как я уже писал выше, мне сложно говорить о своём профессиональном статусе, усугубляется ещё и самой сложностью нынешней литературной жизни, разделением Союза писателей, тем, что в Омске, как и во многих других городах, появилась ещё одна писательская организация. Вот как, скажите на милость, объяснить не особенно сведущему человеку, обыкновенному читателю, почему и зачем в нашем городе существуют две писательские организации?

Как-то я был приглашен на юбилей одного известного омского поэта. С юбилеем мы дружим лет, однако, тридцать пять, всякое было за эти годы - и ушедших общих товарищей оплакивали, и рублями последними делились... А вот в Союзах писательских оказались в разных. Я слушал приветственные речи и дивился тому, какая всё-таки мешанина находится сегодня и в окружающей нас жизни, и в наших головах. С одной стороны - с гордостью говорилось, что поэт за один из недавних своих сборников награждён самой престижной в нашем регионе премией - премией обладминистрации, т.е. заслуги поэта отмечены властью. На вечере выступала и очаровательная представительница этой власти - дарила поэту цветы и целовала его в щёчку. Зал аплодировал. А с другой стороны - редакторы оппозиционных газет плюс известные всем «левые» депутаты областного

Законодательного собрания в один голос говорили юбиляру, что его стихи помогают им поднимать народ на борьбу. Т.е. получается - на борьбу с той же самой властью! И зал опять аплодировал.

Подняли говорить и меня. Пришлось произнести несколько не очень-то связных слов на тему, что если, мол, предположить разделение Союза писателей ещё на несколько частей, то мы с юбиляром всё равно останемся в одной незримой команде - команде людей, любящих литературу и пытающихся в меру своих сил и способностей служить ей.

Потом на скромном фуршете как «левые», так и «правые» друзья юбиляра наливали себе из одних выставленных им бутылок и закусывали одинаковыми бутербродами.

Уверен, что виновник торжества, будучи человеком талантливым и с юмором, рано или поздно переплавит эту фантазмагорию в соответствующие строки. Но спрашивается: можно ли сегодня, при таком «смещении умов» быть «едиными и неделимыми»? Да сейчас одних только компартий в России штук пять разных, почему же писатели не могут разделиться, так сказать, «по интересам»?

По сути дела всё возвращается на круги своя. Когда-то, в 20-е годы, существовали десятки различных литгруппировок. С усилением тоталитаризма партия (читай - Сталин) решила воплотить на практике теоретический завет своего основоположника о том, что литература должна стать частью «общепролетарского» дела. В 1932-34 годах писатели различных творческих направлений, вкусов и убеждений были объединены (или согнаны?) в единый Союз советских писателей. И до начала 90-х годов все командные «кнопки» (тиражи, издательские планы, посты главных редакторов журналов и т.д.) были под рукой у номенклатуры: стадом командовать легче. Как только партийные вожжи, управляющие «инженерами человеческих душ», ослабли, противоречия, давно уже существовавшие под крышей Союза писателей, обострились, а центробежные процессы усилились.

Ускорила события конкретная ситуация.

В марте 1990 года в еженедельнике «Литературная Россия» появилось так называемое «письмо 74-х». Подписавшие его литераторы подробно жаловались в ЦК КПСС и Совет Министров СССР на засилье в литературной жизни представителей национальных меньшинств. Страсти были накалены до предела, и «Литературная газета» назвала «письмо 74-х» «нацистским документом». А на местах началась компания сбора подписей под этим письмом, присоединиться к семидесяти четырем настойчиво предлагали и всем членам Омской организации Союза писателей РСФСР.

Омский прозаик Михаил Малиновский и его коллега критик Эдмунд Шик (1930-2002 гг.) отказались подписать письмо и вообще вышли из состава организации.

Мы здесь на месте знали далеко не обо всём, что происходило в столице. Недавно я прочитал, что в разделении писательского Союза сыграл свою роль и печально знаменитый августовский путч 1991 года. Оказывается, тогда секретариат СП СССР поддержал ГКЧП, и писатели разделились на две группы - тех, кто воспринял данное решение секретариата как должное, и тех, кто был против (см. «Литературную газету» за 14 апреля 1999 года). В Москве началась подготовка к созданию самостоятельного, построенного на демократических принципах, нового писательского объединения - Союза российских писателей. Председателем оргкомитета был известный прозаик Сергей Антонов. Состоялся учредительный съезд, в котором приняли участие примерно 1300 писателей (Омск на съезде представлял Э.Шик). В декабре 1991 года СРП был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. Сейчас он является наиболее крупным писательским сообществом на территории Российской Федерации после Союза писателей России.

Работа по организации «ячейки» СРП в Омске началась в 1992 году. Кроме уже названных выше М.Малиновского и Э.Шика, в неё включились прозаик Р. Абубакирова, поэтесса

Е.Кордзахия и ваш покорный слуга. Летом 1993 года Омская организация Союза российских писателей была зарегистрирована. Именно так в нашем городе образовалось две писательские организации.

В «актив» новой областной литературной организации вошли люди, имеющие за плечами книги, публикации в журналах, альманахах и коллективных сборниках: А. Лизунов, Г. Бородинский, А. Дегтярёв, А. Декельбаум, И. Егоров, Н. Кузнецов, Е. Миронова (Злотина), С. Поварцов, В. Чешегоров, С. Денисенко, Ж. Земкаюс, Р. Удалов, С. Лексутов, Е. Мурашова и другие. После первого же собрания местная газета взяла интервью у профессора Э.Шика. «Меньше всего нам хотелось бы, - сказал он корреспонденту, - каких-либо трений с Союзом писателей России, от которого мы «откололись», - хочется не бесплодной борьбы, а плодотворного творчества. Будем обсуждать рукописи, помогать начинающим, встречаться с читателями... Планируем создание коллективного сборника, в который вошли бы произведения и профессионалов, и литературной молодежи» («Вечерний Омск», 25 февраля 1993 г.).

Тогда, в 1993 году, заявление с просьбой зарегистрировать нашу писательскую организацию подписали пятеро. Трех позже приняло в Союз Всероссийское совещание молодых писателей, проходившее в 1996 году в Ярославле, - это прозаики Елена Мурашова, Александр Дегтярёв и Виктор Богданов. Остальных рекомендовали Москве к приёму в СРП мы сами.

Из 60-ти региональных российских отделений СРП наше - одно из самых крупных - 28 человек. Но, думаю, дело не в количестве, а в качестве. Вот передо мной - вырезка из «Литературной газеты», где опубликовано интервью с нашим руководителем - первым секретарем СРП Светланой Василенко. (Кстати сказать, она замечательный - глубокий, резкий и остросовременный - прозаик; почитайте, например,

её книгу «Дурочка», вышедшую в московском издательстве «Вагриус», и поймёте, почему заглавный роман удостоен нескольких престижных литературных премий; отвлекусь ещё и вспомню, как несколько лет назад долго не решался прочитать подборку её рассказов в «Новом мире» - боялся разочароваться, боялся, что предстоит познакомиться с очередным дамским литературным «рукоделием», а прочитал рассказы и до сих пор нахожусь под впечатлением от этой сильной и совсем (да простят меня дамы, в том числе и сама Василенко) не женской прозы). Так вот, на вырезке из своего интервью Светлана Владимировна, посылая её нам, написала: «Самой лучшей, самой замечательной Омской организации СРП в Сибири». Хочется верить, что это не очень уж сильное преувеличение.

* * *

Несколько лет назад мы выпустили книгу избранной лирики нашего умершего товарища - незабвенной Елены Мироновой-Злотиной (1936-1994 гг.). Спасибо составителю этого сборника Александру Лизунову, автору вступительной статьи Сергею Поварцову и всем, кто помогал нам в выпуске этой прекрасной книги, по сорок грехов им всем простится за это благородное дело.

Лена умерла в сентябре 94-го, то есть в начале работы нашей писательской организации. Умерла буквально на наших рукописях - рядом с ней, впавшей в беспамятство и уже не пришедшей больше в сознание, лежала рукопись первого выпуска коллективного сборника «Складчина», которую она заканчивала редактировать.

Тоже надо бы отдельно и подробно написать об этом человеке - человеке, рядом с которым прошла фактически вся моя журналистская и литературная жизнь. Я просто обязан это сделать, ведь фактически всё это время, около тридцати лет, я учился у неё - иной раз сам того не сознавая. (Пустяк,

конечно, но до сих пор, правя текст, делаю сокращения и вычеркивания такой же волнистой линией, какой всегда делала это и Лена).

Помню, как в декабре 67-го она чуть ли не за руку привела меня, только начавшего работать в «Омской правде» литсотрудником и показавшего ей, заведующей отделом культуры этой газеты, свои первые рассказы, на улицу Ленина, 21 - в писательскую организацию, в полутёмную комнату над крутой деревянной лестницей. Здесь собиралось тогда по четвергам областное литобъединение, и я с благоговением и трепетом смотрел на этих казавшихся необыкновенными людей, пишущих стихи и рассказы, печатающих их в журналах, выпустивших собственные книги!.. Елена Николаевна была среди них своей. И не просто своей: к ней уважительно прислушивались, расспрашивали, что именно пойдёт в ближайшей литературной странице газеты. Для скольких людей эти литстраницы «Омской правды», любовно подготавливавшиеся Еленой, стали стартовой площадкой в литературу...

Много лет спустя Лена, измученная болезнями и жизненными сложностями, восприняла рождение новой писательской организации, приглашение сотрудничать с ней как глоток свежего воздуха. Она делала в организации любую - большую и малую работу, переживая каждый штрих, каждую деталь нашей общей жизни. Мы помогли ей выпустить третий сборник стихов «Творите праздники души», устроили его коллективное обсуждение, глубоко взволновавшее и тронувшее её. А потом рекомендовали Елену Николаевну в Союз писателей. Но её приемные документы не успели дожидаться своего рассмотрения в столице - не стало их хозяйки.

Мой давний товарищ - литературовед Сережа Поварцов, написавший к Лениной посмертной книге предисловие, привёл в его начале цитату из Мережковского: «Современники для нас - как плоские фигуры на барельефах: мы видим их с одной стороны. Смерть должна отделить человека от

жизни, от плоскости, сделать барельеф изваянием, чтобы мы увидели его со всех сторон и могли судить о нём как следует». Лены, с её закрытым при жизни для подавляющего большинства окружающих богатейшим духовным пространством, это касается как никого другого.

Как нам её не хватает!.. Хорошо вот книгу её издали, архив её устроили - на душе стало спокойнее.

Зато другая рукопись, толстенную папку с которой я махистски держу на самом видном месте, не даёт мне (и слава Богу не только мне) покоя вот уже почти пять лет. Это посмертная книга Раи Абубакировой (1946-1996 гг.), её избранное - проза (в том числе - недописанный роман), драматургия, публицистика и письма к разным людям. Всё пока не находится средств, чтобы её издать, а это будет большой подарок читателю - писателем Раиса Абзаровна была настоящим.

Главы из своего нового романа она читала нам весной 93-го, когда у писательской организации ещё не было помещения и собирались мы у неё на квартире. Эта энергичная, жесткая и захватывающая проза запомнилась тогда многим. Потом, когда уже готовилась посмертная рукопись, я понял, что роман «Нечаев» (первоначальное название «Поджигатель») был задуман как многоплановое, сложное, философско-нравственное произведение. Это история некоего строителя Нечаева, поджигавшего деревянные памятники архитектуры для того, чтобы ютившимся в них жителям побыстрее дали хорошие квартиры. На этот исковерканный характер накладывается не менее изломанная личность расследующего это дело следователя, носящего по иронии судьбы такую же фамилию - Нечаев. Нет прямых указаний на то, что фамилия взята писательницей не случайно, что здесь имеется внутренняя связь с тем печально знаменитым революционером Нечаевым, чья жестокая история поразила ещё Достоевского, сделавшего его прототипом Петра Верховенского в «Бесах». Но это вполне можно предположить. В бумагах

Раисы я нашел текст её радиоинтервью, где говорится, что при работе над романом она обращалась к различным философским, научным, социологическим и политическим источникам. «Мы утратили любовь, - говорила она в этом интервью. - Я пытаюсь проанализировать в своей книге, с чем связана эта утрата. Последние 70 лет в нас просто воспитывали ненависть. Мне очень тяжело со своей книгой...».

Раисе было тяжело не только с книгой. Я не являлся её близким другом, наоборот, как мне кажется, она даже недолюбливала меня или - по меньшей мере - относилась ко мне с некоторым недоверием. Может быть, я и заслуживал этого, не во мне дело. Хорошо знаю от многих других людей, что своей резкостью и бескомпромиссностью Раиса была весьма «неудобным» в общении человеком, с ней было не просто. Но её образ жизни в последние годы (зимой - письменный стол, летом - зарабатывание денег на будущую зиму при помощи первой профессии каменщицы, т.е. кладка гаражей, коттеджей, дач), её мужественная неравная борьба с безжалостной болезнью, а главное - её безусловная литературная талантливость - все это вызывало уважение, притягивало к ней людей. Причем людей самых разных - в её уютной квартире мог оказаться не только свой брат литератор, но и врач, актриса, политик, простой работяга, чиновник, художник, пенсионерка, кто-нибудь из деревенских земляков, сосед... Она всегда была окружена верными, любящими и всегда понимающими её друзьями.

Детство и юность Раисы прошли в деревне под Омском, где рядом жили казахи, русские, немцы, татары, украинцы... Они, простые сибирские люди, ценящие друг друга не по цвету волос или разрезу глаз, а по степени честности в труде и в каждодневной жизни, станут потом героями её преисполненных подлинного интернационализма рассказов, повестей и пьес.

С начала 70-х она жила в Омске, работала каменщицей на стройках города. А с 1980 года начинают появляться в

периодике её первые очерки и рассказы. Вскоре было опубликовано первое крупное произведение - повесть «Родня» в одноименном коллективном сборнике, выпущенном Омским издательством. Наиболее полно писательница представила перед читателем в автобиографической книге «Хочу верить» (Омск, 1988) и в сборнике рассказов и повестей «Круг» (Москва, 1990). Прямо и открыто, порой резко и даже грубовато ведёт разговор со своим читателем Абубакирова. Лишенные всякого намека на приукрашивание окружающей нас жизни, её произведения будоражат душу, не дают отвернуться от острых, кричащих и кровоточащих вопросов. Это относится и к её драматургическим произведениям - пьесе «Дети мои, человеки» (1990, специальный приз и Почетная грамота Союза писателей СССР за лучшую пьесу на Всесоюзном фестивале радиопостановок) и радиопьесе «Шанхай» (1992), к её публицистическим выступлениям в периодике.

Литинститут был закончен заочно. В 92-м её приняли в Союз российских писателей.

И ещё штрих - незадолго до смерти Раиса приняла православие. Как уж меня надоумило поинтересоваться автобиографией в приёмном писательском «деле» Абубакировой... Чутьё подсказало, что такой неординарный человек, как она, при написании этой автобиографии никак не мог ограничиться составлением обычного формального текста. И точно! Из Москвы прислали почти пять страниц машинописи. Это была взволнованная, самоироничная и откровенная исповедь, написанная в 89-м году, - при первой, оказавшейся неудачной, попытке вступить в Союз писателей. Мы напечатали «Автобиографию» в журнале «Омская муза», ею и открывается рукопись будущей книги - она идет сразу же за написанной Эдмундом Шиком вступительной статьёй.

Да, я проникся внутренним миром этого человека - увы - слишком поздно: когда летом 96-го года, разбирая её архив, читал

её записные книжки, письма и ненапечатанные произведения. Может быть, поэтому чувство некой вины и не отступает от меня, когда гляжу на толстую папку с надписью на обложке «Боль моя, Россия...». Рукописи, конечно, не горят, но как нужна нам всем эта книга именно сейчас...

* * *

Хорошо запомнил 8 июня 2000 года. Как и чаще всего в последние годы, я проснулся немного раньше шести, включил на кухне молчащий пока репродуктор, а когда через несколько минут начались последние известия, как всегда, прикрыл дверь - в дальней комнате спала жена.

Мне же тогда отправляться досыпать после сводки новостей не захотелось: первое же сообщение было о нападении на Омский ОМОН в Чечне - двое убитых, пятеро раненых. Получилось: жизнь за жизнь - двое чеченцев-камикадзе (мужчина и женщина) подъехали к зданию, где расположились омичи, на начинённом взрывчаткой автомобиле. Тотчас же после взрыва по зданию началась прицельная стрельба. Хорошо подготовленная, чётко продуманная партизанская операция - адская смесь из фанатизма и холодного военного расчёта. Первая такая операция из целого ряда последовавших за ней.

Как не понимают наши уважаемые и так умно всё объясняющие с трибун и телеэкранов политики то, что с самого начала было ясно любому полуграмотному старику: этот народ победить нельзя, любая победа в этой необъявленной войне будет выглядеть таковой только временно, а потом рассосется, забудется, словно туман после восхода солнца. Мучающихся перед телекамерами генералов я понимаю даже больше: они осознают, что их опять подставили, и им просто-напросто стыдно. Стыдно врать, оправдываться, объясняться. Они - профессионалы и, думаю, достаточно хорошо представляют: отныне и навсегда российские военные будут чувствовать себя в этих горах, как вермахт

где-нибудь под Минском в 42-м году. Всё оказалось зря: тысячи сгоревших солдатских жизней, точечные (постепенно переходящие в ковровые) бомбардировки - бездарное подражание югославской практике, уничтожение южного полумиллионного красавца Грозного... Всё зря, ибо люди по-прежнему гибнут.

Давно нужны переговоры, это ясно всем. Но нам объявили, что не с кем их вести, нет достойных фигур. И, чтобы выявить их, якобы нужен какой-то референдум. Что ж, пока в этом дышащем ненавистью краю среди полуграмотного населения станут проводить такой референдум, будет начата взрывчаткой ещё не одна машина.

А переговоры во все времена и после всех войн всегда вели с теми, с кем воевали. И для того, чтобы знать это, тоже не нужно заканчивать Академию Генерального штаба.

... Как-то, насмотревшись телевизора, младший сын спросил меня:

- Скажи, а раз они никак эту войну не заканчивают, значит, она кому-то нужна? Кому, папа?

Что я мог ему ответить? Тем, в кого не стреляют?..

* * *

Последние года полтора я работаю только дома и, когда устают глаза от писанины, начинаю тыкать в кнопки своего старого телевизора - чтобы отдохнуть минут 20-30. Кнопок у телека восемь, и вот чаще всего - нажмёшь восемь раз, допустим, днем, и восемь раз наткнешься на что-либо американо-бразильско-мексиканское - одинаково картонное и безликое. По всем каналам идёт методическое, ежедневное, многочасовое оболванивание зрителя, к которому принадлежит большинство населения. А ведь, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? И если их тушат - тоже. Зачем, например, была потушена многолетняя телепередача «Очевидное-невероятное»? Или, если взять местный

омский уровень: кому помешали телепередачи «Мир книги» и «Третий звонок»?

Нет у меня надежды на телевидение. Выход по-прежнему в книге, я знаю это твердо. И, к счастью, не я один. То, что в последнее время люди как-то по-особому тянутся к ней, покажу на простом примере.

В 1967 году я вернулся после учебы в Омск и сразу же записался в областную Пушкинскую библиотеку, с тех пор её читатель – 37 лет. И совсем недавно впервые около получаса стоял в очереди, чтобы сдать пальто в гардероб Пушкинки: там не было мест! Отзанимавшиеся в читальном зале спускались за своей одеждой, и освободившийся номерок тут же передавали очереднику. Единственная в моей жизни очередь, в которой я стоял и не только злился, по параллельно и радовался самому её существованию: люди, преимущественно молодые, стояли в очереди к Книге.

Спросите любого библиотекаря любой даже самой маленькой библиотеки, и вам скажут: книговыдача в последние годы возрастает. Да, я предвижу контраргументы: читают старшеклассники и студенты, т.к. не хватает учебников; читают пенсионеры, т.к. у них не на что, как раньше, подписаться на журналы; больше стали ходить в библиотеки, ибо дороги стали книги в магазине и т.д. и т.п. Знаю я всё это. И всё-таки люди читают! Не тупо глазают в ящик на бесконечных грудастых красоток с их до приторности мужественными партнёрами, не наблюдают за бесконечным битьём ногами по мордам, а читают, читают...

А какие удивительные книги, совершенно немыслимые ещё лет двадцать назад, появляются на прилавках магазинов! Они сверкают, как драгоценные камни, среди глянцево-обложечного навоза полупорнухи и сделанных левой ногой триллеров. Навскидку назову несколько - только те, что попали в последнее время на мои полки.

Уже упоминавшееся красноярское 15-томное собрание сочинений моего любимого Виктора Астафьева с его же весьма

пристрастными, будоражащими, вызывающими на спор комментариями.

«Грасский дневник» Галины Кузнецовой, последней возлюбленной Ивана Бунина. Сокровенное, но и тактичное одновременно повествование, впервые у нас изданное, - подарок всем, кто, как и я, ловит любую подробность из жизни автора «Окаянных дней» и «Тёмных аллей».

«Бодался телёнок с дубом» Александра Солженицына.

Прекрасно изданный словарь «Русская философия».

Трехтомные «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской - книга, по-настоящему... с карандашом в руке прочитать которую, - это, пожалуй, всё равно, что еще один институт закончить.

Том избранных стихотворных и прозаических сочинений и рисунков нашего Аркадия Кутилова «Скелет звезды», вышедший в Омске в 98-м.

Недавно, как захватывающий роман, проглотил я объёмистый документальный сборник «Небесная арка. Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке», присланный из Питера её составителем - известным литературоведом К. М. Аздовским. История короткого (заочного!) знакомства двух поэтов интересна не только с литературоведческой стороны, она высвечивает и чисто человеческие грани этих незаурядных личностей, потрясает своей драматической глубиной, духовностью, интеллектуальным накалом. Неистовством нашей Марины и мужеством Рильке (переписка была прервана его смертью от лейкоза).

И на фоне истерических воплей о гибели культуры подобные книги всё выходят и выходят!.. Хочется верить, что это неостановимо.

* * *

Вернусь к тому, о чём рассказал в начале этих замечаний, - к юбилею своего знакомого поэта. Я хотел было тогда совместить полезное с приятным - встретиться на этом

Личный фонд, или Отпуск на Канарских островах

вечере с одним литератором из «параллельной» писательской организации и забрать у него вычитанную корректуру. Попытался договориться об этом по телефону.

- Я? На юбилей?! - кричал он мне в трубку. - Да ты что? Да ведь там здороваться придётся с... (и перечислил с полдесятка своих коллег по писательскому Союзу). Да я и на собрания из-за этого стараюсь не ходить - чтоб не здороваться...

Вот чего я больше всего боюсь - вражды, отчуждённости, недоброжелательства со стороны товарищей по литературному цеху. Нашим коллегам из местной организации Союза писателей России (в шутку я зову их «братья по разуму») труднее, чем нам. Их гири тянут вниз не самые лучшие «традиции» СП СССР - этого «министерства литературы», пронизанного в последние годы своего существования номенклатурностью и групповщиной. Взаимная неприязнь, царящая среди наших коллег, стала уже выплёскиваться на страницы местных и московских газет. Нездоровая обстановка в местных организациях СПР не только в Омске, но и в Тюмени, Вологде, Орле, Иркутске, Красноярске, Смоленске... Горько наблюдать всё это. И если вдруг я почувствую, что нечто подобное начинается и у нас, - тотчас же сниму с себя все свои председательские «полномочия» и присоединюсь к тем, кто ни на какие юбилеи и собрания не ходит. Займусь исключительно личными литературными проектами, которых у меня в голове трепыхается ещё немало, но которые пока по разным причинам всё откладываются да откладываются...

Но пока, слава Богу, я счастлив, что в нашей писательской организации окружен талантливыми людьми, являющимися моими настоящими друзьями и единомышленниками.

Не так давно была в телевизоре такая, как сами телевизионщики говорят, «картинка»: Ахмадулина целовала... Распутину. Ни за что бы не поверил, если б не видел это

Александр Лейфер

собственными глазами. В тот вечер Валентину Григорьевичу вручали премию Солженицына. Потом «Литературка» в своём отчёте с вручения акцентировала внимание не столько на самой премии (и так ясно, что она более чем заслуженна), сколько на том, что чуть ли не впервые за десять лет «встретились два враждующих писательских лагеря». На том, что взглянули друг на друга наша Василенко и руководитель «идейно» как бы «оппозиционного» Союза Валерий Ганичев.

А ведь ещё недавно, осенью 97-го, сидел я с гостевым приглашением в кармане на выездном омском пленуме «их» Союза, слушал ораторов, смотрел на тех же Ганичева и Распутина, державно, по-генеральски расположившихся в президиуме. И вспоминал Иркутск конца 1971 года, косматого хмельного Сашу Вампилова, познакомившего тогда меня с не таким ещё знаменитым Распутиным. Вспоминал иркутскую газету, где именно в те дни, в ноябре 71-го, были впервые «с продолжением» напечатаны «Уроки французского», задымлённый десятками сигарет номер «Ангары», где я ночью, проводив сильно тяжелую ораву гостей и подержав голову под холодным краном, начал наконец читать эту газету. И не смог потом заснуть до самого утра, несмотря на усталость...

- Слушай, - ткнула вдруг меня в бок сидящая рядом знакомая библиотекаря, тоже пришедшая на писательский пленум посмотреть на столичных знаменитостей, - а ведь все они ведут себя так, будто вас и не существует.

Я отшутился, вытащив свой пригласительный билет, - мол, не тайком сюда пришёл, а раз пригласили, - значит, всё-таки помнят, имеют, так сказать, в виду. Но сам подумал, что замечено-то точно.

Трёх лет не прошло - начались демонстративные великосветские поцелуи. Поцелуи, конечно, не показатель, но плохой мир всё же лучше хорошей войны.

Мы же тут, в наших омских палестинах, хоть и не целуемся, но и врагами нас никто пока не называет - повода не даём. Не смешим честной народ - не играем в литературную борьбу местного разлива, не шумим, как воробьи в вениках.

Да, разные мы люди. Но ведь это не повод для того, чтоб собачиться. Наоборот, хорошо: стало быть, не сбылась заветная мечта Козьмы Петровича Пруткина о введении единомыслия в России. Не ввели - как ни старались семьдесят с лишним лет.

А читателю наплевать, в каком мы Союзе, читателю хорошие книги подавай...

* * *

Должно быть, раз уж об этом упомянуто, стоит рассказать о своих личных литературных заботах на сегодняшний, так сказать, день. Хотя говорить об этом побаиваюсь - уже обжигался. Скажешь, что пишешь одно, а получается потом совсем другое или (что - увы - чаще всего) не получается вообще ничего.

Одну за другой начал две вещи. Первая называется «Богородская трава» (выше о ней уже было сказано). Начать другую натолкнуло меня то, что вдруг один из местных государственных архивов настойчиво стал предлагать мне открыть у них свой личный фонд. Прежде всего поразил сам факт: где-то, на каких-то полках будут копиться связанные со мной и с моими делами бумаги - рукописи, десятки писем от разных людей, личные документы, материалы к вышедшим книгам... Я же в это время буду продолжать жить своей жизнью. А когда в конце концов отведённое мне время закончится, на эти полки переместятся и другие мои бумаги и документы, которые были мне нужны до самых последних дней. И, может быть, когда-нибудь потом кто-нибудь любопытный станет перебирать всё это...

Не скрою: особый шарм данной истории (в моём, во всяком случае, понимании) придаёт то обстоятельство, что лежать мои бумаги будут не где-нибудь, а в здании бывшего архива обкома КПСС. Именно там располагается теперь госхранилище, заинтересовавшееся моей скромной персоной. А

ведь при коммунистах мне, беспартийному, по инструкции и входить-то туда было нельзя. Сотрудники архива ставили свои подписи под секретным стандартным предписанием, где ясно было сказано: «Хранить в строжайшем секрете... все сведения, касающиеся Омского обкома ВКП(б) и его работы, ни под каким видом их не разглашать и ни с кем не делиться ими». Но, как говаривал Карамзин, в России всегда было спасение от дурных законов - дурное их исполнение. Конечно же, когда мне требовалось, я входил под эти священные своды. Но каждый раз - только в порядке исключения и благодаря особому расположению ко мне милейшей директрисы сей партийной цитадели - Веры Францевны Садовской (1921-1979 гг.). Если бы не Вера Францевна (царство ей небесное), если бы не моя профессиональная журналистская наглость, не пустили бы и на порог.

А вот теперь разлягутся мои легкомысленные бумаги рядом с протоколами партийных собраний, стенограммами отчетно-выборных конференций и прочими совсекретными коммунистическими документами. Полный кайф, как говорит мой младший сын.

Подготовка предназначенных для архива старых бумаг, напоминающих многие обстоятельства, связанных с десятками интересных людей, и натолкнула меня на идею еще одного сочинения; называться оно будет, как, может быть, кто-нибудь уже догадался, «Личный фонд». Смысл у названия, конечно же, «многослойный». Написал вчерне пару глав, пока на этом остановился.

В эту «пару глав» вошел рассказ о том, как и зачем я впервые попал в партархив (здесь как раз и будет о Вере Францевне Садовской), и рассказ о замечательном художнике Коле Брюханове, о моих, хоть и мимолетных, но таких для меня значительных встречах с ним. Написаны также первые страницы о коллеге и друге Брюханова - Николае Яковлевиче Третьякове - талантливейшем и значительнейшем

омском художнике. А с ним познакомил меня не кто иной, как Вильям Озолин - поэт и мой многолетний друг...

* * *

С чего это вдруг я решил писать о Брюханове? Да просто потому, что сравнительно недавно был на посвященном художнику вечере воспоминаний, который проходил прямо на его выставке, в музейном зале, где со стен смотрели на нас его прекрасные полотна.

О Брюханове я узнал впервые в Казани. В 1962 году, закончив школу, уехал туда учиться в университете. Читал я тогда много, зверски много. Научная университетская библиотека, второй читальный зал, её генеральный каталог и справочно-библиографический отдел - пожалуй, главное из того, что было тогда в моей жизни. Я выжал из этого всё, что было можно, и, пожалуй, данный пункт собственной биографии - единственный, в котором мне не в чем самого себя упрекнуть: правильно читать и пользоваться библиотекой научился именно в студенческие годы.

При этом оговорюсь, что неким сухарем и книжным червём представлять меня не стоит. Я был не дурак выпить, ходил с друзьями на погрузку-выгрузку, бывал в казанских театрах и на концертах, «на полном серьёзе» с первого же курса ухаживал за своей будущей женой, которая училась со мной в одной группе. Мы с ней не пропускали ни факультетских вечеров, ни просто субботних танцулек в нашем общежитии. Кроме того, я довольно активно печатался в газете «Комсомолец Татарии», уже пописывал кое-что и «для души»... Но со скучных лекций сбегал чаще всего не куда-нибудь, а всё в тот же тесный читальный зал № 2, находившийся на втором этаже старинного, расположенного в университетском дворе библиотечного корпуса, построенного еще самим Лобачевским в те времена, когда он был ректором Казанского университета.

На дворе стояли весёлые хрущёвские времена. В студенческих столовых Казани хлеб был бесплатным, стала большой, двухтетрадной «Литературная газета», а все «толстые» журналы продавали в киосках «Союзпечати», шла вечная интеллигентская охота за хорошими книгами. Я ходил зимой в осеннем пальто (после Омска погода в Казани казалась мне помягче), книги покупал редко, но в воскресный день всегда находил пятак на газету «Правда». Именно ЦО (центральный орган) родной партии был, выражаясь её же языком, моим «компасом в книжном море»: по воскресеньям выходила полоса «Литература и искусство», и я, прочитав её, шёл на другой день всё в тот же второй читальный зал и заказывал всё, что в этой самой полосе ругали её записные литкритики. Попадание было всегда в яблочко: хлеб свой эти «наемные убийцы» ели не даром, нюх у них был чуткий - стойка делалась обязательно на что-то свежее, интересное, необычное и - как правило - талантливое. «Правде» (иногда с этой же целью - получить подобную «кривую» ориентацию - я заглядывал ещё и в «Советскую культуру») обязан я нужным направлениям в чтении, самообразовании - самообразовании литературном, а в конечном итоге - и политическом. Думаю, что так же поступали тогда сотни и тысячи других молодых людей во всём нашем огромном СССР. Спасибо тебе, «Правда», «любимая газета миллионов» (кажется, именно так рекламировали ЦО в период подписных кампаний)!

(В скобках замечу, что был ещё один источник, но уже не искажённый, не такой, как «Правда», которую следовало понимать с точностью до наоборот, а вполне прямой и самодостаточный - мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь», именно в мои студенческие времена с продолжением печатавшиеся в «Новом мире». Номера журналов, занимаемые Главлитом (т.е. цензурой), обычно задерживались, порой надолго, на несколько месяцев, сам текст, как мы

теперь уже знаем, подвергался жестокой кастрации. Но тем не менее - получив очередную книжку «Нового мира», я начинал читать её именно с Эренбурга, а читая, клал рядом лист бумаги и выписывал на него фамилии совершенно незнакомых, не встречающихся в читаемых нам университетских лекциях писателей, художников, философов - и тут же шёл искать эти фамилии в каталожных ящиках нашей замечательной библиотеки. И опять же уверен, точно так же делали тогда многие тысячи других советских читателей. А я плюс ко всему ещё изобрел себе тему курсовой работы, связанную с историей оформления (оформления!) отечественной периодической печати советского периода и по этому поводу выправил разрешение этой самой периодической печатью пользоваться. И это в то время, когда студентам журналы и газеты, выходившие с 1918 по 1958 год, не выдавались. И директор библиотеки отношение мое подмахнул! Хотя, конечно же, знал, что я там мог вычитать. Многое из журналов этого периода начало перепечатываться только во времена перестройки, а кое-что перепечатывается и сейчас.)

Так вот, о своем земляке Брюханове я узнал именно в Казани. Мой дружок - учившийся в нашей же группе Витка Лукашов, такой же запойный книголюб и воскресный ходок за центральными газетами, как и я, со словами «Смотри, что там у вас творится», сунул мне под нос «Совкультуру», где была напечатана неподписанная (но довольно для неподписанной большая) статейка про омских художников, про какую-то их скандальную выставку, вызвавшую якобы возмущение омских зрителей тем, что произведения, на ней показывающиеся, искажают образы советских людей - наших славных современников. Фамилия Брюханова упоминалась неоднократно, причём каждый раз в ругательном контексте. Подписи под статейкой, как я уже сказал, не было, значилось лишь: «Омск». Пахло от всего этого нехорошо.

Но я вряд ли запомнил бы эту заметку, не попадись она мне на глаза ещё раз. Причем произошло это лет через десять и не где-нибудь, а... в мастерской самого Брюханова, и показал мне её не кто-нибудь, а сам Коля. Но сперва об одном разговоре, который произошёл после того, как в самом начале 1969 года меня, литсотрудника «Омской правды», перевели работать из отдела информации в отдел культуры, в результате чего я стал чаще бывать на различных художественных выставках и писать о них. Что, оказывается, тотчас же было, кем надо, замечено.

Лет тридцать с лишним уже прошло, а вспоминать об этом разговоре до сих пор неприятно. Разговаривали со мной два корифея местной художественной жизни. Оба уже отравились в мир иной, поэтому обойдёмся без фамилий. Впрочем, не в фамилиях и дело, а в самой атмосфере лет, в самой обстановке...

Убей не помню, для чего я пришёл в Дом художника в тот раз. Должно быть, и скорее всего, - на очередной вернисаж. Видимо, ходил с блокнотом возле картин, задавал вопросы. И как-то незаметно обнаружил, что со мной знакомятся, говорят, что, мол, читают мои публикации, спрашивают, почему никогда не захожу в мастерскую? И тут же приглашают и ведут из зала куда-то наверх. И вот я уже в мастерской одного из вышеуказанных корифеев (а второй - рядом), и уже чаёк кипит, и кое-что покрепче появляется. И без особых подходов, мягко, но вполне чётко меня начинают «ориентировать»: про кого не надо писать, про кого надо - это, как бы само собой вытекает из создавшейся ситуации: конечно же, писать надо про хозяина мастерской, про его коллегу, в чью мастерскую мы вскоре переместились. («Вы почаще, почаще приходите, - мы вас со всеми познакомим».) Но главное не это, главное - чтоб я усёк и запомнил, про кого писать не надо. Не надо про Брюханова. Не надо про Третьякова. Про Кукуйцева. Про... И куда, помню, подевались у моих собеседников и академическая мягкость и внешняя

мудрость, и неторопливая вежливая манера в разговоре - всё, что так приличествовало их сединам и положению. Всё сдуло той злобой, с какой произносились эти фамилии. «Это уже клиника, психобольница... Это деградация... Экспрессионизм... Хулиганство... Формализм...» Действовал на пожилых мастеров кисти и коньячок, я же мог тогда выпить (особенно - на халяву) хоть ведро. И, конечно, тут же сработала старая студенческая, воспитанная газетой «Правда», привычка - воспринимать такие оценки «с точностью до наоборот». Визит в мастерские маститых только подхлестнул моё желание побыстрее познакомиться с Брюхановым и Третьяковым.

...Прошло ещё с полгода. И я стал бывать в брюхановской мастерской.

Впервые меня привёл сюда поэт Разумов, тоже Николай. И потом мы приходили к Брюханову чаще всего вместе с ним. Садись в знаменитые брюхановские, выделанные из корневищ кресла, отогревали принесённым вечно хмурого, вечно чем-то угнетённого хозяина, а потом, посидев, шли к картинам, разворачивали их от стен и смотрели, смотрели, смотрели... В тот же раз Брюханов был на взводе, он разомлел - и не только от выпитого, а и от того, что мы особенно долго ходили по мастерской и в который раз смотрели его вещи. Они все тогда стояли там - некупленные и непристроенные: и «Доярки», и изруганный вдоль и поперёк за «искажение образа» и формализм «Ветеран войны» - любимая моя брюхановская работа, и «Портрет архитектора», и «Славянский марш». Мы смотрели и, конечно же, что-то говорили при этом друг другу.

И тут Брюханов полез куда-то в стол, долго что-то там искал, вытащил какую-то папку, принялся ковыряться в ней. «Давно хотел тебе показать, вот посмотришь, - бормотал он при этом, - считаешь, ты же грамотный...». Наконец он

вытащил газетную вырезку, всю потрёпанную, захватанную и потертую на сгибах, - видимо, вытаскивалась и читалась она часто.

«Нет, вы скажите, чё им от меня надо? Чё им надо?» - всё повторял Коля, пока я читал текст, с изумлением узнавая его. Это была та самая статейка из «Советской культуры», которую когда-то, лет десять назад, сунул мне под нос мой кореш Витька Лукашов в Казани в читальном зале университетской библиотеки.

«Нет, ты мне скажи: чё им от меня надо?» - продолжал наседавать на меня Николай. Что я мог ему объяснить?..

... Это мистика, но ещё лет через пятнадцать, когда давно уже не было в живых Брюханова, но когда наконец его помаленьку начали вспоминать, история с этой газетной статейкой вновь вылезла на свет божий и вновь коснулась меня. Было это незадолго до смерти близкого мне человека, имя которого я называть тоже не хочу. Не помню, в связи с чем в нашей литературной компании заговорили о Брюханове, и я рассказал историю о хранившейся у него затёртой вырезке. Тут же, конечно же, стали гадать, кто всё-таки написал эту злосчастную статейку, которой покойный художник придавал такое значение, - ведь раз под ней стояло «Омск», значит, наверняка, и писал кто-то из местных. Кто?

Разговор был застольным, перескакивающим с одного на другое. И уже в конце вечера (или вернее сказать - в начале ночи) тот самый человек, имени которого я сейчас не хочу называть, уже в прихожей, одеваясь, сказала, когда мы остались вдвоём: «А ведь это я». - «Что «я»?» - «Я тогда написала в «Совкультуру»...» - «Как же ты могла?» - «А очень просто. Вызвали к редактору, а там у него собкор «Культуры» сидит по нашему западно-сибирскому «кусту», из Новосибирска специально приезжал. Ну и заставили... Думаешь, меня это не мучает?»

«Ладно, замнём для ясности», - сказал я тогда своей старой подруге. Хотя сказать нужно было совсем другое. Надо

было сказать, что после этой распроклятой заметки ею было написано столько смелого, яркого и неземного, столько пережито и так много сделано добрых дел, что грех давно и с лихвой замолен. Надо было всё это сказать. Но не сказал. А теперь уже не скажешь - некому. Года через полтора похоронили мы и её. Встретилась ли она там с Колей? Он-то простил ли её?..

...И последнее. Передо мной - красивое «Приглашение», по которому я пришёл на уже упоминавшийся в самом начале рассказа о Брюханове вечер воспоминаний. «Уважаемый А. Э., - сказано в нём, - приглашаем Вас на выставку, посвящённую 70-летию со дня рождения Николая Михайловича Брюханова (1928-1979)... 26, 27, 28 февраля на фоне выставки пройдут Третьи омские искусствоведческие чтения «Н. М. Брюханов и его время».

Брюханов и его время... И наше, стало быть, будь оно все неладно!

А рядом - программа чтений «Брюханов и его время». Переписывать её здесь нет никакого смысла, но названия нескольких сообщений всё же приведу. Например, «Творчество Н. М. Брюханова. Монументальные тенденции». Или: «Анализ пространственно-временной структуры работы Н. М. Брюханова «Северянка». Или: «Проблема антологизма художественной картины мира (к истории малоизвестного портрета кисти Николая Брюханова)».

Знал бы всё это Коля. Послушав такие доклады, он первым делом, конечно же, постарался бы побыстрее и покрепче «накушаться» - чтобы прочистить мозги от всех этих искусствоведческих сложностей. Шутка.

А вот это уже совсем не шутка. В программе данных чтений названо такое, например, сообщение - «Культура и власть: государственно-политический контроль за творчеством интеллигенции (от оттепели к застою)». А рядом значится и сообщение о первой зарубежной выставке омских художников. Оно бы ничего, но пикантность момента заключается в

том, что второе сообщение - о выставке в Пеште - сделала госчиновница высокого ранга, которая в описываемые времена как раз и была среди тех, кто осуществлял этот самый госполитконтроль за творчеством Коли Брюханова, т.е. во время худсоветов не пускал на выставки его работы, а то и снимал их с уже развешанных экспозиций. Из сообщения же этого стало ясно, что когда в 1974 году приспела нужда посылать работы омских художников в «братский» Пешт, выяснилось, что посылать-то, кроме тех, кого тут неустанно «контролировали» (т.е. гнобили и всячески зажимали) - Брюханова, Третьякова, Кукуйцева, Штабнова и Черепанова - так вот, кроме них, посылать особенно некого. Произведения так любимых местным начальством правильных и верных соцреалистов за кордоном котироваться явно не будут. Вот ведь какие дела...

В программе этой упоминается и моя фамилия. Предполагалось, что на вечере воспоминаний «Возьмёмся за руки, друзья» что-то скажу и я. Но желающих вспомнить и Колю, и те не такие уж, в общем-то, далёкие времена, было много и без меня. И решил я тогда, что уж лучше вспомню позже - в более привычной, письменной, так сказать, форме.

* * *

Иногда мучительно хочется запечатлеть, зафиксировать на бумаге, оставить в некоей всеобщей памяти человека, пусть ничем особенным и не примечательного, но про которого и вспомнить-то никто, кроме тебя, сегодня уже не сможет. Например, недавно, стесняясь не за себя и даже не за хозяина роскошного кабинета, в котором я оказался по его приглашению, а как бы за саму ситуацию, сидел я в неудобном, утопляющем кресле и пытался участвовать в весьма странной беседе. Нас всё время прерывали - то один за другим входили бесшумные сотрудники с бумагами, которые мой собеседник, цепко оглядев, тут же подписывал, то начинал

верещать один из стоящих и лежащих на столе телефонов.

В то, о чём говорится по телефону, я, естественно, не вслушивался. Но этот разговор, который нарочито вёлся вполголоса, наоборот, залез в уши: хозяин кабинета просил узнать для него темы школьных сочинений, которые завтра будут писать одиннадцатиклассники на своем первом выпускном экзамене.

И я вдруг мгновенно вспомнил, как сорок лет назад нам узнала такие же для всех остальных секретные темы таких же сочинений Галя Антипина, вспомнил саму Галю - хорошенькую, длинноногую девушку, жившую совсем недалеко от нашей школы в старинном двухэтажном деревянном доме, принадлежавшем до революции какому-то купцу. Вспомнил, как вскоре после выпускных экзаменов провожал её с танцев. Мы шли по ночной улице нашей окраины, и на свет фонаря прямо перед нами вдруг выскочил откуда-то ёжик. Я поймал его своим пиджаком, и он сердито ворочался на скамейке возле Галиного дома, спелёнутый этим пиджаком, пока я прощался с Галей и наспех целовал её в чуть пахнущие помадой губы. Ёжик, сбежавший потом куда-то через несколько дней, тогда интересовал меня, восемнадцатилетнего дурачка, больше, чем эти губы.

Больше я никогда не видел Галю. Уехал учиться в другой город, а приехав на каникулы, узнал, что она погибла. Галя была велосипедисткой, перворазрядницей. На сборах во Фрунзе она возвращалась вместе с другими с загородной тренировки на базу, и в этот табунок велосипедисток врезался на своем самосвале не справившийся с управлением пьяный водитель. Погибла только наша Галя, в тот же день она умерла в больнице. Об этом рассказал мне наш одноклассник Владька, который жил в том же деревянном доме на 2-й Линии, что и Галя. При этом он добавил, что мать Гали сошла с ума и находится в психиатрической больнице, а её муж (Галиным отцом он не был) куда-то делся, и их

квартира стоит пустая. Не верить в сумасшествие Галиной матери было никак нельзя, т.к. Владыкина мать работала медсестрой в той самой психобольнице. Больше никого в этой семье не было.

И вот я, седой и уставший, чёрт знает что только не повидавший и кого только не похоронивший, сижу и вспоминаю промелькнувшую когда-то в моей жизни коротко стриженную девушку Галю, и сердце сжимается от простой мысли, что скорее всего к ней и на могилку-то давно уже сходить некому...

Лица её не помню, фотографии нет. А на выпускной коллективный снимок она не попала да и попасть не могла, поскольку ушла из нашей школы, преобразовавшейся в одиннадцатилетку, в вечернюю и доучивалась там, днём работая секретаршей в каком-то районо. Именно там, на службе она и узнала тогда для нас темы выпускных сочинений. А мы, оповестив всех до одного в нашем классе, всю ночь готовились потом к этому сочинению. Я, помню, писал что-то про лирику Пушкина.

Куда же ты делась, Галя?..

* * *

Давно уже собран материал для большого очерка (может быть, это получится целая книга) «Этот странный генерал Казимирский». Жандармский генерал Яков Дмитриевич Казимирский, который одно время жил в Омске, действительно был для своего времени, а главное положения, человеком странным. Вся Россия в николаевские времена была поделена на восемь жандармских округов (примерно, как нынче плюс Туркестан, ведь новое - это хорошо забытое старое). Он руководил самым крупным округом - Сибирским. Большой пост и голубой мундир не мешали ему дружить со многими жившими в Сибири на поселении декабристами, с риском для себя помогать им. Когда-то, собирая материал о Казимирском в архивах и библиотеках не только Омска,

но и Tobольска, Москвы, Ленинграда, я заранее ломал голову - как же мне ухитриться и рассказать в положительном ключе о жандарме, царском, так сказать, сатрапе, и рассказать так, чтобы это можно было потом напечатать. Сейчас этой проблемы не существует: пиши, о чём хочешь. А вот не пишется... И вот лежит уж который год эта толстенная папка с собранными «казимирскими» материалами и мучает меня самым своим существованием.

Почему так получается? Почему подолгу, порой месяцами я не притрагиваюсь к самой главной своей работе? Сказать, что мне не хватает на это времени, значит, сказать только половину правды. Да и вообще - чисто внешне у меня сейчас прекрасные условия для работы. Может быть, впервые в жизни я получил возможность сесть за письменный стол (а их у меня теперь, как и мечтал когда-то, целых три! - очень удобно, когда делаешь сразу несколько дел), сесть и... закрыть за спиной дверь. А где и как я только не писал до этого - в читальном зале библиотеки, в редакционном кабинете после рабочего дня, в квартире уехавших родственников, на собственной кухне, когда семья утомилась и заснула, в проходных комнатах... Чаще всего в это время за моей спиной ходили, разговаривали, в лучшем случае - похрапывали...

А теперь в моей комнате (как-то стесняюсь называть её кабинетом - ведь я не профессор, не зубной врач и не начальник) наконец-то собраны все мои книги, протяни руку - и бери любую. Тут же рядом - все бумаги, архив, заготовки. Одним словом, - сиди, пиши! А пишется плохо, медленно. Внешняя причина этому всегда найдется: то очередная заказная книга (жить-то на что-то надо), то дела писательской организации, то обещание прочитать чужую рукопись... Но ведь рано или поздно и заказная книга заканчивается, и дела все как-то сами собой переделываются, и рукопись прочитывается. И остаешься один на один с самим собой. И с

«Богородской травой», и с «Личным фондом», и с Яковом Дмитриевичем Казимирским. И, если уж совсем начистоту, то времени на них много и не надо. Два, три, четыре часа - не в день! - хотя бы в неделю. И дело бы потихоньку пошло.

Но пока не идёт. Или идёт плохо, с натугой, в лучшем случае - рывками. Нет в моей жизни, плюс к «кабинету», другого, видимо, главного - душевного, внутреннего покоя. А у кого он сейчас есть?

* * *

Много лет назад я получил письмо от московского писателя (в прошлом - омича) Виктора Григорьевича Уткова (1912-1988 гг.) - человека, которого считаю своим литературным учителем (о Викторе Григорьевиче, о наших взаимоотношениях и нашей семнадцатилетней переписке рассказано в очерке «Уроки», помещённом в моей книге «Вокруг Достоевского» и другие очерки», вышедшей в Омске в 1996 г.). Видимо, в ответ на какие-то мои жалобы он высказал очень важную, может быть, в какой-то мере и спасительную мысль:

«Ваши беды - пустяки. Не придавайте им особенного значения, конечно, неприятно, но что поделаешь. На пути наших кораблей столько подводных рифов и мелей, что никакая искусная лодка не спасет от них... Самое главное - это работать, не теряя веры, что твое дело нужно, что, кроме тебя, никто другой его не сделает».

Действительно, иной раз сидишь за рабочим столом в спящей квартире и, зная, что на свете уже написаны миллионы книг, зачем-то пишешь ещё одну. Может быть, только это несколько наивное убеждение (кроме тебя - никто другой) и спасает от соблазна махнуть рукой на всё, лечь спать, а наутро заняться каким-либо другим - более приятным и прибыльным - делом.

Омск, 2000-2004 гг.

Мэри Кушникова **КАРТОЧНЫЙ РАСКЛАД**

Повесть



Я только начала засыпать, как Виктор застонал и позвал: «Лю-а». После ранения и последующего инсульта он многие буквы не выговаривает.

Так, значит, надо приподнять подушку или повернуть его на другой бок.

Теперь я спала на шелковой зеленой кушетке, которую полюбила с первого дня, когда мы вселились в эту грандиозную спальню с широченной кроватью и неким современным намеком на балдахин. Теперь на нашей двуспальной кровати спит Виктор. Пока я добралась до него, он еще два раза раздраженно позвал: «Лю-а», «Лю-а».

Подошла к нему, тихонько взяла за руку и он слабо пожал мои пальцы. За годы нашей совместной жизни — каких-нибудь двадцать лет — он как-то странно усох. Из стройного, подтянутого, всегда выглядевшего мальчишкой, тридцатилетнего мужчины, он постепенно превращался в костистого, узкоплечего, но все же молодцеватого и еще покоряющего дам «кавалера», который более всего гордился своей спортивной выправкой. А теперь...

Теперь я легко повернула его со спины на бок, почувствовав, как некогда литые мышцы одрябли. Он еще раз пожал мне руку и я вспомнила, как мне нравились когда-то эти небольшие с тонкими пальцами руки, я даже приводила их как довод, когда мой отец, потомственный дворянин, строго-настрого скрывавший свое опасное происхождение, говорил про Виктора, что он, «как бы ни пыжился, все равно хамское отродье».

Раздражение отца было понятно — наша с Виктором «помолвка», если это можно было так назвать, длилась чуть не

десять лет и временами прерывалась напрочь, по причинам отнюдь не моего нежелания выйти за моего «суженого», а по каким-то таинственным препятствиям, возникавшим в ходе его военной карьеры. В конце концов он даже сказал мне, что жениться раздумал.

За десять лет чувство любой силы укладывается в спокойное русло и я ответила:

- Что ж, может, так и лучше. Хоть останемся друзьями. А то, глядишь, поженились бы и через год ненавидели друг друга...

Виктор вздернул подбородок, - не очень решительный подбородок слабовольного, а потому невероятно упрямого человека:

- Я так и знал, что ты именно что-нибудь подобное и скажешь. Это не я, а ты не уверена в своих чувствах, потому я и раздумал, - найдешь кого поплечистее и тут же бросишь меня...

Не знаю почему, но такой поворот никак не показался мне убедительным и даже меня насторожил: Виктор как бы изворачивался, причем довольно неумело...

Но именно после этой ссоры через месяц мы поженились.

И я все более и более попадала под его обаяние. Мне нравились его шелковистые и очень светлые волосы, янтарного цвета чуть близко посаженные глаза, выражение которых менялось так мгновенно, что меня это даже пугало. Мне нравилось смотреть, как он неумело прихорашивается у зеркала, надев военную форму – она к нему очень шла.

Штатская одежда на нем всегда выглядела «с чужого плеча» (так говорил мой отец), Виктор, что называется, «не умел носить вещи». Да и откуда бы уметь?

Мы с детства жили в одном дворе. Хоть никогда не дружили и даже не играли вместе. У нашей квартиры сохранился парадный вход и окна выходили на улицу, а у него – в каменный колодец двора, и, – уж точно не помню, – кажется,

он с отцом и матерью долго жили в густо заселенной коммуналке.

Отец Виктора был обувщик-модельер и обслуживал бомонд той поры, когда даже водитель какого-нибудь среднего чиновника уже считался, хоть косвенно, а причастным к таковому. А мать была – «стряпухой». Так называл ее мой отец.

На самом же деле она слыла персоной о-го-го! Кормила в последние пару лет жизни Вождя Всех Времен и Народов – говорили, что он только ей и доверял, а после него, как бы по наследству, всех его преемников.

Когда мы с Виктором, наконец, поженились, его родителей уже не было в живых, но за десять лет помолвки я успела их узнать, и они не нравились мне, а я – им.

В общем, хорошим манерам обучать Виктора было некому. И теперь, когда его родителей уже не стало, выпады отца в их адрес я считала некорректными – какие уж счета с усопшими. И иногда даже говорила отцу об этом.

А он, строго глядя мне «глаза в глаза», загадочно усмехался и спрашивал:

- А ты не удивляешься, - как, а, главное, куда выселили из коммуналки жильцов и отдали сапожнику и стряпухе целых шесть комнат?

И я – удивлялась. Потому что у моего отца – мать давно умерла и он воспитывал меня один «в мужском духе», - у моего отца, видного авиаконструктора, который всю жизнь работал в каком-то таинственном КБ, комнат было всего три.

- А почему твой Викентий (папа упорно называл Виктора Викентием, так звали буфетчика его деда а моего прадеда, оставшегося в памяти семьи как вороватый, но исключительной преданности слуга) – так вот, почему твой Викентий вдруг исчезает на два-три месяца и даже тебе не позвонит?

- В самом деле – почему бы? – терялась я в догадках, но полагала, что у него какие-нибудь спортивные соревнования

за границей, а, может, и какое-нибудь новое увлечение...

Шли годы, я закончила Иняз, теперь английский и французский были мне настолько подвластны, что я всей родне на удивление, решила стать стюардессой.

А почему бы нет? Отец строил самолеты, а мне почему бы на них не летать? В топ-модели я не годилась, но мои 1,65 см при стройной фигуре, пепельно-золотистых волосах и темных – «как вишни», – говорил отец, – глазах, вполне подошли на конкурсе, так что я легко вжилась в полетно-кочевую жизнь.

И тут возникла проблема: категорически против был Виктор.

– Я – военный, понимаешь, а твои постоянные общения бог знает с кем, а особенно с иностранцами, – подножка в моей карьере. Ты про это подумала?

Подумала. Даже предполагала, что столь долгая помолвка и была, возможно, ответом именно на мое упорство. И – не только...

Потому что случилось непредвиденное. Как-то вежливый баритон пригласил отца по телефону в некое учреждение, которое добрые люди и поминать всуе опасались. Отец пошел по вызову и – не вернулся.

Я рыдала на груди у Виктора и он, успокаивая меня со всей нежностью, на которую только был способен, – ибо из нас двух я была «стороной, которая целует», а он – «только подставлял щеку».

Больше я никогда об отце ничего не слышала. Впрочем, «никогда» – не совсем верно.

Недавно, незадолго перед трагическим покушением на Виктора, его же стараниями, как он меня уверил, я, наконец, узнала, что отец якобы работал в секретном КБ аж в Казахстане, уже после распада Союза, где и умер от тривиальной пневмонии.

Рассказывая, Виктор глядел на меня своими янтарными глазами, в которых даже чуть проступили слезы, но губы – плотоядные губы, которые я так любила, сложились в столь

знакомую мне ужимку, которая появлялась в моменты растерянности...

* * *

Обо всем этом я думала сейчас, лежа на зеленой кушетке, – сон ко мне так и не вернулся, – надеясь, что ночь пройдет спокойно и что «Лю-а, Лю-а» не прозвучит больше в ночи.

И еще я кошунственно вглядывалась в непозволительные тайники своего сознания: а, в сущности, любила ли я Виктора? И если любила – то за что?

Может, именно потому, что он всего лишь «подставлял щеку» и был так изворотливо неуловим, когда я пыталась перевести разговор на наши отношения? Которые давно уже были столь интимными, что я убедилась: Виктор непревзойденный любовник...

При его холодноватом, размеренном поведении и упорядоченном до педантизма способе жизни, такие взрывы страсти были просто непредсказуемы, неожиданны, и потому ошеломляли.

Как-то, лежа в моих объятьях, он резко высвободился, подошел к окну и закурил.

– Что? Что? – всполошилась я и подошла к нему, обняла.

– Понимаешь, я наложил на себя аскезу. Когда мне предстоит важное дело, я не могу позволить себе никаких послаблений, никаких вольностей. Ни в постели, ни даже в еде.

– А тебе предстоит важное дело? – робко спросила я.

Как-то так повелось, что он никогда не говорил мне о своих делах. Разве что намеками, как бы вскользь. Впрочем, – и я о своих тоже. Что было естественно: при моей кочевой профессии «монашеское» поведение никто из коллег бы не приветствовал, а умеренно вольное, что царило в нашей среде, взбесило бы Виктора.

- Да, и вот что, - сказал он, - если мне предстоит то, что я задумал, - а раз задумал, значит, сделаю, - ты немедленно уходишь из авиафлота.

Я зажгла свет, на губах его блуждала уже знакомая мне чуть растерянная, не то ужимка, не то улыбка, будто он готовится сказать что-то бесстыдно-циничное, но предпочитает умолчать, - пусть собеседник сам догадывается, что он имеет ввиду.

* * *

На том я, наконец, и уснула в тот вечер. И зачем только ворошу сейчас все это? Неужели мне так уж нужно для самой себя найти оправдание собственному смятению?

- «Пи-и», и опять «Пи-и» - послышалось с кровати и я подала воды.

Снова легкое пожатие руки, неприятно влажной.

* * *

Утро началось, как обычно. Звонки, врачи, процедуры. Теперь, когда Виктор остался не у дел и вообще лишь чудом уцелел после покушения, никто особенно не уговаривал его лечь в Правительскую больницу.

Новый Правитель не имел никаких, ну прямо-таки никаких оснований заботиться о Викторе, и мог лишь сожалеть, что бедняга так некстати остался жив...

Поскольку мне давно уже отведена была роль «первой леди» всего лишь на приемах и официальных выездах, никаких прочих внутрисемейных привилегий мне не полагалось. Мое мнение никто не спрашивал. Даже дочери, пока учатся в престижных колледжах, разумеется, в Штатах, мало во что меня ставят. Так, - придаток к их всемогущему, прославляемому, убогающему отцу.

Что поделаешь, - у него харизма...

А между тем мне немало что было видно и понятно. Нынешний Правитель, во всей его ничтожности, в сущности,

всего лишь косвенная «креатура» самого Виктора, не в том смысле, что Виктор его поощрял, выдвигал, или даже назначил преемником «в случае чего», как это получилось с ним самим при Прежнем Правителе, который Виктора, можно сказать, «сотворил».

И которого Виктор мог спасти, когда поднялся бунт, но – не спас. Даже скорее «подогрел» расправу. Как он рвался к власти – я только теперь понимаю.

Бунт – плохой прецедент. Был один – не замедлит и другой. Неужели же Виктор, проницательность ума которого не уставали превозносить газетчики и подчиненные, не додумался, что новая пена для бритья «Витек», парфюм для мужчин «Витек», - мужские зонтики «Витек» - на первый взгляд пустяковые игры – но они же и детонаторы взрыва, который, как я чувствую, уже давно зреет...

И Нынешний Правитель, многие годы, - ибо Витя позаботился, причем умело, - чтобы его собственное правление длилось неприлично долго, - этот Новый Правитель, которого все это время высмеивали хором и порознь все, кому не лень, в угоду самому Виктору – на то была «отмашка свыше» – теперь навис над страной убийственной угрозой.

И породило его Витино тщеславие, уверенность во всевластии, непреодолимая симпатия к льстецам – причем, чем лезть была грубее, тем убедительнее для него звучала...

Чего стоили маечки с Витиным портретом, который получал в подарок каждый, кто покупал мыло «Витек», так что вся пацанва, предоставив мыло отцам, эти заветные маечки напялила...

Я как-то попыталась поговорить с Виктором. Но он глянул холодным янтарным взглядом из-под тяжелых век и с той самой полурастерянной и полуциничной ужимкой ответил:

- Ты мне просто завидуешь. Ты как была *die Stewardess in blauem Dress* (он хорошо знал немецкий и эта песенка была в моде), так ею и осталась. Посмотри на себя. Расплылась, ни

шика, ни, - прости меня! - интеллекта, чтобы выполнять простейшие функции. Ну, скажем, хождения по музеям, или патронаж над детским приютом. Ну, я не знаю, - посмотри на других, поучись...

Так началось наше отчуждение.

Помню, как-то порылась в шкапулке, которую мне когда-то привез Виктор из Китая. Там хранились тринадцать толстых тетрадей - мои дневники за годы нашей бесконечной помолвки, в которых фиксировался каждый прошедший день. Кто кому первый позвонил. Каким голосом Он говорил - «ватным» (то есть чужим и безразличным) или «нашим», то есть чуть взволнованно и нежно. Кто и как закончил разговор.

... Первая ночь близости в день моего рождения.

... Неловкое «Вы», которое так и повисло между нами со следующего дня и чуть не до самого появления на свет детей, так что мы еще очень долго так и «выкали» друг другу.

А чего стоила твоя мнительность и даже суеверие...

Да, да, я гадала тебе на картах Таро и, как на грех, мои предсказания почему-то сбывались. Тогда ты еще не придумал себе «аскезу», так что, замыслив в общем-то черное дело по отношению к Прежнему Правителю, ты кинулся ко мне:

- Раскинь-ка мне твои волшебные карты!

И я раскинула. И ужаснулась. Виселица, топор и яд легли рядом, перемежаясь трон, скипетром и державой.

- Что будет со Стариком, - спросила я, - ты это хочешь узнать?

- Я уже знаю, - что. Но не знаю - как! - ответил ты с этой страшной твоей усмешечкой, вернее, сейчас это была откровенная улыбка, насмешливо-циничная.

- По картам выходит, что ему не жить! - сказала я, - и ты это допустишь?

- Делай, что должно, и да будет, что будет! - загадочно ответил ты и удалился.

А потом произошло все, что произошло...

И вот уж ты, скованный, сам себе не веря, шествуешь под знамена приносить присягу, прошагав множество зал и коридоров, помнящих венценосных владык.

И тут только, на фоне окружающего величия, я заметила, что ты, в общем-то, даже ниже среднего роста...

* * *

День прошел, как обычно. Звонили дочери из заморских стран, где уже давно проживали и обзавелись будущими кандидатами в мужья.

Вечером предстояло самое тяжкое: омовение. Санитар, которого мы еще содержали при доме, перенес тебя и уложил в ванну розового мрамора.

Ты, который любил пощеголять на публике своей неприязнительностью - «я, ведь знаете ли, вырос в коммуналке» - ты страстно любил роскошь. Как бы самому себе возмещая эту самую коммуналку с окнами в каменный колодец двора.

Так что ванну тебе добыли в одном из столичных дворцов-музеев, настоящую, двухсотлетней давности, мраморную, на ножках в виде львиных лап из позолоченного серебра.

И мне предстояло тебя мыть. Мыть твоё тело которое до первой близости я так страстно желала, а ты все откладывал этот миг, ускользая, ускользая, как бы боясь слишком прочно связать себя со мной.

Тело, о котором я писала столько безумных слов в угаре неутоления: о детской складочке на белой полноватой шее, о золотистых твоих волосах, которые сейчас все более редуют на макушке, предательски обещая будущую лысину. О необыкновенном жаре, что исходил от тебя, когда мы лежали рядом, так что казалось, будто сверхъестественный очаг пылает в тебе.

... «С-п-у!», и опять «С-п-у!» - велел ты, и это значило, что надо потереть тебе спину.

- Не н-а-о к-е-п-о!

Ах, значит, я забылась и терла слишком сильно.

И тут вдруг вспомнила, как давным-давно, в первый год после нашей близости ты пожаловался на озноб и я предложила тебе полежать в горячей ванне. Это было на моей квартире, где мраморных ванн не водилось, но все было оборудовано с отменным вкусом – отец был великолепным дизайнером. Ты оставил дверь приоткрытой и тихонько позвал:

- А спинку потереть можете?

Я вошла и увидела тебя: ты стоял во весь рост и я поразилась твоему пропорциональному, даже гармоничному сложению – обычно, в одежде, пиджаки на тебе морщились, словно на два размера больше.

Только начала тебя намыливать – звонок по телефону. Ведь надо же, страстно ожидавшая столь редких интимных минут, я забыла выключить телефон, и что-то рывкнув в трубку, наконец, выключила.

Но настроение доверительности и томления минуло, ты дверь не запер, и уже лежал по горло в воде – сам, мол, справлюсь...

О, предательский дневник, как нектаги всплывают в памяти некогда написанные строки...

... А теперь ты, так скупно позволявший любить себя, лежишь тут - в моей власти. И я терпеливо и не «к-е-п-о» намыливаю поросшие золотистыми волосками руки, ноги, грудь. И не могу не признаться себе, что где-то в очень темной глубинке сознания копошиться маленькая брезгливость...

... «Герой-любовник» - называли тебя дамы дворцовой элиты.

Чем уж ты их привораживал, не знаю. После десяти лет помолвки и десяти лет супружества, прохладно-размеренного с редкими, но бешеными вспышками страсти, мне трудно судить...

Видно, дамы наслышаны были друг от друга только о вспышках. Иные особенности твоего характера оставались им неизвестны.

Омовение закончено. Зову санитаря. Вдвоем заворачиваем тебя в мохнатый японский шитый шелком халат, укладываем в постель. Целую тебя в лоб:

- Спокойной ночи, Витя, если что нужно – ты знаешь: я на кушетке рядом.

- А-и-о! – читай, «спасибо», почти засыпая, шепчешь ты. Я же уснуть не могу. И так каждую ночь.

Решаю ребус: «что было» (то есть, почему и как все произошло столь неожиданно), «что будет» (когда и куда Новый Правитель высылит нас из этой загородной резиденции, может, на нашу куда более скромную дачу, которую когда-то построил отец, а, может, куда-нибудь далеко-далече...).

И «чем сердце успокоится» (то есть – что с нами произойдет, учитывая стойкую ненависть, обуявшую толпу, называемую народом, которая еще вчера бесстыдно раболепствовала перед тобой)...

Когда я гадала тебе на картах Таро, сакраментальные эти три вопроса казались мне смешными и я внутренне хихикала. А теперь для нас, сегодняшних, ребус решался уж вовсе несложно. Но от этого мне было не легче.

Что было? А было твое неумное стремление ввысь. Это ты уговорил Старика затеять нелепую карательную акцию против арсаланов в Ледогории, где-то чуть не на Крайнем Севере. Но там водились алмазы - это многое объясняло.

Это ты, - весьма миниатюрный, - рядом с великаном-Стариком, надсаживая голос, грозился: «Мы загоним их на льдины, пусть по океану поплавают. Там самое им место!» И Старик одобрительно кивал.

Авторитет его падал – он дряхлел, и стае, какой является, наверное, любая толпа, требовалась срочно инъекция бодрости, которая горячит кровь, то есть покричать бы вслед кому-нибудь «ату его, ату!».

Требовалась маленькая, быстрая, блистательная «войнушка», чтобы генералам посыпались награды, а перед Дворцом гремело бы победное «ура!». И в перспективе – алмазы.

И все это Витя опрометчиво Старiku обещал. И толпа аплодировала. Но Старик был мудр и действовать не спешил. Так что вскоре перед Дворцом появились пикеты и надписи на плакатах требовали: «Старцев – на покой!» и «Ни пяди нашей земли арсаланам – пусть живут на льдинах!».

Вечерами Витя кривенько ухмыляясь, спрашивал:

- Каково? Как думаешь, уйдет Старик или упрется? – из чего я сделала вывод, что с пикетами основательно поработал сам Виктор, хотя и очень осторожно, так что и не догадаешься...

- А если не уйдет? – спросила я.

- Хуже будет! Сейчас самый момент. Я уговорю. Меня он объявил преемником, так что все по закону. Я ведь премьер – так положено!

- А если не уговоришь?

- Тогда его сметут, - не очень уверенно, но все с той же циничной усмешечкой сказал Витя. – Ты что, сомневаешься во мне?

Я не сомневалась. Я уже знала о его тайных вечерних переговорах в нашей же резиденции с пацанвой и юнцами подозрительного вида, в американских кепочках, которые они и в комнате не снимали, и с плакатиками, на которых красовался Витин портрет в адмиральской фуражке – он сам считал, что она более всего ему к лицу.

Вот этот портрет меня особенно и поразил. После дикого испытания лазерных пушек на собственных кораблях, когда погибли сотни людей, адмиралтейская фуражка над ликующим лицом – не слишком ли?

Но когда случилась эта великая беда, Витя укатил в отпуск в Болгарию и все вины и беды свалились на Старика.

Собственно, с этого и началось его падение. Якобы именно он приказал провести эти злосчастные маневры – что поделаешь, маразм...

Когда Виктор вернулся, загорелый, улыбчивый, перед окнами уже мелькали более категоричные плакаты: «Старика – на мыло!» и «Витек – наш защитник!», «Ни пяди земли арсаланам!».

Таким образом, «что было» - из серии карточного гадания – куда как ясно...

О бунте и вспоминать не хочется. Старика я любила и уважала, и мне было больно, что Виктор так легко им маневрирует. Расправу толпы с ним пережила как личное горе.

А вот – «что будет?».

Взгляд в окно: опять плакаты. Но иные, вовсе иные тексты на них: «Десять лет войны, а арсаланы - на нашей земле!» и «Тебе, что, Витек, льдин не хватает?».

И в конце концов: «Витек, слезай с трона – твоя льдина тебя ждет!».

Вот так.

Волна кровавого тумана вознесла Виктора и погубила Старика. Она же смела и «обожаемого Витька».

Попробовав крови, толпа жаждала ее еще и еще. А, может, уже поняла: «войнушка» не удалась и все Витины грозные посулы - обман...

Виктор сперва сохранял полную невозмутимость. Но тут произошло роковое!

Уж не знаю как, прорвав охраны и кордоны, в резиденции появился мой Крестный, дальний родственник и старинный друг отца, которого загадочное приглашение в Казахстан тоже не обошло, только что «пневмония» минула.

Он хотел говорить с Виктором, и я устроила эту встречу. Разговор был долгий, шепотом. Крестный принес портфель, который перед Виктором раскрыл, и оба они листали какие-то

бумаги. Потом Виктор извинился и покинул кабинет, бросив мне на ходу: «Твой Крестный уходит, иди прощаться».

Костистое Витино лицо как бы съежилось. Челюсти сжаты. Глаза почти закрыты тяжелыми темными веками. Теперь можно было представить, каким он будет в глубокой старости.

Я вошла в кабинет и обняла Крестного. Тот был бледен и взгляд его, суровый, когда я вошла, смягчился. Мне даже показалось, что в нем проглядывала жалость ко мне.

- Люда, если сможешь, приезжай завтра ко мне на дачу. Даже если со мной что-нибудь случится в эту ночь – все равно приезжай. В Атласе твоего отца, что он мне подарил, лежит для тебя конверт. Только не тяни, приезжай пораньше.

Он *(помолчав, как бы раздумывая, продолжить ли разговор)*: А теперь сядь и слушай, – только никаких реплик и никаких вздохов – уверен: твой, этот, нас подслушивает. Впрочем, здесь, наверное, техники везде хватает. Ты помнишь, когда во время вашей так называемой помолвки он уезжал несколько раз на два-три месяца? Вкратце: в Восточном Берлине шли чистки – многие хотели просочиться через Стену. Помнишь великий шум с расстрелами у Стены? Так вот, это он их организовывал и даже принимал участие. Копии документов обо всем этом я раздобыл, размножил, раздал и разослал по городу. Ну, все! Дай нам бог завтра все-таки свидеться...

Крестный поцеловал меня в лоб и я проводила его до самого его автомобиля. На последней ступеньке он чуть споткнулся и я поддержала его под локоть: «Эх, старость – не радость, надо же, ногу подвернул!» - вздохнул Крестный. Около машины толклись двое в масках. Но они его пропустили и он укатил.

На террасе меня поджидал Виктор.

- Ты знаешь, что сейчас будет? – грозно насупил он брови. Сейчас мне в пору укатить куда-нибудь со срочным визитом, в

Ливию, Зимбабве, к черту на рога, к самому дьяволу. Твой Крестный – заговорщик. Но, может быть, – и убийца. Ты даже не можешь представить, что он натворил!

Я могла. Я уже знала. Я слышала гул около резиденции. Яркие горящие фонари хорошо освещали очередные плакаты: «Расстрельщик, долой с трона!» Как видно, с этими пикетами поработал либо сам Крестный, либо его сподвижники.

И тут-то и произошло непоправимое. К подъезду подкатила Витина, бронированная как танк, машина, и он уже занес ногу, чтобы в нее войти, когда один из пареньков в маске, бесшумно, прицельно и точно выстрелил два раза: в Витин затылок и в висок. Парня немедленно схватили, поднялось несусветное, Витю внесли в резиденцию, ревели сирены машин Скорой Помощи...

Но Витя, как сам о себе говорил, – везунчик. Выстрел в висок попал чуть выше, чем надо бы, чтобы голова разлетелась вдребезги, а выстрел в затылок – чуть ниже, чем следовало, чтобы пробить артерию. Так что жив он остался. Но поврежденный позвоночник приковал его к постели и речь стала «Лю-а-а»...

В Правительской больнице он пролежал долго. Его невольная и негданная креатура – будущий Новый Правитель проведаль его, и не раз, и выходя, значительно качал головой:

- Ох, не жилец он, не жилец! – говорил не очень громко, но так, чтобы окружающие все-таки не упустили ни слова.

Чуть не на следующий день, уже около ворот больницы толпились люди с плакатами: «Долой войну!» и «Расстрельщик, руки прочь от арсаланов!».

Все это походило на дурной кошмар, и я устремила к Крестному. Он так напугал меня давеча, что я ожидала самого худшего. Ведь я отнюдь не сразу отправилась к нему, как он просил. Но он был жив-здоров.

- Ничего плакатики? – ухмыльнулся он. – Теперь слушай: тебе предстоит долгий и гнетущий период – ухаживать за ним. Я говорил с врачами. Он может протянуть два, три года, пять лет. Но ему будет все хуже. Ты станешь не сиделкой, а нянькой, которая подносит утку. Содержать санитаря Новый Правитель не даст. Из верных источников знаю: документ об отречении готов. Твоему Викентию (и Крестный тоже Витю так называл!) подсунут, он подмахнет и не пикнет – все схвачено.

- Зачем ты, Крестный, меня пугаешь? Зачем ты мне это все рассказываешь? Как будто я не знаю, что с нами будет. Лишь бы не то, что со Старцем. Все-таки Витя муж мне и отец девочкам...

- Да будь же ты стойкой! Ты ведь в наш род пошла как-никак! Ты думаешь, мне легко было идти к нему почти на верную гибель? Ты бы видела, как у него губы посинели, когда я показал ему документы и сказал, что теперь они ходят по всему городу, буквально по рукам!

План был такой: если он соглашается на отречение, что я ему предложил, - пусть бы жил себе и жил. Хотя, - об этом потом, прочтешь мое письмо, вот конверт.

Но когда я только заикнулся об отречении, он как глянет на меня бешеными глазами, и рот – усмешечкой: «Рано меня из игры выводите! Кто вашим бумажкам поверит!».

Я: Плакаты про «расстрельщика» видел? Тоже ведь ничего хорошего не сулят. Теперь нет Старца в запасе, - спихнуть не на кого.

Он: Зато есть Вы, - чем не заложник? Нет, здесь я Вас не трону, я устрою процесс над провокатором и врагом народа – а что, в самом деле, «враг народа» – давненько у нас не звучало! Это ведь тоже горячит кровь. Все быдло на Вас и кинется прямо в зале суда и в ключья разорвет! И даже про войну забудут! Да вы не бойтесь, это же я так, сами понимаете, в полшутку. Какие теперь процессы. Вы и так свое отбыли – идите с миром. Кстати, вы ведь с Людой хотите повидаться? Я сейчас позову...

Я слушала, ни жива, ни мертва. Вот, значит, какой поединок разыгрался за дубовой дверью кабинета. Мой Крестный, бывший известный юрист, старик, - сколько ему, далеко-далеко за семьдесят, наверное, - затеял настоящий переворот. И чуть ли не в одиночку...

И теперь спокойно об этом рассказывает, а я удивленно охаю.

Я: И все же ты уехал жив-здоров и сюда никто не явился за тобой? К чему бы это?

Он: Да уже незачем было за мной являться. Маски около машины – мои ребята, афганцы бывшие, уговор был такой: если я выйду и на крыльце оступлюсь, значит, разговор с этим, твоим, не получился, и надо его убирать. Я и споткнулся, ты помнишь? И все вышло, как по писанному.

А теперь слушай дальше: прочтешь письмо и примешь решение.

Я: Какое еще решение?

Он: А вот считаешь, - поймешь. Теперь иди. Все-таки со мной тебе общаться пока не безопасно.

Я уехала от Крестного чуть не в полуобмороке.

Витя – расстрельщик!

Витя в своем щегольски сшитом кителе – просто провокатор, доносчик, или как это там называется.

Хотя, может, все это просто входило в его служебные обязанности. И он все точно исполнял. Он же так дорожил своей военной карьерой...

Закрыв глаза, представила Витино лицо былой, более счастливой поры. Он наклонялся ко мне, отводил у меня со лба выбившуюся прядь, которая всегда падала на глаза, и целовал. Долгим, нежным, потом все более яростным поцелуем, пока я не забывала обо всех обидах и ощущала лишь мгновение полного обладания им. Потому что в такие минуты он уж точно был мой! Только мой!

Вспоминала, как после подобной ночи, накануне праздника Большой Победы Века, я стояла рядом с ним на трибуне

и совсем непривычное суетное тщеславие охватило меня, когда на реюющих знаменах увидела его лицо, очень милое, улыбчивое, даже чуть застенчивое...

Ну да, - застенчивое. А вчера, вчера...

Нет, не даром дамы зовут его «герой-любовник»...

«Герой-любовник» на реюющих знаменах. И эти трогательные маечки с его портретом, и поперек – «Витек»...

В тот час эти идиотские маечки, которые, как я теперь поняла, немало щечек подкинули в давно тлеющий костер, казались мне даже умилительными...

* * *

Письмо Крестного я решила прочесть дома. В машине бдительный водитель, который мне еще почему-то полагался, нет-нет, а поглядывал через зеркальце в мою сторону. От охранника мне, к счастью, удалось отговориться. Теперь, когда Виктор отрекся, мне охранник уж точно не положен...

Дома заперлась в ванной, открыла краны на всю мощь, и вскрыла письмо, строго-настрого наказав санитару ни на мгновение не отходить от Виктора. Пусть сядет, вот в это удобное кожаное кресло, и, может, даже вздремнет, пока Виктор не начнет звать.

* * *

... Итак, я прочла письмо.

«Дорогая моя детка! Знаю, какую боль причиню тебе, но в память о твоём отце не имею права, уйдя в мир иной, - а это может случиться в наши скорбные времена в любую минуту – не имею права унести с собой, то, что касается, возможно, твоей дальнейшей судьбы.

Сегодня ты прикована к человеку, на совести которого много жизней и много искалеченных судеб. Включая и дикую расправу над Стариком, который вытащил его, по сути, из массы прочих икринок в одинаковых мундирах с одинаковыми погонами и опрометчиво поверил его оболстительным обманам.

На нем – гибель маленького северного народа, к которому сейчас, к счастью, присоединились и другие северяне, так что вместо «войнушки» получилась война длиной в десять лет.

Я хорошо тебя знаю, у тебя доброе и благородное сердце – ты из тех, кто в беде не бросает. Возможно, ты так поступишь и с Виктором. Но, может быть, - и нет. Тебе выбирать. Тебе решать.

Ты помнишь, когда твоего отца вызвали, вежливо и миролюбиво, и он внезапно исчез, а я – уж заодно с ним, как положено закадычному другу – и только при нашем несчастном Старом Правителе твой муж рассказал тебе о пресловутой пневмонии, которая убила твоего отца.

Так вот: никакой пневмонии не было. А было то, что твой, этот, прослышав и поподробнее узнав о работах авиа-КБ твоего отца, усомнился, не может ли все это помешать его продвижению. Тем более, чин у него был не ахти: всего только майор – невелика шишка, а планы – далеко идущие.

Как он втерся в доверие к Старцу, - чего не знаю, того не знаю. Но именно он Старцу шепнул, что по своим каналам узнал, будто секретные сведения это отцовское КБ целиком и полностью продает желающим. А желающих много – тот же Китай, Индия, не говоря о сердечном друге – Ираке, да мало ли. А твой отец – начальник, глава группы.

Когда началась вся эта заварушка, мои ребята, те, в масках, добыли мне, и за немалую мзду, подробный отчет этого твоего вороватого Викентия на имя Старца, где главным действующим лицом числился твой отец; тогда и появились плакаты «Расстрельщик, слезай с трона!».

Почему твой муж все это затеял? Помолвка ваша была уже смешновато долгой, на службе над твоим Викентием потешались, что, мол, дворяночка с «черной костью» родниться не хочет, или папаша-шпион не велит. Все это, конечно, были шутки, но рвущегося ввысь Виктора они сильно

задевали.

- Уберем папашу! – решил твой муж.

И убрал. Да так, что всю группу арестованных сам и сопровождал – для верности – аж под Семипалатинск.

Поскольку эта акция выдавалась просто за почетный перевод в более престижный институт, все выглядело вполне пристойно.

А там – пески. Пригласил как-то Виктор после работы твоего отца прогуляться по барханам. Ночью, по прохладце. И по милой сердцу привычке – всадил в затылок по полной программе – не впервой же. После чего Виктора и след простыл.

Так что прожил твой отец после ареста не то два месяца, не то три. Отец Виктора не любил, но, поскольку – твой муж, доверился и пошел с ним на последнюю свою прогулку. А мне повезло, я все-таки вернулся, хотя уже при правлении Старца, царствие ему небесное!

В общем, знаю я все это не понаслышке, сам же там был – шум поднялся несусветный: спец исчез. Искали его, и я со всеми вместе. Только попробуй перехитрить пески...

Впрочем, и искали недолго, скорее, для галочки в отчете: о видном ученом пеклись и заботились изо всех сил.

Прости, что так огорчил тебя. Взвесь все и сердцем, и разумом. Моя же совесть теперь спокойна. Любящий Крестный и закадычный друг твоего покойного отца».

Письмо я тут же сожгла, спички предусмотрительно взяла с собою в ванную.

Опустошение охватило меня. Легко сказать, «взвесь сердцем и разумом»...

Двадцать лет жизни, из коих самое малое десять – безрассудной любви, которая пронзила меня как болезнь, когда я впервые увидела Виктора в маленьком баре, и он так непринужденно ко мне подсел...

Его улыбка, его искрящиеся янтарные глаза. Крохотный букетик иммортелей, где-то им добытых, которые он

протянул мне через несколько дней после знакомства: «Они вечны и бессмертны, потому именно их и выбрал для вас!».

Вот уже двадцать лет, как они стоят у меня на туалетном столике в вазочке синего хрусталя под специально заказанным колпачком, чтоб не пылились.

... Ночь под Рождество, накануне его назначения Правителем, когда все еще висело на волоске, и нужно было чем-то поразить воображение смятенных после бунта людей, и мы вместе отправились на вертолете в Ледогорию к арсаламам – вдруг удастся уговорить их смириться. И я даже не думала, что станется с девочками, если мы погибнем, они у моей тетки, она о них позаботится. Но если погибнем – то вместе.

И когда мы вернулись, как безумно мы любили друг друга, словно нечаянно обретя вновь. В ту ночь он не «подставлял щеку», он – любил меня...

... Нашла о чем думать. Он своими руками убил твоего отца. А ты...

А что я? Если я оставлю его, Новый Правитель быстро его прикончит. Слишком много знает Виктор об опасных играх в их Дворцовом террариуме. Да и с Новым Правителем, было время, иные у них складывались отношения, при которых, и не догадаешься, что их связывало...

Хотя, чем может сейчас хоть кому-нибудь навредить Виктор? Недвижимый, почти немой. Руки не пишут, так что никакого письма не сочинит. Да и в состоянии ли его мозг что-либо сочинить, если, как говорят врачи, повреждено то полушарие, где рождается творчество, чувство, озарения ума...

О, Виктор, Виктор! Ты, мчащийся на лыжах. Ты – верхом на необъезженном коне. Ты – в паруснике, такой лучезарный, в белой фуражке. Ты лежишь здесь – весь в моей власти, как я кощунственно мечтала в иные времена, когда ты ускользал от меня, ускользал, и я хотела, да-да, хотела, чтоб ты вдруг

стал беспомощным, хоть ненадолго, и не мог без меня обойтись, чтобы я, наконец, была действительно тебе необходима! Не я ли накликала эту беду?...

* * *

Пришло время кормить Виктора обедом и я, вспомнив навыки кормежки девочек, когда они были совсем маленькими, ложка за ложкой, - острием вперед, как он любил, - подносила к его губам бульон с фрикадельками. Аппетит у него остался отменный, и он поел еще куриную котлету и желе из смородины, которое обожал с детства. Вытерла ему рот салфеткой и спросила:

- Поспишь? Попытайся уснуть. Я тут рядом.

- По-си-и есь! – попросил он. Я села на кровать около него и взяла его руку.

Я знала, что ему предстоит, возможно, еще годы неподвижности, потом полной немоты. Я не могла себе представить, как это он, чистюля и франт, станет со временем неопрятным стариком, под которого подкладывают клеенки, у которого образуются пролежни. . .

Я чуть пожала его руку и он ответил мне легким пожатием, взглянув на меня страдальческими глазами из под тяжелых век.

- Витенька, Витя, родной мой! – шепнула я, вдруг обьятая жалостью, целуя его чуть влажную руку, которая почему-то сейчас уже не вызывала брезгливости.

Притом, однако, что может быть именно этой рукой он и пристрелил отца! – заныло сердце.

Мне следовало его ненавидеть, но я слишком долго его любила.

Он уснул, а я снова взялась листать старые дневники:

«Ты так долго не отвечаешь на мои письма, и я злюсь. Потом проникаюсь смирением и ныряю в иной век. Еще не придуманы самолеты и нет поездов, еще мчат по дорогам дилижансы, доставляя запечатанные именными печатками письма. . .

Люди были мудры. Они умели ждать.

Мы разучились ждать, впрочем, также, как и писать письма.

Телефонный звонок, мимолетный, и часто невовремя отрывающий собеседника от дел, не может заменить письма. Что останется после нас? Кладбище выброшенных сломанных телефонов. Но не останется живых слов.

Наверное, ты подшучиваешь надо мной – вот, мол, какой анахронизм, она все еще не разучилась писать письма. . .

Но я успокаиваю себя: ты, наверное, давно написал мне, просто дилижанс еще не прибыл. . .».

Господи, как же я любила этого человека. Который так извортливо лгал, все о себе скрывая. Который коварно и со спокойной душой уехал в отпуск и пробыл в Болгарии от звонка до звонка, когда лазерные пушки сожгли свои же корабли. Который погубил моего отца. . .

И когда какой-то журналист спросил его в лоб: «Так все-таки, что же случилось с кораблем?», он кривенько и даже озорно усмехнулся и сказал: «Что случилось? Разумеется, пожар!».

Теперь только поняла. Ты никогда ни в грош не ставил человеческую жизнь. Ты сам под собой старательно подрубал сук власти, на который, наконец, взобрался.

Ну что тебе стоило встретиться два месяца назад, когда все еще было относительно спокойно, с теми тремя арсаланами из Ледогории – двумя вождями и шаманом – что прибыли на переговоры? Ты мог прекратить эту бойню. Но тебе казалось, что твоя слава взошла на крови и удержать ее можно, только питая кровью.

И ты высокомерно переговоры отверг: «Только с колдунами я еще не встречался!». А у шамана и хранилась карта, ключ от «Дайки», что таила алмазные сокровища.

И как же ты ошибся, однако! Состоись тогда та встреча, не орали бы пикетчики под окнами сегодня про «расстрельщика». Новый Правитель, видно, тоже давно и старательно разжигал тлеющий костер. . .

А северные соседи арсаланов не оставили их в беде. И если у тебя были лазерные пушки, то у них – бог весть какие убойные силы, о которых у нас еще и знать не знают, да и алмазы манили...

* * *

И все же я люблю тебя. Все еще люблю. На тебе столько крови, ты погубил моего отца, а я все еще так тупо тебя люблю. Что с тобой станется? Ведь Новый Правитель, чего доброго, велит отвести тебя на Север, положит на льдину и пустит погибать в Океане. С него станется.

Впрочем, на его месте я бы, наверное, так и сделала после всех твоих грозных заявлений о будущей участи арсаланов. Недаром же на сегодняшних плакатах уже мелькают контуры такой кем-то подкинутой идеи...

Но я не буду с тобой на той льдине. Ты убил моего отца...

«Нет ничего на свете, чего бы я для тебя не сделала. Ты позвонил – и я жива. Мне бы прожить и пережить этот день до завтра, до встречи с тобой» – коварно напоминает дневник...

* * *

Дни потянулись за днями, нам прислали предписание освободить летнюю резиденцию. И все это пришлось пережить и проделать под унижительный шепот и хохотки обслуги.

Моя, вернее, отцовская дача, была в полном порядке. Я тут же по соседству наняла помощницу, и после уборки дом вновь стал домом.

Виктора я уложила на нижнем этаже – ванна и туалет рядом. Санитар нам уже не полагался, так что придется управляться самой вместе с новой помощницей.

Этот дом был для тебя привычен и потому ты держал себя спокойно, – может, все и обойдется?

Итак, очередной вопрос – «что будет?».

Обойдется – это насколько? Месяц, пять? Год? Три?

У меня были драгоценности, ты мне щедро дарил их. Я

поехала в город и вернулась с деньгами. Счета в нескольких банках трогать пока нельзя. Пусть сперва все уляжется. В городе меня никто не узнал – удача! – вот тебе и «первая леди»! Хорошо, что я людям за эти годы не примелькалась.

«Теперь я поняла вновь, как в дни юности, что деньги, если и не цель жизни, то они – тот единственный рычаг, который помогает поднимать повседневно булыжники бытия. Вновь наняла санитара, стало куда легче».

Вот так вдруг я продолжила свой, казалось бы, навсегда завершенный дневник.

И вновь – дни за днями. Мне показалось, что тебе полегчало. Ты даже стал выговаривать некоторые буквы. Сегодня ты четко сказал: «Люда, сядь около меня».

И я села. И вдруг ты неловко обнял меня левой рукой, которая у тебя оставалась едва подвижной.

Посидели. «Тебе пора обедать», – сказала я – и началась обычная процедура кормежки.

Записала в дневник: «Облегчение оказалось мимолетным. Сегодня ты не мог произнести ни слова, только хрипел. Вызвала врача. Ох, деньги, деньги. Что бы я без них делала?»

Врач – старый, опытный, сочувственный, зачем-то приподнял тебе веки, пощупал ладони, пятки, покачал головой:

– Я думаю, у него тромб. Может, он чуть сместился, но если сместится еще – увы...

Записала: «Я поняла, ты обречен. И я – с тобой вместе. Глядеть изо дня в день на твое умирание. И ничем не помочь!»

А почему, собственно, я должна помочь тебе? Ведь это ты убил отца. Ты потопил Ледогорию в крови. Ты почти уничтожил маленький мирный народ, и чтобы я тебе помогла! И, впрочем, – как?

А ведь писала же много лет назад: «Нет такой вещи, которой бы для тебе не сделала»... Но что я могу сделать?».

Ночью во сне откуда-то из подсознания всплыло: Эвтания. Элегантное слово для обозначения убийства, даже если

больной сам на то дает свое согласие.

Я, конечно, могу помочь тебе. Избавить от всех еще грядущих мук. И заодно — избавить себя.

Впрочем, точно также я вправе и рассчитаться с тобой за смерть отца.

Записала: «Сперва-наперво нужно купить машину. Водить умею, давно научилась. Возьму санитаря с собою в город, чтоб помог выбрать».

Купила. Уже легче. Ты услышал шум мотора и вопросительно на меня взглянул, промывав что то вроде «а-ы-а».

- Да, дорогой, это наша новая машина. Скоро я повезу тебя к речке, в лес, на воздух».

Но ты смотрел на меня бессмысленно. По-моему, ты меня не слышал. Временами ты отключаешься. Словно какой-то самый важный клапан в твоём сознании захлопывается.

Сегодня — свершилось самое страшное. Пришлось подложить под тебя клеенку. Теперь это начало худшего, что могло нас постигнуть. Дочерям я не звонила и не писала. Они и так из газет и прочих сообщений все знают. Впрочем, и сами не дают о себе знать. У них своя жизнь. А ты — мой крест. Только мой!

Господи, вразуми! Если я не в силах вдохнуть жизнь в неживое, то вправе ли ее отнять?

Но ведь и ты, не задумываясь, отнял жизнь моего отца. И тоже ведь никак не спросил его согласия...

* * *

Итак, у меня полный ящик сновторных. Которые я пью всю жизнь. Потому что всегда плохо сплю — во сне прокручивается прожитый день, сознание почти не отключается..

И еще есть ампулы, что прописал мне новый знакомый врач. Такой старенький, такой сочувственный. Предупредил, что не исключает и такую возможность: Виктор может внезапно встать на ноги, даже начать буйствовать и упасть в припадке, типа эпилепсии. И тогда тот самый тромб сдвинется — и конец.

А ампулы — чтобы укротить спазмы, если случатся...

Карточный расклад

Записала: «Господи, о чем я думаю! Что сплелось во мне тутим узлом? Привкус бывлой любви, чуть брезгливая жалость, ненависть? И чего я хочу?

Облегчить — или отомстить? Эвтаназия, — какое утонченное обозначение обыкновенного убийства, даже с согласия убиенного»...

Хорошо, допустим, я это сделаю.

Мечь? Как бы не так. Мечь — это оставить его медленно и неопратно умирать.

А тогда что? Избавление во имя бывлой любви? Или избавление себя от всего, что воспоследует, если оставить его жить. Получится, что я отомщу не столь ему, сколько себе самой — ведь мне, ох, как солоно придется, если он будет медленно умирать подле меня...

А если все свершить, что потом?

Потом оставляю на видном месте письмо Крестного - объяснение поступка. Пусть для всех будет — мечь. И свое письмо. Сажусь в машину и уезжаю. Почему бы не на Урал или за Урал, куда-нибудь в Сибирь. Почему бы не в Казахстан — сейчас с визами нет проблем. Новый Правитель хочет нравиться — уже успел со всеми соседями наладить сердечные отношения.

Туда, туда, где покоится отец. Если найду его следы среди барханов...

А что же Витя, если оставить его жить? Ну, Новый Правитель все устроит. Может, Витю и пощадит: «лежачих, мол, не бьем!». Страна ликует. Война закончилась. Почему не показать великодушие? Недаром же он, да и Виктор тоже, еще совсем недавно друженько стояли в церкви с зажженными свечками при торжественных молебствиях...

А мне что? Я свечки в церкви не ставила, я - многогрешная, я все могу...

Так чем же все-таки «сердце успокоится»? — спросила бы я, гадая на картах Таро. Куда как легче было ответить на этот вопрос, когда гадала Вите, и все намеками, намеками: с кем поговорить, кому позвонить, кого припугнуть, кого приласкать...

Мэри Кушникова

После вечернего омовения отпустила санитару и, уложив Виктора, нагнулась над ним. Поцеловала в лоб. Поцеловала в губы, как бы прося прощения. И – ужас! – он ответил на мой поцелуй.

А вдруг жизнь еще вернется к нему. И тогда уже без всяких уловок и выборов я просто обязана буду рассчитаться с ним за убийство отца...

Села у его ног и строго спросила:

- Виктор, зачем ты застрелил отца?

И он вдруг четко и даже чеканно ответил:

- Надо было!

Я пошла за шприцом, приготовила ампулы. Набрала горсть снотворных таблеток и развела в воде. Получилась как бы кашка. Подошла к Виктору. Он испуганно взглянул на меня и четко сказал:

- Не надо!

- Надо, - сурово ответила я. - Это новое лекарство, старенький врач прописал.

Чуть помедлив, он закрыл глаза, разжал зубы и я влила ему в рот кашку из таблеток и села рядом.

Так что же это было – протест, или, в конце концов, согласие, - ведь принял же всё-таки снадобье.

Вскоре он уснул крепко и безмятежно. Но сон мог быть обманчив. Что ж, пока – эвтаназия действует. Он давно не спал так глубоко и спокойно, и, выходит, я принесла ему облегчение.

Но - эвтаназия ли? Не стану себя обманывать – счет же веду с самой собой! Ведь согласия своего он на то не давал. Он даже четко сказал: «Не надо!». А таблетки все же проглотил. Помедлив. Словно взвешивая ситуацию.

Но я могла это «не надо!» и не слышать. Или он мог ничего не сказать. Потому что то, что он заговорил – вообще случайность. Речь могла никогда более к нему не вернуться. Будем считать, что тромб сместился, как предупреждал старенький доктор, и Виктор умолк навсегда...

Однако, успокаиваться нельзя. Он может проснуться, его может стошнить. А помощницы и санитары нет. Да и не в том дело...

Я не хочу больше выбирать. Я выбрала.

Итак – три ампулы. Эти успокоят навеки. Так заверил меня милый старый доктор.

Эвтаназия свершилась, и я могла подумать о выстреле в барханах.

- А это за отца! – без всякого злорадства сказала я довольно громко, - пусть Виктор услышит, если способен слышать! И вколола тройную дозу.

Он даже не шелохнулся. Видно, таблетки хорошо подействовали.

Вот и ответ на сакраментальный гадательный вопрос: «чем сердце успокоится».

Положила на стол, как задумала, письмо Крестного и свое, объяснительное, в котором искренне и незастенчиво, как на духу, признавалась в собственном смятении:

«Избавление или казнь уготовила я своему единственному, своему возлюбленному, тщеславному, лживому, обаятельному кумиру и разорителю моей жизни – так и не знаю, не знаю...».

* * *

На процессе моим защитником был Крестный. Блестящий юрист, он ничуть не утратил своего былого дара. Впрочем, очевидно, «сверху» была однозначная отмашка: внять и оправдать.

Новый Правитель теперь ходит героем – он все-таки прекратил десятилетнюю войну и доверчивая толпа легко простила его былые клоунские выходки, которые некогда вызывали столько усмешек.

Может, такова его харизма? А что? Ведь циничная улыбочка Виктора считалась особо харизматичной и почему-то же называла его толпа «наш Витек», а дамы, и вовсе – «герой-любовник»...

Новый Правитель имел все основания быть терпимым и милостивым. Ведь он не только прекратил войну в Ледогории, но даже добился того, что могущественный северный сосед предоставил перебитому почти до основания народу на целых 99 лет полуостров, размером чуть не с полконтинента, причем заранее вполне обустроенный для жизни.

Просто древние племена, что веками там обитали, переобосновались в более ласковые и теплые края, обязуясь открыть доступ к алмазам, и щедрому соседу, и вчерашнему врагу.

Так что Новый Правитель был милостив и ко мне. Да и почему бы таковым не быть? Ведь это *Я* избавила его от необходимости убрать бывшего противника, хотя уже ничем не опасного, но — кто знает, как известно, настроение толпы — зыбкая категория...

Мне даже выделили охранника.

Когда-нибудь, скорее всего, он ловко, бесшумно и аккуратно устранил с пути и меня.

Ведь, если подумать, даже то малое, что мне известно о времени правления Виктора и о нем самом, — тоже куда как через край...

Но я не стану об этом думать. Я живу на своей даче. И листаю заветные тринадцать тетрадей саги о «герое-любовнике» на фоне реющих знамен, который так ненадолго оказался в моей власти, как я давно мечтала.

Так что карточный вопрос — «чем сердце успокоится», решился как-то сам собой, если сердце вообще может успокаиваться, кроме как под тем бугорком, где, как пел незабвенный бард, «все спокойненько, все пристойненько».

Было бы кому на том бугорке поминальную стопку и ломоть черного хлеба возложить, чтобы уж вовсе все было по бардовской песне...

*Октябрь 2003г.,
г. Кемерово.*

**Виктор Вайнерман
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО,
ИЛИ ОЧЕРК О НИКОЛАЕ
ВАСИЛЬЕВИЧЕ ФЕОКТИСТОВЕ**

На многочисленных фотографиях — импозантный мужчина. Пышные усы. Волнистые волосы зачесаны наверх. Красивые светлые глаза. Взгляд чуть исподлобья. На большинстве снимков добротнo и весьма элегантно одет: прекрасно сшитый костюм сидит, как влитой, строгий белый воротничок, со вкусом подобранный галстук... Даже на тех фотографиях, где его одежда не столь изысканна — кепка, простая косоворотка, галифе, — он выглядит как удачливый предприниматель или знаменитый артист. Видно, что человек любил позировать перед камерой. Однако что-то в выражении его лица, во взгляде позволяет думать, что за привлекательной внешностью скрывалась тонкая, обострённо воспринимавшая мир душа, и все эти многочисленные снимки, как писала его современница Марина Цветаева, — обращение к потомкам, «с требованием веры и с просьбой о любви»...

Лицо Николая Васильевича Феоктистова мне знакомо давно. Но только теперь, когда передо мной его личный архив, я чувствую, как тает холод вполне естественного отчуждения от чужой жизни, угасшей в 1950 году, и на мёртвом поле, разделяющем нас, появляются первые живые цветы...

«Красивости» — поморщится читатель. Хотя, быть может, именно так начал бы очерк о Николае Феоктистове сам Николай Васильевич Феоктистов. Он тщательно хранил автографы многих своих произведений, с удовольствием заносил их в богато оформленную рукописную книгу, где на кожаной обложке

рядом с портретом автора и виньетками вытиснена его фамилия, а между надушенных страниц великолепной бумаги с набивным рисунком до сих пор лежат трогательные засохшие растения... Эффектный материал просит соответствующей стилизации текста. Герой очерка требует, чтобы мы разделили с ним его восхищение собой. Однако жизнь и творческая судьба этого человека не дают поводов для однозначных оценок. Однажды в дерзкой молодости он встал в оппозицию с правительством и церковью. Не успел войти во вкус, как все оппозиционные суждения вдруг стали самыми, что ни на есть государственными и официальными...

Стихи Феоктистова, выразившие настроения определённой части читателей, охотно печатали сибирские газеты. Десятки текстов за его подписью можно прочесть в «Семипалатинском листке», «Прииртышском крае», «Сибирской жизни», «Сибирском дне», «Омском вестнике» и особенно в «Омском телеграфе» (1908-1912 гг.). Первый (и единственный) сборник стихотворений Н. Феоктистова издан в 1913 году омским издательством «Печатное искусство». Он был назван лаконично и просто: «Стихи» Молодой автор отобрал для своей книги произведения, весьма характерные для поэзии декаданса. В поэзии тех лет преобладали упаднические настроения. Жизненный путь лирического героя книги, его прошлое и настоящее освещают «неясного солнца лучи». Его стихи – «песни скорби, песни ночи, песни грустные», адресованы читателю, занимающему, подобно юному герою, своё место «на башне из слоновой кости». Он совершает свой «тернистый, безрадостный путь», усталый, истомлённый в «последней предсмертной борьбе». «Жизнь в железных оковах» держит его, окружающие не понимают, «разбита любовь, как надежды, давно»...

*Звуки песен моих непонятны для тех,
Кто не знал иступлённых мучений;
Звуки песен моих только вызовут смех
У того, кто не знал огорчений...*

Но прекрасный образ Незнакомки не позволяет поэту погибнуть, ведёт за собой, манит, обещает награду. Читатели легко угадывали аллегорию. Камень, давивший на плечи, лежавший на сердце тяжким гнётом – жизнь в бесправии, под произволом и несправедливостью. Таинственный образ – свобода, великая борьба за равноправие и личное счастье для каждого...

Николай Васильевич Феоктистов родился в 1884 году в городе Змеиногорске Алтайского края в семье почтово-телеграфного служащего. Учился в семипалатинской мужской гимназии, уже из 8-го класса которой был исключён... за организацию забастовки воспитанников гимназии против служителей церкви. В автобиографии Н. Феоктистов подчёркивает, что с ранних лет боролся с церковью. В 1923 году в нескольких номерах семипалатинской газеты «Степная правда» был напечатан стихотворный фельетон Н. Феоктистова «Три «святителя». В нём о деятелях, принесящих в Степной край «слово божье» говорится с такой ненавистью и сарказмом, что невольно думаешь: а не был ли автор обижен церковнослужителями? Причем эта обида могла быть нанесена именно в детстве, поскольку оставила яркий и незаживающий след.

В сатирических стихах Феоктистова легко услышать боль за поруганный идеал. Он бичует пьянство, разврат и пристрастие к «золотому тельцу» попов и монахов, но в его фельетоне нет прямых выпадов против религии. Автор не ставил перед собой задачу разубедить верующего. Он лишь стремится при помощи сильнодействующего средства – сатиры – заставить

его открыть глаза и уши: увидеть и услышать подлинные лица и голоса тех, кто несёт народу «слово божие».

Свою трудовую жизнь Н. Феоктистов начал в 1906 году с должности корректора и литературного сотрудника газеты «Семипалатинский листок». Первое стихотворение молодого литератора было подписано романтическим и легко читаемым псевдонимом ФЕВАНИ (справа налево по слогам НИколай ВАсильевич ФЕоктистов). В 1908 году он - «корреспондент-сотрудник газеты «Омский телеграф» и «Сибирская жизнь» из Петербурга». С 1911 – секретарь газеты «Омский телеграф».

«Трудовой список» обходит молчанием интересный эпизод из жизни Николая Феоктистова. На снимке из архива – юноша в наглухо застегнутом мундире. На высоком воротнике и на плечах – красивые вензеля. Поворот головы горделив и энергичен. Молодое лицо привлекает одухотворённостью и выражением непокорности, вызова, сдержанной силы. Этот снимок хорошо прокомментировать цитатой из автобиографии: «В 1909 году поступил на Петербургские курсы имени Каракаша, но окончить их не удалось. В 1910 году пришлось, после выступления на одной студенческой сходке с чтением моей антирелигиозной поэмы «Благовещение», бежать из Петербурга в виду угрожающего мне ареста за богохульство».

Итак, снова Сибирь. Редактор «Омского телеграфа» Иосиф Маркович Познер приглашает его войти в штат газеты. А в 1913 году омское издательство «Печатное искусство» предложило читателям первую книгу Н. Феоктистова, названную лаконично и строго: «Стихи» (замечу, что она осталась единственной поэтической книгой Н.В. Феоктистова). В этом же году молодой писатель становится... секретарём комиссии по постройке Омского водопровода. Одновременно работает в газетах «Утро Сибири», «Омский вестник» и, конечно же, в «Омском телеграфе» и «Сибирской жизни».

Накануне войны 1914 года «в Омске организуется литературный кружок, - вспоминает Н.В. Феоктистов, - принять участие в котором приглашён, между прочим, и я. Организатором этого дела была группа омских литераторов во главе с Александром Ефремовичем Новоселовым, который и передал мне приглашение придти на организационное собрание, которое должно было состояться у одного из участников будущего литературного кружка – Березовского Феоктиста Алексеевича». Этот фрагмент воспоминаний Феоктистова обращает нас к старым фотографиям, известным в нескольких вариантах. Снимки были изготовлены в разное время и, возможно, в разных фотостудиях. Неизменным остаётся лишь состав участников: Артемий Ершов, Александр Новоселов, Антон Сорокин, Михаил Сиязов, Александр Соколов-Митрич, Феоктист Березовский, Николай Феоктистов. Есть снимки, датированные 1912, 1914 годом. Вскоре война разбросала всех в разные стороны...

Из автобиографии можно узнать, что 1917 год застал нашего героя в Омске, где он принимал деятельное участие в революционных событиях февраля и октября, работал в газете «Революционная мысль» - органе Совета Рабочих и солдатских депутатов, был редактором газеты «Вольный казак», которую издавал Совет казачьих депутатов. В 1918 году за агитационную и пропагандистскую деятельность Феоктистов арестован по распоряжению Временного правительства Сибири и за большевистскую направленность газеты «Вольный казак» приговорен к расстрелу. Совершив удачный побег из Омской тюрьмы, Феоктистов скрывается в степях Казахстана, ведёт там большую работу по организации партизанских отрядов для борьбы с бандами казачьего атамана Анненкова.

В мае 1920 года Н.В. Феоктистов вернулся к литературной деятельности.

... Мелькают даты, названия должностей, городов. С 1921 года Феоктистов был ответственным редактором губернских органов печати: «Степная правда» в Семипалатинске,

«Красный Урал» в Уральске, «Советская степь» в Кызыл-Орда, «Степная звезда» в Петропавловске. На одном месте более полутора лет не задерживался. Наконец, в июне 1926 Н. Феоктистова «по личной просьбе» откомандировали в Москву, откуда, однако, он был снова послан на работу в Сибирь. В эти годы Феоктистов живёт в Новосибирске, где редактирует радиогазету, работает заместителем заведующего отдела печати Сибкрайкома ВКП(б), руководит ЛИТО, а затем — Сибирским отделом РОСТА. В 1928 году отозван в Москву и назначен заместителем редактора Центральной Рабочей радиогазеты. Был ли Феоктистов просто номенклатурной единицей, передвигаемой «от греха» или его направляли, напротив, туда, где трудно? Какие люди его окружали, и что его с ними связывало?

... Когда Галина Николаевна Феоктистова начала показывать фотографии отца, мне трудно было сохранить спокойствие. Одного за другим на старых снимках я узнавал писателей, так хорошо знакомых каждому, кто интересуется историей сибирской литературы. Леонид Мартынов — ещё совсем молодой, одетый в грубый свитер и ботинки с обмотками. Сергей Марков — в мятом костюме, с тросточкой, в шляпе, надетой чуть-чуть небрежно — сама непринуждённая элегантность, которой не добьёшься никакими ухищрениями. Николай Анов — весь напор, энергия, сила. Насмешлив и щеголеват Георгий Гребенщиков. Спокойны и доброжелательны Иван Ерошин и Евгений Забелин...

Впечатление, что все лучшие писатели Сибири съезжались к Феоктистову, чтобы засвидетельствовать ему своё почтение и сфотографироваться на память... В этих снимках — особый смысл. Среди тех, кто рядом с Феоктистовым, нет «случайных» людей. Здесь лишь те, чьи судьбы впоследствии состоялись, чьё дарование не осталось незамеченным. Если вспомнить, что в 20-е годы, когда делались снимки, Н.В. Феоктистов занимает ключевые посты в ряде областных газет, заведует ЛИТО в Новосибирске, работает в отделе

печати крайкома партии, то станет понятным, что для всех литераторов — он человек, с которым была связана возможность опубликоваться. А эта возможность давала надежды не только творческие, но и материальные: литераторам порой приходилось сидеть на вынужденной диете. Мимоходом замечу, что именно благодаря Н.В. Феоктистову Павел Васильев и Николай Титов получили деньги для поездки на «золотую разведку». Это была осязаемая материальная и творческая поддержка. Кроме того, отъезда из Новосибирска на время выводил богемаствующих поэтов из-под стучавшихся над их головами туч.

Николай Васильевич Феоктистов оказался умелым организатором, человеком с чутким слухом на талантливый голос. Кроме того, он обладал непобедимым чувством справедливости и желанием до конца бороться за её полное торжество. Именно эти черты многое определили в его жизни и дали возможность для сегодняшнего разговора о нём.

О наличии организаторских способностей у Н.В. Феоктистова можно говорить не только гипотетически. Н. Анов в статье «Первый редактор» («Вечерняя Алма-Ата, 1972, 16 декабря), отмечает, что Н.В. Феоктистов «организовал САПП — Семипалатинскую ассоциацию пролетарских писателей», а в городе Петропавловске, где он редактировал губернскую газету, «он быстро объединил пишущую молодежь и выпустил литературный сборник «Звено».

В 1931 году исполнилось 25 лет литературной деятельности Н.В. Феоктистова. Эта скромная дата вызвала неожиданно много откликов. Николая Феоктистова поздравляли Николай Анов и Лев Черноморцев, Сергей Марков и Павел Васильев, Евгений Забелин и Леонид Мартынов, Михаил Алтайский и Иван Ерошин. Каждый из них указывает, где и когда свела его жизнь с Н. Феоктистовым. Перечень редакций мог бы занять страницу: они располагались от Семипалатинска и Новосибирска до Москвы.

Всеволод Иванов, автор «Бронепоезда 14-69», цикла партизанских повестей, романов и путевых очерков, писал в то время

Феоктистову: «Я как омич особенно доволен видеть Вас по-прежнему любящим литературу и по-прежнему укрепляющим твердыни нашей печати. Вспоминаю Вашу работу в омском «Вольном казаке» и рад, что Вы, благополучно пройдя тяжелые этапы колчаковщины, принимаете сейчас активное участие в величайшей социалистической стройке».

О таких людях, как Феоктистов, к сожалению, мало пишут. О них мало знают люди, да, положив руку на сердце, сознаемся – не торопятся узнать. Куда интереснее познакомиться с судьбой выдающегося человека, обладающего ярким, блистательным талантом. У такого и судьба крутая, на поворотах искры летят, при ходьбе земля сотрясается – богатырь идёт. Но богатыри признаются богатырями, если рядом с ними люди послабее. Даже в сказке о трёх богатырях – помните – самый сильный лишь Илья Муромец, а остальные богатыри, хоть и сильны, но более берут другим: самый добрый и мудрый – Добрыня Никитич (имя-то какое), самый ловкий и изворотливый – Алеша Попович. . . И не были бы так известны скандальной славой и талантами ни Сергей Есенин, ни Павел Васильев, если бы вокруг них сплошь были бы Есенины и Васильевы. . .

Н. Феоктистов вовремя сумел осознать вторичность своей литературной одарённости по отношению к своим организаторским способностям. Думается, что его обращение к переводческой деятельности было связано с неким стремлением к первооткрытию для русскоязычного, как мы сейчас говорим, читателя произведений казахской литературы. Феоктистов увлекается переводческой работой своих друзей. В 1932 году издательство художественной литературы в Москве (ГИХЛ) выпускает сборник «Песни киргиз-казаков». В него вошли фольклорные произведения в переводах и литературной обработке Павла Васильева, Сергея Маркова, Леонида Мартынова. Николай Феоктистов, являясь составителем сборника, включил в него переведенные им с казахского «Сказ о кенисаре», «Черный ветер» и «Крестьянский начальник в ауле». Не зная текстов в подлиннике, не берусь судить о качестве переводов,

сделанных Феоктистовым, но чтение заставляет перенестись в степь, услышать цокот копыт, гортанные голоса, звучание национальных инструментов и, что главное, передаёт настроение, которое хотел донести до слушателей старый певец-рассказчик.

Благодаря Феоктистову читающие на русском языке смогли прочесть поэму замечательного казахского поэта Сакена Сейфуллина «Кокче-Тау». Затем поэма была издана отдельной книгой в 1938 году, а вскоре она уже изымалась из библиотек – автора объявили врагом народа.

Не всё было гладко и в судьбе Николая Феоктистова. Дыхание времени обожгло и Феоктистова. Его исключили из партии во время «очистительной» кампании 1930-х годов. Но тогда всё обошлось. А в середине 30-х тучи нависли над старшим сыном Николая Васильевича – Юрием. В архиве Феоктистова – копии его заявлений, посланных в разные инстанции. Битву за сына Н.В. Феоктистову выиграть не удалось. Отсидев пять лет, Юрий Николаевич выходит на свободу перед самым началом войны. Есть снимок, где отец и сын перед новой разлукой. Сыну идти на фронт, отцу отправляться в эвакуацию. Здоровье его подорвано. Кто узнает в этом усталом старике прежнего вальяжного красавца с кокетливо подкрученными усами. . . В Самарканде, знойном городе Средней Азии проходят нелёгкие для Николая Васильевича годы. Трудно с питанием, одеждой, жильем. Среди документов архива Феоктистова – письма группкома писателей с просьбой выдать Феоктистову и его семье необходимую обувь, продукты, деньги.

Находясь в эвакуации, Н. Феоктистов чувствовал себя во втором эшелоне действующей армии. Здесь не было вооруженного единоборства с врагом, но здесь оружием становилось слово. Со всей страстью поэта Феоктистов включился в эту политическую работу, зная, что на фронте сражается его сын.

«За время своего двухлетнего пребывания в Самарканде писатель Н.В. Феоктистов, несмотря на свой возраст и тяжелые бытовые условия, много и успешно работал, - читаем в

характеристике, выданной Феоктистову Оргбюро Самаркандского группкома писателей. — За этот период времени тов. Феоктистов написал до двадцати оборонных стихотворений, десять рассказов, несколько сказок для детей, одну одноактную пьесу и повесть «Степная жакерия» на материале казахского восстания в 1916 году. Со своими активными боевыми и оборонными произведениями тов. Феоктистов выступал по радио в Самарканде и в Ката-Кургане, на литературных вечерах и утренниках на заводах, фабриках, в кооперативных артелях, детдомах, госпиталях и воинских организациях Красной Армии. Особенно интенсивно тов. Феоктистов работал в 1943 году, когда по командировкам Самаркандского обкома КП(б)Уз выезжал с бригадой советских писателей в районы Самаркандской области и провел свыше пятидесяти выступлений в совхозах, МТС и колхозах области в дни уборки хлебов. Всего в активе тов. Феоктистова более 250 литературных выступлений.

Кроме того, тов. Феоктистов активно работал в организации степных газет и выпуску боевых листов на Самаркандской шелкопрядильной фабрике и на Самаркандском хлебозаводе № 2. Некоторое время тов. Феоктистов был членом Бюро Самаркандского группкома писателей, а в августе 1943 года Самаркандским областным отделением Союза советских писателей принят в члены Союза советских писателей». Председатель Бюро группкома советских писателей Самарканда Е. Андреева Секретарь бюро группкома В. Маринюк».

Среди его бумаг — многочисленные справки. Например, о том, что Феоктистов выступал с беседами в детприёмнике НКВД. Не для этих ли обездоленных детей, над судьбами которых надругалось время, Николай Васильевич пишет сказки — их много в его архиве. В них живёт вера в справедливость. Она должна восторжествовать, лишь только будет разгромлен фашизм. Феоктистов читает свои стихи — о Гастелло, о матери, которая ждёт сына с фронта...

В 1944 году Н.В. Феоктистов с семьёй возвращается в Москву. Он работает над своими воспоминаниями, ради которых

отложил в сторону все другие дела. Среди отложенных «на потом» рукописей был почти завершённый очерк о Ф.М. Достоевском, его отъезде из Омска и первых годах жизни в Семипалатинске. Очерк этот так никогда и не был напечатан. На сегодняшний день его публикация уже невозможна — реконструируются взаимоотношения, чувства и настроения друзей Достоевского, о которых существует сейчас небольшая, но ёмкая по содержанию научная и популярная литература. Если бы очерк Н.В. Феоктистова появился в те годы — он стал бы первым опытом самостоятельного художественного осмысления сибирского периода жизни Ф.М. Достоевского. О том, что происходило с автором «Бедных людей» в Сибири, Феоктистов задумывался давно. Именно он впервые поведал читателям трогательную историю романа рядового солдата Достоевского и милой семипалатинской калашницы Лизаньки.

В 1908-1909 годах, вернувшись после недолгого учения в столице в Сибирь, он часто бывал в Семипалатинске в доме Никитиных. Здесь он случайно узнал, что «Елизавета Михайловна Неворова, добродушная, молчаливая и, кажется, набожная старая дева», которой в то время было 70-72 года, была знакома с Достоевским и, более того, «с любовью и светлой памятью о нём» хранила «объёмистую пачку его писем». Феоктистов выяснил, что Достоевский познакомился с «Лизанькой» Неворовой в 1854 году. Тогда она была красивой молодой девушкой, на плечах которой лежала забота о младших сестрах. Лизанька зарабатывала себе на жизнь тем, что на семипалатинском базаре продавала хлеб с лотка. Достоевский стал её постоянным покупателем. Постепенно между ними, как пишет Феоктистов, установились отношения, перешедшие «скоро в тесную дружбу, скреплённую чувством, быть может, ещё более сильной сердечной привязанности».

Елизавета Михайловна говорила Феоктистову, что Достоевский любил её. «Не следует забывать, — подчеркивает он, — что в эти годы Достоевский был исключительно беден и трагически одинок, и нет ничего удивительного, что его потянуло к этой,

полюбившей и, может быть, приласкавшей его красивой девушке». Вскоре Достоевский познакомился с М.Д. Исаевой, и встречи с Лизанькой прекратились. Однако «милая Лизанька» на всю жизнь осталась верна своему чувству к Достоевскому и не вышла замуж. До самой смерти сберегла она письма, говорившие об отношении к ней Федора Михайловича. Неворова завещала письма Ф.М. Достоевского Феоктистову. Но в годы гражданской войны они погибли. Феоктистову очень хочется отыскать эти уникальные документы. Воспоминание о том, как бережно хранила Елизавета Михайловна «серую стопку исписанной бумаги», перевязанную «отцветшей от времени голубой ленточкой», о «небольшом кованом ларце», в котором она прятала своё сокровище, не забывается. Вновь и вновь бывая в Семипалатинске, он ищет следы семьи Никитиных и пытается узнать о судьбе родственников Елизаветы Михайловны. В его архиве есть дневниковая запись: «Я посетил Семипалатинск в конце мая 1929 года. Продолжая мои поиски писем Ф.М. Достоевского, зашел к Н.М. Губенко, который был женат на племяннице Е.М. Неворотовой Зое Степановне Лутохиной (бывшей Никитиной). Здесь я надеялся найти какие-нибудь следы писем и достать фотографическую карточку Е.М. Неворотовой». Запись обрывается. Судя по тому, что в архиве нет ни фотокарточки, ни дополнительных сведений о знакомой Достоевского и их переписке, можно сделать вывод, что визит Феоктистова в дом Никитиных на этот раз был безуспешным. Но подлинный смысл записи – вовсе не в констатации факта, указанного в тексте. Дело в том, что З.С. Губенко-Лутохина-Никитина писала Феоктистову – в его архиве есть письмо от неё. Она подтверждала, что переписка Неворотовой и Достоевского погибла. Кроме того, по-своему рассказывала о содержании писем Достоевского и, следовательно, взаимоотношениях Достоевского и Неворотовой. Отчего же Феоктистов вновь словно не замечает существования этого письма? Подчеркиваю – вновь – потому что история взаимоотношений Достоевского и Неворотовой была поведена Феоктистову дважды. Но он, рассказывая

читателям о знакомстве упомянутых людей, строит свой рассказ на версии, изложенной в письме от другой племянницы Неворотовой – Нины Готфридовны Никитиной. В её изложении отношения Достоевского и Неворотовой были лишены острых углов и укладывались в рамки обычной провинциальной амурной истории.

Умение выделить главную задачу публикации, отбрасывая второстепенные моменты – свойство Феоктистова – автора статьи о пропавших письмах. Так, в авторской позиции явно чувствуется конъюнктура. Но автор идёт на это ради того, чтобы была заявлена тема. Это для него важнее. Действительно – он не позволяет себе даже досады в адрес нерадивых сыщиков, уничтоживших письма Достоевского. Вместо этого нам преподносится сладкая история с завершением её «в дебрях» таинственной организации под названием «Губтрамот». А ведь напрашивается-таки дерзкая мысль: если бы вовремя попытаться рассказать историю с письмами согласно З.С. Губенко – могло ведь оказаться, что переписка Достоевского и Неворотовой жива, не уничтожена, может быть найдена... Правда, могло стать, что автору статьи головы не сносить, но об этом думается во вторую очередь...

От досады на Феоктистова один шаг до активного поиска... Право, не следовало бы так подробно останавливаться на этой статье, если бы в ней не отразился характер автора... Он был человеком, наделённым разнообразными способностями: поэт, журналист, хороший организатор, редактор – вот работа, которую он выполнял всю свою жизнь. Ему не были свойственны ни зазнайство, ни высокомерие, он не искал высоких постов. Принципиальный человек, он был добродушным, остроумным собеседником, хорошим товарищем для молодых и старых. Друзья любили его, и, шутя, подтрунивали над его склонностью к романтике, над его поведением в быту и мелкими привычками. Увы, после смерти Феоктистова кое-кому из них не хватило чувства такта...

Николай Иванович Анов две работы построил на воспоминаниях о Феоктистове. Если одна из них – статья «Первый редактор» – содержит много неизвестных биографических фактов, тёплых слов о Феоктистове, то в своём романе «Пропавший брат» Николай Анов создал некий карикатурный шарж на Феоктистову. Нетрудно догадаться, кто выведен в образе писателя Мирона Мироновича Феокритова. «Невысокого роста, слегка полноват, носил зачесанные назад русые волосы. Серые, обшитые кожей галифе, френч, блестящие коричневые краги, белая полотняная фуражка, закрученные усы, кожаная полевая сумка, висевшая на узком ремешке через плечо, придавали ему полуспортивный, полувойсковой вид. И только полотняный зонтик под мышкой делал его похожим на художника». Н. Анов откровенно высмеивает как внешность Феоктистова, так и его увлечение судьбой Достоевского, его Феокритов тоже пишет о Достоевском. В Семипалатинске у него есть знакомая, хранившая «семьдесят лет письма Федора Михайловича, о существовании которых не знал ни один человек в мире». Н. Анов прошёлся и по стилю статьи Феоктистова о пропавших письмах, в которой автор, стремясь донести до читателя свою горечь (он держал в руках драгоценные письма – и вот они пропали), рассказывает, чтобы хоть как-то компенсировать утрату, где и как они хранились, как выглядели. «Письма хранились, – пишет он, – в секретной шкапулке великоустюжской работы», «с морозом по жести». В шкапулке – «23 секрета, и хранится она в большом сундуке». Фантазию Анова ничто не сдерживает – и вот Феокритова арестовывают при попытке захватить письма Достоевского... В образе писателя М. Феокритова Н. Анов высмеял излишнюю чувствительность и восприимчивость некоторых людей – черты, особенно заметные в эпоху, когда тон задают люди жёсткие, яростные, бескомпромиссные. К последним Анов, несомненно, относил себя, а к «гнилой интеллигенции» – Феокритова и его прототипа, своего «старого друга» Николая Васильевича Феоктистова. «Сердце, – сказал Феокритов, опуская веки и приложив руки к груди. Тут все посмотрели на Мирона Мироновича, на его портфель, в котором, казалось, было спрятано ведро, на великолепные краги и пышные усы, слегка

опушенные снегом. – Я еду в Москву, – торжественно объявил Мирон Миронович. – Меня вызывает сам товарищ Анатолий Васильевич Луначарский. Анатолий Васильевич узнал про калашницу Лизу и прислал телеграмму!» «Провожаящие видели, как исчез зонтик, но никто не знал, что это тот самый зонтик, который спасал Федора Михайловича Достоевского от знойных солнечных лучей в пыльном Семипалатинске...» К счастью, Н. Феоктистов не прочёл «дружескую пародию» Н. Анова. Да и последний – увы! Не услышит эти горькие слова...

Ни долгое молчание о Николае Васильевиче Феоктистове в литературе, ни случайные балаганные выпады в его адрес не смогут стереть след, оставленный им. Когда мы называем имена Павла Васильева, Леонида Мартынова, Сергея Маркова, того же Николая Анова, мы не сможем обойти молчанием и Феоктистова. Без него не было бы и их. Останется в истории литературы его статья о пропавших письмах Достоевского – как легенда, очень похожая на быль, и ни пройти, ни отмахнуться от неё теперь нельзя. Останется пьеса «Степная жакерия», до сих пор неизвестная читателю. Пьеса, написанная по рассказам очевидцев восстания в Казахстане в 1916 году. Спустя 20 лет Н.В. Феоктистов рассказал об этом в журнале «Советское краеведение». Думаю, не без интереса читался бы сегодня и его очерк «По Северной Осетии», изданный издательством «Физкультура и туризм» в 1938 году пятидесяти тысячным тиражом. Останется в истории литературы сборник «Песни киргиз-казаков» как опыт братского сотрудничества литератур народов СССР, освящённый участием в нём крупнейших поэтов страны – Павла Васильева и Леонида Мартынова, а также как образец качественного поэтического перевода. Останется и скромный, никому не известный единственный авторский поэтический сборник Николая Феоктистова «Стихи». Останется, потому что в искренности молодого поэта отразилось настроение, которое владело сердцами многих его сверстников.

Всё это даёт нам право повторить, прощаясь, имя этого человека, повторить, чтобы запомнить: Николай Васильевич Феоктистов.

Виктория Кинг
ОБИТАТЕЛИ ОЛИМПА
(из новой книги «Отшельница»)

Самолет задержали на целые сутки. Новосибирск затянут туманом. Погоде все равно, что на дворе уже новое тысячелетие и второй год нового столетия - она капризничает. Ничего не оставалось, кроме как коротать долгие часы ожидания.

Натянув поплотнее шапку на уши, я отправилась на поиски подарков, благо, по всему городу, да что уж говорить, по всем городам России, как лоскутное одеяло раскинuty барахолки.

А на улицах можно увидеть бабушек, продающих кто что может. Им-то не приходится капризничать, им капризы судьбой противопоказаны. Они добывают себе пропитание.

Словом, привезти какой-никакой сувенир я смогу, а то возвращаться из командировки с пустыми руками - вроде не положено. Впрочем, я сама себе такой закон придумала - куда бы ни ездила, всегда привожу сувениры: для памяти, раздумий или даже для саднения души, если командировка не удалась.

На такси я проскочила на первую же поблизости толкучку. Пошла по рядам, взглядом оценивая, откуда все это барахло навезено: Китай, Польша, Эмираты. Тряпки, тряпки еще раз тряпки... Ничего подходящего.

Неожиданно увидела между прилавками, прямо на земле, на расстеленных газетах, книги. Дряхлая бабуля продавала их на вес - безмен рядом лежал. Пригляделась и ужаснулась...

Вспомнилось, как за такими книжками сама «охотилась» по молодости, - купить, вернее, «достать», это была мечта той поры, хотя бы взять у кого-нибудь почитать. Потом друзьям

из рук в руки передавала, боялась, чтоб не потрепали, не потеряли.

А тут, надо же - сплошная классика: Честерфильд «Письма к сыну», Пастернак, несколько томов из собраний сочинений Чехова, «Белая гвардия» Булгакова... До чего же народ у нас изобретательный, на килограммы литературу распродает. А что? Занимательно, а, может, и выгодно.

Взгляд задержался на толстой книге в темно-синем колленкоровой переплете с золотыми буквами: «Мифы и легенды Древней Греции». Почему-то сердце тихо застучало...

Непонятно в связи с чем, но мне стало жалко себя, своей жизни и этой книжки. «Наверное, бабуля собственную библиотеку на кусок хлеба распродает», - подумала я и участливо спросила:

- Бабуленька, книжки, поди, из вашей личной библиотеки?

- Да, что ты, милая, я таких книг отродясь не читала, да и некогда мне было, сама знаешь, на нашем веку, нам старикам, досталось под завязку, и сейчас умереть спокойно нельзя. Похоронить денег не хватит. Нет, книги не мои, одна старуха мне их по дешевке продала, ей на панихиду в Никольской церкви денег не хватало, вот она меня и уговорила, сказала, что за них я тыщи выручу - много больше, чем я ей, бедолаге, ссудила, да только никто их у меня не покупает, интересу на литературу, у людей нонче нет. Может ты что купишь, выбирай, ну хоть пару килограммов? А?! Сделай милость, а то замерзла совсем, до костей пробрало...

- Я бы с радостью, только мне лететь на самолете, они же тяжелые, за дополнительный вес платить заставят. Уж извините, не могу...

- Ну, как знаешь, - проворчала бабуля.

И я двинулась дальше по рядам, трогая заморские шмотки. Но, несмотря на мой отказ купить книги, нечто привораживающее, звало, тянуло назад к разметающейся на газетах куче книг, к этой стае истерзанных, искромсанных душ

и судеб, истории которых были напечатаны черным по белому и затянuty в обложки разного цвета и качества..., продающихся... по килограммам..., как мясо или молочные сосиски. Просто бред какой-то, наваждение. Вот именно, - если старуха не продаст книги, то не купит себе и куска хлеба, не то что сосиски. Не пройдя и двадцати шагов, я развернулась и опять подошла к ней.

- Милая ты моя, вернулась-таки?! - с волнением спросила бабушка, - ну, какие тебе приглянулись?

- Только одну книгу куплю, вот эту, - указала я на мифы Древней Греции, решительно сунула несколько сотенных старухе, схватила книгу и резко зашагала в сторону выхода. Меня трясло. Судорожно я пыталась запихнуть книгу в сумку. Коленкор обложки ледяной, но казалось, что даже через кожаные перчатки поверхность книги обжигала. В голове промелькнуло: «Бедная ты моя, замерзла», - это я говорила с книгой. И правда, в воздухе запахло снегом. «Наверное, мороз к утру грянет и снег пойдет. Зима наступает».

Вернувшись в переполненный аэропорт, я с трудом нашла свободное место. Сидя в жестком кресле, решила полистать купленную книжку. Ждать вылета самолета больше двадцати часов, так что будет чем заняться.

Книга сама собой раскрылась на тринадцатой странице, и вот ведь оказия—то какая, на первой главе «Происхождение мира и богов».

Начало абзаца звучало сурово и просто: «Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В нем заключался источник жизни. Все возникло из безграничного Хаоса – весь мир и бессмертные боги».

Фраза идеально подходила мне к внутреннему состоянию на сегодняшний момент. Без конца пытаюсь в хаосе собственной жизни найти новое начало, идею, дело, - чтоб в конце концов найти мир в душе, ... а уж с богами у меня вообще напряженка, то поставлю кого-нибудь на «пьедестал», то сброшу...

Отвлечшись на какое-то время от чтения, открыла титульный лист и прочитала посвящение, написанное наискосок крупным, размашистым, но каллиграфическим почерком: «На память Дашеньке Белоцерковской от горячо любящего папы», подпись и дата 24 декабря 1960 года. «Наверное, в день рождения подарена книга... Был испечен торт, уют и тепло дома, радость и ласковые, любящие взгляды обрамляли этот особенный день для девочки. Она радовалась, листала книгу, которую еще предстояло прочесть, заголовки сулили сказочные происшествия...

Потом прошли годы и этот день ушел в прошлое, да и все прошлое стало мифом...

Теперь эта книжка с барохолки - в моих руках в холодном гулком зале ожидания аэропорта, где метущиеся, уставшие, возбужденные люди вряд ли помнят о богах и героях Древней Греции», а, может, вовсе о них не слышали...

Отгнав мимолетные размышления, вернулась к первой главе и углубилась в чтение. Неожиданно, перевернув очередную страницу, меня ошеломила догадка... моему удивлению не было предела..., между строчек типографского набора вязью струились мелко написанные дневниковые (?) записи... Мой взгляд зацепился за строку из текста мифов Древней Греции... «Высоко на вершине Олимпа царит Зевс», скользнув вниз, начала читать таинственную вязь, постепенно пытаясь вникнуть в забытый мир чьей-то жизни, повествование которой захватило меня с первого же слова: «отец»...

Отец и моя семья

Сколько себя помню, каждое утро папа будил меня легким прикосновением к щеке, шепча: «Дашенька, доченька, проснись, скоро солнышко встанет, в школу пора, просыпайся, малыши». Откроешь глаза, а он стоит над тобой,

большой-большой, с пышной шапкой вьющихся темно-русых волос и смеющимися голубыми глазами. От него всегда пахло красками, деревом, свежими опилками и... успехом, особенно когда в суматохе будней он готовился к премьере, волновался и нервничал из-за каждого гвоздя, неправильно вбитого рабочими сцены или из-за недосохшей краски на декорациях.

В доме было много вещей, которые не могли существовать без отца, как и он без них: рулоны ватмана - этикие макаронины, связанные вместе по несколько штук, гигантские этюдники, впопыхах втиснутые между стеной и нашим единственным шифоньером, который с годами они отодвигали все дальше и дальше от стены, а несчастные боковые стенки еле-еле выдерживали натиск наваленных на них эскизов; макеты к очередному спектаклю, обычно стоящие на столе, под кроватью (старые задвигались глубоко под письменный стол)... Были и такие, которые отец не смог осуществить и воплотить на сцене - те он любовно, на всякий случай, складывал на антресоли, так он называл им самим сделанные навесные полки с дверцами прямо над входной дверью. И, конечно, - мольберт. К нему никто не имел право прикасаться. Это была святыня. Отец работал главным де-ко-ра-то-ром в драматическом театре.

... А еще была «священная Закулиса». Мне всегда казалось, что она живая, потому что с самого детства Закулиса вносила немало авантюрного и лихорадочного в нашу жизнь.

В ней всегда что-то происходило, то она нечаянно сталкивала кого-то с кем-то; то подкидывала под каблук «ведущей и всеми уважаемой, заслуженной» оставленные аккурат на пути молоток или деревянные, и спотыкаясь, актриса крыла матом и ругала на чем свет стоит всех, кто Закулису не любит и не может правильно организовать работу...

... А еще Закулиса имела отвратительную привычку шептаться и перешептываться, путать всем карты и упивать актеров в стельку после очередной премьеры. Закулиса знала все семейные драмы и у кого кто родился. Она знавала слезы и гомерический смех, но, главное, что ей было присуще - это беспредельная любовь каждого, кто хоть раз побывал в ней или хотя бы вдохнул ее запах.

Закулиса трепетала с каждым актером, предвкушающим успех, переживала с тем, кто выходил на сцену впервые, и с теми, кто делал свой последний шаг в финале заключительного спектакля перед тем, как окончательно покинуть подмостки...

Она никогда не соперничала со сценой, ей это было ни к чему. Она торжествовала от невидимой власти - создания волшебства для сцены - и потому мирилась со своим положением. Она была вечной, как и театр.

Закулиса принимала тысячи поклонников, с цветами, шоколадом и шампанским...

Впрочем, как и моя бабушка.

Да, бабуля была актрисой и в юности славилась своим неуемным характером и невероятной красотой. Даже сейчас, в преклонном возрасте, она позволяла себе надевать шляпки с вуалетками и тонкие кружевные перчатки, а ее чудные русские шали, доставшиеся неизвестно от кого, до сих пор вызывали зависть у женщин. Вокруг нее всегда вились благообразные старички, которые поддерживали ее «под локоток», водили в театр или на выставку, и еще у бабули были две старые подруги, с которыми она частенько выходила попить чаю или степенно продефилировать по Невскому в «Пирожковую» и интеллигентно поболтать-посплетничать обо всем на свете.

Бабуля меня любила и сохраняла все мои шедевры, берегла мою первую картину, выполненную в трехлетнем возрасте на огромном куске ватмана. Это была целая

история, - однажды вечером родители с бабушкой после ужина что-то бурно обсуждали, а я, вытаскивая отцовские тюбики, сосредоточенно выжимала краски на бумагу и наступала на них ногами, увлеченно рассматривая, как все цвета радуги вылезают на бумагу сквозь пальцы ног; руками получалось не так здорово, зато можно было штамповать отпечатки ладоней и возить ими из стороны в сторону...

Отмывали меня долго чем-то крепко пахнущим, но не ругали. Бабушка частенько показывала нашим общим знакомым мои поделки и особенно берегла черепашку, связанную мною крючком из коричневой и желтой шерсти и туго набитую ватой.

Бабуля научила меня вязать, шить, штопать носки и вышивать гладью.

Больше всего я любила класть голову на ее колени и, зажав глаза, наслаждаться ощущением покоя и счастья под ее нежной рукой, гладившей мои волосы, и слушала сказки, которые она сама сочиняла.

«... Богиня Гера, жена Зевса...».

А мама..., мама всегда пела. Она была хористка Ленинградского оперного театра, но всегда говорила, что работает в Марьинке – по-старинке. Она всегда хотела петь ведущие роли, но так и не получилось. Мама знала столько арий и романсов, что могла петь часами, не повторяясь. Она выезжала на гастроли по Союзу и всегда привозила новые песни, она их коллекционировала. У нее было три толстых тетрадки, куда она их записывала. Мама могла открыть любую страницу и с первых же слов лилась мелодия, которую она слышала один-два раза, причем много лет назад, и все же помнила досконально. У нее была великолепная память.

Она подрабатывала в церковном хоре в небольшой действующей церкви в Пушкине. Иногда брала меня с собой на

службу. Больше всего мне нравилось бывать там на Пасху. Мы с ней и бабушкой собирали полные авоськи испеченных куличей и крашеных яиц и отправлялись. Всегда старались выйти из комнаты и пройти по коридору коммуналки тихо, как мыши...

Мой взгляд выделил из книги очередную фразу «Богиня Гера, покровительствует браку и охраняет святость и нерушимость брачных союзов... Боги чтят Геру, чтит ее и муж, тучегонитель Зевс. Но нередки и ссоры между Зевсом и Герой...».

... Да, ссор хватало. Мама очень любила отца. Ее любовь была сродни безумию, она его ревновала ко всем и вся. Однажды ее ревность чуть не довела их до развода. Они крупно поругались из-за молоденькой натурщицы, которую отец рисовал в студии. Случайно мама заехала туда по срочным делам и застала их в «не надлежащей позе», как она в слезах объясняла ситуацию бабушке. Не устраивая сцены в студии, дождалась, когда отец вернулся домой, и ледяным тоном выложила все свои чувства и мысли – пусть сам рассудит!

Отец горько смеялся и пытался «расставить все по местам», но не получалось. Мать разрыдалась и в истерике кричала о распутстве, псевдотворчестве и разводе. Только к поздней ночи все утихомирилось, единственное, что было ужасно – вся коммуналка, притихнув в тот вечер, слушала, зажав дыхание, монологи моих родителей, моих Зевса и Геры.

Для обитателей нашей коммуналки сцены из «Действия Великого Зевса» были редки и потому, вне всяких сомнений, интересны. В ту ночь отец кричал во сне, а мама его тихонько успокаивала. Он был бывший фронтовик, дошел до Берлина, стоял в очереди на отдельную квартиру и машину. Только очередь никак до него не доходила. А ночные кошмары никак не покидали. Иногда он вспоминал о войне и рассказывал о своем генерале, о своих фронтовых друзьях.

Отец воевал на северном фронте...

Дважды к нам в Ленинград из Алма-Аты приезжал его генерал – Архангельский, седой, крепкого сложения мужчина. Оба раза они с отцом говорили шепотом до утра, до самой зари, плача наливали себе водки, поминая тех, кто погиб на войне.

Бывал у нас еще один папин друг, странный, сумасшедший художник, работавший декоратором в Алма-Атинском оперном театре. Про этих своих казахстанских друзей отец всегда говорил, что они – как лед и пламень, никогда не сольются и никогда не поймут друг друга. Для меня было очень странно, что его друзья не собирались вместе, и даже в Алма-Ате ни разу не встретились друг с другом, несмотря на то, что жили по соседству.

Генерал и художник дружили с отцом каждый порознь, рассказывая ему понаслышке о жизни друг друга. У генерала хватало юмора и он, что называется, «в лицах» расписывал художника – расхристанного оборванца, важно шествующего по Никольскому базару в Алма-Ате с мольбертом и самодельной холщовой сумкой через плечо, но никогда не судил о его творчестве и не возмущался «попранием приличий» и моральным обликом художника – тот крепко выпивал и даже приставал к прохожим с длинными дискурсами о слепоте обывателей к новому искусству.

Зато живописец с сарказмом отмечал, что генеральский героизм сгодился сейчас разве что на пестование пчел, и единственно, что отрадно, так это купить на базаре мед с генеральской пасеки, по дружбе и подешевле... у его жены, хм... у самой генеральши...

Бывший фронтовик - и декоратор в театре. Странное сочетание, да и судьба, наверное, ой-ей какая была... Вот ведь как бывает: стоит на базаре и продает мед «генеральша».

Надо же, так меня зовут между собой мои сотрудники, подумала я, оторвавшись от чтения. Наверное, когда-нибудь таких, как я, назовут «старые новые русские». Картина,

возникшая в моей голове, привела в ужас. «Все проходит, все проходит в этой жизни. Ну да, я – крутая, есть у меня капиталец – многие завидуют, сама заработала. Тяжело было, порой даже грязно и противно, но – выстояла. Иногда казалось, что вся моя работа – зряшний Сизифов труд. Судьба не сложилась, трижды замуж выходила, детей хотела, - не вышло. Одна живу, только бизнесом и занимаюсь, ни выходных, ни проходных, как говорится, - так что, чему бы завидовать...

А если та генеральша в конце генеральской карьеры торговала медом на базаре, то как может еще обернуться и моя судьба! Хотя...

Пятьдесят стукнуло, выгляжу хорошо, за собой слежу, в спортивный зал при всей занятости захаживаю, на массажи не опаздываю. В командировки по разным концам света мотаюсь, много чего удалось посмотреть...

И все же - старость?! Какой будет моя старость – даже не задумываюсь... А кто задумывается? Может, она уже на подступе, но ты ее наотмашь не замечаешь, храбришься-молодишься...

Впрочем, если подумать, так люди в последнее время с большим почтением стали относиться ко мне. Сказала бы, даже с подобоострастием, особенно когда денег на что-нибудь просят, на новый проект или на раскрутку чего-нибудь... Лебезят порой, аж тошно...

И что?... Что делать?... Ну, есть у меня квартира в центре Москвы и усадьба в Подмосковье тоже есть – дом отличный, евроремонт по всем правилам, охрана, прислуга, пара постоянных поклонников...

И что? Одной век доживать в своих хоромаш? Вдруг плохо станет?... Нет, у той генеральши хоть свой генерал, пусть всего лишь при пасеке... Да что ж ты запричитала сама над собой! Подумаешь, охрану вызовешь, а они – скорую... А вдруг я разорюсь? И тогда..., вот тогда-то уже никого не

вызовешь... Друзей?...

Интересно, кто меня схоронит, что скажут на моей могиле, кто взаправду плакать будет? Могу я кого-нибудь назвать, кто меня действительно любит, - меня, человека, женщину, наконец...

Ой, стоп, не лезь, куда не надо... Двери моего сердца закрыты и ключ покоится бог весть в какой пропасти, так что душу беречь не будем...

Может, мне новый проект начать? Скажем, санаторий для «старых новых русских», по-новому оборудовать дома престарелых, так, чтоб там было все, даже поля для гольфа, Интернет, библиотека, врачи высококвалифицированные... Как-нибудь вечером за чаем соберутся старички и старушки и начнут байки рассказывать о своих былых успехах, о бизнесе, контрактах, о встречах с Великими, - этикие ухоженные, хоть и траченные молью, красавчики, волки-одиночки, сбившиеся в случайную стаю. Но, наверное, о многом и говорить не будут. Побоятся. Как и сейчас, например, не каждый олигарх раскроет, с чем его бизнес едят. Конечно, у многих отпрыски растут. Девчонок на балы выводят, чтоб себе пару присмотрели, мальчишек в Оксфорд отправляют.

Знакомый у меня есть, его сын как-то спросил отца, каким образом он свои капиталы разделит между ним и дочерью. Глава семьи смутился поначалу, а потом обрезал сына: «Я еще не умер, рано делить наследство», но с адвокатом вскоре обговорил все проблемы...

Вообще-то идея о доме престарелых для новых русских хорошая, надо подумать...

Наследство мое кому достанется? Завещание переписать надо, сесть и еще раз подумать, кому и что... Как приеду, сразу же этим и займусь...

Мои невеселые размышления прервали трели мобильника. Узнав номер моей секретарши, я отключила телефон.

«Отвяжитесь вы все!» - единственная мысль пронзила все существо, словно молния, - «надоели, обнаглели, может, я сплю, время позднее... что уж и говорить, сама приучила за эти годы и партнеров, и сотрудников, что я - в любой момент на связи. Надо, не надо, по любой чепухе с постели в четыре утра поднимают. Каждый день как на войне...

Машенька, моя секретарша, девочка умная, трудолюбивая, все помнит, обо всем вовремя доложит. Друг у нее - молодой талантливый художник. Уговорила меня спонсировать его персональную выставку, а то парень на Старом Арбате картины продавал, на то и жил. Может, эта выставка ему поможет...

А раньше, ведь быть художником солоно приходилось, на тротуаре свои картины не выставишь, в частные галереи не предложишь. Добраться до Члена Союза было ой-ой-ой, так что Дашенькиному Зевсу Белоцерковскому еще повезло в жизни...

А по молодости и я дружила с художниками... Ох, было, было. Авангардисты из группы «Зеленый поезд», даже не знаю, где они сейчас, и что делают. Помню, картины у них покупала, чтоб их поддерживать. Одна картина как-то вечером меня просто напугала. На ней - мужчина и женщина, в полный рост, обнаженные, держатся за руки. И вот при заходящем солнце лучи пали на середину картины так, что я увидела еле заметный образ смерти между влюбленными, и мне стало страшно от угаданной безысходности...

На другой же день я пошла и попросила художника переписать картину или на худой конец забрать ее обратно. Не хотелось мне спать в квартире с такой тройкой. Парень мне тогда ответил, что на полотне отображена жизненная правда, а я ничегошеньки не понимаю в искусстве и мои воззрения - полный идеализм, сравнимый с абсурдными попытками уговаривать проститутку пойти учиться на повара. С тем я и выскочила из его квартиры, хлопнув дверью изо

всех сил...

А этот безумный художник из Алма-Аты, что-то мне напоминает, однако... В застарелых потемках памяти шевельнулось нечто, что бросило меня в краску. Щеки запылали. Что только по молодости не сотворяла?! Ну, конечно же, мой скоротечный роман с коллекционером, у которого... Точно! Он еще мне предлагал купить картины художника-декоратора оперного театра из Алма-Аты... У него их было несколько штук. Народ на метро по полтора часа мотался по Москве, чтоб посмотреть на эти полотна в до предела забитой, старой московской квартире молодого коллекционера, где мы праздновали вдвоем его день рождения.

Господи, как же я могла забыть!

С невероятной быстротой я набирала телефон Маши, теперь только я сообразила, зачем она пыталась меня найти. К моему облегчению, Маша сразу же взяла трубку.

- Машенька, извини, что беспокою, в Москве уже глухая полночь, а я звоню...

- Что Вы, Лидия Сергеевна, я Вас сама пыталась найти. Где Вы? Что случилось? – затараторила секретарша.

- Маша, самолет задержали.

- Может, чартером полетите?

- Ну, какой же чартер, погода нелетная.

- Я сейчас же созвонюсь с Андреем Петровичем, чтобы Вас в гостиницу определил и к самолету обратно подвез...

- Нет, не хочу никого напрягать.

- Лидия Сергеевна, Вы ведь измотаетесь.

- Ничего со мной не случится, я даже в ВИП не пошла – там столпотворение.

- Но...

- Маша, что там с подготовкой к моему юбилею?

- Все в порядке и...

- Машенька, знаете что, давайте поменяем декорации. Вместо квартиры устроим прием гостей в загородном доме,

в усадьбе...

Говоря в трубку, я поспешно встала и, показывая жестами соседке, что я скоро вернусь и ей придется присмотреть за моим местом и чемоданчиком, на что та ответила кивком, я двинулась в сторону выхода. На улице, закулив сигарету, продолжала:

- Да, форма одежды вечерняя и... записывайте. В меню обязательно семга, икра черная, красная, брюшеты, Катерина сделает их, как я люблю, а не просто горячие бутерброды; шашлыки в этот раз Федор пусть маринует в молоке и обязательно приготовит свежий гранатовый сок, к шашлыку он лучше, чем уксус; не забудь мое любимое, дешевое калифорнийское вино White Zinfandel, и итальянских вин в этот раз не надо, пусть будут французские, дорогие, не забудьте купить «Луи XIII». По-моему, моего вина осталось всего пару бутылок в холодильнике у барной стойки, там и найдете, и хорошо бы позвонить Джону в Калифорнию, чтобы еще кейс вина прислал. Кстати, созвонитесь с Колесниковым, он новый квартет собрал, говорил, что талантливые ребята, пригласите их и Женечку Шумилову, мне нравится как она поет. Конечно, без предварительной договоренности, Машенька, может, и не удастся их затащить, но кто знает, а вдруг получится. Оплата как всегда, и сверху добавим... Да, ... и еще Светочке придется пораньше приехать, чтоб прическу мне сделать, а то у меня получится с корабля на бал.

На том конце трубки однообразное: да, да, так, так...

- Машенька, надеюсь, справитесь, и пожалуйста, приведите, наконец, своего художника, надо же и мне с ним познакомиться, правда? Спасибо, дорогая, и спокойной ночи.

Закончив разговор и засунув мобильник в сумочку, я тут же придумала, какое платье надену. Хочу выглядеть отлично! - решила я, - и, значит, буду!

Неожиданно для себя поняла, как бы наблюдая за собой со стороны оценивающим взглядом: в подтянутой, преуспевающей женщине в роскошном пальто, с ухоженными

руками и маникюром, вряд ли кто узнает девочку из коммуналки, жившую недалеко от станции метро «Водный Стадион». Долгожданную дочку двух геологов, вернувшихся в Москву с Севера, которая аккуратно носила школьную форму и занималась плаванием...

Отец с матерью жили хорошо, никогда не ругались, мама бывала недовольна отцом только, когда он уходил играть в карты. Иногда он мог вернуться в одних семейных трусах и непонятно чьих башмаках, перед рассветом, посиневший от холода, а порой с полной наволочкой денег, и тогда он раскладывал их по купюрам на аккуратные пачечки, перевязывал нитками. Мама боялась, что отца когда-нибудь посадят за азартные игры или, что всегда меня пугало, он проиграет нас с мамой какому-нибудь катале, так называли тех, кто катался по всему Союзу и играл в карты, то есть профессиональных шулеров.

А, может быть, я и что-то путаю, это было так давно. Но отец не поддавался на ее увещевания... Он меня обожал, в свободное время рассказывал разные истории из жизни на реке Маме, о своих геологических экспедициях. Он знал много стихов, любил Есенина, хорошо играл на гитаре и пел глубоким баритоном так, что сердце захватывало.

Он скучал по Северу и простоте взаимоотношений с людьми. Там на Севере все было ясно, люди быстро определяли: друг ты, или враг. У отца было три друга, которые, приезжая в Москву, бурно врываются в нашу обитель, сбрасывали огромные рюкзаки, и с гоготом начинали бороться с отцом, вытаскивали гостинцы для меня: кедровые шишки, необыкновенные кристаллы, странные куски пород. Сушеную клюкву... Накрывался стол и рассказы лились рекой. Мама хлопотала вокруг четырех закадычных друзей...

Моя мама хранила покой и любовь в доме, учила со мной уроки, плакала вместе со мной над первой моей несчастной любовью, пекла потрясающие пироги с сазаном. Мама... Она учила меня быть сильной... Родителей моих уже давно

нет. Слезы навернулись на глаза... Осталась я одна-одинешенька, из всей родни, - только дальние родственники, больше никого.

Встряхнув головой, я резко затушила очередную сигарету и вернулась обратно в зал ожидания. «Конечно, через несколько часов я, наверное, устану, буду ругать себя за то, что отказалась от гостиницы. Ну, да ладно. Интересно, как выглядит Машин художник?» - подумала я и, усевшись в кресло, взяла книгу в руки: «Скорей всего, придет в такси, впрочем, может, он свободный художник и одевается как ему заблагорассудится, об Алма-Атинском творце, что упомянут в дневниковых записях Даши, говорили, что он сам себе шил расклешенные штаны с цепочками и пуговицами, носил длинные волосы ниже плеч, был талантлив и непредсказуем...».

Боже ж ты мой! Сколько собственных воспоминаний наваяли дневниковые записи какой-то Даши, которую я и в глаза не видела. Неужели так и получится, что, читая заметки о ее жизни, я вспашу твердыни своей памяти, запараллелию происходившее со мной с ее жизненными коллизиями. А зачем мне? Может, и не читать вовсе, и книжку не вытаскивать. Но... рука сама потянулась в сумку за коленкором переплетом.

... Ладно, почитаем, что же там дальше происходит, записи меня по-настоящему интриговали, я нутром чувствовала, что задевают они какие-то глубины моего существа и чувства, давно забытые и схороненные в сумерках прошлого. Дашиной рукой писанные строчки витиевато продолжали струиться между книжных строк:

... Большие всего я любила воскресенья, очевидно, потому, что утром можно было поспать чуть-чуть подольше, и знать, что к обеду будут свежее испеченные бабушкой пирожки, квашню она ставила с вечера и колдовала над ней, не давала на нее никому дохнуть и с тестом всегда шепотом разговаривала. Весной – были обязательно пироги с

зеленым луком и яйцом. И еще зеленый со щавелем борщ, а зимой – пирожки с печенкой или мясом, иногда с капустой...

Но, если мама и бабушка договаривались напечь пироги с рыбой, это значило, что приближаются праздники или чей-то день рождения, и тогда будет еще и знаменитый мамин медовый торт с грецкими орехами. Леночка, моя старшая сестра, и я, заранее станем колоть орехи и выковыривать до последней крохотной дольки, а потом делать разные фигурки от черепах до жирафов, пластилином прикрепляя к скорлупкам спички и пробки от бутылок.

Сестра была старше меня на семь лет и считала себя большой, только иногда она возилась со мной или читала мне сказки. Она была круглая отличница и хотела закончить школу на золотую медаль. У нее была длинная толстая коса, слегка раскосые папины голубые глаза и длинные ресницы.

Я больше походила на маму, переняв ее карие глаза и румянец, который терпеть не могла. Я всегда рделась – от радости, восхищения, смущения или от злости, щеки краснели, когда хотели, и мне иногда казалось, что они существуют сами по себе, по своим собственным законам и, в принципе, для них не имеет значения мой эмоциональное состояние. Уже это одно придавало моей жизни нотку скрытой грусти, но у меня еще были и веснушки... Ребята с нашего двора, с самого детства обзывали меня конопатой. Волосы у меня были кудрявые, как у папы, но темные с медным отливом.

Все мое семейство проживало на восемнадцати квадратных метрах в Питерской коммуналке на двадцать семей. Нас было много и все были разные: старые и молодые, больные и здоровущие, семейные, одинокие, и с детьми. Может быть, поэтому папа прозвал наше пестрое сообщество – Олимпом.

* * *

Вспоминая о своем детстве, я только сейчас понимаю, как в те далекие времена все было для меня просто и ясно. Меня все любили, прощали мои мелкие шалости, я неслась навстречу юности по коридору нашей коммуналки, на парах счастья, мотая портфелем или авоськой с нехитрыми продуктами, здороваясь и прощаясь со своими соседями, шушукаясь с ребятами.

Тогда я точно знала, что наша квартира №4 – лучшие всех. Даже странно, что каждый обитатель во всех двадцати комнатах называл свою также уважительно квартирой!

В нашей не висели, как в других, длинные шторы, разделявшие комнаты на две половины. У нас были декорации, сделанные моим отцом и отделявшие угол каждого члена семейства. Дядя Веня, живший в третьей квартире и наш сосед, бывало, зайдя к нам, рассматривал наш «интерьер» и, цокая языком, говорил: «Ну, театр, да и только!».

Это был крупный, небольшого роста человек, всегда хлопочущий спозаранку. Бывший фронтовик, одинокий старик, у которого все родные погибли в Блокаду. Дядя Веня любил поговорить в коридоре с моей бабулей о житейских проблемах и о своем ревматизме. Иногда я слышала отдельные реплики из их разговора, пробегая по коридору, и до меня доносились странные слова: «Сизифов труд»...

Эти слова у меня всегда ассоциировались со стиркой, которая никогда не заканчивалась у жильцов коммуналки. С утра до вечера какая-нибудь квартира «стирала». У дверей в комнате тех, кто был побогаче, стояли стиральные машины, а кто не мог себе позволить такую роскошь, обходились оцинкованными корытами или тазиками.

К примеру, тот же дядя Веня таскался с ведрами туда и обратно из кухни или ванны, если она не была занята, что случалось очень редко, потому что расписание на дверях расчерчено по часам и минутам.

Его оцинкованное корыто было особо притягательно для всех ребятишек. Каждый из нас, проходя мимо висящего чуда двадцатого века, считал своим долгом стукнуть в него, или, пробегая и высоко подпрыгнув, дотянуться кончиками пальцев до верхушки гениального изобретения человечества.

Дядя Веня обычно выскакивал из двери и шумел на нас, хоть и без злобы, и прибывал чуть выше гвоздь, на котором от щелчков громыало корыто, но упускал из виду, что мы, дети, тоже росли, и, в конце концов, не будешь же ты пристраивать это проклятое корыто под самый потолок. Так что однажды мы так выросли, что дядя Веня купил стиралку.

Все знали, что у дяди Вени есть любовница, но он представлял ее как свою приятельницу, которая, также как и он, любит вязать и приходит к нему за консультациями и новыми узорами вязки. И в правду, ко всем его причудам, - сосед вязал на продажу свитера и кофты, а иногда вывешивал крючком огромные скатерти. Одну он подарил моей бабушке и мы ее стелили на стол по большим праздникам, а теплый свитер – нашей соседке из второй квартиры.

Дина Андриановна была охотоведом и жила дома только несколько зимних месяцев, остальное время она проводила в тайге, изучая зверей – писала диссертацию. Исчезала как-то незаметно, а потом также внезапно появлялась со своим рюкзаком и любимой собакой Джеком. Джек был чистопородной лайкой, умный пес и очень сильный. Мама говорила, что однажды он Дину Андриановну спас от волков. Я любила заходить в ее комнату и рассматривать чучела разных зверушек. Больше всего мне нравилось чучело белочки, сидящей на толстой ветке.

Тетя Дина могла подолгу рассказывать: о могуществе и тайнах тайги; о том, как разжечь огонь под дождем и прокормиться кореньями и ягодами; о разных зверях, их

повадках, о диких лечебных травах и своих одиноких походах на дальние охотничьи сторожки. Она знала все о миграции животных на своих квадратных километрах, и не только это, - она спасала раненых зверей, а некоторым из них даже давала имена. Семейство лосей у нее было самое любимое, она их подкармливала и сочиняла о них маленькие рассказы, поэтому когда она возвращалась из тайги, я всегда ее спрашивала о новостях в лосином семействе. Отец мой называл Дину не иначе, как Артемида.

Артемида... Начинаю замечать, что, читая записи Даши, я постоянно заглядываю в оглавление книги... «Артемида, заботится обо всем на свете, что живет на земле, растет в лесу и в поле. Заботилась она о людях, о стадах домашнего скота, о диких зверях... вызывала рост трав, цветов и деревьев. Прекрасная, как ясный день, с луком и колчаном за плечами, с копьем в руках, весело охотится Артемида...».

У Дины Андреевны было настоящее ружье и патрон-таши, набитый патронами, однако она никогда не давала на них посмотреть. Дину Андриановну все уважали и знали, что она с охотниками даже на медведя ходила, хотя мама говорила, что не женское это занятие быть охотоведом. И в тридцать семь лет не иметь семьи, детей и жить месяцами в тайге тоже не годится.

Тетя Дина дружила с Люсей из первой квартиры и бабой Маней из седьмой. С тетей Люсей они были одногодки и любительницы овощного рагу с сушеными грибами, а баба Маня со своим внуком Генкой просто-таки жили ее рассказами, потому что Манины дети работали где-то далеко на севере и практически не появлялись в Питере, только денежные почтовые переводы посылали регулярно. Так что Бабманя, как и я, была внимательной слушательницей Дины-охотницы.

У тети Люси был сын Гарик. Он и Генка заканчивали школу и заглядывались на мою старшую сестру, иногда они приглашали ее в кино, и в такие моменты мой папа всегда звал Ленку и, подходя к ней, шепотом говорил: «Ваши нарциссирующие Аполлоны ждут Вас, сударыня», чем приводил мою сестру в полное негодование и она, нервно дернув плечиками и надув губки, выходила к ребятам. Я всегда недоумевала, как это возможно человеку «нарциссировать», и еще долгое время, глядя на цветы-нарциссы, у меня в памяти слышалась папина фраза.

С жильцами пятой квартиры связано познание первой скорби. В этой квартире жил бригадир монтажников-высотников Петр Алексеевич Жуков с женой Галей и двумя детьми – Сашей и Ритой. Сашика и Рита часто играли со мной, и мы считались закадычными друзьями.

Но однажды, когда мы забавлялись с Сашкиными оловянными солдатиками, в коридоре у стенки между нашими квартирами раздался телефонный звонок, а в те времена телефон был один на всю коммуналку, и Изольда Вениаминовна из двадцатой квартиры, по обыкновению подошла на звонок первой, ответила, потом слегка охнув и бросив трубку, рванулась к нам и, почему-то резко прижав к себе Сашику, кинулась в комнату к Жуковым. Через какое-то время по всей коммуналке пронесся душераздирающий крик, затем вопли и стенания матери моих друзей. В испуге дети бросились в комнаты... Я осталась с солдатиками в полной растерянности, не зная, что делать. Захлопали двери, кто был дома, повыскакивали, включая мою бабушку, и с шумом спрашивая, что случилось, постепенно набились в квартиру Жуковых. И тут меня осенило, что случилось нечто страшное. Спустя какое-то время Изольда, выходя из комнаты, тихо сказала: «Петр Алексеевич разбился насмерть, вот ведь несчастье какое, дети сиротами остались...».

Я заплакала. В голове возник образ Икара.

Спешно листаю книжку, разыскивая страницу с главой о Дедале и Икаре. «Сильно взмахнув крыльями, взлетел Икар высоко в небо, ближе к лучезарному солнцу. Палящие лучи растопили воск... Стремглав упал он со страшной высоты... и погиб...». Сердце колотилось, в голове стучало. Ой, да никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент жизни.

Вернулась на прежнюю страничку. Даша продолжала:

Уложив солдатиков в коробку, я тихонько юркнула к себе в комнату.

Вечер прошел незаметно. Все напряжены и молчаливы. Мой диванчик стоял у стены, за которой была квартира Жуковых. Я легла спать, но не могла уснуть и, лежа с открытыми глазами, ощутила, как стена накалена горем и судорогами рыданий. Казалось в тишине ночи стена жила своей жуткой жизнью. Казалось, она была прозрачной и через нее можно было прочувствовать всю жизнь осиротевшей семьи. В моей голове мелькали видения, где переплетались образы высокого, смеющегося мужчины, прыгающих от радости детей, конфеты на мозолистой руке и...

Я проснулась, лежа на полу, закутанной в одеяло, под головой бабушкина шаль. Отец стоял на коленях и тряс меня за плечо. Встретившись взглядом с его глазами, внезапно вскрикнула:

- Папочка, я тебя так люблю! Сильно-сильно, крепко-крепко! – протягивая к нему руки и заливаясь слезами, лепетала я.

- Доченька, я тебя тоже люблю, – говорит отец, беря меня на руки как ребенка и, качая, целует мои волосы, прижимая к себе, все крепче и крепче...

- Папочка, я не знаю, как это – умирать, я не знаю, как я буду умирать. Это страшно, очень страшно! – уткнувшись в его грудь, я еле выговаривала слова, тонувшие в

рыданиях.

- Душенька моя, тебе еще рано о таком думать. У тебя вся жизнь впереди, а к старости умирать не страшно, каждому свой час, это естественно, это закон жизни. Мы..., мы все когда-нибудь уйдем...

- Ага, тебе просто говорить, а если я попаду в царство Аида, то там будет так ужасно... и... я читала, что...

«Бездонные пропасти ведут с поверхности земли в печальное царство Аида... носятся бесплотные легкие тени умерших. Они сгуют на свою безрадостную жизнь без света и желаний. Тихо раздаются их стоны... Нет никому возврата из этого царства печали» - утверждала моя книга, и, кто знает, так ли это, - из царства теней еще никто не возвращался...

- Даша, человек сам, своими делами выбирает в жизни, где ему очутиться: в аду или в раю. Будешь жить правильно, не будет страха перед смертью. Повзрослеешь и поймешь... А сейчас тебе надо успокоиться. Знаешь, жизнь не останавливается, да ее и останавливать не надо, даже великой скорбью течение жизни не оборвешь. Все пройдет, а солнышко будет вставать каждое утро и заходить вечером... И туманы с дождями будут обволакивать улицы, а весной станут благоухать акации... Отец говорил, говорил, и постепенно я пришла в себя. Вытянув носовой платок из кармана, он вытирал мои слезы...

На похороны собралось столько народа! Люди шли и шли прощаться с Петром Алексеевичем, женщины шебурились на кухне, готовя нужное для поминок... По всей коммуналке стоял запах валерианки и корвалола. Черный цвет окутал людей с головы до пят и слезы, сверкавшие на всех лицах, подчеркивали нелепость ухода человека в расцвете лет..., а у нас, жильцов коммунальной квартиры, образовалась пустота, которая никогда не заполнится: туда, в

эту глухую пустоту, ушел дядя Петя.

С тягучей медлительностью, ежедневная суeta входила в обычный ритм. Спустя два месяца опять слышался детских смех и перебранки между соседями.

Как фейерверк на темном небе, появились родственники Вано Георгадзе из Тбилиси. Георгадзе жили в 19 квартире у них было два сына, но с приездом гостей началось полное столпотворение. В первый же вечер все жильцы были приглашены к застолью, двери распахнуты, весь скерб отодвинут к стенам, несколько столов поставлены в ряд.

... Шум, смех, радость, казалось, не закончатся до утра. Грузинские песни приводили в восторг, но сыновья Вано удивили всех: они лихо плясали грузинские танцы с кинжалами в зубах. Детям перепала уйма необыкновенных сладостей.

В тот момент никто из нас не знал, что через полгода семья Георгадзе эмигрирует в Америку, и в последние недели их жизни в нашей коммуналке с ними никто не станет разговаривать, жильцы будут обходить их стороной, в страхе не накликать бы беды на свои головы. Только в день отъезда дядя Вано зашел к моему отцу и оставил свой новый адрес, попросил прощения за все, что сделал не так, обнялся с ним и уехал...

В моем тогдашнем окружении все было очень определено. Если кто-то заболел, то для начала бежали в 18 квартиру к Лиде Петуховой, которая работала медсестрой в психиатрической больнице. «Наш Эскулап», так прозвал ее отец.

«По-моему, бога Асклепия называли Эскулапом», подумала я и прочитала: «... Асклепий – бог врачей и врачеваного искусства, ... не только исцелял болезни, но и умерших возвращал к жизни». В принципе, можно считать, что люди с ментальным заболеванием, практически вычеркнуты из жизни и самый большой страх у людей – потерять рассудок.

И, если хоть как-то врачи могут помочь таким людям, то это, наверное, сравнимо с воскресеньем из мертвых».

Лидия Владимировна всегда могла присоветовать и даже дать кой-какие лекарства, ее диагнозы были на удивление правильными, так что, порой, соседи даже и врачей не вызывали, шли к докторам или звонили в Скорую, только по крайней необходимости. Даже астматик-профессор Говоров слушал ее советы более, чем докторов. И если у него начинался приступ, то сначала звали Лиду.

Говоров, профессор палеонтологии, его квартира с пола до потолка заставлена книжными полками. Он помог мне быстро разобраться со всеми мезозоями, динозаврами и теорией Дарвина, которую я никак не хотела принять всерьез. С ним можно было говорить откровенно и, кстати, он мне однажды сказал, что и сам скептически относится к Дарвинизму. Пожалуй, Говоров научил меня брать все под сомнение и до тех пор, пока я не находила действительное подтверждение факта, не принимать догмы как нечто абсолютное.

Когда у меня не получались задачки по математике, то ничего проще, как постучаться в квартиру тети Поли, она была учительницей математики в средней школе, и попросить ее помочь с объяснением о «поездах из пункта А в пункт Б». Полина Дмитриевна с юмором и на спичечных коробках могла показать решение любой трудной задачи. Иногда я думаю, что ее юмор и умение играть с цифрами как с любимыми игрушками позже определили мои математические способности.

Женицыны коммуналки шили себе платья у сестер Кирилловых, что жили в пятнадцатой. Отец звал их Мойрами, потому что старушки не только портняжничали, но еще и гадали на картах.

Мама продумывала свои фасоны очень тщательно и иногда брала меня с собой на примерки. Пока английские

булавки вкалывались в ткань очередного маминого платья, или юбки, можно было узнать о всех новостях нашей коммуны. Частенько старушки судачили о военном из 16-ой, что жил один.

На кухню этот офицер не выходил, ни с кем не общался, на вид был суров, подтянут. Никто точно не знал, в каком он ведомстве служит.

Таинственная жилища из двенадцатой также являлась предметом любопытства. Каким-то образом Кирилловы разузнали, что «дама» приходила только в дни оплаты за квартиру и снимала тщательно показания счетчика. Глухо здоровалась и уходила.

Старушки предполагали, что у нее есть еще квартира, где она проживает, а эту держит на всякий случай. У них появилась сердобольная идея отобрать квартиру у дамы, чтоб расширить жилплощадь для Лидочки Петуховой, маявшейся с тремя детьми и мужем в крохотной комнате. Но дальнейшие разговоры старушки не шли, да и когда бы им было этим заниматься: с утра до вечера к ним ходила клиентура с отрезами и журналами мод. Супоением они шили пеленки, распашонки и чепчики для младенца, что появилась у молодоженов Ивановых из 17-ой квартире.

Я больше знала о тех, кто жил по нашу сторону коридора и меньше о тех, кто жил в квартирах напротив. Мои родители мало общались с Кулигиными из 10-ой и Сеньором-Помидором, толстым бухгалтером из какого-то домоуправления из 11-ой. Только здоровались с молодым аспирантом Егор Борисовичем из 13-ой и уж просто терпеть не могли Дядю Васю-пьяницу из 14-ой, который периодически бил свою жену Клаву.

Отец уважал Юрия Николаевича из 6-ой квартиры, и хотя тот был несколько моложе, папа всегда говорил: «этому человеку досталось с самого детства». В начале Блокады Ленинграда Юру с сестрой и матерью должны были эвакуировать на самолете, но по дороге к трапу самолета

толпа оттолкнула детей, а мать не смогла выбраться из гулци напирających людей. Дети остались у трапа, плакали и звали маму.

Увы, она улетела, а их с заплечными мешками, кто-то из военных отвел в детприемник и оттуда они попали в детдом. Не прошло и недели, как Юра сбежал и попал юнгой на Балтийский флот. Моряки отстояли его у начальства и он всю войну служил в Морфлоте. После войны он нашел сестру и мать. Отец погиб где-то под Сталинградом.

Дядя Юра никогда не говорил о матери, больше рассказывал про сестру. Он был седой с моложавым лицом, редко смеялся и постоянно что-то мастерил, то галеру из спичек соорудит, то перочинным ножиком выстругает птицу, а иногда из обычной газетной страницы мог составить букет маленьких розочек.

Я оторвалась от книги... Если очень хорошо подумать, то в принципе у каждого из нас есть свой Олимп, со всеми его персонажами.

К примеру, у меня ведь тоже есть Зевс – мой министр и его жена. Я знаю всех любовниц министра, с очередной каждый раз поддерживаю приличные отношения, но с министерской женой, то бишь Герой, предпочитаю иметь взаимоотношения сверхсердечные. Для меня 8 Марта – ее день рождения, - можно сказать, «святой день». Она ждет моих подарков и они ей всегда нравятся, потому что я выбираю их для нее с особым значением.

Иногда мы встречаемся на разных акциях или в театре и ведем премилые ничего не значащие беседы. В общем-то, мне ее иногда жалко, но она цепко охраняет свой статус и не обращает внимания на очередных пупсиков министра.

А если расположить идею Олимпа на всю страну, то... то тогда получится большая Олимпийская матрешка. У каждого есть свой сонм богов и богинь, от которых никуда не деться...

Незыблемость устоев порой отражается на отсутствии оригинального подхода. Ну, просто фраза из учебника, а не моя собственная мысль. Короче говоря, прихожу к выводу, что все мы человеки-боги, боги-человеки, и у нас у каждого есть миссия и своя Одиссея. По-моему, греческие божества мытарились сквозь жизнь, со всеми ее неприятностями и счастливыми развязками, как самые простые люди. Внимательно прочитаешь о Зевсе, не такой уж он и праведный, ведь он имел не одну жену и кучу детей, и всех пристраивал, помогал, кого-то наказывал...

Если пристально приглядеться, - таких мужиков-Зевсов полно. Но бывают и другие: любвеобильные, и с чувством ответственности.

Встречала я одного, он четыре раза женился, разводился и всем своим бывшим женам помогает до сих пор. Они его обожают, с хлебом-солью встречают, в гости зазывают, и, конечно, денег просят. Благо, он богатый, так они его и пасут так усердно, а уж о его любовницах и вовсе говорить не приходится. Он их на жизнь праведную наставляет, в институты пристраивает. Иногда, правда, рукоприкладствует, чтоб знали, кто в доме хозяин, но они – ничего, терпят, источник денег берегут, не дай Бог иссякнет.

А, может, догадываются, что он таким бизнесом занимается, что ни дня ни ночи не видит, по краю лезвия ходит каждый час...

Однако записи Даши закончились. Я перелистывала страницы и уже начала волноваться, что, может быть, она захотела писать о своем прошлом и теперь я никогда не узнаю, что с ней произошло дальше. Больше десяти страниц перевернуто и... ничего.

И вдруг я заметила, что мысленно начинаю говорить с Дашей, прошу ее, чтобы она не прекратила писать:

- Даша, я ведь читаю, - сердцем обращалась к незнакомке, - мне интересно знать о твоей жизни, ну что же ты... А вот и ее строчки, даже от души отлегло... Только на главе о

Пандоре я нашла продолжение...

«Любопытная Пандора тайно сняла с сосуда крышку и разлетелись по всей земле те бедствия, которые были некогда в нем заключены. Только одна Надежда осталась на дне громадного сосуда».

А между строчками:

Однажды утром, глядя на себя в зеркало, увидела взрослую симпатичную девушку. Я выросла! От удовольствия и осознания взрослости, польстила сама себе лукавой улыбкой. С этого момента, пожалуй, вся моя жизнь переменялась. Шли выпускные экзамены, параллельно с которыми я еще успевала ездить на тренировки по фигурному катанию, я уже тогда была мастером спорта и куча наград и кубков стояли на специальной полке, что сделал для меня отец.

После математики, запыхавшись, неслась на тренировку, когда столкнулась с молодым человеком. Он резко развернулся и... все! Я влюбилась. Мое сердце поняло - это ОН. Мы познакомились. Его звали Леша Кириллов, он занимался боксом...

Я ждала его звонков, я бегала на свидания, смотрела фильмы вместе с ним, а потом не могла рассказать сюжеты киноленты.

Мы поступили в один и тот же институт, только на разные факультеты. Оба прошли, и от радости, что нас приняли, хлопали в ладоши. Казалось, счастья не будет конца... Этим же летом моя сестра наконец-то вышла замуж и глубоко в душе я тоже ждала, когда Алеша предложит мне руку и сердце. Однако время шло, мы встречались, а о будущем разговора не было, хотя от намеков становилось уже тяготно и постепенно в сердце вползало разочарование. Нет, я не права, тогда все еще оставалась надежда...

Я прервала чтение дневника и поняла, что у меня тоже был мой собственный ящик Пандоры, открыв который, я до сих пор расхлебываю все тяготы жизни. Впрочем, у каждого человека свой заветный ящичек, приподняв крышку которого, находишь кучу неприятностей и разгребаешь, расчищаешь как Авгиевы конюшни...

Мой ящик... хм... скорее, шкатулочка..., возможно, был не так и ужасен, хотя моя Мойра наплела столько узелков в судьбе, что еще и не известно, что ожидает меня в будущем.

Я, конечно, не Даша, фигурным катанием не занималась, хотя в моем детстве это было очень модно. Нет, я занималась прыжками в воду, добралась до кандидата в мастера спорта и с успехом поступила в физкультурный институт. В его стенах я познакомилась со многими спортсменами мирового класса, но общалась, в основном, с ребятами-боксерами, дзюдоистами и вольниками. Самые веселые были мальчишки с вольной борьбы, не знаю уж почему, но с ними было намного проще общаться и носиться по Москве в поисках приключений. На олимпиадах и соревнованиях всегда сколачивалась группа разных спортсменов, мы поддерживали друг друга. Радовались, когда кто-то выигрывал первые места, сочувствовали тем, кто проигрывал...

Может быть, именно этот дух соперничества, выдержка и стойкость в борьбе за призовые места помогали мне в жизни.

А что, - в каком-то плане я выиграла свои призы, где-то были потери, но, в основном, на жизнь жаловаться в последнее время не приходится. В начале было трудно... и страшно, боялась даже, что убьют, особенно когда на мою «крышу» наехала другая.

Конечно, некоторым женщинам везет больше, домохозяйкой быть проще, сиди себе за спиной у преуспевающего мужчины и в ус не дуй, но у меня так не получилось, самой пришлось зарабатывать...

Да, а ребята, с кем знакома была в институте, в водовороте нового перестроечного времени сразу же пошли вперед, многие имеют свои фирмы, компании, кое-кто заводы.

Некоторые пошли в телохранители, вот мой Жорик, не взирая на возраст, так и остался со мной. Знаю этого парня с первого курса института. Сидит за моей спиной, я его кожей чувствую. Хотя есть еще один, молодой, Сережа, но в поездки я всегда беру только Жору. Его заметить нетрудно, бицепсы, бицепсы, «качок», да и только, но мне с ним спокойно...

Вот Даша написала о Леше Кириллове. Леша... Занимался боксом. Нет, не знаю, хотя фамилия знакома... Он из Ленинграда, то есть из Санкт-Петербурга. Нет, вряд ли встречала, хотя на Всесоюзных соревнованиях и Олимпиадах, кого только не было...

Да что я, в самом деле, придумываю всякую ересь. Может, мне хочется каким-то образом ассоциироваться с жизнью этой Даши, тогда это просто глупость... Мы никогда не встречались и вряд ли встретимся... Вот только книжка нас в этом аэропорту столкнула, а в реальной жизни... Разные встречи бывают на нашем веку, с одними всю жизнь, десятилетиями встречаешься с другими, ... мог бы и столкнуться, но... может, трамвай задержался, или самолет, и все – ты человека не увидел, не поговорил...

В зале ожидания вон сколько людей сидит, но они мне не друзья и не знакомые, а могли бы, могли, в другой ситуации..., в иное время и ином месте действия. Наверное, на меня сейчас тоже кто-нибудь глядит и думает, кто я такая, откуда и чем занимаюсь...

* * *

Неожиданно перед Лидией Сергеевной, сидящей в жестком кресле, возникли два милиционера. С надлежащей вежливостью они попросили документы для выборочной проверки. Телохранитель Жорик резко встал и, обойдя ряд кресел, подошел к представителям власти.

- В чем дело, господа? – бесстрастно задал вопрос.

- Ничего особенного, просто выборочная проверка документов среди пассажиров, – холодно ответил один из милиционеров. – Ваш паспорт, пожалуйста.

Жорик вытащил из кармана паспорт и внимательно смотрел на молоденького лейтенанта.

Полистав паспорта Лидии Сергеевны и Жоржа, лейтенант строго сказал:

- Пройдемте, пожалуйста, в отделение милиции.

- В связи с чем? – только и смогла проговорить Лидия Сергеевна, неловко поднимаясь с места и нечаянно роняя книгу на замызганный пол.

- Ничего страшного, – успокаивающе вставил Жорик, – иногда они проверяют таким образом, посмотрят, ну, может, пару вопросов зададут, и на этом все закончат.

В это время второй милиционер поднял книгу с пола и ехидно прочитал название:

- «Легенды и мифы Древней Греции», – интересная, нет?

- Да, книга занимательная, – ответила женщина.

Не спеша, вся группа прошла в отделение милиции. Комната аккуратно обставлена современной мебелью, еще одна дверь, по всей видимости, в другую часть офиса, была закрыта, и на ней висел большой календарь.

- Присаживайтесь, пожалуйста, – пригласил лейтенант.

Лидия Сергеевна села, изогнувшись непринужденно и слегка подняв подбородок, изучающе смотрела на милиционера.

Перелистывая паспорт, он спросил ее:

- Вы прилетели из Ганновера?

- Да, три дня назад.

- А в Новосибирске по каким делам?

- По делам своего бизнеса, – резко оборвала Лидия Сергеевна. – Разве запрещено приезжать по делам в другие города России?

- Так, Вы прописаны...

- В Москве! Адрес – в паспорте. Что это, - допрос? Задержание?

- Да Вы успокойтесь, пока еще ничего страшного не происходит, - медленно сказал лейтенант.

Жорик попытался что-то сказать, но лейтенант, предвзяв его первую фразу, резко сказал своему напарнику:

- Отведи господина Андреева в другую комнату.

Жорж молча, не выказывая волнения, спокойно пошел за вторым милиционером.

Через несколько секунд дверь за Жорой захлопнулась, но открылась входная дверь и вошли двое крепких молодых парней.

Лидия Сергеевна напряглась, спросила лейтенанта:

- У Вас есть еще вопросы ко мне?

- Где Ваш билет на самолет?

Открыв сумочку, женщина вытащила затребованный билет и протянула милиционеру. В это время краем уха она услышала сдержанную перебранку в соседней комнате, потом какую-то странную возню и вдруг почувствовала тяжелую руку на своем плече. Оглянувшись, она успела увидеть квадратный подбородок одного из парней и почувствовала резкий укол в шею...

* * *

Свободное падение... Смесь страха и удовлетворения.

Некогда это было необыкновенное время, когда я прыгала с затяжным парашютом. Там, высоко в небесах, схватившись за руки, мы с Игорем парили, парили... Кольцо! Надо рвануть кольцо и тогда парашют откроется, иначе разобьешься, разобьешься... Облака плыли кое-где, небо чистое, чистое... Шум... Шум самолета... Шум в ушах от свиста ветра...

«На оленях утром ранним, мы отчаянно помчимся прямо..., прямо... в... в зарю», мелодия старой песни проклонулась в

голове сама собой, слова и образы путались, забывались, затягивались дымкой... Главное – раскрыть парашют... Пальцы тянулись, все мышцы от напряжения сводило судорогой... Есть! Раскрылся!!

Теперь не страшно... страшно... страшно... Что со мной? Где я нахожусь? Сон или явь, ничего не понимаю.

* * *

Постепенно Лидия Сергеевна приходила в себя, ее слегка подташнивало, странная пелена подернула глаза, она ничего не могла различить в душной темноте. Голову ломило от боли.

Так, голова на месте, коли болит, а руки? Кровь текла по жилам медленно, это она точно чувствовала, все было, как в замедленной съемке. Руки..., ноги..., ребра..., зубы... Язык, словно обожженный, пить очень хочется.

Кажется, я жива. Я читала книгу, разговаривала по телефону, потому мне стало... плохо?

Лицо молодого милиционера, нет, клоуна, ха-ха-ха, хи-хи-хи... Мама меня предупреждала, мама за меня очень боялась.

Где же ты, мам? В комнате темно, включи свет, пожалуйста... Я темноты боюсь, мне всегда кажется, что в ней воцарится кто-то ужасный..., подойдет и сделает больно...

* * *

- Кажется, очухаться должна, времени прошло достаточно, - услышала она красивый баритон.

- Подождем еще минут пятнадцать, а потом и начнем, - раздался другой, более низкий и с хрипотцой.

- Звони хозяину, - вставил первый голос.

Через некоторое время раздалась специфические звуки мобильного: ту-ту-ту-ти-ти-та...

«Хозяин... Сейчас их так много. Народу трудно переучиваться с «товарища» на «хозяина». С товарищем договориться

можно, а хозяин – подчинение любит; хозяин-барин, слово его – закон. Не выполнил – все, можешь лапу сосать: ни денег, ни подмоги, будешь сидеть за Кольцевой дорогой, а то и мирно сложат твои рученьки на груди и свеченку между ними вставят... Классно, если хозяина сильного, да могучего нашел, верой и правдой ему служишь, тогда в любых ситуациях прорвешься... За эти годы уже научились, как услужать, как вовремя кепку с головы сорвать, только что ручки не лобызаем... И девчушек притащим, и в баньке попарим, вкусно покормим и в постельку уложим.

Бред... это просто бред. Какой хозяин? Я сама себе хозяйка... Кошмары по ночам совсем замучили.

Надо потянуться, потом открыть глаза, встать и выпрямить спину. Больше всего не любила, когда, сидя за обеденным столом, мне повторяли, чтобы я выпрямляла спину: есть вытянувшись было страшно неудобно, и фраза «не сутулься, милая» приводила меня в бешенство, но она же и заставляла никогда не сгибаться в жизни. Каждый раз, когда мне бывало тяжело и я замечала, что моя осанка – хуже некуда, и я практически сгибаюсь под тяжестью обстоятельств, повторяла сама себе эти же слова и мне становилось легче. Так что, дорогая моя, пора вставать. Просыпайся!

... Не ври себе, не ври... Глаза привыкли к темноте, как будто ты не видишь, что лежишь на медицинской кушетке, укрытая своим же собственным пальто, стены вокруг отделаны белым кафелем до потолка, пустая комната, в углу непонятное сооружение, окон нет, за дверью сидят люди... Вывод один... Только за что?».

В голове у Лидии Сергеевны неся каскад мыслей, со скоростью света она анализировала последние события.

«... Долгов нет, деньги через оффшор шли очищенные, последние разборки были мелкие, адвокат в Швейцарии – человек умный, да и бумаги я подписывала только после

того, как сама тщательнейшим образом прочитывала, моего английского хватает пробуриться через юридическую галиматью. Три дня назад в Германии обсуждены все детали с партнерами, не было никаких обид или недосказанности, но, может, я что-то упустила? ... Нет, вроде бы, все нормально... Тогда почему я здесь? Где была сделана ошибка, в чем? Кому наступила на пятки? ... Чьих гусей подразнила?

Но кто? Кто за этим всем стоит? Ничего себе, милая моя Мойра, сплела ты мне не узелок, а узлище, даже по молодости в такие ситуации не попадала, а тут на старости лет...

Без паники, только без паники. В животе холодно... Надо ждать, может, прояснится... Пусть бьют... Да нет, скорей всего «им» деньги нужны, ну и что? Отдам... Только б не насильовали... это самое ужасное. Наверное, бить будут...».

* * *

Она привстала с кушетки, провела рукой по растрепанным волосам, слегка пригладила, потрогала шею, сбоку была припухлость, пару пуговиц на кофточке расстегнуты. Сапожки впились в распухшие ноги. Потянувшись, Лидия Сергеевна медленно расстегнула замки, сбросила сапоги и опустила ноги на пол. От кафеля бодрая прохлада зазмеилась вверх по ступням и стало куда бодрее жить на свете.

«Как в старом анекдоте: «Мелочь, а приятно». Немножко посижу, потом пройду по своей... камере. Какая немыслимая откровенность... Интересно, что случилось с Жорой? Куда его заперли? Наверняка, он просто так им не дался... Хотя бы жив остался...».

Дверь отворилась и в проеме показался среднего возраста упитанный мужчина в белом халате. Включив ослепивший

Лидию Сергеевну свет, спросил:

- Госпожа Калугина, как Вы себя чувствуете?

У Лидии Сергеевны сердце затрепетало.

«Может, я все напридумывала? Может, я просто попала в больницу и это, наверное, приемный покой в самом бедном, трапезном госпитале... Да, госпиталь...», - лихорадочно соображала она.

- Позвольте проверить Ваше давление, - сказал мужчина и, подсев на кушетку, принялся за дело.

- Скажите, пожалуйста, где я и что со мной произошло? - торопливо спросила его Лидия.

- На Ваши вопросы мне отвечать не положено, - мрачно оборвал «доктор».

- Как это «не положено»? Я хочу знать, что происходит и почему я нахожусь в этой странной комнате, - настаивала женщина.

В течение всего диалога «доктор» возился со своим приборчиком.

- Давление в порядке.

Такой ответ совсем не удовлетворил Лидию Сергеевну и она, злясь, начала трясти доктора за плечо и на высоких тонах спрашивала снова и снова:

- Где я? Кто Вы такой? По какому праву Вы меня сюда затащили?

Мужчина деликатно, но с силой отстранил ее руку и громко крикнул в пространство двери:

- Она в порядке, можете приступать.

От его фразы Лидия вздрогнула, замолчала и медленно встала во весь рост.

В комнату входили трое, один из них нес мягкий стул.

Очевидно, ожидался кто-то значительный...

*Санта-Мария, Валенсия, США,
Кемерово, Россия*

Виктор Вайнерман ДВОЕ ИЗ ШЕРЕНГИ БЕССМЕРТНЫХ¹

*Я сегодня весь вечер буду,
Задыхаясь в табачном дыме,
Мучаться мыслями о каких-то людях,
Умерших очень молодыми.*

Борис Смоленский

Передо мной – газетные вырезки полувековой давности, пожелтевшие листки из школьных тетрадей, исписанные неровными почерками, полуистлевшие и затёртые до ветхости конверты, старые фотографии с изломанными углами. Молодые лица. Взгляд чистый и безмятежный. Этих парней давно уже нет в живых. Они погибли в Отечественную, «не дописав неровных строчек, не долюбив, не досказав, не доделав». Строки Бориса Смоленского и об этих ребятах, ведь они писали стихи и считали себя поэтами.

Перечитываю, подчас с трудом разбирая слова, рукописи их стихотворений. Да, это не самые лучшие образцы отечественной поэзии. Можно придаться к четкости иного образа, «хромает» рифма. Да, эти стихи подчас наивны и непритязательны. Один редактор вполне серьёзно сказал мне, что будь авторы живы, они бы не стали печатать их «вот так, без серьёзной чистки». . . Почему-то представилось мне, что этот человек – назовём его Наш редактор – был тяжело ранен в бою. И вот он, очнувшись от забытья, вдруг понимает, - всё, что он успел создать, осталось в торопливых черновиках, письмах друзьям, отдельных редких публикациях, и когда его не станет, то никому не будет до всего этого никакого дела. . . Избави бог Нашего редактора от подобных испытаний, но лишь тогда, наверное, от смог бы кое-что понять. . . Хотя, впрочем, едва ли такое могло с ним случиться – дело одних погибать на полях сражений, а других – хладнокровно хоронить созданное ими, оправдывая

свои действия каким-нибудь благопристойно звучащим софизмом, вроде тех, что «изобрёл» Наш редактор: «плохие стихи не могут быть хорошим памятником».

За годы, на протяжении которых я долгие часы проводил то в читальных залах среди пропылённых газетных подшивок, то в беседах с теперь уже старыми людьми, до в дороге к ним, вела ли она в райцентр Омской области, в Москву или Бийск — мне не раз казалось, что стоит только взяться за перо, и... Но вот день за днем сижу перед чистым листом бумаги, как перед судом тех, кто не вернулся с войны, и не могу написать ни слова. Меня не раз мучил вопрос: имею ли право говорить о том, чего не видел, о тех, с кем не был знаком? Нет, пожалуй, вопрос надо ставить иначе — имею ли право молчать, если могу что-то сказать? Всё глуше грозный набат Великой Отечественной войны. Всё труднее различить в нем голоса колоколов и колокольцев. И если хоть немного обладаешь слухом и голосом — молчать не должен. Я не могу и не имею права не говорить о тех, кто стали мне близки, как родные люди.

Николай Копыльцов и Иосиф Ливертовский окончили Омский педагогический институт почти в одно время — один в 1939, другой — в 1940. Оба писали стихи, оба погибли на фронте. Оба почти забыты сегодня. И если стихи Ливертовского ещё печатаются в сборниках «Имена на поверке», то имя Николая Копыльцова памятно лишь его немногочисленным друзьям и краоведам.

Николай Тихонович Копыльцов родился в 1917 году. Детство и школьные годы прошли на Алтае. Коля рано научился читать. А уже в семь лет он сочиняет сказки, и сам записывает и зарисовывает их. Конечно, в их основе — мотивы сказок, услышанных от матери, Риммы Всеволодовны, но в некоторых он опирался на свои наблюдения. Листая в запасниках Бийского краеведческого музея сохранившиеся самодельные детские тетрадки Коли, вглядываясь в крупные, неуверенные буквы, я представлял аккуратно одетого белокурого мальчика, низко

склонившегося над бумагой. Пока не видит мама или тётя, он подложил одну ногу под себя, от усердия прихватил зубами кончик языка и пишет, изредка поглядывая исподлобья в окно, припоминая: «Свинцовый тигр. Быль. Жили-были три человека. Деда да баба да их сын. Вот старик принес 10 бомб. (Коля пишет - блomb, по созвучию с «бомбами», наверное). Вот сели чай пить с халвой. Кончили пить, тотчас взялись расплавлять блombы. Отец притащил коробочку специальную для расплавления. Но вот положили свинец в коробочку, бросили туда блombы. Они превратились в воду. Потом вылили на пол. Получился свинцовый тигр». В этой «были» интересны превращения, происходящие с близкими людьми — в воображении мальчика дед, баба и отец становятся его сверстниками. Напившись чаю, они берутся плавить «блombы». Отец, как заправский мальчишка, «притащил» специальную коробочку. Расплавив свинец, взрослые, недолго думая, выливают его на пол. Очертания свинцовой лужи напоминают им тигра...

Коля рос обычным мальчиком — уходил, никому не сказав ни слова, в горы, чтобы набрать кислицы (красной смородины); выручая друзей в каком-то споре, переплыл бурную Катунь, смертельно перепугав свою учительницу; участвовал в художественной самодеятельности, рано увлёкся В. Маяковским, Д. Бедным. Мария Петровна Мальцева — тётя Копыльцова — на всю жизнь запомнила, как однажды Коля просил её послушать понравившиеся ему стихи, и прочёл:

*Ещё не все сломали мы преграды,
Ещё гадать нам рано о конце.
Со всех сторон теснят нас злые гады:
Товарищи! Мы в огненном кольце!*

Николай Васильевич Банников — школьный друг Коли, а затем писатель, вспоминает: «он жил стихами, поэзией,

постоянно размышлял о ней. Дома у него был шкаф, набитый книгами; там я увидел такие сборники стихов и такие фолианты по истории литературы, каких, по тем временам мне, наверное, долго бы ещё не привелось увидеть. Имена поэтов, в школьных программах не упоминаемые, были ему как бы родными, не говоря уже о классиках, о Маяковском и Есенине. Он звучным своим прекрасным голосом читал наизусть целые страницы Баратынского и Тютчева, Блока и Брюсова, Белого и Хлебникова, Ахматовой и Зенкевича». Серьезный литературный труд становился делом Николая Копыльцова. Став студентом Омского педагогического института в 1935 году, он всё свободное время проводит в областной библиотеке им. А.С. Пушкина или на книжных базарах, причем не считал для себя зазорным, как вспоминает К.А. Рябинин, отдать за необходимую книгу рубашу, которая была на нём. (Для Копыльцова это был не жест, рассчитанный на то, чтобы произвести впечатление, а поступок – Николай отличался интеллигентностью, воспитанностью, аристократическими манерами, щегольством и элегантностью в одежде: костюм всегда безукоризненный, брюки наглажены, «рубашечка белая, галстук модный, ботинки новенькие, желтые, в одной руке всегда редкая книга, в другой – дымящаяся папироса»... И вдруг – отдать рубашу милой старушке за «Заратустру»...)

Перед сессиями друзья консультировались у него. Его ответы на государственных экзаменах были так хороши, что о них был даже подготовлен радиорепортаж... Вообще Николай Копыльцов был разносторонне одарённым человеком. Он имел прекрасную память, свободно владел французским и немецким языком, писал сонеты, поэмы, лирические стихотворения, литературоведческие эссе. («Где же все это? – слышу я вкрадчивый голос Нашего редактора. – Не сохранилось? Вот видите, он уничтожал свои опусы, не перекладывая этот тяжкий труд на плечи других». Что ж, в этом отношении Николай Копыльцов вполне соответствует требованиям Нашего редактора).

Николай Копыльцов не любил выносить свои стихи на публику. Трудно решить, что преобладало в нём – то ли скромность сдерживала, то ли самолюбие не позволяло ему вслух читать стихи, которые он не считал достаточно зрелыми. Но вполне определённо можно сказать, что он всерьёз думал о выходе в большую поэзию. Об этом говорит тот факт, что в Бийске, при активном участии библиотекаря Леонида Александровича Мальцева, Копыльцов и Н.В. Банников создали рукописное издательство «Июлист» (от названия месяца, в котором все собирались в городе). В нём было «напечатано» несколько книжек Копыльцова небольшого формата. Одна из них под названием «Никогда» хранится в Омском литературном музее. В ней есть всё, что должно быть в настоящей книге – твердая обложка и «супер», титульный лист, оформленный по всем правилам, иллюстрации – крохотные вырезки из старых журналов. И текст, тщательно выписанный от руки. Л.А. Мальцев рассказывал мне, что Коля Копыльцов уничтожил множество таких книжек. Для него работа над ними была своеобразной игрой, розыгрышем. Потщеславился пред друзьями, очень серьёзно утверждая, что имеет ряд изданных книг – и, ошеломив их демонстрацией своих раритетов, убирал с глаз подальше... По воспоминаниям Л.А. Мальцева, Коля и при посторонних очень любил выдавать себя за человека, не искушённого в поэзии. «Я несколько раз был свидетелем, – пишет Леонид Александрович, – вечерних бесед в городском саду в полуосвещённой аллее, где Коля доказывал какому-нибудь приезжему, что стихи в наше время пишут только ненормальные люди и в газетах совершенно напрасно печатают стихи. И всё это с совершенно серьёзным видом».²

Талант, ещё не оформившийся, ищущий, почувствовал в Николае Копыльцове и Эдуард Багрицкий. По настоянию своего друга, Н.В. Банникова, Копыльцов отослал в журнал «Пионер», редактором которого был Э. Багрицкий, свою поэму «Смерть Никиты Правдухина», посвящённую восстанию

Емельяна Пугачева. Поэма была опубликована в тринадцатом номере этого журнала за 1933 год. Перед публикацией редакция поместила письмо Багрицкого 14-летнему автору, Коле Копыльцову. «Дорогой Коля! – писал автор «Птицелова», – я прочитал твои стихи. По-моему, это очень неплохо. Я не исправлял их потому, что считал самым важным свободный ход твоей творческой мысли. Если ты серьезно займёшься поэзией (а поэзия – это такая же наука, как математика, география и т.д.), ты сам увидишь недостатки. Желательно бы посмотреть другие твои стихи о школе, о событиях, происходящих вокруг тебя, о себе.

«Смерть Никиты Правдухина» – хороши яркостью сюжета и стремительностью стиха. Ты не ищешь застывших форм, вычитанных из книг – ты стараешься даже историческую тему рассказать своим, сегодняшним языком. Это хорошо.

Больше внимания обрати на рифмы. Например, «конница» и «станица» не рифмуются. Если ты это сделал нарочно, это нехорошо, потому что не замыкает стихотворения. Старайся писать сжатей: где мысль и образ можно вложить в четыре строчки, не пиши в десять. Вот и всё. Посылай нам всё, что напишешь».

Об этой поэме Наш редактор отозвался через запятую: «столь же слабы «Никита Правдухин» Н. Копыльцова и др. его стихи». Не смею спорить с этим высоко компетентным мнением. Но мне как-то ближе позиция Эдуарда Багрицкого. Он отметил и слабость рифмы, и многословие, но выделил достоинства: «яркость сюжета и стремительность стиха».

Поэма Копыльцова заставляет читателя почувствовать сбивчивый ритм восстания, ему передается волнение Никиты Правдухина, выполняющего важное задание, он словно слышит стук копыт коня, на котором скачет гонец, разыскивающий Пугачёва:

Двое из шеренги бессмертных

*Черным саваном упала
Враг Никиты, темень-ночь.
Времени осталось мало,
Он несется во всю мочь.
У Никиты порученье
Пугачева разыскать.
В Шалдыбах теперь волненье,
Не попасть.*

Хотя, конечно, Нашего редактора понять можно – читаешь поэму, и то и дело натыкаешься на беспомощные места. Перебой ритма как внутри строки, так и в строфе. Смысловая перекличка то с агитками времен Гражданской войны, то с песенным фольклором того же времени. Но как не заметить строки, сверкающие отточенными гранями, как алмаз:

*Так в темень ночную
Никита Правдухин
И около сотни крестьян
Вразброд и вплотную –
Жужжащие мухи –
Несли в неприятельский стан.*

Просматривая сохранившиеся тексты Копыльцова, можно довольно быстро установить, что наиболее удачные строки и законченные стихотворения появлялись, когда Коля брался за тему, близкую его сердцу – будь то история («Никита Правдухин») или природа Алтая. Один из друзей Копыльцова – Марк Юдалевич – впоследствии известный поэт – в своих воспоминаниях приводит одно из лучших его стихотворений, посвящённых алтайской реке Бие. Нельзя не согласиться с Марком Юдалевичем, что эти стихи подкупают своей неподдельной любовью к своим самым дорогим, кровным местам, к своей самой милой алтайской ясноглазой реке.

Виктор Вайнерман

*Там, где горы снеговые,
Груды камня в облаках, -
Там берет начало Бия,
Наша бийская река.*

*Убежав от горных кряжсей,
От владений кедрача,
Расстелила Бия пляжи,
Бия пляжи для бийчан.
Волны плещутся незвонко,
Тихо шепчутся струи.
Чуть не час глядит девчонка
В воды ясные твои.
Смотрит в реку,
Замолчала,
Как притихла, егоза!
Оттого-то у бийчанок
Эти ясные глаза.*

М. Юдалевич рассказывает, что был свидетелем, как в редакции газеты «Молодой большевик» оценили эрудицию Копыльцова, «его непринуждённо сверкающие неожиданными мыслями ответы начинающим писать». Далее приводится один из таких ответов. В нём есть и великолепное чувство слога, и юмор, и деликатность, и умение дать автору почувствовать его недоработку, находя для аналога сравнение не в широко известных стихах, а, скажем, у поэта XIX века К. Случевского. Как редактор Н. Копыльцов имел заслуженное право писать в конце письма: «с дружеским приветом», потому что при всей разгромной сути его отзыв был в первую очередь дружеским. В те годы Копыльцов формировался как человек и гражданин. Он умел быть твёрдым и принципиальным, имел самостоятельное суждение о таких вопросах, на которые многие предпочитали, зная ответ, говорить лишь то, что было принято. Вот лишь одно

письмо. Единственное, кстати, известное мне письмо Н. Копыльцова из армии. Оно было написано ещё до войны, из эшелона, который вёз Копыльцова в часть. Письмо адресовано Л.А. Мальцеву – человеку, с которым Николай привык обсуждать не только литературные проблемы, но всё, что волновало обоих. Проезжая Мариинск, он купил один из последних журналов. Копыльцов называет имена авторов – и вдруг, словно выстрел, звучит мысль, которая, если припомнить, когда это было написано, поражает воображение – выходит, не все молчали, не все славословили. Даже недавний студент пединститута давал себе отчёт в происходящем: «Стихи Щипачёва. Чистая лирика после посредственной газетной трескотни. Отрадное явление. Воскресли Смеляков и Ахматова – талантливый юноша и великая поэтесса, совсем было выброшенная за борт литературы.

Когда же мы живём? В великую эпоху войн и революций или в тяжелую годину безвременья? Или это одно и то же? Неужели всегда при всяком строе будет попираться и унижаться истина, а ложь и посредственность будут руководить судьбами миллионов?»

Конечно, мысли эти не рождаются вдруг. Они вынашиваются и исподволь зреют в сознании тех, кто много и упорно размышляет об истории культуры разных стран и народов, кто любит и по-настоящему ценит то лучшее, что есть в прошлом Отечества.

Как горько сознавать, что Коля Копыльцов успел так мало сделать. Он погиб под Ленинградом в 1942 году, унеся с собой не созданные стихи, поэмы и книги. Сколько их, не реализованных гениев, среди десятков миллионов павших?..

Ушло в прошлое то время, когда в Бийске я встречался с друзьями Копыльцова: Леонидом Александровичем Мальцевым, Валентином Федоровичем Казаковым, надоедал визитами и телефонными звонками Николаю Васильевичу Банникову, добываясь от него воспоминаний о Коле. Никогда не забыть

и встречу с Марией Петровной, родной тетей Коли Копыльцова. Её я отыскал... в Бийском доме престарелых. Немало картин, которые никак не назовешь светлыми, вижу перед глазами, когда вспоминаю об этой встрече. Никогда ещё не приходилось мне так остро чувствовать, насколько все мы «ленивы и нелюбопытны» (это отметил ещё А.С. Пушкин), насколько недопустимо равнодушны и медлительны по отношению к уходящему в прошлое, как там, в Бийском доме престарелых, когда я увидел, как молодеют подернутые мутной пленкой старицкие глаза, как перестают дрожать руки и пытается распрямиться спина, - и всё лишь оттого, что человек вдруг поверил: воспоминания его уходящей жизни нужны людям.

Константин Афанасьевич Рябинин, ныне житель села Таврическое Омской области, студенческий товарищ Иосифа Ливертовского, настойчиво советовал мне: «пишите о Юзике, не откладывая». К.А. Рябинин написал поэму и воспоминания о своём друге. Легко ему говорить: пишите...

Иосиф Ливертовский... Его краткая биография уместится в несколько строк. Родился 20 мая 1918 года в Херсонской губернии. В 1921 году его родители переехали в Омск. Читать он научился с пятилетнего возраста, вместе со старшими ходил на школьные утренники, где бойко читал на память стихи Пушкина и Лермонтова. Учиться в школе начал сразу со второго класса, а в третьем уже пытался писать стихи. В 1927 году родители Юзика вступили в колхоз и в течение 8 лет жили в 35 километрах от Омска. Дети остались в городе – заканчивать школу. Но каждое лето собирались домой – помогать по хозяйству. Юзик работал вместе со всеми в поле. В 1935 году, уступая настояниям матери, он поступает в Ленинградский институт водного транспорта. Стихов писать он не бросил. Проучившись меньше года, он оставляет институт и в 1936 году поступает в Омский педагогический институт на факультет литературы и языка. В 1940 году Ливертовский окончил институт и был призван

в армию. Служил в Новосибирске и Бийске. В 1943 году был направлен на фронт, где находился с мая по август этого года. Десять дней августа 43-го стали последними днями его жизни.

С чего же начать и как повести рассказ о нём?

Предоставим слово его друзьям, сестре. Пусть они сами расскажут о Ливертовском. Слушая их голоса, попробуем вместе с ними прочесть стихи.

«Юзик! Это ласковое имя удивительно хорошо шло к славному парню, который пришёл к нам в группу где-то в середине первого курса литфака Омского пединститута, где я училась с 1936 года, - вспоминает Марина Михайловна Милова, - это уже потом я узнала, что его полное имя – Иосиф Ливертовский, что он пишет стихи.

Тёмные, чуть волнистые волосы над высоким лбом, карие глаза с искоркой – когда улыбался. Общительный, он многих привлекал к себе. Скоро создался дружеский кружок очень молодых поэтов. Ближайшим товарищем Ливертовского стал Марк Юдалевич. Он перевёлся к нам позже, не с начала курса, приехал из Барнаула. Дружил с ними и младший брат Павла Васильева – Борис, студент старшего курса Николай Копыльцов – все они писали стихи и любили поэзию».³

«Так случилось, что мы с Юзиком долгое время жили в разлуке, но часто писали друг другу доверительные письма, – рассказывает Б.М. Тулинова, сестра Иосифа. – В течение шести лет наша сестра Мария болела туберкулезом легких, по этой причине родители вынуждены были покинуть сельскую местность и поселиться в городе Омске. В 1937 году им удалось где-то на окраине города снять одну маленькую комнатуху.

Юзик писал мне 20 апреля 1937 года: «Я мало работаю над собой в связи с тем, что живу в общежитии, и часто приходится ходить домой, а дом на другом конце города». Тут же он пишет: «ожидаю ответа из «Сибирских огней» на

посланные стихи «На заливе»:

*Кругом вода, кругом седая мгла.
Барашки дымные плывут неторопливо.
Мой друг! Останови на миг полёт весла,
Мне хочется вздохнуть на ширине залива».*

Марк Юдалевич пишет: «Ливертовский раньше всех нас научился не только писать, но и зачеркивать. Как большинство поэтов, за столом он лишь записывал и правил стихи. Любил повторять фразу Маяковского: «Чтобы написать хорошее четверостишие, нужно износить новые ботинки».

Стихи у него были лирические, раздумчивые, почти всегда немного грустные. Он любил бессонницы, любил одинокие многочасовые размышления» Он писал о себе: «смешной, худощавый, длинный». В студенческие годы носил серые, мешковато сидевшие на нем рубахи, которые друзья в шутку называли «ливертовками». В письмах к сестре, друзьям и знакомым он посмеивался над собой, живописуя неловкие положения, в которые ему приходилось попадать, душевную сумятицу, вызванную неудачами. Но за этим – углубленная внутренняя работа, требовательность к каждому своему слову.

Из письма И. Ливертовского сестре Бэлле, 27 февраля 1936 года: «Здравствуй, Бэллочка. (...) Ты просишь уже напечатанных стихов, но, к сожалению, литературная страница ещё не вышла и выйдет неизвестно когда. Она, если можно сказать, висит в воздухе... Давно перестали думать, что поэт – это бог, одарённый как-то особо по сравнению с другими людьми. Известны слова Ю. Айхенвальда по адресу поэта Валерия Брюсова, что последний вырыл себе талант тяжёлым заступом работы. А надо сказать, что Брюсов – крупнейший поэт... Я привожу этот пример для того, чтобы доказать – ничего с неба не падает. Мне не нужно ни от кого титула, мне не нужно никакого звания, мне нужно овладеть языком – понимаешь? – русским языком. И я добьюсь этого.

Двое из шеренги бессмертных

Это вошло в мою страсть, во всё моё существо. Стихотворение может заставить меня смеяться, плакать, страдать, блаженствовать и т.д. Ведь если истолковать само слово «поэт», то можно убедиться, что это человек, умеющий чувствовать все проявления жизни, но чувствовать независимо от своего состояния (вещественного)(...) Значит ясно, что стихотворение есть не что иное, как удобная форма – музыкальная форма – для того, чтобы души человеческие ласкать «кровью чувств». (...) Я окончательно решил работать над каждой строчкой – чеканить стих. До сих пор я писал быстро и бессознательно. Учиться, конечно, я продолжаю. Руководжу литературным кружком в институте. Готовлю доклад для группы – зависимость формы стиха от содержания. Играю много в шахматы».⁴

Письмо это можно, пожалуй, назвать программным для Ливертовского. Будучи в предвоенные годы литературным консультантом в молодежной газете «Ленинские внучата», он был чуток к таланту, но и принципиален и строг к литературным поделкам. Не скупился на критику в адрес «литературных мэтров», каким в ту пору был для молодежи Леонид Мартынов. В письме к начинающему поэту М. Махрову он писал: «Недостатки в поэзии Мартынова: 1) однообразие в приёмах (спор с невидимым противником; обращение к неодушевлённым предметам); 2) подмена поэзии фактическими данными, уложенными в раздел стиха». В предвоенные годы Ливертовский – постоянный участник литературных встреч, происходивших в городе. На одной из них, состоявшейся в Доме учителя 27 октября 1938 года он читал свои стихи вслед за Аркадием Ситковским, прибывшим в Омск из Москвы, и Леонидом Мартыновым. Друзья весьма высоко оценили выступление Ливертовского. По их мнению, «места» распределились следующим образом: «лучшие стихи – Л. Мартынова, за ним – Ливертовского, а потом уже – Ситковского, который читал чертовски хорошо и тем сглаживал недостатки своих стихов».⁵

Виктор Вайнерман

Сибирский журналист Евгений Раппопорт встречался с М. Юдаlevичем, И. Коровкиным, начинавшим вместе с Ливертовским. Встречался он и с Л.Н. Мартыновым. «В кабинете Леонида Николаевича мы говорили с ним больше двух часов... Вообще-то Мартынов не словоохотлив. О Ливертовском он сказал немного, но очень тепло и с дрожью в голосе. Вспомнил, что Юзик, отвечавший за литературную страницу в молодёжной газете, советовался с ним, «что давать, что не давать». Если хороших стихов набиралось больше, чем вмещает газетная полоса, он предпочитал печатать товарищей, откладывая свои в стол. К себе относился чрезвычайно требовательно, по несколько раз мог исправлять строки, улучшая и улучшая их».⁶ В общении Иосиф был добрым, отзывчивым, друзья его любили и всегда выделяли в своей компании за необыкновенную эрудицию и готовность поделиться своими знаниями. «С тобою, Юзик, как в библиотеке, - говорил Георгий Суворов. – Только не надо искать книгу, листать. Назови, что тебе хочется и слушай». Он был очень привязан к своим товарищам. Стихи о дружбе, о разлуках с друзьями, несомненно, были бы выделены Ливертовским в самостоятельный цикл. Все эти стихи: «Другу», «Дорога», «Общежитие ночью в июле», «На финском заливе», «Перед отъездом» были опубликованы в газете «Молодой большевик» в конце 1930-х годов и были популярны в студенческой среде. Ливертовский казался своим друзьям большим ребёнком, который тянулся к каждому из них. Был добродушным, беззлобным, приветливым, всегда искренним в общении, доброжелательным, откровенным до наивности. Друзья любили своего Юзика, и те, кто остался в живых, никогда его не забудут.

К.А. Рябинин вспоминает: «Иногда Юзик утром не уходил на лекции, а спал часов до десяти вместе с нами, занимавшимися во вторую смену. Это было тогда, когда первые лекции были по методике или школьной гигиене.

- Ливертовский, - кричал ему со своей койки Иван Фатин. – Ты что же спишь? Уже все ушли на лекцию!

- А я не сплю, - отзывался Юзик. – Я пойду к одиннадцати, а с девяти у нас педагогика. Не уважаю Добросмыслова – много воды он льёт.

Иногда его уговаривал идти на первую лекцию сокурсник Георгий Щепеткин.

- Юзик, сегодня – Николай Викторович (Трунёв – В.В.) с девяти. Пойдёшь?

- А по расписанию – методика русского...

- Изменили расписание, - ловчил Георгий.

И доверчивый, добродушный Юзик соскакивал с постели».

Предвоенному поколению студентов Омского пединститута «повезло» на педагогов-словесников. Здесь преподавали тогда И.А. Агафонов, Н.В. Трунёв, Н.И. Пруцков, П.Е. Петров – люди, добрая память о которых жива и в Омске сегодняшнем. Не только передать ученикам собственный углублённый интерес к предмету – литературе и языку, но и научить студентов думать, пытливо всматриваться в окружающий мир, чутко сопоставлять свои ощущения с явлениями природы – к решению этой «сверхзадачи» вышеназванные педагоги привлекали своих подопечных.

В этом смысле Ливертовский был, пожалуй, одним из самых отзывчивых учеников. (Кстати сказать, порой преподаватели института, чтобы не ставить юному поэту «неуд» просили его прочитать свои стихи. Отлично ему, конечно, не ставили, но среднюю отметку между двойкой и четвёркой он всё же получал. Замечу здесь же, что Наш редактор, озабоченный проблемами воспитания молодежи, воскликнул после знакомства с мемуарами о Ливертовском: «Авторы всех (буквально) воспоминаний педалируют пренебрежение Ливертовского к учебе. Вдумаемся: в учёбе – разгильдяй, пишет стихи, которые не так уж гениальны, как о них говорят... Неужели такой вот образ И. Ливертовского мы хотим создать у читателя?!» Бедный, бедный редактор! Да

ничего мы не хотим создавать. Хотим лишь, чтобы он остался в памяти таким, каким он был в жизни. И только.

В стихотворениях Ливертовского лирический герой ощущает себя маленькой частью мироздания. Но, раскрывая своё сердце стихиям, он не стремится исчезнуть в них, а напротив, почувствовать себя их властелином:

*Как искрами костра, я звёздами одет,
Огромной тишиною сжат, я замираю.
Меня томит такая тишина!
Я грудью лёг на борт,
Я лодку накренил,
Вздымаю брызги я,
И круглая луна
Трепещет в желтой пене.*

Герой поэта склонен к созерцательности, раздумьям. В мире, где он живёт, нет бурь, катаклизмов. Здесь «тёплый травный запах», «ночь лирична и тиха». Здесь хочется не говорить, а негромко напевать, что и проделывает сам герой.

*И пока садится месяц в роуцу,
Расплавляя лиственниц верхи –
Темно-синей, бархатистой ночью
Я пою друзьям мои стихи.*

Стихи Ливертовского нежны, лиричны, полны света. В них «всё поют о девушке меха тихого, широкого баяна». Так и слышится сквозь строки этих стихотворений мелодия «подмосковных вечеров»... Пьянящие запахи кружат голову, накладываются на впечатление от читаемой героем книги. И вот -

*Что-то сладкое в мускулах и горячее что-то,
Протекает по телу, наливает глаза.*

Двое из шеренги бессмертных

*И я слышу, я слышу чуть трепещущий шепот:
«Ты сегодня для жизни не вернёшься назад».*

Это стихотворение – «Поэзия» - насыщено экспрессией. Образы чрезмерно выпуклы, рождены обострёнными до предела нервами, готовыми сорваться в крик голосом:

*И за каждою строчкой пробегает мой палец,
И за каждою строчкой пробегают глаза.
Ядовитые шорохи горячо зашептали:
«Ты сегодня для жизни не вернёшься назад».*

Ливертовский был способен почувствовать в шорохе трав яд среди бела дня, ему было дано понять, что звуки можно олицетворить, услышать «шепот шорохов». В приведенном тексте множество аллитераций: «и я слышу, я слышу чуть трепещущий шепот». Или вот это: «ядовитые шорохи горячо зашептали». Но – увы – Наш редактор на последнюю строку откликнулся грозной нотацией – «шорохи – это звуки, акустические следы какого-то движения. Могут ли звуки шептать, да ещё горячо?» Первая же строчка приведенного стихотворения вызвала у него бурю презрительного негодования: ««За каждою строчкой пробегает мой палец...» Такой стиль чтения (водя пальцем по строчкам) характерен для малограмотных, но причём тут Ливертовский?!» Спасибо, уважаемый редактор. Но Вашу бы энергию – да в мирных целях! Столько книжек об охране окружающей среды, загадочных явлениях природы ждут Вашего редактирования. Вот где простор для деятельности! Для того же, чтобы браться за стихи, нужно хотя бы обладать даром перевоплощения. Например, почувствовать себя не мизантропом, а, как Ливертовский, - мечтателем, влюблённым в жизнь, в поэзию. Вместе с ним полюбить вечер – те несколько часов, когда природа не давит на настроение ни раскалённым зноем, ни пронизывающим холодом, когда день

Виктор Вайнерман

замирает, готовясь ко сну, и прислушивается в вечерней тишине к перекличке воздуха, воды и земли.

Из всех времен года Ливертовский, конечно же, выбрал осень. Его стихи об этой поре позволяют понять, что он был очень ранимым, тонким человеком, нуждался в ласке, внимании, заботе. Чувствуя приближение зимы, он никак не надышится теплым воздухом, не налюбуется щедрыми красками:

*Мы видим, спадает с ветвей
Листва золотого накала.
Безветренных, ласковых дней
Становится тягостно мало.
Мы видим... и всё ж никогда
Не сладимся с грустью акаций.
Пока не замёрзнет вода
Мы будем на лодке кататься.*

Тонкий лиризм не лишал Ливертовского умения передать силу и мощь природы, её величавую красоту. Его строки упруги, рельефны, нанизаны на аллитерации. Читать эти стихи так же вкусно, как вслед за автором идти по живописным местам.

*Горит боярка бурая у впадин.
Изломанную линию небес
Нарисовали горы. Ароматен
Сосновый поднимающийся лес.
И под ногой похрустывает гравий
И сыплется с огромной вышины
Туда, где речка горная играет
И перекачивает валуны.
Она, горами стиснутая, злится,
Но все равно её приятно нам,*

Двое из шеренги бессмертных

*Рискуя, перейти по валунам
И даже лечь на камни и напиться...*

Ливертовский пробовал свои силы не только в оригинальном творчестве, но равнялся на мастеров с мировым именем. Марк Юдалевич рассказывает: «На первом курсе он увлёкся Мицкевичем и стал изучать польский язык. Вслед за польским он занялся немецким – переводил Гейне, Ленау, Бехера». Характерен сам отбор произведений для перевода. Молодой поэт, делающий первые шаги в литературе, избирает заметные ориентиры – к творчеству австрийского поэта-романтика первой половины XIX века Николая Ленау обращались Тютчев, Фет, Михайлов, Плещеев, Бальмонт, Луначарский. Переводы Ливертовского выполнены в 1938-1940 годах. Автор переводов – человек, тонко чувствующий особенности поэтического языка. Он стремится воссоздать тональность оригинала во всем богатстве авторских нюансировок. Ему было тогда всего 20 лет. Понятно стремление к углубленному самопознанию, определению своего места в мире. Его душевное состояние не знает покоя – радостная приподнятость сменяется мрачными раздумьями, оптимистический взгляд на жизнь – унынием.

Наиболее удачные переводы Ливертовского – это революционная лирика немецкого поэта И.Р. Бехера и украинского П.А. Грабовского. Лучшие из них были опубликованы в омских молодёжных газетах накануне войны.

В июле 1940 года Иосиф Ливертовский окончил Омский пединститут. С 15 по 18 июля этого года в Омске проходила первая областная конференция писателей, в работе которой деятельное участие принял и Ливертовский. Он готовил обзор работы конференции для газеты «Молодой большевик».

А в октябре 1940 года И.М. Ливертовский был призван в армию. Он служит в Новосибирске, Бийске, а в 1943 году, в мае, попадает на фронт. Об этом можно

Виктор Вайнерман

узнать из немногочисленных и немногословных писем Юзика, цитированных в статьях И.С. Коровкина, М.И. Юдалевича, Е.Г. Раппопорта. Но статья остается статьёй. Автор мог сократить текст письма, отобрать из нескольких писем одно. Каковы они в целом, эти последние письма? Мне было важно взглянуть на них, прочесть. Увидеть этого парня среди живых ещё хоть на краткий миг стало для меня необходимым.

И вот они передо мной, ветхие странички, исписанные фиолетовыми чернилами и карандашом. О двух с половиной годах службы И. Ливертовский писал своей однокурснице Марине Михайловне Миловой. Прошли годы после гибели друга её юности. У М.М. Миловой были свои радости, огорчения и заботы. Но все это время И. Ливертовский жил в письмах, которые хранились в Омске. И сегодня, читая их, мы вновь слышим голос поэта. В них, сдержанных и простых, виден человек большой души, серьёзный и принципиальный, легкоранимый и мужественный.

В армии, особенно в первые месяцы службы, ему приходилось тяжело, тяжелее, чем его товарищам по службе. Его поэтической натуре нелегко было сразу привыкнуть к жесткой необходимости выполнения армейских уставов. «Мне вот пишет Иван Коровкин, чтобы я дневник вёл, - рассказывает Иосиф в одном из писем. – Но это он по наивности. Если бы кто-нибудь увидел мои записки – пропащее дело. Мне бы хватило».

Однако трудности не сломили Ливертовского. М. Юдалевич, вспоминая о встрече с ним в это время, рассказывал, что хотя солдатская гимнастерка сидела на нём мешковато, как «ливертовка», но из кармана брюк торчал томик стихов.

Мягкий и скромный, Ливертовский непримиримо относился к литературным поделкам, умел открыто высказать свою точку зрения. В одном из писем М.М. Миловой он рассказывает: «Недавно был такой случай в полку. В Ленинской комнате читал стихи Сталинградский поэт Владимир Брагин (рядовой

боец). Это молодой хороший (как выяснилось впоследствии) парень. Он печатает в окружной газете ура-патриотические стихи на тему – «раньше было плохо, теперь – хорошо». Знает сам, что стихи плохие, но считает возможным получать за это хорошие деньги и авторитет. Я разругал его на этом выступлении, как полагается. Меня шумно поддержали красноармейцы, повторяя за мной, что в стихах Брагина нет лица красноармейца, нет подлинной жизни, настоящих переживаний. Есть только газетный трафарет. О моём выступлении говорил весь полк. Все были довольны, потому что Брагин несколько заносчив. Но тут произошло неожиданное. Брагин нашел меня, и мы подружились».

Автор писем – человек с незаурядным чувством юмора, которое помогло перенести тяготы первых месяцев службы. Однажды за какую-то провинность Ливертовскому запретили... читать. Это событие бурно обсуждалось красноармейцами, вызвало в адрес Ливертовского много шуток. Его даже прозвали «Шевченко», намекая на судьбу украинского поэта. То его назначили писарем, а у него небрежный почерк, то назначили санинструктором. «С какой стати я, неряха и совершеннейший в медицине невежда, должен стать блюстителем чистоты, опрятности и здоровья? Правда, к слову сказать, я уже посидел за нарушение простейших правил санитарии и гигиены и за неуважение к начальству». Но во всём он находит положительную сторону: «Начальник санслужбы, между прочим, замечательный человек: культурный, вежливый. Мы часто беседуем вечерами, он любит стихи, уважает меня». Положение санинструктора несколько облегчило тяготы службы, дало Ливертовского возможность читать книги. В это время он читает Бунина, Клода Авелана, Гейне... Появляется свободное время даже для того, чтобы поваляться на траве или, посвистывая, побродить по лесу... С грустью читаешь эти строки – ведь через несколько месяцев Ливертовскому предстоит дорога на фронт...

За внешним спокойствием его писем – подлинное мужество солдата. Как резко отличаются его письма военного времени от тех, что написаны в первый год службы в армии! Собранность, готовность, несмотря ни на что, выстоять в самых страшных испытаниях.

«Здравствуй, дорогая сестричка! – пишет Ливертовский сестре в августе 1941. – Каждое твоё слово исполнено такой ненавистью к проклятому «арийцу» Гитлеру, словно ядом, а не чернилами оно написано. То же самое испытываю я сам, и хочется скорее в бой.

Сейчас мне присвоено звание младшего сержанта и отдано в распоряжение отделение. Несколько раз пытались отправить меня в артиллерийскую школу, но всё возвращали. На днях, кажется, куда-то отправят. Недавно спрашивали о том, какой институт я окончил, адрес, кто из родных судился, сколько и за что имел взысканий и каких, какой знаю иностранный язык. То, что мне знаком немецкий, очевидно, вполне удовлетворило требованиям, так как ещё и другие в этот список попали, знающие немецкий язык. Куда меня думают послать – угадать невозможно.

(...) Милая, я очень рад, что ты умеешь так ненавидеть, что у тебя такой сильный характер. Кто умеет ненавидеть – умеет и любить. Это свойство настоящего человека. Правильно сделал, дорогой командир, что подготовила себя к защите страны.

Фашизм будет разбит, я не сомневаюсь. Я совершенно твёрд, спокоен и готов ко всяким неожиданностям. Только о родителях с грустью думаю, жаль стариков.

Пиши мне чаще.

Да, прошу совета: думаю вступить в партию. Ты меня хорошо знаешь. Что скажешь?

Что сейчас делаю? Занимаюсь, читаю и ежедневно издаю стенную газету, где помещаю в каждом номере свои агитационные, молниеносно написанные стихи. Это не стихи о природе, это твоё письмо, перелитое в звонкие

гневные строки! Твой брат Юзик».

Из писем явствует, что пишет он в это время мало и то, что выходит из-под его пера – нечто совсем иное, чем написанное до войны. Кратко, но исчерпывающе Ливертовский написал об этом М.К. Махрову: «Стихи, вообще, пишу, но дряни на заказ для окружной газеты не изготавляю. Креплюсь. Кое-что, удовлетворяющее и меня и редакцию, будет вскоре напечатано. Недавно послал в Омск 500 строк. Это материал к будущей книжке. М. Юдалевич уже перепечатал эту книжку на машинке. Надо ещё настоять на её издании».⁷

Но вот прочитаны письма, просмотрены статьи, записаны воспоминания. Все они кончаются серединой 1942 года. А Иосиф попал на фронт в мае 1943.

5 июля 1943 года немецкие войска начали наступление из районов Орла и Белгорода, чтобы окружить и уничтожить советские части, находившиеся на Курском выступе и занять Курск.

Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и Белгорода, наши войска перешли в наступление и 5-го августа 1943 года освободили Орел и Белгород.

В этих ожесточённых боях против фашистских захватчиков в рядах сражающихся был и младший сержант 137-го гвардейского артиллерийского полка 60 гвардейской стрелковой дивизии 60 армии Центрального фронта Иосиф Ливертовский. 10 августа 1943 года его не стало. Случилось это в районе селения Столбище Дмитровского района Орловской области.

Май, июнь, август... Не сохранилось ни единого письма, написанного в эти месяцы, не известно, как складывалась фронтовая биография молодого поэта. Но мириться с этим я не мог. И вот в архив Министерства обороны полетели письма. «Сообщите прохождение службы... место и обстоятельства гибели... название газеты, выходившей в части... возможно ли знакомство с подшивкой...»

Наконец, после длительного оформления документов, я держу в руках маленькую подшивку дивизионной газеты «Патриот Родины». Первые номера датированы апрелем 1943 года.

Стремясь унять волнение, вчитываюсь в помещённые здесь крохотные заметки и «большие» статьи в 150 строк. И вот долгожданная подпись: гвардии младший сержант И. Ливертовский. И ещё одна. И ещё. Иосиф ещё не был в боях. Он рассказывает, как бойцы его подразделения готовятся встретить врага, учатся метко поражать цель. Ливертовский пишет о лучших командирах, об отдыхе бойцов. Но с каждой публикацией все ощутимее обжигающее дыхание боя. В газете появляются документальные фотографии, снятые не только что освобождённой земле, письма мирных жителей, проникнутые болью и ненавистью к фашизму... Стихотворения К. Симонова и статьи И. Эренбурга жгут сердце, заставляя на миг забыть о том, сколько лет прошло с тех пор... И вот стихотворение Ливертовского. Единственное в этой подшивке. Поэт словно готовит себя к суровым испытаниям, дает клятву не отступить перед ними. Трудно ожидать от Ливертовского в эти дни лирических откровений. Но и «ура-барабанными» называть его последние строки, как это сделал Наш редактор, я бы поостерёлся... Стихотворение «Гвардейское знамя» в номере газеты «Патриот Родины» от 1 мая 1943 года стало последней прижизненной публикацией И. Ливертовского. 10 августа его не стало. Это никак не отразилось на страницах дивизионной газеты.

*Алый шёлк широко развернули,
Стали строже удары сердец.
На почётном стоит карауле
У заветного стяга боец.*

Двое из шеренги бессмертных

*Боевое, гвардейское знамя,
Я тобой, как победой горжусь,
Я к тебе припадаю губами, -
Я целую тебя и клянусь:
Если, споря с бедой грозовою,
Ты костром зашумишь надо мною,
Только в сердце раненье сквозное
Не позволит идти за тобою.
Лучше пусть упаду без сознания
По-гвардейски – лицом к врагу,
Только б реяло красное знамя
На удержанном берегу.
Знаю я, - кто, сражаясь, умер –
Навсегда остался в живых.
В этом сдержанном шёлковом шуме,
В переливах твоих огневых.⁸*

Николай Копыльцов и Иосиф Ливертовский...
Две обычные, ничем выдающимся не отмеченные судьбы...

Я далек от мысли, что по прочтении этого очерка вы будете думать лишь о том, как лучше организовать поисковую работу и кому из павших в первую очередь посвятить свои мысли и дела... Хорошо уже то, что вы читаете эти строки, не прошли равнодушно мимо.

Живы ли сейчас те люди, с которыми я разговаривал о Копыльцове и Ливертовском? От их свечи я зажёл свою, и если такой огонёк затеплится в душе каждого – значит, наша жизнь продолжается, и её не задуть ветрами беспамятства. Рядом с нами будут они – скромные и по-юношески угловатые, наивные и открытые добру и дружбе, доверчивые и непримиримые к фальши и лжи – рядовые, обычные люди из шеренги бессмертных.

Виктор Вайнерман

Алиса Поникаровская РАССКАЗЫ

МУЗЫКА

Я умею играть на клавиатуре ночи. Клавиши ночных деревьев звучат низко и гулко, разнося по окрестностям шепот и шорох. Клавиши асфальта скрипят проезжими машинами и руганью водителей. Клавиши неба поют протяжно, слегка срываясь на надрыв в полнолуние. Луна звучит нежно-тревожным голосом скрипки. Дома гудят надсадно и сердито, возмущаясь от того, что кто-то нарушает их ночной покой.

В моей музыке нет гармонии. Хаос невидимых туч вносит свой диссонанс. То и дело одна из клавиш расстраивается. Я хороший настройщик, но даже мне приходится долго с этим возиться. Капризы дождя иногда терпимы, а иногда он просто выводит меня из себя своими претензиями к ветру. Ветер тоже хорош: летая, где придется, он очень часто роняет на клавиатуру подобранные сны. Старый баракхольщик... Сны застревают между клавиш, и мне приходится долго их выковыривать, потому что они вносят в мою музыку невыносимую фальшь.

Я изо всех сил стараюсь совладать с этим хаосом. Мне очень хочется, чтобы моя музыка наконец-то по-настоящему зазвучала. Пальцы мои в кровавых мозолях. Недавно прямо на клавиши упала окровавленная птица. Мне пришлось перестать играть. Я полночи провел, возвращая ее к жизни. Она улетела, даже не чирикнув мне на прощанье, а я все оставшееся время подбирал мотив ее забившегося сердца. Неделю назад меня удивила луна, сказав, что не желает больше играть в оркестре, а хочет солировать. Убеждать ее в обратном было очень тяжело. И все это время мои руки не касались клавиш. Стихла музыка...

Я брел по небу, измотанный и уставший, город внизу спал, над домами витали беспризорные сны, пытаясь забраться в редкие открытые форточки. Стояла потрясающая тишина. И, послушав ее, я понял, что в этой тишине есть та гармония, которую я так отчаянно и долго искал. Руки мои опустились, и из подушечек пальцев заструилась кровь. Значит, все было напрасно? Все мои метания, искания, труды? Но ведь я слышу ее, ту музыку, которая должна была звучать! Она и сейчас звучит в моей голове. Почему, стоит мне только коснуться клавиш, все начинают играть совсем не так? Может быть я просто плохой музыкант? Тогда зачем мне даны руки, голова, слух? Почему я не мыслю себя без этой музыки? А она?... Интересно, как она?.. И я почти побежал.

Клавиатура ждала меня. Я взял аккорд, и сквозь слезы на глазах увидел расплывающуюся, неопределенную фигуру Музыки.

– Я думала, что ты ушел насовсем, – шепнула она и сделала странный пируэт.

– Если тебя будет играть кто-то другой, – закричал я, – если тебя будет играть кто-то другой, в тебе будет гармония?!

– Что такое гармония? – удивленно приподняла брови моя Музыка.

– Это... – я долго не мог найти определение. – Это, когда все звучит слаженно, без диссонанса и фальши.

– Разве ты видишь во мне фальшь и диссонанс?

– Я их слышу! – я взял аккорд луны.

Музыка рассыпалась на части и собралась около моего виска.

– Им тоже надо жить, – рассудительно заметила она. – У каждого свой хлеб.

Я ударил по клавишам изо всех сил.

– Ты должна быть другой!

– Я такая, какой ты меня сыграл, – улыбнулась Музыка.

– И я себе очень нравлюсь.

– Если тебя будет играть кто-то другой, – повторил я. – В тебе будет гармония?

– Если меня будет играть кто-то другой, это буду не я, – поникла Музыка.

– За мной стоит очередь желающих. Все они считают, что справились бы с этим делом гораздо лучше, чем я... – Я так не считаю, – Музыка облетела вокруг меня и легким движением обняла за шею. – Если не станет тебя, не станет и меня...

– Тогда не мешай мне! Стань такой, какой я хочу тебя слышать! – в моем голосе звучала истерика.

– Сыграй меня по-настоящему...

Я убрал руки с клавиш, и Музыка рассыпалась. Я схватился за голову, потому что в моей голове она зазвучала громче. Я изнемогал от силы и чистоты звука, и плакал, зная, что я не сумею это повторить...

Я поднялся из-за клавиатуры и побрел к Ночи. Ночь встретила меня приветливой улыбкой. Мне всегда казалось, что она ко мне равнодушна.

– Я больше не могу быть твоим придворным музыкантом, – сказал я.

– Вина? – Ночь протянула мне темный наполненный бокал.

Я машинально взял его, и так же машинально хлебнул горячую, пахучую жидкость.

– Я больше не могу...

– Мне понравилась твоя сегодняшняя музыка, – перебила меня Ночь. – Было в ней что-то такое...

– Я больше не могу!!! – закричал я. – Эта не та музыка, которая звучит во мне!!!

– Я уже заказала новую аппаратуру, – Ночь по-прежнему благожелательно улыбалась мне. – Завтра ты сможешь ее опробовать. Эти старые клавиши давно пора заменить. Вино окутало мой мозг, и музыка в моей голове зазвучала

еще сильнее.

– Мне нужна Гармония, – сказал я.

– Гармония? – удивилась Ночь. – А за что я тогда плачу деньги Диссонансу и Фальши?

– Ты их наняла? Зачем? – я ничего не понимал.

– Гармония показалось мне слишком скучной, – скривила губы Ночь. – Такая молодая, а уже с претензиями и с глазами старой, умудренной опытом дамы.

– Ты увидела в ней свою соперницу? – догадался я.

– Вот еще, – фыркнула Ночь. – Я просто очень не люблю, когда мне говорят, что я что-то делаю не так.

– Выходит, ты всегда считаешь себя правой?

– Конечно. Разве может быть иначе?

– А куда деваться мне?!!

– Я могу прибавить тебе зарплату, – улыбнулась Ночь, глядя на меня, как на капризного ребенка.

– Я говорил не об этом... – я почувствовал жуткую усталость. Откуда-то возникло ощущение, что я бьюсь лбом о бетонную стену. Я даже ясно увидел, как по этой стене стекает моя кровь.

– Я не понимаю тебя, – сказала Ночь. – Многие из придворных музыкантов тебе отчаянно завидуют.

– Где я могу найти Гармонию? – спросил я.

Ночь пожала плечами:

– У меня столько дел, что мне совсем не досуг следить за передвижениями этой барышни. Могу сказать тебе только одно – тебе не стоит ее искать.

Я поставил бокал на звездный столик.

– Сегодня вечером прием в честь прибывшего Урагана, – сказала Ночь. – Ты должен играть.

– Я помню, – я повернулся и пошел к выходу. Коридоры дворца Ночи всегда завораживали меня своими неожиданными изгибами. В них можно было встретить кого угодно – от безусых юнцов-ветров, до убеленных сединами туч. В правом ответвлении четвертого коридора меня

остановила Тишина.

– Я слышала, ты ищешь Гармонию? – спросила она, и я, в очередной раз, вяло удивился тому, как быстро здесь все становится известно.

– Да. Ты случайно не знаешь, где она может быть?

– Не трудись напрасно. Гармония есть только во мне. Я ей очень хорошо плачу.

– Я хочу с ней просто поговорить, – устало сказал я. – Просто поговорить...

– Твои клавиши уже соскучились по твоим рукам, – сказала Тишина. – Я вовсе не обязана за тебя работать.

– Оставьте все меня в покое! – сорвался я. – До начала моей смены еще полчаса!

Тишина укоризненно взглянула на меня и скрылась за невесть откуда взявшейся дверью.

Я нашел Гармонию за пять минут до вечернего приема. Она сидела в облачном кресле и, казалось, ждала меня.

– Ты нужна моей Музыке, – сказал я.

– Я нужна тебе, – поправила меня Гармония.

– Ты нужна мне и моей Музыке, – упрямо повторил я.

– Твоя Музыка прекрасно обходится без меня, – покачала головой Гармония. – Она самодостаточна.

– А что мне делать с той Музыкой, которая звучит в моей голове? Почему я не могу сыграть ее так, как я ее слышу?

– Может быть, ты что-то делаешь не так?

– Смотри, – я протянул к Гармонии свои руки. – Они все в крови. Но то, что возникает из-под этих пальцев нельзя назвать Музыкой...

– Я слышала, что многим очень нравится то, что ты играешь.

– Но это не нравится мне! Я хочу сыграть ту Музыку, которую слышу. Неужели это так много?

– Это очень много, – серьезно сказала Гармония. – Настоящую музыку можно услышать только один раз.

– И она будет именно такой, как я ее слышу? – оживился я.

– Она будет именно такой, – подтвердила Гармония. – Но она будет последней, из того, что ты сможешь услышать. Подумай.

– Я согласен, – твердо сказал я.

Гармония взглянула на меня странным, долгим взглядом, в котором плескались удивление, восторг и сочувствие.

– Хорошо, – сказала она. – Закрой глаза.

Я закрыл глаза, руки мои опустились на клавиши, и вокруг меня зазвучала музыка.

Она неслась и парила: басили дома, шумели деревья, скрипели дороги, выл ветер, дребезжал дождь, пела скрипкой луна, пальцы мои чуть касались пожелтевших клавиш, но я чувствовал их тепло, я погружался в вечность звуков, я стонал от наслаждения, я плакал... Я взлетел в небо и опрокинулся на землю, я полетал около раскрытых форточек вместе с беспризорными снами, я поиграл с бродягой-ветром в догонялки, я раскрасил свет уличных фонарей, я подержал в ладонях холодный кусочек луны, я поплескался в луже вместе с звенящими струями дождя, я повалялся на сиреновой туче, я сшил себе платье из облаков... И во всем в этом была моя Музыка. Без единой фальшивой ноты... Последний аккорд звучал долго... Я все еще блаженно улыбаясь, открыл глаза и увидел, как медленно движутся губы Гармонии, произносящие фразу, которую я уже никогда не услышу...

...На углу центральной улицы города сидел абсолютно седой человек и чему-то блаженно улыбался. В рваной шапке, стоящей перед ним, лежали несколько медяков, согревая друг друга своим присутствием.

– Мама, кто это? – спросил маленький мальчик.

– Это глухой музыкант, – ответила женщина и, порывшись в сумке, бросила в шапку десять рублей. – Когда-то он

был очень знаменит...

Седой человек благодарно кивнул, закрыл глаза, и внутри него вновь зазвучала музыка. Музыка, которую никому, кроме него никогда не дано будет услышать...

КОГДА ОН РОДИЛСЯ

В ночь, когда он родился, играли свирели. И волхвы отплясывали свой сумасшедший танец, который именовали молитвою. Пламя костра взметалось в темное небо искрящимися, пунктирными знаками, рисуя на этом черном полотне огненные руны...

Когда он родился, в соседнем поселке корова из последних сил вытолкнула из матки двухголового бычка и замычала устало, словно осознав, что выполнила свой долг, ради которого и пришла на эту землю. И тут же принялась облизывать новорожденного влажным, шершавым и набухшим от крови языком...

Когда он родился, заиграл на скрипке слепой музыкант, внезапно очнувшись от алкогольного сна. Его давно немая голова поднялась над залитым вином столом, и руки сами по себе вытащили из котомки скрипку. Он играл, и его мутные слепые глаза понемногу яснили, хотя мелодия, которую пела его скрипка, была ему незнакома...

Когда он родился, в далекой степи завыл волк, завыл призывно и свободно, не боясь собак и красных флажков. Он поднял большую лобастую голову прямо к белому шару луны, словно желая его проглотить...

Когда он родился, по полю пробежал легкий ветер, тревожа покой сонных трав. Травы качались, просыпаясь, но в их острых стеблях не было недовольства, в них было предвкушение чего-то нового, неизведанного, и потому прекрасного...

Когда он родился, запела полночная птица, и ее птенцы, проснувшись раньше времени от пронзительного голоса

матери, начали долбить клювами оболочку яйца, а потом, выбравшись из защитной скорлупы, жадно крутили голодными к жизни шеями в разные стороны...

Когда он родился, в старой церкви загудел колокол, спящий дьяк проснулся и поднял удивленную острую бородку высоко-высоко к небу, поражаясь тому, как оно может громко звучать. Заспанные люди высыпали на улицу из лачуг, хибар, вигмамов, домов, небоскребов, дворцов и растерянно вращали головами, размахивали руками, возбужденно переговариваясь, не понимая, что происходит, но непременно ожидая чуда...

Когда он родился, белый голубь взлетел на крышу сарая. Бабка-повитуха держала в руках сморщенное, окровавленное тельце.

- Сын? - устало-радостно спросила Мария.

Погасли в небе руны, тоскливо замычал в предсмертной агонии двухголовый бычок, скрипка слепого музыканта треснула пополам, в далекой степи поперхнулся воем волк, попав в расставленный капкан, спрятался в подземных дырах ветер, пригнулась к земле трава, упало с ветки гнездо с новорожденными птенцами, обрушился на землю колокол, проглотив язык, с крыши сарая замертво упал белый голубь.

- Он родился мертвым, - сказала повитуха и заплакала.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАЖ

Странно, что этого никто не понимает. У лифта нет начала и конца. Промежуточный этаж, на котором ты стоишь - всего лишь малая часть необъяснимого. Никто не может с уверенностью сказать, что приедет туда, куда собирался. Все привыкли, не задумываясь, нажимать на кнопку с цифрой один, воспринимая как должное то, что именно там они и выйдут. Они ошибаются. Они наивны в своей уверенности, как дети, бегающие под солнцем и свято

верящие, что дождя не будет.

Промежуточный этаж у каждого свой, и вовсе не важно, откуда ты выходишь, чтобы сесть в кабину лифта. Они садятся и едут, не понимая, что едут туда же, откуда вышли, на свой промежуточный этаж. Так продолжается достаточно долгое время. Странно, что этого никто не понимает...

Квадратная кабинка лифта - как магический четырехугольник, нарисованный на абсолютно белой стене, в который смотришь долго, долго, упорно, не отводя взгляда, до рези в глазах, до разноцветных кругов и слез, и вдруг начинаешь понимать... Это еще не знание. Это узкий коридорчик к нему, с чуть приоткрытой дверью. Ты еще не понимаешь, но чувствуешь где-то там, в глубине, что-то... Они не видят магических квадратов. Самая страшная вещь - привычка, плотно закрывает крышку мозга в беспросветную тьму, безжизненную пустоту, там, в кабине лифта.

Свет дневных ламп в коридорах всегда, даже когда светло, громко гудит, но движение лифта вверх-вниз с грохотом и звоном перекрывает все звуки, и только иногда, поздно ночью, ты куришь перед закрытой дверью, и от этого монотонного звука становится страшно. Ты выпускаешь кольца дыма и, напряженно глядя в никуда, видишь две несущихся в ночи машины, с людьми. Не знающими друг друга, летящими друг к другу на бешеной скорости по черным пустым улицам, тускло раскрашенным вереницей блеклых фонарей, похожих на мертвые восковые лица молчащих кукол, явно осуждающих все живое. Статичность - это так прекрасно! Так непостижимо величественно!

Когда две несущихся машины врезаются друг в друга, и в стороны темных переулков разлетаются фары и бампера, дверцы и мельчайшие осколки стекол, руки двоих сплетаются со странной одинаковой улыбкой на окровавленных губах, ты слышишь, как смеются фонари, хохочут, содрогаюсь, тяжелым звенящим гулом, ты затыкаешь уши, и в наступившей неожиданно тишине, всматриваешься в блеклые

желтые лица, и каждым нервом ощущаешь безумную, страшную их силу, имя которой - зависть. И тогда все становится легко и просто. Статичность разорвана, кабинка лифта движется вверх. Они удивленно пожимают плечами, не понимая, кто нажал кнопку.

С приходом утра нагрузка возрастает, скрипят плохо смазанные пружины. Ты поднимаешься одним из последних, но кто определит, где конец и начало, а потому не все ли равно, они уже заняли наблюдательные посты своих промежуточных этажей, и у каждого в кармане набор инструментов, годных лишь для причинения боли, в виде капель крови, стекающей в ванну, но ты-то понимаешь, что больше они ни на что не пригодны.

Каждый промежуточный этаж закрыт в своем квадрате, ты иногда гуляешь по ним ночью, невидимый для всех, и тебе не нужно прикладывать к этому никаких усилий, все слишком просто. Они не способны видеть тебя, и только, но это их беда, ты не смеешься, ты проходишь молча, унося в карманах обрывки фраз, слышанных ранее, только что родившихся в твоей голове, и уже растекшихся по бумаге, в виде черных паучков, причудливых и изящных.

Кабинка лифта снова уносит тебя, ты не знаешь, куда на этот раз, но почему-то свято веришь, что чуть ближе к той, полуоткрытой дверце узкого коридора. Сегодня у тебя попутчик. Ты с любопытством разглядываешь случайного соседа, беззастенчиво и откровенно, он явно начинает злиться, что-то негромко насвистывая, и с видимым облегчением выходит в едва открывшиеся двери, и ты не уверен, кому из вас нужно было тут выходить, но дверцы уже закрылись, тебя несет дальше.

Самый последний этаж, ты замираешь, ведь нет же начала и конца, но тут же осознаешь, что последний для тебя, а что там еще - неизвестно, ты успокоенный выходишь и видишь раскрытую створку окна и двух людей, сидящих на подоконнике спинами к тебе, неуловимое движение, и

подоконник уже пуст, но ты ясно представляешь сплетенные руки и странную одинаковую улыбку окровавленных губ, ты кидаешься вслед, желая что-то спросить, но уже слишком поздно, ты для этих двоих - один из остальных, с промежуточного этажа, а они уже где-то далеко, и только навязчиво гудят дневные лампы, и, скрипя, отрывается дверца лифта - это за тобой.

Ты садишься в кабинку, и снова по промежуточным этажам, не уходя со своего, ясно ощущая, что это только начало, и до той странной улыбки еще ехать и ехать, главное только поверить, что она будет, когда - это неважно, а потом - разлет механических частей и хохот восковых лиц в дожде стеклянных осколков, и пустые дверцы лифта туда-сюда, туда-сюда...

Резкий звук сирены, служба контроля начеку, и снова плохо смазанный скрипящий механизм - вниз-вверх по промежуточным этажам...

У лифта нет начала и конца. Странно, что этого никто не понимает.

Владимир Каганов
ВЕЛИКИЕ ФИЛОСОФЫ
Цикл сонетов

ДЕКАРТ

Картезианство нынче снова в моде.
Рене Декарт, французский офицер,
По-моему, подал дурной пример,
Подсунув геометрию Природе.
Учил и Пифагор в подобном роде,
Но Пифагор был всё же не Гомер.
Нелепа мысль, что форма и размер

Содержат дух, как масло в бутерброде.
Где жизнь в упадке, торжествует разум.
Но дуализм кончается маразмом,
Поскольку всё же: vivo ergo sum.
Суровый климат погубил Декарта.
Как выяснилось, Швеция - не Спарта.
Не сладив с телом, пал великий ум.

ПАСКАЛЬ

Природа не боится пустоты.
Но сам Паскаль всегда её боялся.
Поэтому, возможно, он остался
У янсенистов, где от суеты
Нашёл спасенье. Лучшие цветы
Своей души, как сам он выражался,
Он в «Мыслях» воплотил. Но смена галса
Преобразила берега черты...
Иная жизнь, созвездия иные
Ему открылись. Может быть, впервые
Он понял, что таится в бездне Бог.
И он постиг: от бездны нет спасенья!
У мыслящего бедного растенья
От этой мысли разум изнемог.

СПИНОЗА

Барух Спиноза, тихий иудей,
Хотел во всей природе видеть Бога.
Эвклидов метод - слабая подмога,
Чтоб мир собрать из модусов идей.
Но, одержим задачей своей,
Он линзы шлифовал не хуже слога,
И ни голландский клир, ни синагога

Осилить не смогли натуры сей.
Он, в сущности, прожил, как чистый мальчик.
И если чистота хоть что-то значит
На неподкупных Господа весах,
Я думаю, ему простится метод,
Поскольку всё же прав Спиноза где-то,
Усматривая вечность на часах.

ЛЕЙБНИЦ

При Брауншвейгском герцогском дворе
Философу жилось не очень сладко.
Но дух немецкий требует порядка
И, так сказать, гармонии in ge.
А посему весь божий мир - тире -
Свести необходимо без остатка
К гармонии; подобная догадка
Для Лейбница есть ключ ко всей игре.
Но как же сладить со свободой воли?
А вдруг монады выбьются из роли -
И вдребезги гармония тогда!
Несовершенство методов допроса
Мешало разрешению вопроса -
Осталась тайна тайной навсегда.

КАНТ

Суровый Кант не одобрял сонета.
Ему не позволял императив
Излиться, чувством разум оперив,
В свободную фантазию поэта.
А так как ни Лаура, ни Джульетта -
Италии пленительный мотив -

Им не были допущены в актив,
То не было и повода на это.
Бедняга, он попал в другой капкан.
И Чистый Разум свой имел изъян -
Неразрешимых антиномий язву.
Он так и не сумел их разрешить.
Чтоб за уши поймать двух зайцев сразу,
Агностиком, наверно, мало быть.

ФИХТЕ

Сын сельского ткача был крепкий малый.
Упрям и по-немецки грубоват,
Он Лютеру по духу в чём-то брат,
И для него субъект - всему начало.
У Фихте «Я» свободно полагало
Себя и мир. Но он хитрей, чем Кант:
«Я» и «не-Я» здесь противостоят,
Друг в друге отражаясь, что давало
Намёк на синтез. В самом деле, «Я»,
Творя весь мир, в нём познаёт себя.
Красивое, не спорю, построенье,
Но панлогизмом всё-таки грешит,
Поскольку «Я» - разумный индивид,
И мир тогда - всего лишь представление.

ШЕЛЛИНГ

Он начинал, пожалуй, как поэт,
Романтик, мистик и натурфилософ.
И голова кружилась от вопросов,
И Абсолют струил предвечный свет.
Но как их сочетать: субъект - объект?

Как шхуну провести меж двух утёсов?
 Где Всеединства скрыт желанный остров?
 Возможно, в древних мифах дан ответ?
 Спасение, конечно, в откровенье!
 Но ум его опять поник в сомненье:
 Как Дух с Природой воссоединить?
 И тот, кто жил высоким вдохновеньем,
 Окончил дни свои в полузабвеньи -
 Он потерял связующую нить.

ГЕГЕЛЬ

Окончив богословский институт,
 Он пастором не стал. Иные дали
 Смышлёного Георга привлекали:
 Дух, Разум, Универсум, Абсолют.
 Он верил: Дух с Природой совпадут!
 Он видел мир в логическом кристалле,
 Но силой Духа формы оживали -
 В самих вещах понятия живут!
 Весь мир в диалектическом движенье
 Он охватить хотел. И, к сожалению,
 Поверил в то, что вправду охватил.
 Ум Гегеля - не Разум Абсолюта
 И даже не Всемирный Дух. Вот тут-то
 Он главную ошибку совершил.

ШОПЕНГАУЭР

Сын гданьского купца не стал купцом,
 Но с юных лет он понял как-то сразу,
 Что миром движет воля, а не разум,
 И мир, по сути дела, есть фантом.
 Он Гегеля поймал уже на том,

Что оптимизма лживого заразу
 Тот ставит на сомнительную базу
 Прогресса духа - дух-то здесь при чём?
 Grimасы духа - это только маски
 Слепой стихии, ищущей развязки
 И устремлённой в смерть, как свой предел.
 Не понятый при жизни, озлоблённый,
 К спасительной нирване устремлённый,
 Он так её достичь и не сумел.

ФЕЙЕРБАХ

Что не был Людвиг Фейербах Христом,
 Доказывать особенно не надо.
 Он человек. Ходячая монада.
 И материалист при всём при том.
 Религия, по Людвигу, фантом
 И опиум навроде самосада.
 Бог в человеке. С головы до зада
 Он чувственный, земной - таким финтом
 Мы упраздняем Бога как химеру
 И возвращаем человеку веру
 В то, что его природа - в нём самом.
 Любовь ко всем - особо половая
 Людей связует. Это сознавая,
 Займёмся созидательным трудом.

КЬЕРКЕГОР

Спекулятивный разум умирал,
 И юный Сёрен это ясно видел.
 Все тайны были скрыты в индивидуе,
 Но ключ к разгадке далеко лежал.
 Он знал лишь то, что ничего не знал.

Отчаянье заброшенных в Аиде -
 Вот наша жизнь. No veritas in fide:
 Иов взывал - и Бог ему воздал.
 Познание, наслаждение, добродетель -
 Лишь призраки. Души твоей свидетель
 И Судия - один лишь только Бог.
 Комичны философские потуги,
 Песку подобны знания и заслуги -
 И остаётся вечный диалог.

НИЦШЕ

Классический филолог верил в миф.
 Для Ницше жизнь едина с Дионисом
 И волей к власти. Под таким девизом
 Он возвестил нам свой императив.
 Век Заратустры сумрачно открыв,
 Он чувствовал себя вторым Улиссом,
 Бестрепетно стоящим перед Стиксом,
 С сознанием, что он пока что жив.
 Он знал, что он последний из великих.
 И с отвращением в ордах толп безликих
 Предчувствовал судьбу своих идей.
 Но он своей мечте остался верен:
 Ещё придёт прекрасный гордый эллин
 Освободить залгавшихся людей.

ДЖЕМС

Уильям Джемс открыл поток сознания
 Как изначальный опыт бытия.
 В нём каждый чист, как в плеске волн дитя,
 И он первичней всякого познания.
 Наука - это вроде наказания

Сознания, которое шутя,
 Безумствуя, любя или грустя,
 Творит свой мир по прихоти желанья.
 Вы спросите: но где здесь прагматизм
 И тайно скрытый империализм,
 Который, как известно, чужд науке?
 Что вам сказать? Наверное, он в том,
 Что каждый хочет жить. А также в том,
 Что жизнь не терпит глупости и скуки.

БЕРГСОН

Анри Бергсон считал, что интеллект -
 Не самый умный малый в школе жизни.
 Мир, явленный в интуитивной призме,
 Богаче, чем игра в субъект-объект.
 Мир - творческий порыв, живой аффект,
 Бескрайний океан цветущей жизни,
 В котором разум ищет механизмы,
 Не в силах обнаружить сам эффект.
 Смысл жизни - не в познание, а в дерзанье!
 Жизнь - это поиск, схватка, состязанье,
 Где победитель получает приз.
 (Я верю, что мой грамотный читатель
 Поймёт, в чём заблуждается писатель,
 И отсечёт реакционный смысл).

МАРКС

Вождь мирового пролетариата
 Дорогу к коммунизму указал.
 Он мудро диалектику связал

С историей. Звук грозного набата
 Он миру возвестил. Придёт расплата -
 И рухнет побеждённый капитал!
 Но вот что Маркс не до конца познал:
 Победа поражением чревата.
 Во всём исток противоречья скрыт.
 Рабочий класс, возможно, победит -
 Но нет у диалектики предела...
 Маркс знал, какие силы он призвал -
 И призрак по Европе зашагал
 До Азии. Мавр сделал своё дело.

ЭНГЕЛЬС

Великого Учителя собрат,
 Он создал «Диалектику природы»
 И тем упрочил каменные своды
 Матерьялизма, дав нам диамат.
 Неоспорим бесценный этот вклад
 В учение марксизма. Правда, годы
 Слегка сместили некие подходы
 Сего труда. Науки не стоят
 На месте, как известно. Но суть дела
 Не в этом. Как природа углядела
 Свои законы? Кто ей разум дал?
 Даны ль законы эти ей от века
 Иль это лишь создание человека?
 Увы, он это так и не узнал.

Октябрь 1982 г.

БРИТАНСКИЕ ФИЛОСОФЫ (шесть сонетов)

БЭКОН

Удачливый придворный карьерист
 Имел резон считать, что знание - сила.
 Британия над миром восходила,
 А истинный британец - оптимист,
 Эмпирик трезвый, материалист -
 Таким его природа сотворила.
 Мысль Бэкона бесстрашно уличила
 Химеры духа - ум его был чист,
 Как чистая доска. Он свято верил
 (Увериться желал, по крайней мере),
 Что мир - всего лишь сложный механизм.
 Индукции здесь явно было мало,
 И доказательств тоже не хватало -
 Зато торжествовал матерьялизм!

ГОББС

Соединив британский эмпиризм
 С картезианским рационализмом,
 Гоббс увенчал всё это атеизмом
 И тем упрочил материализм.
 Он первым понял, что социализм
 Соединит гигантским механизмом
 Всё общество, поскольку эгоизмом
 Людей руководит детерминизм.
 Идеи замечательные эти
 Теперь уже известны всей планете -
 И, видит Бог, не Гоббс тому виной.
 Он долго жил, переводил Гомера,
 И, твёрдо веря, что душа - химера,

Без страха в вечный отошёл покой.

ЛОКК

У Локка эмпиризм достиг расцвета.
Идей врождённых нет - так учит Локк.
Философ выступал как педагог
И моралист. Разменная монета
Ходячих истин в логику одета,
И номинально допустим и Бог -
Как общее понятие; вот итог
Филистерства, нашедшего свой метод.
А, впрочем, этот Локк был славный малый.
Умеренность его вошла в анналы.
Он не фанатик - добрый либерал.
Терпимость англичан, их здравый смысл
Удачно воплотились в Локка мысль -
Он, в сущности, достиг, чего желал.

БЕРКЛИ

Епископ Беркли спорил с атеизмом,
Но, впрочем, был большой оригинал,
Поскольку веру в Бога защищал,
Связав номинализм с сенсуализмом.
Мир дан нам в чувствах - через эту призму
Наш разум ощущения связал
И позже их объектами назвал,
Удобным соблазнившись реализмом.
Итак, весь мир есть комплекс ощущений,
А знание есть комплекс отношений
Меж ними - и не более того.
Причина наших ощущений - в Боге,
И вот что получается в итоге:
Мир, в общем, состоит из ничего.

ДАВИД ЮМ

Шотландия нам подарила Юма.
Британской философии Давид,
Он был уверен в том, что индивид -
Исток познания и его же сумма.
Он в берклианство внёс английский юмор,
Придав ему весьма удобный вид.
Юм на любое мнение говорит:
По-своему вы вправе это думать.
Он доказал, в конце концов, одно:
Ни разуму, ни чувству не дано
Обосновать познание достоверно.
По-моему, такой агностицизм
Удачно выражает афоризм:
«Я в это верю - значит, это верно».

СПЕНСЕР

В отрочестве я Спенсера постиг
Так, как его представил Мартин Иден.
Мне и сейчас не Спенсер - Мартин виден:
Борьба за жизнь - любовь - последний миг...
Но я закрыл мальчишеский дневник.
Увы, он не романтик, а, к обиде,
Позитивист. Он видит в индивиде
Ступень прогресса - вечной Силы лик.
Прямой наследник Бентама и Милля,
Он прогрессист умеренного стиля
И, в сущности, почтенный дарвинист.
Хоть тайна бытия непостижима,
Она путём прогресса достижима -
Так учит нас британский оптимист.

Октябрь 1982 г.

Александр Дегтярев МИНИАТЮРЫ

ПРЕЛЮДИЯ

В продуктовом магазине на Казачьем рынке стоял привычный торговый шум: галдели недовольные высокими ценами покупатели, стучали на прилавках ножи, слащаво хвалили свой товар продавщицы. Откуда ни возьмись, в зале зазвучала давно забытая мелодия. Повееяло далеким-далеким прошлым от печальных и светлых звуков духового оркестра.

Люди притихли и недоуменно переглядывались.

У стены стоял сухонький дедок с бородкой клинышком. Одежда на нем висела мешком, похоже, с чужого плеча, но чистая. На груди у него висел на засаленном ремешке маленький кассетный магнитофон. Из него-то со скрежетом и хрипом растекалась в толпе мелодия старинного вальса «На сопках Маньчжурии».

Рядом с дедом, на свободном от зевак пятачке, ожидал «выхода» черный карликовый пуделек. Он встал на задних лапах и вытянулся в струнку, а передними взмахивал перед собой в такт музыке. Оставленная при стрижке шерсть на его лапах напоминала саржевые нарукавники конторского работника. Этой деталью он походил на крохотного человечка. Песик «держал» паузу. После проигрыша вступительной части по команде хозяина он стал медленно кружиться, приседая каждый раз напротив витрины мясных изделий.

Из-за прилавка вышла дородная продавщица с нарезанными колечками вареной колбасы.

- Ух, какая хорошенькая! Худенькая, лапочка, и носик востренький. На тебе мяска, на! – пропела женщина, сев

рядом, и протягивая угощение.

Песик понюхал колбасу и нехотя отвернулся.

- Не берет. Брезгует, что ли? Вкусная, свежая, сама только что ела. На, возьми, не бойся.

Дедок выключил свою шарманку и присел рядом с собачкой.

- Он не возьмет у вас с руки. Давайте лучше я сам подам, - почти шепотом попросил он.

- Красавица! Артистка! Вылитая артистка! Это ваша? Прелесть! – не унималась продавщица.

Вместо ответа дедок кивнул утвердительно головой, с благодарной улыбкой принял от нее два ломтика, и повернулся к собачке. И в самом деле, пуделек осторожно взял колбасу только после того, как убедился, что его хозяин уже жует украдкой свою долю.

САМОЕ ДОРОГОЕ

У входа в дачный кооператив, около железной калитки под кленами сидел месячный щенок и дружелюбно смотрел на проходящих мимо садоводов. Я остановился, присел рядом и погладил маленького сторожа. Песик был из породы, как говорят специалисты: «двор-терьер» светлого окраса с рыжими подпалинами, но вислоухий – с претензией на породистую родословную. Рассеянный по детски его взгляд вызывал умиление и тревогу – может быть, потерялся – такой он был маленький. Щенок увязался за мной и я решил, что причиной тому послужила моя большая сумка. Но в ней в основном был инструмент. Правда, было немного и продуктов. Я достал батон, отломил краюху и положил рядом на траву. Он только понюхал хлеб и снова потрусил за мной. Тогда я достал пряник и, разломив его, - ребенок ведь, зубки слабые, - попробовал откупиться сладким.

Это не помогло. Он настойчиво преследовал меня, словно знал о кусочке колбасы в отдельном свертке. Достал я колбасу и по братски поделил пополам. Песик, видимо, из уважения ко мне, откусил малехонькую скибочку и проглотил нехотя. Он торопился не отставать от меня.

«Все, все, зверюга ты красивая! Больше у меня ничего нету. Отдал тебе самое дорогое, что было в сумке. Иди домой к своему хозяину!» - уговаривал я маленького преследователя.

Щенок внимательно слушал, наклонив набок голову, но думал совсем о другом. Ценности этого мира он, как несмышлениш, понимал по своему – ему хотелось простой ласки.

ПРИЕМЫШ

Его принесли соседские мальчишки по весне из кладбищенской рощи. Беспомощного, большеголового птенца. Выпал он из гнезда и сломал лапку. Так появился у Любаши кроме своих четверых, теперь уже взрослых, детей приемыш - грачонок Петька. Выходила, выкормила изо рта птаху. Вырос из заморыша важный чернявенький красавчик! Не зря ведь 35 лет отработала акушеркой в сельской больнице. Целый полк, посчитай, приняла ребятишек, и все выжили. Ни днем, ни ночью, ни в метель, ни в слякоть не давали покоя роженицы. Что ж поделаешь, такая профессия – народ множить. Сельчане кланяются Любаши при встрече, по имени-отчеству величают. Любашей называл ее муж Яков в первые годы семейной жизни. Потом эта жизнь незаладилась, надломилась. Но семья и надежда на лучшее – держали. Сполнахватила

лиха на своем веку Любаша. И горя. Два года назад на 91 году умерла мать. Через полгода муж ушел добровольно в мир иной. Вышла она на пенсию и осталась одна-одной в большом доме. Спасибо детям, что наезжают часто – не забывают...

На кудрявой елке, напротив крыльца обычно сидел Петька и каркал: жрать подавай! Или встречал на полдороге от больницы, садился на плечо, бил и надавливал крылом, и тут же терся о щеку своим шершавым клювом: иди, мол, бери лопату и копай червей в огороде. Смотрела Любаша в смородиновые глазки грачонка и невольно вызревала мистическая догадка о перевоплощении во второй жизни. Всякое приходит в голову, когда тоска одолевает.

Наступила осень. С прощальными криками стали сбиваться в огромные станицы грачи перед отлетом на юг. Метался, беспокоился целый день Петька. А к утру исчез со двора. За долгую зиму притупилась, пригладилась белыми метелями память о прирученной птице. А когда мартовский влажный ветер стал слизывать ноздреватые сугробы, причудилось однажды ночью, будто бы кто зовет. Прислушалась: вроде как звуки, похожие на карканье с хрипотцой или на злобные мужские выкрики.

Любаша метнулась на крыльцо. Языческое предчувствие сдавило грудь. За спиной скрипнула дверь, и будто прищемила душу. «Это ты, Яша?» - почти шепотом спросила в темноту, и не узнала своего голоса. С языка сорвалось совсем не то имя, которое собиралась произнести. Но в темно-зеленых лапах ели только усталым вздохом отозвалась вечность.

Татьяна Багрова
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ БЫТЬ ДОБРЫМИ

И ЭТО ВСЕ О НИХ

Благословен человек, приручивший когда-то собаку! Не одну сотню лет мы имеем рядом обожающего нас друга, ничего не требующего взамен! Сколько поломано копий «за» и «против» содержания четвероногих питомцев в непригодных городских квартирах, огромное количество выгуливаемых собак свидетельствует об очевидной бесплодности подобных дискуссий. Что до меня - то нет лучшего средства, уничтожающего усталость и раздражение от неудачного дня, чем невероятные кульбиты любимого карликового пуделя, включающего «прыгучий» двигатель при хозяйском возвращении со службы!

Известный постулат о похожести собак и их хозяев подтверждает наша с ним общая любовь к мороженому, сыру и вечерним прогулкам, - именно к вечерним, когда, в отличие от утренней предрабочей суеты, можно сколь угодно долго бродить по привычным местам или открывать новые пешеходные маршруты.

Приплясывая рядом, Атос (да, - ни больше, ни меньше!), вращая смешным хвостом с помпоном на конце, периодически срывается с места и приносит то мячик, то невесть откуда взявшуюся сухую веточку, тем самым мешая мне одеваться к прогулке. Наконец, зашнуровав непромокаемые ботинки, выпрямляюсь, и это служит сигналом, что до блаженного старта ежевечернего обхода пошел обратный отсчет. Три, два, один, - поворот ключа в замке, - и мы «ссыпаясь» по лестнице, ныряя в темно-синий бархат сумерек. Атос проводит «ревизию» ближайших сугробов, а я, оценив почти весеннюю теплынь, решаю совершить «большой

Не стесняйтесь быть добрыми

круг», включающий несколько кварталов старого центра.

Вдруг подопечный стремглав бросается за угол, и когда добегаю туда, вижу его с огромной эрдельтерьершей, которая, впрочем, весьма игриво отвечает на ухаживания моего крохи. Исход любовной истории решается быстро - хозяин утаскивает «эрдельшу», сердито выговаривая по пути что-то про старость и стыд. В свою очередь тоже накидываю поводок, потому что непонятное обожание именно крупных собак ни разу еще не заканчивалось добровольным расставанием с выбранным предметом страсти. Вот и теперь я буквально волочу упирающегося ловеласа через перекресток. Нет, мужики все же ветреный народ, - как только сугробы скрывают «дамский» двор, Атос преспокойно продолжает прерванное занятие. Наперекор всем справочникам, называющих пуделей декоративной породой, он, как заправский охотник постоянно что-то вынюхивает, роет в снегу тоннели (мышей что ли чует?), бросается на невидимого врага, короче, работает!

Занятый очередной раскопкой, он даже не слышит, как маленькая девочка в пушистой шубке, вырываясь от матери, кричит ему: «Ах, какая красавица!» Объясняю, что это вовсе даже не «красавица», а «красавец». «Если это девочка, - говорит малышка, - резинка на челке должна быть синенькая, а у вас - красная!». И не став выслушивать мои объяснения, что все синенькие, увы, потеряны, поэтому обошлись первой подвернувшейся под руку, она гордо мне сообщает: «Когда вырасту, мне такого же купят!». Реакция мамы, поспешно уводящей чадо от этой - «не трогай, она грязная!» - собаки лучше всего продемонстрировала, сколь бесплодна была детская мечта...

Атос тем временем промчался между двумя симпатичными девушками в одинаковых дубленках, и те испуганно охнули: «Теперь мы поссоримся!». Горячо уверяю девчат, что, скорее наоборот, - это добрый знак, свидетельствующий о долговременности и нерушимости их дружбы. Пока

Татьяна Багрова

успокаиваю подруг, на миг теряю подопечного из виду, и это тут же оборачивается неприятностью: пользуясь минутной беспризорностью, мой «мушкетер», прекрасно зная о строжайшем запрете лаять на улице, дает волю звонкому гавканью, обращая его на проходившую мимо бабульку, запуская тем самым «бомбу замедленного действия». Присевшая от неожиданности пенсионерка очень быстро приходит в себя, и, резко оборвав мое извинительное лепетание, раздражается длинной тирадой (для чего сопровождает нас целый квартал), которая, начавшись с ужасных историй о съеденных(!) собаками людях, плавно перешла на политику и гада Березовского, виноватого (оказывается!) во всех российских бедах. Спасительная щель между гаражами, не позволившая тучной антисемитке закончить «сагу» о всемирном господстве негодяев определенной нации, счастливо избавила нас от так необдуманно облаянной старухи...

- Вот к чему приводит игнорирование хозяйских советов! - выговариваю собаке, вытряхивая снег из ботинок. - Когда ты также обгавкал молодого человека, а тот дико побледнел и напугал уже меня своим минутным ступором, я ведь тебе, паршивец, целую лекцию о фобиях прочла! Ты когда станешь делать выводы ...

«Ушастик» не дает довести до конца «воспитательный момент», потому что к нам подходит владелица такого же серебристого пуделька, и пока «мальчики» проделывают самый сложный собачий обряд знакомства, мы обсуждаем обычные проблемы: привередливость в питании, дороговизну стрижек, нежелание оставаться дома одному. Последнее особенно мучительно: стоит закрыться входной двери, Атос начинает под ней жалобную песню-вой, от которой у соседки поднимается давление.

Краем глаза замечаю, что «мой» закрутился на месте. Торопливо прощаюсь и несусь к нему, доставая из кармана захваченную из дому салфетку, именно в нее подгребаю

«итог» суety и выбрасываю в мусорный контейнер. Нехитрая манипуляция вызывает приступ дикого восторга околоподъездных старушек, которые долго еще кричат мне вслед «спасибо!», хотя все, что сделала, - просто выполнила постановление мэрии о нехитрой процедуре уборки «отходов» своих четвероногих питомцев (правда, учитывая наши размеры, вполне обхожусь без полиэтиленового мешочка и совка).

И знаете, натываясь тут и там на неприглядные «кучки», я разделяю восхищение бабулек нашей законопослушностью.

Завершаем «круг» в родном дворе, где Атос присоединяется к целой компании собак, которые внимательно наблюдают, как обожающий «подснежное плавание» терьер, нырнув в сугроб, снежной кочкой передвигается по полю. Наконец, они все вместе теряют терпение, ожидая появления «пловца» на поверхности, и устраивают погоню за бугорком. Пока веселая «куча-мала» перерывает свежее снежное покрывало, я оглядываю хохочущих хозяев и думаю о том, что с тех пор, как собака из дикого животного превратилась в друга человека, общество четко разделилось на «собачников» и их «невладельцев». С высоты обладателя преданного существа не будем строго судить последних: подчас не нравственные, а материальные трудности не позволяют завести дома родственную душу, которая своей чистой аурой отпугивает от нас демонов злобы, жадности, нетерпимости и гнева...

КОЛЮЧАЯ ИСТОРИЯ

Ой-ой-ой! - кактусовая колючка впиалась в палец, и я запрыгала на одной ноге. - Паршивка! Для тебя же стараюсь! Вот возьму и брошу твои заросли, - расти как хочешь!

Пока пинцетом вытягивала из покрасневших перстов тоненькие иголки, уже сто раз пожалела, что взялась за неожиданно трудную и травмоопасную пересадку колючих растений. А началось все еще зимой, когда сидя на кухне с подругой «обмывали» чаем покупку компьютера, и я неосторожно обронила фразу, что теперь «надо бы купить кактусик побольше», который, по устоявшемуся убеждению, поглощает вредные компьютерные излучения.

- Ничего не покупай, я привезу тебе то, что надо! - помню тогда умиленно подумала о том, какие у меня замечательные есть друзья!

«То что надо» оказалось эмалированным тазом, в котором все земельное пространство занимали настоящие прерии из разнокалиберных кактусов, а посередине гордо высилась толстая «мама» высотой около полуметра, на которой болталось еще порядка двадцати маленьких «деток», пока не успевших рухнуть вниз и укорениться на отвоеванном у родственников клочке земли...

- Вот это Мексика! В что мне с этим делать? - я не сразу смогла оправиться от шока.

- К компьютеру поставишь! Ты же сама хотела побольше, - приятельница обиделась. Поспешно поблагодарив ее за бесценный подарок, я поставила тазик на кухонный подоконник, поскольку около компьютера он занимал бы весь стол, и всю зиму выслушивала восхищенные «охи!» гостей, которым демонстрировала собственный кусочек южно-американского пейзажа.

С наступлением весны прониклась жалостью к теснящимся растениям, и это заставило меня в несколько приемов прикупить почти ведро специального грунта и цветочных горшков. И вот уже третий день, вздыхая над остатками маникюра, занимаюсь непривычным делом, поскольку

мой небольшой опыт цветовода ограничивался лишь успешно загубленными мамиными цветами, доставшимися мне года три назад по наследству при ее переезде в другой город, - алоэ, помнится, держался дольше всех, но и он засох, не выдержав безалаберного и непостоянного ухода...

Первыми закончились горшки, и тогда в ход пошли корбочки из-под йогурта, одноразовые стаканчики и даже обрезанные молочные бутылки. «Дети» охотно покидали насиженное место, но когда настала очередь «дерева», оно, как видно, по своей взрослой консервативности не совсем понимая гуманность моих действий, отчаянно сопротивлялось уходу из родного тазика, впиваясь в меня колючками, одну из которых я сейчас и вытягивала.

- Чтобы я еще с тобой связывалась, - продолжая избавляться от «дротиков» бормочу я, - вот передарю тебя кому-нибудь, тогда оценишь мою доброту...

Я жестоко ошибалась, думая, что пересадкой мои мучения заканчиваются. Самое интересное только начиналось, поскольку два подоконника, уставленные горшками, надо было освобождать. Все телефонные звонки начинала с неизменного вопроса: «А не нужен ли вам кактус?». Потом пришлось поменять тактику, и я заваливалась в гости сразу с «подарками», коварно отсекая любую возможность отказа.

Как-то раз вечером, через месяц, когда на окне осталась только «мамаша», и я уже не шипела на домашних, норовящих выбросить любую подходящую для пересадки емкость, дочь оторвала меня от чтения и приволокла на кухню. Давясь от смеха, отодвинула занавеску, и... я застонала. На «дереве», вдохновленном простором нового горшка, набухли колючки, обещавшие в скором времени превратиться в не один десяток новых «малышей»...

СТРИЖКА

Вот уже несколько лет подряд на время отпуска мы «подбрасываем» нашего общего семейного любимца - карликового пуделя Атоса - родителям мужа, содержащим свой дом в пригороде Кемерово. Не стесненный габаритами двухкомнатной «хрущевки», пес почти месяц «отрывается» на полную катушку на деревенских просторах, с восторгом облаивая прохожих, задирая соседских цепных псов (они привязаны - чего их бояться!), ловко уверачиваясь от хворостины нашей мамы-бабушки, когда, заигравшись, перелетит на «запретную» территорию огородных грядок.

Поэтому когда мы приезжаем за своим «чадом», наш черный от въедливой пыли (а также от любимой угольной кучи в углу двора), обросший, как Робинзон на необитаемом острове, Атосик мало напоминает того степенного пуделя с шикарной серебристой «гривой», которого весь двор зовет «мушкетером» за интеллигентность манер.

С состраданием глядя на мохнатое чудовище, этим же вечером набираю знакомый телефон, и буквально на следующий день дверной звонок возвещает о приходе «собачьего» парикмахера Ирины, несколько лет назад начавшей «куривать» наш внешний вид.

Атос, только что крутившийся около двери, испаряется, как кролик у фокусника, и я минут пятнадцать, лежа на пузе, пытаюсь его выманить из-под широченной двуспальной кровати, самым своим елейным голосом. На какое-то мгновение мой «собакин» теряет бдительность, и я с торжеством тащу трусишку Ирине, держащей наготове гребень для так называемого предварительного вычесывания. Процесс этот необходим для того, чтобы распутать скатавшуюся шерсть, и сегодня он растягивается на долгие два часа, в течение которых гребень извлекает на свет сухие веточки,

листья, почки многочисленных растений и даже засохшего жука. Глядя на «труп», мы какое-то время увлеченно дискутируем - свалился он уже умершим или трагически погиб от жажды и голода, запутавшись в густой шерсти. Атос, поскуливая, выдерживает первый этап, но периодически с тоской смотри в сторону спасительной кровати.

Дальше - непосредственно мытье, в течение которого мы делаем все, чтобы «отстирать» пса, а пес делает все, чтобы нам хоть как-нибудь помешать - то не дает себя намылить, то отказывается спокойно стоять под струей воды, то норовит выскочить из ванны. Услышав усталое: «Кажется, все», - мстительно отряхивается, обдавая нас обильным мелким дождем, после чего и мы становимся совершенно мокрыми.

Но самое трудное впереди. Я не знаю, почему фен вызывает такой всплеск отрицательной энергии, но приходится буквально «за руки, за ноги», то есть за лапы, удерживать вырывающегося «сукиного сына», который при этом пытается вывернуть голову так, чтобы укусить ненавистный аппарат острыми зубами! Периодически возникающая возня между нами и Атосом заканчивается полным высыханием последнего и абсолютной готовностью непосредственно к стрижке.

Теперь я в изнеможении валюсь на диван рядом с «парикмахерским столом», и с удовольствием наблюдаю, как из бесформенного серебристого «мохнатика» Ирина ножницами высекает очаровательного «скандинавского льва» с кокетливой челкой на маковке. На этом этапе Атос спокоен и только изредка поглядывает на меня возмущенно: «И ты позволила мучить меня?». Услышав долгожданное: «Я закончила», - Атос изящно спрыгивает на пол и тут же несется в спасительную тень кровати, не давая даже толком рассмотреть себя, и теперь уже никакие уговоры, ни любимый красный мячик и даже не миска с заранее приготовленным

мясом не вытянут его оттуда.

Только спустя час после ухода Ирины, услышав странные звуки, выглядываю в коридор и застаю такую картину: Атос стоит перед пустой уже миской, гордо держит мячик, а в углу валяется изрядно погрызенный гребень...

ПРО ВАСЮ И ТАРАСА

Июльская жара меньше всего располагает к работе, а потому уже с понедельника любой уважающий себя трудящийся начинает готовиться к «уикенду», перелопачивая литературу о борьбе с огородными вредителями или любовно перебирая рыболовные крючки. Так что в пятницу вечером, словно повинувшись выстрелу пистолета, с низкого и высокого старта, на авто и электричках толпы горожан устремляются на природу, нередко ими же самими нещадно испоганенную стекло- и пищеотходами...

В пыльном городе остаются только заядлые урбанисты, не представляющие жизни без выхлопных газов, бомжи, ковыряющиеся в полупустых баках и ошалевшие от внезапного отсутствия родительской опеки абитуриенты.

Ни к кому из перечисленных не относимся, следовательно в субботу «поджариваемся» с друзьями у реки, периодически переворачиваясь для равномерности «окраса». Солнце вытапливает остатки энергии, и даже четырехлетняя дочь наших приятелей - этаким маленький вечный двигатель Катюша - присела в тенек, прекратив, наконец беспрерывно таскать в кукольной посуде воду из речки к кустам, где из песка и пожухлой травы готовила «обед» для голубого слоненка из «Киндер-сюрприза».

- Смотрите! - Катя так пронзительно завопила, что задремавший метрах в пяти от нас рыбак чуть не свалился в воду. В направлении детского указательного пальца пока были видны только сумки, сваленные «кучей-малой» у

Не стесняйтесь быть добрыми

колеса автомобиля. Вдруг из-под кучи появился крошечный серый котенок, бесстрашно направившийся в первые подставленные руки. Сонливость как ветром сдуло!

- Какой хорошенький! Людей вообще не боится!

- А шерсть лоснится, видно, что домашний, да и не худой совсем.

- Откуда он здесь? 20 километров до города! Неужели паразит какой-нибудь его выбросил?

- Да нет, он наверняка просто потерялся. А ласковый!

Мы, перебивая друг друга, гладили найденныша, но выказанная кем-то версия, что от этой крохи таким бесчеловечным образом кто-то избавился, не давала покоя.

Подхватив будущего охотника за мышами, мы за час обошли все окрестные компании отдыхающих, но везде люди, умиляясь и восторгаясь, тем не менее не признали пропажу и не выразили желания забрать котенка.

Тарас (нельзя же животному без имени!), после часовой прогулки спущенный на траву, кормился и поился из детской посуды, предоставленной заботливой Катериной, и даже не подозревал какая дискуссия развернулась вокруг его дальнейшей судьбы. Что делать? Оставлять нельзя - погибнет, - мал еще обратную дорогу самостоятельно найти и осилить. Взять домой, - мы все заядлые собачники, - а единственная «неособаченная» Ирина страдала от жесточайшей аллергии на шерсть, впрочем именно она категорически заявила, что кота возьмет, а там уж что-нибудь придумается.

Осилив щедрый кусок колбасы и выдув всю воду из плошки, Тарас, похожий на греческую амфору, доволок разбухший живот до полюбившейся «сумковой» кучи, и затих там, устроившись на белой надписи «Адидас».

- Спичек не найдется? - Катя прижалась ко мне, потому что проситель огонька и впрямь смахивал на бандита с большой дороги - трехдневная щетина, всклоченные волосы. Он силился задержать мутный взгляд хотя бы на чем-нибудь, но, очевидно, нестерпимая головная боль не давала сконцентрироваться, а стойкий «вчерашний» запах демонстрировал высмеянное

Татьяна Багрова

не одним поколением сатириков глубокое похмелье русского человека.

- Вы в костре спали? - Катя из-за моей спины не сводила взгляд с обгорелой рубахи, от которой остались целыми только часть рукава и воротник.

- Не знаю, где я спал, - новый знакомый прикурил, - но сумку со спичками и ножиком у меня точно украли. Проснулся - все обыскал - нету. Что за народ, одного не пойму - кота зачем взяли!

- Какого кота?

- Да серый такой, маленький совсем.

- Вовсе его не украли! Мы его нашли! Вернее он сам нашелся! Вон он - на сумках!

«Вася!» - сначала негромко позвал мужик, а услышав ответный вопль запутавшегося в баулах «бывшего Тараса», отбросил папиросу и ринулся туда, повторяя непрерывно, как заклинание, - «Вася», «Васенька», «Василек». Он нежно говорил еще что-то, почесывая находку за ушами, но тот продолжал истошно мяукать, будто торопясь рассказать историю своих приключений, а мужик, прижимая кота к остаткам рубахи, побрел прочь от нашей стоянки, забыв про спички, про свое похмелье и утраченный ножик, - про все на свете, - оставив нам на память свет, рожденный счастьем двух любящих «божьих творений», преданных друг другу несмотря ни на что...

Сергей Дрыгин **МИНИАТЮРЫ**

ЕЕ ОБИДЕЛИ



Раннее летнее утро наступившего выходного дня. Чуть забрезживший рассвет проявляет контуры домов, спящие скамейки у подъездов, ждущие детского смеха качели. Все умиротворенно, слаженно и

таинственно. Сегодня день отдыха, можно не торопиться и забыть о тяжелой прожитой неделе...

На середину двора, стиснутого сонными домами, не спеша выходит мохнатая собачонка, в слежавшейся шерсти, и с необычайно короткими лапами. Позевывая, медленно бредет, сосредоточенно обнюхивая выступающие углы и изредка подбрасывая заднюю лапу. Поглядывает по сторонам, иногда напряженно всматривается вдаль, шевеля мокрым носом, и пытается приподнять обвислые уши. Но ничего не заметив подозрительного, теряет интерес и находит занятие более существенное – набрасывается на определенные участки тела, борясь с блохами, повизгивая и клацая зубами. Потом, присев, изгибается и с удовольствием, вытянув морду и прикрыв глаза, долго и усердно чешется задней лапой.

Закончив процедуры, облизывается, завернув внутрь верхнюю губу и обнажив клык, фыркает, задумывается и неожиданно грустнеет. Со вздохом положив морду на передние лапы, печально смотрит сквозь нависшую над глазами шерсть, на светлеющее небо, вспоминает дневной шум играющей детворы, вкусную требушку из рук заботливых бабушек, мух, с которыми можно поразвлечься, и начинает дрожать всем телом. Мысли проносятся в ее собачьей голове, что-то сокровенное, близкое и понятное, как сочная кость, витает рядом, и стоит только позвать, как все сбудется...

Нахлынувшие чувства выплескиваются наружу, и она начинает лаять. Сначала заходится в самозабвенной длинной, захлебывающей тираде, временами срываясь на вой, а потом, словно прокашлявшись, переходит на монотонный, отрывистый сварливый фальцет.

Проходит полчаса. Край горизонта уже готов вспыхнуть лучами восходящего солнца, легкий свежий ветер

уже будит верхушки деревьев, и видно, что окна в домах напряглись изнутри и сон в них окончательно нарушен. Собачка временами замолкает для передышки, меняя позу, и в это время незримо по двору проносится стон облегчения... Но ей тоскливо, лай продолжается, в нем отражена вся горечь бездомной собачьей жизни...

Слышится грохот распахиваемой балконной двери, звук разбиваемой бутылки и пронзительный визг. Собачонка, поджав хвост, стремительно убегает прочь во всю прыть своих маленьких ног. Ее обидели. Как и всегда...

ДВОРНЯЖКА

Стоял на остановке и наблюдал за домашней дворняжкой. А ведь лучше друга не найти, никогда не предаст. Сколько в ней бескорыстной любви! Увлечется в сторонке, нюхает, а сама искоса на хозяина – зырк! Задержится, деловито обследуя кочку, покрутится вокруг нее, примериваясь, пометит, задрав заднюю лапу, и – стремглав догонять! Рядом семенит и вверх, подобоострастно и преданно, язык набок, посматривает. Чудо! На кого-то взбредет, и тут же оборачивается: как, мол, я?! И никогда и мысль в голову псиную не придет: «а не льшу ли?!», и просто при каждом удобном случае лизнет со всей широты души своей, не стесняясь никого, прямо в губы, и бросится маленькой, но отважной мохнатой грудкой защищать тебя от кого бы то ни было, и есть в этом вся ее собачья Человечность...

Ксения Тилло
О «СВИНЦОВЫХ» ВРЕМЕНАХ И
«ЧЕЛОВЕКЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ»
(Александр Лейфер. Мой Вильям.
Омск, 2003)

В 2003г. вышла книга омского писателя Александра Лейфера. На обложке – удивительное лицо с «огромными, океанскими» глазами (худ. Николай Третьяков). Это и есть «Мой Вильям». Но почему – «мой»?

Всесибирский, а, может – судя по приведенным в книге письмам, – всероссийский. Полифоничный, неудобный, неуправляемый, называющий вещи своими именами, а людей – по делам их, моряк и один из лучших поэтов «свинцового века».

Для Александра Лейфера этот, уже ушедший от всех нас, живых, одаренный человек – близкий друг, многолетний корреспондент непринужденной, остроумной, сердечной переписки, где при успехах друг друга – идущие от души приветствия и поздравления; при постигших невзгодах – немедленные прикидки: чем помочь?; на литературной стезе – искренняя и честная поддержка, в общем для обоих стремлении создать, сплотить, а, главное, в переломные времена, сохранить «писательское братство» сибиряков, охватывающее Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Барнаул, Читу, Владивосток, Сахалин и Магадан.

Для меня, «человека со стороны», этот феномен «братства» представлялся такой дивной, романтической утопией, как бередящая душу песенная лирика Булата Окуджавы. После которой светлеет душа и грустно, что все, о чем поет Булат, - узнаваемо и, значит, - правда, но не такая, как в жизни, а какая-то овеванная нежнейшим флером «других» отношений, «других» людей...

Но я прочла книгу А. Лейфера и поняла, что мне, проведшей 30 лет в Кемерово, так и оставшимся, в сущности, «не моим» городом, после ослепительной на фоне розовых горных снегов Алма-Аты, - и не могло быть иначе.

Я прочла книгу «Мой Вильям» и поняла, что этот настоящий живой человек, поскольку имел не только уйму друзей, но столько же и врагов (ибо никогда не был «не друг, не враг, а так»...), был стержнем, вокруг которого вилось стойкое, честное «сибирское писательское братство». Он умел их сводить друг с другом, знакомить, сближать, умел подвигнуть на дружеские встречи – семинары и чтения – что проходили в разных городах, и я с удивлением обнаружила, что какое-то дуновение этого братства в 60-е годы коснулось и Кемерово, где на одном из семинаров поэт Вильям Озолин, высоко оцененный Ильей Сельвинским, был принят в Союз писателей СССР – тогда единый. И удивилась – насколько климат писательской сибирской жизни, воскрешенный А. Лейфером на страницах его книги, далек от того, что я 30 лет наблюдаю в Кузбассе...

Книга «Мой Вильям», мастерски составленная из личных воспоминаний автора, писем Озолина, его дневниковых записей, писем его матери и жены, и даже некрологов, посвящена поэту Озолину. И эта книга – о нем. Но прочтя ее, отмечаешь, что автор приоткрыл перед читателем чуть не полувековой пласт сибирской интеллектуальной и творческой жизни.

«Значит, это документальная книга?» - спрашиваю себя. И прихожу к выводу, что это одна из самых лирических книг в мемуарной литературе последних лет.

Я встречаю незнакомых людей, я узнаю их, я «полюбляю» их за их честность, за их открытость, за сходность их идеалов с моими.

Я встретила поэта Вильяма Озолина и полюбила его, за его ершистость и прямоту, за умение переступить через условности и бесстрашно их нарушать – шутка ли, увести жену

немаленького обкомовского комсомольского «мальчика» и быть «выдавленным» из города, где все и всё родное, быть изгнанным из общего творческого гнезда стольких литераторов, художников, просто интеллигентных и интересных людей – и не сломаться.

Я очень знаю, что такое ностальгировать по городу, с которым сближают не родственные связи, а узы сердца, и душа сжимается в комок, когда читаешь, как «изгнанник» Озолин мечтает вернуться в Омск. Хочет – а не может: ничтожный чин от литературы «не видит» Озолина в среде своей паствы...

Что до документальности, я думаю, «Мой Вильям» - бесценный познавательный источник для всякого, кто хоть в малой степени интересуется культурой Сибири. Сужу по себе – что были для меня до прочтения этой книги Роман Солнцев (Красноярск), Марк Сергеев и А. Кобенков (Иркутск), и даже Шукшин, Вампилов и Распутин, и столько других? Имена. Что-то было прочитано, что-то запомнилось, что-то потрясло (Вампилов, Распутин, Солнцев). Но вот я узнаю их такими, какими они были друг для друга, какими являли себя при преодолении невзгод, я узнаю, что Шукшин, направляясь из Москвы в свои Сростки, предусмотрительно старался незаметно проскользнуть через Барнаул – начальство не любило! Я узнаю опять же об «именах», услышанных, но еще «безликих»...

Ян Озолин (отец Вильяма) тоже известный поэт, сгинувший в 1937 году и оставивший сыну, помимо драгоценного дара поэта, фамилию «врага народа», так что Вильяма, едва принятого в комсомол, исключают за то, что скрыл: его отец был расстрелян по «делу о латышах». И потому первые свои произведения Вильям Янович Озолин печатал под фамилией матери Гонт. И лишь после того, как на кемеровском семинаре Илья Сельвинский сказал о нем «как надо», потому что был истинным поэтом, и порядочным человеком, Вильяма приняли в СП и он начинает печататься под своей

фамилией.

А уж поэты старшего поколения – Ян Озолин, Павел Васильев, Леонид Мартынов, пребывавшие в полуобъявленной запретности... Да, имена, и кто бы о них не знал. И – только. Но тут, в этой книге – вот они, живые: жертва террора Ян Озолин, несравненный Леонид Мартынов, дерзнувший написать:

*Незаменимых нет?
Нет! Заменяемых нет!
Мечта о механической замене
Не более, чем недоразуменье!
И каждый человек неповторим
Тот больше знача, этот меньше знача!*

Какими они были, «незаменимые», в отличие от полуциновных винтиков, которых время, увы, просто-таки клокирует, вплоть до наших дней? Вильям Озолин прямо и четко заявляет в разговоре с А. Лейфером:

«Да, да, Саша дорогой, именно так, - разволновавшись, говорил, расхаживая по моему кабинету Вильям, – в конце концов, неплохо писать можно и научиться – освоить технику, набить руку... А вот тому, что есть в Марке, в Романе, в Илюше Фонякове или в нашем Мишке Малиновском, не научишься... Они – люди, настоящие люди, а не дерьмо. А дерьма у нас сейчас в литературе – каждый второй».

А еще вот какими они были, и вот каковы были «свинцовые времена» - из письма Вильяма Озолина от 21.08.1972г. к Михаилу Сильвановичу, общему другу с А. Лейфером, в котором сообщается о гибели Вампилова:

«... Ну вот и все новости. И хорошие, и печальные (погиб Вампилов – *авт.*). из хороших еще одна (первая, видимо, «... целых три новых стихотворения грохнул за две ночи»): РК КПСС не утвердил решение партбюро Союза Писателей об исключении Булата из партии. Говорят,

Евг. Евтушенко куда-то там звонил на самый чердак: Женя умеет!».

Итак, кумир 60-х, Евтушенко, для них просто славный парень Женя, «который умеет». Что умеет? Спаси, по сути, от гражданской гибели их общего друга, - а, может, не друга, а просто единомышленника, - Булата Окуджаву. Что такое было исключение из партии по тем временам, - кто жил в годы «застоя», поймет, почему говорю о «гражданской гибели»...

Очень помню газетную травлю в начале 70-х Булата Окуджавы и бесстыдное шельмование одного из лучших романов той поры «Путешествие дилетантов». В 1984 году, потерпев горькую утрату, позвонила Окуджаве в Москву. Он сказал мне: «Вы все переживете! Сумеете! Героиня моего романа пережила гибель любимого человека на 20 лет. Ведь это документальный роман, так что я знаю. И даже еще дважды выходила замуж», - хохотнул Окуджава. Разговор был короткий, но мне стало легче. «Конец света» отодвинулся чуть дальше...

Каково было в «свинцовое время»? Но, господа, почему же я говорю «было»?

Александр Лейфер получил недавно из Красноярска новую книгу романа Солнцева «Наши грезы». И в ней – «Воспоминания о друге»:

*Приобняв друг дружку, мы во имя встречи
наливаем в кружки, зажигаем свечи.
И твердит со вздохом, расправляя крылья:
- Хорошо, но... плохо... - суеверный Виля.
Хорошо, но плохо, - чтоб судьбу не сглазить
(лживая эпоха тоже что-то значит!).
Хорошо, но плохо... Хорошо, но страшно,
если пули плотно рядом бьют пристрастно.*

*Ну, а в телефоне стукачи хохочут...
Потому со вздохом, расправляя крылья,
- Хорошо. Но... плохо! – шепчет старый Виля.
И ему без смеха в полумраке дома
Вторит, словно эхо, суеверный Рома...*

«Хорошо, но... плохо» - один из слоганов, некогда пущенных в оборот еще молодым Вильямом. Так что, почему это я пишу о «свинцовых временах», которые – были?..

Любопытные строки из дневниковых записей Озолина приводит в своей книге А. Лейфер. Оттого любопытные, что во всей красе живописуют «местечковые» нравы любого сибирского города далеко от «просвещенных столиц». В 1985 году: «... Пять лет живем здесь (в Барнауле, - авт.), а я все не могу почувствовать себя в «своей среде». Невесело как-то идет здесь жизнь. В местном Союзе народишко хмурый. Группочки создаются и распадаются. Уровень культуры такой, что скоро мхом зеленым порасту. Рвануть бы отсюда подобру-поздорову, пока не поздно!!!!...».

И через 4 года, в 1989 году: «Сегодня в Барнауле творческий вечер Андрея Вознесенского. Для такого города, как Барнаул это должно стать событием. А афиш в городе – даже в центре – нет! Литераторы местные нос закривили, «че нам Вознесенский?!». У нас, де, в Барнеаполе, не такие поэты есть, и то... Даже в Союз, кажется, не пытались его затащить. Эх-хе-хе! Игоря бы им Лапина, Егорку Исаева, из «Памяти» бы кого... Тут бы они зашуршали по запечкам!».

Недавно Евгений Евтушенко побывал в Кемерово. Зал, конечно, полон. Но вот «затащили» ли его в местный Союз на очередную пьянку, именуемую средь своих «рыгаловкой», – не знаю...

Декабрь, год 1994, из дневника В. Озолина: «Введение войск в Чечню – политическая и стратегическая ошибка нынешнего Российского правительства и лично Ельцина. Ну что, они не понимают, что чеченцы особая нация самоубийц? Их

переубедить невозможно. Тем более, что «коммунистическая Россия» уже один раз растерзала этот народ в 1944 году. Я был мальчишкой, жил с мамой в Актюбинске и видел их полураздетых, голодных, с детьми – это когда их в одни сутки вывезли всех в Среднюю Азию и бросили всех на произвол судьбы. Да будь я чеченцем, сам бы дал обет защищать Чечню до последнего вздоха. Неужели Ельцин и его команда не помнят истории? Переговоры – вот разумная линия. Год, два, десять...».

Вильям Озолин умер 17 августа 1997 года. Как был бы он удивлен, поняв, что и сегодняшняя «властная команда» тоже не помнит истории...

При таком «неправильном» настрое Озолина могли ли любить его омские власти! Наивно думать, что только «умыкновение» жены обкомовского комсомольца, ставшей спутницей поэта до конца его дней, «выгнало» его из Омска. Немало сил приложили к тому и многие из СП, - тогда еще непрозрачные, еще «вещь в себе», но вполне проявившиеся к концу 90-х.

В начале 1995 года в Омске проходят «Третьи Мартыновские чтения», на которые по приглашению А. Лейфера и других присутствует и Озолин, это его последнее в жизни посещение любимого им города.

Из письма к А. Лейферу 29 марта 1995 года: «Чтения прошли хорошо... А вот с писателями сложнее! Такой жуткий разброд среди них! Смотреть тяжело. В старой писательской организации собрались «прокоммунистически-националистические» типы, которые, может быть, и не полностью разделяют «бондаревско-прохановские» идеи, но мирятся все же из-за страха, что опять вернутся бывшие хозяева – «коммунисты». Да и в целом-то, объединяются серость, бездари. Талантливому художнику и ранее, и нынче чуждо объединяться в партийные кучки. Тяжко было слушать и смотреть, как эти «комнацисты» притягивали под свое знамя омского поэта Леонида Мартынова (которого тоже

из-за стойкой нелюбви властей в свое время «вытравили» из Омска – авт.), а ведь совсем еще недавно многие из них говорили, что Л. Мартынов – более западный, чем русский (!?) и что он элитарный поэт и простому русскому человеку непонятен».

Далее следуют рассуждения об «элитарности» Леонида Мартынова, пишет А. Лейфер, что наводит на размышления. Очевидно, в «глубинке», какой является, в сущности, любой областной город Сибири, пуще всего не прощается «элитарность» – читай, чистый литературный русский язык, без матерков, без псевдодеревенской стилизации «под народ» и, главное – сюжеты из «интеллигентской», а не деревенской, шахтерской, вахтерской (любая «рабочая» профессия сгодится) жизни.

Но не таков был, видно, Вильям Озолин, чтобы успокоиться после увиденного в Омске. И он продолжает в том же письме:

«В Омской писательской организации (СПР) махровый национализм тоже ведь от низкой культуры, от злобной завистливости к тем, кто не хочет прислуживать никому, и независим потому, и никаких писем не подписывает, и никаких «партий», как и раньше, не желает знать. Но только эти бездари, к сожалению, не так уж безобидны! От них исходит опасность гражданской войны, кровопролития. Вот в местной черносотенной газетенке «Омское время», бывшая журналистка, объявившая себя «казачкой», пишет о разделении Омской писательской организации дословно следующее: «В Вологду для сотворения раскола специально засылали агентов из Москвы, как рассказал Василий Белов... В Омске эта затея не больно удалась: только осколки интернационального окраса отлетели, а монолит остался монолитом. Теперь чисто русским...». Да как смеет эта м... причислять Л. Мартынова, поэта глубоко русского и глубоко интернационального, к своим «заединщикам»! Вот какую боль увез я в душе из Омска с мартыновских чтений».

Ну как было ужиться «неправильному» Озолину в Омске! Вот уж более десяти лет, как его нет, а омичи все еще судят и рядят, хорош он был или плох. Автор книги «Мой Вильям» утверждает, что сама его фигура по сю пору воспринимается неоднозначно: «Да что там говорить о его недоброжелателях. О Вильяме до сих пор спорят те, кто вполне хорошо к нему относился и относится».

Еще недавно кто-то причислял его к диссидентам, хотя среди его стихов были и вполне просоветские. Но трудно представить, что сын «врага народа», расстрелянного в общем конвейере 1937 года, «латышского» Яна Озолина, станет пламенно любить строй, погубивший его отца. Равно странно было бы думать, что омские «власти предержащие» могли без настороженности относиться к поэту Озолину – сын «врага народа» все-таки...

И по сю пору иные утверждают, что никто, де, Озолина из Омска не гнал, а уехал он на «край света» просто из удали, что называется, – «за туманами»...

А. Лейфер пишет, что это, конечно, «не случай Леонида Мартынова, когда имя автора «Эрцинского леса» склоняли по всем падежам на бюро обкома партии. Но времена были нелегие. Свинцовые времена».

Автор книги возвращает нас к концу 60-х годов, когда иллюзии об «оттепели» уже померкли, когда «абстракционистов» и прочих формалистов в любом виде искусства гнобили до такой степени, что «ангелы в сером» ходили по людям и просили писать «объективки», читай доносы, на носителей «чуждого искусства», и к Озолину тоже приходили, предложили написать подобную бумажку на его близкого приятеля, художника Николая Третьякова. И возмущенный Озолин, этакий неуправляемый порыв морского ветра, отправился в Серый Дом «бить морду» Серому Ангелу с выразительной фамилией Августов, но, к счастью, поскольку поэт был довольно-таки «под градусом», его не пустили в нужный кабинет, а то – еще вышел бы он из зловещего

здания, кто знает...

Да, времена были тяжелые. Свинцовые времена.

В апреле 1989 года, в связи с известием о смерти художника Третьякова, с которым стойко дружил поэт Озолин, в его дневниковой записи, наряду с приведенной выше историей, читаем: «... Печатать меня в прессе перестали (ну, не пожелал донести на друга, что поделаешь! – авт.), а в местной писательской организации был некто..., известный своей необычайной подлостью сельскохозяйственный очеркист и большой любитель в часы досуга читать особым способом справочник СП СССР.

- Ага! Сергеев Марк Давидович! В скобках – Гантваргер...! Евтушенко Евгений Александрович... Кхе-кхе-кхе! Тоже... О! Сидоров Иван Мефодьевич... В скобках... Кхе-кхе-кхе... Шмуйлович Хаим Афроимович...».

После визита гэбиста Августова к Озолину этот «любитель этнографии» все чаще стал придирается к поэту под разными предложениями, его нигде не печатали, на радио и телевидении – глухо. Словом, - довели!

Тут-то Озолин и сорвался, - увез с собой Ирину, будущую верную спутницу жизни, у упомянутого выше обкомовского деятеля и укатил в Читу – дальше уже некуда!

А. Лейфер пишет, что не нашел возможным смягчать или изымать из текста писем и записей Озолина какие-либо резкие его суждения, поскольку это было бы посягновение на самую бескомпромиссную сущность его характера, а, следовательно, и на его память».

И вот я, читатель, закрываю книгу «Мой Вильям», от которой не могу оторваться вот уже вторые сутки, настолько пронзительно, прозрачно и деликатно она написана. И, узнав множество неизвестных мне страниц из культурной жизни Сибири за последние полвека, попутно прослеживаю особо сдержанно и контурно начертанную «линию жизни» самого Александра Лейфера, тоже претерпевшую

немало рифов, и проникаюсь к нему благодарностью и уважением за редкостную, интеллигентную тактичность, с которой написана эта книга, где ни одна строка и ни одна буква не могли бы смутить или огорчить ее героя, «моего Вильяма», который теперь стал и немножко моим...

ноябрь 2004г.

Марианна Фаликова
О «МАЛЕНЬКОМ ПРИНЦЕ» И КОДЕКСЕ
ПОРЯДОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА
(Виктор Вайнерман. Зеркала.
Омск, 2004.
Виктор Вайнерман. Азбучные истины.
Омск, 2004).

Передо мной две книги омского литератора Виктора Вайнермана, вышедшие в свет в первой половине 2004г. Нарочно не смотрю выходные данные – которая появилась вперед. Потому что, независимо от последовательности, они продолжают друг друга и связаны, на мой взгляд, старым как мир, а потому мудрейшим посылом: каждый из нас – «человек из детства».

«Зеркала» - сборник рассказов. Исповедальных, ироничных и грустных, написанных человеком-подранком. Возможно, и даже наверно, сам автор не согласится с таким моим ощущением, но вот я смотрю на две детские его фотографии – очень кстати «врощенные» в плоть текста – и вижу того маленького мальчика, которого мама наряжает в бархатный костюмчик и рубашку с кружевным жабо («жабой» - говорит он) и называет «мой маленький принц». Вот он на фоне елки держит в руке заветный сюрприз – гоночную машинку («Гоночная машинка»).

Но «маленький принц» уже опасно ранен. Его сверстники заклеили словом «жид», они отторгли его, показав, что он «другой», отличный от них. И эту рану, давно как будто зажившую, он пронесет через всю жизнь.

Вторая книга Виктора Вайнермана называется своеобразно: «Азбучные истины». Я бы назвала ее «Кодексом порядочного человека».

Так вот, эти две столь разные книги постоянно переключаются. То ли «Зеркала» повествуют о жизни и о причудливых ее сценариях, а «Азбучные истины» как бы подводят итог рассказанному случаю, ситуации, ощущению.

То ли, наоборот – мы находим краткую формулу порядочности, необходимой в том или ином случае (состоянии духа) в «Азбучных истинах», где действительно побуквенно, по алфавиту, «разобран» по слогам, по оттенкам, по тональности внутренний мир человека, а «Зеркала» – иллюстрация на заданную тему: вот ситуация – суди сам, которая из «азбучных истин» была бы для тебя спасительной, доведись тебе самому...

Попытаюсь подтвердить свое ощущение «совмещением текстов». Вернее, подкреплением сказанного в «Зеркала» строками из «Кодекса порядочного человека». Для себя я все-таки именно так стану называть эту книгу.

Итак – «О моем украинском детстве до сих пор вспоминаю как о кошмарном сне... Спазм, застрявший в груди за 12 лет жизни на Украине, долго не рассасывался... Жизнь меня заставила гордиться тем, что я еврей. Я научился понимать истоки и причины антисемитизма... Я понял, почему люди, отравленные ядом этой отвратительной болезни, оказываются в высоком руководстве и стремятся превратить собственное душевное нездоровье в государственную политику. (Они припахивают, по выражению незабвенного Ф. М. Достоевского, «посконным запахом», родным запахом

кухонного антисемитизма всех стран и народов, и потому выглядят в глазах всех этих людей своими)» (миниатюра «Евреи», «А. И.»).

Детская травма станет определять его характер на десятилетия вперед (рассказ «Защита»). Сперва ершистость: да, я «другой», вы все мне – враги, стою в обороне. Потом осознание: если я не такой, как вы, то, значит, должен быть много лучше, и выделяться из вашей среды, превосходя вас.

И он всю жизнь играет наперегонки с самим собой, и многого добивается, и одевается защитной броней против жизни и против всех мерзостей, которые «маленький принц», доверчивый, не умеющий расталкивать бегущих впереди локтями, не может не замечать.

Он будет вчитываться в диалог Достоевского с «парадоксалистом» и всякий раз ужасаться, насколько суждения последнего, которого писатель выдвигает как противоречие человеческому естеству, – он всякий раз станет удивляться, что со страниц газет и с «голубого экрана» они будут звучать, едва ли не как руководство к действию:

«Дикая мысль, – говорит парадоксалист, – что война есть бич для человечества. Напротив, самая полезная вещь. Один только вид войны ненавистен и действительно пагубен: это война междоусобная, братоубийственная. Она мертвит и разлагает государства, продолжается всегда слишком долго и озверяет народ на целые столетия (каков, однако, провидец вымышленный Достоевским персонаж! – *авт.*) – но политическая международная война приносит лишь одну пользу во всех отношениях, а потому совершенно необходима».

И далее...

«Ложь, что люди идут убивать друг друга (...) напротив, идут жертвовать собой – вот что должно стоять на первом плане, – продолжает он. – Нет выше идеала, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая своих братьев и свое

отечество. Во время войны у всех до единого (...) поднят дух, не слышно об обыкновенной апатии и скуке».

Много, много знакомого в словах «парадоксалиста» ранит порядочного человека: «... Наслаждение не утончается, а грубеют. Грубое богатство не может наслаждаться великодушием, а требует наслаждений более скромных, более близких к телу, то есть к прямейшему удовлетворению плоти. Наслаждения становятся плотоядными. Слостлюбие вызывает сладострастие, а сладострастие всегда жестокость» (миниатюра «Достоевский о войне», «А. И.»).

И всякий раз, обжигаясь о жизнь, он, этот автор, интеллигентно, не жалуясь и не буяня, «зализывает рану» и – вновь вперед (рассказ «Ромка»).

Ему, автору, в сущности нужно так мало – право на территорию, на которую не посягнет даже самый любимый и любящий человек, потому что «человек должен иметь право на одиночество... Оставьте его в покое – и он сам придет к вам и принесет вам свое одиночество в обмен на общение с вами. А если этого не случится – вам придется вспомнить, что с точки зрения Хемингуэя, люди – это острова в океане. И иногда плыть до каждого приходится так далеко и так долго. Бывает, что и всю жизнь» (миниатюра «Одиночество», «А. И.»).

Он очень влюбчив, сквозной герой рассказов «Зеркала». Он ищет сомыслия и сочувствия в женщине, и не найдя, винит не ее, а себя, что, мол, так устроена жизнь, и страсти остывают, и костры гаснут, и надо мириться с пеплом, пока на пепелище каким-то чудом не проклюнется новый росток жизни, – читай любви («По дороге на Зурбаган»).

«Любовь к конкретному человеку, к людям вообще, к земле, на которой живешь, придает высокий смысл человеческой жизни. Она спасает тогда, когда не может спасти ни умение врача, ни советы друзей. Говорят: Бог есть любовь. Пусть кто-то скажет, что на эту тему можно дискутировать. Но вместо дискуссии я присоединяюсь к категоричной

формуле В. Высоцкого: «Я дышу – и, значит, я люблю! Я люблю, и, значит, я живу!» (миниатюра «Любовь», «А. И.»).

В каждом рассказе автор, которого я совсем не знаю, попадает в светлую грусть всякий раз, когда существует без любви. Он тот самый неисправимый охотник за красотой и идеалом, который ощущает в себе силу и стремление достичь вершин красоты и, преступая «через черту» (см. Ф. М. Достоевского), добивается желаемого. Но ценой причиненного чужого горя добытое собственное счастье меркнет и осыпается, как внезапно обожженный морозом волшебный цветок, и не звучат более колдовские аккорды, молчат струны белого рояля, и слышно лишь бряканье мертвых костяных клавиш («Музыка»).

Жизнь идет своим чередом, давно повзрослевший «маленький принц» уже успел прочесть «Испанскую балладу» и «Ерей Зюсс», и нет более нужды спрашивать у мамы, «а кто такие евреи». Он уже знает, что это – не стыдно, и уже гордится теми светочами, что порождены в веках этим народом.

Но вот наступает пора – и он уже начинает замечать стариков. Вдруг стал их замечать. На каждом шагу. И воспринимает это как урок – я иду к тому же, по их же пути («Урок»).

«Нельзя жить, не думая о смерти. В юные годы смерть страшит до ужаса, дикого и противоестественного: как это Я, которого все так любят, и которого Я сам так люблю, превращусь в холодный застывший труп! И меня (меня!?) заруют глубоко в землю?»... Но жизнь идет, – «прищур глаз и их выражение расскажут о том, что человек прошел большую часть своего пути. Он не может не думать о смерти. В памяти все отчетливее остаются слова и фразы о ней. О том, что она стоит у каждого человека с левой стороны на расстоянии вытянутой руки» (миниатюра «Жажда жизни», «А. И.»).

Нет человека, для которого не наступила бы пора, когда замечают стариков. И важно не закоснеть и не пытаться,

размахивая шашкой наголо, когда пора бешеного галопа миновала, пытаться поворачивать жизнь вспять. А важно степенно, иронично подшучивая над самим собой превращаться в «Сидорова».

Но Сидоровым стать непросто. Это весьма горькая наука, которую надо воспринять, тем не менее, с улыбкой снисхождения к самому себе (цикл иронической прозы «Быть Сидоровым»).

Самая щемительная повесть в сборнике рассказов – «Я ненавижу зеркала!». Жесткая, обнаженная до полного натурализма история о поруганной красоте.

Виктор Вайнерман 20 лет – директор литературного музея имени Достоевского. И очень чувствуется, что пребывает в ауре великого писателя, многоликого, ищущего смысл жизни в красоте и знающего, тем не менее, что нет ничего более хрупкого, чем красота тела, ибо смертно, равно и красота духа – солагерники по Мертвому Дому беспечно убивали и тела, и души, и ничего – мир не рушился...

К рассказу «Я ненавижу зеркала!» автор выбрал эпиграф из Ф. М. Достоевского: «Удовольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть – хоть над мухой – ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек – деспот от природы и любит быть мучителем».

Но позвольте, это тот Достоевский, который сказал, что «красота спасет мир»? Да, он именно так сказал. Вопрос: «В чьих руках красота».

Настасья Филипповна («Идиот») – воплощение красоты, но поскольку попала в руки развратившего ее старика, когда была еще ребенком, ее дар – ибо красота это именно дар! – поругана и превращается в орудие поругания такого же дара, а именно – любви тех, кто околдованы ею.

И из добра красота превращается в зло, благодать – в наслаждение неограниченной властью над другим существом и в осознанное мучительство.

Автор этого удивительного рассказа заставляет героиню пройти через унижения и изощренное мучительство в наказание за то, что свой дар красоты из благодати превратила в шулерство. А ведь – «Красота есть выражение любви Бога к Миру. А люди есть часть Мира, и в каждом человеке горит божественный огонь и светит Горний Свет. Имеющий глаза – да увидит, имеющий уши – да услышит. И тогда – красота спасет мир!» – утверждает Виктор Вайнерман в миниатюре «Красота» из книги «Азбучные истины».

Повторюсь: я не знаю автора этой книги. Но думаю, что именно так, и подобными словами, «маленькому принцу» с той детской фотографии, не только повзрослевшему, но и начавшему провидчески замечать стариков и прошедшего стадию «Сидорова», – подобает рассуждать о любви и красоте.

ноябрь 2004г.

Шимон Токаржевский СЕМЬ ЛЕТ КАТОРГИ

Слово от издателей воспоминаний



1 июля 1900г. в Варшаве умер Шимон Токаржевский. 3 июля Станислав Гизпаньский обратился в магистрат, чтобы получить цеховое знамя, с которым сапожный цех намеревался торжественно выступить на похоронах умершего Шимона Токаржевского (Станислав Гизпаньский – сын известного деятеля 60-х годов 19 века).

Цеховое знамя не выдали.

Вместо того Варшавская полиция почтила усопшего посвоему: на перекрестках улиц, через которые из костела святого Антония тянулся траурный кортеж, встали конные жандармы, а вдову усопшего, которая шла за гробом, окружили комиссар полиции и районный следователь...

Кто же этот человек, чья смерть так обеспокоила варшавскую полицию?

Шимон Токаржевский был сапожным мастером. С 1864 года он никогда не касался рабочего стола – но званием сапожного мастера гордился, поскольку сапожное ремесло избрал для себя по убеждению, чтобы таким образом иметь возможность сеять добрые зерна народного просвещения среди варшавских ремесленников.

Он был одним из рядовых на службе Отчизны, из тех энтузиастов, которые отдавали всю свою душу, и жизнь коих была сплошным подвигом...

Сын помещика Любельского края в юности встретился с ксендзом Петром Шиегиенным, познакомился с его патристическими и демократическими идеями, и, оставив родительский кров, попал в ряды заговорщиков.

Деятельность народного трибуна была первым этапом тяжелых испытаний Шимона Токаржевского.

Двухлетнее заключение во Львове, затем пребывание в крепости Модлин, каторга в Омске – главные моменты этого периода его жизни.

В 1857 году, после вступления на трон Александра II, он вернулся в родные края и намеревался осесть здесь навсегда.

В Варшаве в доме Эмилии Госселин встретился с кружком ремесленников и, убедившись, что это люди с храбрым и горячим сердцем, решил сблизиться с ними, и поведал им о собственных чувствах и мыслях, и так вошел в их среду.

По традиции решено было выбрать для него ремесло – он стал сапожным мастером.

Вскоре его скромный дом на углу улиц Биелиньской и Тломацкого стал очагом, к которому потянулись ремесленники во главе со Станиславом Гизпаньским и молодежь из школы изящных искусств, из медицинской академии, а также известные литераторы и деятели: Александр и Владислав Краевские, Эренберг, Титус Хаубиньский, Йезпораньский,

Траугут, Точинский и др. Вспыхнуло восстание...

В 1863 году Токаржевского выслали в Рязань, но через четыре месяца он вернулся, а вскоре попал опять на нары и в крепость.

В 1864 году его выслали в Александровск на Амуре, затем он пребывал в Иркутске, а затем в Галиче Костромской губернии. Вернулся на родину в 1883 году.

«Газета Польска» 2 января 1907г.

Если кто-либо когда-нибудь в сибирской степи обнаружил бы где мои кости, пусть бы не искал в моем черепе корыстных мыслей.

*Ни жажды славы, ни величия,
Ничего, кроме освобождения Отчизны...*

ПРИСЯГА

Сердцем чувствую, что из горстки братьев-заключенных и изгнанников осталось нас очень немного. Вечность уже вступает в силу. И я тоже иду к краю моего земного путешествия. Всю свою молодость и зрелые годы, тридцать из них - на каторге и на поселении. И все это время я служил любимой моей Отчизне. Еще до моей «службы» я, как ученик школы Шжебжшинской связал себя особой присягой, что произошло при следующих обстоятельствах.

В 1839 году я побывал в Замоштье, в Соборе на литургии, где выступал мой дядя, декан, и с амвона огласил имена тех, кого объявили «политическими преступниками», лишенными всех гражданских прав и осужденными на каторжные работы в Нерчинских рудниках. «Может случиться, - сказал он, - что кто-нибудь из перечисленных выше сбежит в пути, посему объявляется, что кто бы такого каторжанина ни

встретил, он обязан поймать его и под наистрожайшей ответственностью доставить в ближайший район живым или мертвым».

Тут голос декана затих. Обливаясь слезами, он сбежал с амвона. Я стоял поблизости. Декан схватил меня за руку и потащил за собою в крестильню. Там висело огромное распятие и сквозь алые стекла красные блики отражались на Христовом теле, которое казалось залитым кровью. Мы встали перед распятием.

- Поклянись, парень! – взволнованно сказал декан. - Поклянись, что пойдешь той же дорогой, как те каторжане, имена коих я огласил с амвона.

Я положил правую руку на ноги Христа и сказал:

- Ранами распятого Спасителя клянусь!

И жизнь сложилась так, что именно с названными каторжанам я постоянно встречался на одних и тех же дорогах. И вместе с ними радовался тем мимолетным надеждам, которые недолгие мгновения манили нас в 1860-1864гг., а потом мы вновь вкушали горький хлеб изгнания...

Словом, я прошел по жизни тем же путем, что и они, и, думаю, что выполнил присягу, принесенную в Замойском кафедральном соборе.

ВОЛНЕНИЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Дед мой, Барский конфедерат, из рода Токаржевских-Карашевичев, герб «Труба», из окрестностей Гродно, после первого раздела Польши переселился в Любельскую землю. Я родился в Миевише, поместье моего отца Себастьяна, и как ученик школы Шжебжшинской во всех знакомых домах встречался с ксендзом Шиегинным.

Ксендз Пиотр был сыном земледельца и приходским священником в Ходле, в земле Любельской. Пламенный патриот, он был горячо принят бедными и притесненными слоями

народа. Он твердо решил бороться с русскими чиновными людьми и добиться независимости Польши с помощью надежных народных рук. Но чтобы поднять народ на такую борьбу за независимость, он считал необходимым пробудить в нем уверенность, что свободу и счастье может принести только независимая Польша. Причины политические ксендз не объединял с социальными мотивами. Одаренный острым умом и пламенным сердцем, ксендз Пиотр высшего образования не имел, иностранными языками не владел, ни о каких социальных теориях не был наслышан, но притом общественное устройство представлял, согласно своим собственным соображениям, к которым пришел в течение многих лет, наблюдая нужды, традиции, и стремления польских мужиков. Эти наблюдения мог проводить в жизнь, тем паче, что из всей его семьи только брат, учитель геометрии, покинул родительскую усадьбу, а все остальные работали на земле. Социальные теории ксендза Пиотра в корне отличались от заграничных. В то время как французские, английские и немецкие социологи старались принизить влияние католического костела, - наш народный трибун предоставлял костелу самую важную роль в польской Жечи Посполитой. Приходской священник должен быть выборным начальником волости, - считал он, - и в волости, в ее обрядах должны отражаться самые животрепещущие интересы народа. А потому наш народный трибун и реформатор мечтал, что Польша, воскрешенная и обустроенная, согласно его пожеланиям, станет примером для всех народов, особенно для всех Славян. Социальная пропаганда сильно привлекала к нему сторонников, потому что в своих речах он выказывал глубокое знание волостной жизни. И был уверен, что на его «холопский» голос в великой Отчизне от края до края, «победно и светло встанет божья вера». Он был уверен также, что даже без участия шляхты и горожан (мещан) победа вполне возможна. Между тем, «холопский заговор» сблизился с «Союзом молодежи» и звеном, объединяющим эти движения,

была строгая конспирация, охватившая земли: Любельскую, Сandomирскую, а потом и Краковскую.

В земле Киелецкой, в колыбели рода Шиегиенных, должно было вспыхнуть восстание в 1844 году. Но Ксендз Пиотр не обладал данными вождя: не был предусмотрительным, не был расторопным. Он даже не запас оружия, надеясь, что когда двинется толпа людей со всей «холопской силой», мужицкие плечи, орудуя косами, вилами, цепями, сумеют побить регулярные русские войска. А вот что среди мужиков может объявиться предатель, он не допускал. Как же так? Его брат, его кровь, его плоть по прямой линии потомки Пьяста, кмета, колесника и короля, чтобы кмет стал предателем и Иудой?.. Никогда!

И однако... Эй, ты! Темный, сосновый лес, помнящий древние времена, эй, вы, белые березы, растущие на взгорье, вы, поля, покрытые зеленой озимой, - все вы были свидетелями знаменательного дня 24 октября, когда по всему краю в земле Киелецкой, ксендз Пиотр Шиегиенный в стихаре и красной епитрахили обратился к нам под сенью креста:

- Вознесем сердце к небу и присягнем, что никогда не отступимся от нашей святой веры, что по наказу Христову будем любить всех людей как братьев, что не пожалеем крови нашей для Отчизны, для той Матери Земли, которая была нам колыбелью. Которая нас кормит и прах наш принимает в свое лоно.

Ксендза Пиотра, стоя бок о бок, слушали мужики, шляхтичи, мещане, и всех нас охватил такой безграничный задор, что мы готовы были с голыми руками ринуться добывать оружие и побеждать регулярную армию.

Наутро крестьянин, крепкий хозяин, Валентин Яниц донес обо всем губернатору Биалоскорскому, который приказал привести ксендза Пиотра. Приказ выполнили. Нашего трибуна арестовали в Билче. В Кислицах губернатор Биалоскорский сердечно и гостеприимно принял ксендза.

Покоренный таким обращением, наш народный трибун во всем губернатору признался, а тот сразу же отослал его в Варшаву.

Ксендза посадили в крепость и приговорили в смертной казни. Он уже стоял под виселицей в Кислицах, под барабанный бой ему уже надели петлю на шею, сняв с него одеяние священника, когда вдруг ему зачитали приказ о помиловании и замене смертной казни на пожизненные каторжные работы. На каторге оказались также двое его братьев, Карол и Доминик, оба крепкие хозяева. Обоих перед высылкой подвергли порке.

В КРЕПОСТИ

После ареста ксендза Пиотра большую часть заговорщиков, особенно шляхтичей, тоже схватили и отправили в крепость. Некоторым удалось вырваться за границу. Я был одним из них. Но польская земля слишком близкая соседка с Австрией, где правил Меттерних, и потому Австрия была ненадежным укрытием для политических преступников. Как только я прибыл во Львов, меня арестовали и после следствия выдали русским властям. Я назвался Феликсом Ходкевичем, который вместе со мной прятался в Галиции, но умер там у своих родственников. Изменить имя было необходимо, поскольку Ходкевич если бы и был наказан, то только за переход границы без паспорта. Вместе с еще несколькими меня отправили в кузку.

В Старом Замошье я встретился с отцом и братом, а в Краснымставе увидел, что Мислачевич, заместитель волостного головы Старого Замошья, приложил к нашим бумагам, адресованным в Совет Губернской Экспедиции такое указание: «Остерегайтесь статьи экстрадиции, поскольку один из заключенных – не Феликс Ходкевич, а Шимон Токаржевский, за которым помощник военного начальника Любельской губернии наблюдал как за политическим

преступником». Этот донос Мислачкевича, который был моим школьным соучеником, этот донос обрушил все мои планы и поставил меня в самое опасное положение.

В Люблине нас привели в губернский Совет, где советник Липинский сразу взял меня под свою «опеку».

Сладкий, как карамелька, нежный и скромный, как дитя, добрый как мать, он с помощью своей наигранной чуткости и любезности добился признания не только от меня, но и от многих других. Однако вскоре его поведение совершенно изменилось и из любезника он превратился в дикого грубияна, пообещал мне тысячу неприятностей, впрочем, многие сам придумывал на ходу и, не докончив протокола, отослал меня в кабинет военного начальника.

Тут повторилась такая же комедия: сперва любезности, потом хамство. В конце концов, меня отослали на гауптвахту, откуда наутро жандармы экстрапочтой отвезли меня в Варшаву. В столицу «Королевства Польского» я прибыл 13 июня 1846 года перед полуднем. Задержались на плацу. Около ординанцхауза прождали несколько минут.

Появился Блюменфельд, который спросил у меня фамилию и сословие.

- Мужик, крестьянин, - ответил я, гордо подняв голову.

Блюменфельд начал листать страницы какой-то большой книги и через несколько минут, иронично посмеиваясь, сказал:

- Шимон Токаржевский – сын Себастьяна, герб «Труба» - родом из Гродненской губернии, дед Шимона Токаржевского - Барский конфедерат, поселился в Любельском.

Я опешил. Из этой огромной книги Блюменфельд читал мне вслух всю нашу родословную, потом закрыл книгу, уселся и пытливым взглядом уставился на меня.

Тут в комнату вошел жандарм: майор Лейхте.

- Откуда вы прибыли? – спросил он с ироничной усмешкой и, выслушав мои ответы, покачал головой с укоризной:

- Ой! Дети! Дети!

Как только Лейхте вышел, появился третий, высокий, худой, сухощавый, с аксельбантами, подполковник Жуковский, адъютант князя Паскевича. Этот закричал сразу:

- Говори правду, а то мы тебя переведем в крепость и под батогами ты, бунтовщик, сразу все выложишь.

В молчании я выслушивал угрозы, вымышленные и настоящие, так что для меня было спасением, когда, наконец, меня отослали в крепость.

Целая стая жандармов с Жуковским во главе вышла на встречу нового постояльца, привезенного в узилище. После обыска жандармы забрали у меня всякие мелочи, которые нашли: ножнички, перочинный нож, гребенку, бумажник и прежде всего – деньги.

- Так, теперь у меня нет больше никакого движимого имущества, - размышлял я, - господа забрали у меня все, кроме того, что содержится в моем сердце и мозгах.

- Куда? Куда? Что это такое? (по-русски) – орал фельдфебель, но Жуковский скомандовал: «Марш», и жандармские кулаки втолкнули меня в какую-то грязную и мрачную избу.

Около простого деревянного стола, вымазанного чернильными пятнами, развалившись в кресле, обтянутом потертой кожей, сидел молодой мужчина. Это был Квиечинский, креатура полицмейстера Абрамовича, фаворит сенатора Стороженки, - ему вменялось в обязанность записывать новоприбывших в крепость.

- Новый мятежник, Ваше Благородие (по-русски), - как бы представил меня фельдфебель.

Квиечинский довольно усмехнулся и раскрыл большую, лежавшую на столе книгу и, послунив грязный палец, принял ее листать, потом спросил:

- Имя и фамилия его?

- Его зовут Шимон Токаржевский, - ответил я, всячески стараясь придать спокойствие голосу.

- Происхождение?

- Холоп.

Квиечинский бросил перо.

- Bravo! Bravo! – закричал он, хлопая в ладони. - Демократия на показ, а в глубине души высокомерие и тщеславие. Bravo! Захотелось вельможным панам шляхтичам Жечи Посполитой и золотой шляхетской вольницы, захотелось возобновить выборные сеймы, и выбрали бы королем кого-нибудь из шиегеннистов, а пан ксендз тотчас бы стал приамом и канцлером. А почему нет? Давай, давай!

И так хамски он смеялся, этот мерзкий человек, который почему-то родился поляком! Я старался не слушать и не слышать, вооружился терпением, молчал... Наконец, Квиечинский, видя, что говорит в пустоту, крикнул: «Вон! Свинская утроба!» (этими словами он обычно выгонял уходящих от него узников), и приказал жандармам посадить меня в камеру №46.

Это было продолговатое помещение с высоко расположенным окном, забранном толстой решеткой; в дверях – форточка, через которую постоянно заглядывал охранник, дежуривший в коридоре день и ночь. Деревянный стол и стул, миска для умывания, нары: вот и весь скarb заключенного.

Будучи уже опытным человеком после Львовской тюрьмы, я сразу же начал осматривать стены и мне удалось на их серой и грязной поверхности обнаружить несколько имен, очевидно, прежних «жильцов» и выразительные надписи: «Да здравствует Польша!», «Люди, к оружию!», «К оружию все вместе!», «Про Патриа!», «Про Кристо!»...

Я устал с дороги, и был сломлен обидами, так что, когда жандарм принес мне постель, я рухнул на нары и эту первую ночь в крепости проспал непробудным сном праведника.

Около моей камеры сидел Генрих Мониковский, который потом служил простым солдатом в Кяхте. В первые дни заключения меня ежедневно вызывали в следственную комиссию. Во время допросов не скупилась на оскорбления

и угрозы. Обещания порки сотнями и даже тысячами бато-гов сыпались как из рога изобилия. Однажды сенатор Сто-роженко даже показал мне дерево, из которого сделают для меня виселицу...

Три недели я пребывал в полном одиночестве, потом меня перевели в камеру №1, где я застал 70-летнего Венда, кото-рый сердечно меня приветствовал, как отец сына, и назвал «новичок». Преклонный возраст Венды, его светлое и при-ятное лицо, испытания, которые он пережил и которые его еще ожидали впереди, будили в моем сердце уважение и горячую привязанность к милому старику. Сколько дорог, сколько разнообразнейших приключений прошел Венда! Служил в армии Наполеона и любил рассказывать об этой головокружительной эпохе. Обычно в вечерних беседах мы, следом за императорскими орлами, проходили через всю Европу, не раз в нашей камере раздавался возглас «да здрав-ствует император!» (на французском). И так нам было хоро-шо вместе! Мужество старого вояки согревало мое юное сердце, воспламеняло его еще больше любовью к вольно-сти и свободе – нам так хорошо было вместе! Но как-то ут-ром моего старичка забрали и перевели не знаю куда. Это было для меня большое горе.

Другим моим товарищем оказался ксендз Юзеф Стани-шевский из Куяв.

С его вселением в камеру №1 воцарилось совершенно другое настроение.

Ксендз Юзеф вел жизнь, полную бурных приключений, о которых любил рассказывать. Притом был пламенным патриотом, что доказал на деле, так что полгода мы прожи-ли бок о бок в полном согласии – а шалости, которые тво-рил ксендз Станишевский, очень разнообразили печальную унылость тюремной жизни. По закону положено было осве-щать камеру сальной свечкой, которую ставили в плошку с водой, и она должна была гореть до рассвета. Это освещение стало для нас настоящей пыткой, потому что жандарм

появлялся часто и щипцами отрезал коптящую верхушку фитиля. Он будил нас всякий раз, когда отворял дверь и бряцал ключами, притом ругаясь, почему фитиль сильно обгорел, а «скотина» (по-русски) свечка слишком быстро тает и ее не хватит до утра, за что он, жандарм, схлопочет «выговор» (по-русски), почему плохо обрезает фитиль. А, бывало, ксендз Юзеф не спит, но храпит, как рыкающий тур и велит мне тоже храпеть, а потом, услышав, что охранник в другом конце коридора, соскакивает с нар, ползет к свечке и гасит ее. Приходит охранник и видит, что в камере полная темнота и поднимает переполох – а вдруг «мятежники» (по-русски) удрали?

Прибегают жандармы, зажигают свечу и ломают голову, почему она погасла, коли узники храпят и видят сны. А мы задыхаемся от смеха после ухода жандармов, которые пришли к выводу, что в этом деле замешана «нечистая сила» (по-русски).

Ксендз Станишевский часто симулировал разные болезни. Его забирали в госпиталь, врачи находили, что он совершенно здоров, и через несколько часов он возвращался очень довольный – все-таки развлечение, и притом, хоть какая-то возможность общения с товарищами по несчастью.

Как-то ему пришлось в голову сыграть сумасшедшего. Он кричал во всю глотку, пинал жандармов ногами, ударил по лицу Квиечинского, который в гневе приказал надеть ему кандалы на руки и ноги. В это время прибежал лекарь. Мнимый сумасшедший успокоился, только вращал глазами и жалобно стонал. Лекарь, русский, неплохой человек, осмотрел ксендза Юзефа, потрогал лоб, покачал головой и тихонько шепнул:

- Успокойтесь!

И даже выписал какое-то лекарство и холодный лимонад, а что до кандалов на руки и ноги, чего особенно требовал Квиечинский, - лекарь твердо их запретил, заверив, что у ксендза болезнь проходит в виде периодических приступов,

хотя, - я уверен! – что как врач он все понял.

В подобных шалостях я, по возможности, ксендзу Станишевскому «ассистировал», и в результате мы добивались хоть какого-то расслабления нашей жизни, которая проходила в убийственном однообразии – мы видели новые лица, помимо жандарма и охранника, иногда удавалось услышать какую-нибудь новость, встретить приятного человека...

Переводы из камеры в камеру приводили новых соседей. Так, из №1 нас перевели в №53, где ксендз Юзеф начертал на стене такое изречение: «В одиночестве человек говорит с Богом. В тишине Бог говорит с человеком».

Из камеры 53 в октябре меня представили перед военным судом, который проходил в большом зале. Посредине стоял стол, покрытый зеленым сукном. На первом месте сидел председатель военного суда, за ним – комендант крепости, генерал Симонич, по обеим сторонам стола сидели офицеры разных чинов, но их присутствие было чистой формальностью; главная роль в этом суде принадлежала Обер-аудитору. Он задавал вопросы, находил соответствующие правовые статьи или «указы», согласно которым подсудимый должен быть наказан. Он же писал приговоры, которые члены военного суда подтверждали своими подписями.

Когда я впервые встал перед этим ареопагом, Обер-аудитор спросил мое имя и фамилию и объявил, что по приказу наместника Королевства Польского я отдан под военный суд.

- А это члены военного суда, - сказал он, показывая рукой на сидящих офицеров, - у вас нет возражений против кого-либо? Желаете ли взять себе адвоката или будете защищать себя сами?

Я думал, что мне разрешается вызвать гражданского защитника, но Обер-аудитор объяснил, что в защитники я могу выбрать себе кого-либо из офицеров, которые как мумии сидели за столом. Это предложение показалось таким же смешным, как если бы овце предложили взять в защитники

волка. А потому я, усмехаясь, сказал:

- Господа! Я вижу, что вы добуквенно выполняете свои обязанности, и я думаю, что приговор для меня уже давно готов, а потому нет смысла задерживать его оглашение.

Начался допрос.

- Знали ли Вы приходского священника из Ходла, ксендза Пиотра Шиегиенного?

- Имел эту честь!

- К каким целям стремился ксендз Шиегиенный?

- Осчастливить детей, насытить голодных, утереть слезы плачущим, утешить несчастных, указать верный путь заблудшим...

- Довольно! – гневно прервал меня Обер-аудитор. – К сути! К сути! Вы как будто читаете из катехизиса и перечисляете нам подвиги христианского милосердия, а мы хотим узнать, к каким политическим, по-ли-ти-чес-ким, понимаете, политическим целям стремился ксендз Пиотр Шиегиенный?

- Только к одной – к той, за которую патриот готов пролить кровь и отдать свою жизнь до последней минуты, - к цели, к которой не может не стремиться каждый порядочный человек, цели освобождения Отчизны...

Генерал Симонич опустил глаза, и видно было, как он пытался успокоиться, но взволнованное дыхание выдавало его. Очевидно, стыдился, что он, солдат, он, человек безупречно порядочный, должен ставить свою фамилию под приговорами, которые обрекали не только на заключение и высылку, но и на смерть тех, кто стремился к освобождению Отчизны.

- Замолчите! – крикнул Обер-аудитор. – Мы не для того собрались здесь, чтобы слушать пафосные речи заговорщика, - мы хотим... нам нужны Ваши признания... Вы меня понимаете?

- Конечно, не понимаю, какие признания Вам нужны?

- Сами знаете, хорошо знаете, мы преследуем цель пресечения того, что нам известно также, как и Вам...

- Не сомневаюсь ни на секунду.

- Ну, нет, так нельзя! Придираться к словам – это неуважение к суду... Мы просим, просто, без всяких выкрутас, отвечать только на заданные вопросы.

- Я готов, если это окажется мне по силам.

- Прошу назвать фамилии наиболее видных шиегиенцев.

- Рад бы услышать эти фамилии от Вас.

- Не мудрите, а вспоминайте, - ну, будешь болтать или нет?

- Не буду! – ответил я спокойно. – Я не попугай.

- А ты знаешь, что за такие дерзости тебя можно приговорить к батогам?

- Это было бы несправедливое наказание.

- К делу! В чем ты можешь сознаться?

- Ни в чем! Никаких фамилий назвать не могу – не знаю никого из шиегиенцев, как Вы их назвали. Цели заговора, если это вообще можно назвать заговором, с чем я решительно не согласен, Вам известны, как Вы только что сами сказали, а что до восстания по всему краю, о том сам ксендз Шиегиенный рассказал господину губернатору Биалоскурскому, так что высокий суд, несомненно, уже получил подробнейший рапорт.

- Вижу, что мы с Вами не столкнемся.

- Притом, что я горячо надеюсь найти взаимопонимание с высоким судом.

- Хватит! Хватит комедии! – закричал Обер-аудитор. После чего громко зачитал «мое признание», то есть наш диалог и, набросав карандашом на краях бумаги разные значки и «Нота Бене» (особое внимание!) при приписках и объяснениях, еще раз спросил, не желаю ли я что-либо добавить или изменить, и получив ответ, что пусть все остается как есть, велел мне «признание» подписать.

Когда я вернулся в камеру, свечка в плошке уже горела. При виде моего измученного лица, охота шутить у ксендза

Юзефа пропала. Он сидел молча, а потом начал молиться и читать требник – а я, как будто под действием какого-то наркотика, большими шагами ходил в камере по кругу, ступал размашисто, погруженный в безотрадные мысли, когда вдруг – у моих ступней послышался легкий шелест, тоненький писк, я нагнулся – Боже! – далее последовало одно из самых тяжелых мгновений моей жизни...

Во время наших коротких прогулок мы нашли как-то во дворе малюсенького воробышка, подняли пташку еле живую, отогрели, обласкали ее вместе с ксендзом Юзефом, кормили и всячески пестовали. Воробышек превратился во взрослого воробья и был настолько «домашним», что когда мы брали его с собой на прогулки, он спархивал с руки, облетал вокруг двора и спешил спрятаться в рукав моего пальто. Любил сидеть на окне, с любопытством разглядывал своих собратьев, порхающих на воле. Наш воробышек был любимцем всего крепостного люда, даже жандармы говорили с милой птахой ласковым голосом! И этого нашего любимца, нашего дорогого товарища, я нечаянно растоптал... Над мертвой птичкой мы оба плакали, да что я говорю, – мы рыдали так громко, что охранник постучал в оконце: «Господа, господа» (по-русски) и уговаривал нас утешиться. Сейчас, когда я об этом думаю и пишу, не могу сдерживать слезы.

10 ноября меня снова вызвали в военный суд. Офицер проводил меня в зал, где я увидел все тех же персонажей, заседающих у стола, того же самого аудитора и Обер-аудитора. Они хотели еще раз повторить формальности прошлого раза, и я попросил, чтоб меня от них избавили, мне снова подсунили мое «признание» – я его от себя отодвинул, потом прочел только суть моего дела, то есть выводы, и выслушал решение суда.

Меня осудили на лишение всех прав, конфискацию имущества, две тысячи батоков и ссылку на десять лет в

Сибирь на каторжные работы.

Приговор я слушал настолько спокойно, что, наверное, второй раз в жизни мне бы это уже не удалось. Потом мне задали еще один вопрос:

– Довольны ли Вы решением (по-русски)?

На это я уже ответил смехом, что моих судей неслыханно разгневало. А мне казалось, что приличней всего было бы спрятать портрет императора, перед которым все это происходило.

Я думал, что после приговора я покину крепость, – но все обернулось иначе. 12 декабря 1846 года забрали от меня ксендза Станишевского – и в камере №15 я остался один. Через несколько дней прибыл ко мне Заденбский, парень из Хробжа, мужичок маркграфов Вислопольских. Это был высокий, представительный мужчина.

Привычный к безграничной свободе, «среди своих нив и полей», бедный парень страшно страдал в крепости и каждые несколько минут вздыхал: «Ой! Тошно мне, тошно! О, Иисусе!» – вечерами привычно читал молитвы и был хорошим рассказчиком. О Кракове, о красотах своих родных мест рассказывал образно, красочно, объятый любовью к своей усадьбе. Немного хвастаясь, рассказывал, что у него красивая «изба» с садом, и запасы зерна, и фруктовых деревьев насажено «вдоволь» – прекрасный «скот», инвентарь, который каждому «глянул бы». Однажды на обычной прогулке у меня перед глазами мелькнули двое «новых», в белых краковских кафтанах и пунцовых краковских шапках. Обычно мы, «старые», то есть давнишние постояльцы крепости, устраивались так, чтобы встретиться с «новыми», шепнуть свое имя, пожать руку, и услышать какую-нибудь новость «с воли». И сейчас тоже, идя в паре с Заденбским, мы перешли дорогу «новым». Это были очень молодые и необыкновенно ладные мужчины: блондин и шатен, которые, увидев моего товарища, оживленно крикнули:

– Привет! Брат Заденбский, привет!

- Привет и вам, братья! – откликнулся Заденбский.

На маленьком пространстве, где проходили наши прогулки, роились тучи жандармов, однако пан Квиечинский, тоже надзирал над нами, очевидно, ради собственного удовольствия.

Услышав приветствия, адресованные Заденбскому, он крикнул жандармам, конечно, по-русски:

- Загоните это быдло, это бешеное стадо в стойло!

- Золотенький Шимко! – сказал, сияя, Заденбский, когда мы вернулись в камеру. – Шимку, оба этих панича были вместе с нами, когда мы отлупили казаков в Видомей. Знаешь? Видома, корчма при тракте из Миехова до Кракова.

- Слышал. И что? Вы отлупили там казаков?

- В пух и прах, братик золотенький! В мелкий прах!

- А сколько тех казаков было? – спросил я.

- Точно не скажу. Была ночь, гроза надвигалась от Сломника, а дальше мы нашли хороший багор... Захватили мы их во сне, отлупили от души, но скоро они пришли в себя, вскочили на коней и сделали ноги. А коняги у них – как кабаны!

После возвращения из моей второй ссылки (в 1883 году) довелось мне быть в Кракове в гостеприимном доме Иенджея Дескура в Санциньове. Собралось нас несколько старых непреклонных «мятежников», и Заденбского тоже пригласили и привезли из Хробжа. Вспоминали давнишние «добрые» времена конспирации и... надежд. В этой сердечной и милой беседе каждый вспоминал всякий раз еще что-нибудь. Иенджей Дескур рассказал, как стоял на эшафоте в своем красном, подбитом атласом «камзоле», в котором его, когда он возвращался из Парижа, схватили на границе и отправили в крепость, как палач уже накинул ему петлю на шею, и тут галопом прискакал адъютант князя Паскевича, издали размахивая белым платком в знак помилования, которого добилась мать Иенджея у самого Николая I... Как прямо с эшафота втокнули его в кибитку в том самом

щегольском красном жилете, без запасов одежды, без денег и, вместе со Стефаном Добжичем повезли в Сибирь. Мы утопали в воспоминаниях, потому что они были «поэзией» нашей жизни... Как только в нашем кружке голоса умолкали, тут же Заденбский вступал в беседу и начинал рассказывать о Видоме, потирал руки и хлопал по плечу Юзефа Лесчинского, который тоже был участником «расправы» над казаками, и старик смеялся:

- Ну, мы ж казаков излупцевали в пух и прах, в мелкий мак, в опилки, что называется. Ну, пан Юзеф, правда, а?..

Невдолге потом у меня в Варшаве гостил сын Заденбского. Парень удивительно сильный, дородный, разговорчивый; но о прошлом своего отца не знал ничего. Наверное, работа на хозяйстве захватила Заденбского полностью, так что у него не оставалось времени рассказывать детям о прошлом.

А те двое «новых», которых мы встретили тогда во дворе, были родственники друг другу: Юзеф Белина Лесчинский и Игнаций Костжицкий.

Заденбский недолго побыл со мной. Сразу после Рождества его перевели в другую камеру, а в мою поместили Яна Микуловского, с которым мы уже не расставались до самого выезда в Модлин. Ясик, хороший был парень! Я встретил его потом в Модлине. Знаю, что его взяли на военную службу в Иркутск, но через Томск он не проходил. Говорили мне, что в окрестностях Минска Ясик сбежал, хорошенько обработав кулаками казака, который его конвоировал. А боксировал он, не хуже английского профессионала, и кулаки у него были страшные, одним ударом мог свалить самого сильного атлета. Можно представить, как он отделал того казака...

Лениво тянулись дни в крепости, среди жандармов и солдат. Единственным нашим развлечением были книги, которые доставляли нам родственники. Еще мы лепили из хлеба шахматы, цветы, туалетцы и прочие мелочи. Вечерами говорили с соседями через высверленную в стене дырку,

тщательно укрытую от глаз Морока и Квиечинского. С помощью таких дырок и перестукиваний весь павильон переговаривался друг с другом.

Как-то мы устроили, как говорил ксендз Станишевский, «театр». По данному сигналу начали петь:

*К оружию, люди! Встанем все в строй!
И подадим друг другу братскую руку.
Сохраним следы гонений.
Пусть завоеует право весь люд.
У нас одно общее имя: ближний и брат.
К оружию! К оружию! К оружию!*

Мы пели громко, что было сил, так что весь павильон содрогался от клича «К оружию! К оружию! К оружию!». Начался переполох. Охранник стучал кулаками в дверь камеры. Видно, сразу не могли сообразить, откуда идет этот боевой призыв... Наконец, к солдатам, дежурным офицерам и в коридор к охране явились Морок, Блюменфельд и Квиечинский. При бряцании сабель и выкриках проклятий, песня, конечно, умолкла. Вся тройственная компания, Морок, Блюменфельд и Квиечинский пенились от злости. Квиечинский ворвался в нашу камеру.

- Я всех вас поубиваю! – кричал он. – Я вас четвертую! Я прикажу вас повесить!

- Ничего этого вы не сделаете, - спокойно ответил ксендз Юзеф, - вы не можете этого сделать, а то кого же вы пошлете на каторгу и кто бы пополнял ряды армии Его Императорского Величества!

И все-таки «театр», так весело начатый, закончился печально. Некоторых из нас, известных буйным нравом, заперли в карцер на хлеб и воду.

Но вскоре опять по данному сигналу, из камер неслись: собачий лай, мяуканье котов, петушиный крик, хрюканье, завывания, словом, - адский хор, после которого начиналась беготня наших охранников, сторожей и опекунов...

И как это в крепости была нам охота творить такие шалости? Наверное, дело было в том, что нас не покидала вера и надежда, что наши мучения не напрасны, что, даже, если нам, в конце концов, доведется погибнуть, то падем мы за Отчизну, за ее свободу и волю.

Морок и Квиечинский, помимо обычных служебных посещений, наносили нам еще и частные визиты. Такой «гость» заходил в камеру, разваливался в кресле, и сладким голосом закадычного приятеля завязывал с узниками беседу, которая была сплошным издевательством. Иногда ему удавалось «разговорить» какого-нибудь юнца, поймать его на слове, вытянуть из него целую цепочку домыслов и фактов. Иногда Морок и Квиечинский умышленно провоцировали стычки, особенно, если узник был норовист, - а главное – богат! Однажды случилось, что Квиечинский вошел в камеру Юзефа Лесчинского и Александра Червинского. Олесь был спокойный, флегматичный, терпеливый, а Юзек – живой, как искра, гневливый, шумный. На этот раз Квиечинский был в особо ехидном настроении и дразнил то того, то другого тем, что для поляков было дорого и свято. А стоявшие в углу элегантные башмаки Лесчинского натолкнули его на мысль повторить хорошо известные слова, которые приписывались Николаю I: «Как только на трех шляхтичей придется одна пара башмаков, которые они, выезжая из дома, будут занимать друг у друга, тотчас же прекратятся бунты и вооруженные восстания в Польше».

- Правильно! Правильно! – сказал Квиечинский. - Правильно! Бунтовщики набираются из шляхты, потому что шляхта – это собачье племя.

И тут Юзек схватил свой башмак и двинул им нахала по роже. Тот бросился на Юзека, поранил ему ногтями лицо - глубокие шрамы от его когтей остались у Лесчинского до конца дней. Кроме того, он разорвал на Юзефе одежду, топтал его ногами и сломал ему ребро. А потом посадил в карцер на хлеб и воду. Стараниями отца, подкрепленными

значительной суммой денег, бедного Юзека вызволили из темницы, при условии, что он публично извинится перед Квиечинским. На церемонию извинения собрались все высшие чины крепости и члены военного суда: майор Лейхте, Сианов, Жуковский, Блюменфельд, Босакиевич и комендант крепости, генерал Симонич со всем своим штабом.

На предложение извиниться Лесчинский ответил:

- Извиняться перед господином Квиечинским я не стану, потому что не за что. В моем лице он нанес оскорбление всей шляхте и разве что только не шляхтич, не дворянин, мог бы сказать, что я не прав. Шляхтич признает, что я имел право выйти из себя!

Кроме коменданта Симонича и, может, кого из офицеров, среди всей этой толпы не было ни шляхтичей, ни дворян – и никто не хотел громко признаться, что не принадлежит к дворянству, и своим молчанием как бы выказали солидарность Юзефу, а Квиечень (так мы называли Квиечинского) даже не муркнул, только генерал Симонич усмехался себе в усы. Так что Юзека так и отвели в камеру без всяких извинений.

Хотел бы изобразить хотя бы силуэтно наших крепостных мучителей и состав следственной комиссии, но разве бы мне это удалось? Справился бы я? Думаю, когда-нибудь найдется кто-то, хорошо владеющий пером, который сумеет раскрыть перед всем миром мерзость поступков, которые допускали эти люди. Весь их разум был направлен на то, чтобы как можно больше выследить заговорщиков или несправедливо обвиненных в заговоре арестовать, чтобы таким образом удержаться на своих местах, на которых их осыпали наградами, титулами, там звенели деньги, там был источник их грязных доходов. В кровавом нашем народном мартирологе на веки веков останутся вписанными имена таких людей, как председатель следственной комиссии Стороженко, майор Лейхте, которого в 1864 году повстанцы повесили в его имении под Радзимином, Сианов (изначально

служил в армии, потом ему дали на выбор две должности: дозорного при государственном стаде или директора гимназии в Люблине и он выбрал второе. То-то получился из него воспитатель молодежи!), Жучковский, которого мы знали Морок, жену его Нагайка, а детей – Шпицрутены, подполковник Жуковский, Блюменфельд, Босакиевич, Квиечинский. О нем – особо. В крепости он собрал огромное состояние. Потом приумножил его, став управляющим императорских дворцов в Варшаве. После возвращения из второй ссылки (в 1883 году) я встретил его на улице Маршалковского и остановил: «Помнишь, пан, как ты 13 июня в 1846 году записывал меня в список узников крепости? Помнишь, как сидел со мной и запугивал меня? Я Симон Токаржевский, и вызываю тебя на Божий суд. Русскому кривду простить можно, а поляку, в той должности, которую ты занимал в крепости, ни мы, узники, для которых ты был палачом, ни история не простит никогда!». Я держал его за рукав, чтобы он дослушал меня. Этот человек скользнул взглядов по моему нездоровому лицу в скромной одежде и уселся в ожидавшую его карету.

Трое последних были подобны молодым сторожевым псам, которые без усталости выслушиваются перед старшими. Думали ли эти люди о судьбе тысяч узников, об их несчастной судьбе? Нет! О жизни тысячи заключенных? Им дана была огромная неограниченная власть.

Из этой власти они умели извлекать пользу только для себя. Каждый из них, насколько мне известно, превратился во владельца ослепительных состояний, выуженных у тех, кто терпел за свободу Отчизны, кто мыкался по миру или по своей земле, зарабатывая на кусок сухого хлеба. И, в конце концов, сломленный невзгодами и неволей, умирал где-нибудь в больнице в общей палате.

Среди этой черной фаланги единственная светлая личность – комендант крепости, генерал Симонич. К нам, политическим, он касательства не имел, а будучи вынужденным

выступать как председатель военного суда, никогда и никому не вредил. Если кто-нибудь из узников за какую-то провинность в понимании вышеназванных лиц, лишался книг, табака, постели, попадал в темный и сырой каземат на хлеб и воду, то родственники таких несчастных обращались к дочерям генерала Симонича с просьбой о заступничестве. Эти красивые и добрые барышни добивались отмены подобных «милостей» от тех, от кого они исходили.

В «ЧЕРТОВЫХ БРИЧКАХ»

Хотя я был давно приговорен и давно ожидал выезда, эта пора все не наступала.

28 апреля 1848 года, вечером, я услышал во дворе какое-то необычное движение. Звучали громкие голоса, слышался грохот заезжающих повозок. Мы жили тогда в камере №26. Фонари освещали двор светлее, чем обычно. Стража была удвоена. Один из стражей проводил нас к «чертовым бричкам».

Поистине дивное сооружение такая «чертова бричка». Это огромный воз, разделенный на две половины коридором, в котором дежурят два жандарма. Внутри ведут семь ступеней. С обеих сторон коридора – по шесть камер, таких маленьких и тесных, что человек едва может поместиться и сесть, но только в одном каком-нибудь положении. Стены каждой такой клетки выложены матрацами, но есть круглое оконце, не больше донышка стакана, такое грязное и пыльное, что через него мало что увидишь; есть еще коротенькая форточка для доступа воздуха. Двери клеток закрываются на замки и на несколько засовов. Посередине двери – прямоугольное отверстие, затянутое сеткой из толстой проволоки, и стеклом, и это отверстие зовется оконцем, потому что через него страже постоянно видны заключенные.

Мы залезли в первый воз, и я занял клетку №1, а Ясько – клетку №2. Через некоторое время привели еще четырех, и

когда все клетки были заняты с левой стороны, мы услышали, как тяжелая толстая железная рельса, проходящая вдоль всего ряда наших клеток, привинчивалась к каждой двери. Видно, это было очень мудреное и сложное приспособление – такая «закрывашка».

Уже светало, когда оба воза были снаряжены. Они вмещали по 24 «больших преступников» (по русски). Погрузка проходила в большой спешке и с усердием, достойным высшей похвалы. Во всем этом было нечто похожее на тайное злодеяние грабителей и убийц, которые собираются «на дело» и почему-то задержались, и теперь пытаются наверстать упущенное время и страшно спешат, чтобы наступающее утро и солнечный свет не осветили их обличье и их чины.

Но нашим «опекунам» так-таки не удалось провезти нас незамеченными по варшавским улицам. Громкий лязг и грохот «чертовых бричек» будил сонных жителей. Через отверстие в матраце я видел, что во многих домах открывали окна, из которых выглядывали испуганные лица женщин и мужчин, плакали дети, и все протягивали к нам руки. Говорили ли они что-нибудь? Не знаю – потому что кое-что увидеть еще можно было, а услышать – ничего.

Куда нас везут? – думали мы. Трудно было сориентироваться, я плохо знал Варшаву. Слева, перед моими глазами, мелькали флажки на мачтах барж – значит, Висла была на лево. Потом я вновь увидел флажки и башню крепости.

- Ага! – решил я. – Значит, едем в Модлин.

Первая перемена лошадей была в Яблонние.

Отверстие в дверях, железная сетка и стекла отодвинуты, нам подадут завтрак – ржаное пиво и булки.

Около наших возов собралось много любопытных. Иные, наверное, пришли поглядеть на нас, как ходят в зверинец, но у большинства были расстроенные лица и слезы на глазах. Особо заметил молодую девушку.

Она стояла около ступеней, ведущих к возам, и плакала. Почему? Не знаю.

Может, недавно такой же воз увез ее отца, брата или возлюбленного? Может, наша общая участь будила в ней такое горячее сочувствие? Кто теперь скажет? Но я видел, что она едва сдерживает рыдания, а слезы текли по ее бледному лицу.

В МОДЛИНЕ



Когда мы остановились на улицах Модлина, из другого воза кто-то крикнул мне:

- Шимек, ты тут? Ты в браслетах?

- Я тут, и – в них! – ответил я, а спрашивал меня Юзеф Лесчинский.

- А мне почему-то браслетов не дали!

Узники называли браслетами ручные кандалы.

Я хотел сказать Юзефу, что его, видимо, считают «зайчиком», а меня – «волком». Так жандармы называли каждого, кто прибывал в крепость: если в кандалах – «волк», если – без, то «зайчик». Но я не успел ничего сказать, потому что началась высадка.

Я вышел первым. Вся улица была забита военными. Во главе стоял комендант тюрьмы Федеренко со всей своей свитой.

Федеренко о чем-то меня спросил – я ничего не ответил, сделал вид, что не понимаю по русски. Потом меня повели в каземат.

Мы свернули налево, сюда доходил солнечный свет и отсюда был чудный вид на Нарву и Вислу. Но жандарм буркнул: «Нельзя», и толкнул меня вправо, в каземат, куда свет попадал через маленькое, очень высоко расположенное окошко и через три зарешеченных отверстия.

Сразу же за мной вошел Ясько. Вскоре пришли остальные.

И тут начались приветствия, горячие, сердечные, долгие объятия. Каждый из нас был огулушен такой резкой сменой обстоятельств.

Трудно представить, - после длительного заключения в одиночестве вдруг очутиться среди дружественных людей, которые разделяют твои убеждения, которые стремятся к тем же целям, что и ты, которые тесным узлом связаны с тобою мыслью, духом и общей бедой.

Какое бурное чувство охватывает тебя, может понять лишь тот, кто сам пережил такие минуты и подобные потрясения.

Мы приветствовали друг друга как самые близкие знакомые, как налюбимейшие братья. И какое это было странное знакомство в тех условиях!

Как завязывалось оно в крепости? А вот как: с помощью стуков в стену. Мы придумали настоящий алфавит, в котором место буквы обозначалось числом стуков. В подобных «выстуканных» беседах мы достигли удивительного мастерства.

Потом началась беседа. Очень шумная, беспорядочная, взволнованная. Только один из нас как бы сдерживал наши искренние излияния. Это был Зиенткевич из Нового Бжешка. Имелись серьезные доказательства продажности этого человека. Зиенткевич был присяжным заседателем и при том исполнял обязанности шпикиа, но глупого шпикиа, поскольку стремился получать прибыли одновременно от поляков и от русских. И попал впросак, пару лет его продержали в крепости, а потом он просидел еще несколько месяцев в тюрьме в Замошчье. Приговор его звучал забавно: «Из-за недостатка разума послать его в Замошчье».

В Модлине передо мной обрисовались контуры того, что ожидало меня позднее.

Через пару дней после нашего прибытия в Модлин, на мосту появился еще один обоз, что проезжал через Нарву.

- К нам везут еще братьев! – вскрикнули мы.

Их привезли еще 20 человек. Каждый из братьев, входивших в наш каземат, был в непомерном удивлении. Потому что никто не ожидал, что уже тут встретит политических узников, которые станут громко и радостно приветствовать «новичков».

- Как жизнь? Привет! Давай, входи быстрее!

Первым вошел Ян Кенниг. Я хорошо помню, он постоял на пороге, покачнулся, постоял в изумлении и, наконец, вошел.

Вот имена тех, которые были тогда в Модлине: ксендз Воронец, старик 73 лет, Александр Гжегожевский, Францишек Каминский, Людвиг Мазараки, Алоизий Венда, Феликс Йордан, Юлиан Йордан, Ян Кенниг, Каминский, Ковальский, Яцек Кохановский, Михал Подгорский, ксендз Доминик Ясинский, ксендз Томаш Влодек, Юзеф Белина Лесчинский (родной внук Юзефа, последнего Равского воеводы, кавалера Св. Станислава, бригадного генерала, лично представленного генералом Домбровским 3 декабря 1806 года), Юзеф Точинский, Юзеф Рудницкий, Карол Рудницкий, Владислав Панговский, Доморадзкий, Кириак Акорд, Доминик Ходаковский, Адольф Грушецкий, Шимон Токаржевский, Бенедикт Косевич, Август Карасинский, Владислав Моджейовский, Констанций Бжоско, Генрик Рациборский, Иполит Рациборский, Ян Микуловский, Игнаций Костжицкий (родной племянник Плихтов: Казимира и Андрея. Казимир погиб под Гроховом, а Андрей, секретарь Государственного Совета, участник заговора т. н. «Патриотического Содружества», был судим Сеймом в 1828 году и в 1830 году эмигрировал в Париж, где был видной фигурой в польской эмиграции. Сидел в монастыре отцов кармелитов на Лезне в Варшаве. В монастыре он посадил в саду дубок и когда я вернулся из второго изгнания, я видел этот дуб, за которым любовно ухаживал каноник Францишек Хмелевский), еще сидели с нами Ян Микошевский, Александр Гжибовский, Филиповский, Ян Собиеранский, Флориан

Бутвилло, Рачинский, Александр Червинский, Станислав Дулкиевич, Миечеслав Заренбский, Соболевский, Михал Коженновский, Зиенткиевич.

Прошел месяц со дня нашего прибытия в Модлин, но мы так и не знали, что с нами будет.

А когда обсуждали друг с другом наши предположения, за шутками, смехом, веселостью, которые с самого начала не умолкали в нашем каземате, проглядывала кручина. Нас одолевала тоска по родным, по свободе, по какой-нибудь деятельности. Мы были как бы заживо погребенными.

Иногда доходили до нас вести с воли. Мы узнали об отречении французского короля Людовика-Филиппа, о революции в Вене, как-то случайно к нам попал обрывок газеты «Варшавский курьер», где мы прочли, что площадь Св. Стефана в Вене теперь называется площадью Конституции, а позднее узнали, что Миерославский начал военные действия в Познаньском княжестве.

От бедующего в арестантских ротах еврея, который приходил нас брить (никто из нас не брился и не стриг волос), а также от других узников, которые приходили подметать наши казематы и приносили воду, мы часто узнавали перерывные, а, порой, просто смешные новости.

Нам не позволяли получать письма, газеты, мы никого не видели, кроме солдат, а иногда евреев-уголовников — и, тем не менее, при более точной осведомленности и при более близком знакомстве с окружением, у нас образовалась постоянная связь с Варшавой.

Среди инвалидов, назначенных нам в службу, а, вернее, для постоянного надзора над нами, был некий Марков. Когда-то он служил жандармом. За какую-то провинность был осужден на наказание батогами и выслан в модлинский гарнизон. Это был хитрый, пронырливый и находчивый субъект. Каждое сказанное слово ухватывал на лету, мысли — отгадывал, любое желание, подкрепленное рублем, исполнял наилучшим образом.

Когда мы предложили Маркову относить в Варшаву наши письма и пообещали, что, помимо данных нами денег, получатели дадут ему не только рубли, но и пятизлотные монеты, - он охотно согласился. Письма в Варшаву доставил, ответы принес и был просто очарован приемом, какой ему оказывали в домах, куда он носил наши послания.

- Вот полячишки! (по-русски). Вот это народ, - рассказывал он с восхищением. - Быстренько взяли письма, посадили меня на диван, дали вина, водки и чаю с ромом, и мяса, и калачи. А я развалился на диване и набивал брюхо, пока уже ничего не лезло. И тогда я сказал: ей-богу, уже не могу. А они просили: ешь, брат, пей, брат! А не то бери в карманы, что хочешь. И я в карманы напихал: и вино, и водку, и мясо, и деньги. Так они плакали все - и матери, и отцы, и маленькие дети, и я тоже плакал. Господи, помилуй! Господи помилуй!..

После этого первого выхода Марков, как можно чаще, делал вылазки в Варшаву. Даже нашел себе пристанище в «Новом Дворе» под Модлиным. Так что связь с Варшавой была довольно частой, постоянной и надежной, поскольку Марков был нам предан всей душой и «полюбил поляков», как заверял нас при каждой возможности.

С помощью Маркова мы получали «Варшавскую газету», «Варшавский курьер», получали письма, - но самое важное, к некоторым нашим братьям начали приезжать и проводивать их родственники и друзья. Наше пребывание в Модлине держали в строжайшей тайне.

- Их в крепости уже нет, они там, где должны быть, и где им хорошо.

Так неизменно отвечали Лейхте, Квиечинский, Стороженко на взволнованные просьбы родственников, жен, сестер, увидеться с заключенными. Можно представить себе отчаяние тех, кто уходил из крепости в полном неведении о судьбе своих любимых.

Марков впервые принес в Варшаву правдивые сведения о нас и, как уже сказано, после писем появились у нас и

первые гости.

Комендант Федеренко позволял политическим видется с «гостями» в офицерских комнатах. Обычно и сам присутствовал при таких «свиданиях», которые продолжались до получаса.

Часто «гости» подходили к окнам наших казематов. Охранник при содействии Маркова, «смягченный» хорошей взяткой, отворачивался в противоположную сторону и стоял как вкопанный, слепой, глухой, едва ли не мертвый...

Иногда около решетки оконца появлялась седая голова старика, или прекрасное женское личико, или детская головка...

Такие появления около нашей темной норы вносили к нам будто солнечный свет, будто привет с любимой воли, от которой нас отгораживали толстые крепостные стены.

Как-то к Мазараки приехала с визитом родственница со своей маленькой дочкой. Дама носила известную аристократическую фамилию, была из очень богатой семьи, была весьма хороша собой, а дочка ее походила на ангелочка.

По этой причине, когда дама пришла в офицерскую комнату, Федеренко принял ее очень любезно и заговорил с девочкой. В это время солдаты в казармах закончили петь какую-то очень красивую песню, и Федеренко спросил девочку:

- А ты умеешь петь, славненькая барышня?

- Умею, - ответила девочка, - и мой маленький братец тоже умеет.

- А, может, ты будешь такой миленькой, что споешь что-нибудь и для меня?

- Если пан так хочет, - спою! - и запела тоненьким голоском:

*Убегают в степи Русы,
Наступают на них краковчане...*

Можно представить, каким пристальным взглядом посмотрела мать на свою девочку, которая тут же умолкла,

опустив глазки, и прошептала:

- Извините, я умею петь только дома, а здесь – не умею.

- Ах, так, понимаю! – засмеялся Федеренко. – В самом деле, такие песни можно петь только дома. Но стишки ты, наверное, умеешь рассказывать, хорошенькая барышня?

И прежде чем мать успела вклиниться в диалог, девочка начала декламировать:

.....
.....

- И после этого стоит ли удивляться, что крепость Модлин полным-полна и что мы ежедневно вынуждены посылать кибитки в Сибирь! – разгневанно крикнул Федеренко.

- Господин комендант, - со слезами взмолилась испуганная женщина, - господин комендант, Людвиг Мазараки первый раз в жизни увидел сегодня это дитя, клянусь Богом всемогущим.

- Когда Людвиг Мазараки был маленьким мальчиком, его обучали тем же песням и тем же стихам, что Вашу девочку, и вот куда привела его эта наука, - сказал Федеренко, указывая рукой на наши казематы. – Плохо воспитывают польские матери своих детей, плохо, плохо!

Мы стояли на скамьях под окнами и слышали весь разговор, и сердце у нас сжималось. Иные события стерлись в моей памяти, в том числе и имя маленькой кузины Людвиг Мазараки, но всякий раз, вспоминая эту сцену, я благодарен польским матерям, что так плохо, по мнению Федеренко, воспитывали своих детей.

Такие «беседы» с детьми, которых приводили к узникам, были в большой моде в крепости. Эту функцию брали на себя их милости Блюменфельд и Квиечинский.

Когда жены в комнате свиданий с узниками вглядывались в мужей, пытаясь запомнить и уловить малейшие изменения, любое выражение родного лица, они на краткие мгновения забывали о детях, - тут же являлись Мефистофель-Квиечинский или Мефистофель-Блюменфельд и

пытались расположить к себе ребенка: обнимали, целовали, дарили конфеты и цветочки, и притом спрашивали: «Кто бывает у твоей мамы?... Много разных господ?... И как их зовут?... О чем они разговаривают?... А кого мамочка принимает чаще, чем других?» и т.п. Порой, в ответ на такие инсинуации, невинные дети выдавали искусителям ценную информацию, за которую те получали награды от Следственной Комиссии, и на основании которой та же Комиссия выносила губительные приговоры подсудимым. Как-то девочка, которую Квиечинский спросил: «А кто был у вас вчера с визитом?», ответила:

- А был один фланцуз.

- Француз? А кто такой?

- Офицер.

- Офицер? И что он говорил?

- Красиво поклонился и сказал: «Челез палу месяцев нас тут будет больше».

- Так, значит, сказал! – обрадовался Квиечинский. - Хорошо сказал, ладно сказал...

В ту же ночь в доме матери этого ребенка провели обыск. Не нашли ничего. Подозрительной показалась жандармам только большая коробка, запертая на ключ, с надписью «Париж» на крышке. Приказали открыть коробку – пусто. Только при нажатии на пружинку выскакивала кукла в мундире французского офицера. Офицер кланялся и протягивал руку с визиткой, на которой была надпись: «Через пару месяцев нас будет тут больше». Коробку с «французским офицером» конфисковали.

Отец счастливой обладательницы куклы-офицера попал в тюрьму надолго. И только через много лет, после того, как он вернулся домой, сопоставляя разные обстоятельства, пришел к выводу, что это Квиечинский упрятал его в тюрьму из-за рассказа дочки про «француза». В ту пору дети состоятельных семей имели такие игрушки, которые якобы изготавливали в Париже специально для польских эмигрантов.

В Модлине дни наши текли спокойно – конечно, насколько это возможно в темнице. Но во многом нам было лучше, чем в крепости. Само питание здесь тоже было похоже на обычное для свободных людей. В казематах не разрешалось курить трубку, а только в помещении офицера охраны. Мы могли украдкой пользоваться табаком, только надо было найти способ постоянно поддерживать огонь. Поэтому мы скручивали шнуры из ваты, которую выдергивали из одеял, шлафроков и разной ватной одежды. Зажженный кончик такого фитиля тлел в печи.

Если часом кто-нибудь из «начальства» узнавал, что мы нарушили запрет курения и доносил о том коменданту, то как только он показывался в нашем каземате, его тут же освистывали.

Однажды мы освистали комендантского сына, молоденького офицера, который, следуя по стопам отца, окинул нас таким взглядом, точно был министром.

Как-то, когда мы шли в офицерское помещение, чтобы покурить, увидели, что охранникам принесли обед – излюбленное блюдо русских «щи». Вонь от этого блюда ощущалась издалека, а на поверхности плавали большие белые черви...

- Если солдатам дают такую еду, чем же станут кормить нас, каторжников? – думали мы, едва допуская, что человек вообще может есть нечто подобное.

Между тем, какой-то полковник зашел в избу, видно, в его обязанность входило снимать пробу с еды. Он зачерпнул ложкой из котла, поднес ко рту и изрек: «Отличные щи» (по-русски).

До глубины души возмутила меня похвала такого паскудства. С уголовниками, нашими соседями из арестантских рот, мы жили в добром согласии. Они, по возможности, охотно оказывали нам услуги. Никогда не забуду один вечер. Когда в коридорах были зажжены лампы и окна закрыты досками, вошел к нам некий еврей... Высокий, статный,

только очень бледный. Вошел с огромной веткой можжевельника, объятый пламенем, поднял ее повыше и крикнул: «Да здравствует Польша!».

Этот порядочный и добрый еврей получил такие аплодисменты, что аж стены каземата задрожали.

Иногда к нам приезжали гости из Варшавы. Я говорю «к нам», потому что те, кто приезжал, навещали не кого-то одного, а всех. Разве же мы не породнились, связанные общностью чувств, целей и судеб?

Чаще всего в Модлин приезжала госпожа Карасинская, мать Августа. Приезжал господин Антоний Лесчинский, отец Юзефа, госпожа Костжицкая с дочкой, красивой, как заря. При первом же посещении она привезла Игнацию мясные продукты, печенье, лакомства, книги, табак, а также толстое ватное одеяло, такой же шлафрок и камзол (жилет).

- Господи! – смеялся Игнаций. – Может быть, моя мать и сестра уже знают, что меня сегодня или завтра отправят в Сибирь? Мы тут задыхаемся от жары и духоты, а эти дамы одарили меня не менее чем ста фунтами ваты.

- Каждое следствие должно иметь причину, - назидательно заявил Ясько Микуловский, - а потому я советую не только хорошо осмотреть, но и «вникнуть» внутрь этого «ватного сюрприза».

Мы начали все осматривать, и даже пытались «вникнуть», но ничего не достигли. Еще посоветовались и решили: надо все распороть.

Пороть так пороть! В первую очередь мы принялись за красивое красное шелковое одеяло. Кто мог до него «дорваться», с жаром вытягивал нитки. Через несколько минут такой нечеловеческой работы на пол выпала какая-то смятая почерневшая тряпка, которая находилась между верхом и подкладкой.

Это было письмо госпожи Костжицкой к брату. Но как искусно было изготовлено это письмо... Кусок тонкого

старого полотна, смоченный растопленным жиром, положен на зачерненную сажей бумагу и толстой проволокой на все это были нацарапаны буквы, отчетливые, как печать. Такие же письма мы нашли в шлафроке и в камзоле. Мы жадно их читали, вырывая их друг у друга, а красавец Игнаций размашисто шагал вдоль каземата и все повторял.

- А что, умница у меня сестренка? Так? Или нет?

Кто бы мог возразить! Все мы воодушевленно восхищались «умненькой сестренкой» Игнация, и ксендз Воронец изрек:

- Да благословит Господь бог добрую девушку, которая доставила нам такую радость.

БАТОГИ

7 июня, когда мы еще крепко спали, ранним утром в каземат вошли жандармы. По имени и фамилии вызвали девятерых из нас. Торопили, чтоб мы скорее оделись, и уверяли, что скоро вернемся.

Не очень полагаясь на заверения жандармов, мы попрощались с оставшимися в каземате и вышли вместе с жандармами.

На дворе нас разделили на две партии и каждую партию, кроме жандармов, окружило по несколько солдат при штыках.

На плацу за казармами мы увидели ряды солдат, а за ними связки батогов.

Последним стоял аудитор – он должен был нам зачитать приговор. «По Указу Его Императорского Величества» (по русски) велел снять головные уборы. Кириак Акорд очень потешно снял свою конфедератку, подражая деревенскому парню, который кланяется хозяину до колен.

Первыми слышали приговор: Адольф Грушецкий, Александр Червинский, Точинский, Ходаковский, Рациборский,

все с лишением в правах и конфискацией имущества были приговорены к каторжным работам: Грушецкий и Червинский на 10 лет; Точинский на 7 лет; Ходаковский и Рациборский на 12; Грушецкий, Точинский, Червинский в самой крепости, а Рациборский в рудник. После объявления приговора их отвели в сторону и зачитали приговор остальным.

Кириак Акорд, Коженевский, Карасинский и я - приговорены к 10 годам каторги с лишением прав и конфискацией имущества. Кроме того: Акорд должен был получить 200 ударов батогами, Коженевский 300, Карасинский – 1000, а я – 2000 батогов. Причина такой суровости мне неизвестна, может, это была просто ошибка...

Несмотря на то, что, как я помню, мы все, проходившие по делу ксендза Шиегиенного, когда нас привезли в крепость, были записаны как мужики (холопы), но Следственной Комиссии известно было, что все мы дворяне.

Дворянин не подлежит телесным наказаниям, поэтому всех нас, принадлежащих к «привилегированному сословию», построили рядами, появился палач, который держал каждого за плечи, и над головой у нас ломали деревянную шпагу, после чего оглашали, что таких-то и таких «Его Императорское Величество изволил пожаловать в мужики» (по-русски).

После этой страшной церемонии началась экзекуция.

Каждого, полностью обнаженного, ставили на плацу, спиной к рядам солдат. Сколько батогов ему полагалось, столько и имели при себе солдаты, и каждый ударял приговоренного батогом.

От коллег я узнал, что не все экзекуции проходили одинаково. Некоторых привязывали к доске, как Христа, других прогоняли сквозь строй солдат. Единственно несомненно, что наша Земля, любимая наша Земля, была не только окроплена, но и залита кровью. Удары были сильнее или слабее. Это зависело от солдата - было ли у него в груди человеческое или звериное сердце. Иногда более имущие

приговоренные, с помощью фельдфебеля, приплачивали солдатам, чтобы не очень сильно били. Но это случалось редко, очень редко, поскольку, во-первых, приговор зачитывали в самый день казни, а, главное, у нас считалось, что такое «купленное» послабление равно предательству Отчизны, настолько братская любовь связывала всех нас, что каждый, стар и млад, говорил: «Не хочу страдать меньше, чем мой брат по узилищу! Не хочу страдать меньше!».

Хотя мне присудили больше всех батогов, на казнь меня позвали первым, по возрасту. Карасинский шел сразу за мной.

Я прижал к груди медальон с изображением Божьей Матери Ченстоховской, попытался молиться, но не мог припомнить ни одного слова молитвы, только после каждого удара говорил: «Это в твою честь, Королева Польской Короны – это за освобождение любимой Отчизны!».

Страдал ли я во время избиения? Нет! Видел ли я своих мучителей? Нет! Все окружающее как бы исчезло, мои глаза ничего не видели.

Только какие-то световые круги мелькали передо мной.

Может, в этот кровавый час душа моя отлучилась от тела и пребывала в каких-то неземных сферах? Возможно ли это? Пусть бы врачи и психологи мне это объяснили...

Но что в момент религиозного или патриотического экстаза человек не ощущает физической боли, это я могу твердо и уверенно засвидетельствовать.

Получив 500 батогов, услышал, что больше меня бить не будут. Я повернулся на бок и обнаженным лег на траву. Мое тело от шеи и до пят было сплошной кровоточащей раной... Чтобы освежить спекшиеся губы, я сорвал щепотку травы и начал ее жевать. Противный вкус горечи, казалось, пророчествовал, что столь же горькой будет вся моя жизнь.

Солдат принес мне одежду и когда я приложил ее к себе, ко мне подошел молоденький офицерик и на чистом

польском языке сказал:

- Разорвите сорочку на спине, Вам не будет так больно.

Я же раздраженно ему ответил:

- Вам-то какое дело, больно мне или не больно!

Офицерик взглянул на меня удивленно, как бы с вопросом: «В моих словах не было ничего обидного для тебя, чем я провинился?». Я опустил глаза и чувствовал, что мой ответ был для него неожиданным, а ведь, наверное, это был совсем неплохой паренек...

Карасинский получил полную порцию – 1000 батогов, после чего нас проводили к тому месту, откуда началась наша кровавая дорога. Там, лежа на животе, мы ждали, пока не кончатся пытки для остальных наших товарищей.

Первым подошел к нам Кириах Акорд и сказал:

- А что, Шимек, хорошо лупили? Тем лучше будет отместка!

Тут целая толпа, комендант, аудитор, офицеры подняли страшный гвалт, грозили Кириаху повторным судом, повторным телесным наказанием, но, к счастью, все ограничилось угрозами.

Так, страшно изувеченных, нас повели не в госпиталь, а в каземат уголовников.

Какой-то фельдфебель, в ответ на наш протест, почему нас переводят не в наш каземат, а в другой, объяснил, что в Модлине все делается только «по закону» (по русски). А поскольку после приговора мы уже «каторжники», то в каземат, занятый «политическими преступниками» (по русски) нам уже «нельзя» (по-русски).

В каземате, занятом уголовниками, царил страшный беспорядок!

Стены буквально кишели клопами и тараканами, а запах – трудно даже представить, и на эти нары, покрытые соломой, кишевшей насекомыми, мы уложили свои израненные тела, без всякой подстилки и перевязки... Чтобы хоть немного перебить страшную вонь спертых воздуха, мы облепили себе

носы лимонными корками – не очень это помогало, но хоть немного.

А наутро произошло ужасное.

Вместе с другими четырьмя товарищами Юзек Лесчинский, приговоренный к 500 батогам, несколько раз терял сознание, его откачивали и не простили ни одного удара.

После экзекуции беднягу без памяти отвезли в госпиталь.

И тут – несчастливый случай! Как раз в этот день в Модлин приехал господин Антоний Лесчинский проведать сына. Это был настоящий шляхтич, холеный и весьма представительный. В Модлин он приехал в собственном отличном экипаже, что очень импонировало Федеренко. Впрочем, господин Лесчинский сумел его расположить к себе дорогими подарками, очевидно, и деньгами, переданными через третьих лиц.

Комендант разрешил господину Лесчинскому свидание с сыном в госпитале, с тем условием, что о подробностях экзекуции и о случае с обмороком речи со стариком не будет.

Но вскоре в госпитальной палате господин Лесчинский уже стонал около ложа, на котором лежал Юзеф, увидев лицо своего красавца-сына, посиневшим и опухшим. А госпитальная обслуга с самой грубой откровенностью, ничуть его не щадя, рассказала о причинах «болезни» Юзефа и к их рассказу примешивались циничные шутки и хохот больных-уголовников. Несчастный отец так и рухнул около кровати сына, сраженный апоплексическим ударом.

Несколько дней он пролежал в доме крепостного лекаря, из Варшавы вызвали врачей, которые его увезли.

Это происшествие взволновало весь Модлин – все сочувствовали несчастному отцу – даже вся крепостная команда...

В среду 14 июня прибыл жандармский офицер с жандармами и забрал пятерых наших братьев, чтобы отвезти в Москву, а потом дальше. В Сиедлицах этот офицер чрезвычайно грубо обошелся с женщинами, которые несколько дней ожидали там

своих мужей, сыновей и братьев, чтобы попрощаться с ними перед отправкой в Сибирь на каторгу. За обиженных женщин вступились жители Сиедлиц, всполошились войска, едва не последовала стычка. Но подробности этого дела мне неизвестны.

Мы все, уже осужденные и батогами поротые, все мы хотели возможно скорее покинуть Модлин; пребывание в этом проклятом месте было для нас еще и опасно, поскольку срок наказания засчитывался только с момента начала самой каторги.

Крепость, Модлин, наш путь к месту казни – все это было ничто! Всего лишь незначительные вехи в дополнение к основному приговору. Хотя наши раны едва затянулись, что неудивительно, – как еще не загноились, – мы готовились в путь.

Мы вызвали на плац майора, который позволил нам зайти в прежний каземат, где еще оставались наши братья.

Какое это было радостное мгновение! Какие приветствия, когда мы вновь встретились с нашими братьями.

Уже в субботу утром 17 июня 1848 года мы ждали прибытия жандармов, но лишь в пятом часу на мосту показались возы. Наступило общее прощание – прощание, которое я, наверное, не забуду до конца дней и стану вспоминать с горечью.

Провожали нас братья сердечно, о, как сердечно они нас провожали! Одни кричали:

- До встречи в Тобольске!

Другие говорили:

- До свидания в Нерчинске, или еще где в Сибири!

Увы, не со многими из них посчастливилось мне встретиться потом... Счастья и радости ничто нам не сулило, каждый из нас знал, что не к тому ведет наш путь...

Перевод с польского М. Кулиниковой.

Продолжение следует...

Бернард Маламуд
ЕВРЕЙСКАЯ ПТИЦА
Рассказ

Окно было открыто, вот тощая птица и залетела в него. Хлоп-хлоп своими потрёпанными черными крыльями. Так это и случилось. Окно открыто - и вы там. Оно закрылось, и это ваша судьба. Птица устало пролетела через открытое кухонное окно верхнего этажа квартиры Гарри Коэна на Первой авеню, ниже Ист-Ривер. На пруте в стене висела покинутая клетка, её дверца была широко раскрыта, а эта чёрная длинноносая птица - её взъерошенная голова и маленькие тусклые глаза, немного косящие, делали её похожей на растрёпанную ворону - села чуть ли не прямо на толстый кусок жареной баранины - во всяком случае, прямо на накрытый стол Коэна.

Продавец мороженных продуктов сидел за ужином со своей женой и маленьким сыном в жаркий августовский вечер год назад. Коэн, крупный мужчина с волосатой грудью и мясистыми ногами, Эди, в жёлтых кожаных шортах и в красной блузке, и их десятилетний Моррис (по имени её отца) - Мори, как они его называли, приятный ребёнок, однако не очень смыслённый - все они вернулись в город после двухнедельной поездки, потому что умирала мать Коэна. Они отдыхали в Кингстоне, штат Нью-Йорк, но приехали обратно, когда Мама заболела в своей квартире в Бронксе.

- Прямо на стол, - сказал Коэн, опуская свою пивную кружку и обрушивая удар на птицу.

- Сукин сын.

- Гарри, обрати внимание на свой язык, - сказала Эди, взглянув на Мори, который следил за каждым движением.

Птица хрипло каркнула и, хлопая волоочащимися крыльями, - перья пучками оставались на её пути, - тяжело поднялась на открытую кухонную дверь, где уселась, уставившись вниз.

- Гевалт, погром!
 - Это говорящая птица, - сказала Эди удивлённо.
 - По-еврейски, - добавил Мори.
 - Толковое пугало, - пробормотал Коэн. Он догрыз свою баранину, потом положил кость. - Так если ты умеешь говорить, выкладывай, что у тебя за дело. Чего тебе здесь нужно?

- Если вы не можете оставить мне бараньей отбивной, - сказала птица, - меня устроит кусочек селёдки с коркой хлеба. Вам трудно будет жить с вашими нервами.

- Здесь не ресторан, - ответил Коэн. - Всё, что я спрашиваю, это что привело тебя по этому адресу?

- Окно было открыто, - вздохнула птица, и через минуту добавила - Я бежала. Я прилетела потому, что я спасалась.

- От кого? - спросила Эди с интересом.

- От антисемитов.

- От антисемитов? - сказали все

- Да, от них.

- Какие же антисемиты среди птиц? - спросила Эди.

- Всекие, - сказала птица, - включая орлов, ястребов и стервятников. А иногда и вороны выключают глаза.

- Но разве ты не ворона?

- Я? Я еврейская птица.

Коэн расхохотался. - Что ты понимаешь под этим?

Птица стала кроткой как голубь. Она молилась без Книги и талеса, но с чувством. Эди склонила голову - но не Коэн. А Мори застыл перед молящейся птицей, глядя на неё одним широко раскрытым глазом.

Когда молитва была закончена, Коэн заметил: «Ни шляпы, ни тфилин».

- Я старый радикал.

- А ты уверен, что ты не дух или не призрак?

- Не призрак, - ответила птица, - однако, с одной моей родственницей однажды случилось такое. Теперь это, слава Богу, позади. Её освободили от бывшего любовника, безумного

ревнивца. Теперь она мать двух чудесных детей.

- Птиц? - спросил Коэн лукаво.
- Почему бы нет?
- Каких же птиц?
- Подобных мне. Еврейских птиц.

Коэн откинулся назад в своём кресле и захохотал.

- Ну и насмешил! Слышал я о еврейской рыбе, но что-то не слышал о еврейской птице.

- Мы когда-то перебрались отсюда.

Птица отдыхала на одной тощей ноге, потом на другой.

- Пожалуйста, может, у вас найдётся лишний кусочек селёдки с маленькой корочкой хлеба.

Эди поднялась из-за стола.

- Что ты собираешься делать? - спросил её Коэн.

- Я помою посуду.

Коэн повернулся к птице. - Так как же твоё имя, если ты умеешь говорить?

- Зовите меня Шварц.

- Возможно, он старый еврей, превращённый кем-нибудь в птицу, - сказала Эди, отодвинув тарелку.

- Да? - спросил Коэн у птицы, закуривая сигару.

- Кто знает? - ответил Шварц. - Разве Бог сообщает нам всё?

Мори встал на свой стул. - Какой вам селёдки? - спросил он с волнением птицу.

- Сядь, Мори, или ты упадёшь, - приказал Коэн.

- Если у вас нет селёдки, я возьму смалец, - сказал Шварц.

- Всё, что у нас есть - маринованная селёдка с луком, - сказала Эди.

- Если вы откроете для меня банку, я поем селёдку в маринаде. Найдётся ли у вас также, если вы не забыли, кусочек ржаного хлеба - корочка?

Эди подумала, что найдётся.

- Покорми его на балконе, - сказал Коэн. И обратился к птице: «Потом убирайся».

Шварц закрыл оба птичьих глаза.

- Я устал, и впереди долгий путь.

- В каком направлении ты держишь путь - на север или на юг?

- Я лечу туда, где есть милосердие.

- Позволь ему остаться, папа - сказал Мори. - Он же только птица.

- Ладно, останься на ночь, - сказал Коэн, - но не дольше.

Утром Коэн приказал птице покинуть дом, но Мори заплакал, и Шварц был на время оставлен. Мори был ещё на каникулах, а его друзья отсутствовали. Ему было одиноко, и Эди обрадовалась, что он мог развлечься, играя с птицей.

- С ним вообще нет хлопот, - говорила она Коэну, - и, кроме того, он очень мало ест.

- А что ты делаешь, когда он хочет гадить?

- Он летит через улицу на дерево и там оправляется, - и если внизу никто не проходит, то кто заметит?

- Ладно, - сказал Коэн, - но я решительно против этого. Я предупреждаю тебя, что он не задержится здесь долго.

- Что ты имеешь против бедной птицы?

- Бедная птица - не дурачь меня. Он хитрый ублюдок. Он думает, что он еврей.

- Какое значение имеет, что он думает?

- Еврейская птица, вот новость. Одно неверное движение, и он рассыплется на косточки.

По настоянию Коэна Шварц жил на балконе, в новой деревянной клетке, которую Эди купила ему.

- Весьма благодарен, - сказал однажды Шварц, - но всё же было бы лучше иметь человеческую крышу над головой. Вы знаете, каково это в моём возрасте. Я люблю тепло, окна, запах кухни. Я был бы также рад посмотреть иногда «Джуиш Морнинг Джонэл» и пригубить виски, потому что оно улучшает моё дыхание, хвала Богу. Но что бы вы мне ни дали, вы не услышите недовольства.

Однако, когда Коэн принёс домой птичью кормушку, наполненную сухим зерном, Шварц сказал: «Невозможно».

Коэн был раздражён. - В чем дело, косоглазый? Или твоя жизнь стала для тебя слишком хороша? Ты уже забыл, что значит быть бродягой? Держу пари с дьяволом, куча ворон, с которыми ты имеешь счастье быть знаком, еврейских или каких других, отдали бы свои зубы, чтобы есть это зерно.

Шварц не ответил. Что можно сказать грубому молодчику?

- Это не для моего пищеварения - объяснил он позже Эди. - Спазмы. Селёдка лучше, даже если она вызывает жажду. По крайней мере, дождевая вода ничего не стоит. - Он рассмеялся грустным каркающим смехом.

И селёдка, благодаря Эди, которая знала, где её купить, была единственной пищей Шварца, с редким кусочком картофельной оладьи, да порой ещё с каплей мясного супа, когда Коэн не видел.

Когда в сентябре начались занятия в школе, Эди, прежде чем Коэн снова прикажет выгнать птицу, убедила его подождать ещё немного, пока Мори привыкнет.

- Нарушение его прав теперь может повредить его школьным занятиям, а ты сам знаешь, какие трудности были у нас в прошлом году.

- Пусть так, но рано или поздно птица исчезнет. Это я тебе обещаю.

Шварц, хотя никто не просил его, взял на себя полную ответственность за успехи Мори в школе. В ответ на пожалованную милость, когда ему позволили бывать в доме час или два вечером, он тратил большую часть своего времени на наблюдение за уроками мальчика. Он садился наверху шкафа возле парты Мори, когда тот старательно писал своё домашнее задание. Мори был непоседливым парнем, и Шварц мягко помогал ему в занятиях. Он слушал также его упражнения на визгливой скрипке, вылетая время от времени в ванную комнату, чтобы отдохнули уши. А потом они

играли в домино. Мальчик был безразличен к игре в шашки, и его было невозможно научить игре в шахматы. Когда он болел, Шварц читал ему комиксы, хотя сам он не любил их. Но школьные дела Мори пошли успешнее, и даже его учитель музыки признал, что его игра стала лучше. Эди похвалила Шварца за эти успехи, хотя птице было фу-фу на них.

И всё же он гордился, что в дневнике у Мори оценки были не ниже тройки, и по настоянию Эди это отпраздновали небольшой выпивкой.

- Если он будет так держаться, - сказал Коэн, - я непременно отдам его в колледж.

- О, я надеюсь на это, - вздохнула Эди.

Но Шварц покачал головой.

- Он хороший мальчик - вам не о чем беспокоиться. Он не будет повесой или насильником, боже сохрани, но и ученым он никогда не будет, если вы понимаете, что я имею в виду - хотя он может быть хорошим механиком. Это не позор в наше время.

- Если бы я был на твоём месте, - сказал Коэн, разозлившись, - я бы держал свой длинный нос подальше от чужих дел.

- Гарри, пожалуйста, - сказала Эди.

- Мое терпение истощилось, черт побери. Этот косоглазый повсюду лезет.

Хотя он был не слишком желанным гостем в доме, Шварц получал свою маленькую порцию, несмотря на то, что внешность его не улучшилась. Он выглядел растрепанным как и раньше, его перья были взъерошены, как будто он только что прилетел из снежной бури. Он тратил мало времени на то, чтобы уделять внимание своей персоне. Слишком большая роскошь думать об этом. «К тому же снаружи есть водосток», - говорил он Эди. Однако в его глазах появилось больше огонька, так что хотя Коэн и продолжал называть его косоглазым, но говорил это менее выразительно.

Учитывая ситуацию, Шварц старался тактично избегать Коэна, но однажды вечером, когда Эди была в кино, а Мори принимал горячий душ, продавец мороженых продуктов затеял ссору с птицей.

- Ради всего святого, почему ты никогда не моешься? Почему ты всегда воняешь, как дохлая рыба?

- Мистер Коэн, прошу прощения, но если кто-нибудь ест чеснок, от него будет пахнуть чесноком. Я ем три раза в день селедку. Кормите меня цветами, и я буду пахнуть как цветы.

- Кто тебя вообще обязан чем-нибудь кормить? Будь счастлив получать селедку.

- Простите, но я не жалеюсь, - отвечала птица, - жалуетесь вы.

- Больше того, - сказал Коэн, - даже отсюда я слышу, как ты храпишь на балконе словно свинья. Это будит меня ночью.

- Храпеть, - сказал Шварц, - это еще не преступление, слава Богу.

- Все равно ты проклятая язва и лишняя обуза. В следующий раз ты захочешь лечь в постель с моей женой.

- Мистер Коэн, - сказал Шварц, - на этот счет вы можете быть совершенно уверены. Птица есть птица.

- Это ты говоришь, но откуда я знаю, птица ты или какая-нибудь проклятая чертовщина.

- Если бы я был дьяволом, вы бы уже знали об этом. И я имею в виду не только хорошие отметки вашего сына.

- Заткнись, ублюдочная птица! - закричал Коэн.

- Грубый молодец! - каркнул Шварц, поднявшись на кончики ногтей и раскинув свои длинные крылья.

Коэн был близок к тому, чтобы свернуть птице шею, но Мори вышел из ванной и, чтобы не нарушать вечернего отдыха, пока Шварц не ушел спать на балкон, сохранялась видимость перемирия.

Но ссора глубоко расстроила Шварца и он спал плохо. Его храп разбудил его и, проснувшись, он с ужасом думал о том, что с ним будет. Желая избежать встреч с Коэном, он находился в клетке так долго, как мог. Стесненный ею, он ходил взад и вперед по карнизу балкона или сидел на крыше клетки, уставясь в пространство. По вечерам, наблюдая за уроками Мори, он часто чувствовал сонливость. Проснувшись, он нервно подпрыгивал, озираясь вокруг. Он проводил много времени в комнате Мори и внимательно осматривал ящики его стола, когда они были приоткрыты. И однажды, когда он нашел на полу большую картонную коробку, Шварц забрался в нее, чтобы исследовать, что с ней можно сделать. Мальчик рассмеялся, увидев птицу в картонной коробке.

- Он хочет построить гнездо, - сказал он матери.

Эди, чувствуя, что Шварц несчастен, поговорила с ним наедине.

- Может быть, если бы вы делали то, что хочет от вас мой муж, вы бы лучше ладили с ним.

- Что, например? - спросил Шварц.

- Например, принимайте ванну.

- Я слишком стар для этого. Мои перья выпадают и без ванны.

- Он говорит, что от вас плохо пахнет.

- От каждого чем-то пахнет. От некоторых людей пахнет тем, что они думают, от других - тем, что они есть. Мой плохой запах - от пищи, которую я ем. А откуда его?

- Лучше не спрашивать его об этом, а то он может прийти в бешенство, - сказала Эди.

В конце ноября Шварц замерзал на балконе в холод и туман, особенно в дождливые дни, когда он просыпался с окоченевшими конечностями и едва мог пошевелить крыльями. Он постоянно чувствовал приступы ревматизма. Он хотел бы проводить больше времени в теплом доме, в особенности, когда Мори был в школе, а Коэн на работе. Но

хотя Эди была добра и могла бы пускать его утром отогреться, он боялся просить ее об этом. Между тем Коэн, который прочитал в газете об отлете птиц, вышел как-то вечером после работы на балкон, когда Эди готовила на кухне тушеное мясо, и, заглянув в клетку, предупредил Шварца, чтобы тот немедленно вылез, так как он знает, что это будет для него же лучше. Время трогаться в путь.

- Мистер Коэн, почему вы меня так ненавидите? - спросила птица. - Что я сделал вам?

- Потому что ты самый первый смутьян, вот почему. И вдобавок, слышал ли кто-нибудь о еврейской птице? Теперь катись или отныне - открытая война.

Но Шварц упорно отказывался улететь, и тогда Коэн начал против него кампанию травли, пока скрывая это от Эди и Мори. Мори ненавидел насилие, и Коэн не хотел произвести плохое впечатление. Он думал, что, может быть, если он сыграет какую-нибудь грязную проделку с птицей, она улетит без применения физической силы. Каникулы закончились, пусть устраивает свою легкую жизнь где-нибудь в другом месте. Коэн беспокоился, как скажется отсутствие птицы на школьных занятиях Мори, но решил положиться на случай, во-первых, потому, что мальчик, казалось, уже привык к учебе - надо отдать должное черному ублюдку - и, во-вторых, потому что Шварц преследовал его повсюду, даже во сне.

Продавец мороженных продуктов начал свою кампанию против птицы с того, что стал подмешивать жидкую кошачью похлебку к ломтикам селедки в кушанье Шварца. Он также разорвал и выбросил из клетки несколько картонных коробок, где птица спала, и когда он испортил Шварцу его добро и нервы, но все же не добился своего, он принес домой здорового кота под видом подарка для маленького Мори, который давно хотел киску. Кот постоянно прыгал на Шварца, когда бы он ни увидел его,

и однажды ухитрился выдернуть несколько перьев из его хвоста. И даже во время занятий, когда кот обычно удалялся из комнаты Мори, он все же так или иначе находил его в конце урока. Шварц был в постоянном страхе за свою жизнь и летал от одной вершины к другой - от люстры к вешалке, оттуда на дверь, всякий раз ускользая от влажной пасти зверя.

Однажды, когда птица пожаловалась Эди, какой опасности она подвергается, та сказала: «Потерпите, мистер Шварц. Когда кот узнает вас лучше, он не будет больше пытаться схватить вас».

- Когда это случится, мы оба будем в раю, - ответил Шварц. - Отдайте мне предпочтение и избавьтесь от него. Он превратил всю мою жизнь в мучение. Я теряю перья, как дерево листья.

- Мне страшно жаль, но Мори любит киску и спит с нею.

Что Шварц мог сделать?

Он мучился, но уйти не решался, боясь остаться без дома. Так он и ел селедку с гарниром из кошачьей похлебки, упорно пытаясь не слышать треска разрываемых коробок, подобного треску пламени возле его клетки, и жил, терроризированный, ближе к потолку, чем к полу, тогда как кот, подрагивая хвостом, без конца подстерегал его.

Прошли недели. И вот, на следующий день после того, как мать Коэна скончалась в своей квартире в Бронксе, а Мори пришел домой с единицей по арифметике, разъяренный Коэн, подождав, пока Эди увела мальчика на урок музыки, открыто напал на птицу. Он гонялся за ней с метлой по балкону, и Шварц неистово метался взад и вперед и наконец укрылся в своей клетке. Коэн триумфально засунул в нее руку и, схватив за обе тонкие ноги, вытащил птицу, которая громко каркала и дико била крыльями. Он

закрутил птицу вокруг своей головы. Но Шварц, летая по кругу, ухитрился броситься вниз, схватил нос Коэна своим клювом и повис на нем, отчаянно спасая свою жизнь. Коэн закричал от сильной боли, ударил птицу кулаком и, дернув ее за ноги изо всей силы, освободил свой нос. Снова он завертел хрипящего Шварца, пока птице не стало дурно, и тогда с размаху швырнул его в ночь. Шварц камнем упал на улицу. Затем Коэн бросил вслед за ним клетку и кормушку, слушая, как они с грохотом разбились внизу о тротуар. Еще целый час, с метлой в руке, бьющимся сердцем и с носом, горящим от боли, Коэн ждал возвращения Шварца, но птица, разбившаяся о камни, не появилась.

- Вот и конец этому грязному ублюдку, - подумал торговец и вошел в дом. Эди и Мори уже пришли.

- Взгляните, - сказал Коэн, показывая на свой окровавленный нос, распухший втрое против нормального размера, - что этот сукин сын сделал. Теперь останется шрам.

- Где он теперь? - спросила испуганно Эди.

- Я бросил его, и он улетел прочь. Счастливого отделаюсь.

Никто не сказал ни слова, только Эди поднесла платок к глазам, да Мори попытался быстро прочитать таблицу умножения на девять и обнаружил, что знает примерно половину.

Весной, когда растаял снег, мальчик, вспоминая о случившемся, бродил поблизости, разыскивая Шварца. Он нашел мертвую черную птицу в маленькой куче возле реки, два ее крыла были сломаны, голова болталась, и оба птичьих глаза были начисто вырваны.

- Кто с вами сделал это, мистер Шварц? - рыдал Мори.

- Антисемиты, - сказала позже Эди.

Перевод с английского Владимира Каганова

**Мэри Кушникова, Ксения Тилло,
Вячеслав Тогулев
«КУЗНЕЦКИЙ ВЕНЕЦ» ФЕДОРА
ДОСТОЕВСКОГО В ЕГО РОМАНАХ,
ПИСЬМАХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКАХ МИНУВШЕГО ВЕКА**

**ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ, ИЛИ...
ОППОНИРУЯ САМИМ СЕБЕ**

Первый газетный очерк одного из авторов о «грозном чувстве» Федора Михайловича Достоевского появился в 1977 году. За ним – еще несколько, затем журнальный вариант и ряд телепередач.

Для «человека со стороны» все реалии нового местообитания воспринимаются более ярко и выпукло. Увидев в Кузнецке останки Преображенского собора и узнав, что совсем рядом стояла Одигитриевская церковь, где Федор Михайлович венчался с некоей Марией Дмитриевной Исаевой, - но церковь была варварски разрушена в 1919 году бандой красного партизана Рогова и окончательно снесена в 1929-м, трудно было не ощутить, что здесь вмешался Рок...

О счастливом браке Федора Михайловича с Анной Григорьевной кто сейчас не наслышан! А вот о его первой жене и о венчании с ней мелькали лишь упоминания, но такие скупые и полные умолчаний, как выяснилось впоследствии, словно речь шла о малозначащем эпизоде, о мимолетном заблуждении, и даже о чем-то малопрстойном, чего лучше бы вообще не касаться – все-таки Достоевский «мировое имя» и – какая-то Исаева из захолустного Кузнецка...

Видели в экспозиции Новокузнецкого краеведческого музея ее фотографию, знакомую одному из авторов еще по Семипалатинску, – но там сфера интересов была иная: дружеские связи Федора Михайловича с Чоканом Валихановым. Здесь же,

рядом с фотографией Исаевой, – фото лиственницы, что стояла возле Одигитриевской церкви и была как бы свидетельницей этого брака...

Ну как же не Рок вмешался в судьбу этой женщины, если ее путь к венчанию с Федором Михайловичем был столь тернист, ее память дважды осквернена в книгах второй жены и дочери Достоевского, церковь, в которой ее венчали, разрушена, и даже ни в чем не повинная лиственница, и та срублена в 1970-е годы, поскольку мешала башенному крану...

Знаменитый в конце 19 – начале 20 вв. русский художник В. Д. Вучичевич-Сибирский, блистательный петербургский щеголь, любимец дам, небезызвестный при Дворе, по совокупности причин, одна из коих – «умыкновение» возлюбленной брата, тоже художника, Евгения Вучичевича, «самосослался» в Томск, где и осел, устраивая выставку за выставкой и пользуясь неизменным успехом.

Вскоре он создал картину «Дом Достоевского в Кузнецке». Что заставило его отправиться в невзрачный уездный город и написать дом, в котором сам Достоевский никогда не жил, а жила Мария Дмитриевна Исаева, по тем временам еще воспринимаемая лишь как досадный эпизод в биографии писателя?

Тут и возникла та самая цепь случайностей, что определяет направленность человеческих поступков, в зависимости от характера каждого.

А было так, что в 1904 году в томской газете юноша Валентин Булгаков, уроженец Кузнецка и сын отставного смотрителя местного уездного училища, ставший впоследствии последним секретарем Льва Николаевича Толстого, опубликовал статью о венчании Достоевского с Исаевой, и это была единственная статья, в которой приводились свидетельства очевидцев.

Шли годы, статья оставалась малоизвестной, – настолько, что в конце 80-х Т. И. Орнатская, – из плеяды блистательных комментаторов 30-томника Достоевского, обратилась к одному из авторов с просьбой найти и выслать эту статью, поскольку

последняя упоминалась в краеведческой книге «Остались в памяти края», но полный текст не приводился. Просьба была выполнена – в Томске нашли газету и сняли ксерокопию статьи.

Но что заставило юного Булгакова взяться за такой сюжет? Причин было несколько. Одна из них – как уже сказано, его отец был смотрителем того самого уездного училища, где некогда работал обожатель Марии Дмитриевны, и потому не мог не знать о на шумевшем «треугольнике» Достоевский-Исаева-Вергунов и, конечно же, юноша от отца эту историю услышал. Кузнечанин по рождению, он встречался с детства со старожилами, которые такой яркий «пассаж» в захолустном городке запомнили надолго.

Другая причина – тесная связь Валентина Булгакова с томским ученым Потаниным, который для Сибири был неким аналогом Л. Н. Толстого для России в целом. Возможно, именно Потанин, – тоже, несомненно, наслышанный о кузнецкой драме, – узнав от своего подопечного юного Булгакова, что его отцу известны подробности странного венчания, вполне мог посоветовать юноше съездить из Томска, где он еще учился, в родной город и записать все, что услышит от жителей Кузнецка.

А что же Вучичевич? Проживая с Потаниным в одном городе, они, как представители местной интеллигенции, конечно же, могли общаться. Будучи сам весьма впечатлительной и – чего уж греха таить! – любвеобильной натурой, не мог художник не попасть, – наверное, как и мы, грешные, под чары этого трагического романа и решил изобразить тот дом, где, если Достоевский и не жил, то обитала там его «муза», объект «грозного чувства»...

Прошло полвека, а аура этой любви все еще витала над маленьким срубом и манила к себе людей чувствительных, с романтическим складом души.

Но Рок тоже пристально следил за этой страницей земного бытия и неослабно вершил начатое.

Картина Вучичевича исчезла. И, несмотря на тщательные поиски, в преддверии юбилейной региональной выставки художника в 1994 году, обнаружена не была. Так, как будто судьбе было угодно стереть малейшие следы злосчастливого романа Достоевского с Исаевой.

Сам же художник зверски убит в 1919 году на своей заимке, но, оказавшись «недобитым», «умер от ран, нанесенных большевиками» в кемеровской больнице, как свидетельствуют два документа, найденных писателем В. Мазаевым в кемеровском архиве.

В кемеровском областном краеведческом музее бытует выставка, посвященная 135-летию В. Д. Вучичевича, притом, что зритель не увидит ни одной из 10 его картин, имеющихся в музее – тогда как их было 30, а остальные исчезли, и по сей день местонахождение их неизвестно.

Так, вполне оправдалось предчувствие – на челе Марии Дмитриевны была печать злого рока и все, кто был близок к ней, любил ее, соприкасался всего лишь с ее посмертной аурой, были постигнуты Роком. Даже художника, что написал ее дом, Он не пощадил. Даже саму картину – как уже сказано, - она исчезла!

Более того. Посмертную биографию Вучичевича тоже не обошла злая судьба. Долгое время о нем не велено было писать, ибо «культурным властям» было не вполне ясно, «белый» он или «красный». Сошлись на том, что его убили белобандиты. Или просто бандиты.

Но вот «всплывают» найденные в архиве документы. И разгорается неприличная дискуссия между апологетами «былых истин» и почитателями документальной точности.

И побеждают люди «позавчерашнего дня». Настолько, что, совсем зачеркнув из всей истории с убийством художника постыдное имя красного партизана и бандита Рогова, чей отряд сжег кемеровскую церковь, в которой, согласно найденным документам, и отпевали убитого Вучичевича-Сибирского, в упомянутой музейной выставке последние два документа,

касающиеся большевистского статуса убийц художника, по сей день не показаны, без объяснения причин.

Злой рок отказал художнику даже в посмертной сатисфакции – да будут названы убийцы убийцами и да будет память о них по делам им (откроем скобку: в газете «Золотые купола», что выходит как приложение к местной областной газете «Кузбасс», недавно появилась статья о партизане Рогове без единого упоминания о его роли в сожжении кузнецких храмов и, в частности, Одигитриевской церкви, где венчался Достоевский; автор ее – один из строителей упомянутой «экспозиции» в музее, в которой, как уже сказано, замалчивается большевистский статус убийц). Рок, рок...

Но вернемся к кузнецкому Дому, где жила Исаева, к которой до бракосочетания в течение двух лет трижды приезжал Достоевский. Посетив этот низенький деревянный сруб в недоумении постигаешь: именно здесь - обиталище не эпизода, не прихоти, а *великой любви писателя*, как это потом выяснилось.

Здесь он не написал ни одной строки. Но, не будь этого дома, над которым шелестел сумрачными крылами все тот же Рок, еще читал ли бы весь мир сегодня череду исповедальных повествований об обнаженнейших до последнего предела, самых тайных, даже стыдных извилин души...

Все более вникая в документы, письма, произведения Достоевского, всякий раз изумлялись великой несправедливости, постигшей эту злосчастную любовь – «грозное чувство» писателя-страстотерпца – не в смысле терзаний тела, - а истязаемости страстями. Ибо все, что делал – делал со страстью - раздираемый борьбой Достоевского с Достоевским...

В тюркском фольклоре бытуют по сю пору два вечных спутника человека – демон зла и демон добра, которые в виде черной и белой птицы, гнездятся на левом и правом плече каждого. И любой благоразумный человек, выходя из дому, бросает по щепотке зерна через плечо – слева и справа, чтобы уравновесить в себе доброе и злое начала. Потому что негоже человеку быть одномерным – рабом зла, равно как и рабом добра. Ибо

добро, содеянное одному – всегда за счет кого-то, кому тем самым причинено зло.

Но разве душа Достоевского не была всю жизнь аренной единоборства двух начал, добра и зла, который делают человеческую жизнь достойной, только будучи в равновесии: не ад, но и не канонное «житие».

И Достоевский весь век подкармливал своих строптивых демонов, но равновесия меж ними достиг ли?

В «грозном чувстве» - особенно...

И романтический флер, овевающий бурный роман Федора Михайловича и Марии Дмитриевны, окутал нас настолько, что пару лет мы ходили, как в чаду, с возмущением в сердце: и это «властители от культуры» называли всего лишь эпизодом в жизни Достоевского!...

Несколько лет шла борьба за сохранение маленького сруба. Объявляли его полусгнившим; объявляли, что весенний паводок залил его выше крыши, и потому надо его разобрать и «перетащить» в более безопасное место. Кстати, - вместе с прочими памятниками, весьма немногими, что сохранились от 18 и 19 веков, в Старокузнецке. Пусть бы была такая «уютная» резервация для памяти вокруг Преображенского Собора. А Собор бы отремонтировать и открыть в нем ресторан...

И тут в помощь нам «взвились» журналисты. В одной телепередаче предлагалось даже назвать ресторан «Старая Крепость», резервацию – «На бабулиных косточках», а в «Доме Достоевского» (в народе его так все называли) устроить бар, где под выпивку сервировать «котлеты по-идиотски»...

Возмущению властей не было предела.

Но мы – уцелели, ресторан не открыли и Дом Достоевского остался на месте.

Мы предлагали отвести этот дом под литературный музей имени писателя, и даже обращались в министерство культуры РСФСР, но некая чиновница с хорошо запоминающейся фамилией недоуменно пожала плечами: «Нельзя же, в самом деле, в каждом доме, где писатель с кем-то целовался, открывать по

музею!».

И это – о «грозном чувстве» Достоевского к Исаевой.

Не стоит утомлять читателя описанием всех перипетий, что сопровождали открытие музея, но музей все-таки был открыт и действует успешно поныне.

Все это мы рассказали лишь для того, чтобы стало понятнее, почему, обуреваемые несправедливостью, допущенной самой историей российской культуры, мы принялись за пристальное «присматривание» к «грозному чувству».

Мы хотели воздать ему должное. Мы хотели воздать должное Марии Дмитриевне Исаевой, нежный и печальный образ которой нет-нет, а потянется к нам взволнованно со страниц множества творений Федора Михайловича...

Так был написан «Черный человек сочинителя Достоевского».

Вполне лицеприятно. Как мы это поняли по прошествии чуть не десяти лет. Исаева казалась нам одной из тех фатальных фигур, что несут на челе знак беды не только для себя, но и для всех, кто им сопутствует по жизни. Впрочем, в этом, похоже, мы не ошиблись, о чем выше.

По мере «присматриваний», все более интриговала нас личность соперника Достоевского, кузнецкого 24-летнего учителя Николая Борисовича Вергунова. Достоевскоеды едва ли не единодушно считали его человеком ничтожным и вполне бесцветным. Даже задушевный друг писателя поры «грозного чувства», барон Александр Егорович Врангель, считал его именно таким. Впрочем, и сам Достоевский иным его не видел, и на всю жизнь «открыл на него счет», чуть не в каждом произведении, в той или иной ипостаси, расправляясь с ним издевательски и круто.

Но ведь Мария Дмитриевна Вергунова любила. За что-то же любила она его, вплоть до того, что до последнего дня перед венцом Достоевский так и не был уверен – выйдет ли за него, или же Вергунов уведет ее прямо из-под венца...

И тут томский архив открыл перед нами свои сокровища. «Весь Кузнецк», со своими страстями, аферами, дружбами и враждами предстал перед нами, спрессованный в безмолвных папках.

И среди прочих – Николай Борисович Вергунов.

Наконец, мы узнали о нем «подноготную». И каким был, и как ему работалось, и сколь пытливым и усердным себя являл, и насколько мог поддаваться, – невзирая ни на молву, ни на грозящие неприятности по службе – ошеломительным порывом, возмущая местный бомонд...

Он не увел Марию Дмитриевну от аналая, нет. Но через самое короткое время после венчания устремился вслед за Достоевскими в Семипалатинск – оказаться поближе к ней.

Были ли они близки с весны 1857 года до лета 1859-го, когда Достоевские покидают Сибирь, – о том свидетельство нет, – кроме того, что после такой отчаянной борьбы за руку и сердце Исаевой Федор Михайлович почти внезапно к ней охладевает. Где те восторженные бредовые слова, что он находил для описания своей любви в письмах к Врангелю, – как только минули считанные месяцы после венчания, и следа их не отыскать...

Возникли загадки. Тем более «загадочные», что по версии второй жены и дочери Достоевского, когда чета направлялась в Тверь из Сибири, Вергунов якобы сопровождал их, а Мария Дмитриевна даже назначала ему свидания от станции к станции. И полную вероятность этого томские документы подтверждали...

Некие чрезвычайные обстоятельства, которые, судя по письму Достоевского к сестре Исаевой, заставили его срочно увезти Марию Дмитриевну из Владимира, где она, почти на пороге смерти от чахотки, едва-едва приходила в себя после тяжелой зимы в столице, где, конечно, самый подходящий климат для чахоточных! Утверждение дочери Достоевского, что к ней приезжал Вергунов...

И что перед смертью она призналась мужу в постоянной своей любви к Николаю Борисовичу и измене Достоевскому...

Загадки, загадки... Мы пристально проанализировали «Дядюшкин сон», «Идиот», «Вечный муж», «Записки из подполья», «Преступление и наказание» и т. д. После изучения писем Достоевского они читались по-другому. Сколки из его писем находили мы в них...

Но мы были еще под дурманом «грозного чувства», хотя уже ясно было, что Вергунов требует себе места в повествовании.

Так была написана книга «Загадки провинции», которую мы считали как бы продолжением «Черного человека».

Если в «Черном человеке» намечались лишь «контуры контуров» романтической и тревожной истории любви, то в «Загадках провинции» контуры приобретали более уверенные черты и внутри них намечались первые «кубики мозаики» составляющей человеческую судьбу.

В данном случае – судьбы. Достоевского, Александра Ивановича Исаева, Марии Дмитриевны Исаевой, Николая Борисовича Вергунова, Анны Григорьевны и Любовь Федоровны Достоевских.

Мы еще внимательнее присматриваемся к воспоминаниям Анны Григорьевны и к книге Любови Федоровны об отце. Кто знает, кто знает...

Говорят, нет дыма без огня. Вергунов сопровождал Достоевских в Тверь? Возможно. Очень возможно. Приезжал во Владимир? Не весьма вероятно, но не исключено. Документы. Еще документы. Мы в поиске...

На чаше весов – «грозное чувство» Достоевского и роковая любовь Марии Дмитриевны к Вергунову. Кому из них удалось пронести через всю жизнь «пылающее сердце» без лжи и изъясна? Мы колеблемся. Мы не хотим ни одним облачком омрачить чарующую легенду об «униженных и оскорбленных». И, сами не замечаем, как едва ли не центральным персонажем ее начинает уверенно выступать Вергунов.

Это он, поставив на дыбы все томское начальство, добивается в кратчайший срок перевода в Семипалатинск под тихое

шипение кузнецкого «высшего общества»: ведь это вслед за ней, за француженкой, за обвенчанными...

Надо полагать, многие неприятности, постигшие его в Семипалатинске – тоже результат, в какой-то мере, того «шлейфа», что тянется за ним из Кузнецка (см. «Загадки провинции»).

Это он, опять-таки делая невозможное, добивается продления каникулярного отпуска и подгоняет его чуть не день в день под момент отъезда Достоевских в Тверь, притом, что Федор Михайлович несколько раз меняет назначенное время поездки, и к новой дате надо вновь приспособиться.

Это он сидит под домашним арестом в предсмертной период Марии Дмитриевны Исаевой. И, хотя пока не найдено никаких документов, которые бы подтверждали, что он побывал у нее, чтобы проститься (Владимир?), причина домашнего ареста не обнаружена, а за опоздание на урок такого наказания не получишь, тем более, будучи на хорошем счету.

И, если верить Любви Федоровне Достоевской, почему-то же призналась Исаева супругу в своей нетленной любви к Вергунову именно незадолго до смерти...

Откуда узнала об этом Любовь Достоевская? Конечно, от матери. А та – от кого? Да от самого Достоевского. Больше не от кого было.

И, наконец, все годы разлуки с Исаевой Вергунов и не думает о женитьбе, и никаких сведений о его любовных связях за эту пору не найдено. И лишь после смерти Марии Дмитриевны в 1864 году, уехав в Барнаул, почти сразу же вступает в брак с девицей из весьма хорошего общества. Так, как будто пока была жива Исаева, он не считал себя свободным.

Мы не знаем также, состояли ли в переписке Исаева и Вергунов за время их разлуки, но в «Вечном муже» находим некий ларчик, в котором покойная героиня романа держала письма от необъявленного возлюбленного. Причем ларчик описан с такой проникновенной точностью, словно он только что стоял на туалетном столике Исаевой...

«Увы, многое ведение – многие печали». Пока писали «Загадки провинции», еще раз «под лупу» прочли всю переписку Достоевского, перешерстили все комментарии, какие только смогли найти.

И волшебный флер, который окутывал для нас «грозное чувство» в течение почти десяти лет, почему-то начал не то чтобы меркнуть, а – утончаться под напором все новых «кубиков мозаики судеб».

«Загадки провинции» укоризненно глядели на нас с полки. Они требовали продолжения. Причем правдивого и нелицеприятного, как на исповеди. Перед нами вновь встал поединок Достоевского с Достоевским и посмертный же поединок Анны Григорьевны с Исаевой.

Здесь не было ни правых, ни виноватых. «Человек есть тайна» – ведь сказано! И каждый из героев этого уже не тревожного, а трагического узла берег свою тайну, как мог. И опять же, как мог, стремился поведать ее миру.

Так Мария Дмитриевна посещает Федора Михайловича из своего загробия, всякий раз, как он берется за перо, с тихой укоризной напоминая о себе, какой была, – «экзальтированной, с «фантастическим характером»...

А Федор Михайлович, садясь за письменный стол, вспоминает былые обиды и былых соперников – первого мужа Исаевой и Вергунова – и вновь, и вновь наделяет их презрительными фамилиями (Мозгляков, Мармеладов, Трусоцкий и т. п.) и жалкими характерами, а, следовательно, – жалкими судьбами.

Ибо – что такое судьба? Цепь поступков, возможных только при таком-то и таком-то характере. Поступки порождают обстоятельства. А обстоятельства обрастают случайностями, которые подворачиваются в добрую или недобрую минуту и определяют исход каждого возникшего жизненного узелка.

И тут поединок Достоевского с Достоевским, наверное, достигал апогея. Он, который искал «нравственного начала», но не мог забыть обид, пытается превозмочь в себе именно злое начало. Но он – гениальный сочинитель! – уже начертал образ, и тот

зажил своей жизнью, и создатель его, Федор Михайлович, обязан воздать ему по делам его, то есть как бы наделить его заслуженной судьбой.

Считали ли себя Достоевский богоравным, поскольку первое всего ценил в человеке Личность, то есть наидрагоценнейшее Я, которое трудно и даже невозможно принести в жертву хотя бы и самому дорогому существу – не смог ведь и он поступить так ради Марии Дмитриевны. . .

Полагаем, что создавая образы, порою, буквально из «живой плоти», он имел право считать себя Демиургом. Но – не считал. Он только пытался превозмочь самого себя и достигнуть совершенства «Князя Христа», и потому, по словам Льва Николаевича Толстого, Достоевский был весь – борьба.

Он добросовестно подкармливал демонов с правого и левого плеча, именно потому что богоравным себя не считал. И когда в героинях, прототипом коих столь явственно читается Исаева, подчеркивает, что, де, «она не женщина, к ней ревновать нельзя», или – она «экзальтированная идиотка, почти сумасшедшая» – это зернышко левому демону, чтоб не очень лютовал и не нарушал мир в семье, где чрезвычайно ревнивая Анна Григорьевна подмечала малейшие оттенки в упоминании об Исаевой.

Но и о правом демоне не забывает мятущийся писатель – сколько возвышенных слов, пронизанных неугасающим чувством, произносит и пишет он, там, где это не затронет его семейного очага. . .

Обо всем этом книга «Кузнецкий венец». И да не покажется читателю, что она – некий противовес «Черному человеку». Она есть лишь продолжение «Загадок провинции», поскольку между контурами, очерченными в «Черном человеке», оставалось столько пространства, заполненного только одними вопросами, которые требовали толкования, если не полной разгадки!

И мы добросовестно попытались это сделать.

Другое дело, что по ходу работы над книгой возникали новые лакуны, которые тоже потребуют, очевидно, дальнейшего

заполнения.

В «Кузнецком венце», например, перед нами предстал некий «подспудный бес», который увязался за Федором Михайловичем из Мертвого Дома и нередко подталкивал: «твое Я первоценнее всего; позволь себе все, что захочешь; устрани все, что мешает!».

Где гнезился сей обитатель тьмы? Очевидно, в подсознании писателя, в том самом «подполье души», куда самому-то, порою, страшно заглянуть.

Иначе как объяснить его абсолютное игнорирование того, что в Италию ездить надо не ему, а умирающей чахоточной Марии Дмитриевне. Но подсознание твердило: «она мешает тебе – так не мешай же свершиться предначертанной ей судьбе». Тем более что брак с Апполинарией Сусловой – вот он, только руку протянуть. . .

В этой книге впервые к «грозному чувству» как бы примешался расчет. Да не шокирует такая двойственность читателя! Не забудем, что поэтический роман связал не подросток, не Ромео и Джульетту.

Достоевскому – 36 лет, Исаевой – 29. Они слишком долго были несчастны. Оба. Каждый по своему. Жизнь была к ним неласкова и многому научила.

Для него речь идет о всей будущности – сможет ли вновь «пробиться» после каторги и ссылки, сможет ли реализовать свой дар, который столько лет бурлит в нем, не находя исхода. Это общий фон его душевного настроения.

А на этом фоне – нежнейшим и незащищенным ростком проклюнулось чувство к Марии Дмитриевне, которое, при его бурном темпераменте, накрыло его как волна накрывает плывца при приливе, и стало поистине грозным шквалом.

Как все это совмещалось? А почему бы – нет?

Ведь это – жизнь.

Исаева, любя Вергунова, – ибо мы считаем, что она «любила любовью» именно его, – выходит замуж за Достоевского, в чувствах которого тоже вполне уверена. Она жалеет его, она

уважает его, она видит – рядом с ним, и ей, и ее сыну будет, наконец-то, жить спокойно.

И она выбирает его. Ничуть не обманывая ни себя, ни Федора Михайловича.

Ибо на то Достоевский – великий «препаратор» человеческих душ, чтобы смочь догадаться: и у Исаевой тоже есть свои «подполья души», и лучше им обоим в эти «подполья» не заглядывать, коли брак уже дело решенное...

Недавно довелось перечитывать в который раз одну из лучших книг Стефана Цвейга – «Мария Стюарт». Поразила сходная обреченность в беде, что и у Исаевой.

Исаеву не казнили на плахе. Удар топором – мгновение.

Ее же казнь длилась семь лет брака с Достоевским, не считая злорочия в сосуществовании с несчастным, слабым, покорным, упрямым и своевольным алкоголиком А. И. Исаевым.

Ее «казнь» длилась посмертно, чуть не в каждом новом произведении Федора Михайловича, вплоть до его кончины.

Причем был он одновременно палач самому себе, поскольку, будучи великим мучителем в любви, по самой своей природе – умел раскаиваться как никто и, сам себе, терзаясь, отпуская свои вины перед Марией Дмитриевной и разве что от этого испытывал наслаждение (раскаяние – есть наслаждение), потому что, похоже, после брака с ней мало какие наслаждения посещали его. Именно – с ней...

Очевидно, легенды могут «выжить», только оставаясь легендами.

Отсылаем читателя к названной книге Цвейга: «В каждом поколении ее (легенду – *авт.*) вновь пересказывают и вновь утверждают; точно не увядающая дерево дает она что ни год все новые ростки; рядом с этой высокой истиной лежит в небрежении бумажная труха исторических фактов, ибо то, что нашло себе однажды прекрасное воплощение, живет и сохраняется в веках по праву всего прекрасного. И когда с годами, вместе со зрелостью, к нам приходит недоверие, и мы пытаемся за трогательной легендой нащупать истину, она

представляется нам кощунственно трезвой, как стихотворение, пересказанное холодной, черствой прозой»... (Стефан Цвейг: Мария Стюарт. М., 1959. – С. 230).

Таким образом, в этой книге мы как бы оппонируем себе, таким, какие писали «Черного человека» и «Загадки провинции». Для нас это тоже был поединок с самими собой, ибо ничего нет печальнее тени, что ложится на абрис прекрасной легенды...

И мы еще раз ужасаемся бездонностью личности Достоевского, о котором, коли судьба позволит, попытаемся написать еще не один раз.

* * *

Эта книга была приурочена к 180-летию великого русского писателя Ф. М. Достоевского, который, как известно, вступил в брак в Кузнецке в 1857 году. 1990-е годы в краеведении прошли под знаком неослабного интереса к его фигуре. Тому доказательство – десятки статей, так или иначе касающихся «кузнецкого венца», завершившего бурный роман Достоевского и его первой жены Марии Дмитриевны Исаевой. На эту тему появилось также несколько книжек и специальный аннотированный указатель литературы «Кузнецк в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского».

Особенно знаменательным и богатым на события оказался 175-летний юбилей, когда после многих препон и газетных «боев» удалось-таки довести до конца реставрацию Дома Достоевского в Новокузнецке и подготовить под сенью этого памятника истории образно-сюжетную экспозицию при помощи московских художников-макетчиков.

Равно избежали грозившего переименования Дома Достоевского в дом Исаевой, а то и хуже – «дом сапожника Соловьева», по имени фактического его владельца, что лишило бы музей литературно-мемориального статуса – зато все было бы «по науке», как уверяли доморощенные спецы от культуры – ведь

«сам-то сочинитель там не жил».

Немалых трудов стоило краеведам и журналистам нейтрализовать попытки чиновников подчинить этот дом новокузнецкому городскому краеведческому музею.

Прошедший недавно 180-летие отмечено, увы, куда скромнее. Отношение к памятникам истории в Новокузнецке оставляет желать лучшего. Видно, такова уж исконная традиция со времен, когда в Новокузнецке сгорел Народный Дом имени Пушкина и снесены были другие дома XVIII-XIX вв. на Базарной площади.

За период меж «торжествами» произошло огорчительное событие. В 1998 году при сверхстремительной реставрации Крепости, которая считалась символом города уже потому, что была видна из любой его точки, «сокрушили» церковный надвратный комплекс.

Напомним: этот памятник почти современен пребыванию Достоевского в Кузнецке и писатель не мог не впечатлиться его абрисом во время кратковременных побывок здесь. На месте истребленного комплекса в Крепости выстроен сомнительный «павильон», напоминающий мечеть, где в большом ходу «балалаечная парадная культура», что вновь затмевает истинные культурные ценности. Это тоже печальная традиция - она, как обычно, возникает на руинах былого величия.

... А ведь, помимо всего прочего, в названной Надвратной церкви исповедовали и отпевали арестантов, и именно это роднило Кузнецкую Крепость с тем «Мертвым Домом», который так горько удалось узнать в Сибири Достоевскому. Разрушать то малое в Кузнецке, что было ему родственно - кошунственно...

Привял, похоже, интерес чиновников к Дому Достоевского и заботиться о нем перестали. Последний раз экспозиция музея радикальным образом «подновлялась» в 1996-м году. После чего практически никаких средств на закуп экспонатов новокузнецкие культурные власти не выделяли. Между тем, в интерьере музея очень и очень мало типологических

предметов того времени, когда Достоевский бывал в Кузнецке в пору его знаменательного венчания.

Повторимся: трепетного отношения к былому в этом городе ожидать трудно. Снос останков кузнецкой крепостной церкви в 1998 году – надругательство над памятью того же ряда, что и разрушение Одигитриевского храма в 1929-м году – храма, в котором Достоевский как раз и венчался. Связь между подобными событиями – очевидна; она доказывает, что в нашем местечковом «феномене провинции» за почти что восемьдесят лет если что и изменилось – то, увы, не к лучшему...

Глава первая ОБРАЗЫ

Письма Достоевского и его сочинения – основные, «прямые» источники по истории «кузнецкого венца». Поэтому, прежде чем перейти к его отражению в публикациях исследователей только что минувшего XX века, - к тому, какие при этом возникали концепции, как они менялись, а также преломлялись на местном «краеведческом» уровне, - нужно пристально взглянуть в путь, что привел великого писателя и его избранницу к аналогу Одигитриевской церкви, и коснуться упомянутых «прямых источников» в нарочито беглом обзоре. Более подробный их анализ – во II томе нашей книги...

«Дядюшкин сон»

Это одно из первых сочинений Ф. М. Достоевского, в котором отражена «кузнецкая коллизия». Как писала еще в 1972г. достоевсковед Н. М. Перлина, замысел «Дядюшкиного сна» возник в Семипалатинске в 1855 году, когда Достоевский вознамерился написать «комический роман». Но параллельно развивался его собственный роман въяве с Марией Дмитриевной Исаевой, причем бурно и тревожно.

Неожиданно овдовев в Кузнецке и, несмотря на доверительные и более чем нежные отношения с Достоевским, она

сблизилась с красивым молодым учителем Николаем Борисовичем Вергуновым.

Возможно, у многих-иных – особенно после опубликования Л. Ф. Достоевской сенсационных подробностей о «любовном треугольнике» Достоевский-Исаева-Вергунов – связь Достоевского с Исаевой тоже могла вызвать усмешки.

Но была ли она столь уж «смехотворной» для самого Достоевского и для его возлюбленной, и, стало быть, получился ли вообще задуманный в ту пору «Дядюшкин сон», согласно чаяниям автора, именно «комичным», или, напротив, скорее щемительным. . .¹

«Комический роман»

«Комичность» задуманного, возможно, виделась Ф. М. Достоевскому потому, что «любовный треугольник», присутствующий в «Дядюшкином сне», намечается одновременно и в судьбе самого писателя. Но – только намечается. Над ситуацией еще можно подшучивать.

В своем романе (повести) Достоевский, как справедливо указывает Н. М. Перлина, изобразил старого «неудачного жениха», который «молодится» изо всех сил. «Таким образом, фигура князя (персонаж «Дядюшкиного сна», - авт.) в какой-то мере была для автора своеобразной «маской»: рассказывая об увлечении князя, Достоевский соотносил его, по-видимому, с собственным «запоздалым» романом с М. Д. Исаевой, высмеивая в лице своего героя себя. . .» – считает Н. М. Перлина.²

Впоследствии вторая жена писателя А. Г. Сниткина очень не любила этот роман, не скрывая, что ощущает желание Достоевского отождествить себя с героем «комического» повествования. Чрезвычайно ревниво относившаяся к прошлому супругу, юная А. Г. была на диво интуитивна и в «Дядюшкином сне» живо улавливала подспудную горечь, которой напитывался (не исключено, что сперва даже забавлявший автора) треугольник вьяве.

Превращение комедии в трагедию

По мере того, как Достоевский всё более свикался с мыслью, что его возлюбленная не порвала отношений с Н. Б. Вергуновым (который после кузнецкой свадьбы стремительно уезжает вслед за четой Достоевских в Семипалатинск), по мере того, как укрепляются подозрения писателя о продолжении их связи, задуманный «Дядюшкин сон» всё менее походит на «комичный роман» и трансформируется если не в трагедию, то в саркастический памфлет, - в нем Достоевский беспощадно разделяется со своим реальным соперником, причем в двух ипостасях – Мозглякова и учителя Васи (заметьте особо – ведь и Вергунов был учителем!). Расправляется настолько круто, что Васю даже «умерщвляет», а Мозглякова ставит в самое подлое и жалкое положение.

Атмосфера в «жизненном» треугольнике накаляется. Всего через три месяца после венчания с М. Д. Исаевой Ф. М. Достоевский оставляет молодую жену, - а ведь он ее так отчаянно домогался! - и в конце мая 1857 года отправляется в отпуск в форпост Озерный «для излечения от застарелой падучей болезни».

Итак, Достоевский – за 16 верст от Семипалатинска, а Вергунов в Семипалатинске наедине с Исаевой.³

В форпосте Озерный

Именно вдали от этой пары Достоевский продолжает писать «Дядюшкин сон» об обманутом старом князе. Очевидно, - факты взаимосвязаны, о чем говорит некое обстоятельство.

Через несколько дней, после отъезда из города, где он покидает М. Д. Исаеву с соперником Вергуновым, Достоевский 1 июня сообщает в письме к Е. И. Якушкину о стремлении дописать «один роман», потому что «Другим же я ничем (литературным) не занимаюсь теперь, кроме этого романа, ибо сильно лежит к нему сердце».

Да и мог ли Достоевский в ту пору думать о чем-либо другом, как о том, что так прямо и больно его касалось. . .

Известно – душевные переживания действеннее всего сублимируются в творчестве. И писатель «препарирует» обидчика, равно и свое собственное двусмысленное положение в романе, который давно перестал быть комическим...⁴

«Отвращение к повести»

По мере того, как связь Исаевой с Вергуновым всё более удручала Достоевского, ему уже ненавистно само отражение «яви» в «Дядюшкином сне», что весьма прозрачно проглядывает в его письме к брату М. М. Достоевскому от 13 декабря 1858 г.: «Уведомил я тебя в октябре, что 8-го ноября непременно вышло тебе повесть. Но вот уже декабрь, а моя повесть не кончена. Многие причины помешали. И болезненное состояние, и нерасположение духа и провинциальное отупение, а главное, отвращение от самой повести. Не нравится мне она, и грустно мне, что принужден вновь являться в публику так нехорошо. Грустнее всего то, что я принужден так являться».⁵

Заметим: «нерасположение духа», – ведь Вергунов переселился в Семипалатинск, а какие это может иметь последствия – кто бы знал...

О «нехорошем явлении в публику»

Примечательно, что Достоевский считает, будто выход в свет «Дядюшкиного сна» – «нехорошее явление в публику». Не потому ли, что в повести отражена, – истинная или домысленная, – скандальная связь М. Исаевой с Вергуновым, о чем «бомонд», по крайней мере кузнецкий и семипалатинский, уже давно наслышан? Но что же Достоевского заставляет, а, вернее, даже принуждает, – о чем он пишет, подчеркивая, – так «нехорошо являться в публику»? Перворядно «смятение духа» – от него он пытается разрядиться в романе.

Но – не только. Возможно, писатель полагает, что расправа с «прелюбодеями» если не в жизни, то хотя бы в романе принесет ему некую сатисфакцию в глазах хоть и «поганого», но общества, которое он может презирать – но ему в нем жить. Отсюда и

«принуждение»...

А была ли «нехорошость»?

Вполне вероятно, однако, что Достоевский сам осознает: дал волю подозрениям, не имея пока никаких улик, и все-таки расправился в повести, возможно, с не повинными Исаевой и Вергуновым только оттого, что последний «ринулся» из Кузнецка в Семипалатинск «вслед за обвенчанными Достоевскими», что могло быть истолковано как «сюжет» для сплетен.

Стало быть, и он, подстать местным кумушкам, тоже клеветает – а это и есть *нехорошее* дело. Но тогда почему Достоевский *вынужден*, как он пишет, «нехорошость» обнародовать? Не как урок ли на будущее для М. Д. Исаевой, потому что если даже и прерваны её связи с Вергуновым – но ведь были же они, были? А при подозрительности Достоевского любая тень сомнения вырастает в повод к самомучительству и сведению счетов...

«Нарочитое выдумывание»

В том же письме Достоевского к брату – весьма любопытный акцент: «И для денег я должен нарочно выдумывать повести». Курсив – Достоевского. Следует ли понимать, что «Дядюшкин сон», о котором Достоевский сообщает – лишь нарочитая выдумка? Чтобы «потерзать» Марию Дмитриевну и её бывшего возлюбленного Вергунова, да еще получить гонорар – но ради денег можно было «выдумать» и другой сюжет, менее сходный с собственной ситуацией.

Думается, это странное «за деньги» – всего лишь камуфляж. То есть про себя писатель знает, – всё так, увы, как в далеко не смешном «комическом романе». Но Достоевский не хочет, чтобы брат, наверное, уже наслышанный о «треугольнике», потерял уважение к М. Д. Исаевой, ведь он этот брак никак не одобряет...⁶

«Понравился мне мой герой...»

Таким образом, завершение работы над «Дядюшкиным сном» оказалось совсем «невеселым» и уж никак не

комическим. Что этому способствовало – реальные жизненные обстоятельства: связь Вергунова с Исаевой, - или всего лишь подозрительность Достоевского, который не был так «свеж и красив», как Вергунов?

И получилось: «начав за здоровье, кончил за упокой». «Я шутил начал комедию, - сообщал Достоевский Майкову 18 января 1856 г., - и шутил вызвал столько комической обстановки, столько комических лиц и так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась, собственно для удовольствия как можно дальше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни. Короче, я пишу комический роман...».

Но восторженный и романтический период в отношениях с М. Д. Исаевой закончился. Куда быстрее, чем можно было ожидать. Автор не смеется над злоключениями князя, а, скорее, сокрушается. И повесть стала Достоевскому в тягость...⁷

Попытка разрыва

Символично, что «Дядюшкин сон» опубликован весной 1859г. То есть в ту самую пору, когда Достоевский собирался уезжать из Сибири. Роман увидел свет в марте, и тогда же Достоевский признался брату, что хотел бы выехать из Семипалатинска уже в апреле, но планам не суждено было сбыться «по случаю замедления отставки». Покидая «Семипроклитинск» - так он называл этот город, - Достоевский, конечно, надеялся на разрыв отношений между Исаевой и Вергуновым.

Завершение очередного жизненного витка (отъезд из Сибири) и окончательное избавление от соперника должны бы совпасть по времени с «ударом», который нанесен Вергунову в «Дядюшкином сне».

Однако - надежды оказались тщетны. Как свидетельствуют иные источники, связь М. Д. с Вергуновым длилась чуть ли не до её смерти, о чем – ниже, а «третий лишний» так «взрастёт» в подсознание Достоевского, что станет как бы «кошмаром» писателя на протяжении всей жизни. Поскольку он - отнюдь не

лишний, а – необходимый для Исаевой. Возможно, поэтому во многих романах Достоевского прослеживается тень извечного любовного треугольника...⁸

Интерьер «Дядюшкиного сна»

Как справедливо указывает Н. М. Перлина, обстановка в доме Москалевых из «Дядюшкиного сна» близка к картинам П. А. Федотова. Сегодня на повестке дня – создание интерьера в Доме Достоевского в Новокузнецке (одно из музейных зданий – двухэтажный особняк XIX века). Поскольку предметов первой половины и середины XIX века там чрезвычайно мало, при посещении залов чувство «погружения» в иной временной пласт, в обиталище давно отзвучавших событий зрителя не охватывает.

Между тем, такое чувство обязано возникать. Без него невозможно передать посетителю то, что называется «ароматом времени», и говорить с ним на «языке минувших лет». А «Дядюшкин сон» – одно из наиболее близких к «кузнецкому венцу» произведений, и потому стоило бы задуматься над формированием обстановки в том ключе, какой указан Н. М. Перлиной (то есть по типу изображенного на картинах Федотова, или, хотя бы, воспроизведенного в известном альбоме-каталоге «Убранство русского жилого интерьера XIX века», изданном в Ленинграде в 1977 году). Это было бы тем более уместно, что Достоевский с Федотовым был знаком лично.⁹

«Мое имя стоит миллиона...»

Как оценивал написанное в «Дядюшкином сне» сам Достоевский «спустя годы», и как относился к отраженному в романе «треугольнику»? Из письма М. П. Федорову выясняется, что уже в 1873 г. «единственной серьезной фигурой во всей повести» он считал старого князя (то есть - себя!).

Всё это очень «по-Достоевскому», которому, при его натуре, мятущейся и сомневающейся, свойственна была чрезвычайно

высокая самооценка: «моё имя стоит миллиона» - его слова. Попутно он сообщает Федорову, что выступает против постановки такого «водевильника» на сцене.

Понятно: ни Вергунова, ни Исаевой нет в живых, и высмеянный Достоевским «треугольник» как-то негоже подавать как комедию после кончины «главных обвиняемых»...

Впрочем, иные читатели (например, В. Д. Писарева) двадцать лет спустя по опубликовании «Дядюшкиного сна» все-таки «хохотали» — не подозревая, конечно, что потешаются над усопшими...¹⁰

«Замечательная невинность»

Из упомянутого послания Достоевского к Федорову от 19.09.1873г. узнаем также, что писатель считал «Дядюшкин сон» «вещичкой голубиною незлобия и замечательной невинности». Остается только догадываться, как на такую «незлобивость» реагировала М. Д. Исаева, человек довольно высокого интеллекта и весьма интуитивный, — уж она-то, конечно, вряд ли могла простить Достоевскому своё поруганное чувство к Вергунову, с которым Достоевский так лихо расправляется в отнюдь не смешном «комическом романе».¹¹

«Село Степанчиково и его обитатели»

Одновременно с «Дядюшкиным сном» писалось «Село Степанчиково и его обитатели». Достоевсковед И. З. Серман в 1972г. подчеркивает, что любовь к М. Д. Исаевой (и, очевидно, подразумевающиеся бури вокруг пресловутого «треугольника») мешали Достоевскому заниматься литературным творчеством: «... длительная и драматическая по своему характеру любовь к будущей жене М. Д. Исаевой — всё это не давало Достоевскому сосредоточиться на выполнении своих обширных литературных планов».

Но, быть может, — наоборот; не из собственных ли жизненных коллизий, непременными участниками коих были и Исаева, и Вергунов, черпал Достоевский сюжеты для своих

романов? И не послужила ли именно «драматичность» чувства Достоевского, поминаемая у И. З. Серман, залогом успеха, который снискали его сочинения на годы вперед?¹²

«Страстный элемент»

18 января 1856г. Достоевский поделился с А. Н. Майковым замыслом по созданию романа «со страстным элементом». Из этого «плана», как известно, выкроились две крупные вещи: «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково». В 1856г. Достоевский аттестовал будущее «детище» не иначе как «моим главным произведением».

Напомним, что мысли и взоры Достоевского прикованы к Кузнецку и обитающей там М. Д. Исаевой. Не отсюда ли уверенность, что задуманное вскоре осуществится, ведь питательная основа для пылкого вдохновения — налицо: любовная интрига с М. Д. Исаевой в самом разгаре. Но вот «страсти» улеглись, венчание состоялось и на смену эмоциональным бурям пришла проза жизни. Романтика оттеснена буднями, так что завершение рукописи оттягивается надолго.¹³

Охлаждение к М. Д. Исаевой

Психологически оно вполне вычислимо. Как уже сказано, в конце мая 1857 года Достоевский уезжает в Озерный форпост, оставляя жену в Семипалатинске на целых два месяца — и это когда со дня венчания не прошло и ста дней! И именно тогда из Кузнецка в Семипалатинск, поближе к М. Д. Исаевой, как мы знаем, перебирается её бывший возлюбленный Н. Б. Вергунов, и злая молва его переезд толкует по своему (подробнее см. «Загадки провинции», 1996).

Похоже, как раз потому, что поездка Вергунова в Семипалатинск была столь стремительной, понятно, почему как раз в мае 1857г. Достоевский начинает лихорадочно писать «Село Степанчиково». Очевидно, по-прежнему спешит дать ответ «обществу поганому», которое донимает его сплетнями, и он мстит вольным или невольным виновникам пересудов — М. Д. и её

обожают. В письме к Каткову 11 января 1858г. Достоевский пишет: «Но в мае месяца прошлого (т.е. 1857-го, - авт.) года я сел работать начисто», тогда же и было окончательно решено, что из «комического романа» выделяется «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково».

Однако, несмотря на желание поскорее закончить работу и вынести язвительный приговор былым или сегодняшним «обидчикам», эмоциональные «всплохи» гаснут, и рукопись вновь откладывается в долгий ящик.

Возможно, безмерная любовь к Исаевой, омраченная вероломством Вергунова, следовавшего за ней в Семипалатинск, сменяется охлаждением (побывка в форпосте Озерном) и все-таки стремлением как можно больше расправиться с партнерами по тайной страсти, изобразив их гротесково и зло. Но «время лечит», отпуск в форпосте приводит нервы в порядок, и «страстный роман» откладывается в дальний угол до поры...¹⁴

«Мучительный» роман

Мы уже приводили собственные оценки Достоевского по поводу своего «семипалатинского» творчества, сделанные им в 70-е годы. Подумать только – «Дядюшкин сон» он уже называет «водевильчиком» и комедией!

А ведь «Дядюшкин сон» – часть именно того первоначального «страстного романа», куда входило также и «Село Степанчиково». События, переживаемые Достоевским в те поры столь бурны, а их отражение столь прозрачно, что как-то не верится, будто бы он всерьез считал произведения тех лет легковесными.

Достоевский лукавил. Действительность была иной. Из письма Достоевского к брату от 18 января 1858г.: «Роман мой... оставляю до времени. Не могу кончать на срок! Он только измучил бы меня. Он уж и так меня измучил. Оставляю его до того времени, когда будет спокойствие в моей жизни и оседлость. Этот роман мне так дорог, так сросся со мною, что я ни за что не

брошу его окончательно... Слишком хороша идея и слишком много он мне стоил, чтобы бросить его совсем».¹⁵

Звучит искренне: роман выяве не просто измучил Достоевского – его отражение «на письме» действительно «слишком много ему стоило», ведь пришлось вновь и вновь пережить уже единожды выстраданное...

Почему – «мучительный»?

Итак, задуманное повествование (точнее, две его составные части, в том числе «Село Степанчиково») Достоевского «измучило», потому что в жизни его «нет спокойствия». И зачем именно в разгар творческого подъема Достоевский на два месяца удаляется от молодой жены в далекий форпост «лечиться»? Да и странное это «лечение». Эпилепсия – болезнь «нервическая». Достоевский же в Озерном только тем и занимается, что, создавая своих «героев», ворошит не зажившие душевные раны. Отсюда, видимо, и то, что роман «много мне стоил».

Но он же не окончен, да и задумывался как комедийный, легкий. Однако, если учесть, что смеялся Достоевский прежде всего над собой (старый, обманутый князь в «Дядюшкином сне»!), то всё станет на свои места. О себе писать с иронией мучительно.

А вот - если приоткрыть завесу над тайнами треугольника, причем самому, на глазах у всё понимающих «мордасовских кумушек», да притом в форме, которая всеми (кроме прямых, тогда еще живых прототипов) должна восприниматься как нечто вроде водевиля – иное дело.

Если «водевильчик», значит – это не обо мне, не обо мне, такая, знаете ли, ухмылка судьбы...¹⁶

«Уничтоженный» роман

И. З. Серман привлекает внимание читателей Сочинений Достоевского к примечательному месту из письма Ф. М. брату от 9 октября 1859г., в котором говорится, что «роман тот уже уничтожен». Очевидно, речь идет не о романе, а только о новой

литературной задумке, проекте, - но Достоевский с какого-то времени по непонятной причине считает его неосуществимым.

Обратим внимание на дату: 1859-й - судя по всему, последний год, когда М. Д. Исаева виделась с Н. Б. Вергуновым в Семипалатинске, хотя бытовала версия, что Вергунов сопровождал её из Семипалатинска до Твери - и всё это происходило (если происходило!) тоже в 1859 году.

План, стало быть, мог родиться в Семипалатинскую пору. И диктовался отношениями Исаевой, Вергунова и Достоевского. Но вот соперник устранен окончательно и на жену Достоевского больше посягать не станет, - по крайней мере, именно так думает писатель. Замысел рушится, поскольку - бесполезен. К чему воевать с «теньями», если они уже не опасны?¹⁷

Но - «уничтоженный» ли?

Впрочем, И. З. Серман полагает, что идея романа-исповеди, рожденная в семипалатинскую пору, по-прежнему существует, несмотря на утверждения Достоевского, что, де, с этим планом покончено. В подкрепление приводятся письма, из коих следует, что намерение сочинить истинно «страстный роман» не реализовано. Про «страстный элемент» Достоевский писал еще в 1856-1857 гг., и, значит, он продолжает «болеть» старой темой, навеянной именно коллизиями любовного треугольника?

Серман считает, что сюжетной линией будущего романа-исповеди Достоевского должна стать любовная история с М. Д. Исаевой. Но ведь она немыслима без третьего персонажа - Вергунова. И, стало быть, даже после отъезда из Семипалатинска Достоевский все равно живет реалиями той поры, когда «треугольник» существовал въяве!

Смеем предположить, что «запал», полученный в Кузнецке и Семипалатинске, Достоевский будет чувствовать до конца дней - не оттого ли тема «треугольника» прослеживается почти во всех его крупных произведениях? И. З. Серман, по крайней мере, не отрицает, что «страстный элемент» (категория семипалатинской и кузнецкой поры!) вошел в замысел «Униженных и

оскорбленных», с чем нельзя не согласиться. Узнав в Кузнецке и Семипалатинске, что такое истинно пламенное чувство и с крайне болезненными симптомами, Достоевский, однако же, будет анализировать и описывать его проявления отнюдь не только в «Униженных и оскорбленных»...¹⁸

«Униженные и оскорбленные»

И. З. Серман находит, что в «Униженных и оскорбленных» «писатель вместил такое количество автобиографического материала, какого ранее он никогда еще не предлагал вниманию читателя».

Однако вывод И. З. Серман, возможно, и ошибочный: автор не оговаривается или почти не оговаривается, где именно и на какой странице - материал есть подлинный сколок собственной жизни, а где - «выдуманный».

Думается, вся проза Достоевского в той или иной мере - отражение истинных событий и персонажей, насколько это возможно в художественном произведении. Вряд ли до «Униженных и оскорбленных» Достоевский больше «сочинял», чем высказывал сокровенное - неужели менее автобиографичен «Дядюшкин сон»? Или - «Село Степанчиково»? На волне наибольших душевных потрясений, вызванных и «Мертвым Домом», и страстью к Исаевой, и соперничеством с Вергуновым, - творчество Достоевского не могло быть «придуманным», «воображенным»...¹⁹

«Преображенные эпизоды»

И. З. Серман, ссылаясь на выводы достоевоведа А. С. Долинина, считает, что в «Униженных и оскорбленных» Достоевский описал свои отношения с М. Д. Исаевой: «Центральный образ «Униженных и оскорбленных», «неудавшийся литератор» Иван Петрович, как бы синтезирует две эпохи жизни самого Ф. М. Достоевского: факты литературной деятельности, мытарств и тягостей писательства, выпадающие на долю Ивана Петровича, взяты из воспоминаний Достоевского о его

литературной молодости, история же отношений Ивана Петровича и Наташи, и его самоотверженной любви, по мнению А.С. Долинина, в той или иной мере в преображенном виде воспроизводит эпизоды отношений между Достоевским и его будущей женой Марией Дмитриевной».

Остается загадкой, в какой именно мере воспроизводилась Достоевским «на письме» тончайшая паутина связей и связочек, соединявших Ф. М. с М. Д. Ведь они никогда не были «ровными» друг к другу, и Исаева начала 1856г. вызывает в Достоевском совсем другие ощущения, нежели три месяца спустя после венчания. Нельзя не отметить также, что Исаева к моменту создания «Униженных и оскорбленных» еще жива, и Достоевский, следовательно, не может её «препарировать» в открытую, всячески вуалируя свои действительные чувства к ней, дабы читатели не догадались, «кто есть кто» в его романе...²⁰

Извечность «треугольника»

И. З. Серман подмечает некоторые черты сходства между «Белыми ночами» и «Униженными и оскорбленными»: «По психологическому рисунку отношения между Иваном Петровичем, Наташей и Алешей близки к отношениям Мечтателя, Настеньки и её возлюбленного в «Белых ночах»...». Иными словами – «треугольник» описывался Достоевским не только после коллизии Исаева-Вергунов-Достоевский, но и задолго до того, то есть в 40-е годы.

Не означает ли это, что «тройственность» в любовных отношениях – извечная «идея-фикс» Достоевского, и что не память о Вергунове с Исаевой повлекли за собой череду подобных же персонажей в его романах, а, напротив, сам «кузнецкий венец», мучительный и странный, возник как следствие своеобразных представлений Достоевского о любви и ревности вообще. Поскольку «идея треугольника» гнездилась в его подсознании еще в 40-е годы, Достоевский попытался «проиграть» означенный сценарий в жизни уже в годы 50-е, причем набрался столь жгучих впечатлений, что ему хватило их на десяток книг,

вплоть до его кончины...²¹

Странные совпадения

Мы уже подмечали, что Достоевский принимался за реализацию намеченных литературных планов (либо возобновлял таковые) именно в тот момент, когда контакты с М. Д. Исаевой претерпевали явный кризис.

Вспомним: к «Дядюшкиному сну» он приступает вплотную в конце мая 1857г., отправляясь для «лечения» в форпосте Озерном – на самом деле, возможно, выказывая великодушие (не желает мешать продолжению романа Исаевой с Вергуновым), либо в порыве гнева – вот уж кого он не чаял видеть рядом с ней, так это кузнецкого соперника! И в «Дядюшкином сне» расправляется с Вергуновым, выставив перед всем светом личностью ничтожной. Аналогичная история с «Униженными и оскорбленными».

Известно, что в «Сибирскую тетрадь», давно законченную, Достоевский 6 сентября 1860г. вносит запись: «Еheu. Отъезд М(аши) 6 сентябр(я) 1860». Имеется ввиду отъезд Исаевой в Москву после увлечения Достоевского А. И. Шуберт. Промелькнувшее латинское слово переводится как «Увы!». Стало быть, отношения с Исаевой в очередном тупике. То, что это «Увы!» находим в «Сибирской тетради» – вполне оправдано. Достоевский пользовался ею, когда работал над «Записками из Мертвого Дома», а как раз сразу же после отъезда Исаевой в Москву промелькнуло сообщение, что публикация очередной части этого произведения Достоевского по цензурным соображениям откладывается.

10 сентября 1860г. (на четвертый день после отбытия М. Д.!) Достоевский сообщает А. П. Милкову, что «приступает к писанию» «Униженных и оскорбленных», где – отражение связи с Исаевой и извечного «любовного треугольника». История с «Дядюшкиным сном» фатально повторилась. Отсутствие Исаевой, либо видимое охлаждение меж ними подвигают Достоевского вести с нею диалог «романно», и он тут

же берется за перо...²²

Еще одно совпадение

В 1864г., в апреле, М. Д. Исаева скончалась. Как справедливо отмечает достоевсковед Е. И. Кийко (1973), в феврале 1864г. Достоевский признается, что начатые им «Записки из подполья» не пишутся и оправдывает творческое бессилие собственными недомоганиями и болезнью жены. Очевидно, он еще не знает наверняка, что М. Д. Исаева умрет, но, наблюдая, как она мучается, сочувствует ей, так что отношения их, хотя и с огорками, нельзя назвать «разрывными».

Но вот в марте 1864г. Достоевский информирован точно: Исаева «не дотянет даже до Пасхи». Роковыми прогнозами он делится с М. М. Достоевским 20 марта 1864г. и попутно сообщает: «Сел за работу, за повесть», то есть – за «Записки из подполья», где опять-таки прослеживается его драматическая связь с Исаевой, причем уже накануне её смерти писатель докладывает брату, что «пишет с жаром» (письмо от 2 апреля 1864г.). Иными словами: ситуация пограничная, такая же, как в мае 1857г. или в сентябре 1860г., когда предполагаемая измена супруги с Вергуновым послужила импульсом для создания «Дядюшкиного сна», а отъезд М. Д. в Москву (то есть фактический разрыв, пусть даже временный) тотчас же простимулировал начало работы над «Униженными и оскорбленными». Но на этот раз ситуация драматичнее: Исаева обречена и Достоевский наблюдает за её постепенным угасанием. Именно в тот момент она, по одной из версий, рассказывает мужу о любви к Вергунову. И Достоевский опять берется за перо. Так рождаются «Записки из подполья», в коих опять-таки обнаруживаем, в едва завуалированной форме, отголоски взаимомучительства, свойственного роману Достоевского с Исаевой, и следы извечного треугольника...²³

Образы других женщин

Разные исследователи в разное время подчеркивали, что «увлечения» Достоевского другими женщинами (А. И. Шуберт,

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

А. П. Суловой, А. В. Корвин-Круковской) также находили отражение в его творчестве. Так, Е. И. Кийко отмечает «драматичность» этих душевных всполохов. И, поскольку подобные отношения неизменно заканчивались разрывом, нельзя не задаться вопросом: зачем Достоевскому нужно было отражать в творчестве «жизненные» неудачи? Возможно, причина в том, что Достоевский, прекрасно знавший терзания ревности (роман Исаевой с Вергуновым на многое ему открыл глаза), описывая собственные «коллизии», как бы сводит счеты с «жестокой» и «коварной» (по определению Л. Ф. Достоевской) М. Д. Исаевой. Даже после её смерти он опосредованно описывает не только сцены её измены, но и свои – ей: знай же, и я, и я – тоже...²⁴

А был ли грех?

Не исключен и иной вариант. По распространенной версии, Исаева накануне смерти винится перед Достоевским в измене с учителем Вергуновым.

Но, может, ничего подобного не было, и отъезд Вергунова в Семипалатинск вслед за Достоевскими – лишь совпадение? Достоевский же, всю жизнь, начиная с 40-х годов, обуянный идеей «любовных треугольников» (о чем читаем уже в «Белых ночах»!) эмоционально вполне готов к тому, что его «романные» ситуации и сценарии воплощаются будто бы наяву, как данность. «Аргумент» – Вергунов – был налицо. Связь Исаевой с ним еще по Кузнецку неоспорима.

Исаева же, зная о «романтических всплесках» Достоевского с Шуберт, Корвин-Круковской и Суловой, или догадываясь о них, щадить его не собирается. И перед кончиной её «признание» – возможно, не более чем отмщение оскорбленной женщины: да, любила Вергунова, тайком и страстно любила...

«Преступление и наказание»

Но вот М. Д. Исаева – ушла из жизни. Первое наиболее крупное сочинение Достоевского после её смерти – «Преступление и

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

наказание». Достоевсковед Г. М. Фридлендер полагал, что персонаж этого романа Катерина Ивановна во многом списана с М. Д. Исаевой: «В Катерине Ивановне, насколько можно судить, сложным образом совмещены отдельные черты М. Д. Достоевской – первой жены писателя – и подруги П. Н. Горского, Марфы Браун, и т.д.».²⁵

Исследовательница Г. Ф. Коган конкретизирует данные, сообщаемые Фридлендером. Один пассаж звучит так: «И осталась она... в уезде далеком и зверском, где и я находился, и осталась в такой нищете безнадежной...». Г. Ф. Коган видит в этих строках «Обстоятельства, сходные с эпизодами биографии М. Д. Исаевой и Достоевского (Мы можем добавить еще щемящие подробности: Катерина Ивановна, в доказательство своего «приличного происхождения», рассказывает, как в юности танцевала «па де шаль». Но из биографии М. Д. Исаевой мы знаем, что на выпускном балу в пансионе она именно па де шаль и танцевала, о чем, конечно же, много рассказывала Достоевскому, - авт.). После смерти первого мужа М. Д. Исаева осталась «заброшенная на край света», «без куска хлеба», «одна с малолетним сыном, в отдаленном захолустье Сибири, без призора и без помощи» (из писем Достоевского к М. М. Достоевскому, 13 января, 24 марта, 22 декабря 1856г.)».²⁶

Ныне в Кузбассе, впрочем, «седая старина» времен Достоевского чуть ли не идеализируется и поминается в сусально-позолоченных тонах, а восприятие Кузнецка Достоевским сильно приукрашивается (см., в частности, брошюру «Двадцать два дня из жизни Ф. М. Достоевского», изданную в 1995г.). Как это, однако, контрастирует с мнением самого Достоевского, отраженным не только в письмах. «Далекий и зверский уезд» – не его ли это оценка сибирской «тьму-таракани» и способа обитания в ней местных обывателей?...

«Женщина души самой возвышенной и восторженной...»

Г. Ф. Коган подмечает еще одну особенность, которая роднит образ Катерины Ивановны с почившей М. Д. Исаевой: «Она

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

справедливости ищет... Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть... как ребенок!» - и комментирует его так: «Сравни с этой характеристикой Катерины Ивановны высказывания Достоевского о М. Д. Исаевой в записи 1870-х годов: «... была эта женщина души самой возвышенной и восторженной. Сгорала, можно сказать, в огне своей восторженности, в стремлении к идеалу. Идеалистка была в полном смысле слова, - да! – и чиста, и наивна притом была совсем как ребенок»...» (Г. Ф. Коган при цитировании ссылается на работу В. В. Тимофеевой, опубликованную еще в 1904 году).

Однако, слышать из уст Достоевского о «чистоте» Исаевой как будто бы странно, учитывая его же, Достоевского, мнения о личности М. Д., сообщенные его второй жене и дочери. Возможно, - при создании романа, но не в реальной жизни - Достоевский думает о приличиях и, стараясь подчеркнуть своё сугубо щепетильное представление о нравственности вообще, следует известной поговорке: «О мертвых – либо хорошо, либо ничего».²⁷

«У одра болезни»

Ссылаясь на мнение второй жены Достоевского, Г. Ф. Коган подметила еще одну черту сходства М. Д. Исаевой с персонажем Катерины Ивановны из «Преступления и наказания». Поводом для небольшого комментария Г. Ф. Коган стало такое место в романе: «Беспокойный бред охватывал её более и более» (имеется ввиду «чахоточная» кончина Катерины Ивановны и её болезненно-припадочные мучения). А. Г. Достоевская писала: «Сцену смерти чахоточной Федор Михайлович мог наблюдать у одра болезни его первой жены Марии Дмитриевны», причем Г. В. Коган сообщает, что облик Исаевой «по мнению А. Г. Достоевской, повлиял на создание образа Катерины Ивановны».

Подобный вывод в своё время был сделан и другим пытливым исследователем – Л. П. Гроссманом. Тема жизни и смерти

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

в «Преступлении и наказании» – сквозная (уход из жизни Катерины Ивановны, убийство старухи-процентщицы, и раздумья Раскольникова о таковой).

Очевидно, мысли о смерти Достоевского не покидают, и навесны они, скорее всего, недавней кончиной Исаевой и его брата Михаила.²⁸

«Князь Христос»

Любопытные параллели с «кузнецким венцом» отыскиваем в романе Достоевского «Идиот». Отправным моментом можно взять один момент из подготовительных материалов к нему, озаглавленный «Князь Христос»: «Н(астасью) Ф(илипповну) слишком ободряет, что Князь ни слова не говорит о свадьбе. Она бежала 3 недели назад из-под венца к Лебедеву, в Петербург, к свояченице. Лебедев и представил её Князю. Н(астасья) Ф(илипповна) настаивает, чтоб Князь женился на Аглае. Осведомляется когда. Лихорадочно разузнает у Лебедева. Припадки. Н(астасья) Ф(илипповна) кутила в Москве, больна».²⁹

Как видим, сценарий вполне «жизненный»: невеста бежит чуть ли не из под венца к Князю. Князь же – как бы сквозной персонаж, с которым ассоциировал себя Достоевский еще в пору, когда писал «Дядюшкин сон». И вновь – «треугольник». Большая и неуравновешенная женщина – Исаева в образе Настасьи Филипповны – тоже. Поминаются и болезненные «припадки», под знаком коих прошло сосуществование Достоевского и Исаевой. Параллель между «Идиотом» и реальными коллизиями Достоевского, думается, более чем вероятна, – она очевидна.

Но почему – «Христос»?

Однако вот что странно. «Князь», как уже было сказано, у Достоевского – персонаж сквозной, автобиографичный. Но почему в подготовительных материалах он обозначен не иначе, как «Князь Христос»? Неужели Достоевский сам себя считал богоизбранным? Конечно, в недавнюю пору такая мысль показалась бы крамольной, видимо, потому достоевсковед

И. А. Битюгова комментирует этот момент осторожно. На ее взгляд, формула «Князь Христос» появилась у Достоевского именно в связи с кончиной Исаевой: «9 и 10-13 апреля н.ст. появилась запись: «Князь Христос»... Эта очень важная для Достоевского формула имеет свою предисторию. Еще 16 апреля 1864г. под свежим впечатлением от смерти первой жены, раскрывая своё понимание заповеди возлюбить человека, «как самого себя», Достоевский писал: «... высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего Я, – это как бы уничтожить это Я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно». В этих словах писатель сформулировал свой высший нравственный идеал, наиболее полное воплощение которого было доступно, с его точки зрения, одному Христу».³⁰

Свой идеал...

Вспомним мнение Л. Н. Толстого, что, де, нельзя же «возводить в святые» человека, который весь – есть борьба. Достоевский и прожил свою жизнь в попытке преодоления своего вседозволяющего Я.

Все это – оттуда, из Сибирской провинции, где Личность, Я – все. Но ощущение это пришло после долгих лет в «Мертвом доме», где Я, Личность – ничто. Тем ценнее новое обретение себя как центра собственного внутреннего мира. А «подспудный бес» нашептывает – «все можешь, все дозволено».

Но в Достоевском навеки зарубка: человек слаб, подневолнен, принуждаем. И как же может быть все дозволено в отношении к «униженным и оскорбленным»? Отсюда – идеал: Князь Христос. Тот, кто превозмог Личность-все, принесся себя в жертву Личности-ничто.

Тождество Христа

Возможно, всё, написанное И. А. Битюговой, – истая правда, и эту «формулу» надо понимать так: Князь (прототип коего

— сам Достоевский) стремится быть лучше, чище и выше, хоть немного стараясь приблизиться к нравственному идеалу.

Однако такая трактовка обтекаема, и не следует ли её принимать буквально, как тождество: «Князь есть Христос», то есть существо, которому понятны законы бытия, к чему, собственно, Достоевский и стремился, сочиняя глубоко психологические романы? Потрясает и другая деталь. Большая часть той страницы, на коей Достоевский «отождествил» своего любимого героя (т.е. зеркальное отражение самого себя), оказалась «занята пробами пера», причем Достоевский каллиграфически на ней вывел: «Воззвал из глубины». Если считать это дословным переводом с латинского «de profundis», которое читается по уопшм и означает, что всяк смертный грешен и взывает к небесам из глубины своей грешной сути, то не получается ли, что, потеряв Марию Дмитриевну, Достоевский как бы отпевает и самого себя, многогрешного...³¹

О «богоравности» Достоевского

Допустим, что Достоевский считал себя богоравным (Личность — все). И предположим, что мнение И. А. Битюговой верно, и что в самом деле такие мысли Достоевского (или подобные им) подкреплялись эмоциями, коим он был подвержен в момент смерти Исаевой. Однако сцена ухода Исаевой прекрасна, только будучи отраженной в романах Достоевского и в его письмах...

Иные же источники трактуют предсмертное прощание с ней иначе, поскольку она призналась Достоевскому в «грехе», то есть в связи с Вергуновым; причем — так, чтобы Достоевскому стало возможно большее, что и вызвало впоследствии презрение и даже ненависть к ней — если можно ненавидеть посмертно — ближайших к Достоевскому людей — А. Г. и Л. Ф. Достоевских.

Именно в день кончины Исаевой Достоевский, вероятно, острее всего ощутил постоянную внутреннюю борьбу и

пытался пересилить отголоски «Мертвого дома», чтобы уподобиться Христу, и уверовать в свое противостояние злу настолько, что вернулся к этому чувству-выводу спустя три года, перед публикацией «Идиота».

Не забудем, тем не менее: он — обманутый муж и «преодолеть» свое Я было бы нелегко любому в его положении, тем более речь идет об «Обманутом муже» калибра Достоевского (такая вот тавтология!), с его верой в собственную гениальность...

Впрочем, кто сказал, что он считал себя богоравным? Он *хотел стать таким*, постоянно разрываясь между стремлением достичь нравственного идеала и невозможностью побороть свое могучее Я, свою наипервейше ценную Личность. И у гроба М.Д., надо полагать, острее, чем когда-либо, осознал двойственность своего Я.

«Вечный муж»

Тема «обманутого мужа» и любовного «треугольника» обыгрывается также в «Вечном муже». После смерти Исаевой проходит пять лет, а Достоевский ещё переживает — верит, что измена была, вернее, сам себя уверяет, что была. Да и никто не скажет теперь, как все происходило в действительности. Достоевскому же, прекрасно сознающему вину перед Исаевой, «выгоднее», чтобы она оказалась ему неверна, так легче найти оправдание для многих собственных неблагоприятностей. В письме Страхову от 18 марта 1869г. Достоевский сообщал, как отмечает исследователь-достоевсковед И.З. Серман, что замысел повести возник «пять лет назад» — то есть сразу же после кончины Исаевой.³²

Своё детище Достоевский не любил: «Я возненавидел эту мерзкую повесть с самого начала». Немудрено. Легко ли писать по плану, построенному на самоунижении...³³

«Наши сибирские мучения...»

И. З. Серман полагает, что «В работе над «Вечным мужем» Достоевский воспользовался для исходной ситуации своими

старыми, сибирскими воспоминаниями». А ведь именно с Сибирью связаны самые болезненные моменты в его биографии. Комментируя повесть, исследователь цитирует послание Врангеля к Достоевскому от 25 октября 1859г., в котором адресат напоминает Ф. М. о его обещании изобразить «наши сибирские мучения». Комментатор предполагает, что Врангель имел ввиду свой роман с Е. И. Гернгросс, а не историю с женьбой Достоевского.

Связь Врангеля с Гернгросс И. З. Серман прослеживает весьма подробно. Однако линии Достоевский-Исаева как бы не замечает: ведь тогда придется затронуть и историю с Вергуновым, а это бросает тень на Достоевского, что в советскую пору легко бы расценивалось как некорректное вмешательство в «личную жизнь гения»...³⁴

Но смеем думать — чтобы взяться за повесть, хотя она ему «ненавистна», писатель должен быть обуреваем впечатлениями личных переживаний, и вряд ли увлечение Врангеля Е. Гернгросс могло впечатлить его в ту пору больше, чем его собственные смятения (оба романа въяе разворачиваются в одно время, как бы параллельно)...

Павел Александрович

Не «замечая» почему-то М.Д. Исаеву в числе прототипов героев повести, И. З. Серман относит к ним пасынка Достоевского, Павла Александровича (Александр Лобов): «Прототипом Александра Лобова, счастливого соперника Трусозкого в борьбе за руку и сердце Нади, послужил, по словам А. Г. Достоевской, пасынок писателя Павел Александрович Исаев, или Паша, как обычно называл его Достоевский в письмах».

Однако странно: сам себя Достоевский в «Вечном муже» — «изобразил», пасынка — тоже, многие сибирские впечатления «всплыли», а память об Исаевой, к которой и были обращены все помыслы его в Сибири, начиная с 1855г., как бы обошел стороной. Не удивительно ли?

Впрочем, допускаем, что некоторых моментов биографии Достоевского еще совсем недавно не велено было касаться. К

таковым, конечно, относился и роман жены Достоевского с учителем Вергуновым. И хоть всякому мало-мальски просвещенному (даже книгами А. Г. Достоевской и её дочери) читателю ясно, что именно кроется под излюбленными сюжетами Достоевского об «обманутых мужьях», писать об этом открыто, похоже, по негласным правилам, не полагалось...³⁵

Обманутые мужья

И. З. Серман в упомянутых комментариях к «Вечному мужу» «запретной темы» не касается. Однако об «обманутых мужьях» повествует убедительно, с привлечением множества библиографических источников. Так, литературовед сообщает, что «Теме переживаний обманутого мужа был посвящен ранний рассказ Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью»... Но в то время Достоевский, следуя господствующей литературной традиции, изобразил фигуру обманутого мужа в полуводевильном, комическом освещении. В повести же «Вечный муж», возвращаясь к некоторым приемам своих ранних петербургских повестей... Достоевский дает новый, сложный и неожиданный поворот развития темы, благодаря чему напрашивается принципиальное переосмысление традиционного комического типа».

Похоже, ссылки на сочинения Достоевского периода 40-х годов, в коих тоже писалось о семейных «неурядицах», призваны были опровергнуть предположения, что обманутым мужем Достоевский изобразил в повести себя. И коли таковым он стал только в 50-е годы, после венчания с Исаевой, то обращения к «опасной» теме десятью годами ранее как бы его обеляют: «отбивание жены» — излюбленный литературный прием, который прослеживается почти во всех его крупных сочинениях. И, значит, вовсе не Исаева имеется ввиду. Но комментатор сам же и разбивает этот опять-таки подразумевающийся и читаемый меж строк довод, показывая, как разнятся истории с «обманутыми мужьями», описанные Достоевским в раннюю пору, от соответствующих сюжетов более поздних лет.

В 40-е годы Достоевский еще смеется над «рогоносцем», привнося в написанное комедийный элемент. Но после того, как пережита измена Исаевой, всё меняется: комедия превращается в трагедию, где ставка — жизнь...³⁶

Метод умолчания

Таким образом, еще в недавние поры очень важно было подчеркнуть, причем эффектно и аргументированно, что в образах «рогоносцев», столь часто мелькающих в романах Достоевского, нет ничего автобиографичного. Старательно избегали даже намеков на то, о чем открыто писала Л. Ф. Достоевская. Её концепция действительного и литературного жития-бытия Достоевского негласно, но последовательно контраргументировалась. Чтобы увести любознательного читателя от опасного сходства с истиной, без труда выдающего Достоевского в образах обманутых супругов, придумывались различные маневры.

Например, И. З. Серман в комментарии весьма пространно рассуждает, откуда именно Достоевский мог почерпнуть интимные подробности и так дотошно исследовать психологию «рогоносца», обращаясь к так называемым «вечным типам мировой литературы». Об «оскорбленных мужьях» писали Мольер («Школа жен», «Школа мужей»), Поль де Кок («Жена, муж и любовник»), Флобер («Госпожа Бовари»), И. С. Тургенев («Провинциалка»). И начитавшись подобных произведений, Ф. М. Достоевский якобы «заразился» скользкой темой настолько, что стал следовать ей чуть не во всех своих значительных произведениях...³⁷

Как уже было сказано, велика должна быть ослепленность штампами восприятия, чтобы не увидеть горестную нить, что тянется от «человека с черным крепом на шляпе», прямоком убегающую в события конца 50-х годов...

Не сотвори себе кумира

Факты биографии Ф. М. Достоевского, поведенные его дочерью в её известной книге, игнорировать трудно. Нельзя

перечеркивать личный опыт Достоевского только на том основании, что он подчас весьма непрелестительно выглядит. Забота о «нравственном» и тактичном толковании жизни и творчества писателя не должна сочетаться с замалчиванием, либо с искажением истины.

И коли сам Достоевский придавал известным сюжетам столь исключительное значение, что они у него кочевали из романа в роман, стало быть, нужно детально исследовать то, что за ними стояло — иначе невозможно будет понять ни его психологию, ни причины, которые подвигали его публиковаться. Тайное и сокровенное — еще не значит стыдное...

В советские годы «кумиров» было не бог весть сколько, а среди сочинителей — и вовсе единицы. Тех, кто попадал в школьные учебники, канонизировали. В их числе оказался и Достоевский. Его канонизация — явление противоречивое. С одной стороны, она способствовала появлению довольно подробно аннотированного Полного Собрания Сочинений и - открытию музеев Достоевского. С другой — «культ» мешал исследователям, и многое (очень многое!) освещалось необъективно...

«Пытается зарезать... бритвой...»

Также, как в «Идиоте», в «Вечном муже» Достоевский опять возвращается к теме жизни и смерти. Если учесть, что и в «Преступлении и наказании» это «сквозной» мотив — нельзя не задуматься: чем он был «простимулирован» и почему интерес к нему так устойчив? «Рогожин, побратавшийся с Мышкиным, — пишет И. З. Серман, — пытается его убить. Трусоцкий, недавно обнимавшийся и целовавшийся с Вельчаниновым, даже поцеловавший ему руку, пытается зарезать его бритвой».

Что же удивляться? Всякий «человек — есть тайна». «Братание» Достоевского с Вергуновым тоже не прошло бесследно. Князь Мышкин и Рогожин поступают также, но Рогожин убивает Настасью Филипповну — объект общей их любви.

У Достоевского же что ни роман — то очередная «казнь» Вергунова. Но возможно и другое: кончина Исаевой настолько

врезалась в память Достоевского, что он только о «загробном» и думает.

«Memento mori», вкупе с обидами «обманутого мужа» – тот логический мостик, который связывает его до конца дней со столь бурным и грозно-насыщенным периодом его биографии, что прошел под знаком Исаевой...³⁸

«Тверской» пассаж

И. З. Серман в комментарии к «Вечному мужу» обращает внимание на подготовительные материалы, в которых поминается Тверь и якобы развернувшиеся в ней «пикантные события»: «Труссоцкий в первый приход к Вельчанинову рассказывает о беременности жены «8 лет назад в Твери», когда Вельчанинов оттуда уехал, и о своей дочери, в действительности дочери Вельчанинова. Далее действие должно было развиваться очень быстро. Труссоцкий говорит Вельчанинову о другом любовнике своей жены (здесь она названа Анной Ивановной), умершем только что, и об оставленных ею письмах, из которых он узнал об изменах и о настоящем отце её дочери».

И. З. Серман считает, что в приведенном плане «описана хронология событий жизни автора в Твери в 1859г.» и что «Приурочение событий, составляющих предысторию взаимоотношений мужа и любовника к этому городу, очевидно, было вызвано желанием Достоевского сделать менее явной «сибирскую» фактическую её основу – историю Врангеля и Х».

Полагаем, однако, что как раз в жизни самого Достоевского сложилась вполне определенная коллизия, сильно напоминающая ту, что отображена в плане. Притом, ведь существовала версия, что Вергунов негласно сопровождал Достоевских по дороге именно в Тверь, и что он тайком встречался на станциях с Исаевой, в чем она призналась мужу перед смертью.

Вероятно, история с «беременностью в Твери» из «Вечного мужа» могла быть сколком с «чужой» яви, и И. З. Серман, переноса «скандальный» акцент с любовным треугольником на Врангеля с Е. Гернгросс (обозначена как Х), уводит нас

от главной версии, построенной на фактах биографии Достоевского.

Более того – Врангель с Гернгросс никогда не встречался в Твери, и чтобы ассоциировать литературный замысел Достоевского с этой парой, И. З. Серман пришлось «подправить» географическую составляющую. Тогда как узел, связавший М. Д. Исаеву, Вергунова и Достоевского, возникает, возможно, как раз по дороге в Тверь. Таким образом, оберегая «репутацию» Достоевского, комментатор в очередной раз уводит любознательного и пытливого читателя в сторону, то и дело предлагая ему «не те» версии, «не тех» прототипов и «не ту» географию, замалчивая уже давно вошедшие в обиход трактовки романтических (и не вовсе!) событий...³⁹

Удивительно, но почти не уделено внимания Труссоцкому, вполне очевидному воплощению первого мужа Исаевой, уничижительно поминаемому а «Преступлении и наказании» в образе Мармеладова (как же надо было его презирать, чтобы наделить такой фамилией!), а в «Вечном муже» в образе жалкого Труссоцкого – человека с черным крепом на шляпе, фамилия которого явно происходит от слова «трус».

Мы пуще всего не любим тех, кому причинили зло. Достоевский Александра Ивановича Исаева, скорее всего, именно, презирал. Не только за алкоголизм, а и оттого, что сделал его «рогоносцем» – причинил ему зло. И в романе «Вечный муж» сводит, наконец, счеты и с ним. Этаким трусоватым несостоявшийся убийца, который хочет умертвить Вельчанинова, и чуть не с бритвой в руке пугается и делает вид, что «всего лишь искал урыльник»...

«Бесы»

В литературе о Достоевском не раз подмечалось, что писатель очень часто давал персонажам имена прототипов. Если иметь ввиду собственно венчание Достоевского с Исаевой, по сути дела, «уведенной» у Вергунова, нельзя не обратить внимание на одно любопытное место в главе «У Тихона», которая в

окончательный вариант «Бесов» не включена. Оно касается бракосочетания Марьи Лебядкиной. Причем жених вчуже радуется, что ему удалось «отбить» невесту у Николая Ставрогина. Под Марьей Лебядкиной довольно прозрачно проглядывает Мария Исаева, под женихом – Достоевский, а Николай Ставрогин ассоциируется с Николаем Вергуновым.

Удивляют не только прямые аналогии описанной сцены с «кузнецким венцом», но и то, что имена героев оказались теми же самыми, что и «в жизни». Итак, - дословно: «Я уже с год назад помышлял застрелиться; представилось нечто получше. Раз, смотря на хромую Марью Тимофеевну Лебядкину, прислуживавшую отчасти в углах, тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня втайне (о чем выследили наши), я решил вдруг на ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего. Но не берусь решить, входила ли в мою решимость хоть бессознательно (разумеется, бессознательно!) злоба на низкую трусость, овладевшая мною... право, не думаю; но во всяком случае я обвенчался не из-за одного только «пари на вино после пьяного обеда»...».

Считал ли Достоевский в тайне души Исаеву «восторженной идиоткой, без ума влюбленную в меня», «помешанной», больной и «последним существом»? Не знаем. В письмах Достоевского она рисуется существом утонченным, обладающей «к тому же, рыцарской душой», а любовь к ней, судя опять же по письмам – была так сильна, что: «без неё с ума сойду, или – в Иртыш».

Но – покошунствуем. Не может ли быть - всё это «для публики», для друзей и знакомых. Что именно думал Достоевский об Исаевой на самом деле – ведь неведомо никому. Особенно – после её гипотетического признания в связи с Вергуновым. Во всяком случае, сцена с венчанием на «полупомешанной

идиотке», к тому же отбиваемой у соперника, да еще с сохранением имён из действительной жизненной коллизии, потрясает своей грубостью, и нельзя не задаться вопросом: не для второй ли жены Достоевский вставил подобный пассаж в роман, дабы та не ревновала к памяти М. Д. Исаевой?⁴⁰

«Ее слова драгоценнее всего...»

А то, что вторая жена ревновала к памяти первой, вряд ли подлежит сомнению. Иначе – не отзывалась бы о М. Д. Исаевой до неприличия некорректно. И не ради мира и лада ли с Анной Григорьевной, уже в самом начале совместной жизни, Достоевский вставляет в свои сочинения весьма двусмысленные места. Одно из них – в тексте романа «Бесы». Цитируется диалог о некоем венчании:

«- Нет, она меня «любит и уважает», её слова. Её слова драгоценнее всего.

- В этом нет сомнения.

- Но знайте, что если она будет стоять у самого налота под венцом, а вы её кликнете, то она бросит меня и всех и пойдет к вам.

- Из-под венца?

- И после венца.

- Не ошибаетесь ли?

- Нет. Из-под непрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь и... безумие... самая искренняя и безмерная любовь и – безумие! Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть, - самая великая! Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти... метаморфозы...».⁴¹

Итак, женщина под венцом испытывает два вида любви сразу к двум мужчинам. В обоих случаях – любовь-ненависть. Точнее, в одном – ненависть-любовь, а в другом – любовь-ненависть, если судить по цитированному выше диалогу. Стало

быть, Исаева (подразумеваться могла именно она) – любила и Достоевского, и Вергунова, но по-разному, потому что была «безумна» – и как это переключается с тем куском из главы «У Тихона», не вошедшей в «Бесы», который мы уже приводили...

«Не могу же я вести ее к алтарю подлецом?...»

Как правило, изучая личность Достоевского и взаимосвязь его биографии с творчеством, исследователи останавливаются лишь на отражении реальных жизненных коллизий в поступках героев романов и повестей. Между тем, на наш взгляд, куда важнее выявить прямо противоположное: попытаться реконструировать психологию Достоевского и мотивы его действий по его же романам.

Кузнецкий пассаж настолько парадоксален и так трудно поддается «расшифровке», что не прибегнуть к анализу сходных мест в его сочинениях невозможно. В тех же «Бесах» – словесный поединок двух соперников, оспаривающих женщину и право вести её к алтарю.

Вот что говорит один из них: «Если бы вы хотели взять моё место у аналая, то могли это сделать безо всякого позволения с моей стороны, и мне, конечно, нечего было приходить к вам с безумием. Тем более, что и свадьба наша после теперешнего моего шага уже невозможна. Не могу же я вести её к алтарю подлецом? То, что я делаю здесь, и то, что я передаю её вам, может быть, непримиримейшему её врагу, на мой взгляд, такая подлость, которую я, разумеется, не перенесу никогда».

И далее – про то, что, не вынеся брака женщины с другим, возможно, застрелится, что так напоминает чувства Достоевского к Исаевой, о которых он сообщал в своих письмах: «Или с ума сойду, или в Иртыш», что и самому Достоевскому должно было многие годы спустя казаться безумием.⁴²

Притом, что в Кузнецке, в Одигитриевской церкви, он все еще опасался, что Исаева раздумает и Вергунов-шафер уведет ее из-под венца. Отсюда – эпизод с бегством Настасьи

Филипповны во время венчания, отсюда и оставшаяся навсегда «зарубка» в подсознании Достоевского, о чем узнаем из «Воспоминаний» А. Г. Достоевской (см. ниже)...

Марья Шатова и Марья Исаева

В тех же «Бесах» находим очередной аналог по жизненной коллизии. Некая Марья Шатова, возможно, тоже в чем-то списана с Марии Исаевой (а повторение действительных имен прототипов, перенесенных на персонажи Достоевским, как уже сказано, практиковалось им постоянно). Марья Шатова – «угасает» точно также, как Исаева: «Но легкомысленная, наивная и простодушная прежняя энергия, столь ему знакомая, сменилась в ней угрюмою раздражительностью, разочарованием, как бы цинизмом, к которому она еще не привыкла и которым сама тяготилась. Но главное, она была больна, это разглядел он ясно».

О том, как ведет себя безнадежно больная женщина, о её капризах и раздражительности, Достоевский рассказывал своей второй супруге. Время, когда Исаева «уходила», в память Достоевского врезалось надолго. Хотя бы потому, что «угрюмость, раздражительность и разочарование» вызывали в Исаевой не только приступы ее опасного недуга, но и «оправдывали» увлечения писателя «на стороне» в его глазах, о чем интуитивная Мария Дмитриевна, конечно, догадывалась...⁴³

Продолжение сцены обнаруживается в другой главе, в которой опять – про «угасание Мари»: «она не привыкла к этому ужасному климату... Она горда, оттого и не жалуется. Но раздражена, раздражена! Это болезнь: и ангел в болезни станет раздражителен. Какой сухой, горячий, должно быть, лоб, как темно под глазами и... как, однако, прекрасен этот овал лица и эти пышные волосы...».⁴⁴

Наконец, в одном из последних эпизодов прикованная к постели Marie (Мари) ругает Николая Ставрогина: «Губы её задрожали, она крепилась, но вдруг приподнялась и, засверкав глазами, проговорила:

- Николай Ставрогин подлец!»⁴⁵

Итак, «Мария» называет «Николая» подлецом. Следует ли из этого, что Мария Исаева, предчувствуя кончину, звала подобным образом Николая Вергунова? И не в этот ли момент она призналась Достоевскому, что была предана Вергунову и после кузнецкого венца? Или Ф. М. хотелось в ту пору услышать из уст М. Д. именно такую аттестацию бывшему сопернику, да не услышал, и теперь хоть на бумаге воображает реванш. Загадка...

«Подросток»

Следы «кузнецкой коллизии» пытаемся обнаружить в еще одном романе Достоевского – «Подросток». Кстати, почему в названии – «тема детства»? И откуда Достоевскому знать о терзаниях, связанных с «трудным возрастом»? Напрашивается параллель: герой, от лица коего и ведется повествование – возможно, Павел Исаев, пасынок Достоевского. Более близких к Достоевскому «подростков» попросту не было. Черты матери Павла, Марии Дмитриевны, возможно, присущи образу падчерицы, некой Катерины Николаевны, которая аттестуется как «болезненная девушка... страдавшая расстройством груди, и говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности. Приданого у ней не было...». «Расстройство груди» – это, конечно, туберкулез, коим страдала М. Исаева, о красоте же её говорят снимки той поры, а про её «фантастичность» Достоевский не раз сообщал в письмах.⁴⁶

Версилов

При особом старании, конечно, можно обнаружить и еще параллели. Взять хотя бы образ Версилова – он сильно напоминает в чем-то первого мужа М. Д. Исаевой, злосчастного Александра Ивановича: «Это был титулярный советник, лет уже сорока, очень рябой, очень бедный, обремененный больно в чахотке женой и больным ребенком; характера чрезвычайно общительного и смирного, впрочем, довольно и деликатный».

Чахоточная жена? Бедность? Ребенок? Всё это – как бы «один к одному», про А. И. Исаева. Других знакомых Достоевского, так близко соответствующих всем подмеченным характеристикам, пожалуй, не сыскать...⁴⁷

Впрочем, в своих письмах к А. Е. Врангелю Ф. М. именно так определяет покойного Александра Ивановича – натура деликатная, довольно хорошо образован, но слаб характером, отчего и алкоголизм, и социальное падение.

Чахоточные

Впрочем, было бы натяжкой видеть во всех «чахоточных» персонажах романов Достоевского Исаеву. Хотя симптомы этого недуга, иногда довольно подробно описываемые им, он, конечно, имел возможность изучить ближе всего на примере своей первой жены, так что «автобиографичность», или некоторая степень её, в таких случаях присутствует. В том же «Подростке» поминается, например, «чахоточная чиновница, может быть, и добрая, но, как все чахоточные, чрезвычайно капризная». А о «капризах» М. Д. Исаевой, особенно в последней стадии её болезни, Достоевский не знать не мог и, более того, рассказывал о них А. Г. Достоевской...⁴⁸

Фотография

Ныне известны два фотоснимка М. Д. Исаевой. Красивое и гордое лицо с трагическим взглядом, величественная стать. Достоевский хранил ее портреты как память, очевидно, они были ему дороги, так что упоминания о фотографиях в его романах, наверное, могли заинтересовать и насторожить исследователей.

В «Подростке» находим соответствующее место. Речь идет о фото больной девушки, которой помогали сразу два человека. Она умерла от чахотки и определяется писателем как сумасшедшая и идиотка, не достойная ревности, поскольку – «не женщина». Как это напоминает, однако, аналогичную характеристику, примененную Достоевским в «Бесах» к Марье Лебядкиной, – она тоже обозначается не иначе, как «помешанная».

идиотка», и тоже – как объект домогательства претендентов на её руку и сердце.

Такое явно демонстрируемое «словесное» неуважение к «чахоточной идиотке», кочующее из романа в роман, не может не удивить. Вероятно, Достоевский всячески пытается обуздать ревность второй жены к памяти первой и поэтому выставляет М. Д. Исаеву в самом невыгодном и даже оскорбительном для неё свете. Итак, – вот упомянутая «щекотливость» из «Подростка»:

«Он взял со стола и мне подал. Это тоже была фотография, несравненно меньшего размера, в тоненьком, овальном, деревянном ободочке – лицо девушки, худое и чахоточное, и, при всем том, прекрасное; задумчивое и в то же время до странности лишенное мысли. Черты правильные, выхоленного поколениями типа, но оставляющие болезненное впечатление: похоже было на то, что существом этим вдруг овладела какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу.

- Это... это – та девушка, на которой вы хотели там жениться и которая умерла в чахотке... её падчерица? – проговорил я несколько робко.

- Да, хотел жениться, умерла в чахотке, её падчерица. Я знал, что ты знаешь... все эти сплетни. Впрочем, кроме сплетен, ты тут ничего и не мог бы узнать. Оставь портрет, мой друг, это бедная сумасшедшая и ничего больше.

- Совсем сумасшедшая?

Или идиотка; впрочем, я думаю, что и сумасшедшая. У неё был ребенок от князя Сергея Петровича (по сумасшествию, а не по любви; это – один из подлейших поступков князя Сергея Петровича); ребенок теперь здесь, в той комнате, и я давно хотел тебе показать его. Князь Сергей Петрович не смел сюда приходить и смотреть на ребенка; это был мой с ним уговор еще за границей. Я взял его к себе, с позволения твоей мамы. С позволения твоей мамы хотел тогда и жениться на этой... несчастной...

- Разве такое позволение возможно? – промолвил я с горячностью.

- О да! она мне позволила: ревнует к женищинам, а это была не женищина»⁴⁹

Итак, на «сумасшедшую» сразу два претендента. У чахоточной от одного из них сын. Воспитывает его не истинный родитель. Но ведь сказанное повторяет «один к одному» жизнь Исаевой и её сына Павла, который тоже – при приемном отце, то есть – при Достоевском. Что ж, ревность А. Г. Достоевской должна быть удовлетворена. Соперница повержена, причем посмертно, обозвана «не женщиной» и «сумасшедшей»...

«Бедная идиотка»

Но если персонаж, производный от Исаевой – «бедная идиотка», и герой о том догадывался накануне венчания, то в чем, собственно, причины столь странной свадьбы? В романе приводится объяснение: была любовь к другой женщине, Катерине Николаевне. Сильное чувство переросло в ненависть. И дабы увериться, что на самом деле ненавидит, – внезапно женится на чахоточной «бедной идиотке».

Читаем соответствующее место из «Подростка»: «... В самой полной уверенности, что он не только уже не любит её (то есть Катерину Николаевну! – авт.), но даже в высшей степени ненавидит... он до того поверил своей к ней ненависти, что даже вдруг задумал влюбиться и жениться на её падчерице, обманутой князем, совершенно уверил себя в своей новой любви и неотразимо влюбил в себя бедную идиотку, доставив ей эту любовью в последние месяцы её жизни совершенное счастье».

Возможно, правда, и иное толкование «кузнецкого венца», если только именно он отражен в «Подростке». Не исключено, себя под «Князем» подразумевает Достоевский (ведь он не раз ассоциировался с «Князем», – у него это как бы «сквозная» линия во многих произведениях, – например, задуманных и написанных еще в сибирскую пору). Коварный же соблазнитель,

«осчастлививший» чахоточную – Вергунов. Однако в любом случае выбор в качестве прототипа несчастной М. Д. со столь незавидными аттестациями уже после её смерти вызывает сожаление и потому хочется подчеркнуть сугубую предположительность подобных версий...⁵⁰

«Братья Карамазовы»

И, наконец, в «Братьях Карамазовых» тоже подмечаем отдаленные следы коллизии Ф. М. и М. Д. Г. М. Фридлендер в примечаниях к роману указывает «на возможное отражение» в характере персонажа повести Ракитина психологических черт «воспитателя пасынка Достоевского П. А. Исаева», и полагает, что «В Катерине Ивановне можно усмотреть некоторые черты сходства с первой женой писателя – М. Д. Исаевой», и, таким образом, мостик к «кузнецкому периоду» становится очевиден.⁵¹

В нашей книге «Загадки провинции: «кузнецкая орбита» Федора Достоевского в документах сибирских архивов» (1996) отдельная глава посвящена также доказательствам существования еще одного «мостика» с венчанием Достоевского. М. Д. Исаева несколько лет провела в захолустном городе, где и обвенчалась с Достоевским. А поблизости от него около четверти века в лесу проживал монах Зосима, который является одним из возможных прототипов одноименного героя в «Братьях Карамазовых». О подвигах монаха-отшельника Зосимы могла поведать Достоевскому именно М. Д. Исаева (см. ниже), поскольку в пору её пребывания в Кузнецке живы были люди, близко знавшие его и даже писавшие о нем (И. С. Конюхов, например)...⁵²

Юродивая

В «реальном комментарии» к «Братьям Карамазовым» Е. И. Кийко сообщает об истории юродивой по прозвищу «дурочка Аграфена» – возможном прототипе Лизаветы Смердящей в «Братьях Карамазовых». В своих воспоминаниях А. М. Достоевский писал: «В деревне у нас была дурочка, не принадлежавшая ни к какой семье; она всё время проводила,

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

шляясь по полям... Говорила она мало, неохотно, непонятно и несвязно; можно было только понять, что она вспоминает постоянно о ребенке, похороненном на кладбище. Она, кажется, была дурочка от рождения и, несмотря на подобное обстоятельство, претерпела над собою насилие и сделалась матерью ребенка, который вскоре и умер».

Трудно сказать, была ли «дурочка Аграфена» прообразом Лизаветы Смердящей. Но более ранних произведений Достоевского, в коих поминается чахоточная «восторженная идиотка», готовая отдать свою руку и сердце сразу двум претендентам, «дурочка Аграфена» не касается. Хотя и М. Д. Исаева, и «дурочка Аграфена» имели по ребенку, - на этом их сходство и заканчивается.

Конечно, куда предпочтительнее бы знать, что нелестные эпитеты в адрес упомянутой выше героини «Подростка», или Марьи Лебядкиной из «Бесов», относились к Аграфене, а не к М. Д. Исаевой. «Смердящая Аграфена» никак не могла быть объектом привязанности достаточно «утонченного», но всё же – «испорченного» Князя.⁵³

«Маша лежит на столе»

Итак, мы попытались контурно очертить круг версий, связывающих сочинения Достоевского со знаменательным пиком его биографии. «Кузнецкий венец» – это частная жизнь писателя. Поэтому, с одной стороны, он должен быть крайне осторожным, вводя в свои произведения «сюжеты из действительности», с другой – напротив: литературная форма – прекрасный камуфляж, и то, что нельзя сказать в письмах к близким знакомым, смело сообщается в творчестве – ибо любой сюжет легко объявить выдумкой, поэтому в некотором смысле записные книжки и переписка Достоевского – куда осторожнее его же романов, адресованных широкой публике. Что не означает, конечно, будто как источник они менее ценны.

Напротив – по прочтении эпистолярного и «дневникового» наследия Достоевского загадка венчальных коллизий становится

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

еще более интригующей. Так, запись от 16 апреля 1864г. начинается словами: «Маша лежит на столе». Исаева скончалась, и Достоевский старается подытожить содеянное им и ею на том жизненном витке, который их соединил.

Читаем: «Женитьба и посягновение на женщину есть как бы величайшее оттолкновение от гуманизма, совершенное обо-соболение пары от всех (мало остается для всех). Семейство, то есть закон природы, но всё-таки ненормальное, эгоистичное в полном смысле состояние от человека». Что означает такая пометка в день смерти жены? Что жить надо не ради семьи, а для Общества? М. Д. Исаева, надо думать, с подобным подходом к понятию «семья» вряд ли бы согласилась. И тогда – конфликт интересов? Несовпадение взглядов? Возможно...⁵⁴

Любовь-жертва, любовь-идеал

В той же книжке – еще одно прелюбопытное место, помеченное той же «роковой» датой: «Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего Я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой».

Что это? Своего рода признание, что ни М. Д. Исаева, ни Ф.М. Достоевский не приносили себя в жертву «закону», т. е. воздержанию, а предавались любви, и что их связь была грешной, и не приводила к утешительному раскаянию после испытанных терзаний? Могла ли М.Д. Исаева согласиться с подобным тезисом?

Ведь если верно то, о чем писал Достоевский в день смерти М.Д., как бы обвиняя ее, что она не способна была на «жертву», после того как заставила страдать любимого человека, - то когда «Маша лежит на столе» и Ф. М. сожалеет о своих винах, в том числе и о преданном «грозном чувстве», он что - счастлив?⁵⁵

«Философские размышления о личном бессмертии...»

Т. И. Орнатская и К. А. Кумпан так прокомментировали размышления о кончине М. Д. Исаевой в записных книжках Достоевского: «Эти записи связаны со смертью М. Д. Достоевской (она умерла от туберкулеза 15 апреля 1864г.). В последние годы жизни жены отношение Достоевского к ней изменилось: прежнее страстное чувство уступило место заботливости и состраданию. Любовь к А.П. Сусловой, пережитая Достоевским в эти годы, не вытеснила из его сердца глубокой привязанности к «самой честнейшей, самой благороднейшей и великодушной женщине». После её смерти в жизни его «стало больно и пусто...» (см. письмо к А.Е.Врангелю от 31 марта 1865г.). Раздумья о смерти жены переросли у Достоевского в философские размышления о личном бессмертии, о противоборстве в душе человеческой эгоизма и самопожертвования, о возможности будущей мировой гармонии и о непрерывной связи человека с теми, кто жил до него, и кто придет ему на смену» (далее следуют ссылки на работы Л. М. Розенблюм). Из написанного однозначно следует, что «в последние годы» Достоевский Исаеву если и любит, то не «страстно», не так, как раньше, и это чувство в его сердце совмещается с «любовью к А. П. Сусловой».

Чуть утрируя, получается, что «двоемужество» М. Д. Исаевой соседствует с «двоеженством» Ф. М. Достоевского. Сначала Исаева «мучила» Достоевского, а потом – он её. А поскольку страдание и мучительство, по мысли Достоевского, приводят в любви к наслаждению раскаяния, нельзя не задаться вопросом: кто именно «наслаждался» – М. Д. Исаева, испытывавшая муки ревности, или Достоевский, получивший отказ А. П. Суловой и терпевший «домашние сцены» от М. Д. Исаевой...⁵⁶

Тверь не забыта

По распространенной версии, Вергунов сопровождал Исаеву по дороге из Семипалатинска в Тверь и тайком встречался с нею по ночам на станциях, и Исаева перед смертью рассказала о том Достоевскому. Неудивительно поэтому, что злосчастная

Тверь весьма двусмысленно обыгрывается в его сочинениях, но самое интересное – поминается она и в записной книжке, в словах, навеянных кончиной Исаевой. Читаем – наполовину по-французски: «Станция Тверь, profession de foi» (исполнение обета поступать согласно вере, убеждению), что переводится: «Это больше чем преступление, это ошибка».

Т. И. Орнатская и К. А. Кумпан комментируют эту запись так: «Возможно, что заметка эта связана по смыслу с размышлениями Достоевского по поводу смерти М. Д. Достоевской», с чем не согласиться нельзя, ибо она датирована следующим днем после конца Исаевой. Тверь же ассоциируется, несомненно, с Вергуновым. И не отсюда ли «охлаждение в последние годы» между Достоевским и Исаевой, о котором говорят Т. И. Орнатская и К. А. Кумпан? Поскольку Исаева уличена в неверности – Достоевский считает себя свободным, потому возникает роман с А.П. Сусловой. Однако как же понимать написанное – что содеянное Исаевой «больше чем преступление»? В чем Исаева «ошиблась» – в том, что предпочла Вергунова Достоевскому?

Но разве не права она как женщина, предвидя, возможно, будущее «вспышки чувств» Достоевского? Да и когда узнал Достоевский об изменах Исаевой – перед уходом её из жизни! Но тогда страсть к Сусловой – отнюдь не ответ на признание в неверности. И если Исаева призналась в «тверском пассаже» в момент, когда она больна и раздражена, и желает наказать Достоевского за его собственные увлечения «на стороне», то не могла ли быть «тверская» история всего лишь выдумкой, призванной заставить Достоевского остепениться и не порочить еще живую жену в глазах часто меняющихся его возлюбленных?⁵⁷

Загадочное «увы»

Таким образом, понятие «грозное чувство» приобретает какой-то особо мрачный оттенок. Неприятный осадок, возникающий по прочтении многих «автобиографических» документов, еще в большей степени ощущается после скрупулезных

разысканий уже упомянутого выше достоевсковеда Т. И. Орнатской.

Изучая записи личного характера, принадлежащие перу Достоевского, она сделала примечательное открытие, в частности, касающееся и «кузнецкого венца». Она первая возвестила о расшифровке отдельных мест из «Сибирской тетради» Достоевского, предваряемых таинственным словом “Eheu”, которое на латыни означает “увы!”. Иные исследователи до Т. И. Орнатской читали его как “Елен”, “Елеи” и даже как “Елец”, однако трудно было понять, какая связь между “Елей” или “Елец” и Марией Дмитриевной Исаевой.

Точный и правильный перевод придал пометкам Достоевского роковой смысл: означенным выражением он пользовался, только когда его отношения с Исаевой претерпевали кризис. Оно, пожалуй, стало знаковым для их романа в целом. Судя по всему – фатально неудавшегося романа, коли он так усиленно перечеркивался стараниями А.Г., да и Ф.М. Достоевского (а позже и Л.Ф. Достоевской), несмотря на то, что писатель всячески стремится достичь “нравственного начала”, и не забывал отзываться о М. Д. Исаевой после её кончины если не восторженно, то – уважительно.

Но это – «для публики», в личных письмах.

Ибо, что значит «добиться» нравственного начала? Прежде всего, преодолеть некие не нравственные препоны, то есть претерпевать внутреннюю борьбу (он весь – борьба, – считал Л. Н. Толстой) с самим собой.

Итак, Ф. М. стремился к раскаянию. И, значит, вполне сознавал свои прегрешения перед М. Д.; а теперь, когда ее уже нет, не искал ли он «наслаждения в раскаянии»? Так что подспудно, как уже сказано, в душе его и сознании шла война с памятью умершей Исаевой, и роковое “увы!” не было, наверное, забыто и после её смерти...⁵⁸

Глава вторая ПИСЬМА

«Будь я слезлив, я бы плакал...»

Особо подчеркивая мучительность романа Достоевский-Исаева-Вергунов, мы, возможно, ошибаемся. Потому что вся жизнь писателя до момента, когда он стал благопристойным мужем своей молодой второй супруги, состояла из аналогичных «треугольников»: отношения Достоевский-Суслова-Исаева, Достоевский-Шуберт-Исаева, или Достоевский-Исаева-Корвин-Круковская были не менее мучительны. А до Вергунова был еще треугольник Исаева-Исаев-Достоевский. И пусть все они - «второстепенны» и менее «скандальны», чем с Вергуновым, но всё равно — они были. Последний - Исаева-Исаев-Достоевский (возникший еще в Семипалатинске) — для нас примечателен нарочито, ибо показывает, что и «вергуновский» пассаж возник не на пустом месте, а был лишь отражением извечного подсознательного желания Ф. М. стать участником некоей групповой связи. Уже первое сохранившееся письмо Достоевского к Исаевой (а в равной мере и к А. И. Исаеву) доказывает это со всей очевидностью.

Читаем: «Надеюсь, что Вы и Александр Иванович позволите мне называть вас обоих именем друзей. Ведь друзьями же мы были здесь, надеюсь, ими и останемся. Неужели разлука нас переменит? Нет, судя по тому, как мне тяжело без вас, моих милых друзей, я сужу и по силе моей привязанности... Я пять лет жил без людей, один, не имея в полном смысле никого, перед кем бы мог излить своё сердце. Вы же приняли меня как родного. Я припоминаю, что я у Вас был как у себя дома. Александр Иванович за родным братом не ходил бы так, как за мною. Сколько неприятностей доставил я Вам моим тяжелым характером, а вы оба любили меня. Ведь я это понимаю и чувствую, ведь не без сердца ж я... Одним словом, я не мог не привязаться

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

к Вашему дому всею душою, как к родному месту. Я вас обоих никогда не забуду, и вечно вам буду благодарен. Потому что я уверен, что вы оба не понимаете, что вы для меня сделали и до какой степени такие люди, как вы, были мне необходимы. Это надо испытать и только тогда поймешь. Если б вас не было, я бы, может быть, одеревенел окончательно, а теперь я опять человек... Письмо уже потому проклятое, что напоминает разлуку, а мне всё её напоминает. По вечерам, в сумерки, в те часы, когда, бывало, отправлюсь к вам, находит такая тоска, что, будь я слезлив, я бы плакал... Жму крепко руку Александру Ивановичу и целую его. Надеюсь, что он напишет мне в скорости. Обнимаю его от всего сердца и как друг, как брат желаю ему лучшей компании... Прощайте, прощайте! Неужели не увидимся».¹

Таким образом, Достоевский страдает из-за распавшегося «уклада», и его любвеобильное сердце мечтает о восстановлении разрушенного. Если учесть, что подобных ситуаций в жизни Достоевского было немало, рискнем предположить: окажись М. Д. Исаева в Кузнецке одна, без супруга, может, она и не представила бы для будущего писателя столь жгучий интерес, как вкупе с мужем. Овдовев, М. Д. вновь «встраивается» в затребованный душой Достоевского тройственный союз, приблизив к себе Вергунова. И тут — история почти повторяется: жгучая ревность к нему уживается с попытками объяснить-ся, и даже сдружиться («он плакал у меня»), что, по сути, все то же братание. Не отсюда ли много позже — братание Рогожина и Князя Мышкина, врагов, связанных, тем не менее, страстью к «общему» объекту...

«Я весь растерзан...»

Упомянутое выше письмо Достоевский послал в Кузнецк 4 июня 1855г., а 4 августа А. И. Исаев скончался. Треугольник разорвался окончательно, навсегда. По-видимому, для Достоевского это был действительно удар, ибо к «тройственным» союзам он испытывает истинно фатальное влечение.

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

На десятый день после смерти Исаева Ф. М. сообщает своему другу Врангелю: «Голова у меня болит, спать хочется и к тому же я весь расстроен. Сегодня утром получил из Кузнецка письмо. Бедный, несчастный Александр Иванович Исаев скончался. Вы не поверите, как мне жаль его, как я весь растерзан. Может быть, я только один из здешних и умел ценить его. Если были в нем недостатки, наполовину виновата в них его черная судьба. Желал бы я видеть, у кого бы хватило терпения при таких неудачах? Зато сколько доброты, сколько истинного благородства!... Боюсь, не виноват ли я перед ним... Он умер в нетерпимых страданиях, но прекрасно, как дай бог умереть и нам с Вами. И смерть красна на человеке. Он умер твердо, благословляя жену и детей и только томясь об их участи. Несчастная Марья Дмитриевна сообщает мне о его смерти в малейших подробностях. Она пишет, что вспоминать эти подробности – единственная отрада её. В самых сильных мучениях (он мучился два дня) он призывал её, обнимал и беспрерывно повторял: «Что будет с тобою, что будет с тобою!». В мучениях о ней он забывал свои боли. Бедный!»²

А ведь самым первым соперником Достоевского был именно Исаев. Как уже сказано, – другом-соперником. Или, еще точнее – собратом по любви к М. Д. Исаевой. Впрочем, если судить по письмам, Марию Дмитриевну также можно назвать «партнершей» Достоевского по привязанности к А. И. Исаеву. И как тут снова не вспомнить, что и Вергунов «плакал у Достоевского на плече», – таким образом, «партнерские» отношения появятся уже в новом варианте, просто-таки «один к одному»...

«Я давно уже люблю эту женщину...»

Брату он пишет 13-18 января 1856г., что Исаеву любит уже давно. Судя по его душевным письмам в Кузнецк – со времени, когда первый треугольник еще существовал. При темпераменте Достоевского, можно не сомневаться, что он бы-таки попытался «отбить» Исаеву у мужа – возможно, по близкому сценарию, как позднее в случае с Вергуновым. Но – не пришлось.

Соперник «самоустранился», вполне буквально – он умер. И Исаева стала как бы «доступна».

Однако мы уже знаем: Достоевский – «человек пути» и его возбуждает сама борьба за женщину, и чем тернистее путь, тем она желаннее. Достигнутая цель уже не волнует, как сам путь к ней. Именно поэтому, думается, излюбленным сюжетом в его романах был треугольник. Как только «конструкция» рушится, игра в любовь теряет остроту. Обвенчавшись с Исаевой, Достоевский как бы сравнивает восторженное чувство, сродни творческому подъему, с унылой прозой, и от игры устаёт, или вовсе отказывается от нее. Но всё это – позже.

Пока же – Исаев умер. И цель, как будто, достигнута. Однако любовь без препон для Достоевского слишком пресна. Со смертью мужа, тем не менее, «завоевывание» Исаевой не иссякло, а неожиданно вошло в новую фазу. Потому что появилось препятствие: из-за безденежья она с сыном должна покинуть Сибирь и вернуться к родным в Астрахань. И, значит, не добившись Марии Дмитриевны, он может ее потерять. Поэтому борьба за нее перешла в следующий виток: Достоевскому во что бы то ни стало нужно удержать Исаеву в Сибири.

На этот раз средством могут стать деньги, которые достать нелегко, кроме как попросить у брата. Достоевский пишет: «Я давно уже люблю эту женщину и знаю, что и она может любить. Жить без неё я не могу, и потому, если только обстоятельства мои переменятся хотя несколько к лучшему и положительному, я женюсь на ней. Я знаю, что она мне не откажет. Но беда в том, что я не имею ни денег, ни общественного положения, а между тем родные зовут её к себе, в Астрахань. Если до весны моя судьба не переменится, то она должна будет уехать в Россию. Но это только отдалит дело, а не изменит его. Моё решение принято, и, хотя бы земля развалилась подо мною, я его исполню. Но не могу же я теперь, не имея ничего, воспользоваться расположением ко мне этого благороднейшего существа и теперь склонить её к этому браку».³

Таким образом, способ завоевания объекта страсти у Достоевского определен: в случае с Вергуновым – это открытый

«поединок» из слов и писем. А немногим ранее — деньги, позавидованные у брата. Любовная интрига превращается в сложную многоходовую комбинацию, — под стать тем, что описаны в последующих романах. Какой бесценный материал собирал в «битвах» за Исаеву сочинитель Достоевский!

«Там есть женихи...»

Пока Достоевский обдумывает, как облегчить путь к сердцу Марии Дмитриевны, возлагая большие надежды на помощь брата, от которого ждет денег, в Кузнецке мало-помалу укрепляется связь Исаевой с Вергуновым. Треугольник возобновился, но только в новом составе!

23 марта 1856г. Достоевский пишет Врангелю: Исаева, де, «грустит, отчаивается, больна поминутно, теряет веру в надежды мои, в устройство судьбы нашей и, что всего хуже, окружена в своем городишке (она еще не переехала в Барнаул) людьми, которые смастерят что-нибудь очень недоброе: там есть женихи. Услужливые кумушки разрываются на части, чтоб склонить её выйти замуж, дать слово кому-то, имени которого еще я не знаю. В ожидании шпионят над ней, разведывают, от кого она получает письма? Она же всё ждёт до сих пор известия от родных, которые там у себя, на краю света, должны решить здешнюю судьбу её, — то есть возвратиться ли в Россию или переезжать в Барнаул».⁴

«Она что-то скрывает от меня...»

Итак, соперник объявился. Но имени его Достоевский еще не знает. Исаева пишет с каждой почтой, но о самом главном — ни слова. Достоевский называет это скрытностью. Надо полагать, Исаева умела таиться — жизнь научила. Вспомним: согласно бытующей версии, о контактах с Вергуновым уже после венчания она поведала Достоевскому только накануне смерти. Стало быть, во все годы брака о своей тайне умалчивала. Не верила в великодушные Достоевского? Возможно.

Из того же письма к Врангелю: «Я предугадывал, что она что-то скрывает от меня. (Увы! я этого Вам никогда не говорил:

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

но еще в бытность Вашу здесь par ma jalousie incomparable я доводил её до отчаяния, и вот потому-то она теперь скрывает от меня). И что ж? Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому, в Кузнецке, выйти замуж. Я был поражен как громом. В отчаянии я не знал, что делать, начал писать к ней, но в воскресенье получил и от неё письмо, письмо приветливое, милое, как всегда, но скрытное еще более, чем всегда. Меньше прежнего задушевных слов, как будто остерегается их писать. Нет и помину о будущих надеждах наших, как будто мысль об этом уж совершенно отлагается в сторону. Какое-то полное неверие в возможность перемены в судьбе моей в скором времени и наконец громовое известие: она решилась прервать скрытность и робко спрашивает меня: «Что если б нашелся человек, пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный, и если б этот человек сделал ей предложение — что ей ответить?»⁵

Употребленные Достоевским французские слова редакторы Полного Собрания Сочинений переводят так: «моей исключительно ревностью». То есть буквально получается: Исаева скрытна именно из-за ревности Достоевского. Она в ней уверена. И тогда понятно, отчего так долго, до конца дней своих, не сознавалась, что длила связь с Вергуновым за спиной у мужа...

«Я был поражен, как громом...»

Однако вот что странно. Исаева пишет, что ей, возможно, сделает предложение пожилой, добрый и обеспеченный служащий. Но ведь Вергунов не был ни обеспеченным, ни пожилым. И, значит, был возможен еще один треугольник! Исаева мечется меж тремя претендентами: Вергуновым, Достоевским и таинственным состоятельным служащим, причем, как видно, предпочтение отдает последнему, да притом еще спрашивает у своего ревнивого друга, как он относится к появлению соперника!

Терзательница сердец хладнокровно выбирает, потому что на карте — её жизнь, и будущее сына, которое еще надо обустроить. И, похоже, пока что чувства Достоевского для

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

неё третьестепенны, – если этот мифический второй соискатель руки существует на самом деле. Как выяснится чуть позже, Исаева простодушно лукавит: пытается разведать свои шансы. А Достоевский тем временем впадает в глубокое уныние, о чем сообщает Врангелю: «Она спрашивает моего совета. Она пишет, что у неё голова кружится от мысли, что она одна, на краю света, с ребенком, что отец стар, может умереть, – тогда что с ней будет? Просит обсудить дело хладнокровно, как следует другу, и ответить немедленно. Protestation d'amour были, впрочем, еще в предыдущих письмах... (Исаева) прибавляет, что она любит меня, что это еще одно предположение и расчет. Я был поражен как громом, я зашатался, упал в обморок и проплакал всю ночь. Теперь я лежу у себя... Неподвижная идея у меня в голове! Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай господи никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь Вам, что я пришел в отчаяние».⁶

«Я растерзал ее...»

Однако как совместить «уверения в любви», которые делает Исаева Достоевскому (французское словосочетание, приведенное в письме, можно перевести и так), с ухаживаниями (небезответными) Вергунова и загадочным романом со старым и добрым «обеспеченным служащим»? Да ведь и память о первом муже покоя не дает, его она тоже – любила.

И тут в мыслях возникает слово «расчет», которое так не хотелось бы ассоциировать с Исаевой. Однако – приходится. Даже если мнимого обеспеченного претендента не существует, – грустно! – но она всё равно «рассчитывает», насколько к чувствам Достоевского прилагается способность содержать её с сыном, тогда как он впадает в отчаяние.

Но «человек жив надеждой» и Достоевский всё же полагает, что она испытывает к нему нежные чувства, и этой уверенностью делится с Врангелем: «Я написал ей письмо в тот же вечер, ужасное, отчаянное. Бедненькая! ангел мой! Она и так больна,

а я растерзал её! Я, может быть, убил её этим письмом. Я сказал, что я умру, если лишусь её. Тут были и угрозы, и ласки и униженные просьбы, не знаю что. Вы поймите меня, Вы мой ангел, моя надежда! Но рассудите: что же делать было ей, бедной, заброшенной, болезненно мнительной и, наконец, потерявшей всю веру в устройство судьбы моей! Ведь не за солдата же выйти ей. Но я перечел все её письма последние за эту неделю. Господь знает, может быть, она еще не дала слово и кажется так; она только поколебалась. Mais – elle m'aime, elle m'aime (пер. с фр.: «Но – она меня любит, меня любит», – авт.), это я знаю, я вижу – по её грусти, тоске, по её неоднократным порывам в письмах и еще по многому, чего не напишу Вам».⁷

«Никогда в жизни я не выносил такого отчаяния...»

Однако что же было такого в «довенчальных» отношениях с Исаевой, о чем Достоевский стесняется сообщить другу и поверенному его чувств, Врангелю? Что мог он привести в подкрепление вывода, что Исаева его любит? Что это за доказательство любви, о котором нельзя ни писать, ни говорить, потому что в игре – честь дамы?

У мужчины могло быть только одно свидетельство такого рода – близость. Но ведь Исаева – в Кузнецке, а Достоевский – в Семипалатинске. И, значит, если близость была, то – еще в бытность мужа, в Семипалатинске? И можно ли в этом сомневаться, если несколько лет спустя всё повторится – роман Исаевой и Вергунова ведь тоже будет «при живом муже», но уже – при Достоевском. Между тем, Достоевский в письме к Врангелю продолжает «убиваться»: «Друг мой! я никогда не был с Вами вполне откровенным на этот счет. Теперь что мне делать! Никогда в жизни я не выносил такого отчаяния... Сердце сосет тоска смертельная, ночью сны, вскрикивания, горловые спазмы душат меня, слезы то запрутся упорно, то хлынут ручьем. Посудите же и моё положение. Я человек честный. Я знаю, что она меня любит. Но что если я противлюсь её счастью? С другой стороны, не верю я в жениха кузнецкого! Не ей, больной,

раздражительной, развитой сердцем, образованной, умной отдаётся бог знает кому, который, может быть, про себя и побои считает законным делом в браке. Она добра и доверчива. Я её отлично знаю. Её можно уверить в чем угодно. К тому же сбивают с толку кумушки (проклятые) и безнадежность положения».⁸

«Я погибну, если потеряю своего ангела...»

Итак, Исаеву можно «уверить в чем угодно». И, значит, в любви до гроба – тоже. И сразу три претендента этим пользуются и наперебой её «добиваются»? И Достоевский – едва ли не более всех иных-прочих. Убеждать он умел: впадая в экстаз, красноречивым мог быть безмерно. В письме к Врангелю: «Отказаться мне от неё невозможно никак, ни в каком случае. Любовь в мои лета не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в 10 месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости. Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш! Само собой разумеется, что если б уладились дела мои (насчет манифеста), то я был бы предпочтен всем и каждому; ибо она меня любит, в этом я уверен. Скажу же Вам, что у нас, на нашем языке (у меня с ней), называется устройством судьбы моей: переход из военной службы в статскую, место при некотором жалованье, класс (хоть 14-й) или близкая надежда на это и какая-нибудь возможность достать денег, чтобы прожить, по крайней мере, до устройства окончательного дел моих».⁹

«Чтоб отбить ее от женихов...»

Однако вот что странно. Сразу после столь патетических ноток («Или с ума сойду, или в Иртыш!») тут же следуют намеки на необходимость в деньгах, чине, жалованье. Такой резкий переход от чувствительных признаний к суровой прозе озадачивает. Потому что стремление к браку с Исаевой как-то незаметно, понемногу превращается в повод к настойчивым просьбам «устроить мою судьбу». И, судя по письмам, любовь и «устройство судьбы» для Достоевского в ту пору –

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

равнозначны.

Но для Исаевой, похоже, – тоже. Потому что она, несмотря на всю «восторженность», приписываемую ей Достоевским, вряд ли была только мечтательницей, которая без оглядки бросается с головой в омут. Как же еще толковать слова Достоевского, что он не будет предпочтен каждому, только если изменится его положение. Стало быть, чувства были, так сказать, с оговорками? И Достоевский знает, что Исаева не просто любит его самого, в каком бы положении он ни был, но серьезно ценит и сопутствующие чину и жалованью (а их еще надобно добиться!) преимущества. И зная эту «оговоренность» – Достоевский всё равно продолжает свой «путь к Исаевой» – поскольку он, как уже сказано, «человек пути» и, если решил добиться Исаевой, то ни перед чем не остановится.

Но – разве смятение Ф. М. не схоже с тем, что испытывает и сама М. Д.? Ведь и он то и дело ссылается на её «безвыходное положение» – возможно, даже бессознательно! – чтобы подтолкнуть Врангеля к содействию, ожидая от него денежного пособия и, главное, – протекции у важных лиц. Таким образом, роман Достоевского с Исаевой – это не только любовь-мучительство, но во многом, похоже, – невольно превращается в любовно-расчет, причем с обеих сторон. Потому что Достоевский постоянно вынужден сочетать полезное с милым сердцу: рассчитывая завоевать любимую женщину, он должен обеспечить себя «положением» и деньгами.

Читаем его письмо к Врангелю: «Я же с своей стороны объявляю Вам мои надежды; чего мне надобно наверно, чтоб отбить её от женихов и остаться перед ней честным человеком, а потом уже спрошу Вас, чего мне ожидать из того, что мне надобно, что может сбыться, что не сбыться? – так как Вы в Петербурге и многое знаете, чего я не знаю...»¹⁰

«Умоляет меня не сомневаться в любви ее...»

Разжалобить друга столь чувствительным «романом вьяве» было нетрудно. Врангель, возможно, даже прослезится и,

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

конечно, поможет. Ведь связи с Петербургом (где, как известно, «чины раздают») у Врангеля имеются. И тут Исаева, в буквальном смысле, оказывается для Достоевского бесценной.

Из письма к А. Е.: «... В последнем и в предпоследнем письмах она пишет, что любит меня глубоко, что жених только расчет, что умоляет меня не сомневаться в любви её и верить, что это только одно предположение, последнему я верю; может быть, ей предлагали и её уговаривают, но она еще не дала слова; я справлялся о слухах, отыскивал их источник, и оказывается, много сплетен. К тому же, если б дала слово, она бы мне написала. Следовательно, это еще далеко не решено. Ко 2-му апрелю жду от неё письма. Я требовал полной откровенности и тогда узнаю всю подноготную. О друг мой! Мне ли оставить её или другому отдать. Ведь я на неё имею права, слышите, права! Итак: переход мой в статскую службу будет считаться большою надеждою и одобрением... Долго ли я буду без чина? Как Вы думаете? Неужели будет заперта моя карьера?... Теперь самое важнейшее — деньги...».¹¹

«Она же погибнет без меня!...»

Таким образом, выстраивается цепочка: карьера и деньги нужны, чтобы обеспечить брак с любимой женщиной. Но из каких побуждений Врангель помогает Достоевскому, пуская в ход везде, где только необходимо, своё влияние?

Молодой чиновник действительно стремится поддержать Достоевского, ибо роман, переживаемый Достоевским «въяве» (точнее, в письмах) — захватывающий и интригующий, содержит множество трогательных подробностей, а Врангель сам влюблен, у него сложные отношения с Е. Гернгросс в Барнауле, и понятно, что ему непременно хочется стать участником столь же нелегкой романтической связи, хотя бы на правах «устроителя судеб».

Но попробуем обернуть ситуацию в наш «железный век». Нельзя исключить, что покровительство уже ставшему известным писателю сулит в будущем моральные дивиденды

подающему надежды чиновнику, и он, наверное, это осознает. Поддержать Достоевского — беспроектно. И притом обстоятельство самим Достоевским представлены в таком чувствительном аспекте, что Врангелю, как уже сказано, весьма лестно принять участие в его злоключениях.

Однако продолжим чтение начатого письма. Денежные мотивы в нем постоянно переплетаются с сердечными, так что — роман получается как бы на тему «любовь и злато»: «А мне что надобно: 2-3 тысячи в год ассигнациями. Итак, честно ли я поступлю с ней или нет? Что ж, этого мало, что ли, для содержания нашего? Года через два возвратимся в Россию, она будет жить хорошо, и, может быть, даже наживем что-нибудь. Ну неужели, имея столько мужества и энергии в продолжение 6-ти лет для борьбы с неслыханными страданиями, я не способен буду достать столько денег, чтобы прокормить себя и жену. Вздор! Ведь, главное, никто не знает ни сил моих, ни степени таланта, а на это-то, главное, я и надеюсь. Наконец, последний случай: ну, положим, что еще год не позволят печатать? Но я, при первой перемене судьбы напишу к дяде, попрошу у него 1000 руб. серебром для начала на новом поприще, не говоря о браке; я уверен, что даст... Нет, я не подлец перед ней! А так как она сама упоминает, что рада без сожаленья бросить всех женихов ради меня, если б только у нас уладились дела, то, значит, я еще её избавлю от беды. Но что я говорю! Это решено, что я её не оставлю! Она же погибнет без меня! Александр Егорович, душа моя! Если б Вы знали, как жду письма Вашего! Может быть, в нем есть положительные известия, тогда пошлю его ей в оригинале, а если нельзя, вырву строки о надеждах на устройство судьбы моей и пошлю».¹²

«Не доводите меня до отчаяния!...»

Показательно место в письме Достоевского, где говорится про дядюшку. Способ разжалобить и получить деньги на спасение несчастной и больной Марии Дмитриевны (через устройство собственной судьбы) опробован на Врангеле. И теперь

Достоевский решил применить его и к близкому родичу - пусть вышлет столь насущно необходимую тысячу рублей. Значимость Исаевой в глазах Достоевского, уже помимо любви, всё более поднимается по мере того, как родственники и друзья активнейше пытаются помочь влюбленным и пускают в ход своё влияние и связи, чтобы «ввести в свет» бывшего каторжника. Притом Достоевский сам подсказывает Врангелю, к кому именно обратиться за подмогой, и называет, в частности, имя графа, генерал-адъютанта Тотлебена.

Создается впечатление, что весь свет задействован в устройстве судьбы Достоевского, и только на том основании, что Исаева пока еще в нерешительности: за кого выйти замуж. И для того, чтобы убедить неизвестную вдову в неописуемо далеком Кузнецке, необходимо вмешательство графов, баронов и генералов.

Между тем, Достоевский именно так дело и обставляет, тщательно Врангеля наставляя и инструктируя, как вести себя с высокопоставленным Тотлебеном: «Он (то есть Тотлебен, - *авт.*) человек очень вежливый (несколько рыцарский характер), примет и отпустит Вас очень вежливо, если даже и ничего не скажет удовлетворительного. Если же Вы по лицу его увидите, что он займется мною и выкажет много участия и доброты, о, тогда будьте с ним совершенно откровенны; прямо, от сердца войдите в дело; расскажите ему обо мне и скажите ему, что его слово теперь много значит, что он мог бы попросить за меня у монарха, поручиться (как знающий меня) за то, что я буду вперед хорошим гражданином, и, верно, ему не откажут. Несколько раз по просьбе Паскевича государь прощал преступников-поляков. Тотлебен теперь в такой милости, в такой любви, что, право, его просьба будет стоить Паскевичевой. Вообще же я во многом надеюсь на Вас. Вы скажете горячее слово, я уверен. Ради бога, не откажите мне в этом... Не встретите ли как-нибудь младшего брата Тотлебена, Адольфа? Тот мне друг. Скажите ему обо мне, и тот бросится на шею к брату и будет умолять его хлопотать за меня. Само собою разумеется, Вы моё письмо к

Тотлебену запечатайте в конверт и так подайте. Мне же как можно скорее пришлите уведомление обо всем этом, хорошо ли, худо ли будет... Не обескуражены ли Вы, и, может быть, нехотя пойдете к Тотлебену. Ангел мой! Не оставляйте меня, не доводите меня до отчаяния!».¹³

«Вы знаете, как я нуждался...»

Итак, Врангель должен обратиться к Тотлебену, а Тотлебен – к царю. И всё для улагодворения бедной вдовы из далекого и мало кому известного Кузнецка. Потому что, - сидит она без денег и не знает, какого жениха предпочесть.

Это не преувеличение: по логике письма Ф. М. так и выходит - вмешаться должен лично монарх и сделать послабление Достоевскому, чтобы Исаева снизошла до замужества. Всё как-то странно смахивает на водевиль, в котором – и любовь, и сильные мира сего, и ожидание особых милостей от них.

Возможно, иные скажут: как сильно было чувство Достоевского, если ради него он просит друга дойти до самодержца! Сегодняшние циники, напротив, пожмут плечами и скажут: да, но вероятно и другое, куда более кощунственное прочтение; чтобы Достоевскому додуматься потревожить царя, Исаеву следовало бы выдумать, но, к счастью, судьба поместила её на пути бывшего каторжника, и вот Достоевский в ожидании – не посыплются ли всяческие блага аж из Петербурга! И как тут не вспомнить об излюбленном персонаже Достоевского, обозначенном в романах как «чахоточная восторженная» героиня, - мечущаяся меж двух соперников.

Так каковы, каковы же действительные мотивы поступков Достоевского? Какая тайна кроется за его венчанием? Конечно же, не просто страстное желание во что бы то ни стало обеспечить себя хоть каким-то чином и средствами. Ведь вот и у брата своего, Михаила, Достоевский просит денег, объясняя при этом Врангелю, что они нужны для поездки к Исаевой. Причем – их требуется как можно больше. Видно, в понимании Достоевского брак с Исаевой, что походил бы на «рай в шалаше»,

невозможен.

Читаем: «Никогда не забуду, что он, - пишет Достоевский Врангелю о брате Михаиле, - сказал Хоментовскому, передавшему ему мою просьбу похлопотать за меня, что мне лучше оставаться в Сибири. В декабре мы писали (помните, через Вашего брата), я просил денег, прося их выслать на Ламота. Вы знаете, как я нуждался! Что ж, ни слуху, ни духу! Я понимаю, что он может их не иметь, ибо он торгует, но в крайних случаях спасают человека. Притом же недолго я буду у них на шее и всё отдам. Притом же и прошу-то его об деньгах, помня его же слова при прощании со мною. В письме к нему, здесь приложенном, прошу его кроме тех 100 выслать мне еще, сколько может больше. Мне нужно это на всякий случай (если б я получил свободу, то тотчас же полетел бы в Кузнецк, а без денег этого сделать нельзя). Кроме того, если уедет она в Барнаул, уговорю её принять от меня; я ведь Вам не могу написать, но мне нужны, нужны деньги до зарезу; один раз в жизни они только так бывают нужны. 300 руб. серебром спасли бы меня. Но даже 200 и то хорошо, включая сюда те 100, которые уже я просил в декабре. Разумеется, я это Вам пишу как другу, а Вы не вздумайте сами чем-нибудь помочь! Я и то перед Вами подлецом, должен Вам пропасть!»¹⁴

«Я буду есть один хлеб...»

Фабула построена таким образом, что любовь к Исаевой настоятельно требует неких благ для самого Достоевского. Разумеется, роман разворачивается более чем деликатно. Врангелю намекают на крайнюю нужду, но тут же предупреждают, чтобы не смел еще раз помогать, - и так ему много должны.

Но ведь именно как друг, на правах задушевного поверенного чувств, Врангель просто обязан субсидировать Достоевского, поскольку тот ни о чем другом в письме и не пишет, кроме как о деньгах, причем Исаева по-прежнему – ведущий мотив и беспокойства, и просьб. Так и слышим хихиканье сегодняшнего циника: ну да, она - тот ключик, с помощью коего

раскрываются кошельки – у Врангеля и у родни.

Кстати, тут же Достоевский сообщает, что сядет на хлеб и воду и в конце концов погибнет вместе с Исаевой от голода, отказываясь принимать подачки. Прекрасно зная, что Врангель – друг, и до «хлеба с водой» влюбленных не допустит. При подробном анализе писем выявляется, что при просьбах о помощи пускаются в ход убедительнейшие «крайние» заверения: ситуация – запредельная, критическая, которая случается один раз в жизни...

Заметим, «запредельность» затягивается – на годы. С подобными же просьбами Достоевский будет многолетне обращаться к родне и знакомым. Причем поводом будет, конечно, уже не Исаева.

«Что если он, - говорится далее в письме Достоевского к Врангелю, причем «он» – это брат Михаил, - подобно всевозможным дядюшкам и родным в романах, сердится на любовь мою к ней и отговаривает Вас помогать мне! Но ведь мне 35 лет. Что он думает? Что я его люблю из-за денег, которые он мне присылает. Вздор! У меня гордость есть. Я буду есть один хлеб и погибнем я и она, но не надобно мне от него денег, посланных с таким чувством. Не хочу подаяния! Мне нужно брата, а не денег! Мы с ним когда-то и вздорили, но горячо любили друг друга, и, клянусь Вам, я бы голову за него отдал. У меня дурной характер, но когда дойдет до дела, тогда я стою за друзей... Неужели он забыл всё старое и рассердится на то, что я прошу много денег, и когда? Когда для меня самый критический момент всей жизни».¹⁵

«Я готов жизнь мою за неё отдать...»

Достоевский сам признается, что отношения с Исаевой разворачиваются у него «как в романе»: родственники восстают против возлюбленной и лишают Ф. М. содержания. Читая письма Достоевского, не раз ловишь себя на том, что перед нами – некая литературная схема. Многоактная пьеса с любовными треугольниками, невеста и жених в бедности, а «злато» у тех, от

кого зависит их судьба. И - патетика: «грозное чувство» и «самый критический момент всей жизни».

А как поглядишь, цена вопроса - добиться надлежащего обеспечения, вырваться на жительство в столицу и заслужить всемилостивейшее «прощение», чему, конечно, поспособствуют слухи о спокойной семейности. Но для этого нужно суметь передать в посланиях столь необходимый «накал», постоянно поминая, что «я готов жизнь за неё мою отдать» (что в устах раскаявшегося каторжника должно выглядеть особенно умирительно для «сильных мира сего» и, конечно же, произвести ожидаемый эффект).

Достоевский это осознает: «Ради бога, поймите меня, - пишет он Врангелю, - помогайте мне, не думая, что я чем-нибудь могу повредить своей карьере своею любовью к ней, и... не подумайте, чтоб я поступил с нею нечестно, отвлекая её от выгодного брака с другим, имея ввиду только одну мою эгоистическую пользу. Нет ни выгоды ей в её браке с другим, ни малодушного эгоизма во мне, и потому этого нельзя думать. В противном случае, клянусь, я готов жизнь мою за неё отдать и отказался бы от всех надежд моих в её пользу. Рассудите, она в каждом письме своём и даже в последнем пишет, что любит меня более всего на свете, пишет, что сватающийся человек только расчет с её стороны, и особенно умоляет меня верить, что это только еще одно предположение. Поймите же и её положение. Она с жадностью ждет перемены в судьбе моей, и всё нет да нет ничего! Она приходит в отчаяние и, понимая, что она мать, что у ней есть ребенок, колебалась на возможность, если мои дела не устроятся, выйти замуж. Еще две почты назад она писала мне, успокаивая мою ревность, что ни один из кузнецких не стоит моего пальца, что она хотела бы мне сказать что-то, но боится меня, что кругом неё интригуют всякие гады, что всё это так грубо делается, без малейшего знания приличий, уверяет в том же письме, что она более чем когда-нибудь чувствует, что я необходим ей, а она мне и пишет: «Приезжайте скорее, вместе посмеемся».¹⁶

«Для нее смерть и гибель выйти там замуж...»

Итак, Исаева «приходит в отчаяние» от того, что «перемены в судьбе» Достоевского так и не происходят. То есть буквально – нет ни чина, ни денег. От каких, однако, мелочей зависело, глядишь, счастье двух любящих! А как же «жертвы», кои долженствует принести во имя любви, - ведь Достоевский так проныкновенно писал!

Жертвы – жертвами, но не могут же они касаться содержания и общественных или финансовых обстоятельств жертвователя! – недоумевает сегодняшний прагматик. И тогда остается одна трактовка: на алтарь любви приносятся только страдания...

Но страдания проистекают всего лишь из отсутствия приличного положения у потенциального жениха. Неромантично? Но – не у Достоевского.

Даже самые прозаичные и «скользкие» мотивы и помыслы он облекает в трогательные и надрывные личины. Читаем далее: «Конечно, посмеемся над проделками кумушек, давших себе слово выдать её замуж. Но ведь она, бедная, слабая, всего боится. Ведь, наконец, собьют её с толку, а главное, загрызут, если увидят, что она не поддается на их проделки, и она будет жить одна среди врагов. Поймите же, что это для неё смерть и гибель выйти там замуж! Я знаю, что если б малейшая надежда в судьбе моей – и она бы воскресла, укрепились духом и, получив письмо от отца (с разрешением), уехала бы в Барнаул или в Астрахань. Что же касается до меня, то, конечно, мы были бы с ней счастливы. В браке со мной она была бы всю жизнь окружена хорошими людьми и хорошим, большим уважением, чем с тем чиновником. Я сам ведь буду чиновник и скоро, может быть. Я уверен, что могу прокормить семью. Я буду работать, писать».¹⁷

«Бедненькая! Она измучается...»

Из написанного следует, что в отличие от брака с неким претендентом из Кузнецка, где Исаеву «загрызут» и окружают врагами, с Достоевским она будет счастлива. Известно, Ф. М. –

незаурядный психолог. И поэтому его романы – шедевры психологического анализа. Но как же он мог так ошибиться в собственном случае – его прогнозы не оправдались: ни Исаева, ни он счастливы вместе не были. Похоже, сам Достоевский это поймет уже через несколько недель после кузнецкого венчания, когда бывший его соперник, Вергунов, неожиданно-негаданно обожнется в Семипалатинске, приехав вслед за М. Д.

А еще Достоевский сообщает Врангелю следующее: «Знаете, что я ей отвечал и чего прошу у неё? Вот что: что так как раньше окончания траура, раньше сентября, то есть, она не может выйти замуж, то чтоб подождала и не давала тому решительного слова. Если же до сентября моё дело не уладится, то тогда, пожалуй, пусть объявит согласие. Согласитесь, что если бы бесчестно и эгоистически действовал с ней, то повредить бы ей не мог просьбой подождать до сентября. К тому же она любит меня. Бедненькая! Она измучается. Ей ли с её сердцем, с её умом прожить всю жизнь в Кузнецке бог знает с кем. Она в положении моей героини в «Бедных людях», которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!). Голубчик мой! пишу Вам всё это для того, чтоб Вы действовали всем сердцем и всей душой в мою пользу. Как на брата надеюсь на Вас! Иначе я дойду до отчаяния! К чему мне жить тогда! Клянусь Вам, что я сделаю тогда что-нибудь решительное! Умоляю Вас, ангел мой! А если Вам когда-нибудь понадобится человек, которого надо будет послать за Вас в огонь и в воду, то этот человек готов, это я, а я не покидаю тех, кого люблю, ни в счастье, ни в беде, и доказал это!»¹⁸

«Она быстро перейдет от отчаяния к уверенности...»

Примечательно утверждение Достоевского, что роман с Исаевой как бы списан с «Бедных людей», то есть с собственной повести. Но он и был – списан. Потому что «по жизни» Ф. М., похоже, вольно или невольно, скорее интуитивно, искал ситуаций, схожих с его представлениями о любовных коллизиях.

И пусть в действительности не всё выглядело вполне возвышенно, и сердечные связи сопровождались изменами

и разбивались, порой, о немислимые рифы. Но ведь и в творчестве Достоевского сходные «анalogии» отнюдь не безоблачны, а иногда вызывают отторжение, и прежде всего у самого автора (доказательства приводились выше).

Письмо Врангелю продолжается: «Ради бога, не теряя времени, напишите ей в Кузнецк письмо и напишите ей яснее и точнее все надежды мои. Особенно, если есть что-нибудь положительное в перемене судьбы моей, то напишите это ей во всех подробностях, и она быстро перейдет от отчаяния к уверенности и воскреснет от надежды, напишите всю правду и только правду. Главное подробнее. Это очень легко. Вот так: «Мне передал Ф. М. Ваш поклон (он Вам кланяется и желает счастья) – так как, я знаю, Вы принимаете большое участие в судьбе Ф.М., то спешу порадовать Вас, есть такие-то известия и надежды для него. . .» и т.д. Наконец: «Я много думал о Вас. Поезжайте в Барнаул, там Вас примут хорошо» и т.д. Вот так и напишите, да еще: она писала мне, что Вы, уезжая, ей написали. Очень рада и благодарна, что Вы её не забыли, но пишет, что ничего не видно из письма Вашего, что ей хорошо будет в Барнауле, что Вы даже не пишете, согласен ли Барнаул принять меня, и что она не знает поэтому: не примут ли её с досадою, как попрошайку, когда она явится туда. Верно, Вы были в хлопотах и расстройстве сами, когда так неполно и вскользь ей написали. Понимаю это и не ропщу на Вас. Но, ради бога, поправьте теперь дело. Для меня, для меня это сделайте, мой ангел, брат мой, друг мой! Спасите меня от отчаяния! ведь Вы больше чем кто другой могли бы понять меня!»¹⁹

Как это часто случается в письмах Достоевского, он, как опытный сценарист, диктует адресату ту линию поведения, которая должна наиболее впечатлить Исаеву.

«Я только осчастливлю себя браком с нею...»

Из приведенного письма явствует: ожидаемых «перемен в судьбе» семипалатинского солдата еще нет. Есть только надежды на них. Однако, если Исаевой сообщит не кто-нибудь,

а барон Врангель, что и деньги, и чин почти гарантированы, то тогда она сможет явиться в высший свет уже «не как попрошайка», чего она более всего опасается.

Возможно, невеста многим покажется слишком разборчивой. Ведь по поводу Вергунова, его служебного статуса и жалования никакие авторитетные лица «гарантийных писем» ей не слали. И всё же, видно, любовь к красавцу Вергунову перевесила в душе Исаевой её стремление соединиться с Достоевским, даже при получении чина, и при скромном достатке и покровительстве такого верного друга, как барон Врангель.

Впрочем, создается впечатление, что Исаева и сама еще не знала, чего именно хотела. Или — слишком знала и умело разжигала страсть Достоевского, чтобы тот «взбодрил» механизмы своих связей и она не выглядела бы жалкой, а могла предстать «музой» писателя, который теперь — человек респектабельный.

Так или иначе, Врангель находится под сильным психологическим воздействием. Концовка письма: «Наконец: ради Христа, уведоьте меня обо всем ходе дел моих, как можно подробнее и поскорее; в этом полагаюсь совершенно на Вас. Уговаривайте брата помогать мне, действуйте перед ним как ходатай за меня. Внушите ему, что я только осчастливилу себя браком с нею, что нам немного надо, чтоб жить, и что у меня достанет энергии и силы, чтоб прокормить семью. Что если позволят писать и печатать, тогда я спасен, что я не буду им никому в тягость, не буду просить их помогать себе, и главное: не сейчас же я женюсь, а выжду чего-нибудь обеспеченного. Она же с радостию подождет, только бы имела надежду на верное устройство судьбы моей... Прощайте, дорогой мой, голубчик мой! Да! забыл! Ради Христа, поговорите с братом о денежных делах моих. Уговорите его помочь мне последний раз. Поймите — в каком я положении. Не оставляйте меня! Ведь такие обстоятельства как мои только раз в жизни бывают. Когда же и выручать друзей, как не в такое время. Обнимаю, целую Вас... С сожалением кончаю письмо; теперь опять я один с моими

слезами, сомнением и отчаянием... Похлопочите о моих... делах у Гернгроссов. Прощайте; обнимаю и целую Вас еще раз! Вы надежда моя, Вы спаситель мой!».²⁰

Кто бы устоял перед такой концовкой? Врангель устоять не мог...

«Дышу только ею...»

В то же самое время, в марте 1856г., Достоевский через Врангеля же отправляет письмо брату Михаилу. В нем он сообщает, что Исаева не только его любит, но и «доказала это». Рискуя повториться, еще раз зададимся вопросом: как может женщина доказать свою любовь — неосторожным обещанием или рискованным свиданием? Но все это легко «перекрыть» новой связью с очередным претендентом на руку и сердце — а ведь подобный в Кузнецке уже сыскался.

Стало быть, совсем о другом «свидетельстве» идет речь. Достоевский изъясняется загадками. Впрочем, — не всегда. В одном из посланий Врангелю сказано ведь: «Я права на нее имею, слышите, права!». Куда уж прозрачней. И, очевидно, эти намеки вполне понятны и Врангелю, и брату. И не подобны ли упомянутые «доказательства» тем, что получил Вергунов от самой Исаевой, уже повенчанной с Достоевским?

Читаем: «... Никогда столько грусти, тоски и отчаяния не было в жизни моей, как теперь! Тебя, — обращается Достоевский к брату, — прошу о помощи: не оставляй хоть ты меня в эту минуту. Александр Егорович многое расскажет тебе. В письме с ним я писал уже тебе об одной даме, с которой был знаком в Семипалатинске, которая переехала с мужем в Кузнецк, где муж её и умер. Писал тоже тебе о надеждах моих, о любви нашей. Друг мой милый! Эта привязанность, это чувство к ней для меня теперь всё на свете! Я живу, дышу только ею и для неё. В разлуке с ней мы обменялись клятвами, обетами. Она дала мне слово быть женой моей. Она меня любит и доказала это. Но теперь она одна и без помощи. Родители её далеко (они ей помогают, присылают денег). Видя, что так долго не разрешается

судьба моя, нет ничего, чего мы вместе с ней ожидали, что облегчение судьбы моей еще сомнительно (хотя я уверен в нём), она впала в отчаяние, тоскует, грустит, больна».²¹

«Осаждают просьбами выйти замуж...»

Далее Достоевский утверждает, что Исаеву «осаждают просьбами выйти замуж». В чем, собственно, - ничего странного. В Кузнецке – люди простые, непросвещенные, не светские. А Исаева – дама видная, говорит по-французски, у неё изысканные манеры.

И – неожиданный поворот. Достоевский считает, что «если она не даст слова», то есть отвергнет домогательства заявивших о себе женихов, «все сделаются её врагами». Так что отказать тамошним притязаниям бедной одинокой вдове никак нельзя. И получается тупик. В письмах Достоевского – странная логика: за него самого Исаева выйти замуж не может, поскольку у него - ни денег, ни положения, кузнецких же претендентов не оттолкнешь: местное общество «загрызет».

И, само собой, «враги», готовые посягнуть на Исаеву, превращаются теперь в очередной повод просить у брата помощи – надо же вывести женщину из столь затруднительной ситуации. Поводы и мотивы убедительны: «В маленьком этом городишке интригуют. Её осаждают просьбами выйти замуж, все вдруг сделались Кочкаревыми. Если она не даст слова, все сделаются её врагами. Её сбивают, указывают на беспомощность её положения, и вот она, наконец, долго таившись от меня, написала мне об этом. Пишет, что любит меня больше всего на свете, что возможность выйти замуж за другого еще одно предположение, но спрашивает: «что ей делать?» – и молит меня, чтоб я не оставил её в эту критическую минуту советом. Это известие меня поразило, как громом. Я истерзан мучениями. Что если её собьют с толку, что если она погубит себя, она, с чувством, с сердцем, выйдя за какого-нибудь мужика, олуха, чиновника, для куска хлеба себе и сыну, она только могла бы это сделать! Но каково же продать себя, имея другую любовь в сердце. Каково же и мне? Может быть, накануне переворота в

судьбе моей и её устройства по новому. Потому что я слишком обнадежен, чтоб потерять надежду. Если не теперь, то когда-нибудь я достигну полного устройства дел моих, а теперь если не всё, то не многое могло бы спасти нас обоих! А это немногое так возможно и скоро! Я здесь даже нашел людей, которые готовы дать мне место... Я получу место, жалование... Если б переменилась судьба моя, хоть как-нибудь, то я имею намерение обратиться к дяде и попросить его (не говоря о браке) помочь мне для начала новой жизни. Даст! Я уверен в этом».²²

«Я умру с тоски, если потеряю её...»

Приведенный в отчаяние тупиковым положением, Достоевский не останавливается ни перед чем – ипохондрия одолела: «умру с тоски, если потеряю её».

Покошунствуем: со стороны это выглядело недвусмысленно - если не поможете, моя смерть – на вашей совести. Притом, чувство к Исаевой описано так ангельски чисто, а возможности довести себя до кончины так драматичны и все же завуалированы, что тут поневоле – как не помочь.

«Её, - пишет далее Достоевский брату, - надо обнадежить, уверить, спасти; я далеко от неё; на письмах дело ладится плохо. Пойми же моё отчаяние! Пойми и то, брат (ради Христа, будь мне братом и пойми, что это не 20-летняя страсть, что мне 35 лет скоро, что я умру с тоски, если потеряю её!), что всю жизнь мою хотел я посвятить на то, чтоб сделать её счастливою. Я не могу тебе написать ни моих надежд, ни моего отчаяния. Мы более 6 лет не видались. Пойдем ли мы друг друга так, как надо, как брат понимает брата? Любишь ли ты меня по-прежнему, не изменился ли ты, - не знаю этого ничего! Друг мой, ангел мой! Есть у меня надежда, уверенность, что ты всё-таки брат мне! Спаси меня! помоги мне!».²³

Сердце брата не может не дрогнуть...

«Чтобы сделать её счастливою...»

Как толковать утверждение Достоевского, что он хотел «всю жизнь мою посвятить на то, чтоб сделать её счастливою»?

Исаеву он счастливой не сделал. Их совместное бытование — непрерывная цепь страданий. Несравненный психолог Достоевский ошибся, «читая» характер Исаевой, и выбрал не тот путь к ее счастью? Не оценил по достоинству ее твердость духа и считал, что наилучшую долю ей принесет полное растворение в нем?

Однако продолжим чтение письма: «У ней есть сын, мальчик, которому едва только минуло 8 лет. Когда умер муж, она, как мать, как заброшенная на край света, и наконец, как слабая женщина, пришла в страшное отчаяние о судьбе ребенка. Я её обнадеживал. Старик-отец писал ей, что он не оставит внука, отдаст его в гимназию и потом в университет. Но что будет, думает она, если умрет старик, тогда кто будет содержать сына? И потому она думает, что лучше будет отдать его в корпус, где нынче так прекрасно воспитывают и где правительство не оставляет своих воспитанников уже всю жизнь, даже во время службы, раз уже взяв их на своё попечение. По чину мужа его нельзя иначе отдать, как в Павловский корпус. Я вполне согласился с нею и сказал ей, что Голенковский, мой родственник, занимает в этом корпусе значительное место, что он имел бы особое попечение за ребенком и его нравственностью и что, наконец, ты, как родной брат мне, не отказал бы исполнить мою усердную просьбу, хоть иногда брать ребенка по воскресеньям к себе. Таким образом не остался бы он совершенным сироткой, посещал бы хороший дом, где видел бы хорошие примеры, и таким образом ей можно было быть спокойною и за развитие его характера и нравственности. Когда же она дала мне слово быть моею женою, я подтвердил ей, что буду хлопотать у родных моих о её сыне, и в случае, если она достигнет поместить его в Павловский корпус (что она сделает и сама, не утруждая никого просьбами), то родные мои, некоторым образом уже как родные и её сыну, примут в нем и участие более горячее, более родственное. Это ей было очень приятно. Она, бедная, была в такой тоске. Скажу тебе, милый мой, что я действительно надеялся крепко на тебя. Чтобы стоило тебе в самом

деле иногда взять его к себе в воскресенье. Не объел же бы тебя беденький сиротка».²⁴

«А за сиротку тебе бог подаст...»

Так наметился еще один оттенок «устройства судьбы». Жалость к будущему пасынку — не могла не затронуть чувствительность брата. И если уж на нищих не жалели — на «беденького сиротку» из семейства приметного писателя и подавно.

И все бы, казалось, правильно, но — ведь Паша новую семейную пару явно стеснял бы, и потому самое время озабочиться его отправкой в Павловский корпус, на попечение брата, который, конечно же, каждое воскресенье станет его обласкивать и приобщать к хорошим манерам.

Достоевский — брату: «А за сиротку тебе бог еще больше подаст. К тому же, когда-то твоего брата, который был в изгнании, в несчастье, заброшенный на край света, оставленный всеми, отец и мать этого ребенка приняли у себя как брата родного, кормили, поили, ласкали и сделали его судьбу счастливее. К тому же самое поступление мальчика еще не скоро будет, ему еще только 8 лет. Теперь пойми меня: я хочу просить тебя, чтобы ты написал ей в этом смысле. Именно так: М(илостивая) г(осударыня) Марья Дмитриевна! Брат мой, Ф(едор) М(ихайлович) Д(остоевский) много раз писал мне, как радушно, с каким родственным участием был он принят Вами и Вашим покойным мужем в Семипалатинске. Нет слов, чтобы изъяснить Вам всю благодарность за то, что Вы сделали бедному изгнаннику. Я его брат и потому могу это чувствовать. Давно уже хотел я благодарить Вас. Брат уведомил меня, что Вы намерены поместить Вашего сына, когда выйдут ему лета, в Павловский корпус. Если когда-нибудь он там будет и если я хоть чем-нибудь могу облегчить одиночество ребенка на случай, если бы он не имел в Петербурге ни родных, ни знакомых, то, поверьте, я почту себя счастливейшим человеком, тем более, что хоть этим могу выказать Вам живейшую благодарность за радушный прием моего брата в Вашем доме. Поверьте мне, что всё, что писал

мне брат о Вас и знакомстве с Вашим домом, было мне чрезвычайно приятно и наполнило сердце моё радостью за моего бедного брата. Нет слов, чтобы выразить Вам моё уважение. Позвольте пребыть и т.д.». На эту тему прошу тебя написать покороче и получше. Пойми, что ты для меня можешь сделать, тем более, что это тебе ничего не стоит. Ты вольешь в неё надежду. Она увидит, что она не оставлена, а главное, страшно поможет мне в делах моих. Ибо расположение родных моих к ней для неё теперь чрезвычайно важно; ибо я уведомил её, что писал тебе о возможности нашего брака. Само собою разумеется, об этом браке ни слова. Адресовать: Её высок(облагородию) М(арии) Д(митриевне) Исаевой, в город Кузнецк, Томской губернии. Ради Христа, сделай это для меня, брат. Ты мне сделаешь, повторяю, благодеяние. На коленях прошу тебя об этом. Не убей меня отказом!». ²⁵

Искусный режиссер и на этот раз, Достоевский подсказывает и диктует, как писать Исаевой, тем самым завязывая еще один узелок в отношениях: при таких радужных надеждах на будущее сына, как отказать Достоевскому?...

«Я убит теперь, истерзан...»

И вот, казалось бы, все доводы, предназначенные для воздействия на Врангеля и брата Михаила, изложены. Безмерная любовь и бедность, «сиротка», и готовность расстаться с жизнью. Талант сочинителя Достоевского разворачивается во всю силу и свойственный ему дар убеждения приговаривается автору писем как никогда. Причем запас аргументов, оказывается, неисчерпаем: неожиданно всплывает еще один. Достоевский напоминает, что во время женитьбы Михаила, «поделился я с тобой последним тогда».

Похоже, собственных «благодеяний» Достоевский не забывает и намекает Михаилу, что именно сейчас настала пора расквитаться: «Мне нужно кроме тех 100 руб., которые я просил у тебя, еще 200 руб. Послушай, брат! Помнишь ты то время, когда ты женился? Не поделился ли я с тобой последним тогда?

Знаю, не упрекай меня в неблагодарности! Ты мне столько передавал за всю жизнь мою денег, что моё ничего против твоего. Но всё хорошо вовремя. К тому же, неужели бы ты мог быть способен отказать в помощи брату в таком несчастье. Теперь пойми, что никогда еще в жизни моей не было такой ужасной минуты! Эти деньги могли бы помочь мне в самом критическом обстоятельстве. Если нельзя 300, то пришли 200. Но, ради бога, пришли! Более не буду тебя беспокоить. Я надеюсь на перемену моей судьбы... Брат, неужели ты ко мне изменился! Как ты холоден, не хочешь писать, в 7 месяцев раз пришлешь денег и 3 строчки письма. Точно подаяние! Не хочу я подаяния без брата! Не оскорбляй меня! Друг мой! Я так несчастлив! Так несчастлив! Я убит теперь, истерзан! Душа болит до смерти. Я долго страдал, 7 лет всего, всего горького, что только выдумать можно, но наконец есть же мера страданию! Не камень же я! Теперь всё это переполнилось... Не сердись на меня, мне ведь так тяжело! Не будь ко мне так небрежен! Помогите, услышь меня!... Ради Христа, никому ни слова о моих намерениях насчет женитьбы. Напиши письмо к М(арье) Д(митриевне) как можно скорее, не задерживая, и как можно почтительнее. Эта женщина стоит того!». ²⁶

«Счастье всей моей жизни...»

С Врангелем, как уже было сказано, Достоевский отправил письмо не только брату, но и графу, генерал-адъютанту Э. И. Тотлебену. «Личные обстоятельства» Достоевский изложил ему кратко: «Не скрою от Вас, что кроме теперешнего желания моего переменить свою участь на другую, более соответствующую моим силам, одно обстоятельство, от которого, может быть, зависит счастье всей моей жизни (обстоятельство чисто личное), побудило меня попробовать осмелиться напомнить Вам о себе. Не всего разом прошу я, но только возможности выйти из военной службы и права поступить в статскую».

«Одно обстоятельство, от которого, может быть, зависит счастье моей жизни» — это роман с Исаевой, конечно. Однако

удивляет, что в письме Тотлебену, также, впрочем, как и к брату, и Врангелю, она опять выступает как «опора» респектабельности Достоевского (женится — остепенится, и окончательно забудет о бывших увлечениях «идеями»), и напоминания о ней Достоевский использует для продвижения собственных дел, «устройства судьбы» — оставаться солдатом и горестно и стыдно! Достоевский-психолог не ошибся. Его доводы настолько убедительны, что — желаемые результаты последуют, причем не-долго...²⁷

«Идет наш царь принять корону...»

Исаева, конечно, лишь один из множества мотивов, могущих помочь в достижении спасительных милостей. Причем, её собственное значение для Достоевского ничуть не преувеличивалось, она была главной сознательной доминантой его жизни. Всем сердцем он точно знал, что испытывает «грозное чувство», но — поставлена некая цель, ей же, Марии Дмитриевне, во благо, — и все пути хороши, если ведут к страстно желаемому. А, кроме того, стремление — самое глубокое, подспудное, подсознательно лелеянная сверхзадача — выбиться в люди, переехать поближе к столице и, главное, вновь печататься, дабы оказаться среди себе подобных, в литературной гуще. Для достижения этого сверх-чаянья Достоевский не только жалобит сильных мира сего и «бедной вдовой» и «несчастливым сироткой», и своей фатальной любовью, но и пишет, — кто бы мог подумать! — настоящую оду, приуроченную к коронации царя. В ней есть строки:

*Царю вослед вся Русь с любовью
И с теплой верою пойдет...
Идет наш царь принять корону...
Молитву чистую творя,
Взывают русских миллионы:
Благослови, господь, царя!*

... Попраны идеалы, забыто участие в кружке Петрашевского? Но что поделаешь — сверхзадача определена, и

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

Достоевский к ней стремится любыми способами — даже заискивающими письмами, даже одой царю!...²⁸

«Я невольно охладела к Вам...»

Из писем Достоевского следует, что он крайне удручен, думает о смерти, пребывает в отчаянии, а единственное его стремление — воссоединение разлученных сердец, но вот забота — какими путями такого единения достичь. Отсюда — «бедного сиротку» поскорее определить, для его же пользы, на учебу в столицу, дабы мальчик лишний раз не расстраивался, наблюдая терзания несчастливых влюбленных.

А между тем, многоходовая изощренно срежиссированная Достоевским интрига, уже зажила своей жизнью и развивается вполне удачно, так что, в сущности, Достоевскому было не до грусти. Стихотворение, приуроченное к коронации царя, уже написано, Врангель хлопчет в столицах, унывать — недосуг, «действие» надо постоянно «подживлять», и теперь мысли и рассуждения о готовности расстаться с жизнью будут мелькать сугубо в письмах к чувствительному и тоже влюбленному Врангелю.

Так, вскоре мы узнаем, что пока Исаева терзалась в неопределенности, Достоевский посещал семипалатинский бомонд «и даже пускался танцевать», а потом об этом своей возлюбленной писал. 13 апреля 1856г. Врангелю сообщается: «Просил и Вас, и брата написать к Марье Дмитриевне и если возможно — поскорее. Повторяю мою просьбу; ради бога, сделайте это. Вы пишете, что готовится что-то из милостей для нас, но что именно — это держат в секрете. Сделайте милость, друг мой бесценный, нельзя ли хоть что-нибудь узнать заранее относительно меня. Это мне нужно, нужно! Если что узнаете, сообщите немедленно... Впрочем, согласен с Вами совершенно, что надобно ждать коронации. Господь знает, может быть, и больше будет, чем даже и мы ожидаем... На масленице я был кое-где на блинах, на вечерах, даже танцевал. Тут был Слуцкий, и я часто с ним виделся (мы знакомы). Обо всем этом, о

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

том, что я даже пускался танцевать, и о некоторых здешних дамах я написал Марье Дмитриевне. Она и вообрази, что начинаю забывать её и увлекаюсь другими. Потом, когда настало объяснение, писала мне, что она была замучена мыслью, что я, последний и верный друг её, уже её забываю. Пишет, что мучилась и терзалась, но что ни за что не выдала бы мне свою тоску, сомнения, «умерла бы, а не сказала ни слова». Я это понимаю; у ней гордое, благородное сердце. И потому пишет она: «Я невольно охладела к Вам в моих письмах, почти уверенная, что не тому человеку пишу, который еще недавно меня только одну любил». Я заметил эту холодность писем и был убит ею».²⁹

«Я истерзался в мучениях...»

Достоевский «убит холодностью» Исаевой? Не удивительно - его поведение более чем странно. То он изнывает от любви к ней, то танцует с семипалатинскими дамами, и рассказывает о них предмету своих терзаний. Исаева тут же наказывает Федора Михайловича, ибо ему докладывают, что «она выходит замуж». Но ведь М. Д. – решающий аргумент Достоевского при решении главной подспудной сверхзадачи и необходимых для того столь долгожданных милостей.

Итак, Достоевский пишет Врангелю: «Вдруг мне говорят, что она выходит замуж. Если б Вы знали, что со мной тогда стало! Я истерзался в мучениях, перечитал её последние письма, а по холодности их поневоле пришел в сомнение, а затем в отчаяние. Я еще не успел ей ничего написать об этом, как получаю от неё письмо, о котором писал Вам в прошлый раз, где она, говоря о своем беспомощном, неопределенном положении, спрашивает совета: «что ей отвечать, если человек с какими-нибудь достоинствами посватается к ней?». После этого прямого подтверждения всех сомнений моих я уже и сомневаться не мог более. Всё было ясно, и слухи о замужестве её были верны, и она скрывала их от меня, чтоб не огорчать меня. Две недели я пробыл в таких муках, в таком аде, в таком волнении мыслей, крови, что и теперь даже припомнить не могу от ужаса.

Ей-богу, я хотел бежать туда, чтоб хоть час быть с ней, а там пропадай моя судьба! Но тень надежды меня остановила».³⁰

«В муках ревности и грусти...»

Исаева, как женщина незаурядного интеллекта (говорят ее современники), не могла не усвоить предпринятый Достоевским «путь решения сверхзадачи».

Не очень внятно рисуется, правда, увидел ли бы Достоевский истинное исполнение всех желаний лишь в обладании М.Д., или – только вкупе с ожидаемыми от царя послаблениями, необходимыми для достижения своей заветной цели: положение, столица, известность. Впрочем, всё так переплелось в затеянном им романе «въяве», что ответить однозначно на такой вопрос, наверное, невозможно.

Но - поволноваться Исаева Достоевского заставила. Читаем далее: «Я ждал её ответа, и эта надежда спасла меня. Теперь вот что было: в муках ревности и грусти о потерянном для неё друге, одна, окруженная гадами и дрянью, больная и мнительная, далекая от своих и от всякой помощи, она решилась вывести наверно: в каких я к ней отношениях, забываю ли её, тот ли я, что прежде, или нет? Для этого она, основываясь кой на чем, случившемся в действительности, и написала мне: «что ей отвечать, если кто-нибудь ей сделает предложение?». Если б я отвечал равнодушно, то это бы доказало ей, что я действительно забыл её. Получив это письмо, я написал письмо отчаянное, ужасное, которым растерзал её, и еще другое в следующую почту».³¹

«Ей отрадн была тоска моя...»

Достоевский не раз отзывался о Кузнецке (месте его венчания!) в самых нелестных выражениях. Исаева «окружена гадами и дрянью». Но кто они? Вергунов? Супруги Катанаевы - исправник и исправница, принимавшие в её судьбе большое участие? Священник Тюменцев, который позже обвенчает новобрачных?

Ныне принято, особенно в местной краеведческой литературе, представлять «кузнецкое окружение» Достоевского и Кузнецк в целом, как таковой, в сусальных тонах. В какой-то мере это оправдано.

Кузнецк не хуже и не лучше любого другого уездного города. И жили в нём люди очень разные. Благотворители и распутники, просвещенные и богобоязненные, чудаки и даже преступники. Но, тем не менее, это был городок, проникнутый своеобразным уютом микроклимата провинции, где все перероднились, перекумились и превращались, так что отношения — как плотно сбитая корневая система. И всё же Исаеву приняли, и даже поддерживали её.

А как же «гады и дрянь»? Почему так жестки характеристики, данные этому провинциальному городишке самим Достоевским? С ним, в основном, у Достоевского связаны впечатления малоприятные. Читаем: «Она была всё последнее время больна, письмо моё её измучило. Но, кажется, ей отраднее была тоска моя, хоть она и мучилась за меня. Главное, она уверилась по письму моему, что я её по-прежнему, беспредельно люблю. После этого она уже решила мне всё объяснить: и сомнения свои и ревность и мнительность, и, наконец, объяснила, что мысль о замужестве выдумана ею в намерении узнать и испытать моё сердце. Тем не менее, это замужество имело основание. Кто-то в Томске нуждается в жене и, узнав, что в Кузнецке есть вдова, ещё довольно молодая и, по отзывам, интересная, через кузнецких кумушек (гадин, которые её обижают беспрестанно) предложил ей свою руку. Она расхохоталась и ответила кузнецкой даме-свахе, что она ни за кого не выйдет здесь и чтоб её больше не беспокоили. Те не унялись: начались сплетни, намеки, выпрашивания: с кем это она так часто переписывается?».³²

Вспоминаются, читатель, мордасовские страсти на почве предполагаемого замужества Зины за старым Князем («Дядюшкин сон»)?

«Уверен, ... что все для меня кончилось...»

Исаевой предлагалось замужество с кем-то из Томска. Но ведь Вергунов — «корнями» именно оттуда. Он появился в Кузнецке только в 1854г., то есть за два года до описываемых событий, практически в одно и то же время с Исаевой — это ли не веление рока! И Вергунов, и Исаева были одиноки в чужом для них городе: они считались «приезжими», и уже поэтому — «не своими».

Так, может, под «томским» женихом подразумевался Вергунов? Сказать же напрямую Достоевскому, что «претендент» сейчас чуть не рядом с ней, Исаева боялась. Потому что сомневалась — насколько гладко пройдет получение милостей, ожидаемых Достоевским, а уж если не гладко — то замена найдена: вполне житейская ситуация. А Вергунов за неё — в огонь и в воду.

Интрига, меж тем, завязывалась всё туже: «У ней есть там одно простое, но доброе семейство чиновников, которое она любит. Она и сказала чиновнице, что если выходить замуж, то уже есть человек, которого она уважает и который почти делал ей предложение. (Намекала на меня, но не сказала кто). Объяснила же она это, зная, что и хоть хорошие люди, а не утерпят и разгласят всюду, а таким образом, коли узнают, что уже есть жених, то перестанут сватать других и оставят её в покое. Не знаю, верен ли был расчет, но сын Пешехонова, там служащий, написал отцу, что Марья Дмитриевна выходит замуж, а тот и насплетничал в Семипалатинске, таким образом, я и уверен был некоторое время, что всё для меня кончилось».³³

О, мордасовский салон «доброго семейства» — очевидно, Катанасовых (кстати — вот ведь не все «гадины»!), — о, комический роман «Дядюшкин сон»...

«Я ревную ее ко всякому имени...»

Таким образом, Достоевский уверился, что ревновал сам к себе. Но поражает другое: неистощимая его способность подбирать аргументы, дабы «подживить» ход событий в

«устройстве судьбы».

«Гадость кузнецкая её замучает!» – восклицает он в письме к Врангелю, и тот, видимо, должен это понимать так: если не ускорить царского прощения, то будет уже поздно, местные обыватели окончательно Исаеву «загрызут». Тем более торопит и такая причина: спасаясь от «гадов кузнецких», Исаева может ринуться в Астрахань к отцу, и тогда всё пропало, роман будет перечеркнут навеки, а Достоевскому – либо в Иртыш, либо «с ума сойти».

В общем, все, – в том числе и царь! – просто-таки обязаны спасать Достоевского от гибели, а всему виной захолустная тряпина, с которой не могут совладать ни бароны, ни генералы. . .

Концовка письма: «Но друг мой милый! Если б Вы знали, в каком грустном я положении теперь. Во-первых, она больна: гадость кузнецкая её замучает, всего-то она боится, мнительна, я ревную её ко всякому имени, которое упомянет она в своем письме. В Барнаул ехать боится: что если там примут её как просительницу, неохотно и гордо. Я разуверяю её в противном. Говорит, что поездка дорого стоит, что в Барнауле надо новое обзаведение. Это правда. Я пишу ей, что употреблю все средства, чтоб с ней поделиться, она же умоляет меня всем, что есть свято, не делать этого. Ждет ответа из Астрахани, где отец решит, что ей делать: оставаться ли в Барнауле или ехать в Астрахань? Говорит, что если отец потребует, чтоб она приехала к нему, то надо ехать, и тут же пишет: не написать ли отцу, что я делаю ей предложение, и только скрыть от отца настоящие мои обстоятельства? Для меня всё это тоска, ад. Если б поскорее коронация и что-нибудь верное и скорое в судьбе моей, тогда бы она успокоилась. Понимаете ли теперь моё положение, добрый друг мой. Если б хоть Гернгросс принял участие. Право, я думаю иногда, что с ума сойду!».³⁴

Итак, вдруг приоткрывается: Исаева, несмотря на всю ее романтичность – весьма трезвомыслящая женщина. Если она напишет отцу о будущем браке с Достоевским, поездка в Астрахань её минет. Так не думает ли он сообщить старику

Констант о своем намерении как о факте, – ведь это еще и «обязало» бы «жениха»? Что остаётся Достоевскому, как не гнать события во весь опор. Ведь, того и гляди, прослынешь подлецом в глазах отца Исаевой. . .

«Я один с своей безвыходной тоской...»

Проходит месяц. 23 мая 1856г. Достоевский пишет очередное письмо Врангелю. Врангель, Тотлебен и Гасфорт, весьма влиятельные и близкие ко двору, о Достоевском хлопочут, царь внимлет просьбам, и Достоевский удовлетворенно восклицает: «Дело, я сам понимаю, на хорошей дороге. Дай бог счастья великодушному монарху! Итак, всё справедливо, что рассказывали постоянно о горячей к нему любви всех! Как это меня радует!».

Стихи на коронацию царю посланы.

Но чем лучше идут дела, тем большего хочет Достоевский. Он через Врангеля пытается влиять на Тотлебена и Гасфорта и по своему обычаю подсказывает ему, что и в какой форме последним преподнести, чтобы монаршие послабления получить сполна: «Будете ли Вы в Петербурге при приезде Гасфорта? Встретитесь ли с ним? Если б встретились, то прошу Вас не говорить ему о Тотлебене. Он горячее примется, если успех дела отнесут лично к нему. Но превосходно было бы, если б Тотлебен, встретив его где-нибудь или даже (но на такую милость от Тотлебена я и надеяться не смею) сделав сам визит Гасфорту (что Гасфорту страшно польстит), попросил бы его представить моё стихотворение царю с просьбой печатать и замолвить за меня доброе слово, если его будут обо мне спрашивать, то есть достоин к производству. Не правда ли, что тогда дело обделалось бы хорошо!».

Однако вот что удивительно. Ведь мы уже знаем, что милостей высшей власти Достоевский просил для себя через посредников, чтобы облегчить положение бедной вдовы в Кузнецке.

Но почему-то, по мере того, как все оборачивается к лучшему, он описывает свои отношения с Исаевой как бы в некоем «подвесе», – не иначе, дабы «подстегнуть» романтического

Врангеля в его рвении помочь.

Достоевский заверяет его, что обстоятельства с Исаевой чрезвычайно плохи, что союз вот-вот распадется, поскольку ожидание затянулось: «Дела мои ужасно плохи, и я почти в отчаянии. Трудно перестрадать, сколько я выстрадал! Но не буду утомлять Вас, тем более, что всего передать не могу, и таким образом я один совершенно о своей безвыходной тоске. О! Кабы Вы были здесь, без Вас того не было бы! Дело в том, что она отказалась теперь формально ехать в Барнаул; но это бы ничего! Но во всех последних письмах, где всё-таки мелькает нежность, привязанность и даже более, она мне намекает, что она не составит моего счастья, что мы оба слишком несчастны...».³⁵

«Уверьте ее, успокойте ее!...»

В цитируемом письме одна страница утеряна. Комментаторы и редакторы собрания сочинений поясняют: «Текст переходил на следующую страницу, оторванную, вероятно, А. Г. Достоевской».

Случайно ли Анна Григорьевна «оторвала» утраченное, где, возможно, — о первой жене? Ведь к памяти М. Д. Исаевой она ревновала, и любые упоминания о «темпераментной африканке» её больно ранили. К счастью, концовка на полях сохранившегося листа, уцелела: «О Паше она просит меня хлопотать в Сибирский корпус, просит и Вас похлопотать у Гасфорта, не примет ли даже в этом году в малолетнее отделение (Паше девятый год)? Я обещался хлопотать бескорыстно и потому — умоляю, — что можете — сделайте. Но умоляю тоже, ради бога, уговорите брата, чтоб он справился подробно и прилежно, нельзя ли Пашу поместить в Павловский корпус, хоть не теперь, так в будущем году? Если можно, то чтоб брат написал Марье Дмитриевне, в возможно скором времени, все подробности, обнадежил бы её совершенно, а Вы, Александр Егорович, ради Христа и для меня, обнадежьте её, что может быть хороший случай доставки Пашки в Петербург, что ей не надо и с места сдвигаться, чтобы отправлять сына в Петербург, что другие

дoveзут, а в Петербурге Паша найдет друзей. Уверьте её, успокойте её! Особенно умоляю в том брата...».³⁶

«Только бы с ней видеться...»

Далее — Достоевский предпринимает тайную «вылазку» в Кузнецк. Возможно, хочет проверить — что таится за слухами о «кузнецком женихе». Однако переход к предполагающейся поездке в письме слишком резкий. Создается впечатление, что на упомянутой утраченной странице о посещении Кузнецка говорится подробнее, а «под занавес», как это часто и бывало в посланиях Достоевского, он возвращается к самому для него главному.

И поскольку это — первая побывка Достоевского у Исаевой после смерти её мужа, то есть как бы предвенчальная, она более всего должна была раздражать вторую супругу писателя. Не в этом ли секрет и причина исчезновения целого фрагмента из послания Врангелю?

Читаем: «Что я еду в Кузнецк, я не сказал Белихову, но я проеду туда хоть на несколько часов. Не сказал потому, что Белихов в последнюю минуту как-то стал почесываться. Однако отпускает. Еду почти наверно, если завтра Белихов не переменится. Всё на свой счет. Не обвиняйте меня, что я трачу без пути; но я готов под суд идти, только бы с ней видеться. Моё положение критическое. Надобно переговорить и всё решить разом! Не беспокойтесь; в дороге со мной ничего не случится; я осторожен. Вернусь через 10 дней, но увижу её. Что я поеду в Кузнецк, я держу в тайне. Ради Христа, и Вы не говорите никому, кроме брата. Друг мой! Я в ужасном волнении. Вы пишите, что хлопчете о переводе моем в барнаульский батальон. Ради всего, что для Вас свято, не переводите меня раньше офицерства (если бог пошлет его). Это будет смерть моя. Во-первых, elle ne sera pas la (пер. с фр. комментаторов собрания сочинений: «её там не будет», — *авт.*). Во-вторых, каково привыкать к другим лицам, к новому начальству. Здесь я от караулов избавлен, там нет. Начальство батальонное — плохо. И зачем?

Для чего? Чтоб жить вместе? А она будет, может быть, в Омске. Ради бога, оставьте эту идею. Она меня приводит в отчаянье... Прощайте, друг мой, храни Вас бог, жду Вас, как ангела божия. Вы мне более чем друг и брат. Вы мне богом посланы».³⁷

«Она плакала, целовала мои руки...»

Таким образом, Врангель проявляет завидное усердие, помогая Достоевскому, и даже решается предпринимать шаги по облегчению его участи, которые заранее с ним не согласованы. Врангель попал под гипноз опытного душеведа. Увы, провидческое воздействие великого писателя не «обволокло» Исаеву. А потому все подозрения оправдались: М. Д. полюбила другого, хотя клялась в верности Достоевскому. Она разрывалась меж двумя претендентами точно также, как много позже – Достоевский между Исаевой и Шуберт.

Из письма Врангелю 14 июля 1856г.: «Спешу Вам отвечать с первою же почтой, добрейший, бесценный мой Александр Егорович... Вы всегда мне брат были; я это чувствую и знаю. Но если б Вы знали, как мне нужно было Ваше дружеское участие, Ваша память обо мне во всё это время... Благодарю Вас еще в 100-й раз за все Ваши старанья обо мне. Поблагодарите обоих Тотлебенев. Вы не можете представить себе, с каким восторгом я гляжу на поведение таких душ, как Вы и они оба, относительно меня! Что я Вам сделал, что Вы меня так любите? Что я им сделал, благородным душам! Благослови вас всех господь! Итак, теперь я могу надеяться крепко, но... уже поздно! Я был там, добрый друг мой, я видел её! Как это случилось, до сих пор понять не могу! У меня был вид до Барнаула, а в Кузнецк я рискнул, но был! Но что я Вам напишу? Очень повторяю, можно ли что-нибудь уписать на клочке бумаги! Я увидел её! Что за благородная, что за ангельская душа! Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого».³⁸

«Ее сердце опять обратилось ко мне...»

Странное совпадение! Как только стало ясно, что послабления, которых Достоевский домогался, его не минут, - наметился

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

разрыв с Исаевой. Но ведь именно она была важным стимулом для получения «милостей» свыше. План осуществлен – и теперь нужно осторожно и по-прежнему романтично повернуть ситуацию сугубо в русло «грозного чувства».

Возможно, режиссирующий события Ф. М. и самому себе не смел признаться в такой «игре», но это – как оговорки у Фрейда. Подсознание вдруг вспыхивает и толкает под локоть: скажи так, сделай этак. Заметим, внимание молодого соперника к Исаевой неизбежно заново распаляет Достоевского (о, треугольники!). А, попав в Кузнецк, он понял: она не перестала быть досягаема, плод созрел, протяни руку...

Притом то же всеведующее подсознание подсказывает: для «бывшего каторжника», чтобы стереть клеймо, лучшей пары не сыскать, - будущему писателю необходимо выглядеть респектабельно. И вот они: жена, семейство – краугольный камень, фундамент положения в обществе... Он продолжает: «Я там провел два дня. В эти два дня она вспомнила прошлое, и её сердце опять обратилось ко мне. Прав я или нет, не знаю, говоря так! Но она мне сказала: «Не плачь, не грусти, не всё ещё решено; ты и я и более никто!». Эти слова её положительно. Я провел не знаю какие два дня, это было блаженство и мученье нестерпимые! К концу второго дня я уехал с полной надеждой. Но вполне вероятная вещь, что отсутствующие всегда виноваты. Так и случилось! Письмо за письмом, и я опять вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня! Я не скажу, бог с ней! Я не знаю еще, что будет со мной без неё. Я пропал, но и она тоже».³⁹

Треугольник восстановлен. Нет-нет! От Исаевой «бывший каторжник» не откажется...

«Я пропал, но и она тоже...»

«Пропал» бы Достоевский без Марии Дмитриевны? Но ведь обходился же он без неё во время романа с Сусловой? И многими другими. Да и после ее гибели он, скорее, «расцвел»...

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

А Исаева? «Пропала» ли бы она без Достоевского? Да, она мечется между ним и Вергуновым, который рядом с ней вплоть до лета 1859г. Но худо ей именно без Вергунова. Не случайно же она встречается с ним тайком по дороге в Тверь – если верить Л. Ф. Достоевской и документам, «играющим на эту версию».

И, значит, великий психолог всё же не сумел просчитать вяжее вехи собственной любовной коллизии.

Длить роман на расстоянии можно долго и аффектировано, а прожить бок о бок бывает трудно, не то что годы, а порою один день... Далее в письме сказано: «Можете ли Вы себе представить, бесценный и последний друг мой, что она делает и на что решается, с её необыкновенным, безграничным здравым смыслом! Ей 29 лет; она образованная, умница, видевшая свет, знающая людей, страдавшая, мучившаяся, больная от последних лет её жизни в Сибири, ищущая счастья, самовольная, сильная, она готова выйти замуж теперь за юношу 24 лет, сибиряка, ничего не выдавшего, ничего не знающего, чуть-чуть образованного, начинающего первую мысль своей жизни, тогда как она доживает, может быть, свою последнюю мысль, без значенья, без дела на свете, без ничего, учителя в уездной школе, имеющего ввиду (очень скоро) 900 руб. ассигнациями жалованья. Скажите, Александр Егорович, не губит она себя другой раз после этого? Как сойтись в жизни таким разнохарактерностям, с разными взглядами на жизнь, с разными потребностями?».⁴⁰

«Ее счастье я люблю более моего собственного...»

У Исаевой с Вергуновым «разные взгляды на жизнь»? А с Достоевским – общие? Коли душой она всегда тянулась к Вергунову – настолько, что их прощание при отъезде из Семипалатинска переросло в тайные от мужа свидания. Так кто же в «треугольнике» был лишним?... Достоевский – Врангелю: «И не оставит ли он её впоследствии, через несколько лет, ... не позовет ли он её смерти! Что будет в бедности, с кучей детей и

приговоренною к Кузнецку? Кто знает, до чего может дойти распря, которую я неминуемо предвижу в будущем; ибо будь он хоть разыдеальный юноша, но он всё-таки еще не крепкий человек. А он не только не идеальный, но... Всё может быть впоследствии. Что, если он оскорбит её подлым упрёком, когда поверит, что она рассчитывала на его молодость, что она хотела сладострастно заесть век, и ей, ей! чистому, прекрасному ангелу, это, может быть, придется выслушать! Что же? Неужели это не может случиться? Что-нибудь подобное да случится непременно; а Кузнецк? Подлость! Бог мой, - разрывается моё сердце. Её счастье я люблю более моего собственного. Я говорил с ней обо всем этом, то есть всего нельзя сказать, но о десятой доле. Она слушала и была поражена. Но у женщин чувство берет верх даже над очевидностью здравого смысла».⁴¹

«Она плакала и мучилась...»

Какие дурные мысли и поступки приписывает Достоевский сопернику, о котором, по сути, ничего не знает! Почему он решил, что с Вергуновым у Исаевой будут распри, что тот станет оскорблять её и «позовёт её смерти»? А намёки, будто Вергунов когда-нибудь даже попрекнет Исаеву, что «она рассчитывала на его молодость»? Приёмы, кажется, – не вовсе корректны.

Но действительно ли так считал писатель, или в подсознании его уже намечались контуры предсмертного диалога учителя Васи и героиней «Дядюшкиного сна» Зиной, и будущий «комический роман» уже «проклеывается» из переживаемого вяжее...

Так или иначе, именно как попытки очернить Вергунова расценила их и сама Исаева: «Резоны упали перед мыслию, что я на него нападаю, подыскиваюсь (бог с ней); и защищая его (что, дескать, он не может быть таким), я ни в чем не убедил её, но оставил сомнение: она плакала и мучилась. Мне жаль стало, и тогда она вся обратилась ко мне – меня жаль! Если б Вы знали, что это за ангел, друг мой! Вы никогда её не знали;

что-то каждую минуту вновь оригинальное, здравомыслящее, остроумное — у ней сердце рыцарское: сгубит она себя. Не знает она себя, а я её знаю! По её же вызову я решился написать ему всё, весь взгляд на вещи; ибо, прощаясь, она совершенно обратилась опять ко мне всем сердцем. С ним я сошелся: он плакал у меня, но он только и умеет плакать! Я знал своё ложное положение; ибо начни отсоветовать, представлять им будущее, оба скажут: для себя старается, нарочно изобретает ужасы в будущем. Притом же он с ней, а я далеко. Так и случилось. Я написал письмо длинное ему и ей вместе. Я представил всё, что может произойти от неравного брака. Со мной то же случилось, что с Gil-Blas'ом и archeveque de Grenade (пер. с фр. комментаторов собрания сочинений: «С Жиль Блазом и архиепископом Гренадским», - *авт.*), когда он сказал ему правду».⁴²

Поистине, Достоевский умел «напророчивать».

Это через пять лет, когда «Дядюшкин сон» уже давно написан и напечатан, и первая волна озлобления «осела», учитель Вася «умерщвлен», а Мозгляков морально изничтожен, возможно, сам себе не признаваясь, сам писатель «позовёт её смерти», и нет-нет, а подумает: хотела сладострастно заесть свой век с молодым Вергуновым.

И, поскольку Федор Михайлович так безошибочно «предрекал» в том общем письме, стало быть, и мысли, и слова, приписанные Вергунову, уже врезались в его памяти (о, мудрый старый Фрейд!), точно также, как навязчивая идея «любовных треугольников»...

«Опять нежна..., опять ласкова...»

Как известно, «ужасы в будущем» сулила Исаевой именно связь с Достоевским. Не он ли сам определил свои отношения с ней как «любовь-мучительство»? Теперь уж и не скажешь насчет безмерности «любови», а вот «мучительства» действительно было предостаточно.

Любопытно и то, что Ф. М., называя в письмах Вергунова чуть не подлецом и уверившись, что «дурное сердце у него»,

одновременно умело располагает его к себе, настолько, что — «он сошелся со мной, он плакал у меня».

И раз «плакал» — значит, и думать не смел о тщательно скрываемых подозрениях Достоевского по поводу его, Вергунова, возможного поведения с Исаевой. И это не двуличие и не лицемерие. Это расчет жениха, который пытается устранить соперника.

Читаем далее: «Она отвечала горячо, его защищая, как будто я на него нападал. А он истинно по-кузнецки и глупо принял себя за личность и за оскорбление — дружескую, братскую просьбу мою (ибо сам просил у меня дружбы и братства) подумать о том, чего он добивается, не сгубит ли он женщину для своего счастья; ибо ему 24 года, а ей 29, у него нет денег, определенного в будущем и вечный Кузнецк. Представьте себе, что он всем этим обиделся; сверх того вооружил её против меня, прочтя наизнанку одну мою мысль и уверив её, что она ей оскорбительна. Мне написал ответ ругательный. Дурное сердце у него, я так думаю! Она же после первых вспышек уже хочет мириться, сама пишет мне, опять нежна... опять ласкова, тогда как я еще не успел оправдаться перед нею».⁴³

«Не заживает душа и не проживет никогда...»

Так нелестно аттестовав Вергунова в письме к Врангелю, Достоевский чувствует, очевидно, необходимость скомпенсировать свои обвинения против соперника — ведь он дорожит мнением романтично настроенного друга и никак не хочет выглядеть в его глазах не только несправедливым, но и невеликодушным.

И тут — следующий ход, который уж вовсе озадачивает.

Достоевский хлопочет о Вергунове, прося Врангеля изыскать кузнецкому учителю место и жалованье получше. Читаем: «Чем это кончится, не знаю, но она погубит себя, и сердце моё замирает. Верьте мне, не верьте, Александр Егорович, говорю Вам как богу, но её счастье мне дороже собственного. Я как

помешанный в полном смысле слова всё это время. Смотры у нас были, и я, измученный и душевно, и телесно, брожу как тень. Не заживает душа и не заживет никогда... Напишите Марье Дмитриевне, что хотите. Если б Вы знали, с каким чувством и уважением она говорит о Вас. Но Вы её никогда не знали!... Еще одна крайняя просьба до Вас. Ради бога, ради света небесного, не откажите. Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хотя бы деньги были. А для того ему надо место, перетащить его куда-нибудь. Он теперь получает 400 руб. ассигнациями и хлопочет держать экзамен на учителя выше, в Кузнецке же. Тогда у него будет 900 руб. Я еще не знаю, что можно для него сделать, я напишу об этом. Но теперь поговорите о нем с Гасфортом (как о молодом человеке достойном, прекрасном, со способностями; хвалите его на чем свет стоит, что Вы знали его; что ему не худо бы дать место выше. У него, кажется, есть класс. Если Вы будете в милости у Гасфорта, ради бога, скажите, что Вам это стоит. Гернгроссу тоже о нем напишите что-нибудь. Я Вам напишу еще, скажу, что именно: а теперь только слово закиньте Гасфорту при случае. Его зовут: Николай Борисович Вергунов. Он из Томска. Это всё для неё, для неё одной. Хотя бы в бедности-то она не была, вот что!)».⁴⁴

«Может быть, еще есть надежда...»

Показав себя не с лучшей стороны в Кузнецке, Достоевский пытается «выправить» оплошность хлопотами о Вергунове, о которых, конечно же, Исаевой сообщает тут же. («А как же иначе» - хихикает сегодняшний скептик). И на фоне «ругательного ответа» соперника, поминаемого в письме, благородный и широкий жест Ф. М. должен произвести на возлюбленную особенно сильное впечатление. А чтобы она в этом впечатлении не разуверилась, Достоевский продолжает беспокоиться о её сыне: «О Паше просил Слуцкого и других хлопотать в Омске, да еще о пособии (отец же её не забывает и помогает). Пособие двинулось вперед. Слуцкий так обязателен, отвечал мне до невероятности вежливо. Сделал всё, что мог. Но о Паше пишет,

что нет вакансии и что только один государь может утверждать сверхкомплектного, а в кандидаты запишут. Похлопочите у Гасфорта, ради бога, может быть, еще есть надежда принять его на нынешний год... Есть еще к Вам одна самая экстренная просьба... Друг мой, ... мне нужны деньги, очень, крайне, хоть зарежесь».⁴⁵

Трудно, трудно быть закадычным другом Достоевского. Вот уже кто не стесняется условностями, - так это он. Просьбы так и сыплются на Врангеля, притом кто же отважится отказать, особенно в деньгах, если тебя просят «как бога», «как брата!»...

«Если Вы всё еще продолжаете любить меня...»

Первая поездка и свидание с Исаевой, а особенно встреча с Вергуновым несколько омрачили облик Достоевского в его романтической игре. Но, выказывая особое внимание к судьбе кузнецких влюбленных и задействовав влиятельные знакомства, Достоевский положение выправляет. Вергунов же, - пусть и подле Исаевой – беспомощен. Федор Михайлович уже точно психологически выверил и просчитал, что М. Д. неизбежно выйдет замуж именно за него, - хотя бы ради сына, за которого он так хлопочет...

Очередное письмо Врангелю – через неделю, 21 июля 1856г.: «Я Вам писал, что просил Слуцкого похлопотать за Пашу и Ждан-Пушкина тоже просил и что от обоих получил ответы. На этот год надежда плохая. Я просил Вас сказать об этом Гасфорту. Но теперь получил еще письмо от Слуцкого, которого я тоже просил подвинуть вперед дело Марьи Дмитриевны о назначении ей единовременного пособия, так как она имеет право на него по закону по смерти мужа, именно в 285 руб. серебром. Слуцкий действительно подвинул дело, совсем залежавшееся. На ту беду уехал Гасфорт. Главное управление, за отсутствием его, представило это дело министру внутренних дел (от 7-го июля 1856, за №972). Теперь: это представление о назначении ей пособия может засесть в Петербурге, особенно при нынешних обстоятельствах, и бог знает сколько может

пройти времени, прежде, чем решат его. Да, кроме того, еще решат ли в её пользу? Ну как откажут? Друг мой, добрый мой ангел! Если Вы всё еще продолжаете любить меня, беспрерывно осаждающего Вас самыми разнообразными просьбами, то помогите, если можно, и в этом деле. Ради бога, справьтесь об участии этого представления; верно, у Вас найдутся знакомые, которые Вам помогут в этом, и люди с влиянием, с весом».⁴⁶

Врангель, как всегда, терпелив и безотказен. Такой, как он, — не подведет...

«За что же она, бедная, будет страдать...»

Хлопоты за Марью Дмитриевну лихорадочны. Так явственно доказывать своё великодушие к женщине, нарушившей все клятвы и связавшейся с молодым и красивым учителем, мог только Достоевский! А уж просьбы за Вергунова наверняка вызвали у Врангеля не только изумление, но и восхищение.

Не подумал ли он: «бедный обманутый друг мой, — какое, право, большое и доброе сердце, и за что выпало ему столько испытаний: то каторга, то «отбивание» невесты чуть не из-под венца; и какова же коварная Исаева, — после измены еще смеет пользоваться и без того незавидным положением Федора Михайловича себе во благо!».

Оплошность Достоевского заглажена. И в глазах Исаевой (которой ведь тоже мечтаются блага, гарантированные участием к Достоевскому, а стало быть, и к ней весьма именитых особ), и в глазах Врангеля — он в очередной раз убедился в необыкновенности и чистоте помыслов своего «душевного друга». Да и как не прослезиться, читая такие строки: «Нельзя ли так подшевелить это дело, чтоб оно не залежалось и разрешилось в пользу (коварной! бесчестной! расчетливой! — так, возможно, в тайне души мог аттестовать Исаеву Врангель, — *авт.*) Марьи Дмитриевны. Ангел мой! Не полнитесь, сделайте это, ради Христа. подумайте: в её положении такая сумма целый капитал, а в теперешнем положении её — спасенье, единственный выход. Я трепещу, чтоб она, не дождавшись этих денег, не

вышла замуж. Тогда, пожалуй (как я полагаю) ей еще откажут в нём. У него ничего нет, у ней тоже. Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для неё бедность, опять страдание. К отцу ей тогда уже обращаться нельзя с просьбами о помощи, ибо она будет замужем. За что же она, бедная, будет страдать и вечно страдать? И потому, ради бога, исполните мою просьбу: исполните тоже (хоть по возможности) и те просьбы, которые я Вам настроил в прошлом письме. Вы не знаете, до какой степени Вы меня осчастливите!... Не забудьте про Вергунова, ради бога, поговорите Гасфорту и Гернгроссу...».⁴⁷

Покошунствуем: ну, как дело обернется в пользу Достоевского, а пособие не подоспеет до брака? Ведь деньги и чете Достоевских тоже не лишни, так что спешите подстегивать события, — так сказали бы мы, теперешние...

«Я ни о чем не думаю, кроме как об ней...»

На просьбы Достоевского Врангель долго не отвечал. Такая реакция естественна со стороны нормального человека, которому могли показаться странными хлопоты потенциального жениха за неверную невесту и её обожателя.

Обращенные через Врангеля ко многим известным лицам, ходатайства были чересчур горячи, однако поневоле возникал вопрос: а действительно ли помогаешь Достоевскому, обустроивая жизнь Исаевой через поддержку ее любовника?

И какое дело генерал-губернатору Западной Сибири Гасфорту до вдовы, обуреваемой противоречивыми чувствами одновременно к двум претендентам? Ситуация выглядела достаточно анекдотично. Возможно, хотелось Достоевскому в просьбах даже отказать.

Врангель, конечно, так не поступит, но в переписке с Достоевским — пауза. Следующее письмо Врангелю помечено только 9 ноября 1856г.: «... Вы спрашиваете о моих отношениях с Марией Дмитриевной. Если б Вы хотели узнать что-нибудь обо мне, то именно задав мне этот вопрос, потому что она

по-прежнему всё в моей жизни. Я бросил всё, я ни об чем не думаю, кроме как об ней. Производство в офицеры если обрадовало меня, так именно потому, что, может быть, удастся поскорее увидеть её. Денег не было, и я еще не поехал. Брат обнадеживает. Жду на следующей неделе и тотчас отправлюсь... Тоска моя о ней свела бы меня в гроб и буквально довела бы меня до самоубийства, если б я не видел её... Не качайте головой, не осуждайте меня; я знаю, что я действую неблагоприятно во многом в моих отношениях с ней, почти не имея надежды, - но есть ли надежда, нет ли, мне всё равно».⁴⁸

«Любовь в таком виде есть болезнь...»

В предыдущих письмах Достоевский не единожды просил Врангеля о деньгах. Более того – Врангелю поручалось сообщить о трудных финансовых обстоятельствах и брату Михаилу. Но денег, как мы видели только что, Достоевский еще не получил. Не потому ли, что Ф.М. неоднократно сообщал о намерении помочь Исаевой, либо совершить поездку в Кузнецк, что тоже стоило недешево.

И, - если перейти на современные категории, - оберегая его от «ужасной женщины, той самой, знаете, что спуталась с молодым учителем», Врангель и брат Михаил, возможно, помощи и не шлют?

А посему – новые настойчивые просьбы: «Я ни об чем более не думаю. Только бы видеть её, только бы слышать! Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь. Я это чувствую. Я задолжал от поездки (я пытался в другой раз ехать, но доехал только до Змиева, не удалось). Теперь опять поеду, разорю себя, но что мне до этого! Ради Христа, не показывайте этого письма брату. Я перед ним виноват до бесконечности. Он, бедный, помогает мне из последних сил, а я куда трачу деньги! Я и у Вас просил – или топиться или удовлетворить себя. Отношения у нас с нею те же. Каждую неделю письма, длинные, полные самой искренней, самой крайней привязанности. Но она часто в своих письмах называет меня

братом. Но она меня любит».⁴⁹

«О, не желайте мне оставить эту женщину и эту любовь...»

Отчего Достоевский, будучи еще солдатом, так добивался Исаевой и почему она так долго не соглашалась на брак с ним? В недавно вышедшей книжке директора Омского музея Ф. М. Достоевского, Виктора Вайнермана, читаем о любопытной истории, когда будущему великому писателю семипалатинский фельдфебель «закатывает оплеуху» за недостаточно усердное выполнение приказа. А посему – выглядеть в глазах окружающих (не только в своих собственных и барона Врангеля) «на уровне» Достоевскому чрезвычайно важно. Оплеуху он не забыл. Серая шинель жжет спину. Статус солдата, да еще человека неженатого, то есть – неостепенившегося, мешает жить.

Исаева к нему, как ни странно, возможно, относится двояко: с одной стороны как Врангель – восхищается им самим, несмотря на его «низкое» положение, - (мало ли какие причуды могут быть у баронов, вот тянет их к обиженным и оскорбленным!) – с другой же стороны отношение ее к Ф. М. как у фельдфебеля: в конце концов, что такое Достоевский – не более чем солдат!

Она, конечно, никогда даже самой себе не признается в такой двоякости, но ее долгие колебания, - кого выбрать: Достоевского или Вергунова, разве же не говорят о ее подсознательном раздвоении...

Читаем: «Одно появление моё в Кузнецке сделало, что она почти возвратилась ко мне опять. О, не желайте мне оставить эту женщину и эту любовь. Она была свет моей жизни. Она явилась ко мне в самую грустную пору моей судьбы и воскресила мою душу. Она воскресила во мне всё существование, потому что я встретил её. Но если б Вы знали, что это за ангел, что это за душа! что за сердце! Бедная, она терпит лютую долю! Жить в Кузнецке ужасно».⁵⁰

«Она чрезвычайно Вас любит...»

В упомянутой книжке В. Вайнермана «Поручаю себя Вашей доброй памяти» (Омск, 1996) читаем, что в Семипалатинске Достоевский увлекся Елизаветой Михайловной Неворотовой, торговавшей булками на рынке. Будучи сиротой, она выручкой от выпеченного ею хлеба зарабатывала на пропитание. Ф.М. написал ей немало писем. Неворотова была красива, и сердце бывшего каторжника в первые месяцы пребывания в этом городе принадлежало бедной «сиротке».

Однако он в тайне души лелеял далеко идущие планы по возвращении в Россию вновь приобщиться к литературному поприщу. Булочница ему была явно не пара, сердце его рвалось к более возвышенному, но и к более «светскому», идеалу.

Исаева оказалась ему впору – но не хотела выходить за солдата. За прапорщика – еще куда ни шло... Так что в романе с Исаевой помогающей стороной был Достоевский. Исаева же раздумывала. И вела себя соответственно.

Из письма Врангелю: «За сына она хлопочет в корпус (я просил Слуцкого о нем, письменно, и он обещался сделать всё, что может), хлопочет о получении вспоможения и живет крохами, которые присылает ей отец, тихо, скромно, кротко, заставив уважать себя весь этот городишко. Это твердый, сильный характер. Брак её с тем (другим), по-видимому, совсем невозможен, материально невозможен (у него 300 руб. жалованья), а она не захочет обременять его... Мария Дмитриевна 1000 раз об Вас спрашивала. Она очень беспокоится о Вас по моим письмам. Она чрезвычайно Вас любит и почти с благоговением говорит о Вас. Уважает Вас до бесконечности».⁵¹

«Это ангел божий, который встретился мне на пути...»

Итак, Вергунов, если судить по сообщению Достоевского, получил отказ. Что по времени совпало именно с производством Ф. М. в прапорщики (о чем он узнал 30 октября).

Исаева смягчилась, но догадывался ли Достоевский об истинной причине ее «потепления»? Конечно, - догадывался. Более того, - знал о ней наверняка.

Поэтому, прекрасно отдавая себе отчет, что дела пошли в гору, в письме к брату от 9 ноября 1856г. для вида «сомневается»: хоть и любит, де, Исаева, но, кажется, замуж за него никогда не выйдет. Притом, что очередной турнир с Вергуновым, похоже, уже выигран... Читаем: «Ту, которую я любил, я обожаю до сих пор. Чем это кончится, не знаю. Я сошел бы с ума или хуже, если б не видал её. Всё это расстроило мои дела (не думай, что я с ней делюсь, ей отдаю; не такая женщина, она будет жить грошом, а не примет). Это ангел божий, который встретился мне на пути, и связало нас страдание. Без неё я бы давно упал духом. Что будет, то будет! Ты очень беспокоился о возможности моего брака с нею. Друг милый, кажется, этого никогда не случится, хоть она и любит меня. Это я знаю. Но что будет, то будет! Она умоляет тебя простить её за то, что она тебе не ответила. Она была в страшно худых обстоятельствах в это время. А после долгого промедления ей показалось совестно отвечать. Письмо твоё восхитило её. Но довольно об этом».⁵²

«Эту превосходную женщину Вы когда-нибудь увидите...»

26-30 ноября 1856г. состоялась вторая поездка Достоевского в Кузнецк. Теперь его статус повысился, и Исаева отвечает: «Да!». Как просто: чин решил всё! Достоевский доволен, ибо к тому же получил деньги от родни. Это приободряет особо и хоть немного возвращает былую самоуверенность. Теперь ему, «уже не солдату», как нельзя лучше подходит respectable вдова, умеющая внушить к себе уважение (сплетни о связи с Вергуновым не в счет!). 14 декабря 1856г. в письме Ч. Ч. Валиханову: «В Кузнецке... я много говорил о Вас одной даме, женщине умной, милой, с душою и сердцем, которая лучший друг мой. Я говорил ей о Вас так много, что она полюбила Вас,

никогда не видя, с моих слов, объясняя мне, что я изобразил Вас самыми яркими красками. Может быть, эту превосходную женщину Вы когда-нибудь увидите и будете тоже в числе друзей её, чего Вам желаю. Потому и пишу Вам об этом. Я почти не был в Барнауле. Впрочем, был на бале и успел познакомиться почти со всеми. Я больше жил в Кузнецке (5 дней)».⁵³

«Там есть женщина, которую я люблю...»

Более или менее полный отчет о второй поездке Ф. М. к Исаевой в Кузнецк содержится в письме Врангелю от 21 декабря 1856г. Теперь Достоевский уже уверен: свадьба быть. Забавно – но прапорщичий чин тому порукой. С Вергуновым покончено, но... не вовсе. О чем ниже.

Читаем: «В Барнауле я пробыл сутки и отправился один в Кузнецк. Там пробыл 5 дней и, воротившись, пробыл еще сутки в Барнауле... Друг мой, Вы, кажется, были очень откровенны с Х. в Петербурге и показывали ей мои письма? Так ли это? По крайней мере, когда я ездил в Кузнецк, она сказала Семенову (с которым я превосходно сошелся), что я поехал в Кузнецк жениться, что там есть женщина, которую я люблю, и что она знает это от Вас?... Теперь, друг мой, хочу объявить Вам об одном важном для меня деле. Вам, как другу моему, это должно быть открыто. Коротко и ясно: если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь – Вы знаете, на ком».⁵⁴

«Никто, кроме этой женщины, не составит моего счастья...»

Далее – восторги по адресу Исаевой, и самонадеянное утверждение, что «она никогда не имела тайн от меня». Столь глубокому человеку, как Достоевский, похоже, так и не удалось вникнуть в психологию достаточно интеллектуальной, но всё же обычной провинциалки. О многих сокровенных сторонах ее жизни он так и не узнает до конца её дней.

Более того – «не имеющая тайн» Исаева до сих пор задает такие загадки достоевсковедам, как ни одна другая женщина в

судьбе Достоевского... Читаем: «Никто, кроме этой женщины, не составит моего счастья. Она же любит меня до сих пор, и я выполнял её желание. Она сама мне сказала: «Да». То, что я писал Вам об ней летом, слишком мало имело влияния на её привязанность ко мне. Она меня любит. Это я знаю наверно. Я знал это и тогда, когда писал Вам летом письмо моё. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом по письмам её я знал это. Мне было всё открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б Вы знали, что такое эта женщина! Я Вам пишу наверно, что я женюсь, между прочим, может быть одно обстоятельство, о котором долго рассказывать, но которое может отдалить брак наш на неопределенное время. Это обстоятельство совершенно постороннее. Но мне, по всем видимостям, кажется, что оно не случится. А если его не будет, то следующее письмо Вы получите от меня, когда уже всё будет кончено. Денег у меня нет ни копейки».⁵⁵

Что касается денег, если бы не было этого постоянного мотива, можно было бы усомниться, Достоевский ли пишет, и Врангелю ли...

«Об ней прошу Вас на коленях...»

Но ведь мы читали «летние» письма Достоевского, в которых он выражал полную уверенность, что свадьбы не будет и Исаева выйдет за другого. Он страстно убеждал в этом и Врангеля, и брата. А теперь оказывается, Достоевский уже тогда точно знал, что в поединке с соперником победил он. Так зачем хлопотал о «хорошем месте» для Вергунова, - чтоб М. Д. не бедствовала, де, если станет его женой?

И вот новое письмо к Врангелю, - мы его цитируем, - где опять просьбы за Вергунова же. То есть – за поверженного соперника: «Но прежде чем прощусь с Вами в этом письме – еще просьба: об ней прошу Вас на коленях. Помните, я Вам писал летом про Вергунова. Я просил Вас ходатайствовать за него у Гасфорта. Теперь он мне дороже брата родного. Слишком долго рассказывать мои отношения к нему. Но вот в чем

дело. Ему последняя надежда устроить судьбу свою – это держать экзамен в Томске, чтоб получить право на чин и место в 1000 руб. ассигнациями жалования. Всё дадут, если он выдержит экзамен. Но без протекции ничего не будет. Всё зависит от директора гимназии Томской статского советника Федора Семеновича Мещерина. – Если б кто-нибудь из лиц влиятельных написал о Вергунове Мещерину, уведомляя, что когда он будет держать экзамен, то обратить на него внимание, то конечно, Мещерин всё сделает. О Вергунове не грешно просить: он того стоит. И потому прошу Вас, если у Вас есть кто-нибудь из родных или знакомых по Министерству просвещения, имеющих важную должность, то нельзя ли написать Мещерину письмо о Вергунове? Видите ли Апполона Майкова? Он знаком с Вяземским. Что, если б это написал Вяземский! Ради бога, сделайте хоть что-нибудь, подумайте и будьте мне родным братом».⁵⁶

«Любовь моя к ней была скрытная и безнадежная...»

За обездоленного кузнецкого учителя через Врангеля должны просить такие приметные фигуры российской культуры, как Апполон Майков и Вяземский. Причем просьба исходит от бывшего каторжника.

Воистину, услуга, которую собирается оказать Достоевский Вергунову, бесценна. Зачем поддерживать уже поверженного противника, причем цена вопроса – 1000 рублей (вместо 300, получаемых Вергуновым) и хорошее место. Не походит ли, однако, на некий «торг»?

Конечно же, побывав в Кузнецке, Достоевский не мог не похвалиться перед Исаевой и Вергуновым (ведь он теперь «дороже брата родного») своими возможностями и связями. Все это подтверждалось не только хлопотами о пристроении Паши в престижный воинский корпус, но и производством самого Достоевского в прапорщики.

Какова же могла быть предполагаемая «делка», неужели все так просто – я ходатайствую о тебе перед бароном, а ты – отступишь от Исаевой: со мной она будет более обеспечена и

счастлива! И нищий Вергунов, хотя бы во благо Исаевой и её сына, соглашается. И становится Достоевскому «роднее родного».

Но можно ли удивляться? Потому что сейчас, когда дела будущего великого писателя пошли в гору, скандал недопустим: невеста, о которой уже знает вся Сибирь, того и гляди, сбежит из-под венца с красавцем-учителем! И дабы упредить такой пагубный сценарий, – Вергунову выдается сатисфакция, – весьма видные люди хлопочут об его благополучии. . .

Очевидно, Достоевский – не только изрядный психолог, но и удивительно интуитивен. «Пагубный сценарий» с уводом М. Д. из-под венца, что называется, «вital в воздухе», – он его чувствовал. Или – просчитал. Потому именно не «хлопотать» было нельзя. И это свое смятенное состояние Ф. М. запомнит навсегда.

Так, много лет спустя узнаем от А.Г. Достоевской, что в церкви перед венчанием жених так крепко схватил её за руку, будто боялся, что её сейчас отнимут. Такова еще одна «болочая» точка, застрявшая в подсознании Достоевского: могут увести!

Разумеется, не Анну Григорьевну, а Исаеву.

Кто? Конечно, Вергунов, тогда, в Кузнецке. . .

И не опасение ли именно такого оборота кроется в том загадочном «обстоятельстве», которое, если не помешает, то брак состоится непременно (см. письма к брату и Врангелю).

. . . Итак, о свадьбе объявлено. Врангелю сообщено, что бракосочетание может быть отложено на некоторое время только из-за денежных дел. Они, как всегда, не блестящи, но родня должна прислать.

С высылкой не торопится, правда, брат Михаил, и Достоевский вновь идет «на приступ», чтобы подвигнуть его на оплату хоть части свадебных расходов – то есть опять во всех подробностях описывает нюансы «романа въяве», чтобы брат не подумал, что связь – какая-нибудь мимолетная и несерьезная.

Из письма от 22 декабря 1856г.: «Может быть, из прежних писем за последние 2 года и неоднократных намёков моих ты

мог видеть, что я любил одну женщину. Имя её Марья Дмитриевна Исаева. Она была жена моего лучшего друга, которого я любил как брата. Конечно, любовь моя к ней была скрытная и безнадежная. Муж её был без места; наконец, после долгих ожиданий, он получил место, в городе Кузнецке, Томской губернии. Приехав туда, он через 2 месяца умер. Я был в отчаянии, разлучившись с нею. Можешь себе представить, как увеличилось моё отчаяние, когда я узнал о смерти её мужа. Одна с малолетним сыном, в отдаленном захолустье Сибири, без призора и без помощи!».⁵⁷

«Я терял голову...»

Что должен был подумать брат, узнав, что Исаева то была замужем за «человеком без места», то готова выйти за «бывшего каторжника»? И как мог расценивать желание Достоевского жениться во что бы то ни стало, когда у него самого – ни положения, ни денег и, значит, теперь придется поддерживать и всё будущее его семейство? Причины сдержанности Михаила Михайловича понятны.

Достоевский же продолжает «наступление». Чтобы получить достаточную сумму, чередует в письмах романтические подробности с жалобами на нужду: «Я терял голову. Я занял и послал ей денег. Я был столько счастлив, что она приняла от меня. О том, что я сам входил в долги, я не рассуждал. Наконец, она списалась с своими родными, с отцом своим в Астрахани. С тех пор он помогал ей, и она жила кое-как. Отец звал её к себе. Она бы поехала, но ей хотелось пристроить прежде сына в Сибирский кадетский корпус. В Астрахани ей бы не на что было воспитать его; надо было платить за него деньги. Она боялась обременить отца и боялась упреков сестер, у которых она была бы нахлебницей. В Сибирском же кадетском корпусе дают воспитание прекрасное и выходящие только три года обязаны прослужить в Сибири. Переписка наша тянулась. Я уверен был, что и она по крайней мере поняла, что я люблю её. Но я, быв солдатом, не мог ей предложить быть моей женой. Ибо

чем бы мы жили? Какую бы судьбу она со мной разделила. Но теперь, тотчас же после производства, я спросил её: хочет ли она быть моей женой, и честно, откровенно объяснил ей мои обстоятельства. Она согласилась и отвечала мне: «Да». И потому брак наш совершится непременно».⁵⁸

«Почти наверно я женюсь на ней...»

Известно, что брат Михаил просил Достоевского не торопиться с венчанием. Но Ф. М. нельзя было медлить: каторга «съела» лучшие годы жизни, и времени «на разбег» не оставалось. А зарабатывать общественный статус нелегко, притом нужно поспешать, пока творческие и душевные силы еще не на исходе. Далее Достоевский сообщает: «Есть только одно обстоятельство, которое может расстроить или по крайней мере отдалить наш брак на неопределенное время. Но 90 вероятностей на 100, что этого обстоятельства не будет, хотя надо всё предвидеть. (Об этом обстоятельстве я не пишу, долго рассказывать, после всё узнаешь). Могу только сказать, что почти наверно я женюсь на ней. Если я женюсь, то свадьба будет сделана до 1/2 февраля, то есть до масленицы. Так уж у нас решено, если всё уладится и кончится благополучно. И потому, друг бесценный, друг милый, прошу и молю тебя, не тоскуй обо мне, не сомневайся, а главное, не пробуй меня отговаривать. Всё это уже будет поздно. Решенье моё неизменно, да и ответ твой придет, может быть, когда уже всё будет кончено. Я знаю смысл всех твоих возражений, представлений и советов, они все превосходны, я уверен в твоём добром, любящем сердце; но при всём здравом смысле твоих советов, они будут бесполезны. Я уверен, ты скажешь, что в 36 лет тело просит уже покоя, а тяжело навязывать себе обузу. На что я ничего отвечать не буду. Ты скажешь: «Чем я буду жить?». Вопрос резонный ибо, конечно, мне стыдно, да и нельзя рассчитывать женатому на то, что ты, например, будешь содержать меня с женой. Но знай, мой бесценный друг, что мне надо немного, очень немного, чтоб жить вдвоем с женой».⁵⁹

Вот оно, вновь всплывает загадочное «одно обстоятельство», которое может браку помешать, и потому – «женюсь почти на верное»...

«Я честный человек и составлю её счастье...»

На вопрос «чем я буду жить?» Достоевский отвечает косвенно и своеобразно: просит у брата Михаила денег («мне надо немного, очень немного»), и, кроме того, ряд вещей, особенно из одежды, чтобы приодеть невесту. Таким образом, ясно, что на него Достоевский преимущественно и рассчитывает в будущем.

Читаем: «Но знай, мой бесценный друг, что мне надо немного, очень немного, чтоб жить вдвоем с женой. Я тебе ничего не пишу о Марье Дмитриевне. Это такая женщина, которой, по характеру, по уму и сердцу из 1000 не найдешь подобной. Она знает, что я немного могу предложить ей, но знает тоже, что мы очень нуждаться никогда не будем; знает, что я честный человек и составлю её счастье. Мне нужно только 600 руб. в год. Чтоб получать эти деньги ежегодно, я надеюсь на одно, именно на милость царя, на милость обожаемого существа, правящего нами... Ты скажешь, может быть, заботы мелкие изнурят меня. Но что же за подлец я буду, представь себе, что из-за того только, чтоб прожить как в хлопчках, лениво и без забот, - отказаться от счастья иметь своей женой существо, которое мне дороже всего в мире, отказаться от надежды составить её счастье и пройти мимо её бедствий, страданий, волнений, беспомощности, забыть её, бросить её – для того только, что, может быть, некоторые заботы когда-нибудь потревожат моё драгоценнейшее существование».⁶⁰

«Ангел мой, помоги мне последний раз...»

И вот, наконец, «бывший каторжник» устраивает свадьбу. Да не какую-нибудь: расходы на неё – около тысячи рублей, что составляет почти трехгодичное жалованье Вергунова! После всех унижений так хочется вздохнуть свободно, хоть немного,

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

и чтобы все видели, что жених не беден и Исаева сделала правильный выбор!

В маленьком Кузнецке, конечно, подобная «фроскошь» была событием. В этом городе самые большие заявленные купеческие капиталы не превышали 6 тысяч рублей. Но Достоевский явно желает, вопреки здравому смыслу и в угоду минутному тщеславию, произвести впечатление на жителей городка, в котором ни Исаева, ни он никогда более в жизни не появятся...

Из письма брату: «Денег у меня нет ни копейки, а деньги 1-е дело, и потому я решаюсь занять... Надобно сделать хоть какие-нибудь приготовления, нанять квартиру хоть в три комнаты, иметь хоть необходимейшую мебель. Надобно одеться, надобно и ей помочь... Надобно послать за ней закрытую повозку, которую повезут три лошади туда и сюда 1500 верст – сотни прогоны. Надобно заплатить за свадьбу... Жалованье моё достаточно, чтоб жить. Но завести всё, сразу, тяжело... У дяди я прошу 600 руб. серебром... Брат, ангел мой, помоги мне последний раз. Я знаю, что у тебя нет денег, но мне надобны некоторые вещи, именно для неё. Мне хочется подарить их ей; покупать здесь невозможно, стоит вдвое дороже».⁶¹

Откроем скобку: судя по известной статье Валентина Фёдоровича Булгакова, семейство Катанаевых якобы устроило свадьбу на свой счёт.

Мантильи, чепчики и шляпки

А далее – список тех вещей, что Достоевский просит приобрести для Марьи Дмитриевны. Трудная просьба – как найти брату точно описанные предметы дамского туалета? И – на какие деньги: взять в лавке в кредит? Да и как угадать, подойдет ли шляпка Исаевой?

И, кстати, наверняка Михаил Михайлович задастся множеством вопросов: странная невеста, у которой не имеется даже чепцов? Неужели же она так бедна, что не может позволить себе полдюжины носовых платков, «заказанных» не ею, а Достоевским? Или так привередлива, что ей необходимы особые

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

носовые платки, столичные?

И сколько толков пойдет в семье: жена «бывшего каторжника», а детали гардероба выписывает из Петербурга!... Читаем: «Вот вещи, которые я желаю иметь; они почти необходимы. 1) К пасхе шляпку (здесь нет никаких), конечно, весеннюю. 2) (Теперь же) шелковой материи на платье (какой-нибудь, кроме glase) - цветом, какой носят (она блондинка, росту высокого среднего, с прекрасной тальей, похожа на Эмилию Федоровну станом, как я её помню). Мантилью (бархатную или какую-нибудь) – на твой вкус. Полдюжины тонких голландских носовых платков, дамских. 2 чепчика (с лентами по возможности голубыми) не дорогих, но хороших. Косынку шерстяного кружева (если недорого)... Если требования эти покажутся тебе требованиями, если тебе делается смешно, читая этот реестр оттого, что я прошу чуть ли не на 100 руб. серебром – то засмейся и откажи. Если ж ты поймешь всё желание моё сделать ей этот подарок и то, что я не удержался и написал тебе об этом, то ты не засмеешься надо мной, а извинишь меня».⁶²

«История несколько длинная...»

Чтобы получить от дядюшки необходимую сумму, нужно было его предварительно к неожиданной просьбе подготовить. Через кого? Посредника Достоевский уже наметил – сестру В.М. Карепину. Правда, пришлось заново, во всех подробностях, описывать ей историю своей любви – впрочем, наверное, давно ей известную по рассказам брата Михаила.

Из письма к В. М. Карепиной от 22 декабря 1856г.: «Вот в чем дело: история несколько длинная и потому нужно начать сначала за два года назад. Приехав в 54-м году из Омска в Семипалатинск, я познакомился с одним здешним чиновником Исаевым и его женой. Он был из России, человек умный, образованный, добрый. Я полюбил его как родного брата. Он был без места, но ожидал скорого помещения своего вновь на службу. У него были жена и сын. Жена его, Мария Дмитриевна Исаева, женщина еще молодая, и они приняли меня у себя как

родного. Наконец, после долгих хлопот он получил место в городе Кузнецке, в Томской губернии, от Семипалатинска 700 верст. Я простился с ними и расставаться – мне было тяжелее чем с жизнью. Это было в мае 55 года. Я не преувеличиваю. Приехав в Кузнецк, он, Исаев, вдруг заболел и умер, оставив жену и сына без копейки денег, одну на чужой стороне, без помощи, в положении ужасном. Узнав о том (ибо мы переписывались), я занял и послал ей на первый случай денег. Я был так счастлив, что она приняла от меня! Наконец, она успела спиться с своими родными, с отцом своим. Отец её живет в Астрахани, занимает там значительную должность (директор карантин), в значительном чине и получает большое жалованье. Но у него на руках еще три дочери, девушки, и сыновья, в гвардии. Фамилия отца – Констан. Он внук французского эмигранта, в 1-ю революцию, дворянина, приехавшего в Россию и оставшегося жить в ней. Но дети его, по матери, русские. Мария Дмитриевна старшая дочь, и её отец любит больше всех. Но, кроме жалованья, у него ничего нет, и более 300 руб. серебром он ей не мог выслать».⁶³

«Она осталась бы нахлебницей...»

Итак, Достоевскому опять нужны деньги. Классический прием повторяется. Когда помощь ожидалась от брата, ему тоже пространно излагалась «длинная история». Теперь - очередь сестры, точнее – дядюшки, на которого она должна повлиять. В этом варианте романтическая сага звучит так: «По крайней мере, она уже ни в чем не нуждалась с тех пор, как написала родным о том, что лишилась мужа. Отец звал её в Россию. Но ей не хотелось ехать прежде помещения своего 8-летнего сына в Сибирский кадетский корпус. Приехав же с сыном в Астрахань, ей не на что было бы воспитать сына. Там надо платить, а денег у неё не было. Отец бы не оставил, но он очень стар и, кроме жалованья, ничего не имеет. Если бы он умер, то она осталась бы нахлебницей у сестер. В Сибирском же кадетском корпусе дают воспитанье превосходное, выпускают лучших учеников в

артиллерии, с обязанностью прослужить в Сибири только три года. Короче, она решила остаться. Я имею здесь много знакомых. В Омске были люди, занимавшие довольно значительные должности, меня знавшие и готовые от всей души сделать для меня что можно. Я просил об сыне Марьи Дмитриевны; мне обещали, и, кажется, наверно, он будет помещен на будущий год в корпус».⁶⁴

«Я видел её в несчастье...»

Чувствительную женщину детали «романа вьяве», конечно, должны были взволновать. Дядюшка – человек черствый, однако не считаться с мнением родни (брата Михаила и сестры Варвары) он не может. Психологическое воздействие, оказываемое Достоевским, впечатляет настолько, что отказ субсидировать кузнецкую свадьбу расценивался бы как поступок бездушный. Похоже, Достоевский это предвидит...

Итак – «Друг мой милый, я пишу тебе подробности, а не написал главное. Я давно уже люблю эту женщину, до безумия, больше жизни моей. Если б ты знала её, этого ангела, то не удивилась бы. В ней столько превосходных прекрасных качеств. Умна, мила, образованна, как редко бывают образованные женщины, с характером кротким, понимающая свои обязанности, религиозная. Я видел её в несчастье, когда муж был без места. Не хочу описывать тебе их бывшую нужду. Но если б ты видела, с каким самоотвержением, с какой твердостью она переносила несчастье, которое вполне можно назвать несчастьем. Судьба её теперь ужасна: одна, в Кузнецке, где умер муж её, бог знает кем окруженная, вдова и сирота в полном смысле слова. Конечно, любовь моя к ней была скрытная и невысказанная. Я же любил Александра Ивановича, её мужа, как брата. Но она, с её умом и сердцем, не могла не понять моей любви к ней, не догадаться об этом. Теперь, когда она свободна (по смерти мужа уже прошло 1 1/2 года) и когда я был произведен в офицеры, первым делом моим было предложить ей выйти за меня замуж».⁶⁵

Версия для сестры, как видим, наиболее романтическая, – долголетне скрываемые чувства, о которых объект мог лишь

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

догадываться...

«Она знает меня, любит и уважает...»

Достоевский осторожно подводит сестру к финалу, и предельно точно объясняет, почему именно ему необходимо жениться.

Хотя звучит странно: разве здесь уместны рассуждения – почему? Если женитьба нужна «зачем-то», значит, любовь не первостатейная причина – любви не может сопутствовать расчет.

Однако в случае с Достоевским всё оказалось сложнее, в чем он сам признается сестре, о чем – ниже. Пока же – самые душевные подробности: «Она знает меня, любит и уважает. С тех пор как мы расстались, мы переписывались каждую почту. Она согласилась и отвечала мне да. И если не случится одного обстоятельства (о котором не пишу, долго рассказывать), которое может если не расстроить, то отдалить дело надолго, – то свадьба наша будет уже сделана, до 15 февраля, то есть до масленицы. Друг мой, милая сестра! Не возражай, не тоскуй, не заботься обо мне. Я ничего не мог лучше сделать. Она вполне мне пара. Мы одинакового образования, по крайней мере, понимаем друг друга, одних наклонностей, правил. Мы друзья издавна. Мы уважаем друг друга, я люблю её. Мне 35 лет, а ей двадцать девятый, фамилии она превосходной, хотя и небогатой (она не имеет почти ничего. Впрочем, после матери у неё есть недвижимое имение, дом в Таганроге, но он в ожидании совершеннолетия младшей сестры, только что вышедшей из института, еще не продан и не разделен). Давно уже я писал брату об этом, прося не говорить никому из вас. Но тогда я не имел ни малейших надежд. Теперь, когда я произведен, мне позволительно иметь надежды на дальнейшее устройство судьбы моей; а милость монарха неисчислима».⁶⁶

«Она со взглядом здоровым на жизнь...»

И, наконец, о главном. На что жить им с М.Д. – но если надежды на будущее призрачны, зачем же сочетаться браком?

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

И тут Достоевский раскрывает свои соображения. Он пишет, что женитьба ему нужна, потому что семейному – веры больше, «чем свободному как ветер». Остепенившийся Достоевский легче и быстрее достигнет заветной цели – печататься.

Невольно всплывает подспудная, постоянно томящая сверхзадача. И, стало быть, мы не очень кощунствуем, предполагая, что Исаева для него не только объект поклонения.

Роман с ней всё чаще играет роль спасительного аргумента: венчание с Марией Дмитриевной поможет «снискать доверие правительства», а отсюда – вернуться в свет, добиться признания и славы.

Итак – судя по письму к сестре, чувства отнюдь не второстепенны, но в основе – трезвый расклад. Читаем еще одно доказательство сказанному: «Знаю, Варенька, что первый вопрос твой, как доброй сестры, любящей и заботящейся о судьбе брата, будет: «Чем же будешь ты жить?» – ибо, конечно, жалованья недостаточно для двух. Но, во-1-х, моя жена многого не потребует; она со взглядом здравым на жизнь; она была в несчастии, она переносила его гордо и терпеливо; по крайней мере, она не мотовка, будь уверена, а, напротив, хозяйка превосходная, а во-2-х, если не жить в Петербурге и в Москве, то мне вполне достаточно 600 руб. серебром в год... Пойми, друг мой! Я до сих пор еще, да и вечно, буду под надзором, под недоверчивостью правительства. Я заслужил это моими заблуждениями. Поверь мне, что человеку остепенившемуся, женившемуся, следовательно, изменившему своё направление в жизни, поверят более, чем свободному как ветер. Возьмут в соображение, что женатый человек не захочет жертвовать судьбою семейства и не увлечется пагубными идеями так же скоро, как и молодой человек (каким был я), зависящий только от себя. А я ищу снискать доверия правительства, мне это надобно. В этом вся судьба моя, и я уже конечно скорее достигну цели моей... Знай, что я уже давно решил эту женитьбу, что это думано и передумано 1 1/2 года, хотя я не имел положительных надежд до производства, и что теперь я ни за что не отстану от моего намерения».⁶⁷

«Согласилась быть моею женою...»

Последнее известное предвенчальное письмо Достоевского – Врангелю от 25 января 1857г. Достоевский помыслил уже в феврале, когда и должно было произойти столь важное для него событие. Он настолько забылся, что написанное в январе ошибочно пометил февралем.

Если поиронизировать, – мы, теперешние, сказали бы: дело ответственное – от венчания с Исаевой зависело «снискать доверие правительства» в будущем. Что особенно необходимо бывшему каторжнику.

В преддверии этого решительного шага Достоевский, естественно, возбужден.

К Врангелю: «Писать я Вам буду очень скоро, именно 10-го февраля, а если удастся, то и раньше, 3-го февраля. Да, друг мой незабвенный, судьба моя приходит к концу. Я Вам писал последний раз, что Марья Дмитриевна согласилась быть моею женою. Всё это время я был в ужаснейших хлопотах, как не потерял голову. Надо было устроить возможность свадьбы. Надо было занять денег... Только 3 дня тому, как я получил деньги, и в воскресенье 27-го еду в Кузнецк на 15 дней».⁶⁸

«По крайней мере, жил, хоть страдал, да жил!...»

Перед венчанием Достоевский – в ажиотаже. Понадобилось покупать даже стулья – а то в Семипалатинске будущей жене и сидеть-то не на чем. А она для него теперь – важнее важного: увенчалось «грозное чувство» – Марию Дмитриевну ему «добыть» удалось!

Но не только – присутствуя в его жизни, Исаева станет помогать ему «снискать доверие правительства» и, самое главное, наконец, ему будет дозволено печататься. С расходами придется смириться.

Потому что Исаева – не из тех, для которых «с милым рай и в шалаше». Она – светская женщина, ей нужны нарядные шляпки, чепцы, домашний уют. Читаем: «Не знаю, успею ли в такой

короткий срок доехать и сделать свадьбу. Она может быть больна, она может быть не готова или, например, не станут венчать в такой короткий срок (ибо нужно много обрядов) – одним словом, я рискую донельзя, но никак не могу не рисковать, то есть отложить до после святой. Нет никакой возможности откладывать по некоторым обстоятельствам, и потому надо сделать одно из решительных дел. Как-то, надеюсь, что удастся. Во всех моих решительных случаях мне сходило с рук и удавалось. Но тысячи хлопот в виду. Уж одно то, что из 600 руб. у меня почти ничего не остается по возвращении в Семипалатинск: так много и так дорого всё это стоит! А между тем я едва мог купить несколько стульев для мебели – так всё бедно. Обмундировка, долги, плата и необходимые обряды и 1500 верст езды, наконец, всё, что мог стоять её подъём с места, – вот куда ушли все деньги. Ведь нам обоим пришлось начинать чуть не с рубашек – ничего-то не было, всё надо было завести... Вы пишете, что я ленюсь писать; нет, друг мой, но отношения с Марией Дмитриевной занимали всего меня в последние два года. По крайней мере, жил, хоть страдал, да жил!».⁶⁹

«Жена больна от чрезмерной усталости...»

И вот – свершилось. Достоевский женился. Первое его «послевенчанное» письмо – В. М. Карепиной, сестре, от 23 февраля 1857г.: подводя итог такому судьбоносному шагу, он сообщает, что брак накладывает на него обязанности, но и приносит преимущества «для меня самого беспримерные». О чем идет речь – можно лишь догадаться. «Выгоды» должно предоставить правительство разрешением печататься и прочими милостями (об этом вполне недвусмысленно Достоевский писал сестре в предыдущий раз).

О своей долгожданной женитьбе: «... Я ездил в Кузнецк на 15 дней, женился (6-го февраля), привез обратно жену, дорогой был очень болен (заболел в Барнауле тем припадком, который имею постоянно и о котором писал тебе), несмотря на болезнь, продолжал путь и приехал домой в Семипалатинск 20-го числа

февраля, больной и измученный от всей этой тревоги, от болезни и от дурных дорог. Жена больна от чрезмерной усталости, хоть и не опасно... Жена, несмотря на всё своё желание, тоже не в состоянии писать тебе, тем более, что несмотря на хворость, хлопчет хоть как-нибудь устроиться на новом месте. И потому пишу тебе всего несколько только строк; но в самом скором времени напишу тебе еще письмо, вместе с женой, подробное и длинное. Теперь же жена обнимает, целует тебя и просит, чтоб ты её полюбила. А она тебя любит давным-давно. Всех вас она уже знает от меня с самого 54-го года. Все письма твои я читал ей, и она, женщина с душой и сердцем, была всегда в восхищении от них».⁷⁰

«Все в руках божиих...»

Так что за «беспримерные» преимущества сулил брак с Исаевой? Причем о том, что для него женитьба – выход из положения и достижение «выгод», Достоевский пишет только В. М. Карепиной. О столь неромантичных помыслах он не поминает ни Врангелю, ни брату Михаилу.

Очевидно, сестра, как наиболее близкая к «дядюшке» и «тетушке», то есть – к тем, кто реально может поддержать деньгами, должна убедиться воочию, что средства, потраченные на венчание с Исаевой, не пропадут даром, и обернутся когда-либо большой пользой, в том числе и материальной. Прагматичная оценка чувства Достоевского к Исаевой была характерна для всей его родни, и он это знает... Читаем: «Ты пишешь, что тётушка сначала рассердилась на меня. Я приписываю это её же любви родственной и христианской ко мне; ибо как не озаботиться, как не покачать головой, как не сказать того, что она говорила: «Сам только что вышел из несчастья беспримерного, не обеспечен и тянет в своё горе другое существо, да и себя связывает вдвое, втрое». То же самое сказала и ты, мой ангел, в письме ко мне... Но отвечу тебе: всё в руках божиих, а я, надеясь на бога, не задремлю и сам. Правда, хлопот в жизни больше. Есть обязанности строгие, и, может быть, тяжелые. Но есть

и выгоды для меня самого беспримерные...».⁷¹

«Припадок мой сокрушил меня и телесно и нравственно...»

Странно, что в письме к Карепиной о любви к Исаевой нет и намека – никакой романтики. Даже на процитированные гневные слова тётушки, когда, казалось бы, самое время было приняться за описание ангельских качеств своей избранницы, последовали совершенно прозаические рассуждения о выгодах женитьбы.

Похоже, чувство к жене начало тускнеть уже через две недели после венчания. Письмо к Врангелю от 9 марта 1857г., правда, выдержано если не в прежней тональности, то и не проникнуто излишним прагматизмом: «Вот уже две недели слишком, как я дома, дорогой мой друг и брат, Александр Егорович, и только теперь насилу собрался написать к Вам. Если б Вы знали, сколько выдалось мне хлопот, суеты и занятий, самых непредвиденных, при новом порядке вещей, то верно простите меня за то, что тотчас по прибытии не написал Вам. Во-1-х, свадьба моя, которая совершилась в Кузнецке (6 февраля), и обратный путь до Семипалатинска взяли гораздо более времени, чем я рассчитывал. В Барнауле со мной случился припадок, и я лишних 4 дня прожил в этом месте. (Припадок мой сокрушил меня и телесно и нравственно: доктор сказал мне, что у меня настоящая эпилепсия, и предсказал, что если я не приму немедленных мер, то есть правильного лечения, которое не иначе может быть, как при полной свободе, то припадки могут принять самый дурной характер, и я в один из них задохнусь от горловой спазмы, которая почти всегда случается со мной во время припадка)».⁷²

«Ваш портрет стоит в её комнате...»

На послевенчальное послание письмо Достоевского все-таки мало походит. В нём он говорит куда больше о собственной «горловой спазме» (а немного ниже – ещё пространнее, о делах

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

самого Врангеля), чем о молодой жене, которой в медовый месяц должен бы, казалось, хотя бы для виду восхищаться. Но восхищений нет. И лишь под конец находим сообщение, что Исаева перенесла портрет Врангеля в свою комнату, и что они с Достоевским вместе его очень любят, так что опять наличествует некий «чувствительный треугольник». Но с Врангелем, в отличие от Вергунова, обмен «сердечностями» происходит на расстоянии...

Читаем: «Приехав в Семипалатинск, встретили меня хлопоты по устройству квартиры; потом заболела жена, потом приехал бригадный командир и делал смотр, так что я и Вам, и брату принужден был отложить писать до сегодня... Жена Вам кланяется; она Вас особенно любит; она не может забыть Вас и с наслаждением вспоминает Ваше короткое, но памятное для неё знакомство с Вами. Всё, что до Вас относится, интересует её до крайности. Ваш портрет стоит в её комнате, она выпросила его у меня. Сойдемся ли мы когда-нибудь, друг мой? И я и жена были бы полезны Вам. Вы бы в нас нашли брата и сестру, Вас любящих и понимающих. Не забывайте нас, а мы Вас никогда не забудем...».⁷³

«Буду надеяться на милость Божию...»

Следующее послание – брату Михаилу, от 9 марта 1857г. И опять – то же впечатление, что Исаева Достоевского заботит куда меньше, чем произошедший припадок в Барнауле. Достоевский – в тревоге, что он умрёт во время приступа эпилепсии, и тут уж, конечно, не до молодой жены.

Венчание состоялось, обзаведение семьей и хозяйством произошло, средство для «снискания доверия правительства» обретоно, - словом, полное исполнение желаний. Так, очень может быть, что почву для возобновления романа Исаевой с Вергуновым Достоевский сам же и взрыхлял...

Из письма к брату: «Вот уже две недели, бесценный, дорогой брат, как я воротился с женою из Кузнецка, а только теперь нашел минутку, чтоб написать тебе... Но конечно ты, зная жизнь,

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

поверишь мне, что у меня с новым порядком вещей завелось столько хлопот, забот и дел, что и не знаю, как голова не треснет. Однако я всё-таки успел написать дяде и сестре (по её же просьбе немедленно). Дядя помог мне, и на время я обеспечен, а там буду надеяться на милость божиио. . . Сборы в дорогу, экипировка моя и её (ибо у ней было насчет всего необходимого не очень богато) – но самая необходимая экипировка, можно сказать бедная, путешествие в 1500 верст, в закрытом экипаже (она слабого здоровья, – морозы и дурные дороги – иначе нельзя) – где я платил круглым счетом за четыре лошади, свадьба в Кузнецке, хотя и самая скромная, наём квартиры, обзаведенье, хоть какая-нибудь мебель, посуда в доме и на кухне – всё это взяло столько, что и понять нельзя. В Кузнецке я почти никого не знал. Но там она сама меня познакомила с теми, кто получше и которые все её уважали».⁷⁴

«У меня настоящая падучая...»

Описание венчания отсутствует. Создается впечатление, что Достоевского побывка в Кузнецке мало чем порадовала. Может, оттого, что там – Вергунов. Но ведь он теперь ему «брат родной»! Так что же печалит Федора Михайловича? Очевидно, не столь присутствие соперника, сколь опять же нехватка денег, и особенно – собственное здоровье. Между тем, тревогу должно бы вызывать состояние Исаевой – у неё чахотка, ей оставалось жить всего 7 лет. У Достоевского же впереди – второй удачный брак и жизнь до старости. . . Однако вернемся к свадебным торжествам, которые Достоевского, похоже, не очень впечатлили, в отличие от некоторых очевидцев, о чем ниже.

. . . «Посаженым отцом был у меня тамошний исправник с исправницей, шаферами тоже порядочные довольно люди, простые и добрые, и если включить священника да еще два семейства её знакомых, то вот и все гости на её свадьбе. В обратный путь (через Барнаул) я остановился в Барнауле у одного моего доброго знакомого. Тут меня посетило несчастье: совсем неожиданно случился со мной припадок эпилепсии,

перепугавший до смерти жену, а меня наполнивший грустью и унынием. Доктор (ученый и дельный) сказал мне, вопреки всем прежним отзывам докторов, что у меня настоящая падучая и что я в один из этих припадков должен ожидать, что задохнусь от горловой спазмы и умру не иначе, как от этого. Я сам выпросил подробную откровенность у доктора, заклиная его именем честного человека. Вообще он мне советовал остерегаться новолуний. (Теперь подходит новолуние и я жду припадка)».⁷⁵

«Если б я наверно знал, что у меня настоящая падучая, я бы не женился...»

Для венчания, как мы попытались предположить, у Достоевского было множество причин. Одна из них – предстать пред очами правительства солидным женатым человеком.

Конечно, конечно же главным было «грозное чувство»! Чувство, – но не чувственность. Редкие, случайные моменты близости до брака мало что доказывают; не может ли стать, что сверхтемпераментный (по признаниям Анны Григорьевны) Достоевский нашел в лице Исаевой женщину болезненную, скорее склонную к мягкой нежности, чем к пылкой страсти. Впрочем, было ли столь уж «грозным» чувство Достоевского к его избраннице, если он уверяет брата, что если б знал, что болен эпилепсией – то не женился бы. Не слишком ли много оговорок выявляется, которые влияли на желание или нежелание жениться?

Увы, чем далее вникаешь в особенности странной связи Достоевского с Исаевой, тем более находишь поводов для разочарования. Читаем: «Теперь пойми, друг мой, какие отчаянные мысли бродят у меня в голове. Но что об этом говорить! Еще, может быть, и неверно, что у меня настоящая падучая. Женись, я совершенно верил докторам, которые уверяли, что это просто нервные припадки, которые могут пройти с переменною образа жизни. Если б я наверно знал, что у меня настоящая падучая, я бы не женился. Для спокойствия моего и для того, чтобы посоветоваться с настоящими докторами и принять

меры, мне необходимо выйти как можно скорее в отставку и переехать в Россию, но как это сделать?... В Семипалатинск я привёз жену захворавшую. Хотя я, уезжая, заготовил всё по возможности, но по неопытности моей и половины не было сделано из того, что нужно, и потому у нас было две недели постоянных хлопот. На этот случай приехал бригадный командир. Смотр, служба — одним словом, я совсем замотался — и потому прости, что не написал сейчас же по прибытии. Жена моя теперь оправилась».⁷⁶

«Это доброе и нежное создание...»

Как мы видели, для Достоевского вообще характерно ссылаться на свои нелегкие обстоятельства и прямодушно просить помощи. Аргумент «грозного чувства» исчерпан, Исаева — его жена.

Но падучая — разве же не повод ходатайствовать о скорейшем переводе поближе к столицам и к докторам, чего уже давно добивается Достоевский? И по письму к брату выходит, что припадок случился как нельзя невовремя — уже после женитьбы, и все-таки вовремя: появился новый серьезный повод напомнить друзьям, — как бы ускорить отъезд из Сибири.

Что до любви... Читаем: «Она просит тебя простить её, что не пишет тебе теперь ничего. Она напишет и скоро. Она уверяет меня, что не приготовилась. Всех вас она бесконечно любит. Она вас всех любила и прежде, когда я (в 54-м году) читал ей всякое письмо ваше, и знала о вас все подробности. По рассказам моим, она тебя чрезвычайно уважает и всё мне ставит тебя в пример. Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная; прошлая жизнь её оставила на её душе болезненные следы. Переходы в её ощущениях быстры до невозможности; но никогда она не перестаёт быть доброю и благородною. Я её очень люблю, она меня, и покамест всё идёт порядочно... Письмо твоё я получил, благодарю за твои посылки, они ещё не пришли, но, друг мой, мне так тяжело было, читая о тягости твоих обязательств, что ты на нас истратился!

Благодарю тебя 1000 раз, а жена не знает как и благодарить тебя».⁷⁷

После венчания прошло так недолго, а Достоевский уже подмечает, что Исаева «немного быстрая, скорая» (читай — суматошная), да и невзгоды сделали её раздражительной. Но, впрочем, — «она не перестаёт быть доброю и благородною» — снисходительно прощает Достоевский жене суматошность. Так что, несмотря на быстрые «до невозможности» переходы настроений, «покамест всё идёт порядочно».

Какое озадачивающее «покамест»...

«Она правдива и не любит говорить против сердца своего...»

С момента венчания проходит месяц. У Достоевского — обычные будни. Как будто сосуществуют не молодожены, а престарелый вдовец нашел себе соответствующую по летам пару. Жизнь у новобрачных, похоже, монотонная. Достоевский говел. Ходит в церковь, а перед тем постится.

Не знаем, постилась ли Исаева, но замкнутое, проходящее в молчании бытование вряд ли её устраивает.

А притом — молодой учитель Вергунов уже собирает из Кузнецка в Семипалатинск (подробнее см. «Загадки провинции», 1996).

Из письма Достоевского сестре, В. М. Карепиной, от 15 марта 1857г.: «Вот и еще тебе письмо, дорогая Варенька. Уведомляю тебя, что я и жена (которая вместе со мной пишет к вам) хотя кое-как устраиваемся и начинаем новую жизнь, но всё-таки завалены такими разнообразными хлопотами, что поневоле манкировали прошлую почту и не писали к тебе, хотя я и обещался. К тому же жена что-то часто хворает, а я на этой неделе говел, сегодня исповедывался, устал ужасно, да и сам не могу похвалиться здоровьем. И потому ты наверняка извинишь меня. Жена просит вас в письме своём полюбить её. Пожалуйста, прими её слова — не за слова, а за дело. Она правдива и не любит говорить против сердца своего. Полюбите её, и я вам за

это буду чрезвычайно благодарен, бесконечно. Живём кое-как, больших знакомств не делаем, деньги бережем (хотя они идут ужасно) и надеемся на будущее, которое, если угодно богу и монарху, устроится... Я просил Мишу помочь мне, именно выслать кое-каких вещей, из которых некоторые совершенно необходимы, чтоб устроиться и подарить будущую жену мою. Он пишет мне теперь, что немедленно исполнит просьбу мою. Он еще ничего не выслал, но совесть упрекает меня, что я тревожил его расходами...».⁷⁸

«Осмеливаюсь рекомендовать себя... как родственника»

Достоевский решил представиться родственникам своей жены только через два с половиной месяца (!) после венчания. Он написал отцу Исаевой вежливое, формально-чувствительное, как и полагается, послание, скорее — ради соблюдения приличий.

Об истинных чувствах его по этому письму, датированному 20 апреля 1857г., судить трудно: «Многоуважаемый Дмитрий Степанович. С чувством глубочайшего уваженья и искренней, настоящей преданности к Вам и всему семейству Вашему, осмеливаюсь рекомендовать себя Вам как родственника. Бог исполнил наконец самое горячее желанье моё, и я, два месяца назад, стал мужем Вашей дочери. Еще давно, еще при жизни Александра Ивановича, она так много и так часто говорила мне о Вас, с таким чувством и нередко со слезами, вспоминала свою прежнюю жизнь в Астрахани, что я еще тогда научился Вас любить и уважать. Она всегда упоминала о Вас с искренною любовью, и я не мог не сочувствовать ей. Я познакомился с Марьей Дмитриевной в 54 году, когда, по прибытии моём в Семипалатинск, был здесь еще всем чужой. Покойный Александр Иванович, о котором я не могу вспоминать до сих пор без особого чувства, принял меня в свой дом как родного брата. Это была прекрасная, благородная душа. Несчастья по службе несколько расстроили его характер и здоровье. Получив место в

Кузнецке, он заболел и скончался, так неожиданно для всех любивших его, что никто не мог подумать о его судьбе хладнокровно».⁷⁹

«Во мне твёрдое, непоколебимое желанье составить счастье жены моей...»

Отношение к родственникам жены можно бы назвать даже несколько высокомерным — как мало нужно было считаться с ними, чтобы не попытаться завязать хотя бы письменного знакомства с отцом невесты еще накануне венчания? Ведь по обычаям той поры руку ее следовало просить прежде всего именно у него.

Старик Константин не подозревает, конечно, что, судя по брачной метрической записи, его самого в природе как бы не существует — но об этом ниже...

Так или иначе, - о родичах жены новобрачные вспомнили только на третьем месяце после свадьбы; приличия явно нарушены, и Достоевского не извиняет искусно-вежливый «светский» стиль изложения, всяческие (и даже весьма горячие) заверения в уважении и поклоны «сестрицам» Марии Дмитриевны: «Я же не мог представить себе, что станется с бедной Марьей Дмитриевной, одной, в глуши, без опоры, с малолетним сыном? Но бог устроил всё. Не знаю, в состоянье ли я буду исполнить то, что положил в своём сердце; но уверяю Вас, что во мне твёрдое, непоколебимое желанье составить счастье жены моей и устроить судьбу бедного Паши. Я люблю его как родного; я так любил его отца, что не могу не быть другом и сыну. Вас буду просить я, многоуважаемый Дмитрий Степанович, - рекомендуйте меня семейству Вашему и передайте мой поклон и моё искреннее уважение сестрицам Марьи Дмитриевны. Может быть, Вы когда-нибудь узнаете меня лично. Во всяком случае, поверьте мне, я надеюсь заслужить доброе мнение Ваше и оказаться достойным иметь честь быть близким к Вашей фамилии. А теперь примите еще раз уверенье в чувствах наиглубочайшего уваженья и позвольте мне пребыть искренно

любящим Вас и преданнейшим Вашим слугою».⁸⁰

«Я принялась нацарапать тебе, Варя, несколько строк...»

На письме Достоевского к отцу Исаевой имеется и её собственная приписка, стиль которой озадачивает. Ибо выдает неумение Исаевой общаться в светской манере.

«Дама», привычная к правилам эпистолярного общения, не позволила бы себе изложение в духе: «Я принялась нацарапать тебе несколько строк...», или: «Остальное стало для меня трын-травой...», или: «Хотелось бы много написать и так о чем поболтать...». Образованные женщины того времени так не изъяснялись.

В нескольких строках столько стилизованных погрешностей, что поневоле чувствуешь облегчение, - может, это и хорошо, что писем Исаевой к Достоевскому не сохранилось. Разочаровываться - тяжко.

Итак, - читаем: «Чтоб не потерять случай, а тем более, что мы так давно не писали одна другой (приписка адресована сестре, - *авт.*), я принялась нацарапать тебе, Варя, несколько строк. Я думаю, Вы уже надавали мне несколько эпитетов за моё молчание, но, право, и мне пришлось ожидать от вас весточки не малое число недель. Муж мой посылает вам всем поклон и просит полюбить его также братски, как когда-то любила ты искренно доброго Александра Ивановича. Хотелось бы многое написать и так о чем поболтать, да подходит время отправки писем. Скажу тебе, Варя, откровенно - если б я не была так счастлива и за себя, и за судьбу Паши, то, право, нужно было поссориться с тобою, как с недоброю сестрою, но в счастье мы всё прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем, - даже уважаема и его родными. Письма их так милы и приветливы, что, право, остальное стало для меня трын-травой. Столько я получила подарков, и все один другого лучше, что теперь будь покойна, придется мало тебя беспокоить своими поручениями. Поцелуй за

меня Соню, Лиду, и поклонись всем, кто захочет меня вспомнить. Если ты не поленишься и будешь писать мне, то я всегда с удовольствием буду отвечать тебе. Паша кланяется тебе и Лиде, он очень любим и умно балуем Федором Михайловичем».⁸¹

«Я писал к Вам о его сиротке-сыне...»

Нельзя не заметить, что многие обороты речи Исаевой напоминают подстрочный перевод с французского, вплоть до «он балуем», «я уважаема», «вы надавали мне несколько эпитетов» - скорее всего, М. Д. читает больше не русские, а французские романы...

Удивляет также, что упомянутая приписка адресована сестре, тогда как само письмо - отцу. Читая его, старик Константин, конечно, приписку увидел, а в ней - ни слова, ни даже приветствия, обращенного к нему!

Впрочем, что удивляться - отца Марии Дмитриевны уже «нет в живых», как мы с удивлением узнаем из документов, касающихся венчания Исаевой, о чем - ниже.

Что до Пашеньки, который Достоевским «умно балуем», то первое, чем озаботился новый муж М. Д., - отправил его в Сибирский корпус на ученье, притом, что Паша еще слишком мал, и ему требовались, скорее, не казенные, а семейные условия воспитания. Можно предположить, что и Исаевой, и Достоевскому в период их первичной «притирки» мальчик в тягость. И его отсылают без колебаний. 29 июля 1857г. Достоевский пишет генералу Ждан-Пушкину, чтобы тот поспособствовал определению пасынка в воинское заведение: «Получив чин, я женился на вдове моего покойного друга, которого я любил и уважал, Александра Ивановича Исаева. Я застал его в 54-м году в Семипалатинске; он тогда был без места. Но через год получил место в Томской губернии, отправился на службу в город Кузнецк и через 2 месяца умер, оставив жену и малолетнего сына. Покойный Александр Иванович Исаев часто, с величайшим уважением говаривал мне о Вас. Он знал Вас лично; не знаю, помните ли Вы его? Я помню, что я писал к Вам о его

сиротке-сыне, придумывая, как бы поместить его в Сибирский корпус, что очень хотелось бедной вдове, его матери, по смерти своего мужа пришедшей почти в отчаяние. Она подавала просьбы, писала письма – и вот решение вышло (благодаря заботливости доброго и благородного Якова Александровича Слуцкого) уже в то время, когда она, уже шесть месяцев, как сделалась моею женой. И хоть мне грустно и тяжело отпустить такого маленького мальчика, о котором я дал себе слово заботиться, из уважения к памяти его отца, но отказаться от такого случая невозможно, тем более, что корпусный командир сделал для него почти исключение, велев принять его в малых летах».⁸²

«Я рассчитывал иначе...»

Итак, Пашу отдали в Сибирский кадетский корпус, несмотря на то, что он «не вышел летами». Что Достоевский не пытается дольше задержать Пашу в семье, – хотя в любви к нему заверяет Ждан-Пушкина, – объяснимо. Но Исаева! Разве не она писала во все концы еще до замужества, желая поскорее пристроить сына хоть где-нибудь. И вот всё уладилось.

Тужила ли М.Д. по поводу разлуки с мальчиком, которая могла бы произойти и на год позже? Оказывается, не очень. Как следует из письма Достоевского сестре Исаевой, В. Д. Константин, от 31 августа 1857г., Пашина мать такому обстоятельству чрезвычайно обрадовалась.

«Я знаю, – пишет Достоевский – как Вы любите Пашу, и потому считаю себя обязанным сообщить Вам о нем подробнее. Признаюсь Вам, что помещение его в корпус мне было сначала не по душе. Я рассчитывал иначе и всё уговаривал Марью Дмитриевну подождать. Я уверен в своём (очень близком) возвращении в Россию... Там же, в России, я имею много способов и очень много преданных мне и сильных людей, которые помогли бы мне пристроить Пашу наилучшим образом, у меня на глазах. К тому же в Павловском кадетском корпусе командиром батальона кадет мой родственник, муж моей младшей сестры. Я думал, что в этом корпусе он был бы как в доме

родных. Имея всё это в виду, я надеялся, что на прежнюю просьбу Марьи Дмитриевны (еще до замужества) о помещении Паши в корпус не последует скорого ответа за малолетством Паши. Но люди, которых я же просил прежде, так преданы нам, что выхлопотали, несмотря на малолетство Паши, в виде исключения из общего правила, принятие его в корпус. Нечего делать, мы с ним расстались. Марья Дмитриевна рассуждала как мать и обрадовалась решительному и верному».⁸³

Итак – виноваты слишком усердные покровители. Это они преждевременно «вырвали» восьмилетнего мальчика из родительского дома, причем Достоевский уговаривал М. Д. повременить и приводил тому веские доводы. Но друзья так поспешили помочь, что отказываться неудобно...

«Непреренно хотелось написать Вам...»

Марья Дмитриевна «рассуждала как мать». И потому ускорила расставание с сыном на целый год, да к тому же еще и обрадовалась, как сказано выше.

Странно, но в письме Достоевского к В.Д. Константин явно сквозит неодобрение Исаевой. Что не очень тактично – размолвки меж супругами не принято выставлять на обсуждение посторонних, даже почти незнакомых лиц! Впрочем, отцу М.Д. Исаевой о разногласиях по поводу Паши – ни слова. Очевидно, сестра – человек доверенный, и ей многое сообщается...

Из письма отцу: «Марье Дмитриевне непременно хотелось написать Вам окончательное и решительное известие о миллом нашем Пашечке. Совершенно неожиданно решилась давнишняя просьба Марьи Дмитриевны о помещении Паши в Сибирский кадетский корпус, и решилась по особенному вниманию и участию генерал-губернатора. Пашу приняли...».⁸⁴

«С ним горе мыкать...»

Но как должны были окружающие относиться к такой спешке определить в учение «бедного сиротку»? Достоевский не мог не понимать, что в глазах «общества», с коим не считаться нельзя,

одобрения это не вызовет. А посему возникли хлопоты, чтобы Пашу из Сибирского кадетского корпуса вернуть в лоно семьи.

Из письма Достоевского И. В. Ждан-Пушкину от 17 мая 1858г.: «Жена моя оставалась вдовою и без больших надежд в будущем. Лучше уже было пристроить сына поскорее, чем с ним горе мыкать и оставить его без образования... Вы пишете, что довольно прислать только письмо к директору и просить его и он отпустит. Я так и сделаю... Я знаю, что Вы берете истинное участие в нашем сиротке. Да наградит Вас за это бог!».

Таким образом, Достоевский как бы оправдывается в своем «неотеческом» отношении к Паше и пытается нейтрализовать неблагоприятное мнение, которое, несомненно, уже распространилось достаточно широко и могло повредить его будущим планам – ведь в «устройстве судьбы» Ф. М. было задействовано столько высокопоставленных лиц, которые о нем уже напрочь забыли...

С бомондом той поры дворянину и литератору приходилось вести себя «аккуратно»...⁸⁵

«У жены нет никакой шляпки...»

В течение двух последующих лет, в 1858 и 1859гг., о Марии Дмитриевне Достоевский в письмах почти не вспоминал. Лишь где-нибудь в конце обычно появлялась приписка: жена, мол, «посылает Вам поклон». Из семейных историй Достоевского волновала пока только ситуация с Пашей, - и то потому, что могла вызвать кривотолки среди «сильных мира сего». Отношения с супругой на романтические не похожат.

Впрочем, мы знаем, что в Семипалатинске с весны 1857г. проживает бывший соперник Достоевского – Николай Борисович Вергунов, которому злая молва, с подачи Л. Ф. Достоевской, приписывает связи с уже замужней Исаевой. Но вот летом 1859г. Достоевские Сибирь покидают и направляются в Тверь. По дороге, как уже было сказано (см. Л. Ф. Достоевскую), Исаеву преследует Вергунов и свидания якобы происходят чуть ли не на каждой станции.

В переписке из Твери, Достоевский, после длительного двухгодичного семипалатинского перерыва, наконец-то начинает Исаеву упоминать. В письме к брату от 24 августа 1859г. он просит купить для неё шляпку: «Вот что: у жены нет никакой шляпки (при отъезде мы шляпки продали. Не тащить же их было 4000 верст!). Хотя жена, видя наше безденежье, и не хочет никакой шляпки, но посуди сам: неужели ей целый месяц сидеть взаперти, в комнате? Не пользоваться воздухом, желтеть и худеть?».⁸⁶

«Шляпка должна быть серенькая или сиреневая...»

Почему шляпки проданы в Семипалатинске? Но ведь Достоевский уже сообщал, что там – всё чуть не в два раза дороже. Значит, что-либо из вещей продавать надо по семипалатинским ценам - тем более, впоследствии в пополнении проданного, вполне вероятно, поможет брат Михаил. О любви в упомянутом письме ни строчки. Читаем: «Мощион нужен для здоровья и потому я непременно желаю купить ей шляпку. В дешёвых магазинах нет ничего, шляпки есть летние, гадкие, а жена хочет осеннюю, расхожую и как можно дешевле. И потому вот какая моя убедительнейшая к тебе просьба. Пошли или сам зайди к m-те Вихман и, если есть готовая, купи, а нет, закажи. Шляпка должна быть серенькая или сиреневая, безо всяких украшений и цац, без цветов, одним словом, как можно проще, дешевле и изящнее (отнюдь не белая) – расхожая в полном смысле слова. Другую хорошенькую зимнюю шляпку мы сделаем после. А теперь только что-нибудь надеть на голову, не простоволосой же ей ходить? Если m-те Вихман скажет, что шляпки летние, а осенних фасонов еще нет, то закажи осеннюю и пусть она сама сделает какой угодно осенний фасон, хоть прошлогодний. Без украшений, дешевле, как можно изящнее».⁸⁷

Несколько удивляет это «мы продали шляпки», «хорошенькую зимнюю шляпку мы сделаем после» – как отдаленный звук мелодии «грозного чувства», когда Достоевский и Исаева были

— «мы», несмотря даже на обоюдные подсознательные мотивы, которые этому чувству сопутствовали и все же мешали. Значит, в пору шляпок они всё ещё — «мы», по крайней мере это «мы» всё ещё в Достоевском подспудно теплится...

«Если можно — привези шляпку с собою...»

Головные уборы для Исаевой интересуют Достоевского прежде всего — с утилитарной точки зрения, «не ходить же ей просто-волосой». Но «мы» присутствует...

А что же Исаева? Возможно, она счастлива после романтических тайных встреч с Вергуновым по дороге в Тверь: значит, она не изменилась, она может ещё нравиться, ей хочется обновок.

И как не сочетаются с таким её настроением заботы экономного супруга о шляпке, которая должна одновременно быть и изящной, и дешевой. Да, он расчётлив, мы в этом уже убедились. И даже в мелочах. Ведь посчитал же он некоторые детали туалета собственной жены лишними и продал их в Семипалатинске — «не таскать же их за 4000 вёрст!».

Желая сделать ей подарок, Достоевский, тем не менее, печется о дешевизне точно также, как Карандышев, герой известной киноленты, снятой по «Бесприданнице» Островского, покупая нарядный туалет для невесты! Он даёт наставления брату: «У нас в Семипалатинске была расхожая шляпка в 9 целковых (то есть здесь в 5), но до того изящная, что годилась графине (шляпка, стало быть, была «у нас». Впечатляет. Притом «годилась и графине» — но ведь продали же! — *авт.*). Ради бога, брат, не откажи. Продам тарантас — деньги отдам тотчас. Есть у Вихман ленты (мы здесь видели образцы от Вихман же) с продолжными мелкими полосками серенькими и беленькими. Вот таких бы лент к шляпке. Жаль, что не могу прислать образчика. Если можно — привези шляпку с собою. Если же нет — закажи, и, когда будет готова, пусть отправят по железной. Но чтоб она тебя не задерживала в Петербурге. Голубчик мой! Не досадуй на меня за мои просьбы! У меня у самого голова кругом идёт...

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

Жена тебе кланяется».⁸⁸

«Вчера писал тебе об шляпке...»

На следующий же день — еще письмо брату. В нем — напоминание: «Вчера писал тебе об шляпке, не забудь, ради бога, друг мой. Образчик лент для уборки шляпки. Ленты эти от Вихман из Петербурга (сказала здешняя магазинщица). Цвет же шляпки как серенькая полоска на лентах».

Такая настойчивость удивительна: шляпка нужна и скоро, притом определенного фасона и цвета, и оговаривается даже тип ленты, да еще — чтобы непременно дешевая. Что это — пожелания Исаевой, или представления самого Достоевского об изяществе женщины и её наряды?

Но много ли мужчина смыслит в лентах — и можно ли такую деликатную миссию поручить опять же — мужчине, который в дамских туалетах мало что понимает? Сомнительно, что два брата Достоевских могли выбрать для Исаевой шляпку лучше, чем она сама в тверских магазинах. Похоже, она в самом деле была непритязательна и покладиста и даже в некотором подчинении у мужа.

С момента отъезда из Семипалатинска минуло два месяца и столько еще пройдет, пока из Петербурга вышлют заказанные обновки, а она всё ходит «простоволосая», а то и вовсе не выходит из дома, что для неё, склонной к чахотке, — самоубийственно.

И что должен думать о Достоевском «свет», узнав, что он держит жену взаперти, без «карманных денег» и настолько поработил её индивидуальность, что даже «шляпки и ленты» заказывает для неё сам, когда он решит и какие выберет...⁸⁹

«Она... всё хворает»

Меж тем, Исаева больна. Смертельно. Туберкулез еще излечивать не умели, да и болезнь запущена. Ей осталось жить четыре с половиной года. Намёки на её нездоровье в переписке Достоевского встречаются, но — места занимают совсем немного. Из письма А. Е. Врангелю от 22 сентября 1859г. из Твери:

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

«Мы с Марьей Дмитриевной все три года Вас так часто вспоминали и с каким удовольствием. Она очень желала бы Вас видеть. Всё хворает. Прощайте же, обнимаю Вас».

Но Достоевского более всего заботит всё же не здоровье жены (о нём — две строчки, причем только в одном письме, и то в контексте «приветов»), а — своё собственное. У Достоевского падучая, о которой он всем сообщает. Детально, во всех нюансах, рассказывает об эпилепсии и брату Михаилу, и даже графу Тотлебену.

Однако этот недуг не помешает Достоевскому прожить до старости, скончается он в 1881 году. Силы же Исаевой уже на исходе, хотя она и моложе супруга на пять лет...⁹⁰

«Марья Дмитриевна даже иногда плачет...»

Тверь аттестуется Достоевским как город скучный. Достоевский недоволен и плохой библиотекой, и «ничтожным» театром, и дороговизной, и отсутствием удобств. Быть может, также считала и Исаева. Хотя трудно поверить, что в Семипалатинске, а уж тем более в Кузнецке было интереснее и комфортнее.

Возможно, Исаеву гнетёт не Тверь, а муж, который бережет деньги настолько, что отказывается принимать гостей и «поддерживать всяческие знакомства». Впрочем, выйти «в свет» для нее, надо полагать, — проблема: нет ведь никаких нарядных безделиц и даже нужных шляпок (экономит же!), а без всего этого какая уж элегантность. Да и Ф. М. всё время — за работой, и на «светский» лад не настроен. Эмоциональная и «легкого характера» женщина ощущает все тяготы одиночества...

Из письма Достоевского А. И. Гейбовичу от 23 октября 1859г.: «А Марья Дмитриевна даже иногда плачет, вспоминая о Вас. Ей-богу. Она Вам, кажется, и письмом приговорила... Мы тоже в ожидании живем довольно скучно. Покамест не переехали в Петербург, не покупаем даже самых необходимых вещей. Знакомство веду я один. Марья Дмитриевна не хочет, потому что принимать у нас негде. Да и знакомых-то три-четыре дома.

Знаком со многими, а хожу к немногим, к тем, к кому приятно ходить. Тверь как город до невероятности скучный. Удобств мало. Дороговизна ужасная. Обстроен очень хорошо, но скучно. Театр ничтожный. Тарантас мой не могу до сих пор продать...»⁹¹

Значит, Достоевский бывает в театре, и общается лишь с теми, кто ему приятен, хотя знакомств много. А Исаева — как бы в заточении...

«Марья Дмитриевна убивается...»

Сила таланта Достоевского ощущалась отнюдь не только в романах, но и в повседневной жизни. По письмам мы уже знаем его необыкновенную способность убеждать. И поскольку в Твери самым главным для него, помимо готовящегося переезда, была, пожалуй, забота о собственном здоровье («хворь» Исаевой, у которой, что называется, смерть за плечами, он почти не замечает), то он не только всех близких и знакомых переполошил своей болезнью (эпилепсией), но и Исаевой внушает, что ему осталось жить недолго, а та, естественно, начала беспокоиться: сына-то из Сибирского кадетского корпуса забрали, а если муж скончается — кто возьмёт на себя заботы о воспитании и образовании Паши?

Исаева опасается кончины Ф. М., и, конечно, скорбит заранее, вспоминая неожиданный конец первого супруга. И если Достоевский в своё время написал «Вечного мужа», то ей впопыху бы сочинять «Вечную вдову»...

Из письма Достоевского Врангелю от 2 ноября 1859г. из Твери: «К тому же в письме моём к государю я прошу о помещении моего пасынка, Паши, в гимназию. Марья Дмитриевна убивается, за судьбу сына. Ей всё кажется, что если я умру, то она останется с подрастающим сыном опять в таком же горе, как и после первого вдовства. Она напугана, и хоть сама не говорит мне всего, но я вижу её беспокойство. А так как жизнь в Твери я ещё не знаю когда кончится, а Паша не пристроен и только теряет дорогое время, то я в решительную минуту

пустился на крайнюю меру и написал к государю, надеясь на его милосердие...».⁹²

«Жена моя остаётся в Петербурге...»

Далее – переезд в Петербург. Завуалированный от самого себя, но тем не менее весьма чувственный «роман» с А.И. Шуберт. Творчество Достоевскому не до Исаевой. В письмах своих он её не поминает вовсе. И лишь когда покидает столицу чуть не на три месяца для лечения за границей, походя сообщает брату А. М. Достоевскому 6 июня 1862г.: «Еду я один. Жена моя остаётся в Петербурге. Денег нет, чтоб ехать вместе, да и нельзя ей своего сына (моего пасынка) оставить, который готовится к экзамену в гимназию».

Теперь муж М. Д. называет Пашу не сыном, а пасынком. Сыном Паша так и не станет, хотя в орбите Достоевского пребывает до самой кончины писателя – нечто вроде живого укора – к величайшему раздражению его второй жены Анны Григорьевны.

Более всего изумляет, что Достоевский едет в Европу лечиться. Но в лечении-то больше всего нуждается не он, а Исаева, - ей осталось жить всего полтора года. Для её легких «сырой» Петербург – убийственное место, - хуже не придумаешь! - так что об отдыхе где-нибудь в Италии подумать бы ей, а не мнительному супругу, который беспокоится о собственной кончине за двадцать лет до таковой.

Но для Исаевой Достоевский денег не находит. Они ему понадобятся на другие цели. В Европе он приохотится к рулетке. «Игрок» «проиграет», в конечном счете, не только бывшее «грозное чувство», но и жизнь «прекраснейшей из женщин». Как видим, игра шла, в самом буквальном смысле, – на жизнь...⁹³

Летом 1862г. намерения Достоевского и его жены разительно отличались. Достоевский спешил на лечение. Исаева, в то же время, собиралась ехать в Тверь, где климат более мягкий, и неизлечимо больная М. Д. могла бы хоть немного оттянуть свою

гибель.

Но, конечно, её поездка не состоялась.

Планы великого писателя встали на ее пути – ему требовались иные впечатления и иные стимулы для творчества. Лечение же – пристойный предлог. В конце концов, в праве же он был беречь свое здоровье.

Играя в рулетку в самых разных городах Европы, он переполнен переживаниями и всем увиденным, что использует в будущем романе «Игрок».

Исаевой в этом романе «роли» не найдется, его будут вдохновлять иные музы...⁹⁴

«Жена его очень добрая особа, но жаль, что очень больная женщина...»

Но, может, симптомы болезни Исаевой не столь явственны, и именно поэтому свою эпилепсию Достоевский считает куда более опасной и лечится за границей, отказывая везти с собой и Марию Дмитриевну – что могло, возможно, продлить её жизнь хотя бы на пару лет.

Предлог серьезен: денег нет. Денег, которые одновременно сжигаются в игорных домах.

Ответ на вопрос о состоянии Исаевой находим в письме Н.М. Достоевского к А. М. Достоевскому от 18 ноября 1862г.: «Про брата Федора я и писать не берусь... Жена его очень добрая особа, но жаль, что очень больная женщина. У ней чахотка, и только тридцатилетний возраст не дает скоро развиваться этой болезни». Стало быть, серьезность недуга Исаевой за полтора года до смерти для всех очевидна. Но не для Достоевского. Он лечится сам, хотя положение М. Д. куда более опасно. Он развлекается, набирается впечатлений, что писателю, конечно, необходимо, но вот только Исаевой всё хуже и хуже...⁹⁵

«То есть не умерев в Петербурге...»

По мере того, как Исаева близилась к концу, снедаемая смертельной болезнью, Достоевский в апогее бурного романа с

Апполинарией Суловой. Связь их — опять же любовь-ненависть. Восторги всё чаще перемежаются с отчаянием.

Но Достоевский о Марье Дмитриевне помнит. Он даже пытается облегчить её положение, и везет ее не в Италию, нет, — а во Владимир, где климат для чахоточных более благоприятный. Неблаговидность своего отношения к жене он, видимо, и сам чувствует. В письме к И. С. Тургеневу 17 июня 1863г. Достоевский поминает «болезнь жены (чахотка), расставание моё с нею (потому что она, пережив весну /то есть не умерев в Петербурге/, оставила Петербург на лето, а может быть и долее, причем я сам сопровождал её из Петербурга, в котором она не могла переносить более климата)»

Примечательно это «я сам сопровождал её из Петербурга» — как будто при её болезни могло быть иначе!

Спеша на свидание с Суловой в Париж, но желая «выглядеть пристойно» в приличном кругу, Достоевский как бы бряцает фальшивой монетой о мраморную стойку: смотрите, она — настоящая, самая настоящая!

Итак, Исаева — из Петербурга, а муж — в Европу.

Опять без Исаевой. К чему умирающей лечиться?

«Не умерев в Петербурге», можно «доживать» во Владимире.

В Европе же его ожидает очередной всплеск романа с Суловой, рулетка и польза для собственного здоровья: он ни на минуту не забывает об эпилепсии, которая будет маять его еще два десятка лет...⁹⁶

А пока она «выручает» его — если бы не нужда в лечении, разве оставил бы он угасающую Марию Дмитриевну.

Может быть, и так разворачивался в ту пору поединок Достоевского с Достоевским — ему было в чем каяться перед Исаевой, а раскаяние — разве не есть наслаждение...

«Что услышишь об мамаше, тотчас же мне сообще...»

В Европе Достоевскому отдыхалось хорошо. О чуть было не умершей в Петербурге Исаевой Достоевский не вспоминал.

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

Впрочем, мы не совсем точны. 16 августа он отправил пасынку письмо, в котором сообщал, что намеревается посетить теплую Италию. Что итальянский климат — самое лучшее лекарство от чахотки, Достоевский совершенно упустил из виду!

Паше он рассказывает много интересного, но для Исаевой — ни одной строчки. Илишь в небольшом «постскриптуме» Паша получил наказ: «Что услышишь об мамаше, тотчас же мне сообще...».

Щемительно: страстный эпизод с Суловой затмил образ умирающей Исаевой настолько, что отныне для Достоевского — она всего лишь «мамаша».⁹⁷

«Лучше всего здесь фрукты и вино...»

Для пониманий «подполий души» сочинителя Достоевского, необходимо вникнуть в обстоятельства его «рулеточной» поездки в Европу, когда он, бросив умирающую жену во Владимире и обозначив её в письме к Паше «мамашей», принялся развлекаться.

Как известно, 20 августа он пишет В. Д. Констант. И тут без двусмысленных мест — не обошлось. Достоевский, живописуя прелести Парижа, сообщает: «лучше всего здесь фрукты и вино; это не надоедает. О своих интимных делах я Вам ничего не пишу...».

О каких «интимных делах» говорит Достоевский? А интимные дела, заметим, были — роман с Суловой в разгаре. Но неужели же об «интиме» на стороне стоит писать сестре собственной жены? В смысле: частная жизнь, вид занятий, забавы и в том же роде. Очень странно, — но сестра умирающей М. Д. ставится в известность, что муж поглощен в Париже выбором фруктов и вин и особенно — рулеткой. Причем про рулетку Достоевский пишет подробно.

Сюжет известен: сначала Достоевский выигрывает 10 тысяч 400 франков, потом проиграл 5 тысяч 400 фр., в итоге у него оказалось «прибыли» 5000. Из этой суммы отсылает Исаевой (через В. Д. Констант) 25 дублонов (то есть чуть более

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

1000 франков), и оставляет у нее до поры еще 5 дублонов (то есть немногим больше 200 франков). Через какое-то время Достоевский вновь проиграет и попросит часть посланных денег назад (опять же через сестру Марии Дмитриевны).

О самой Исаевой, которая на пороге смерти, Достоевский не упоминает, за исключением одной строки: «Беспокоюсь я ужасно и сердечно за её здоровье». Всё остальное, если Исаевой и касалось, то только в контексте рулетки и отсылки денег; то ей, то от неё — чтобы ему покрыть проигрыш. Любопытна и сама пропорция распределения средств. Исаевой посылается всего пятая часть выигрыша. Такая арифметика — тоже своего рода показатель. Пятая часть — семье, всё остальное — для удовольствия...⁹⁸

«Не будет ли в претензии на Вас Марья Дмитриевна...»

Проигравшись в пух и прах, Достоевский просит сестру Исаевой взять у нее присланные ей деньги. Деньги, на которые Исаева рассчитывала, ибо ей надо было платить врачу за лечение. Жить ей осталось всего-ничего.

В письме 8 сентября 1863г. Достоевский спохватывается — жена «ему дорога», он — чувствует вину, но обставляет всю эту некрасивую историю таким образом, что Исаева, в конце концов, может оказаться «в претензии» лишь к собственной сестре, а он — остаться в стороне. Уезжая за границу, он не оставил М. Д. нужной суммы, чтобы той хватило на оплату врача. Так что посланное из Европы именно на это было ею предназначено. Во Владимире перед Исаевой возникла дилемма: доживать, ожидая конца, или хоть попытаться лечиться. И если деньги Достоевскому пришлось вернуть, тем самым ускорена была ее гибель — пришлось доживать без лечения...

Из письма Ф. М. к сестре Исаевой: «Слава богу, вышел из беды. Боюсь, однако, что Вам доставил много хлопот и вот чего, главное, боюсь: не будет ли в претензии на Вас Марья Дмитриевна за Ваше самовольное распоряжение её деньгами? А я ей,

как нарочно, из Турина еще написал и просил отнюдь более 100 р. от себя мне не посылать, потому (писал я ей), что мне приятнее знать, что она хоть на некоторое время обеспечена».⁹⁹

Значит, когда Достоевскому понадобились средства, он нашел-таки время написать Исаевой, «мамаше», и просить помощи, не только у Варвары Дмитриевны, но и у неё, у которой — платить врачу нечем...

«Ей надо дать доктору...»

Хроника «убиения» Исаевой продолжается, — мы не кошуnstвуем, пороча память гения, мы просто называем вещи своими именами, как назвали бы их сегодня наши современники. История заграничных вояжей 1862-го и 1863-го годов — как бы некая иллюстрация на темы морали.

Все «преступления» Исаевой в отношении Достоевского, красочно рассказанные его дочерью, меркнут перед документально доказанными его поступками, которые буквально приблизили к могиле Марию Дмитриевну... Читаем дальше: «Видите: хоть я ей и выдал до октября денег достаточно, но я Вам рассказывал, возвратясь из Владимира, что она лечится и что в случае излечения ей надо дать доктору по крайней мере 100 р. Она говорила мне, что 100 р. для неё страшно много и что она не может. И вот теперь, получив моё письмо, где уведомляю её, что посылаю ей деньги, она, может быть, по щедрости своей (а она щедрая и благородная) и решила дать эти 100 р.. надеясь на мои деньги. Да кто знает, может, еще что-нибудь и купила себе. Так что теперь почти трепещу, что ей неостанет до октября. А это мне вдвое хуже, чем если б мне не достало. Вы знаете сами, что брата она смерть не любит. Рассердится, пожалуй, оттого, что деньгами её воспользовались, потому что у брата не было мне выслать».¹⁰⁰

«Не отвечайте ей жестко...»

Итак, деньги, на которые Исаева рассчитывала, приходится вернуть. А ведь они — её последняя надежда хоть ненадолго

продлить жизнь. Л. Ф. Достоевская, обвиняя ее во множестве прегрешений, пользовалась лишь устными, малопрверенными и неподкрепленными источниками. «Прелюбодейная» связь М. Д., которую так ненавидят вторая жена и дочь писателя, во всяком случае, не была столь публичной, как роман Достоевского с Сусловой. Если – вообще таковое «прелюбодейство» на самом деле имело место.

А если – нет? Тогда перед нами М. Д. – образец терпения: сносит измены Достоевского, и его пренебрежение, и поездки в тёплые края, куда следовало бы ехать ей, и даже то, что он требует обратно посланные крохи из большого выигрыша, зная, что лишает её лечения...

Далее Достоевский к её сестре пишет следующее: «Наизусть знаю, что она обвинит брата. А следовательно, пожалуй, и Вам что-нибудь напишет. Добрый, милый друг мой, не рассердитесь, не отвечайте ей жестко, если она Вам что жесткое напишет. Напишите ей так: что во всяком случае я бы был без денег и погиб бы. А следовательно, надо было помочь. Время очевидно, не терпело. Писать ей было некогда. Вот и распорядились её деньгами. Но главное: что если ей неостанет до моего возвращения? Боюсь, потому что она дорога мне. Тётяшка, милая, если у Вас будут лишние деньги до моего приезда, то нельзя ли послать ей рублей 75 в виде того, что брат начал уплачивать, но не говоря, что от Вас. Спасли бы Вы меня. Разумеется, если Вас это ни капельки не стеснит, то есть если деньги у Вас просто лежат, как это часто у Вас бывало. Если ж нет, то, разумеется, и думать нечего... Пишите хоть что-нибудь о Марье Дмитриевне и о настоящей истории с деньгами...».¹⁰¹

О настоящей истории с деньгами? Выходит, М. Д. те несчастные 100 р. обратно не послала, Достоевский их берёт у её сестры, а Варвару Дмитриевну просит помочь Исаевой «от себя». Причем, похоже, он озабочен: куда же девала Исаева ту сотню, что он ей послал...

«Я мамаше больше всех писал...»

Во время развлекательной поездки по Европе связь Достоевского с Исаевой либо не поддерживается, либо она –

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

односторонняя. Об этом Достоевский пишет пасынку Паше 18 сентября 1863г. из Рима.

Исаева утверждала, что Федор Михайлович ей не послал ни одного письма. И он это горячо оспаривает: писал, де, ей «поминутно». Но, странно, - все, с кем он переписывался, его послания получали, только она почему-то — нет! Но мы верим Исаевой.

Потому что у Достоевского роковой момент в романе с Сусловой. Да и хочет ли сама М. Д. с ним общаться, хотя бы письменно? Ведь он ее бросил больную. А мог бы увезти в Рим, где климат для неё – лучшее лекарство. Хватает же ему денег на рулетку. И, стало быть, не в деньгах дело.

Щемительно выглядит контраст между положением Достоевского, который сообщает о себе пасынку, что здоров и развлекается (причем – «припадков у меня не бывает») и гибнущей Исаевой, которой жить - всего несколько месяцев...

Из письма П. А. Исаеву: «От неё я ещё ни одного письма не получил. И как я всё это время мучился; думал, что она так больна, что уже и писать не может, и бог знает что еще думал. Но вдруг Варвара Дмитриевна мне пишет недавно, что мамаша ей писала, будто она ни одного письма от меня еще не получила. Ужасно мне это было странно слышать. Я мамаше больше всех писал, поминутно писал. Как же она ничего не получила, тогда как к другим все мои письма дошли?... Я здоров, припадков у меня не бывает,... тут много развлечения, есть что видеть и осматривать...».¹⁰²

Сопоставлял ли уже порядком повзрослевший Паша эти две судьбы? И если сопоставлял, мог ли иначе относиться к Достоевскому, став взрослым, кроме как к источнику денежных пособий. Разве не от него же, Достоевского, получал первые уроки: нет денег – можно попросить у кого-нибудь, кто помятче...

**«Здоровье Марьи Дмитриевны очень
нехорошо...»**

И всё же, почему, если Достоевский писал Исаевой «поминутно», ни одного его письма из Европы, адресованного ей, не

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

сохранилось? Загадка. А в том, что Ф. М. иногда намеренно о многом даже не то, что умалчивал, а — случалось, лгал, мы уже знаем. Так что — веры Исаевой больше.

Пожалуй, её неприятие психологии и нравственности Достоевского в последние годы её жизни было оправдано. С чем, конечно же, вторая жена писателя не согласилась бы.

Злосчастную рулетку Анна Григорьевна оправдывала рассуждениями об эмоциональном всплеске, который непроизвольно захватывал писателя в момент игры, так что после очередного «фрустрочного угара» наступал творческий подъём!

И, наконец, приходится считаться с тем, что если бы не было «игровых страстей» — не родился бы замечательный роман «Игроку».

Однако реальная «стоимость» этих «всплесков» определена: смерть Исаевой и вполне доказанное отсутствие помощи в её критическом состоянии — цена «игрного морока» и «творческих подъёмов». Достоевский выбирал между фатальной страстью и смертью уже нелюбимого, несмотря на его заверения, существа. Страсть победила. Исаева погибла.

Возможна и иная трактовка гибели Исаевой, но она столь же нелицеприятна. Достоевский уезжает за границу, когда ей совсем худо, она изнурена, её лихорадит. Оставлять её в таком положении — немилосердно... Из письма Достоевского сестре Исаевой от 10 ноября 1863г.: «Любезнейшая Варвара Дмитриевна, по некоторым крайним обстоятельствам, о которых рассказывать долго, мы, то есть я и Марья Дмитриевна, решились переехать совсем в Москву... Здоровье Марьи Дмитриевны очень нехорошо. Вот уже два месяца она ужасно больна. Её залечил прежний доктор; теперь новый. Наиболе изнурила её двухмесячная изнурительная лихорадка. Конечно, в таком состоянии переезжать всем домом в Москву не совсем удобно. Но что ж делать? Другие причины так настоятельны, что оставаться во Владимире никак нельзя».¹⁰³

«У Марьи Дмитриевны поминутно смерть на уме...»

Какие могут быть еще «причины» для переезда умирающей женщины, кроме как укрепление её здоровья? Любой шаг,

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского

кажется, должен диктоваться стремлением улучшить её состояние. Всё остальное — от лукавого.

Притом, что сам Достоевский сообщает, что для больной Исаевой такое перемещение — не лучшее, что можно придумать. По отношению к ней — всякое оправдание вынужденного отъезда из Владимира — обставленный красивыми словами почти садизм.

«Причины» — конечно, планы Достоевского по изданию собственного журнала под названием «Правда». Так Исаева в очередной раз «пожертвована» ради литературной карьеры супруга (впрочем, как и следовало ожидать, никакой будущности у «Правды» не оказалось).

«Доживание» Исаевой проходит мучительно и длится долго. Болезнь прогрессирует, она принимает лекарства и кумыс. В январе 1864г., за три месяца до смерти, М. Д. уже наверняка знает, что умрёт. Об этом читаем в письме Достоевского её сестре от 10 января: «Любезнейший друг Варвара Дмитриевна, спешу Вам написать несколько строк с Пашей... Случилось то, что я предвидел и ему предсказывал, а именно: он был довольно несносен Марье Дмитриевне. Легкомыслен он чрезвычайно, и, разумеется, неумение вести себя с очень больною Марьей Дмитриевной (при всех его стараниях) тому причиною. Впрочем, Марья Дмитриевна от болезни стала раздражительна до последней степени. Ей несравненно хуже, чем как было в ноябре, так что я серьезно опасуюсь за весну. Жалко её мне ужасно, и вообще, жизнь моя здесь не красна. Но, кажется, я необходим для неё и потому остаюсь... У Марьи Дмитриевны поминутно смерть на уме: грустит и приходит в отчаяние. Такие минуты очень тяжелы для неё. Нервы у ней раздражены в высшей степени. Грудь плоха, и иссохла она как спичка. Ужас! Больно и тяжело смотреть».¹⁰⁴

Так зачем же было увозить её из Владимира? Настоятельные причины...

А что, если, умирая, Исаева позвала Вергунова проститься и он во Владимир приехал? И пошли слухи...

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев

Попробуем верить дочери Достоевского, ведь всё, что она писала, - знала от матери, а с той делился Достоевский. Разве не мог он рассказать А. Г. о некоем «владимирском пассаже», из-за которого пришлось увозить М.Д. в Москву, хотя и вопреки её болезни...

«Не то будет худо, Паша...»

В приведенном выше письме и Паша, и Исаева выставлены в невыгодном свете. Исаева страдает – можно, хотя бы из сочувствия, не сообщать о раздражительности безнадежно больной женщины. Впрочем, ведь она уже не жена. После развлекательной поездки в Европу (в момент, когда Исаева доживала во Владимире) для Достоевского важна была только Сусллова. Все помыслы его обращены к ней.

Умиравшую же, чахоточную, шадить он не находит в себе сил: она уже нелюбима. А про Пашу и говорить нечего. 28 января 1864г. Достоевский пишет мальнику, называя его глупцом, дурным сыном «со скверным, ехидным сердцем». В этом послании не содержится ни «здравствуй», ни «до свидания».

На какую же привязанность пасынка мог рассчитывать Достоевский, коли он считает, что тот «кругом виноват», но не замечает собственной вины – большой и страшной.

Мы смеем сказать, ничуть не умаляя гениальности писателя, - это он, Достоевский, толкает к гибели Исаеву, надругавшись над её чувствами и погрязнув в путанной и тёмной страсти к Сусловой.

Из упомянутого письма к Паше: «Скажи, пожалуйста, что с тобой делается, Паша? Или ты болен, так что не можешь двух слов написать, или ты окончательно глуп... Ты не только дурной сын, с скверным, ехидным сердцем (о здоровье матери хоть бы осведомился, по крайней мере) – но ты просто глуп. Воображаю, как ты ведешь себя в Петербурге... Письма пиши аккуратно каждую неделю. Не то будет худо, Паша... Реши теперь сам, когда улика налицо, - можно ли обходиться с тобой как с порядочным человеком?

Что ты не болен и доехал благополучно, это я знаю из письма брата. Следовательно, ты кругом виноват».¹⁰⁵

«Мамаша была очень слаба, до крайности...»

Мысли о смерти, - мы знаем, - Исаеву преследуют. Неудивительно поэтому, что кончину дочери М. М. Достоевского, Вари, она восприняла близко к сердцу и плакала: «Марья Дмитриевна очень плакала, и даже хотела было написать Эмилии Федоровне, но раздумала. Тем не менее ей очень, очень её жалко, и это вполне искренно» (Из письма брату 29 февраля 1864г.).

Достоевский же и сейчас покидает иногда Исаеву для отлучек в Петербург. Дела не терпят отлагательств, тем более что от «кузнецкого венца» мало что осталось – Исаева уже не любимая женщина.

Как и прежде, Достоевского преувеличенно беспокоит собственное здоровье. Когда пишет к брату и пасынку, сообщает прежде всего не о состоянии Исаевой, которой жить всего – полтора месяца, а о своих «болях». Он мнителен - вспомним, что вояжи в Европу тоже свершались из-за нездоровья Достоевского...

Из письма пасынку Паше от 29 февраля 1864г.: «Мамаша была очень слаба, до крайности. Нет никакой возможности поговорить о твоём приезде в Москву. Впрочем, здоровье её еще не на последней степени расстройств. И, кто знает, может быть, переживёт весну, а если переживёт весну, то переживёт и лето и даже поправится. Из этого, впрочем, не суди, что ей много лучше. Она очень слаба».¹⁰⁶

«Марья Дмитриевна очень слаба...»

Собственный недуг в глазах Достоевского заслонил на время состояние Исаевой: воспалилась «простатическая (предстательная) железа» и он опасался, как бы не образовался нарыв. Он тут же перешел на постельный режим, ему ставили пиявки и делали клистиры, поили микстурами. Его мучили судороги, и все это тяготило его, очевидно, гораздо более, чем трагическое умирание Исаевой.

О ней в письме брату от 5 марта – всего одна строчка в самом конце послания, в котором о себе Достоевский сообщает весьма подробно. Более того, та самая упомянутая одна строчка про Исаеву все-таки наполовину касалась его самого: «Я болен, Марья Дмитриевна страшно больна». Исаевой оставалось жить один месяц.

Но почему о своей болезни Достоевский пишет так взволнованно? Почему пиявки и клистиры важнее последних мучений Исаевой?

Можно предположить, оттого, что без излечения предстательной железы он – не мужчина, и, стало быть, страстный роман с Суловой, – отнюдь не романтического, а скорее физиологического свойства, – невозможен, и будущности в нём нет.

И тут позволим себе еще одно предположение: а были ли вообще так уж серьезны хвори Достоевского. Не настолько ли он мнителен, что даже сравнительно лёгкое ухудшение болезни принимал за едва ли не смертельное состояние? Отсюда – желание лечиться не где-нибудь, а за границей (у известных врачей).

В подтверждение – простатический припадок, о котором он так подробно рассказывал брату и пасынку, миновал через несколько дней. Никакого «нарыва» не было.

А Исаева доживала последние дни.

И Достоевский об этом знал, и сам писал, что она до Пасхи не протянет... Из письма брату от 20 марта 1864г.: «Марья Дмитриевна очень слаба: вряд ли проживёт до пасхи. Александр Павлович прямо сказал мне, что ни за один день не ручается. У нас теперь живёт Варвара Дмитриевна. Если б не она, то не знаю, что и было с нами. Она слишком помогла всем нам своим присутствием и уходом за Марьей Дмитриевной. Вот всё, что могу сообщить о себе».¹⁰⁷

«Она может умереть нынче вечером...»

Когда Достоевский узнаёт, что больше двух недель Исаева не протянет, он просит брата заранее купить Паше черное платье для похорон. Иными словами – похоронные атрибуты

предусмотрительно закупаются еще при живой жене – может быть, это и рачительно, но почти как загодя купить гроб.

Отношение к наступающей смерти Исаевой настолько прагматично, что поневоле задаешься вопросом: а было ли «грозное чувство»? Был ли «кузнецкий венец»? Не предстает ли и венчание во многом высчитанным шагом (доказательства сему уже приводились)?

Страстные слова о любви, наверное, немногого стоят в устах писателя, чей профессиональный долг – изъясняться красиво... Из письма брату 26 марта 1864г.: «Марья Дмитриевна до того слаба, что Александр Павлович не отвечает уже ни за один день. Долею 2-х недель она ни за что не проживёт. Постараюсь кончить повесть скорее.. Не слыхал ли чего о Паше?... он, пожалуй, будет еще потом меня упрекать за то, что я его не выписал в Москву, чтоб проститься с матерью. Но Марья Дмитриевна положительно не хочет его видеть и сама тогда прогнала из Москвы. Её мысли не изменились и теперь. Она не хочет его видеть. Чахоточную и обвинять нельзя в её расстройстве духа. Она сказала, что позовёт его, когда почувствует, что умирает, чтоб благословить. Но она может умереть нынче вечером, а между тем сегодня же утром рассчитывала, как будет летом жить на даче и как через три года переедет в Таганрог или в Астрахань. Напомнить же ей о Паше невозможно. Она ужасно мнительна, сейчас испугается и скажет: «Значит, я очень слаба и умираю». Чего же мучить её в последние, может быть, часы её жизни? И потому я не могу напомнить о Паше... Еще одна важная очень просьба: как умрёт Марья Дмитриевна, я тотчас же пришлю телеграмму к тебе, чтоб ты немедленно отправил Пашу, непременно в тот же день, в Москву. Невозможно, чтоб он и на похоронах не присутствовал. Платье у него всё цветное, и потому очень надо, перед отправлением, успеть ему, где-нибудь в магазине готовых платьев (купить) черное – сюртук: штаны, жилет (за) дешевлешую цену».¹⁰⁸

Вспомним: в «Вечном муже» эпизод с умирающей от чахотки женой, которая строит планы, как летом поедет в Тверь,

приведен чуть не слово в слово. И как не верить, что образ Марьи Дмитриевны, кочующий у Достоевского из романа в роман, был не только её загробной мстью, но и его пожизненной попыткой покаяния...

«Каждый день... ждем её смерти...»

Удивляет, что Достоевский ждёт кончины М.Д. со дня на день, и — работает. Пишет. И даже сетует на перерыв в занятиях, если жена скончается — досадная помеха. И не будь ее, этой помехи, Достоевский точно знает — повесть окончить успел бы к сроку. В общем, Исаева как бы в очередной раз неудобна для него.

Покошунствуем: не вовремя умирает. Повременила бы — супруг спокойно закончил бы очередное произведение...

До смерти М.Д. — двенадцать дней.

Из письма брату от 2 апреля 1864г.: «Друг мой, большую часть месяца я был болен, потом поправлялся (речь идёт о простатите, - авт.)... Жена умирает, буквально. Каждый день бывает момент, что ждём её смерти. Страдания её ужасны и отзываются на мне... Повесть растягивается... Вот что еще: боюсь, что смерть жены будет скоро, а тут необходимо будет перерыв в работе. Если б не было этого перерыва, то, кажется, кончил бы (имеется в виду работа над повестью, - авт.)»¹⁰⁹

«Жена умирает совсем...»

До смерти М. Д. десять дней.

В письме к брату 5 апреля 1864г. Достоевский сообщает о «совсем умирающей жене», однако это послание, скорее, — о самом себе. Единственная строчка об Исаевой — и та полна сентенций на его нездоровье и раздраженные нервы. «Умирание» как бы слишком затянулось: «Жизнь угрюмая, здоровье (имеется ввиду недолеченная простата! — авт.) еще слабое, жена умирает совсем, по ночам, от всего дня, у меня раздражены нервы»¹¹⁰.

Удивительно, но даже в последние дни жизни Исаевой Достоевский постоянно чередует сведения о критическом

состоянии жены с жалобами на его недомогание!

Потому что оба эти факта, — смертельная болезнь М. Д. и собственное воспаление — для него равнозначны.

Вернее же, свой недуг — важнее: Исаевой — все равно умирать, а ему еще жить и жить.

Что греха таить, наверное, мы все так думаем, доведись оказаться в подобном положении...

Или — не все?

Что до Достоевского — почему бы в тайне души не теплиться надежде на обзаведение семейством, детьми, — «всё, как у людей»? Ведь когда-нибудь и, вероятно, очень скоро, — Марии Дмитриевны не станет...

«Подполья души» и есть самая сокровенная тайна. Да что, — именно оно, «подполье души», столь хорошо знакомое Достоевскому, хотя бы по собственной участи и переживаниям, и заставит его написать: «Человек есть тайна». А сидящее в подсознании жгучее желание подскажет оговорку: «Каждый день бывает момент, что ждём её смерти». Именно — ждем...

«Марья Дмитриевна почти при последнем издыхании...»

Шесть дней до смерти.

Мысли Достоевского заняты отнюдь не Исаевой. В подробнейшем письме к брату Михаилу 9 апреля 1864г. он сам рассказывает, что его волнует более всего: деньги, отношения с теткой, подписка на журнал — похоже, всё это для него куда «событийнее», чем предстоящий уход Исаевой.

О ней — всего одна строчка, перед подписью. И — на этот раз известие о ней не перемежается со сведениями о собственном самочувствии. Зато есть другое: Достоевский *заранее* приглашает брата на похороны.

Её, живую, — в какой уже раз! — как бы опять хоронит загодя. Читаем: «Марья Дмитриевна почти при последнем дыхании. Предупеждаю: ты, может быть, приедешь ко мне на похороны. Прощай, обнимаю тебя и всем кланяюсь».¹¹¹

«Мамаша тебя любит...»

Пять дней до смерти.

Письмо к пасынку Паше. В котором – двусмысленности. Например, уверения, что «мамаша тебя любит»: но как же – «любит», если немногим ранее Достоевский говорил как раз обратное?

Есть и иная странность. Он пытается убедить, что «все мы надеялись», будто Исаева весной поправится. Но ведь из других корреспонденций известно, что Достоевский был как нельзя лучше осведомлен о возможных сроках ее близкой кончины... К Паше 10 апреля 1864г.: «О здоровье мамаша скажу тебе, что оно слишком плохо. Мы всё до сих пор надеялись, что авось - либо она с весной поправится, но ей всё хуже и хуже, и бог знает, к чему придёт это. Я бы желал, Паша, чтоб ты думал об ней почаще... Мамаша тебя любит... Мамаше сегодня вечером слишком, слишком худо. Доктор ни за что не отвечает. Молись, Паша».¹¹²

«Она потребовала священника...»

До смерти один день.

В письме брату от 13-14 апреля 1864г. Достоевский сообщает о разных литературных планах.

Между тем Исаева зовёт священника исповедываться. Достоевский же занят не ею. Творчество и околотворческие интриги, вот что в центре внимания. Сведения об исповеди Исаевой – в самом конце послания. Впрочем, не совсем.

Вслед за этой сценой стоит приписка, касающаяся Апполинии Сусловой: повесть ее Достоевский пристраивает в журнал «Эпоха». Таким образом, даже в считанные часы Марии Дмитриевны его помыслы - о женщине, с которой он переживал столь бурный роман за границей.

И выходит, что последний день М. Д. оказался осквернен отблеском измены.

Из письма брату: «Вторник. 14 апреля. Вчера, в 2 часа ночи, кончил это письмо. Потом Марье Дмитриевне стало очень худо.

Она потребовала священника. Я пошел к Александру Павловичу и послал за священником. Всю ночь сидели, в 4 часа причащали. В 8 часов утра я лёг отдохнуть, в 10 меня разбудили, Марье Дмитриевне в эту минуту легче... Повесть Апполинии посылаю отдельно...».¹¹³

«Хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить...»

День смерти.

Письмо к брату. Первые строки - о черном сюртуке и черных штанах для Паши, в коих следовало появиться на похороны; потом следуют записи о последних часах Исаевой.

Остальные две трети письма – литературные планы Достоевского и рассказ об его склоке с Боборыкиным из-за денег.

Возвышенным это послание никак не назовешь. Рассуждения о денежных претензиях, никоим образом Исаевой не касающихся, в таинственный момент ее перехода в мир иной, - да простит нам гениальный писатель, - выглядят, не побоимся сказать, – кощунственно...

Из названного письма от 15 апреля 1864г.: «Сейчас через Александра Павловича послана тебе от меня телеграфическая депеша. Я просил выслать Пашу. Может быть, у него есть хоть какой-нибудь черный сюртук. Штаны бы только разве купить. Боюсь, что он тебя втянул в расходы. Хорошо, если б он отправился хоть завтра, 16-го апреля, с 12-часовым поездом. Вчера с Марьей Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить. Мы все ждали кончины. Все мы были около неё. Она со всеми простилась, со всеми примирилась, всем распорядилась. Передает всему твоему семейству поклон с желанием долго жить. Эмилии Федоровне особенно. С тобой изъявила желание помириться. (Ты знаешь, друг мой, она всю жизнь была убеждена, что ты её тайный враг). Ночь провела дурно. Сегодня же, сейчас Александр Павлович сказал решительно, что нынче умрёт. И это несомненно. Поеду к тётке просить денег».¹¹⁴

«Помяните её добрым словом...»

Смерть.

Письмо брату.

Просьба помянуть Исаеву.

Но это только половина текста. Вторая – о займе, столь необходимом для будущих планов Достоевского, о коих он не удержался – а всё-таки написал в ту минуту, когда, казалось бы, ни о чем другом и думать нельзя, как о смерти женщины, отношение к которой он сам когда-то определил как «грозное чувство».

Не об Исаевой ли он писал несколько лет назад, что либо с ней – либо в Иртыш, «или с ума сойду»? Невелика, однако, цена «грозному чувству», если в день ухода Исаевой оно разбавляется рассуждениями о процентах и о деловых перспективах...

Из письма брату от 15 апреля 1864г.: «Милый брат Миша. Сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Марья Дмитриевна и всем нам приказала долго и счастливо жить (её слова). Помяните её добрым словом. Она столько выстрадала теперь, что я не знаю, кто бы мог не примириться с ней».¹¹⁵

«Эти два существа... составляли всё в моей жизни...»

Итак, - «кто бы мог не примириться с ней».

Но «не примирится» именно он.

Ибо не кто иной, как Достоевский, расскажет второй жене, А. Г. Достоевской, а та – дочери Л. Ф. Достоевской, немало нелестных подробностей про Исаеву, так что те её возненавидят. И будут клеймить в своих книгах.

Причем ещё неизвестно, правду ли они услышали о свиданиях Исаевой с Вергуновым, и – не выдумка ли это, по типу тех «уходов от истины», коим мы удивлялись не раз на основании писем самого Достоевского.

После смерти Марии Дмитриевны у Достоевского наступило как бы раздвоение личности.

С одной стороны, он убеждает вторую жену, что Исаева – изменница, с другой – всячески превозносит ту же Исаеву, обращаясь к знакомым. Какому же Достоевскому верить? В 1864г., например, он пишет А. М. Достоевскому, что покойный брат Михаил и М. Д. «составляли всё в моей жизни». Но – составляла ли она «всё в моей жизни» при игре в рулетку в Висбадене и во время отдыха в солнечном Риме, столь благотворно влияющем на чахоточных, в момент связи с Апполинарией Суловой, когда Исаева так нуждалась в лечении и человеческом участии?

Из письма брату Андрею от 29 июля 1864г.: «Вероятно, тебе уже от кого-нибудь известно, что в апреле этого же года я схоронил мою жену, в Москве, где она умерла в чахотке. В один год моя жизнь как бы надломилась. Эти два существа долгое время составляли всё в моей жизни».¹¹⁶

Но как же тогда откровения Анны Григорьевны об Исаевой, почерпнутые не иначе, как из откровений самого Достоевского?

«Она любила меня беспредельно, я любил её тоже без меры...»

Проходит год.

Врангелю Достоевский пишет: Мария Дмитриевна, де, любила его беспредельно, а он отвечал ей столь же безмерным чувством. Но ведь Врангель – «сердечный поверенный» Достоевского в сибирский период их бытования. Не может же Ф. М. противоречить самому себе в посланиях, адресованных, хотя бы и в разное время, одному и тому же лицу!

И если он убеждал молодого романтического барона, что из-за Исаевой, которая подумывает о браке с другим, сойдет с ума или кинется в Иртыш, то сейчас как же признаться: М. Д. стала ему настолько безразлична, что он в погоне за мучительницей Суловой оставлял ее в одиночестве, подталкивая к смерти...

Из письма Врангелю от 31 марта 1865г.: «Я был в Москве, подле умиравшей жены моей. Да, Александр Егорович, да, мой бесценный друг, Вы пишете и соболезнаете о моей роковой

потере, о смерти моего ангела брата Миши, а не знаете, до какой степени судьба меня задавила! Другое существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей от чахотки. Я переехал вслед за нею, не отходил от её постели всю зиму 64-го года, и 16-е апреля прошлого года она скончалась, в полной памяти, и, прощаясь, вспоминая всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспоминала и об Вас. Передаю Вам её поклон, старый, добрый друг мой. Помяните её хорошим, добрым воспоминанием. О, друг мой, она любила меня беспрдельно, я любил её тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Всё расскажу Вам при свидании, - теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по её странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), - мы не могли перестать любить друг друга даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу».¹¹⁷

Вот оно, сокровенное: страдание с наслаждением – всегда рука об руку. Не согрешишь – не покаешься - кредо Достоевского. Заставляя мучиться любимое существо, неизбежно испытываешь раскаяние. А верх блаженства – именно в нём, в самотерзании и самобичевании...

«Когда её засыпали землёю...»

Итак, виной всем несчастьям – «странный, мнительный, и болезненно фантастический характер» Исаевой? Но неужели у Достоевского нрав «удобнее»? Разве не то же самое можно сказать о нём самом? Присовокупив к такой характеристике еще «мучительство» близких, как это было с Исаевой. По сути, «убитой» Достоевским – как позволим себе думать мы, сегодняшние...

«Терзания» совести продолжались, однако, недолго. На пороге – вторая женитьба Достоевского и дружное, совместное с новой женой, вымарывание имени М.Д. из его жизни,

завершенное затем грязнейшими подробностями в книжке их дочери Любви Федоровны...

Далее в письме к Врангелю: «Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал за всю жизнь. Когда она умерла – я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с ней, - но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда её засыпали землею. И вот уж год, а чувство всё то же, не уменьшается... И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было всё, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, всё чуждое, всё внове и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих. Буквально – мне не для чего оставалось жить».¹¹⁸

Вовсе, вовсе по другому станет он успокаивать ревнивую юную Нюточку Сниткину-Достоевскую, неліцеприятно описывая совместную жизнь с Исаевой.

И – самое страшное: диктуя стенографистке-жене свои произведения, где постоянно, как роковое напоминание, мелькает десятки раз трансформированный образ Исаевой, он, не смея перечеркнуть до конца «грозное чувство», к словам «восторженная, сгорающая в пылу идеала» понемногу станет добавлять «дурочка», а потом и просто «идиотка». Так А. Г. спокойнее...

«Не может быть, чтоб ты забыл... о своей матери...»

Если судить по письму к Врангелю, то Достоевский безутешен после смерти Марьи Дмитриевны. Но из других писем её имя исчезает вовсе.

Нюточка Сниткина – новое увлечение Достоевского. В ухаживаниях и «притираниях» проходит много лет. Исаева

забыта. И лишь обращаясь к пасынку Паше 10 октября уже 1867г. Достоевский предостерегает его от неприличных компаний, от всякой распушенности, и требует, чтобы он помнил отца и мать: «А на то, что ты не погрязнешь в скверных пороках, позволь мне на тебя надеяться. Не может быть, чтоб ты забыл о своем покойном отце и о своей матери!».

Стало быть, предполагается, что Исаева была все-таки непорочным образцом для подражания. Однако – смогла ли она стать для сына авторитетом (вспомним, что Исаева незадолго до кончины Пашу из дома выгнала)? И как примирить рассказы насчет связи Исаевой с красавцем Вергуновым, во что вторая жена Достоевского и её дочь свято верили, со стремлением самого Достоевского поставить Исаеву в пример сыну именно как возвышенное создание, далёкое от скверны и разврата?

Какому Достоевскому верить? Тому, что создаёт перед пасынком образ своего идеала, светлый образ матери, память о коей он не смеет оскорбить дурным поведением, или тому, кто делится с А. Г. Достоевской подозрениями насчет измен уже ушедшей из жизни Исаевой, которая не может за себя постоять?¹¹⁹

Но Исаева за себя постоять умела. Из загробия является она Достоевскому всякий раз, как он задумывает новое произведение.

Наверное, лишь теперь наступил час истинно «грозного чувства». Оно ведет руку Достоевского, когда он постоянно, навязчиво выводит образы чахоточных женщин с «фантастическим характером».

Но – если Настасья Филипповна («Идиот»), Грушенька («Преступление и наказание») завораживают читателя – обаяние Исаевой настигает нас из того таинственного далека, что поглотило её – то со временем, в угоду юной Нюточке, появится Марья Лебядкина, кстати, всё в том же «треугольнике» из «Бесов», где Достоевский аттестует её «восторженной идиоткой».

Похоже, память о Марье Дмитриевне не только гнездилась

в подсознании писателя, но царила в нём, требуя материализации, и он повиновался ей вновь и вновь, только что пытался для спасения семейного лада добавлять к некогда любимому образу хоть капельку одиозности...

«Как больной человек...»

Подводя итоги поры 1860-1868гг., достоевсковед Т. И. Орнатская верно подмечает, что в письмах Ф. М. «жена упоминается... только как больной человек, требующий ухода и забот». В то же время тем же автором подчеркивается, как некий контраст отношению Достоевского к Исаевой, - его «период страстного увлечения А. П. Сусловой», равно и «эпизод знакомства с А. В. Корвин-Круковской».

Спустя годы Достоевский пытается «подправить» в глазах знакомых своё тогдашнее пренебрежение к Исаевой. Врангеля ему, несомненно, убедить удастся. Однако как быть с более близкими ему людьми, со второй женой, например? От неё-то не утаишь, что Исаева была много раз оскорблена им ради иных походов за границей?

И появляется новая концепция взаимоотношений Исаевой с Достоевским, придуманная им самим.

Исаева, де, была неверной супругой. Отсюда – измены ей и нежелание делить с ней кров. Вторая жена поверила. Образ «правильного» мужа восстановлен, а на Исаеву брошена тень неприязни и даже брезгливости. Причем уже посмертно.

Всё та же «запредельная логика»: ей, мёртвой, всё равно – а Достоевскому ещё жить да жить.

В письмах, впрочем, ради пристойности – о Марье Дмитриевне только хорошее. «Плохое» вспомнят после смерти Федора Михайловича его жена и дочь. ...¹²⁰

Кемерово, 2000 - 2004 г.

(продолжение следует)

Юлия Зародова
ПЕРВЫЙ В СИБИРИ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ
Омский государственный литературный
музей имени Ф.М. Достоевского. История
создания

Омский государственный литературный музей был открыт для посетителей 28 января 1983 года. Этому событию предшествовали многие годы труда и даже борьбы увлеченных людей. Впервые о необходимости создания литературного музея в Сибири заговорили уже в конце 1920-х годов. К этому времени сложилось такое понятие как «сибирская литература», действовали Союз сибирских писателей и сибирское отделение Ассоциации пролетарских писателей, выходил литературно-художественный журнал «Сибирские огни». С Сибирью были связаны имена известных писателей 18 и 19 веков: А.Н. Радищева, П.П. Ершова, декабристов В.К. Кюхельбекера, В.А. Одоевского, Н.А. Чижова, петрашевцев Ф.М. Достоевского и С.Ф. Дурова, народников Г.А. Мачтета, Ф. Волховского и других.

В апреле 1928 года в Омской газете «Рабочий путь» была опубликована статья Н.В. Феоктистова «В Сибири нужно создать историко-литературный музей. (В порядке постановки вопроса)». Автор сообщал о том, что в Сибири сложились давние литературные традиции, наша земля богата талантливыми людьми, чьи архивы представляют несомненную ценность для сибиряков. Чтобы сохранить эти архивы и дать представление землякам о развитии литературы, в Сибири необходимо создать литературный музей. Речь в статье не шла именно об Омске, музей предлагалось открыть в любом сибирском городе. Месяцем позже, в майском номере журнала «Сибирские огни» (г. Новосибирск) появилась статья «К вопросу об организации историко-

литературного музея в Сибири». Подписали статью, кроме названного выше Н.В. Феоктистова, профессора П.Л. Драверт и Г.В. Круссер. Это были известные в Сибири люди. Петр Драверт – профессор Омского сельскохозяйственного института, поэт; Георгий Круссер – историк, партийный деятель, публицист, интересовавшийся литературной жизнью; Николай Феоктистов – журналист, редактор, поэт, собиратель литературных сил Сибири, автор сенсационной статьи о неизвестных письмах Ф.М. Достоевского и ненапечатанной повести о пребывании петрашевцев Достоевского и Дурова в Семипалатинске. Драверт и Феоктистов сами собирали в течение всей жизни литературные архивы. В их коллекциях сохранились уникальные фотографии писателей и поэтов, редкие книги и автографы, словом, эти два архива сами по себе могли составить отдельный музей. Но владельцы понимали, что хранить такие раритеты в частных руках и опасно, и нецелесообразно. Авторы статьи отмечали, что у них «уже сейчас имеется на руках значительная доля документов исторического характера, представляющих музейную ценность. Разрозненные, разбросанные, почти всегда плохо охраняемые документы эти зачастую находятся под угрозой полного уничтожения». Конечно же, домашнее содержание не обеспечивало сохранности материалов: случались пожары, затопления и другие события, приводившие к утратам ценных вещей. Поэтому инициаторы создания литературного музея Сибири мечтали хотя бы о нескольких комнатах в добротном каменном доме, где можно было бы разместить экспонаты и показывать их посетителям.

Но до начала 40-х годов XX века вопрос о литературном музее больше нигде не поднимался. Вскоре покинул Сибирь Н.В. Феоктистов и увез с собой богатейший архив. (Только в середине 80-х годов заведующему Омским литературным музеем В.С. Вайнерману удалось разыскать в Москве этот архив и перевезти его в Омск.)

К концу 30-х гг. в Омске сложилась сильная литературная группа, в которую входили как уже известные сибирские писатели во главе с П.Л. Дравертом, так и начинающая талантливая молодежь. Это было время расцвета творчества Леонида Мартынова, Сергея Залыгина, Марка Юдалевича и других. С 1939 года начал выходить коллективный сборник «Омский альманах», проходили писательские «четверги», устраивались областные писательские конференции. Среди писателей вновь возникло желание создать литературный музей. Вопрос этот обсуждался даже во время Великой Отечественной войны. Из письма П.Л. Драверта И.С. Коровкину мы узнаем, что 1 мая 1945 года в Омске должен был открыться историко-литературный музей Западной Сибири. «Там будут собираться, храниться, демонстрироваться и изучаться материалы, относящиеся к писателям Западной Сибири, начиная с 18 века»¹. Но через два месяца тот же корреспондент сообщил, что открытие не состоялось по причине отсутствия помещения.

Музей планировалось разместить в доме по улице Лермонтова, 28. Этот дом, принадлежавший писателю и художнику А.С. Сорокину, был своеобразным местом культурных общений. При жизни хозяина здесь собирались литераторы, художники, музыканты, здесь же проходили заседания омского Союза писателей. Антон Сорокин собрал огромное количество рукописей и рисунков омских поэтов и художников. Его коллекция² уникальна, содержит любопытнейший материал по истории культурной жизни Омска 1910-20-х годов. Сам Сорокин хотел, чтобы после его смерти в доме на Лермонтовской улице было бы общежитие для писателей, библиотека, галерея. В 1936 году этот дом хотели передать писателям³, но передача не состоялась. Дом Сорокина как нельзя более кстати подходил для организации в нём музея. Это добротная каменная постройка в два этажа, выполненная в классицистическом стиле, украшенная двумя башенками со шпилями. Находится дом недалеко от

центра города. Но и в 1945 году райгорсовет не смог выселить жильцов из дома, хотя речь шла не о целом здании, а о нескольких комнатах.

В 1945 году Петр Драверт умер, а его архив был частично передан в краеведческий музей, где работал в последние годы жизни сам П.Л. Драверт, частично в библиотеку имени А.С. Пушкина. Часть материалов осталась у вдовы. В 1961 году краевед И.С. Коровкин писал в газете «Омская правда», что до сих пор у вдовы П.Л. Драверта хранится тетрадь с автографами и рисунками сибиряков: Г. Потанина, Г. Гребенщикова, В. Шишкова, Г. Вяткина, И. Тачалова, А. Сорокина, Н. Чужака, а также автографы известных художников и артистов⁴. Где теперь эта ценнейшая тетрадь?

Дело Драверта по организации литературного музея продолжил директор краеведческого музея А.Ф. Палашенков. Именно он добился решения райисполкома о передаче дома Сорокина музею в феврале 1945 года, а потом в течение полутора лет ходил на прием к председателю Куйбышевского райисполкома⁵. В январе 1946 года последовало очередное Решение об организации работы историко-литературного музея и освобождении дома Сорокина⁶. Все это время велась целенаправленная работа по сбору экспонатов для нового музея. Нашли материалы о первой сибирской типографии, открытой в 1789 году в Тобольске, о пребывании Радищева в Сибири, о литературной деятельности декабристов. А.Ф. Палашенков лично обратился к Вс. Иванову, Л. Мартынову, С. Маркову, Л. Сейфуллиной с просьбой о высылке портретов, автобиографий и книг с автографами. Писатели не замедлили с ответами, и вскоре музей пополнился экспонатами. А.Ф. Палашенков лично составил тематико-экспозиционный план Западно-Сибирского историко-литературного музея⁷. (План этот до сих пор не найден).

Но дело с освобождением дома под музей так и не строилось с мертвой точки. В дневниках А.Ф. Палашенкова за

1946 год то и дело встречаются записи об очередном разговоре с представителями городской власти. Музей открыт не был.

В 1950 году стараниями А.Ф. Палашенкова удалось открыть мемориальный музей П.С. Комисарова при парковом ботаническом заповеднике села Усть-Заостровка и музей памяти погибших в Гражданскую войну на станции Марьяновка. Оба музея открылись как филиалы краеведческого музея. С 1953 года Палашенков помогает в создании мемориального музея писателя-омича Ф.А. Березовского. Дочь писателя, Зинаида Феоктистовна Березовская, несмотря на свою активность и работоспособность столкнулась с множеством препятствий на своем пути. В небольшом деревянном доме её отца, где в 1909-1916 годах собирался литературный кружок, теперь проживали посторонние люди. Нужно было расселить людей, сделать капитальный ремонт дома. Сама Зинаида Феоктистовна жила в Москве и за всеми работами следил по её просьбе А.Ф. Палашенков. В подробных письмах он сообщал Березовской о состоянии дел. Некоторые из этих писем полны негодования: «Для города республиканского подчинения не под силу освободить небольшой домик от жильцов. Можно ли поверить этому? С момента Вашего отъезда из Омска не десятки, а многие сотни семей устроены с квартирами. Что им слава и гордость города, что им люди, память о которых должна быть на века».⁸

И все же музей Феоктиста Березовского открылся в апреле 1955 года при краеведческом музее, а спустя год – в доме писателя. Это был первый опыт открытия литературного музея в Омске. Материалы личного архива З.Ф. Березовской позволяют проследить историю этого музея. За 25 лет своего существования музей дважды прекращал свою работу, переживал большие трудности. Это тем более удивительно, что имя писателя-коммуниста весьма почиталось тогдашней властью. Такой была ситуация со многими, если не сказать со всеми Омскими музеями. А.Ф. Палашенков

писал Зинаиде Березовской в 1966 году: «В музей Феоктиста Алексеевича не ходил. Все то, что с любовью, с большой затратой сил и средств сделано – с не меньшим наслаждением разрушено. В Омских условиях это вполне закономерно: ликвидировали Комиссаровский музей, такая же судьба постигла и музей памяти марьяновцев».⁹

Несмотря на трудности в своем музее, З.Ф. Березовская ведет активную работу по организации музея писателей-омичей в доме своего отца. При музее Березовского действовал Совет музея. В разные годы в него входили известные литераторы, журналисты, краеведы. На заседаниях Совета уже в конце 1950-х годов ставился вопрос о создании литературного музея. З.Ф. Березовскую несколько раз делегировали в Москву для решения этого вопроса, были написаны ходатайства от имени облисполкома и обкома КПСС в Совет Министров СССР.

Десятого августа 1960 года Исполнительный комитет омского областного совета депутатов трудящихся принял решение № 21/14 «Об организации литературного музея писателей-омичей». В решении значилось:

1. Открыть с 1 января 1961 года в г. Омске литературный музей писателей-омичей, как филиал областного Краеведческого музея.
 2. Утвердить штаты создаваемого музея в количестве трёх единиц (заведующего, старшего научного сотрудника, смотрителя) с фондом заработной платы 1900 руб. в месяц.
 3. Утвердить общую годовую смету расходов по филиалу в сумме 54149 руб.
 4. Просить Министерство культуры РСФСР включить ассигнования на содержание филиала в бюджет 1961 года.¹⁰
- В данном решении предусмотрено всё, кроме помещения, в котором будет размещаться филиал.

В июле 1961 года в качестве старшего научного сотрудника литературного музея в штат краеведческого музея был принят литератор Юрий Иннокентьевич Шухов. Был издан

бланк литературного музея, существовал Совет музея, который добивался решения по зданию.

Пока решался вопрос о помещении, Юрий Шухов вел изыскательскую и собирательскую работу, делал записи в Книгу поступлений. За довольно короткое время ему удалось собрать много интересных материалов. Среди них «Дневник А.Г. Достоевской 1867 года», книги П. Васильева, Г. Вяткина, вышедшие после реабилитации поэтов, фотографии экслибрисы, воспоминания преподавателя мужской гимназии Образцова, у которого учился Л. Мартынов, а позднее и сам Шухов. Шухов заказал портреты омских писателей, вёл переговоры с художниками об оформлении экспонатов и будущей экспозиции, начал вести летопись Литературного музея.

У Ю.И. Шухова были помощники на общественных началах. Один из них – краевед, поэт, учитель, собиратель фольклора Иван Семёнович Коровкин. Он становится членом Совета музея, и его назначают ответственным за сбор экспонатов. Это назначение не было случайным, так как Иван Семенович уже имел большой собирательский опыт. И.С. Коровкин с юных лет стал активно формировать свою библиотеку, обращаясь лично к писателям. Так, из его дневниковых записей известно, что он получал книги с автографами от В.Вересаева, М. Исаковского, А. Твардовского, К. Чуковского. Многих из омских писателей и их родных он знал лично. Бывая у писателей в гостях, записывал важные сведения и иногда получал в подарок вещи. Так, в дневнике И.С. Коровкина за 1947 год есть такая запись: 29.07. Вчера вечером был у Павы Константиновны Драверт. П.К. подарила мне ручку П.Л., которую он брал с собой в поездки». ¹¹ Да и сбор фольклора требовал умения общаться с людьми.

Из протокола заседания Совета литературного музея мы узнаём, что И. Коровкин связывался с родственниками Г. Мачтета, И. Голошубина, А. Сорокина. Уже собраны материалы В. Уткова, П. Гинцеля, П. Васильева. Коровкин

налаживает переписку с редакциями газет, музеями. Освещает работу Совета музея в прессе. Ведёт тетрадь под названием «Материалы Омского литературного музея», где перечисляет вновь собранные экспонаты, подробно их описывая.

В 1962 году Коровкин наиболее активно занимается розысками сведений и материалов о Павле Васильеве. В тот год исполнялось 25 лет со дня гибели талантливого поэта. Иван Семёнович обращается к первой жене и дочери Васильева, ведёт переписку с вдовой, а также разыскивает в Омске родного поэта – Виктора Васильева. Люди откликаются с радостью: впервые Омск вспомнил о репрессированном и почти забытом поэте. Е. Вялова-Васильева пишет: «Нет слов передать, как я была обрадована Вашему письму, обрадована Вашему сообщению об организации в Омске музея, где будет отведено место и Павлу». ¹² Благодаря И.С. Коровкину в Омский музей были отправлены воспоминания Галины и Евгении Анучиных о Павле Васильеве, краткая биография поэта, несколько книг, более десятка фотографий, приглашение на вечер 50-летия Васильева, автограф поэта на журнальной публикации, бюст Васильева, изготовленный скульптором Ф. Сучковым.

В Совет литературного музея входили помимо И.С. Коровкина преподаватель педагогического института, литературовед Е.И. Беленький, директора краеведческого музея и музея изобразительных искусств М. Агеев и А. Герзон, художник К.П. Белов. Единственный сохранившийся протокол заседания Совета литературного музея от 4.11.1961 г. ¹³ даёт представление о работе по организации музея. Первым на повестке дня стоял вопрос о сборе материалов и подготовке будущей экспозиции. Е.И. Беленький заявлял, что основа экспозиции уже создана, требуется лишь «оперативность при собирании экспонатов». Просил обратить внимание на привлечение материалов о Ф.М. Достоевском и призывал больше уделить внимание писателям-омичам

– жертвам культа личности и усилить пропаганду музея.

Второй вопрос был посвящен зданию. Собравшиеся были уверены в том, что вопрос помещения для литературного музея будут решен в ближайшее время. Ю. Шухов надеется на передачу музею дома А. Сорокина. Пока же видит решение вопроса в размещении музея на территории краеведческого музея. А. Герзон сомневается в предоставлении дома А. Сорокина и предлагает временно разместиться в здании Географического общества, причем само общество при этом нужно просто выселить. На последнем настаивает М. Агеев. Только И. Шухов вступает за географическое общество, напоминая о том, что именно оно основало краеведческий музей. Все члены Совета были единодушны в одном: нельзя размещать музей в доме-музее Ф.А. Березовского. По заявлению М. Агеева именно этот дом рекомендовался под литературный музей. Кем рекомендовался, и почему все были против этого – в протоколе не поясняется. Скорее всего, причины состояли в следующем: дом Ф.А. Березовского представлял собою деревянную одноэтажную постройку, удаленную от магистралей. Несколько комнат едва вмещали материалы самого Ф.А. Березовского. Хозяйка музея З.Ф. Березовская, ярая коммунистка, женщина активная и авторитарная, несомненно, стала бы претендовать на главную роль в новом музее и диктовать свои условия. Конечно, это было неприемлемо для создателей нового музея.

В итоговом решении Совета музея записано, что лучшим зданием под музей является дом А. Сорокина, надо добиваться решения о передаче, а пока просить помещение Географического общества.

В обращении Совета Литературного музея к секретарю омского обкома КПСС Е.Д. Сухининой от 22 ноября 1961 года говорится о том, что дом Березовского не годится для целей литературного музея по многим причинам, в том числе по причине удаленности от центра города и отсутствием транспортных магистралей. Совет музея настаивает на

освобождении дома Сорокина, как наиболее подходящего под музей здания.¹⁴ О помещении Географического общества упоминания нет.

Серьезная, кропотливая работа по созданию музея закончилось весьма прозаично. Проходившая в 1962 году ревизия в краеведческом музее выявила нарушения: при отсутствии помещения под литературный музей содержится смотритель-уборщица. Комиссия рекомендовала уволить лишнего сотрудника.¹⁵ А вскоре уволился и Ю. Шухов, так как вопрос с помещением не решался. Должность старшего научного сотрудника сократили, и литературный отдел перестал существовать. Книга поступлений, которую вел Юрий Шухов, оказалась утерянной, и сегодня мы не можем восстановить весь объем материалов, собранных в 1960-е годы. До сих пор ещё находятся отдельные предметы сбора начала 1960-х годов. Так, год назад нами была найдена публикация поэмы П. Васильева «Кулаки» с автографом поэта в папке с копийным материалом плохого качества. Письмо Е. Вяловой-Васильевой из фонда И.С. Коровкина помогло атрибутировать этот автограф и подтвердить его подлинность.

В настоящее время Шухов живет в Подмоскowie. На запрос сотрудников литературного отдела при краеведческом музее в 1980 году у него вырвался «крик души»: «До сих пор литературный музей не создан?!» В следующем письме он сообщил: «Литмузей в свое время не удалось открыть не только из-за помещения, но и из-за неверия некоторых товарищей. Это теперь восстановили колокольню Казачьего собора и почистили последние ворота в крепости, в мою же бытность Тарские стёрли с лица земли за 24 часа».¹⁶

Можно представить, каково было разочарование собирателя И.С. Коровкина, когда он узнал о том, что литературный музей закрыли, по сути, так и не открыв.

По-видимому, вторая неудача в деле организации музея подвигла И.С. Коровкина на создание подобного музея в деревне, где он проживал. У него на руках было достаточно

материалов, были наработаны связи с людьми и учреждениями, были силы и заинтересованность в дальнейшем исследовании литературной жизни Омска.

В 1964 г., уже не надеясь на то, что в городе откроют когда-нибудь литературный музей, И.С. Коровкин с помощью учеников открывает при школе села Больше-Могильное литературно-краеведческий музей. Значительную часть этого музея составляют литературные темы. Основными отделами этого музея были: «Пушкин и Сибирь», «А.М. Горький и сибирские писатели», «Защитники Родины – наши земляки», «Замечательный советский поэт П. Васильев», «Омские писатели», «Отдел природы и быта». Материалы здесь были собраны такие, что позавидовал бы любой городской музей. И. Коровкин в своем музее выходил далеко за рамки родного села. Он вел обширную переписку с писателями, поэтами, историками, литературоведами, центральными музеями. В его собрании были такие раритеты, как рукописи П. Ершова, А. Сорокина, Л. Сейфуллиной, П. Драверта, Г. Суворова. И. Коровкин собрал ценнейшие сведения о писателях Омска. Посмотреть музей И. Коровкина приезжали не только жители Омска, но и других городов.

В 1977 году И.С. Коровкин скоропостижно скончался. Музей остался без руководителя и распался. Все материалы были свалены в мешки. Вовремя приехавшие сотрудники краеведческого музея и государственного архива спасли большую часть коллекции, но она оказалась раздробленной, так как поступила в разные учреждения. Как оказалось, вывезли не всё, какая-то часть собрания была уничтожена родственниками И. Коровкина, так, редкое фото Г. Вяткина с братьями Буниными было обнаружено впоследствии старшим научным сотрудником отдела литературных экспозиций В.С. Вайнерманом в доме покойного краеведа под кроватью в связке макулатуры, а редкие книги – в угольном сарае. Некоторые раритеты исчезли без следа.

З.Ф. Березовская в 1962 году вновь разворачивает деятельность по организации музея «Писатели-омичи».

Дважды она ездит в Москву, где добивается решения вопроса об омском музее. Заручается поддержкой бывшего омича, секретаря Правления Союза писателей РСФСР, С.В. Сартакова. В одном из писем к З.Ф. Березовской С. Сартаков отмечал: «Рад, что дело с музеем всё же движется... Хорошо, что творческая жизнь в Омске стала заметней. Право же горько было, что город, с которым связано столько больших литературных имен, все время значился в числе «белопятенных»». ¹⁷ С подачи З. Березовской С. Сартаков обращается с письмом в Министерство культуры РСФСР об открытии в Омске литературного музея в доме писателя Ф.А. Березовского. ¹⁸ Зинаида Феокистовна готова даже была размесить у себя в музее открывшееся в ноябре 1962 года омское отделение Союза писателей РСФСР.

26 мая 1964 года Исполнительный комитет Омского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся рассматривал вопрос о работе музеев города Омска. Были отмечены успехи и недостатки деятельности городских музеев. В решении седьмым пунктом значилось: «Обязать управление культуры вместе с Омским отделением Союза писателей и горисполкомом решить вопрос об открытии на базе музея Березовского Ф.А. литературного музея писателей-омичей, библиотеку из помещения музея Березовского перевести в другое помещение». ¹⁹

Получив на руки копию этого решения, З.Ф. Березовская ведёт переговоры с Государственным литературным музеем и музеем Н.А. Островского о передаче в Омск неиспользуемого оборудования: витрин, рам, планшетов, мебели и др. В архиве З. Березовской сохранилась доверенность от управления культуры на получение этого оборудования из Москвы. Но вот состоялась ли поездка в Москву, и было ли привезено оборудование, выяснить не удалось. Известно, что библиотеку из домика Березовского перевели только в 1965 году, то есть до этого времени работа по организации музея писателей-омичей не велась. В апреле 1965 года

З.Ф. Березовская обращается в управление культуры Омского облисполкома с просьбой ходатайствовать перед Министерством культуры РСФСР о разрешении перевода организуемого музея на госбюджет. Но 15 июля 1965 года Исполнительным комитетом Омского областного Совета депутатов трудящихся принимается Решение № 635 о народном литературном музее писателей-омичей. Приведем полный текст этого решения:

«Учитывая пожелания широкой читательской и литературной общественности г. Омска о создании народного литературного музея писателей-омичей, исполком областного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:

Организовать в г. Омске народный литературный музей.

Поручить начальнику областного управления культуры т. Бревновой создать совет, утвердить тематико-экспозиционный план и назначить руководителя музея.

Считать народный литературный музей писателей – омичей филиалом омского областного краеведческого музея.

Разрешить областному краеведческому музею по списку, утверждённому областным управлением культуры, передать народному литературному музею имеющиеся в его фондах материалы, касающиеся жизни и деятельности омских писателей и поэтов.

Обязать исполком Омского городского Совета депутатов трудящихся решить вопрос о снятии всей суммы арендной платы за помещение, в котором создается музей».²⁰

В этом решении не упоминается музей Ф.А. Березовского, также нет указания о помещении, в котором должен разместиться будущий музей. Не удивительно, что и это решение не было выполнено. Никаких документов о претворении в жизнь этого решения ни в архиве управления культуры, ни в архиве краеведческого музея обнаружить не удалось. Больше Зинаида Феоктистовна Березовская к вопросу об организации музея не возвращалась, просто в одной из комнат в доме своего отца она разместила портреты омских

писателей. Немного позднее, в 1975 году, исследователь сибирской литературы, критик Н.Н. Яновский писал Зинаиде Феоктистовне: «На днях прочитал в «Молодом сибиряке» статью о музеях вообще и о музее имени Ф. Березовского в частности. Не подумайте, что положение подобных музеев в Омске исключительное. Так же «погиб» и наш новосибирский, не успев открыться. В Сибири, увы, до сих пор нет стоящего литературного музея, если не считать самодеятельных, школьных. И все-таки загубить такое дело, какое в Омске начинали Вы, безобразие. На преодолении равнодушия – вот на чем изнашиваются наши сердца».²¹

Мемориальный музей Ф.А. Березовского просуществовал до середины 1980-х годов. Зинаида Феоктистовна уже издалека следила за работой по организации литературного музея в конце 1970-х годов. Поделиться своими материалами и вступить в музейное объединение в качестве филиала она отказалась. После смерти З.Ф. Березовской в 1983 г. домик писателя был снесён, а материалы музея поступили в уже открывшийся литературный музей.

Следующий этап на пути к созданию омского литературного музея был связан с именем Ф.М. Достоевского.

Конец 1960-х годов был отмечен возрастающим интересом к личности и творчеству Ф.М. Достоевского. Послереволюционные годы были неблагоприятны для памяти «трудного» писателя. Его трагический художественный мир, общественные и религиозные убеждения не совмещались с советской идеологией, хотя официально Ф.М. Достоевский был признан классиком. Создание московского музея Достоевского произошло в 1928 году, когда ещё не был установлен жёсткий диктат над литературой и культурой. Но после Великой Отечественной войны Достоевского исключили из школьной программы по литературе, началась кампания против чуждого писателя. Тогда нельзя было и думать о чествовании «политического реакционера», «религиозного идеалиста», «врага социализма и революционной демократии».

В период оттепели 1960-х гг. началась постепенная «реабилитация» писателя. Весь мир готовился отметить 150-летний юбилей великого русского писателя. 1971 год по решению ЮНЕСКО был объявлен годом Достоевского. Международное значение юбилея писателя, признанного во всём мире, не могло остаться без должного внимания на его родине.

Именно в этот период возрождения общественного интереса к Достоевскому появилась возможность создания музеев писателя в городах, связанных с его именем. В одно и то же время шла подготовка к открытию музеев Достоевского в Ленинграде, Семипалатинске, Новокузнецке, Омске. В нашем городе была создана инициативная группа по организации музея Ф.М. Достоевского. В эту группу входили ректор Омского педагогического института имени А.М. Горького В.М. Самосудов, преподаватели К.А. Зубарева, А.Г. Кандеева; журналистка С.А. Нагнибеда, писательница М.К. Юрасова; председатель Географического общества Н.Д. Фиалков. Во главе группы стоял А.Ф. Палашенков. Многие из этих людей занимались Достоевским профессионально. Доктор филологических наук Ксения Алексеевна Зубарева защитила диссертацию на тему «Генрих Манн и наследие мировой литературы», где отдельная глава была посвящена Ф.М. Достоевскому. Кандидат филологических наук Анастасия Григорьевна Кандеева исследовала каторжный период жизни великого узника, его книгу «Записки из Мёртвого дома», а также занималась изучением жизни и творчества Н.М. Ядринцева, называвшего себя последователем Достоевского. Мария Климентьевна Юрасова – автор книг по истории нашего города, особое место в которых уделялось пребыванию в Омске Достоевского.

О вкладе А.Ф. Палашенкова в организацию омского литературного музея имени Ф.М. Достоевского следует говорить особо. Уже в пятидесятые годы он начал собирать в краеведческом музее материалы о писателе. Палашенков

переписывается с директором московского музея Ф.М. Достоевского Г.В. Коган, получает от нее первые экспонаты: путеводитель по музею, фотокопии портретов писателя и его родственников. Андрей Федорович разыскал вдову омского профессора М.В. Долинино-Иванскую, внучку петербургского архитектора А.И. Штакеншнейдера, в петербургском доме которого бывал Ф.М. Достоевский. В результате переписки в краеведческий музей поступили уникальные вещи: диван и стол из литературного салона Штакеншнейдеров, настольная лампа, альбом Елены Андреевны, хозяйки салона, а также посмертная маска архитектора. В феврале 1956 года по инициативе Палашенкова в библиотеке имени А.С. Пушкина прошел вечер, посвященный 75-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского. Сам Палашенков выступил на вечере с докладом «Достоевский в Омске». В 1958 году музей получил бюст Ф.М. Достоевского работы скульптора Л. Вахромеевой. Палашенков призывал сибирских художников к созданию полотен, посвященных Достоевскому и его книгам. Кемеровский художник Д.И. Логачев писал с благодарностью Андрею Федоровичу: «Искренне признаюсь – Вы меня крепко озадачили, воодушевили и дали точное направление на большую и очень нужную работу – освещение пребывания Ф.М. Достоевского в Сибири. Для меня эта работа настолько актуальна, так интересна... Я сейчас усиленно, напряженно, душевно работаю согласно Вашему совету. День и ночь, т.е. все свое время, кроме сна, да, пожалуй, и во сне, работаю над темой «Достоевский в Сибири».²²

Работами Д.И. Логачева А.Ф. Палашенков проиллюстрировал свою небольшую книгу «По местам Достоевского в Омске», вышедшую в свет в 1965 году. Эта книга сразу стала библиографической редкостью и пользуется спросом по сей день. Насколько она была нужна не только Омску, можно судить из писем к А.Ф. Палашенкову внука Ф.М. Достоевского Андрея Федоровича Достоевского. Заочное знакомство двух полных тезок – Андреев Федоровичей –

состоялось в начале 1966 года, когда Палашенков послал в Ленинград несколько экземпляров своей книги. А.Ф. Достоевский, который в это время активно занимался организацией музея своего деда в Ленинграде, писал: «Получил Вашу бандероль и уже уведомил издательство о том, что 1) нужен незамедлительно второй тираж и 2) его целиком надо направить в главные города европейской части СССР, - реализация такого пустяка, как три тысячи экземпляров – несомненна!

Теперь отчитываюсь, как я уже распорядился присланными Вами экземплярами книжечки. Ушли: в Москву (Институт мировой литературы) – 1 шт., в Ленинград (Институт русской литературы АН СССР, в отдел фондов его музея) – 1, в Симферополь, в педагогические круги – 1, в деревню Достоево, в Достоевскую среднюю школу – 1, в США (в Корнельский и Гарвардский университеты) – 2, в Канаду (в Мак-Гиллский университет) – 1, во Францию (в публицистические круги) – 1. В резерве оставил один экземпляр. Уже запросил издательство о высылке дополнительных экземпляров. Высылка по одному экземпляру только раздражит аппетит и некоторые, без сомнения, напишут в издательство о присылке». В следующем письме А.Ф. Достоевский продолжает свой отчет: «Давно получены брошюры и уже разосланы и розданы в разные концы (3 – в Ленинград, в том числе Смоктуновскому («Идиот»), которого я «готовлю» на роль Ф.М. Достоевского, когда таковая появится – есть надежда, 1 – в США, 2 – во Францию, 1 – в Англию, 1 – в Югославию)». ²³ Но второго издания книги Палашенкова не последовало.

Фрагменты этих писем ярко характеризуют и самого автора, хорошо видно насколько серьезно и плодотворно он занимался пропагандой жизни и творчества своего деда. В Омске он встретил человека, равного по работоспособности и заинтересованности – А.Ф. Палашенкова.

Несмотря на огромную занятость, Палашенков оказывал помощь коллегам из других городов. Он с радостью

откликнулся на просьбу Зинаиды Георгиевны Фурцевой, в то время заведующей библиотекой в Семипалатинске, помочь в организации мемориального музея Ф.М. Достоевского. Андрей Федорович неоднократно бывал в Семипалатинске, и, конечно, исследовал дом, в котором жил Достоевский. Переписка с З.Г. Фурцевой началась в 1966 году и продолжалась до самой смерти Палашенкова. Из писем видно, какую работу проделал омский краевед. Он высылал в Семипалатинск издания краеведческого характера, в том числе и свои книги, фотографии старого и современного Омска (места, связанные с Ф.М. Достоевским), лично вел переговоры с омским художником К.Н. Щекотовым о приобретении картины «Достоевский на берегу Иртыша», просил художника Д.И. Логачева написать несколько картин для нового музея, а также вел архивные разыскания по просьбе коллег. ²⁴

В 1968 году Семипалатинск и Омск встречали А.Ф. Достоевского. Внук писателя предпринял эту поездку для того, чтобы осмотреть места пребывания Ф.М. Достоевского и помочь в деле организации музеев. Этот приезд стал настоящим праздником для омичей. К.А. Зубарева написала воспоминания об этой встрече: «Мы знали, как активен А.Ф. Достоевский, как много он делает для пропаганды творчества своего деда, для создания его мемориального музея в Ленинграде. Помогал он и организовывавшемуся тогда музею Ф.М. Достоевского в Семипалатинске. Помогал и нам – инициативной группе, добивавшейся открытия Литературного музея им. Достоевского в Омске. Но одно дело – знать понаслышке, заочно и совсем другое – видеть собственными глазами. Работоспособность и энергия этого, тогда уже неизлечимо больного, человека просто поражали. Его трехдневное пребывание в Омске было заполнено встречами, знакомством с трудящимися города, со студентами, учениками и учителями школ, с работой библиотек. Трогательной была его встреча с известным омским краеведом и

литератором А.Ф. Палашенковым, отдавшим много энергии делу создания будущего Литературного музея им. Ф.М. Достоевского в Омске... Навсегда запомнились их длительные беседы, одна из которых состоялась в библиотеке Андрея Федоровича Палашенкова. Сюда на чаепитие за самоваром были приглашены учителя, художники, просто любители русской словесности. Хозяйкой стола была вдова поэта Георгия Вяткина – Мария Николаевна Вяткина».²⁵

После отъезда из Омска А.Ф. Достоевский прислал К.А. Зубаревой два письма, в которых сообщает о том, что фотографии, сделанные в Омске, поступят в фонд мемориального музея в Ленинграде. К сожалению, Андрей Федорович Достоевский не дожил до открытия ни Ленинградского, ни Семипалатинского музеев, он умер в том же 1968 году. В Омске были опечалены этой вестью и еще активнее взялись за свое наболевшее дело.

В 1970-начале 1971 года инициативная группа по организации Литературного музея пишет ряд обращений в высокие инстанции (обком КПСС, исполкомы омского областного и городского Советов депутатов трудящихся) с обоснованием заявки на открытие музея к 150-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. В этих обращениях указывается здание, в котором планируется разместить музей. Еще в ходе работы над книгой «По местам Достоевского в Омске» А.Ф. Палашенков выяснил, что на территории старой крепости сохранился бывший дом комендантов крепости, который имеет отношение к Достоевскому. Дом кирпичный, добротный, большой, то есть вполне подходящий для музея. В 1969 году в письме к З.Г. Фурцевой Палашенков писал: «В крепости сохранился каменный дом коменданта Омской крепости, в котором бывал Ф.М. Достоевский. Я вот на него претендую. (На месте острога – новый дом.) Очень бы хотелось увековечить в Омске великого писателя».²⁶ Но в одном из черновых набросков Палашенков указывает на другое здание – здание бывших Красных казарм,

выстроенное вблизи бывшего каторжного острога. Набросок не датирован²⁷, возможно, этот план был написан до того, как начал решаться вопрос об освобождении комендантского дома. Более нигде это здание не упоминается.

Инициативной группой была проделана огромная работа по созданию музея. Привлечены заинтересованные организации: омское отделение Союза писателей, отделения Союза журналистов и Союза художников, Омский педагогический институт имени А.М. Горького, Омское отделение общества «Знание», областная библиотека имени А.С. Пушкина, Омское отделение общества охраны памятников, Омское отделение Географического общества. В официальных письмах, подписанных представителями этих организаций, представлен поэтапный план действий по созданию музея и увековечиванию памяти Ф.М. Достоевского: «1) поручить отделу культуры облисполкома согласовать с Министерством культуры РСФСР вопрос об организации музея Достоевского в Омске; 2) исполкому горсовета решить вопрос об отселении жильцов из бывшего комендантского дома и передаче здания на баланс горисполкома; 3) краеведческому музею оказать помощь в организации музея Достоевского и передать в фонд музея имеющиеся материалы; 4) рекомендовать правлению омского отделения Союза художников принять участие в оформлении музея; 5) необходимо установить мемориальные доски на здании военного госпиталя, медучилища № 3, дома по улице Достоевского, 2, а также переиздать брошюру А.Ф. Палашенкова «По местам Достоевского в Омске».²⁸ Позднее, в обращении начальника управления культуры Н.Н. Бревновой в исполком городского Совета депутатов трудящихся предлагается освободить только три квартиры в бывшем комендантском доме, чтобы дать возможность разместить уже имеющиеся экспонаты о жизни и творчестве Достоевского в омский период, то есть практически открыть мемориальные комнаты писателя.²⁹ Активно велась работа и по дополнительному сбору экспонатов

для будущего музея. В одном из черновиков, составленном Палашенковым, запланировано:

Обратиться С.Т. Коненкову с просьбой о пожертвовании музеем авторского повторения скульптуры «Достоевский на каторге».

Обратиться к В.Я. Кирпотину и Л. П. Гроссману (достоевсковеды – Ю.З.) о пожертвовании музеем иллюстраций и рукописей о Ф.М. Достоевском.

К директору музея-квартиры Ф.М. Достоевского в Москве Г.В. Коган с просьбой о выделении для организации музея материалов о Ф.М. Достоевском по Омскому периоду.

Обратиться к А.Н. Либерову о мобилизации студентов для зарисовок мест, связанных с Достоевским.

К К.Н. Щекотову о пожертвовании авторского повторения картины «Достоевский на берегу Иртыша».

С такой же просьбой к художнику Оськину.

Художнику И.С. Никитенко написать портрет Ф.М. Достоевского (копия с Перова)

Написать портреты: Ч. Валиханова, А.Е. Врангеля, князя Горчакова, Гасфорда, Сулоцкого. Художники Чириков и Поляков.

Д.И. Логачеву написать картины из «Мертвого дома» с Кривцовым.³⁰

Некоторые пункты этого плана были исполнены. Картины Логачева, Оськина, Щекотова значатся в тематико-экспозиционном плане выставки, организованной к 150-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.

Известно также, что инициативной группой были сделаны заявки в Пушкинский дом на изготовление фотокопий материалов Ф.М. Достоевского. Обращались омичи и в Государственный литературный музей с просьбой оказать шефскую помощь. ГЛИМ готов был отправить в Омск своего сотрудника для оказания практической помощи, как только возникнет в этом необходимость. Из Москвы также должен

был приехать представитель Союза писателей для принципиального решения вопроса о музее.

Идея создания литературного музея была в очередной раз одобрена властями города. В сентябре 1970 года состоялась встреча членов инициативной группы с председателем горисполкома А.И. Бухтияровым, о чем свидетельствует запись в дневнике А.Ф. Палашенкова.³¹ Заслушав сообщение группы о проделанной работе, о необходимости предоставления для музея бывшего дома комендантов омской крепости, председатель горисполкома дал принципиальное согласие на освобождение квартир дома для организации музея. А.И. Бухтияров отметил, что есть возможность в будущем расселить жильцов этого дома по новым квартирам. Воодушевленные люди приступили к составлению плана юбилейных мероприятий к 150-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.

В июне 1971 года в газете «Омская правда» была напечатана статья за многими подписями «К юбилею великого писателя». Эта статья является своеобразным отчетом о проделанной работе. Но главное ее назначение – напомнить о необходимости увековечивания памяти Достоевского в Омске, о скорейшем освобождении комнат в доме, где к ноябрю этого года нужно устроить юбилейную выставку. Оговорены перспективы: «В дальнейшем, при расширении освобожденной площади (в доме 12 квартир), выставка может быть превращена в музей «Писатели-омичи» и включить в себя материалы о русских и советских писателях, бывших в нашем крае (Радищев, декабристы, Чернышевский, Чехов, Сейфуллина, Вс. Иванов, Г. Николаева и писатели-омичи – Вяткин, Сорокин, Драверт, Мартынов и другие.)»³² Далее отмечается, что этот музей будет единственным в Сибири литературным музеем. А в заключительной части статьи поднимается вопрос об установлении памятника Ф.М. Достоевскому в Омске. Таким образом, со стороны инициативной группы по организации музея было

сделано все возможное.

Какие же последовали решения? 5 августа 1971 года исполнительный комитет омского городского Совета депутатов трудящихся принял решение об установлении мемориальной доски на комендантском доме. Текст утверждался следующий: «В этом доме в 1859 году, покидая Сибирь, останавливался великий русский писатель Ф.М. Достоевский. Установлена 11 ноября 1971 года в честь 150-летия со дня рождения». ³³ Но за два дня до юбилея Достоевского в «Омской правде» появилась заметка Н.Н. Бревновой, где перечисляются юбилейные мероприятия, которые пройдут в Омске. Здесь упоминаются книжная выставка в библиотеке имени А.С. Пушкина, вечер памяти писателя, а также выставка, организованная... в краеведческом музее. (Комнаты в комендантском доме освободить так и не удалось.) Сообщается и о том, что омский скульптор Д. Манжос изготавливает мемориальную доску, которая будет установлена на доме, где бывал Достоевский. ³⁴

Вместо мемориальной доски Дмитрием Манжосом был изготовлен барельеф, изображающий Ф.М. Достоевского, одетого в арестантскую шинель. Этот барельеф был установлен на комендантском доме в 1971 году.

Юбилейный вечер, посвященный 150-летию Достоевского, состоялся 24 ноября в актовом зале Политехнического института. В программе вечера значились литературно-музыкальная композиция «Федор Достоевский – художник, человек», выступления художника К.Н. Щекотова и журналиста А.Э. Лейфера, заканчивался вечер просмотром кинофильма.

В Омском педагогическом институте прошла научная конференция, приуроченная к юбилею Ф.М. Достоевского. В целом город достойно отметил юбилей великого писателя, но главная мечта омской общественности так и не осуществилась: музей не состоялся.

Следует отметить, что 1971 год стал годом рождения музеев Достоевского в Ленинграде и Семипалатинске.

История их создания была также непростой, но и не столь длительной, как в Омске. Первые упоминания о литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского в Ленинграде относятся к 1956 году. В 60-х годах велись детальные обсуждения проекта будущего музея, писались бумаги в государственные инстанции. В 1968 году вышло Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся об открытии музея в помещении последней квартиры писателя. В этом доме были коммунальные квартиры, но жильцов расселили оперативно и поставили дом на капитальный ремонт. В результате качественной реставрации удалось восстановить первоначальный облик квартиры Достоевского. Ленинградский музей открылся в срок, и его первая экспозиция просуществовала до начал 1990-х годов.

Организацией семипалатинского музея общественность города занялась в 1965 году. В этом же году решением горисполкома нижний этаж дома, где жил Ф.М. Достоевский был освобожден от жильцов для библиотеки, получившей имя писателя. Через три года освободили и верхний этаж, где создали литературную экспозицию. В мае 1971 года библиотека и мемориальная комната получили статус литературно-мемориального музея.

Как видно на примерах, проблема, стоявшая много лет перед омичами – освобождение помещения от жильцов – достаточно быстро решалась в других городах. В связи с этим напрашивается закономерный вывод о негативном отношении представителей омской власти к культурному наследию города.

В 1971 г. ушел из жизни Андрей Федорович Палашенков, так и не дождавшись открытия музея Достоевского. Несмотря на потери и неудачи инициативная группа по организации омского музея упорно продолжала свою работу, более напоминая борьбу. По воспоминаниям К.А. Зубаревой, А.Ф. Палашенков завещал своим друзьям «бороться

за открытие музея». Для многих из них это было делом чести. Ксения Алексеевна писала: «Я не ошибусь, если скажу, что работа по созданию музея преподавателей педагогического, медицинского институтов, работников общественных организаций, встречи с А.Ф. Достоевским были заметными событиями в культурной жизни города. Для меня лично это было осуществлением желания моего отца, который показывал мне место ссылки Ф.М. Достоевского, рассказывал о его страданиях и вызывал жгучий интерес к жизни писателя, чьи произведения в журнале «Нива» были в нашей домашней библиотеке».³⁵ И хотя «15 лет, предшествовавшие открытию музея в 1982 году были периодом напряженной борьбы тех, кто стоял у истоков: М.Н. Вяткиной, В.П. Бисяриной, С.А. Нагнибеды, А.Э. Лейфера и других»,³⁶ у них достало сил довести свою идею до логического конца.

Скоро дело сдвинулось с мертвой точки. 27 января 1972 года исполком омского городского Совета депутатов трудящихся принял решение № 34 о выделении областному управлению культуры двухкомнатной квартиры для организации мемориальной комнаты Ф.М. Достоевского, как филиала областного краеведческого музея.³⁷ Здесь опять же не указан адрес дома, в котором должны выделить комнаты, но председатель исполкома А.И. Бухтияров был лично заинтересован в создании музея. Во многом благодаря его стараниям начали переселять жильцов из дома комендантов омской крепости.

Наконец последовало окончательное решение исполкома № 161 от 14 апреля 1975 года. В нем было всего два пункта:

Принять предложение областного управления культуры, областного общества охраны памятников истории и культуры об открытии в 1975 году в г. Омске филиала областного краеведческого музея с экспозицией, посвященной Достоевскому и писателям – омичам.

Разместить филиал областного краеведческого музея в доме № 1 по улице Победы (квартиры №№ 2, 6, 7, 8).³⁸

Так, спустя почти пятьдесят лет, омский Литературный музей обрел свое помещение.

Ремонт в здании по улице Победы, 1 должен был закончиться в 1976 году. В план работы краеведческого музея на 1976 год входила разработка тематико-экспозиционного плана и создание экспозиции литературного музея.

Разработкой тематико-экспозиционного плана занималась заведующая отделом истории досоветского общества краеведческого музея Л.С. Худякова. В 1977 году эта работа была закончена. План и объяснительная записка к экспозиции Литературного музея были представлены на рецензию в областной комитет партии, горисполком, областное управление культуры, писателям и литературоведам. В рецензиях были указаны некоторые недоработки в плане. Главная проблема состояла в обилии писательских имен, представляемых в экспозиции. Качество и количество экспонатов не всегда соответствовало тому или иному писателю. Например, К.А. Зубарева отмечала, что количество экспонатов по жизни и творчеству А. Сорокина превышало материалы о Ф.М. Достоевском. В процессе обсуждения тематического плана возникло предложение назвать будущий музей «Литературный музей имени Ф.М. Достоевского».³⁹

В здании будущего музея был проведен косметический ремонт, но этого было недостаточно, для размещения постоянно действующей экспозиции требовалась детальная реконструкция. Затянувшийся ремонт давал время для совершенствования тематико-экспозиционного плана и дополнительного сбора экспонатов будущего музея. Сотрудники музея Л.С. Худякова и Л.Ф. Хапова были командированы в Москву на стажировку в Государственный литературный музей. Сотрудники ГЛМ приняли участие в обсуждении плана омского музея, внесли свои замечания и дополнения. Была проведена собирательская работа: в музее-квартире Ф.М. Достоевского заказаны фотокопии документов. Состоялись встречи с поэтом Л.Н. Мартыновым, вдовой

писателя Всеволода Иванова, литератором В.Г. Утковым, от которых Худякова и Хапова получили ценные экспонаты.

После возвращения из Москвы Л.С. Худякова заново переработала тематико-экспозиционный план. Экспозиция литературного музея строилась по тематико-хронологическому принципу и состояла из 13-ти разделов: 1) развитие литературы в 18 веке; 2) Сибирь в поэзии декабристов; 3) Достоевский и Сибирь; 4) старейшие писатели Сибири; 5) литературная жизнь Омска накануне Октября; 6) литературный Омск в годы революции и гражданской войны; 7) творчество омских писателей в 20-30-е годы; журнал «Сибирские огни»; 8) омские литераторы в годы Великой Отечественной войны; 9) литературная жизнь Омска послевоенных лет; 10) литературная жизнь Омска на современном этапе; 11) гости нашего города; 12) омское книжное издательство; 13) фольклор Омской области.⁴⁰ Этот план дает представление о том, какая большая разыскательская работа была проведена, ведь в те годы еще не была написана история сибирской литературы. В этой работе, несомненно, помогли материалы, собранные Ю.И. Шуховым и И.С. Коровкиным. Но все-таки в тематическом плане большой процент составляли копийные материалы, не всегда хватало информации о писателях или событиях литературной жизни Омска. Нужно было проводить исследования в архивах и библиотеках, писать многочисленные запросы в разные города страны, вести целенаправленное комплектование коллекций, отражающих историю формирования и развития литературного процесса в Омске. Для этих целей в октябре 1978 года в краеведческом музее был создан отдел литературных экспозиций.

Первыми сотрудниками литературного отдела стали филологи по образованию В.С. Вайнерман и Н.Г. Собянина. За два года они собрали более тысячи экспонатов для литературного музея, среди которых были фотографии писателя

А.Е. Новоселова и его семьи (архив писателя погиб во время блокады Ленинграда, тем ценнее становится каждый найденный документ, имеющий отношение к Новоселову), сборник произведений омских писателей «Жертвам войны» 1915 года издания, книги недавно реабилитированного поэта П.Н. Васильева и другие. В 1979 году состоялась первая выставка, созданная сотрудниками литературного отдела «Пусть всегда будет солнце», посвященная 50-летию со дня рождения омского поэта Т.М. Белозерова. Так как ремонт в комендантском доме еще не завершился, выставка прошла в помещении краеведческого музея.

Поиски архивов литераторов, погибших во время Великой Отечественной войны, оказались настолько успешными, что в 1980 году литературный отдел создал передвижную выставку «Вперед, за наше Лукоморье». В.С. Вайнерман успешно работал в государственных архивах Омска и Москвы, где были найдены неизвестные ранее документы: чертеж омского крепостного острога 1847 года, «Формулярный список о службе и достоинстве коменданта Омской крепости полковника А.Ф. де Граве», материалы о семье видного чиновника Я.С. Капустина, помогавшего Ф.М. Достоевскому-каторжнику. Копии этих документов вошли в экспозицию омского музея.

За четыре года подготовки к открытию нового музея накопилось шесть объемистых папок с письмами от разных адресатов. Некоторые, зная о прошлых неудачах омичей, скептически отнеслись к новому начинанию. Например, исследователь сибирской литературы Н.Н. Яновский, уже упоминаемый нами в связи с З.Ф. Березовской, писал в 1979 году: «В Сибири не раз открывались литературные музеи, но каждый раз оказывались какими-то бесперспективными... И это обстоятельство, как Вы понимаете, не воодушевляет».⁴¹ Но, тем не менее, Яновский прислал в Омск свои книги с автографами. Другие, наоборот, радовались успехам коллег и старались поддержать их. А. Лагунский писал

из Воронежа: «Я здесь уже более десяти лет бьюсь со всякими инстанциями, дабы создать Литературный музей имени А.С. Кольцова, и – увы! – пока безрезультатно. Посему-то мне особенно отрадно слышать, что сибиряки со свойственным им размахом берутся за литературно-музейное дело».⁴² А. Смердов откликнулся такими строчками: «С искренней радостью, даже с некоторой добрососедской завистью, поскольку ничего подобного в Новосибирске пока нет и в реальной близости не предвидится, - приветствую создание самостоятельного Литературного музея в благословенном Омске».⁴³

Многие же корреспонденты с радостью присылали свои воспоминания, сохранившиеся автографы, книги, фотографии. Была установлена связь с бывшей учительницей, участницей литературной жизни Омска 1920-30-х годов Е.Н. Жданович, которая стала постоянной помощницей в деле организации музея. Пенсионерка Н.Д. Пашкевич была близкой подругой жены Л.Н. Мартынова, у нее хранилась переписка с семьей Мартыновых, все книги поэта с автографами и другие материалы. Все это Нина Дмитриевна передала в музей и впоследствии участвовала во многих музейных начинаниях. Вдова репрессированного поэта Г.А. Вяткина передала в фонды музея редкие автографы стихотворений, книги, письма, фотопортрет Ромена Роллана с автографом французского писателя. Вдова композитора В.Я. Шебалина прислала редкие автографы, фотографии, книги. И это далеко не полный перечень тех, кто откликнулся на просьбы музейщиков.

Летом 1980 года в литературный отдел на должность заведующего был принят А.Э. Лейфер, журналист, исследователь биографии Ф.М. Достоевского. Лейфер включился в работу по сбору экспонатов и усовершенствованию тематико-экспозиционного плана.

В июне 1980 года был создан Омский государственный объединенный исторический и литературный музей путем

объединения пяти государственных музеев области на базе Омского областного краеведческого музея.⁴⁴ В это объединение вошел и Литературный музей имени Ф.М. Достоевского.

Капитальный ремонт здания Литературного музея, начавшийся в 1978 году, шел медленно и трудно. Одну из зим дом простоял без крыши. В апреле 1980 года в газете «Молодой сибиряк» появилось сообщение о том, что реконструкция дома заморожена. Но спустя два месяца после этого строительные работы возобновились. К сожалению, реконструкция и ремонт дома были проведены без научно-методического анализа, что привело к утрате ощущения подлинности. Из-за нехватки средств и времени не было сделано попытки восстановить интерьер дома коменданта крепости середины XIX века. Кроме того, строители допустили ряд ошибок, в результате которых до сих пор намокают стены дома, недостаточно укреплен фундамент. Внутри здания отсутствует вентиляция, в залах не обеспечен доступ к системам холодного и горячего водоснабжения, из-за чего музей в первые же годы работы столкнулся с большими техническими проблемами. Не были проведены противопожарные мероприятия. Большинство из этих недостатков не устранены и в настоящее время. Художники, которые работали над экспозицией, признавались, что они были поставлены почти в экстремальные условия. В целом реконструкция дома завершилась в 1981 году.

Еще в 1979 году директор краеведческого музея Ю.А. Макаров обратился в художественно-производственные мастерские с просьбой принять заказ на проектно-оформительские работы для экспозиции Литературного музея. Заказ не приняли, сославшись на занятость. Отказались оформлять музей и омские художники. Тогда Ю.А. Макаров попросил помощи в Министерстве культуры.

В июне 1980 года в Омск для составления проекта оформления литературного музея приехал московский художник

Эдуард Иванович Кулешов. Это был талантливый сценограф, выставочный дизайнер, автор эскизов оформления многих экспозиций в ведущих музеях страны. Кулешов оформлял выставки Чернышевского в Государственном Историческом музее, экспозиции в театральном музее Бахрушина, музеев А.Н. Островского в Замоскворечье и Л.Н. Толстого в бывшей монастырской гостинице Спасо-Борodinского монастыря. Художник имел свое особое представление о том, что есть музей. По его мнению музеи – это храмы нашей общей памяти о великих событиях, гениях и героях. Работая над проектами экспозиций музеев, он использовал современные методы оформительского искусства: «Образ – самый лучший код памяти, которую человечество передает по цепочке от поколения к поколению, – признавался он в интервью омской газете. – Образный, эмоциональный строй общей концепции, создание единого сценария, архитектурно-закономерная связь предметно-вещевой среды и архитектурного пространства, стилевое единство музейного оборудования – вот черты современного подхода к проблеме музейного дизайна».⁴⁵

В Омске Кулешов ставил перед собой задачу сделать музей, который станет своего рода культурным центром, местом встреч литераторов, проведения тематических вечеров, дискуссий. Э.И. Кулешов считал, что музеи пока не используют полностью всех своих возможностей более активного приобщения людей к духовной жизни. Потому он и взялся с такой охотой за оформление музея Ф.М. Достоевского, писателя высокой духовности и напряженной мысли. Именно в таком музее, по мнению художника, возможен поиск новых форм общения литераторов, историков со зрителями и читателями. С позиции сегодняшнего дня мы видим, насколько Э.И. Кулешов опережал свое время. К сожалению, его уже нет в живых.

Пока завершался ремонт, и шла работа над проектом экспозиции, сотрудники литературного музея решили устроить

выставку уже в своем здании. Открывшаяся 24 августа 1981 года выставка называлась «Первые поступления в Литературный музей. Писатели – XXVI съезду КПСС». Она была задумана как генеральная репетиция будущей постоянной экспозиции музея и показала готовность к открытию музея. Открывал выставку поэт Т.М. Белозеров. Заведующий литературным отделом А.Э. Лейфер провел по выставке первые экскурсии. На фоне этой выставки 10 ноября прошел первый в истории музея литературный вечер, посвященный 160-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. В целом первая выставка показала, что Литературный музей существует уже не только на бумаге.

Наконец, в декабре 1981 года в Омск прибыла бригада художников из Московского комбината декоративно-оформительского искусства во главе с Э.И. Кулешовым. Планировалось завершить работу над экспозицией к концу этого года, но различные препятствия помешали этому. Причем препятствия были не только со стороны Омска. В сентябре 1982 года Эдуард Кулешов сообщил Ю.А. Макарову: «Мне очень хочется быстрее увидеть музей открытым, но целая цепочка препятствий, связанных с юбилейным годом, перекрыла все каналы. Художественный фонд задыхается, и наш директор с угрозой партийных взысканий подчиняется только органам ЦК и МК... и слушать не хочет о провинциальных музеях... Я буду делать все от меня зависящее, чтобы нам выйти из положения с честью». В этом же письме художник просит подобрать для оформления экспозиции ткань нужного оттенка. Это важно, так как, «коль положили столько трудов, жаль будет испортить все плохим наружным слоем и все оставить втуне (то есть не выявленным, поскольку зритель видит только то, что сверху)».⁴⁶

Второй раз художники приехали почти через год, в ноябре 1982 года. Началась напряженная работа по завершению экспозиции. Работа велась не только днем, но и по ночам. Сотрудники Литературного музея А.Э. Лейфер, В.С. Вайнерман,

Н.Г. Собянина постоянно находились рядом с художниками, выполняли ту работу, которая требовалась, даже мыли полы. Э.И. Кулешов особо отмечал энтузиазм этого маленького коллектива.

В то же время сотрудники музея занимались научной работой, готовились к открытию экспозиции. В 1982 году они составили новый вариант тематико-экспозиционного плана музея. План, составленный Л.С. Худяковой, был значительно переработан и дополнен. Научно-методический Совет Государственного Литературного музея при участии НИИ культуры, состоявшийся 18 февраля 1981 г., отметил высокий уровень профессионального мастерства авторов плана, их умение комплектовать и отбирать нужный материал, четко формулировать задачи будущей экспозиции.⁴⁷ Заведующая сектором литературных музеев НИИ культуры Е.Г. Ванслова, указав на отдельные недостатки плана, сделала вывод, что «в Омске будет построен интересный, современный музей, один из первых в стране музеев региональной литературы».⁴⁸ Сотрудников Омского Литературного музея можно считать первопроходцами, так как, действительно, создание музея региональной литературы было тогда делом новым.

Одновременно с работой над тематико-экспозиционным планом сотрудниками музея разрабатывались тексты тематических экскурсий по будущей экспозиции: «Омск литературный в годы революции и гражданской войны», «Омск литературный в 1930-е годы», «Омские литераторы в годы Великой Отечественной войны», а также аннотации к темам: «Литература края в XVIII веке», «Декабристы-литераторы», «Литераторы на Московско-Сибирском тракте». Подготовлены два текста буклета по залу Достоевского и по остальным залам музея. Начата работа над текстом обзорной экскурсии «Омск литературный в прошлом и настоящем». Составлены две научные справки по темам: «Быт и обстановка Омского каторжного острога и военный госпиталь» и

«Окружение Ф.М. Достоевского в Омске». Написаны сценарии телепередач об А.Ф. Палашенкове и о журнале «Сибирские огни». Активно выступали В. Вайнерман и А. Лейфер в периодической печати. За один год В. Вайнерман опубликовал статьи к 120-летию выхода в свет первого отдельного издания «Записок из Мертвого дома» «Кто хранил «Сибирскую тетрадь» Ф.М. Достоевского» и «Там, где жил Достоевский», а также статьи в научном сборнике «Достоевский. Материалы и исследования». А. Лейфер написал статьи «Прошу Вас прислать стихи» (о литературных связях П.Л. Драверта) и «К юбилею «Сибирских огней», рецензию на книгу «Черты сходства» Л. Мартынова.

На заключительном этапе подготовки к открытию экспозиции Литературного музея помощь сотрудникам музея оказали литературовед, преподаватель Омского государственного университета С.Н. Поварцов, писатель-краевед И.Ф. Петров, журналист М.С. Мудрик, научный сотрудник Государственного архива Омской области Н.Г. Линчевская, служители библиотеки имени А.С. Пушкина.

Литературный музей, согласно плану работы ОГОИЛ музея, должен был открыться в конце 1982 года. Но к этому времени оставались неокрашенными полы, не были решены проблемы с внутренним освещением экспозиции. Несмотря на недоделки, открытие состоялось. В декабре исполняющим обязанности зав. Литературным отделом В.С. Вайнерманом была проведена показательная экскурсия для партийного руководства города, после чего музей закрылся на доработку. Согласно протоколу заседания ученого совета ОГОИЛ музея от 22.12.82 года экспозиция была принята единогласно. Были высказаны отдельные замечания, особенно в адрес зала современной литературы, но все сошлись во мнении, что музей состоялся. Художник Э.И. Кулешов говорил о трудностях в работе, так как «материал был тяжел для пластических выражений, материал плоский, трудно было создать единую изобразительную систему, но, как

кажется, удалось создать стиливое единство».⁴⁹ Чуть позже комиссия Московского комбината художественно-оформительского искусства признала оформление омского музея лучшим среди музеев России за 1983 год.

27 января 1983 года был издан приказ № 11 по ОГОИЛ музею:

«В соответствии с решением ученого Совета ГОИЛ музея от 24.01.83 г. и художественного Совета Московского комбината художественно-оформительского искусства от 10.01.83 г. ПРИКАЗЫВАЮ:

Принять экспозицию литературного музея имени Ф.М. Достоевского и открыть ее для массового посещения, обеспечивая преимущественно экскурсионное обслуживание посетителей.

Директор музея Ю. Макаров».⁵⁰

Так сбылась мечта многих омичей. На открытии присутствовали те, кто на протяжении многих лет боролся за музей. Ксения Алексеевна Зубарева высказала пожелания, чтобы в будущем залы дома комендантов крепости были полностью «отданы» Достоевскому, оборудовать зал для конференций, проката кинофильмов, обзавестись отдельным помещением для библиотеки и экспозиции о писателях Омска. Через несколько лет эта идея будет широко обсуждаться, но, к сожалению, так и не реализуется.

С первого дня своего существования Литературный музей пользуется спросом и популярностью. Сюда приходят школьники, которые изучают Ф.М. Достоевского, П. Ершова, Л. Мартынова, П. Васильева, Т. Белозерова и других писателей и поэтов. Частые гости музея – иностранцы, которые хорошо знакомы с творчеством писателя, пытавшегося разгадать загадку русской души.

Омский литературный музей был и остается единственным музеем в Западной Сибири, в котором представлена история развития региональной литературы.

В 1991 году Литературный музей вышел из состава ОГОИЛ музея и стал самостоятельным юридическим лицом с

Первый в Сибири, единственный в мире

новым названием: Государственное учреждение культуры «Омский государственный Литературный музей имени Ф.М. Достоевского».

История создания Омского Литературного музея имени Ф.М. Достоевского наводит на многочисленные размышления. Например, о взаимоотношениях культуры и власти, личности и общества, увлеченности и равнодушии.

Создание нашего музея шло чрезвычайно трудным путем, но главное, что музей состоялся. Состоялся благодаря заинтересованности, энтузиазму, настойчивости и огромному терпению многих и многих людей. По-видимому, чрезвычайно велика была та «общественная потребность», которая заставляла этих людей двигаться по сложнейшему пути.

Екатерина Алешина
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ОБРАЗЫ...
(некоторые особенности художественной
реальности Ф.М. Достоевского и создание
Новокузнецкого Литературно-мемориального
музея Ф.М. Достоевского)

Изображение действительности в художественном мире писателя всегда граничит с вымышленным, недостоверным, несмотря на наличие реалий того времени, культурно-историческую обстановку, переданную автором, использование прототипов-характеров. За внешним ходом «действительных» событий проглядывается основная мысль, идея, которую хочет передать писатель, осмысливая ее в художественных образах. Реалистическое изображение действительности было основой для создания художественных произведений 19 века. Несмотря на господствующее представление, внутри художественного текста создавалось нечто большее. Художественная литература 19 века обнаружила, что мировые процессы, исторические события,

Екатерина Алёшина

социальные проблемы влияют на «сердце человеческое». Непосредственное и опосредованное средоточие писателя 19 века на внутреннем мире человека, а в произведении – героя, выявило основное ядро вечных проблем, которые решает каждый человек в своей жизни в частности и человечество в мире в целом.

Особенное место в литературе 19 века занимает Ф.М. Достоевский. Уникальность художественного мышления великого писателя сразу была отмечена критиками, современниками Достоевского, но для них творчество писателя казалось каким-то «странным», «вычурным», «фантастическим». Такая художественная система не вписывалась в четкое понятие реализма, не только размывая его границы, но и давая новое его понимание.

«У меня свой особенный взгляд на действительность, и то, что большинство называют почти фантастическим и исключительным, для меня составляет самую сущность действительного...

Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм», - писал Ф.М. Достоевский в одном из писем к Н.Н. Страхову.

«Реализм» Ф.М. Достоевского стал не только понятен, но и во многом продолжен в мировой литературе 20 века. Отправная точка личных и общественных событий была обнаружена Достоевским на уровне психической деятельности человека, в его нравственно-этическом выборе, в утверждении незыблемых законов бытия. «Фантастическое» в художественной логике писателя – это разная степень обыденности, пошлости, деформации человеческого сознания. «Реалистическое» связано с поиском и утверждением в человеке позиции «ты еси», которая открывает христианский смысл существования человека.

Проникновение Достоевского в эту «область предвидений и предчувствий» происходило не только силой гения через его творческую интуицию, но и через жизненный

материал, личный опыт. Писатель не просто переживал события, он находил внутри них связующие нити, неслучайно соединяющие людей, пространство, время. «Чтобы написать роман, нужно запастись, прежде всего, одним или несколькими впечатлениями, пережитыми сердцем автора. В этом дело поэта. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут уже дело художника», - писал Ф.М. Достоевский.

Мировоззрение этого великого художника, выраженное в художественной и публицистической форме, по настоящему отражает «идею всеединства», «соборности», взаимосвязи каждой человеческой жизни с мировыми культурно-историческими событиями и ответственности каждого за происходящее.

Сущность мировоззрения Ф.М. Достоевского наиболее отражена в «Дневнике писателя». Писатель записывает наблюдения за окружающей действительностью, судебные дела, интересные факты, размышления о человеке и мире. На страницах «Дневника» рождаются самые необыкновенные и сокровенные художественные произведения. Ф.М. Достоевский соединяет разноплановые элементы в одну структуру «Дневника», чтобы напомнить читателю о «невидимых нитях», которые связывают разнообразные явления мира в единое целое.

Соприкосновение, взаимовлияние разных пространств: временного, событийного, художественного и мыслительного стало основой для создания Новокузнецкого Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. Метод построения экспозиции далек от привычного, традиционного метода. В Доме не воссоздана *обстановка*, в которой проживал, хотя и недолго Ф.М. Достоевский. Это невозможно потому, что музей не обладает подлинными мемориальными вещами, кроме самого Дома.

То, что бытовая значимость вещей не стала основой формирования экспозиции, дало возможность создателям

музея через события, происшедшие с Ф.М.Достоевским в Кузнецке, найти механизмы построения экспозиции, соответствующие художественной логике писателя. Событийно действие, развернутое в экспозиции, не замкнуто на Кузнецком пребывании Ф.М.Достоевского (22дня), границы уходят в прошлое – на Семеновский плац, где должна состояться казнь петрашевцев, в числе которых молодой писатель. Внутренние переживания войдут впоследствии в роман «Идиот»: «Ему все хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что он теперь есть и живет, а через три минуты, будут некто, кто-то или что-то. Да, кто же, где же? Что если не умирать, что если воротить жизнь – какая бесконечность». Будущее раскрывается не только в отношении с «кузнецким периодом» в жизни писателя, но и связано с философской записью, сделанной Ф.М.Достоевским в своем дневнике на следующий день после смерти М.Д.Исаевой, в 1864 году в Москве.

Событийное, пространственное и временное расширение границ экспозиции необходимо, чтобы знать, что в мире этого великого писателя основание построения художественных образов, развитие внутренней концептуальной мысли находится в реальности, а не в объективном мире, который лишь ее отражение. Дом наполняют не вещи, а символы-образы, открывающие для каждого посетителя свое значение. Экспозиция соотнесена с художественным произведением Ф.М.Достоевского, где читатель, а в данном случае посетитель, воспринимает ту информацию, которую готово воспринять его сознание.

Универсальность художественного мира Ф.М.Достоевского здесь в экспозиции воссоздана через биографические факты, личные переживания, художественные образы и философские мысли писателя. Его внутренний человек становится главным героем экспозиции.

Живой образ Марии Дмитриевны Исаевой, первой жены Ф.М.Достоевского, также раскрывается в экспозиции через

воспоминания современников и письма Ф.М.Достоевского. Этот образ имеет и художественное воплощение в произведениях Ф.М.Достоевского. Зиночка Москалева из «Дядюшкиного сна», Катерина Ивановна из «Преступления и наказания», Настасья Филипповна из «Идиота» и «Кроткая» – все эти образы в той или иной мере содержат черты внешнего облика, характера, судьбы и их сложных отношений с Ф.М.Достоевским.

Каждый зал, а их в музее четыре, последовательно раскрывает историю любви этих двух людей. Первый зал «Дорога» содержит в себе многозначительный символ, который вбирает смысл дороги писателя в Сибирь, на каторгу, в Кузнецк, за любимой женщиной, к самому себе в поисках «вечного идеала во плоти».

Второй зал «Мордасовский салон» – в условиях провинциальной гостиницы, представленной в символическом красном цвете, погружает в атмосферу провинциального мира. Провинциальный город становится символом страстей и интриг, которые сплетаются вокруг человека. После смерти мужа, Александра Ивановича Исаева, «горького пьяницы», Мария Дмитриевна осталась в Кузнецке одна, в полной нищете, с сыном на руках. В этом зале сильно звучит тревога Ф.М.Достоевского за судьбу М.Д.Исаевой: «... всего хуже, окружена в своем городишке ... людьми, которые смастерят что-нибудь очень недоброе: там есть женихи. Услужливые кумушки разрываются на части, чтоб склонить ее выйти замуж, дать слово кому-то, имени которого я еще не знаю. В ожидании шпионят за ней, разведывают, от кого она получает письма?».

В художественном сцеплении образов Ф.М.Достоевский идет дальше, образ провинциального городка – это задворки человеческой души, где останавливается настоящее движение человеческого сердца. Оно заполняется суетой, погоней за насыщением примитивных инстинктов в человеке, поэтому Зина Москалева, символ внутренней чистоты,

мечтает любимыми средствами «уйти отсюда, из этого проклятого Города, избавиться от всего этого смрада». Этот Город наполняют не живые существа, а маски, даже можно обозначить это состояние души однокоренным словом названного салона.

Третий зал «Треугольник» связан с появлением в отношениях М.Д.Исаевой и Ф.М.Достоевского соперника, Н.Б.Вергунова, молодого человека, учителя приходской школы. Переживая за судьбу любимой женщины, Ф.М.Достоевский встречается с Н.Б.Вергуновым и убеждает его отказаться от Марии Дмитриевны, «которая может служить украшением любого общества». В последствии Н.Б.Вергунов станет шафером на их свадьбе.

Этот зал наполнен борьбой, но не с соперником, а с самим собой. С одной стороны, Ф.М.Достоевский заботится о счастье М.Д.Исаевой: «Как сойтись в жизни таким разнохарактерностям, с разными взглядами на жизнь, с разными потребностями? И не оставит ли он ее впоследствии, через несколько лет... не позовет ли он ее смерти!.. Бог мой, - рывается мое сердце. Ее счастье я люблю более моего собственного... Она не должна страдать. Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему нужно место...». С другой стороны, он внутренне сопротивляется собственному решению: «Друг мой! Мне ли оставить ее или другому отдать. Ведь я на нее имею право, слышите, право!».

Внутри экспозиции раскрывается внутренняя борьба в человеческом сердце, которую обнаружил, прежде всего, писатель в себе. Два противоположных начала делают человека двойственным, негармоничным, из-за этого человек переживает в жизни трагедию, мучается и редко бывает счастливым. В художественном мире Ф.М.Достоевского они не просто сплетены, каждое из них имеет право быть. В экспозиции они ясно выражены в третьем зале - «Треугольник».

В левом углу находится «темное», эгоистическое, властное начало, выраженное в образе-символе паука. В правом – «светлое», доброе, жертвенное в образе «идеала человека во плоти» – Иисуса Христа.

Художественный пласт формирует эти начала в образы Парфена Рогожина и князя Мышкина, а свернуты они в образе Настасьи Филлиповны. Настасья Филлиповна символично отождествлена с образом человеческой души, за жизнь которой борются эти два начала: «Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице, и в тоже время что-то доверчивое, что-то удивительно-простодушное...»

Последний зал «Венчание» напрямую связан с этим событием, которое произошло 6 февраля 1857 года в Одигитриевской церкви в Кузнецке. Посетитель музея становится невольным участником этой торжественной процессии. «За народом едва можно было протолкаться вперед... Дамы все были разнаряжены... В церкви полное освещение. Сначала, как водится, приехал жених... он не простой человек – писатель... Он был уже немолодой, лет тридцати восьми; довольно высокий, - выше, пожалуй среднего роста... Лицо имел серьезное. Одет был в военную форму, хорошо, и, вообще, был мужчина видный. Жениха сопровождали два шафера: учитель Вергунов и чиновник таможенного ведомства Сапожников... Худенькая, стройная и высокая, Марья Дмитриевна одета была очень нарядно и красиво, - хотя и вдовушка... Венчал священник о.Евгений Тюменцев в сослужении с дьяконом. Были и певчие...», - вспоминает одна из свидетельниц бракосочетания.

Символическое создание Храма внутри комнаты неслучайно в развитии экспозиции. В Храме не только получают развязку отношения между Ф.М.Достоевским и М.Д.Исаевой, но и здесь может найти успокоение уставшая от борьбы человеческая душа. Образ Храма – это первый образ,

который возникает в сознании Ф.М. Достоевского, когда «дорога» только начинается, на Семеновском плацу. Здесь же она должна закончиться. В Храме незримо присутствует Высшее, Божественное начало, воплощенное в Богочеловеке, в «идеале человека во плоти», к которому всем своим творческим духом стремится Ф.М. Достоевский. В художественных образах нет необходимости, в Храме незримость и тишина говорят сами за себя.

«Дорога» закончена в Храме. Посетитель возвращается в первый зал. Перед ним образ Марии Дмитриевны перед смертью «с раскрасневшимися до пятен щеками». Через семь лет их совместной жизни М.Д. Исаева умерла от чахотки, а на следующий день, 16 апреля 1864 года, сделает запись в своем дневнике: «Маша лежит на столе. Увижусь ли я с Машей?» И далее: «Человек стремится на земле к идеалу, - противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил *любовь* в жертву своего *Я* людям или другому существу (*Я* и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек должен беспрерывно чувствовать страдание, которое уравнивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна...».

Через опыт личных взаимоотношений с первой женой, с которой они «не жили счастливо», «по ее странному, фантастическому характеру», Ф.М. Достоевский обращается к христианской заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Понятие *любви* углубляется до ее подлинного смысла: «Возлюбить человека, *как самого себя*, по заповеди Христовой – невозможно. Закон личности на земле связывает. *Я* препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится, и по закону природы должен стремиться человек. Между тем после появления Христа как *идеала человека во плоти* стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности

именно и должно дойти до того в самом конце развития, в самом пункте достижения цели, чтобы человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может делать человек из своей личности, из полноты развития своего *Я*, - это как бы уничтожить это *Я*, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье...».

Эта запись выводит на новое понимание «кузнецкой коллизии» и задает более сильную смысловую нагрузку четырем залам: содержание человеческого сердца, его разлад и падение, покаяние и возвращение к идеалу. Ф.М. Достоевский открывает свои самые сокровенные мысли, т.к. они являются не его собственными, а имеют место в каждой человеческой душе, развернуты в культурно-историческом развитии человечества.

Созданная экспозиция в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского в его художественно-мыслительной системе еще раз убеждает в том, что действительные события жизни не самоценны в развитии человека, они актуализируются только тогда, когда связаны с поиском и достижением смысла жизни человека.

**Сергей Папков, Владимир Сергиенко,
Анастасия Темникова, Марианна
Фаликова
ДРЕВО С МОГУЧИМИ КОРНЯМИ
(памяти Дмитрия Орестовича
Тизенгаузена)**

 осударственный архив Кемеровской области многие годы занимается выявлением фамилий губернаторов и вице-губернаторов дореволюционной России, и, в частности, Сибири, и изучением их деятельности. Надо же себе представить, как «управлялась» Россия во время оно, и что сближает, а что рознит ее с сегодняшним обликом

власти в стране.

Своеобразные биографии попадают нечасто, в основном – стереотипные продвижения по карьерной лестнице, перемещения из города в город, порой по «необъявленным» подспудным причинам: кому-то не понравился, замешан в неблагоприятном деле, которое требуется замять...

Изредка же попадают биографии поразительные и наводящие на многие размышления. Недавно по архивным документам, газетам и книжным публикациям «набрели» на фигуру барона Дмитрия Орестовича Тизенгаузена. Фамилия такова, что не пройдешь мимо. Судьба же, если исходить из значимости этой фамилии, куда как неординарна – сородичи бы в гробах восстали – а с позиции «железного века» - не более чем строка в череде подобных судеб...

Сперва в Томском архиве были собраны данные по служебным передвижениям и основные вехи жизни. Довольно скудные: Дмитрий Орестович Тизенгаузен, барон, потомственный дворянин, православный, родился в Санкт-Петербурге 13 марта 1872 года (по старому стилю). Карьеру избрал военную, что в его роду было привычно – о чем ниже – и поступил в престижное Михайловское артиллерийское училище, где проучился 11 лет. В августе 1903 года – на военной службе.

В роду Тизенгаузенів причудливо сплетаются две ветви интересов – служак и ученых, многие из них – «с финансовым уклоном», но об этом – тоже будет сказано ниже. В Дмитриии Орестовиче «проклюнулись» корешки обеих ветвей.

Оставив военную службу, он поступает в санкт-петербургский императорский университет и получает высшее образование. Но какое же образование без «полировки» в Европе? И он уезжает во Францию, где продолжает учиться.

«Повидав свет», можно и вернуться в Россию, причем самое время перейти на государственную службу. Начинается

«карьерный» послужной список.

С 10 мая 1910 года по 28 мая 1912 года он – неперемный член псковского губернского присутствия, после чего «идет на повышение» - получает в Оренбургской губернии должность вице-губернатора. Очевидно, Дмитрий Орестович обладал недюжинными способностями, и это опять же неудивительно, в его роду вот уже двести лет быть «государственным человеком» - обычное занятие.

Вице-губернатор в допереворотной России – должность, при которой открываются немалые возможности, - одна из самых авторитетных это оказывать существенное влияние на административную политику региона.

Однако в Пскове Д. О. задержался недолго. 5 августа 1914 года Высочайшим Приказом он получает перевод, тоже вице-губернатором, но в Вятку, где прослужил до 5 января 1916 года.

Затем следует необъяснимое понижение, которое можно было бы даже считать опалой – перевод вице-губернатором в Якутскую область, вместо статского советника Владимира Ивановича Курилова, который попал вице-губернатором в Актобинск.

Что послужило причиной понижения Д. О. в должности, мы узнаем ниже, но «провинность» должна была быть ощутимой. Так или иначе, а в Якутск он прибыл только 19 мая первым пароходом. «Опала» была недолгой – в декабре 1916 года последовал приказ о его переводе вице-губернатором в Томскую губернию – тоже не «просвещенные столы», все равно Сибирь, но – не Якутск же...

Томску на вице-губернаторов не везло, они часто менялись, и губернатор, Владимир Николаевич Дудинский, настойчиво добивается через Министерство внутренних дел, «стабильного» вице-губернатора, который был бы способен самостоятельно решать хотя бы часть управленческих дел.

Но попасть в Томск Дмитрию Орестовичу так и не пришлось – не судьба. Начались события февраля-марта 1917 года.

А между тем якутский губернатор Рудольф Эвальдович фон Витте подал прошение об отставке по состоянию здоровья, и был уволен по болезни указом от 9 января 1917 года.

Так Дмитрий Орестович застрял в Якутске, временно исполняющим должность губернатора. Как ни далек Якутск, но вести о разительных переменах в Петербурге долетают и сюда, «будоража опасные умонастроения и подстрекая ссыльнополитическую тусовку и подпавших под ее опасное влияние маргинальных лиц на экстраординарные реваншистские действия» (из прессы).

Так в судьбе Д. О. начался опасный вираж, который уже не выправится и, в конце концов, приведет к финалу, какой одному из его сородичей, герою Аустерлица, и в страшном сне не мог бы присниться...

Во взбудораженном Якутске Дмитрия Орестовича начинают «теснить», шантажируют, угрожая расправой и даже арестом, так что 5 марта 1917 года он телеграфирует в Иркутский окружной центр о сложении полномочий и передаче власти так называемому «Комитету общественной безопасности», в который входили большевики, меньшевики, эсдеки и эсеры.

Теперь областным комиссаром, управляющим Якутской областью, стал административный ссыльный Г. И. Петровский. Первым его деянием было освобождение уголовников и политических заключенных из тюрем.

«Митинговщина, праздничная эйфория, демонстрации, всевозможные пустопорожные «съезды-говорильни», хоровое исполнение «Интернационала», перманентная пьянка, свобода нравов, перерастающая в откровенный разврат и распушенность нравов – все это захлестнуло несчастный Якутск, напоминая какую-то нескончаемую вакханалию, кошмарный карнавал длился до наступления долгожданной навигации» (из прессы).

В *таком* Якутске Тизенгаузену Дмитрию Орестовичу, выпускнику физико-математического факультета питерского университета, владеющему итальянским, английским и

французским языками, племяннику композитора Римского-Корсакова, делать было нечего. Он искал прибежища в Иркутске, - но, видимо, не нашел.

О дальнейшей его судьбе узнаем уже из документов новосибирского и красноярского архивов. До 1923 года он был в заключении. Где – узнаем ниже.

В 1927 году, будучи судим во второй раз (имел же несчастье человек родиться потомственным дворянином!) дает показания и сообщает о себе:

«В гор. Новосибирске я проживаю с 31 декабря 1923 года – с момента освобождения своего из заключения. Все это время я жил на средства, получаемые от службы в советских учреждениях. Круг моих знакомств весьма ограничен и, если исключить знакомых-сослуживцев, то таковой ограничивается, почти исключительно, профессором ЗБОРОВСКИМ (ныне из Новосибирска выбывшим), профессором БОЛДЫРЕВЫМ, доктором ЩУКИНОЙ, и сотрудником Сибкрайсоюза КОЛЮБАКИНЫМ Николаем Борисовичем. Кроме перечисленных знакомых, если не считать двух-трех случайных посещений, я на дому ни у кого не бываю. У названных же лиц мне случалось бывать неоднократно, как по приглашению, так и случайно. Из таковых по приглашению мне чаще случалось бывать у ЩУКИНОЙ, случайно же заходить – к БОЛДЫРЕВУ и КОЛЮБАКИНУ. По приглашению у ЩУКИНОЙ я бывал в 1926 году раза четыре или пять, а в нынешнем году два раза, причем в 1926 году все упомянутые посещения мною ЩУКИНОЙ имели место на устраиваемых ею вечерах по субботам, в нынешнем же – один раз на пасхе, а другой раз как-то в понедельник, после троицы. Помимо этого, мне приходилось бывать у ЩУКИНОЙ и случайно, но каждый раз недолгое время. У БОЛДЫРЕВА на вечерах я бывал раза два, по приглашению, в 1926 году; у КОЛЮБАКИНА один раз в этом году. На вечерах у названных лиц были гостями не одни и те же лица, а именно, главным образом, из числа сослуживцев

хозяина дома. Исключением можно считать небольшой круг более или менее близко между собой знакомых, бывавших одинаково во всех этих домах. Круг этот весьма ограничен, а именно – я с женою, ЩУКИНА с мужем, КОЛЮБАКИНЫ, БОЛДЫРЕВЫ, и ЗБОРОВСКИЙ с женою (ныне уехавшие). Больше показать ничего не имею, протокол мне прочитан, записанное с моих слов правильно, в том расписываюсь».

Далее от руки – «читал Д. Тизенгаузен» и подпись уполномоченного.

И тут – череда документов, связанных с арестом барона Тизенгаузена с 15 марта 1927 года, вносящих ясность в некоторые доселе не вовсе известные моменты. Так, из «Анкет для арестованных и задержанных с заключением в ОГПУ», заполненной самим Д. О., узнаем, что у него четверо детей: дочь Елена 27 лет – служащая, сыновья: Андрей 25 лет, инженер, работающий в Африке, Орест 23 лет – служащий, Алексей 18 лет и Владимир 16 лет – учащиеся.

Мы узнаем также, что в Якутск Тизенгаузен попал, как мы и предполагали, за некую провинность, а именно, за выступление на Земском Собрании, очевидно, достаточно нелестное.

Но вот – 1917 год. Д. О., как мы знаем, слагает с себя полномочия временного губернатора Якутска, и обращается в Иркутск. Но там он, если и пребывал, то недолго, в «анкете» сказано: «с начала революции до 1918 года в Ленинграде, с 1918 по 1920 в Тобольске и Омске, с 1920 года в Иркутске до 1922, с 1922 по настоящее время в Новосибирске».

И кем он только не работал, этот «консультант по финансово-экономическим вопросам»! Долго был безработным во время своих скитаний, а в Новосибирске служил на южно-алтайской мельнице, завканцелярией губфинотдела, «зам зав упр. м. фин.», консультантом окрплана, но оказывается «безработным» с 1920-1922 был не просто, а потому что

«сидел в 1921 и 1922г. за службу на видном посту при царском строе», причем в чине статского советника.

А сейчас – арестован «в Новосибирске, на своей квартире по Московской ул. № 29 17 июля 1927г.». Уполномоченный КРО ПП ОГПУ по Сибкраю Шульдаль все эти сведения подтверждает в Протоколе, только что вносит еще и разъяснение: «С IX. 1922г. по XII. 1923г. был в заключении в гг. Иркутске и Н. Сибирске по обвинению в контр. рев. преступлении, находился под следствием, но сужден не был».

Мог ли не последовать новый арест в 1927 году!

Итак, 15 июля 1927г. на квартиру к Дмитрию Орестовичу является с ордером на обыск сотрудник ПП ОГПУ Костандогло с понятыми Саблиным и Исаевым, который «за неграмотностью ставит крест вместо подписи».

«При обыске обнаружено: разная переписка и 2 экземпляра анализа экономического обзора Новониколаевской губернии.

Изъято: разная переписка».

18 июня 1927г. последовало «Постановление о мере пресечения»:

«1927г. июня 18 дня. Я, уполномоченный КРО ПП ОГПУ по Сибкраю Шульдаль, рассмотрев, в порядке ст. 143 УПК следственное производство по делу №1228 и, принимая во внимание, что привлеченный по таковому в качестве обвиняемого, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 58-5 УК гр. Тизенгаузен Дмитрий Орестович... в случае оставления его на свободе может отрицательно повлиять на ход дальнейшего следствия в части полного установления всех причастных к делу лиц, а также, что, в силу тяжести предъявленного ему обвинения есть основания опасаться возможного уклонения обвиняемого от следствия и суда, руководствуясь ст. 158 УПК постановил:

Привлеченного в качестве обвиненного по делу №1228 гр. Тизенгаузена Дмитрия Орестовича заключить, в качестве меры пресечения способов уклонения от следствия и суда, под

стражу при арестном помещении ПП ОГПУ по Сибкраю.

Копию настоящего постановления, в порядке приказа ОГПУ №178 – 1922г. направить крайпрокурору Сибири.

Уполномоченный *Шульдадь*.

Согласен. Зам. нач. СОУ ПП ОГПУ СК *Новак*.

1927 года июня 18 дня.

Содержание настоящего постановления мне объявлено *Д. Тизенгаузен*».

В чем же обвиняется гражданин барон Тизенгаузен, потомственный дворянин и статский советник?

«Постановление о предъявлении обвинения 1927г. июня 18 дня

Я, уполномоченный КРО ПП ОГПУ по Сибкраю Шульдадь, рассмотрел следственное производство по делу №1228.

С первой половины 1926г., по инициативе практикующей в гор. Новосибирске женщины-врача гр. ЩУКИНОЙ образовалась группа из числа бывших видных работников царского строя и антисоветски настроенного слоя интеллигенции. Означенная группировка, имея своей целью объединение враждебного существующему социальному порядку элемента, маскировала свою сущность систематически устраиваемыми упомянутой выше гр. ЩУКИНОЙ по субботам «вечерами». Характер этих «вечеров», прикрытый обычным угощением, выпивкой, концертными номерами и т. п. по существу являлся определенно антисоветским: подвергались злостной тенденциозной критике мероприятия и деятельность Соввласти, читались литературные произведения участников группировки явно контр-революционного содержания, обсуждались текущие политические события в плоскости ожидаемого скорого и несомненного падения Власти Советов, открыто восхвалялась преступная деятельность зарубежных монархических организаций и их руководителей, выражалось сочувствие предполагаемому вооруженному нападению на СССР иностранных держав и готовность оказать им в том всемерное содействие.

К числу активных членов группировки принадлежит житель гор. Новосибирска гр. Тизенгаузен Дмитрий Орестович, лично принимавший участие во всех описанных выше фактах преступной деятельности таковой.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 128 УПК постановил: привлечь гр. Тизенгаузена Дмитрия Орестовича в качестве обвиняемого в изложенных выше преступных деяниях, предъявив ему обвинение по признакам ст. 58-5 УК.

Копию настоящего постановления, в порядке приказа ОГПУ 287-1922г., направить для сведения крайпрокурору Сибири.

Уполномоченный (*Шульдадь*).

Согласен: Зам. Нач. СОУ ПП ОГПУ СК (*Новак*).

1927г. июня 18 дня.

Содержание настоящего постановления мне объявлено: *Д. Тизенгаузен*».

И началось заключение. В архивных папках сохранилось два заявления заключенного Тизенгаузена. 25 июня 1927г. он пишет на имя Шульдаля: «Прошу Вас вызвать меня сегодня для дачи показаний по моему делу. *Д. Тизенгаузен*. 29 июня 1927г. камера №3».

И – второе, от 11 июля того же года, тому же Шульдалю: «12 июля исполнится 4 недели со дня моего ареста. Не имея никакого занятия, дела или работы, прошу Вашего разрешения иметь в заключении акварельные краски и необходимые принадлежности к ним (кисти, угольки, резинку и пр.). *Д. Тизенгаузен*. 11.VII.1927г.».

Этот странный человек, который так неестественно низвергнут жизнью и уже 10 лет не принадлежит сам себе, а людям, чуждым по поведению и по взглядам, которые распоряжаются его судьбой, - он все еще не потерял вкуса к жизни.

Дмитрий Орестович был одарен не только художественными, но и литературными склонностями. И в архивных папках сохранились его литературные опыты, которые мы

надеемся когда-нибудь заполучить, – но это уже тема другого повествования.

Пока же – мы не знаем, получил ли он краски, кисти и угольки, и имел ли возможность скрасить пребывание в камере №3 живописью. Судя по выписанному приговору, по тем временам довольно мягкому, можно предположить, что обходились с ним не слишком сурово.

Сама внешность его была весьма располагающей, судя по фотографиям в анфас и в профиль, какие обычно снимают с заключенных. Очень открытое, благообразное лицо, прямой, крупный нос, глубокая выемка меж лбом и носом, волевой и твердый подбородок. И широко открытые, доверчивые, какие-то «распахнутые» навстречу глядящему на него глаза.

Пройдет еще год без малого, пока групповое дело Дмитрия Орестовича, имевшего несчастье попасть в «дурную компанию», будет пересмотрено.

И вот выписка из протокола от 1 октября 1929г., хотя пересмотр датирован 24 марта 1928г.

Пройдет без малого десять лет – и этот приговор покажется и гражданину барону Тизенгаузену, и его «сообщникам» чуть не ласковым...

Итак,
«Выписка из протокола
особого совещания при Коллегии ОГПУ от 1 октября 1929г.

Слушали

... Пересмотр дела №50291 гр. ТИЗЕНГАУЗЕН Дмитрия Орестовича, БРАЖНИКОВА Петра Васильевича, КОЛЮБАКИНА Николая Борисовича, приг. Пост. Ос. Сов. от 7.X-27г. к высылке в Сибирь,

Постановили

По отбытии срока наказания ТИЗЕНГАУЗЕН Дмитрия Орестовича, БРАЖНИКОВА Петра Васильевича, КОЛЮБАКИНА Николая Борисовича – лишить права проживания в Москве,

сроком на ТРИ года, считая срок с 15/6-27г. Пост. Кол. ОГПУ от 24/3-28г. по амнистии срок сокращен на ОДНУ ЧЕТВЕРТЬ.

Ленинграде, Харькове, Кieve, Одессе, Ростове н/Д, означенных округах и погран. Губ., сроком на ТРИ года.

Секретарь Коллегии ОГПУ [*подпись, печать*]].

Имеются еще две выписки из протоколов: от 7 октября 1927г. и от 24 марта 1928г. В них уже упоминаются остальные участники «дела» и указывается, что срок ссылки на 3 года первым трем, то есть Щукиной, Коллюбакину и Тизенгаузену насчитывается с 15 июня 1927г., а Бражникову – с 18 июня 1927г. Последняя строка гласит: «Дело сдать в архив». В протоколе же от 24 марта 1928г. сказано все то, что мы уже знаем, но имеется интересная приписка от руки: «12.11.1929. РСО ПП ОГПУ сообщает, что адм. ссыльный Д. О. Тизенгаузен от ссылки освобожден и выбыл к избранному месту жительства г. Канск».

Пройдет 66 лет, и в интернете появится на сайте красноярского отделения общества «Мемориал» запрос от 27.12.2003г. от Анастасии Тизенгаузен: «Здравствуйте! Хотелось бы поблагодарить вас за создание этого сайта. Это тяжелая, но очень нужная работа. Спасибо вам! Я случайно вышла на ваш сайт и обнаружила в Мартирологе информацию о родном брате моего дедушки – Тизенгаузен Дмитрие Орестовиче. У нас не было практически никакой информации о его судьбе и судьбе его сына Эрнеста (Ореста) после его высылки из Ленинграда. Есть ли возможность получить более подробную информацию об их судьбе, или данные, представленные на сайте, это все, что есть? Огромное спасибо!!!».

Данные же, опубликованные на сайте, были такими: «Тизенгаузен Дмитрий Орестович, 12.03.1872 г. р., русский, уроженец Санкт-Петербурга, барон (дворянин), был вице-губернатором вятской и якутской губерний в 1897 г. Окончил физико-

математический факультет ленинградского университета. Владел итальянским, английским, французским языками, не раз бывал за границей, племянник Римского-Корсакова. В 1921 и 1927 осужден на 3 года административной высылки за к/р деятельность. Трижды судим. Экономист-плановик в Красноярской краевой конторе «Главконсерв». С 11.06.1937 в красноярской тюрьме по делу №4435 Рахлецкого А. А. (34 чел.). 25.10.1937 тройкой УНКВД КК приговорен к расстрелу. 26.10.1937 в 24 часа расстрелян в Красноярске. Его сын Тизенгаузен Эрнест Дмитриевич 1902 г. р., русский, уроженец г. Кингисепп Ленинградской обл., образование высшее. Зав. физ.-мат. Отделом в институте повышения квалификации в Красноярске. С 26.05.1937 в Красноярской тюрьме. 25.10.1937 тройкой УНКВД КК, протокол №28, приговорен к расстрелу по делу №04801. расстрелян в Красноярске 26.10.1937».

Так оказалась зарубленной одна из ветвей древнего Лифляндского рода Тизенгаузен, многоветвистое древо которого уходит в 1198 год.

При прочтении документов о злосчастной судьбе Дмитрия Орестовича Тизенгаузена, поразила фамилия. Многожды встреченная среди крупных государственных деятелей 18-19 веков, она тесно вплетена в историю дореволюционной России, хотя род Тизенгаузенов происходит из Голштинии.

Подробные сведения нашли в интернете. Этот род внесен в дворянские матрикулы всех трех прибалтийских губерний и в родословные книги Виленской, Воронежской, Подольской, Рязанской, Саратовской, Санкт-Петербургской и Тверской губерний.

Первым получил баронство шведский генерал-майор и эстляндский ландрат Ганс-Генрих Тизенгаузен (умер в 1662г.). Барон Берендт-Генрих Тизенгаузен (1703-1789), эстляндский ландрат, в 1759г. получает графское достоинство Римской Империи. Отсюда начинается «русская биография»

Тизенгаузен. Сын первого графа Иван Андреевич (умер в 1815 году) был Обер-гофмейстером; граф Павел Иванович (умер в 1862г.) был сенатором, граф Федор Иванович, флигель-адъютант императора Александра I, убит под Аустерлицем (в 1805-м). (См.: www.hi-edu.ru).

Вот почему запомнилась фамилия! Герой Аустерлица Фердинанд Иванович послужил для Л. Н. Толстого прототипом князя Андрея Волконского. Современники называли его личностью легендарной, человеком отчаянной храбрости, которого уважали не только штабные офицеры, но и солдаты. «Странно, но о его смерти мы знаем более, чем о жизни. Любопытно из нас может раскрыть том романа «Война и мир» Толстого и прочесть сцену ранения князя Андрея на поле Аустерлица... Князь Андрей, это и есть – граф Федор Тизенгаузен, точнее, его внешний прототип. И именно о нем, Наполеон сказал эти слова: «вот прекрасная смерть!» - как признание мужества и доблести противника», - такие сведения выдает сайт www.peoples.ru.

Граф Федор был женат (1802) на Елизавете Михайловне Голенищевой-Кутузовой, дочери столь знаменитого в русской истории полководца Михаила Илларионовича Кутузова. Этот брак по взаимной страстной любви был более чем одобрен Кутузовым. Федора Тизенгаузена, флигель-адъютанта фельдмаршала, тот любил как «прекрасного умницу». Дочери он писал: «Если бы быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого, как Фердинанд».

Елизавета Михайловна следовала за мужем в походах и родила двух дочерей – Екатерину Федоровну, будущую фрейлину, и Дарью Федоровну, в замужестве Фикельмон, которая любила и была любима Пушкиным; сцена посещения «Пиковой дамы» Германом списана, по версии известного пушкиноведа Николая Раевского («Портреты заговорили»), с его ночного визита к «обворожительной посольше» (Дарья Тизенгаузен была женой австрийского посла в России Шарля Луи Фикельмона). По этой же версии – визит был

первым и последним... (см.: *Н. Раевский*. Указ. соч.)

Брат героя Аустерлица, старший сын действительного статского советника Тизенгаузена Иоганна-Отто (1745-1815), первого графа в этом баронском роду, Павел Иванович (1774-1864), сенатор, тайный советник.

Портрет его мы видим в томе 5-м «Русских портретов XVIII и XIX веков» с подробным жизнеописанием. Изображен молодой человек, анфас, он еще в пудренном парике, какие были в ходу до конца 18 века. И тут самое время вспомнить горельеф на погребальной плите Фердинанда Тизенгаузена, изображенного в профиль, и... две фотографии заключенного из камеры номер 3 Тизенгаузена Дмитрия Орестовича (в анфас и в профиль).

Кто долго занимается изучением фамильных портретов, научается отмечать в лицах особые характерные приметы, что передаются из поколения в поколение, и даже не только по одной родовой ветви.

Это сейчас мы редко помним отчество даже прадеда. В 18-19 веках близким родством считались все родственники по линии двоюродных и даже четырехродных сестер и братьев. А то, что дальше, — тоже не переставало быть родством, но уже называлось «свойством» — в России. Французы для отдаленной степени родства придумали остроумное «кузен» и «кузина», что сближало людей из сколь бы то отдаленной родовой ячейки.

Бароны Тизенгаузы к началу 19 века изрядно обеднели. Кстати, имелась еще одна «беститульная» ветвь этого рода, представители коей тоже занимали весьма видные государственные должности. Но в 1800 году эта ветвь по мужской линии пресеклась. Так что «наш» Дмитрий Орестович «в свойстве» и с героем Аустерлица, и с декабристом Василием Карловичем Тизенгаузом (1781-1857), полковником и бароном, членом Южного Общества (был осужден к двум годам каторги, с 1827 года на Нерчинских рудниках, в 1828-1854 гг. — на поселении в Тобольской губернии),

изображение которого тоже имеется.

Поражают общие для всех этих портретов самые характерные черты: «распахнутый» прямой взгляд, глубокая ложбинка меж лбом и крупным носом, красивое и четкое очертание губ, волевой подбородок и «благообразие» лица. В пудренном парике и на фото заключенного, в профиле героя Аустерлица — в бачках, романтической прическе «a la Titus», — в изрядно «битом жизнью» лице декабриста мы найдем все перечисленные выше черты.

У нас нет изображения еще одного Тизенгаузена, барона Владимира Густавовича (1825-1902), известного ученого той поры, нумизмата и востоковеда, избранного в 1893 году Императорской Академией Наук членом-корреспондентом по разряду восточной словесности. С ним тоже был «в свойстве» Дмитрий Орестович...

Тизенгаузы — род разветвленный и, надо полагать, хорошо знавший свою родословную. Многие из них к началу двадцатого века уже были достаточно скромны, так, например, интернет выдал нам любопытный отрывочек чьих-то воспоминаний уже пост-революционной поры: «В Хутины еще стояли каркасы куполов, но туда я добраться не смог. Перед отъездом из Новгорода я пошел на то место, где стоял дом Тизенгаузен. Вспомнилась жизнь там, отпуск, чудная уха, которую нам варила Тизенгаузен (она была поповной, а ее муж, барон, до своего ареста работал мелким служащим новгородского отделения Госбанка). Вспомнилось и то, как клала Тизенгаузен подушку на подоконник в своей спальне (а дом выходил прямо на тротуар), ложилась на эту подушку и разговаривала с проходящими — все были знакомы со всеми. Тихая провинциальная жизнь, которую не могли нарушить даже начавшиеся в 1936 году повальные аресты, — где она?!» (см.: www.solovki.ru).

В этом «все знали всех» и таилась опасность для Тизенгаузов, ставших после переворота изгоями. Надо полагать, что на хутынского барона Тизенгауза давно

нацеливались пристальные взгляды сограждан, хотя его жена, поповна, вряд ли могла себе представить, что в отдаленном «свойстве» с ней пребывали некогда фрейлины Николаевского двора и жены посланников...

Из Интернета мы узнали, что, наверное, последняя из старшего поколения этого рода (прошлого века), Тамара Владимировна Тизенгаузен, «родилась по паспорту 4.11.1910, фактически в 1908-м в Актюбинске. Баронесса. Скончалась 16 декабря 2002г. в Москве. Прах похоронен на Миусском кладбище» (См.: www.vgd.ru).

Анастасия же Тизенгаузен, запрос которой в интернете нас взволновал, получив ответ о печальной судьбе Дмитрия Орестовича и его сына Ореста Дмитриевича, интерес к этой теме не потеряла, и на нашу просьбу сообщила то, что известно о ее прадеде и его супруге (в первом ее сообщении, как она поведала, была допущена ошибка: Дмитрий Орестович и его брат, от которого происходит сама Анастасия Тизенгаузен-Темникова – это ее прадеды), а также о печальной судьбе остальных сыновей Дмитрия Орестовича.

Поистине злой рок довлел над этим родом. Из сыновей Д. О. в живых и в «благополучии» остался лишь сын Андрей – тот, который в «эпоху перемен» работал в Конго. Выжил также и Алексей, если его жизнь можно назвать жизнью.

Но – подробнее о судьбе всех их. Прежде всего о жене расстрелянного Дмитрия Орестовича, то есть о Зинаиде Петровне Вейнер (г. р. 1877). Отец ее Петр Петрович был действительным тайным советником и умер в 1904 году. Родители долго не соглашались на этот брак и все наводили справки о происхождении жениха и об его состоянии, но после долгих уговоров, наконец, все-таки благословили. «По рассказам Зинаиды Петровны, свадьба была великолепной, а после – свадебное путешествие в Венецию», - сообщает Анастасия Темникова.

По возвращении молодожены проживали в Питере на улице Чайковского в доме, часть которого была свадебным

приданным Зинаиды Петровны. Также пребывали в имении Тизенгаузен под Ямбургом (Кингисепп), где и родился расстрелянный в 1937 году Орест Дмитриевич Тизенгаузен.

Первые годы брака прошли в любви и согласии, но в дальнейшем, как считает Анастасия Темникова, их отношения ухудшились и когда в Петрограде началась сумятица, Дмитрий Орестович оставил семью и впоследствии никаких отношений с ней не поддерживал. Очевидно, именно поэтому о его судьбе и не было ничего известно близким. Мы же считаем, что и Зинаида Петровна, и родня Тизенгаузена фатально ошибались. Не он оставил семью, а его от семьи оторвали. Ведь мы уже знаем, что с 1918 года он все время пребывал под арестом в разных городах и, естественно, не поддерживал связей с семьей, не желая навлечь беду на родных людей. И как он был прав!

По сообщению той же Анастасии Темниковой, его супругу, Зинаиду Петровну, тоже арестовывали несколько раз, причем допрашивал ее сам Дзержинский. Ее даже выводили на расстрел. Дважды! Но не расстреляли и даже почему-то отпустили вовсе... Все ее имущество было реквизировано, и, прожив недолго в Петрограде, она вместе с детьми Алексеем и Владимиром отправилась в Среднюю Азию. Когда вернулась, поселилась в Твери (тогда – Калинин) и преподавала в университете на кафедре иностранных языков, поскольку владела несколькими европейскими языками. В конце жизни, после 1953 года, уехала в город Волжский, где тогда проживал ее сын Алексей, и умерла в 1968 году.

Драматично сложилась судьба старшей дочери Дмитрия Орестовича, Елены, которая была замужем, но фамилия ее мужа неизвестна по сей пору никому из родни. Она и ее сын Петр погибли в Ленинграде в блокаду 41-го года, причем Елена умерла от голода, а Петр – при попытке эвакуироваться на барже по Ладожскому озеру. Отметка об отплытии баржи и список ее пассажиров имелись на ленинградском берегу, но до конечного пункта баржа так и не доплыла...

Биография третьего сына Дмитрия Орестовича также трагична. Владимир Дмитриевич 1912 г.р. учился на

физматфакультете Екатеринбургского университета три года. Потом его отчислили из-за «плохого происхождения». Он также не успел окончить Литературный институт имени Горького, где тоже проучился три года, - но это уже из-за войны. Вернее, из-за ее последствий. Нет, он не воевал. Его просто арестовали в сентябре 1941 года по приказу Сталина (в связи с высылкой немцев, а он числился таковым по паспорту и по фамилии), переправили в Самару, где он и был расстрелян в декабре 1941 года без предъявления обвинений. «Судя по материалам дела, которое мы смогли получить уже в конце 80-х, - пишет Анастасия Темникова, - предварительное следствие не было завершено, обвинение требовало десяти лет без права переписки, и все шло именно к этому, но вышел указ Сталина, и в течение нескольких дней был вынесен новый приговор, который тут же и был приведен в исполнение».

Что касается Ореста Дмитриевича (Эрнста) 1905 г. р., семье известно, что он был очень одаренным мальчиком, блестяще играл на фортепиано, был весьма увлечен литературой и имел способности к физике. О его судьбе в родне бытовала версия, будто бы он погиб при попытке нелегально пересечь монгольскую границу. Истина, как мы уже знаем, оказалась, увы, еще печальнее, - он был расстрелян в тот же самый день, что и его отец.

Относительно «без рифов» протекала судьба Алексея Дмитриевича 1909 г. р. Если считать, что ему удалось выжить, хотя не раз он ступал по самой крошечке жизни. В конце 20-х годов, как сказано выше, мать увезла его и младшего брата Владимира, спасая от голода, в Самарканд. Поскольку учиться он не мог все из-за того же «сомнительного» происхождения, он был вынужден подрабатывать, давая уроки танцев. В 1937 году женился на Анне Семеновне Краснополиной и у них родилась дочь Наталья. Казалось бы, все хорошо?

Однако, Алексея Дмитриевича арестовывали неоднократно и в очередной раз отправили на поселение в Нижний Тагил. Но - судьба была милостива. На этот раз. В 1945 году к нему

приехали жена с дочерью, и родился сын Владимир. После освобождения семья уезжает в Калининград, где рождается еще и дочь Елена.

И тут он вновь арестован, и отправлен в лагерь на строительство Волжской ГЭС (город Волжский Волгоградской обл.). В 1953 году, когда множество заключенных выпустили на свободу, А. Д. вместе с семьей так и остался жить в городе Волжском, куда к нему приехала в последние годы жизни и мать. Умер он в 1970 году.

Более счастливо сложилась судьба Андрея Дмитриевича 1901 г. р., и походила она на приключенческий роман. Совсем юным он служил кадетом в армии Врангеля в Крыму, и в 1918 году попал с остатками армии в Грецию, откуда с помощью родственников отца сумел перебраться в Бельгию, где закончил университет в Брюсселе с золотой медалью по специальности «энергетика». Поступил на работу в Компанию по управлению гидростанциями в Конго, и проработал на одном месте ровно 30 лет: с 1936 по 1966гг., когда русский «африканец» вышел на пенсию. Остаток жизни он прожил в Остенде под Брюсселем и умер 95 лет в 1996 году. В конце жизни не раз бывал в СССР и в постперестроечной России. Его дочь Елена замужем за русским, Куприяновым, живет в Париже, мать троих дочерей.

У Дмитрия Орестовича было шесть братьев. И у всех жизнь сложилась по человечески - просто им удалось покинуть Россию в 1918 году и потому - выжить. Сейчас потомки их живут в Англии и Германии. «Многие из них уже не говорят по-русски. Раз в два года проходит собрание представителей рода Тизенгаузен. До 1996 года главой рода был Андрей Дмитриевич, - пишет Анастасия Темникова, - кто возглавил род после его смерти, нам неизвестно...».

Не так-то легко вырубить дерево, стоящее на могучих корнях...

ноябрь 2004г.

Лавиния Мятлева
ЗАПОЗДАЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
КНЯГИНИ ВОЛКОНСКОЙ В СИБИРЬ

1

Искореженный портрет. - Два года тому получила письмо от давнишнего московского приятеля и сомышленника по части собирательства старинных портретов.

У нас по стране бродит великое множество портретов. Вряд ли еще где-нибудь можно встретить такое явление. Причиной тому истинно тектонические сдвиги, сотрясавшие историю России в течение почти всего прошлого века.

После 1918 года новые «правители жизни» появлялись в мирно дремавших дворцах, особняках, особенно же усадьбах, где уклад жизни не менялся чуть ли не два столетия. Хлопали пинком растворенные двери, возмущенно сотрясались хрустальные люстры, вдребезги разлетались зеркала от удара приклада, и вместе с ними как бы развеивались в никуда спутнутые образы вельможных мужчин и прекраснейших женщин, которые некогда отражались в глади зеркал.

Зеркала, как известно, хранят эманации тех, кто в них гляделся в течение веков, - наверное, потому, когда человек умирает, зеркала завешивают от посторонних глаз.

Незримые эманации бывлых обитателей населяли родовые дома и усадьбы. Но «новые правители» их не ощущали — они в них не верили. Ошарашенные собственной дерзостью и ею опьяненные, они взирали на маленькие тайны чужих гнезд, подымали ненароком кем-то оброненный кружевной платок, торопливо сovali в карман дедовскую табакерку с замысловатым вензелем, и ворошили чьи-то письма, иные — пускали на цигарки; рвали чьи-то дневники, и белыми хлопьями носились по опустевшим покоем обрывки мыслей, бывлых печалей и надежд...

Иные останавливались около стены с портретами, недоуменно глядевшими из золоченых рам на возмутителей векового спокойствия, царившего в мирных жилищах и, казалось бы, неподвластного ни времени, ни событиям...

Кому-то приглянулся бравый офицер — грудь в орденах, кому то — девица, стянутая в рюмочку и удивленно глядящая из под высокой пудреной прически, кого-то привлекла юная дама «в интересном положении», кокетливо скрывавшая, насколько возможно, свое состояние знаменитой пунцовой шалью, сто лет пленявшей, не только «просвещенные столицы», но и самые провинциальные уголки.

Если портрет очень приглянулся, — удар штыка, холст вырезан, скатан, или — чего хуже! — сложен вчетверо и унесен.

Так совершались посмертные убийства давно ушедших из жизни. Мало того, что чей-то для кого-то дорогой образ исторгнут из родового гнезда — разве же это не убийство! — но он, к тому же, навсегда лишен места в череде поколений. Человек, которого чтити потомки, знавшие и помнившие его жизненные деяния, навсегда лишается своего места в памяти. Поскольку мало кому в голову приходило отметить, что портрет, де, унесен из такого-то дома, такой-то усадьбы, из такой-то фамилии.

Так совершалось второе убийство. Человек терял имя. Хорошо, если рачительные потомки на обороте холста некогда начертали, что вот, де, такой-то и такой-то из сельца такого-то был славен тем-то и тем-то и жил тогда-то и тогда-то.

В столицах это случалось реже — подразумевалось, что все и так «знают друг друга в лицо», в усадьбах же — напротив, записывали, бывало, на обороте портрета, чуть не всю родословную и всех членов семьи. Но далеко, далеко не всегда...

Так оказалось, что полчища бывлых обитателей vzdыбленной страны — вельмож, помещиков, обывателей и купцов - отправлялись в опасное странствие, без руля и без ветрил, по градам и весям, навсегда потеряв память и имя.

И вот уж более ста лет искусствоведы решают ребусы: кто Он, кто Она, или — маются: а действительно ли изображение

соответствует написанному на холсте? И где обитал, чем славен изображенный...

Мы столкнулись с этим явлением во всей красе после получения мною названного выше письма. В конверте – две фотографии. На одной – нечто невразумительное, почти черное, некий холст, скукоженный чуть не гармошкой. Единственное читаемое светлое пятно – лицо женщины средних лет, полное достоинства и спокойствия, каким только чудом сохранившееся? На второй фотографии надпись орешковыми чернилами на обороте холста со всеми своеобразиями орфографии 18 века: «Кавалерственная Дама Волконская Александра Николаевна Княжеская дочь генерал фельдмаршала князя Репнина».

Мы сразу сделали стойку: так ведь это мать декабриста Сергея Волконского, сосланного в Сибирь в 1826 году, где он пребывал с семьей на каторге и поселении до амнистии 1855 года.

Мой приятель писал, что портрет обнаружил у одной пожилой дамы в Питере. Дама о происхождении портрета не распространялась. Вот, мол, в их доме портрет бытовал сколько она себя помнит, но явно не пролетарское происхождение изображенной определило его судьбу. Холст сложили чуть не в восемь раз и хранили в сундуке. Как попал портрет в ее семью? Дама пожалала плечами: мало ли как...

Приятель спрашивал: интересен ли портрет и стоит ли отдавать его в реставрацию, если вообще какая-либо реставрация окажется возможной.

Темой декабристов занимаюсь давно. В память о почившем супруге, в роду которого таковые числились. На этой почве с Иркутским музеем декабристов, а именно с «Домом Волконских», поддерживаю многолетние связи. Вот уж скоро целых двадцать лет.

Многие предметы – пришельцы из 18 и начала 19 века, бытовавшие в нашем доме, находятся теперь в этом музее. Так оказался там веер императрицы Марии Федоровны, жены Павла Первого, некогда попавший к сенатору Сергею Сергеевичу Кушникову от вдовствующей императрицы, с

которой он был дружен – веер сломался на балу и Сергей Сергеевич, конечно же, пообещал отдать его мастеру в починку. Потом этим же веером и был пожалован. В том же музее находятся парные перстни-печатки Оксинии и Иакова Мухановых 1811 и 1813 годов, из рода декабриста П.А.Муханова; каминный экран, вышитый бисером, и несколько милых бисерных багательей – «никчемушек», вроде подушечки для иголок, игольника, кошелечка и др., – потому что жена Сергея Волконская, урожденная Мария Раевская, бывшая некогда одним из кумиров Пушкина, во время поселения в Иркутске увлекалась бисерной вышивкой и слыла отменной рукодельницей.

... А теперь этот портрет! Разумеется, тут же позвонили директору «Дома Волконских», Евгению Александровичу Ячмеву: интересен ли Вам портрет? Риторический вопрос! Конечно, интересен. Впрочем, что еще покажет реставрация. На которую, как всегда, денег нет.

Однако же – не имей ста рублей, а имей сто друзей. Мой московский приятель отдал портрет в реставрацию и ее оплатил, пообещав повременить с возмещением затрат.

Через несколько месяцев получила от него фотографию отреставрированного портрета. Полная достоинства дама средних лет в переливчатом тафтяном темно-сером платье и черной шали с искусно вышитой каймой, в тончайшем кружевном чепце, сидит на фоне зеленого занавеса, небрежно опустив закрытый веер, прямая, статная, «дворцовой выправки!».

И тут же вопрос: но в самом ли деле это Волконская? Маловажно, что именно так утверждает надпись на обороте – нужны были доказательства!

Некоторые искусствоведы очень сомневаются в роли интуиции, которая много чего подсказывает при атрибуции портретов.

Я в интуицию верю. И она меня никогда не подводила.

Сейчас надо было определить время написания портрета. Ну, уж это, казалось бы, – проще простого! На Аргуновском портрете 1800 года Паша Жемчугов, она же графиня

Шереметева, точь-в-точь в таком же чепце. Вот множество портретов в таких чепцах – с 1796 года они в большой моде до 1805-1807. Белый кисейный шарф, заправленный в круглый вырез платья – опять-таки соответствует этому времени, а уж после 1807 года его не увидишь. Но почему шаль – черная? Такая встречается нечасто, и об этом нам еще предстоит узнать...

Листаем пятитомник «Русские портреты 18 и 19 столетий». Авось, найдем изображение княгини. Не нашли. Но зато – портреты ее матери и отца Репниных налицо. Оба – некрасивые. Как, впрочем, и ее красавицей не назовешь. Особенно по меркам ее поры. Это сейчас такое лицо не прошло бы незамеченным. Потому что – личность! Похожа, скорее, на отца, и это не лучший вариант сходства. Попутно удивлялись, как же, однако, Сергей Григорьевич, декабрист, похож на бабушку, мать нашей княгини, урожденную Квашнину! Добродушное, толстогубое лицо – глаза навывкат. Впрочем, декабрист очень похож и на мать, Александру Николаевну.

Листаем альбомы миниатюр и находим портрет сестры декабриста Софьи Григорьевны 1800 года, удивительно похожей на нашу княгиню, но вот она-то – настоящая красавица...

Я знаю, я точно знаю, что изображенная на портрете дама – княгиня Волконская. На груди ее – медальон с портретом не то Екатерины Второй, не то жены Павла Первого, Марии Федоровны. Княгиня пережила трех императриц и честно служила им. Ордена соответствуют кавалерственной даме и обергофмейстерине. Я-то знаю, но все это придется доказывать. Посылаю фотографии в Иркутск. Восторг и восхищение. Но – денег по-прежнему нет. Мой московский приятель спрашивает, что делать с портретом, не возьму ли я его себе, ему известен мой интерес к теме декабристов. И он привозит ко мне загадочный портрет. Соглашаясь ждать с оплатой сколько придется.

И вот Александра Николаевна поселяется у нас. Напротив нее – портрет Павла Первого. С его женой, Марией Федоровной, Волконская была дружна. Она ее статс-дама. Рядом –

портрет 1797 года обер-прокурора Николая Александровича Самойлова, который с княгиней «в свойстве», да и с женой декабриста тоже, поскольку он – дядя генерала Раевского, чья дочь вышла замуж за Сергея Волконского.

Могу поклясться, что ночами все они обмениваются впечатлениями о нашем странном веке и о злоключениях, постигших их изображения ранее.

Хочу узнать возможно больше о княгине. Такая лихорадка охватывает всегда при появлении дома нового портрета. «Вгрызаюсь» в воспоминания современников, воспоминания Сергея Волконского, воспоминания его правнука, который про бабушку Волконскую знал лишь по рассказам, поскольку даже его отец Михаил Волконский родился уже в Иркутске, где вся семья пребывала, как уже сказано, до 1856 года. А наша княгиня умерла в 1834 году. Так что до ее правнука уже доходили всего лишь семейные легенды...

Узнаю интереснейшие подробности, не только о самой княгине, но и о ее супруге князе Григории Семеновиче Волконском, отце декабриста; узнаю о его сестре, красавице и оригиналке Софьи Григорьевне, о быте этой очень дружной семьи, и о нравах поры Волконских. Удивляюсь, восхищаюсь, и возмущаюсь. И есть отчего!

Читатель, наверное, помнит: «дан приказ ему на Запад, ей – в другую сторону», что считалось вынужденной жестокостью органичной в эпоху революционных потрясений. Но вот, оказывается, что из 44 лет счастливого супружества, отец декабриста целых 13 лет прожил вдали от нашей княгини, будучи военным губернатором в Оренбурге. Что делать? Служба! Назначили – и поехал. А княгиня – на придворной службе. Она доверенное лицо императрицы Марии Федоровны, первостепенная фигура при дворе Николая Первого.

Это были очень несхожие люди, супруги Волконские.

Григорий Семенович – «человек со странностями», как пишет его правнук, нашедший в своей петербургской квартире семейный архив с 1803 по 1865 год. Впрочем, многое лишь

восстанавливает «по памяти» о прочитанном в архиве, ибо, как сказано в его воспоминаниях, подготовленная часть рукописи по семейному архиву «была у меня отобрана уездными властями, в то время, когда все мое имущество было объявлено народной собственностью». В 1925 году делегат от Охраны памятников уже ничего не нашел, поскольку «бумаги, отобранные в бывшем доме Волконских, были израсходованы... там, где вообще расходуется ненужная бумага», - горько иронизирует правнук нашей княгини, Сергей Михайлович Волконский.

Но и по воспоминаниям, Григорий Семенович предстоит перед нами фигурой весьма своеобразной. До того, как стать генерал-губернатором в Оренбурге, он был отъявленным «воежкой», заслужившим от самого Суворова аттестацию «неутомимый и трудолюбивый». В его письмах к домашним – все реалии отдаленных степей и экзотика местного быта. Больше всего писем – к любимой дочери Софьи Григорьевне, вышедшей замуж за человека блестящей карьеры, Петра Григорьевича Волконского, князя, фельдмаршала, и впоследствии министра двора, то есть доверенное лицо императора.

Письма – сентиментальные, искренние, простодушные. Отец адресует их дочери, называя «душевным другом» и «ангелом». Текст изобилует «сладчайшими сентиментами к дорогим объектам». Старик рекомендует дочери: «детей-ангелов держи, голубушка, где их комната, чтоб всегда был чистейший свежий воздух, отнюдь не жарко натопленная печь: никогда у ангелов кашля не будет». Беременность дочери отец называет «благословенным положением».

Из Петербурга ему шлют одеколон, к которому он питал особое пристрастие, оподельдок и жасминную помаду. Дочь посылает новый мундир, который он обновляет по случаю какого-нибудь праздника, а праздников в Оренбурге множество.

Торжественно отмечается всякий раз день рождения Софьи Григорьевны и ее «ангелов-детей». Вселенским угощением и фейерверками «с вензелями вашими матушка княгиня Софья Григорьевна, - сообщает отец дочери, - причем в честь

дражайших именин обыватели всеми щербетами угощаемы были... многочисленные за виновницу пили тоасты с громом пушек».

А в Петербург с Оренбуржья шлются экзотические деликатесы и всякие чудности: кофе мокка, икра, белорыбца, и киргизские каурые лошади и калмычата, которых в столицах так модно держать при доме.

Особый сюжет в переписке – кашемировые шали. Одну, белую, особо нарядную, Григорий Семенович посылает для императрицы Марии Федоровны. Шаль понравилась. И даже последовал ответ: «обещаю наряжаться в сию шаль при упоминании о вас, шаль прекрасная, и я очень чувствительна к намерению вашему мне удовольствие сделать».

Иногда подарки случались странные. Князь Григорий Семенович посылает дочери с просьбой поместить в ее доме, пока не разберут по своим домам сановники, «колонию коралькопаков (читай, каракалпаков) – до двух десятков... все угрюмые и нехорошие лицами, все крещеные, и привита оспа». Надо полагать, сановники их быстро «разобрали по домам». Мода!

Губернатор Волконский был добрейшим человеком, но – «ежели откроется корыстность, превращу в ничтожество интересанта». И ему действительно удалось справиться, хотя бы отчасти, с коррупцией, которая свирепствовала в оренбургском крае.

Губернатор Волконский был изрядно чудаковат. Из записок современников известно, что нередко его можно было увидеть в городе, шагающим в халате поверх нижнего белья, причем при всех орденах, из всех своих пеших прогулок он возвращался домой на какой-нибудь попутной телеге...

Но каким же был супругом губернатор Григорий Семенович, проживавший в своем «азиатском одиночестве»? Известно, что дважды навестила мужа Александра Николаевна - визитами она его не баловала. Он же ее приезды превращал в настоящие торжества. В 1805 и 1816 годах он выезжал ей навстречу, как только получал вест, что княгиня всего лишь

«приближается к пределам азиатским».

Навещали его и будущий декабрист вместе с братом Николаем в 1818 году, дважды приезжала любимая дочь. В 1807 и 1816 годах, опять же с братом Николаем.

Но понемногу «оренбургское сидение» старику Волконскому наскучило, он все чаще поговаривает, как хорошо бы получить назначение, например, посла в Константинополе...

Все, что рисуется из сказанного выше, ясно проступает в облике Григория Семеновича. На портрете кисти Боровиковского — лицо очень доброго, ничуть не заносчивого вельможи, а командира, — «отца родного», бонвивана, причем пребывающего в полном мире с самим собой патриарха...

Иное, иное в облике Александры Николаевны. Прямой, открытый взгляд, «железный корсет» долга и дворцовой службы определяет, не только ее осанку, но и всю внутреннюю суть. Вот уж у кого никаких «сладчайших сентиментов» не сыщешь.

Не взирая на ее высочайшее положение, по выражению лица судя, судьба ее не баловала. Вряд ли брак с Г.С. Волконским был заключен по чувству. По понятиям ее времени, она, скорее, дурнушка. Серые, чуть на выкат глаза, длинноватый нос, узкий рот. Сегодня сказали бы: у нее есть «шарм». В ее времени в моде был «ангельский взор», губки, если и не бантиком, то нежные, пухлые, детские, и прямой нос античной статуи. Ничего этого в ней не было. Комплекс «дурнушки» должен был прочно засесть в ее душе. Ее сестра Прасковья Николаевна, к слову сказать, чрезвычайно на нее похожа, но — почти красавица. Бывают такие странности...

Прасковья замужем за князем Голицыным. Сестру наша княгиня любила. А сестра умерла рано, 28 лет от роду.

Третья, самая младшая, Дарья Николаевна, — хоть и горбунья, а вышла замуж, похоже, по любви, за барона Каленберга, который сперва служил под началом старика Волконского, а потом был воспитателем у будущего декабриста, князя Сергея Репнина, учитывая физический изъян дочери, наградил ее наибольшей частью имущества. Брак этот Александра

Николаевна не одобряла, и чрезмерную щедрость отца — тоже, и огорчалась. Огорчения копились. Не в ее правилах было делиться с кем-либо своими горестями, а потому — лицо замкнуто. Очевидно, не умея и не желая давать волю внешним проявлениям чувств, Александра Николаевна была человеком вполне семейственным, способным и на чувства, и на глубокие привязанности. Тому свидетельство ее нежные и близкие отношения с матерью.

Мать Александры Николаевны, Наталья Александровна, была предметом неизменного обожания супруга, фельдмаршала Репнина. Вот у них-то был истинно счастливый брак, несмотря на вспыльчивость фельдмаршала и на некоторую слабость к красоткам его поры, которую он сохранил до весьма преклонных лет. Из всех своих дочерей Наталья Александровна более всего любила старшую, Александру Николаевну, и была с ней наиболее близка. Она подолгу жила у нее, когда муж отсутствовал в связи со своей военной карьерой, или нередко отлучался по военным делам, причем не на короткие сроки.

В 1792 году фельдмаршал Репнин был назначен вильнюсским, гродненским, лифляндским и эстонским генерал-губернатором. Семья переехал в Гродно, где постоянно обитал и был частым гостем у Репниных король Станислав Август. Дом слыл одним из наиболее открытых и аристократичных.

Александра Николаевна нередко навещала мать. В 1798 году Наталья Александровна получила орден Екатерины Первой степени, в честь коронации Павла Первого. Как мы помним, она была чрезвычайно близка с его супругой Марией Федоровной. Возможно, по этому случаю в летней резиденции Репниных, именуемой Зверинец, близ Вильнюса, у нее гостила любимая дочь.

Вскоре в один и тот же день обе опасно заболели, мать ухаживала за дочерью, но вскоре болезнь усугубилась у нее настолько, что в ноябре, когда Александра Николаевна сама была при смерти, ее мать скончалась.

Год совпадает с нашими предположениями о времени написания портрета. Не отсюда ли странная черная, возможно,

траурная шаль нашей княгини?

При дальнейшей атрибуции портрета с помощью различных технических средств выявился темно-синий оттенок шали. И возник вопрос: тот ли это траурный год? – усумнились уважаемые искусствоведы. Как будто людям, причастным к живописи, неизвестно, что искусство художника в том и состоит, что он не напишет черный цвет ваксой, а найдет тот его оттенок, который гармонирует с общей гаммой картины, равно как и белый у настоящего художника не бывает просто белым, а таит в себе множество оттенков.

Итак, к нам попал – интуиция подсказывает – портрет скорбной поры Александры Николаевны. Она еще не ведает, что главная скорбь ее жизни наступит через четверть века, когда любимый младший сын Сергей попадет в беду...

Волконские – родители и дети. – Насколько несхожи были характерами супруги Волконские, настолько по разному складывались их отношения с сыновьями, а сыновей было трое – Николай, Никита и Сергей.

Отец, как мы видели, детей баловал избыточной любовью, вниманием, и неким особым своеобразным «уважением к личности». В письмах к дочери из Оренбурга, поминая сыновей, он писал не иначе, как «наш князь Николай Григорьевич», перечисляя его заслуги, «наш князь Никита Григорьевич», и «наш герой князь Сергей Григорьевич», восхваляя его быстрый рост в военной карьере, награды и воинские подвиги.

«Наш князь Сергей» по праву был предметом гордости отца – в двадцать три года он станет генерал-майором.

Хотя не грех упомянуть, что родовитых отпрысков приписывали чуть ли не с младенчества к различным полкам – князя Сергея, в частности, в 8 лет! – так что фактически вступая на военное поприще, они в весьма юном возрасте уже «были при чинах».

Князь Сергей был крепкий орешек. Их тех «шалунов», что в толстовском романе «Война и мир» привязывают квартально к спине медведя и пускают плыть по реке. Князь Николай, к

которому, за неимением у Александры Николаевны сыновей, по желанию деда Репнина, перешла его фамилия, и он стал именоваться Репнин-Волконский, князь Николай был тоже не легок нравом.

В мемуарах современников сохранилось предание, будто старшего сына отец как-то ударил по щеке, и тот обиделся и закрылся в своей комнате. Отец, будучи человеком мягким и отходчивым, тут же пожалел, что уязвил самолюбие юнца, и тщетно стучался в его дверь. Дверь оставалась закрытой. Наконец, отец воскликнул: «Отопри, я на колени встал!». Дверь открылась, и что же? За порогом в комнате перед дверью на коленях стоял тоже раскаявшийся сын...

Современники посчитали этот случай еще одним чудачеством старика Волконского, и как все его чудачества, – следствием ранения головы в его бесчисленных сражениях. Наверное, они ошибались. Все это было всего лишь следствием его удивительного характера и абсолютной внутренней свободы. Вспоминали: иногда он гулял по Оренбургу, его сопровождали лакеи со сладостями на подносах – для угощения всякого встречного. Ибо прежде всего Григорий Семенович был человеком приязненным. Не меньшим чудачеством казался экипаж, запряженный четверкой, увешанный всякой снедью и битой птицей, – это Григорий Семенович отправлялся проведать бедных и помочь им.

Иной была Александра Николаевна. Вот чего у нее не было, так это внутренней свободы. Рожденная в 1756 году в царствование «веселой Елисавет» и в пору наивысшего блеска ее отца Репнина, она впитала в себя все придворные условности и принимала их без сопротивления, как единственно верные единственно возможные правила жизни. Затем, став статс-дамой, приняла все ограничения, связанные с таким положением. Если об ее отце Репнине современники вспоминают, что он был «истинный царедворец», то о ней стоит сказать, что она была «настоящим служакой». Она истово служила трем императрицам, переступая через собственные неудобства, потери, беды,

горести. Ей доверяли, и она служила. Что сказывалось на отношении с детьми.

«Обожаемая матушка», как называл ее Сергей, будущий декабрист, сама глубоко вникала в его воспитание. Азы железной дисциплины и чувство службы – от нее. От этого же и последующий внутренний протест Сергея: долой притеснения!

Учился он, конечно же, как почти все его последующие друзья и враги, у знаменитого католического аббата Николья, который эмигрировал в Россию после французской революции. Его педагогический авторитет слыл непререкаемым. Александр Первый ему всячески благоволил, и не зря. В свите государя, в основном, собрались воспитанники пансиона аббата Николья, и, судя по тому, что в формуляре Сергея Григорьевича при вступлении на фактическую военную службу в чине поручика, на вопрос: «Российской грамоте читать и писать и другие какие науки знает ли?» сказано, что «по-русски, французски и немецки читать и писать может, математике, фортификации и географии обучен», – аббат Николь содержал серьезный пансион.

«Обожаемая маменька» строго следила за моральным обликом сына. И было отчего. Как он сам пишет в своем «Записках», уже умудренным опытом человеком: «Моральности никакой не было в них (молодежи, - *авт.*), весьма ложными понятия о чести, весьма мало дельной образованности и почти во всех преобладание глупого молодечества, которое теперь я называю чисто порочным».

1812 год был рубежом, за которым начиналось осознание истинного долга и истинной чести, что, однако, вовсе не мешало «шалостям» и диким попойкам, после которых следовали дуэли, во время Александра Первого, никак не порицаемые, если «все шло по правилам».

Странное было время, судя по «Запискам» С.Г. Волконского. Карточная игра была нормой жизни. Но – «шулерничать не было считаемо за порок; хотя в правилах чести мы были бы очень щекотливы. Еще другое было странное мнение – это что

любовник, приобретаемый за деньги, за плату (*amant entretenu*) не подлое лицо»...

Словом, послушный сын Сергей Волконский окунулся в самостоятельную жизнь и, похоже, весьма рьяно. Судя по описываемым «шалостям».

Вот что он пишет: «До поездки в армию я был посетителем гостиных, не так по собственному желанию, как по требованию матушки моей. Я вернулся освобожденным от слепого повиновения моей матери. Прежде сидел на квасе и на подкрашенной воде (с вином), теперь – бокал в один глоток и чупурку водки также. Прежде куда едет обедать маменька, и я туда следом. Приехав из армии – иное: помню, как удивило матушку мою, что пью за фриштыком водку, за обедом голое вино, а уж чтоб следовать за ней, этого не было. Не хвалю вовсе себя, но не хвалю и прежнюю надо мной взыскательность; то и другое должно иметь меру».

Отсюда, может быть, укоренившееся напряженное выражение в лице нашей княгини, ибо бедная Александра Николаевна все время настороже. Тем более, что для Сергея военная служба проходит куда легче, чем для многих других. У него в запасе сестра Софья Григорьевна, одна из первых дам высшего общества, а, главное, ее муж Петр Михайлович, доверенное лицо Государя, который «протолкнет», вызволит, поддержит...

Впрочем, положение матери при дворе было настолько прочным, что по одному ее слову перед сыном открывались все двери. А выручать его Александре Николаевне приходилось нередко...

Шалости. – Молодым полковникам и генералам, которые понюхав порошу, почувствовали себя героями, в свободное от службы время хотелось шалить. И они шалили.

Ну чего же, в самом деле, не доставить себе такого удовольствия, и не пустить камнями в зеркальные окна французского посольства? Окна – вдребезги, шалуны разбежались и, как пишет сам Сергей Волконский, вряд ли когда-либо открылось, кто виновники. Примчались на санях, умчались на них же...

И почему бы не покуражиться в ловкости? Для этого заставляли специально обученную собаку при команде «Бонапарт» снимать шляпы и шапки с прохожих, причем тут же, рядом, в палатке, содержались на цепи два медведя, которые грозно рычали...

А если добавить кавалькаду полураздетых храбрецов на лошадях без седел, к дому своего командира Давыдова, который обещал присутствовать на пирушке, но почему-то скрылся, и насильственное «извлечение» его из спальни жены, то стоит ли удивляться, что слухи доходят во Дворец.

Они додумывались даже до того, чтобы устроить серенаду для императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Государя, для чего приплыли на двух лодках к Каменному Острову и едва успели уйти от погоны, по воде же.

Все это князю Сергею в глазах высшего света и Александра Первого симпатий не добавляло.

И, наконец, - великая тревога Александры Николаевны за влюбчивость сына! Молодых героев в аристократическом Петербурге привечают, салоны и сердца для них открыты. Сергей влюблен в троюродную сестру, княжну Лобанову-Ростовскую, и вызывает на дуэль соперника Кирилла Нарышкина. Но тот клянется, что на руку княжны не претендует, дуэль не состоится, инцидент кончается очередной попойкой.

Однако, неудачный роман «не вразумил мое пылающее молодое сердце, - которое воспламеняется новой восторженностью любовной», - читаем в «Записках». На сей раз чуть было не дошло до женитьбы. Так как свой «объект» князь Сергей часто встречал в свете, в частности, в родственных гостиных. Чувства оказались взаимными, но избранница, «приятная собою, не имела денежного состояния, а мать моя столь явно и гласно выказывала ее родным, что она не желала этого союза, что мать той, которую я не называю, просила меня приехать к ней, хотя я и не ездил к ним в дом», - пишет князь Сергей. Можно представить, с какой надеждой ответил он на приглашение, но разговор получился совсем иной, нежели он ожидал.

Хозяйка дома объявила восторженному влюбленному, что явное противодействие Александры Николаевны «против исполнения моего соискания, которое она, впрочем, очень ценит», поставляет ей в обязанность просить меня прекратить мое ухаживание за ее дочерью и что она никогда не согласится передать свою дочь в другую семью, где бы ее не приняли радушно», - сетует князь Сергей, впрочем, очень скоро утешившийся, «и по влюбчивости моей недолго мое сердце было свободно и воспламенилось снова и опять с успехом» к некоей таинственной Е.Ф.Л.

Затем последовали новые влюбленности, которые уж вовсе заставили Александру Николаевну «принимать меру». Из воспоминаний самого князя Сергея узнаем, что прибыв в Москву, мать известила его о назначении в штаб главнокомандующего Молдавской армии графа Николая Михайловича Каменского. «Неожиданное мое назначение волонтером при новом главнокомандующем армии Молдавской было следствием попечения моей матери, как я полагаю, и, вероятно, из убеждения, что образ жизни моей в Петербурге и расположение к влюбчивости мне не в пользу», - догадывается князь Сергей.

Удаление в Молдавию — это уже была крайняя мера. До того, чтобы образумить сына, Александра Николаевна даже отправила его к отцу, в Оренбург, вместе с братом Николаем, Оба были истые молодцы, Николай прославился при Аустерлице, а Сергей радовал отца рассказами о том, что повидал в сражениях в 1806 и 1807гг. Старик лелеял любимых сыновей, и все бы хорошо, но и в Оренбурге были премилые барышни, так что...

Словом, князь Сергей отправился в Бухарест, где попал на постой к некоему боярину Роллети, у которого были двое сыновей и две славненькие дочки. Дочки ухаживания не приняли, и потому князь Сергей и друг его Валуев, стоявший тут же на квартире, узнав, что барышни гораздо снисходительнее «к каким-то молдаванам», прознали также о грядущем свидании и оповестили отца и братьев ветрениц. Последовал скандал в боярском семействе. Разборок не случилось, но когда князь

Сергей в следующем году вновь прибыл в Бухарест, Роллети слезно просил, чтобы его к нему на постой не определяли...

Последствия турецкой компании. - Слухами о кутежах и проказах Петербург полнился. К князю Сергею, казалось, охладил даже государь. Однако турецкая компания выручила. Может, и не блистательное взятие крепостей Силистрия, Шумла и Руцук, в которых участвовал князь Сергей, сыграли решающую роль в «смягчении отношений», а исподвольное влияние Александры Николаевны при дворе. И – случай.

Казалось, акции князя Сергея понизились до того, что его «изживают» из армии, послав простым курьером в Петербург от турецких событий подальше. И он едет. «Не как вестник какого-либо удалого военного действия, но как «выжитый» - пишет князь Сергей.

Но вот – случай! Пока он собирался в путь, «неожиданно» вовсе приехал курьер из Малой Валахии и привез несколько трофеев от удачной стычки с турками» и были эти трофеи вручены князю Сергею «для отвоза государю», и тем хоть в отношении мнения петербургской публики его приезд был покрыт какой-то благовидной причиной, - по крайней мере, он так считал, о чем и пишет.

Только он зря беспокоился. Почву для почетного возвращения в Петербург, как он тоже вскоре узнал, Александра Николаевна уже успела подготовить. В пути его встретил фельдъегерь из Петербурга и, узнав, что он – Сергей Волконский, сообщил, что по просьбе Великой княжны Екатерины Павловны, «по расположению Ее к моей матери, при которой она была гофмейстериней» - догадался князь Сергей, - он назначен флигель-адъютантом при Государе.

В Петербурге, побывав у военного министра, он переоделся и «поехал к матушке, которая тогда имела постоянное пребывание в Аничковом Дворце. Радостная была встреча и от бесценной моей матери и для сыновних моих чувств; обожаю эту беспримерную мать мою по теплоте чувств и попечению своим детищам», - восклицает воспрямивший,

было, духом князь Сергей.

Но радоваться было рано. Александр Первый не злопамятен. Но он – памятливы. Бесчисленные проказы своего подопечного молодняка оценивает трезво. Кутежи, картеж, даже дуэли – что ж, молодо зелено. Но есть некая черта «вольности», нарушение которой император, не напрасно именуемый «византийцем» в европейских кругах, прозорливо примечает. Князь Сергей не единожды к такой черте приближался...

Вернувшись в Петербург, казалось бы, что бы ему поутихнуть. Но – нет! Новая выдумка: во время, когда «весь Петербург» прогуливается по так называемому Царскому кругу, то есть по Дворцовой набережной мимо Летнего Сада, по Фонтанке до Аничкова моста и по Невскому проспекту опять до Зимнего, император, обычно с 2 до 3.30 проезжал или прохаживался пешком по этому же маршруту. Собственно, тем и были вызваны прогулки петербуржцев. Дамы чаяли привлечь высочайшее внимание туалетами и манерами, а прочие царедворцы или искатели выгодных мест, вытаптывали себе почву к возвышению.

Иной была цель нескольких дружков – князя Сергея сотоварищи. Они появлялись по названному выше маршруту, держась об руку, «чтоб посмеяться над ищущими приключений и столь дорого ими ценимыми, и частью, чтобы и им царю показать, что вне службы мы не зависимые люди. Понял ли сам это царь или передана была ему довольно гласная и неосторожная наша болтовня, но мы убедились, что царь, издали завидев нас, уже в миновении встречи с нами, оборачивал голову в другую от нас сторону, и не отвечал учтивостью на деланный нами фронт и подвеску руки к шляпе», - вспоминает князь Сергей.

Знаменательно, что высокое негодование постигло и командира проказников Депрерадовича, коему было передано, что он, де, составил царю «не корпус офицеров, а корпус вольнодумцев»...

Итак – слово «вольнодумцы» произнесено. А при памяти Александры Первого...

И все же флигель-адъютант князь Сергей продолжал проказничать. Хотя сам признается, «что, будучи на приеме у Государя, убедился в весьма сухом его отношении к себе».

И что же? Сергей Волконский свидетельствует: «Станислав Потоцкий созвал многих в ресторан обедать, под пьяную руку мы поехали на Крестовский. Это было в зимнее время, был день праздничный, и кучи немцев там были и забавлялись. Нам пришла мысль подшутить над ними. И как садится немец или немка на салазки, толкали салазки из под них ногой - любители катания отправлялись с горки уже не на салазках, а на гузне». . .

Шутки шутками, а немцы разбежались, и, разобидевшись, подали жалобу полицмейстеру Балашову. Шалунов была целая ватага, но генерал-губернатор Петербурга вытребовал к себе именно князя Сергея и объявил ему от имени государя «высочайший выговор». Иные-прочие, похоже, не пострадали. . .

Александра Николаевна пристально следила за «громким» образом жизни сына, который обитал в ее доме на Мойке на нижнем этаже. Тем не менее, ничто не служило «младшенькому» наукой. Он и тут умудрился «нашуметь», причем нешуточно. В этом же доме проживала француженка, любовница Ивана Александровича Нарышкина, которого князь Сергей почему-то невзлюбил. Нарышкин имел глупость «реквизировать» у своей жены комнатную собачку и подарить ее француженке. Князь Сергей, недолго думая, выкрал собачку и спрятал у себя, намереваясь вернуть законной владелице с соответствующими комментариями. Француженка всполошилась и послала к нему своего приятеля и соотечественника. Как не отнекивался князь, а собачка вдруг предательски залаяла, визитер возмутился, на что князь Сергей пригрозил спустить его с лестницы и притом кричал вслед: «Люди, в шею этого гольгуза!».

Оскорбленный француз отправился опять же прямо к Балашову, письменный рапорт тут же последовал к государю и князя Сергея посадили на три дня под комнатный арест, после чего вполне мог бы воспоследовать «большой взыск», но и тут помогли связи Александры Николаевны и зятя Петра

Михайловича Волконского.

Мария Антоновна Нарышкина, полномочная владычица сердца Александра Первого, будучи в каком-то «свойстве» с покровителями князя, а более всего из уважения к Александре Николаевне, устроила все полюбовно: князя из-под ареста выпустили, «но все эти оказии не были мне сручны в мнении о мне государя», - признается князь Сергей.

У Сергея Волконского было множество приятелей. Но мало друзей. Самая тесная дружба завязалась у него, как ни странно это покажется сейчас, с Александром Христофоровичем Бенкендорфом, тоже в то время флигель-адъютантом. Остается удивляться парадоксам судьбы. О Бенкендорфе Сергей Волконский пишет: «чистая его душа, светлый его ум имели это ввиду, что жандармская служба (к которой он вначале попытался склонить и князя Сергея), и потом, как изгнанник, я должен сказать, что во все время моей ссылки голубой мундир не был для нас лицами преследователей а людьми, охраняющими и нас, и всех от преследований». . .

Симптоматично, что в 1826 году, находясь в Петропавловской крепости, князь Сергей составил завещание, которое передал на хранение именно Бенкендорфу, а последний, очевидно, крепко памятуя прошлые узы дружбы, старался всячески облегчить участь декабриста.

Но пока беда еще не грянула, князь Сергей вращается в высших кругах Петербурга, однако же понемногу молодой флигель-адъютант «заражался хорошими манерами и умением жить», поняв, что оказывая мелкие услуги и любезности, можно значительно упростить и облегчить придворное бытование. Все знали, например, что когда государь танцует с Марией Антоновной полонез, то музыка должна звучать бесконечно. Впрочем, и тогда, когда государь приглашал на танец «хорошенькую молодую даму, но если государь ведет какую-нибудь старуху, взятую им из приличия, то если можно, то польский (полонез) должен продолжаться лишь полкруга залы и никогда более целого круга». Обо всем этом, в частности, заботились

именно флигель-адъютанты.

Война 1812 года упрочила позиции князя Сергея, он вновь обласкан государем и, несмотря на то, что любимый сын был в гуще великих событий, Александра Николаевна, «служака», могла быть спокойна. Воевать – его обязанность и его служение. А уж как судьба повернется, – никто не волен судьбе противиться.

Сын более не позорил ее положение при дворе, и это было главное. Впрочем, это ее положение вряд ли что либо могло поколебать...

В конце 1812 года князь Сергей вынужден по болезни на время удалиться из действующей армии и он едет лечиться в Прагу, где тогда находилась великая княжна Екатерина Павловна, при которой, как уже сказано, Александра Николаевна была гофмейстериной и, конечно же, великой княгине князь Сергей был представлен, заметим, – по просьбе княгини, «из расположения к моей матери» – конечно же.

Но кончилось лечение и Александра Николаевна вновь теряет сына из вида. Бои следуют за боями, битвы за битвами – князь Сергей снискал славу «героического воина». Теперь прежняя беспечность и разгул – забыты. По крайней мере, на время военных действий.

Добрались до Франкfurта. И что же? «Встретившись с товарищами моей молодости столичных берегов Невы и московскими, с товарищами бивачными войн, в которых я участвовал в 1806, в 1807, в 1810 и 1811 годах, с товарищами 1812 и частью 1813 года, при бездельи и отдыхе от служебных занятий, чем наполнить день за день свой быт при беспечности молодых лет, как не разгулом – и он был полон, – честно признается князь Сергей, – но ныне, при зрелых моих летах и с приобретением опытности и перенеся многие испытания, не понимаю, как ни столкновения с людьми, стоящими изучения, при мысли, что предстоящие новые военные действия и возможности положить жизни не отвлекают от порывов страстей, разгула, просто скажу разврата...».

15 сентября 1813 года 23-летний князь Сергей был произведен в генерал-майоры, а во Франкfurте – в кавалеры ордена Святой Анны 1 класса. Теперь Александра Николаевна сыном могла гордиться. До того у него уже был орден Святой Анны 2 степени, «а потом с бриллиантами, третьего класса Владимир, Георгиевский крест... конечно, все это выше моих заслуг». Князь Сергей явно скромничает. Он действительно свои награды заслужил.

Теперь двор вполне высоко оценил такую его скромность, иначе – князь Сергей, как флигель-адъютант Государя, не присутствовал бы на Венском Конгрессе. Развеселой венская жизнь для вчерашних вояк не была. Александр Первый сразу же заметил, как отстали его «орлы» в манерах и светскости от цвета венской аристократии и «обходился с ними крутенько». Но они веселились на свой лад, то есть обычным манером. Впрочем, князь Сергей и здесь тоже успел, что называется, «наступить на грабли».

Война войной, а в тайне души он был ярым поклонником Наполеона, которого воспринимал как символ французской революции, коей всегда сочувствовал. Так что в Вене он принялся собирать коллекцию портретов Наполеона от самой осады Тулона до отречения императора в Фонтенбло. О чем, конечно, немедленно узнал канцлер Меттерних, а стало быть, и Александр Первый. Отчего последовала «мне головомойка» – пишет князь Сергей.

Переpletенная in folio коллекция была им «поручена на хранение командору Лобанову, но он, вероятно, мысля, что я не возвращусь из Сибири, почел ее своей собственной, и, наконец, продал», – предполагает декабрист Волконский.

Но до Сибири пока далеко, князь Сергей в Вене почувствовал себя неуютно и отправился в Париж. Здесь он, конечно, наперехват – местная аристократия и российские блестящие салоны обласкивают и привечают молодого генерал-майора, «который все видел своими глазами!».

Один из русских наиболее блистательных центров – салон графини Лаваль, с которой дружит Александра Николаевна.

Графиня – мать Каташи, будущей княгини Екатерины Трубецкой. Мог ли предположить князь Сергей, вальсируя в салоне графини, что его будущая жена последует за ним в Сибирь вместе с дочерью графини Лаваль...

Из Парижа, как ни переправиться в Англию, и вот уж князь в Лондоне, где он – частый гость в салоне жены русского посла Ливена. И вдруг известие: Наполеон высадился во Франции. Начинаются знаменитые «сто дней». Ливен в тревоге предостерегает: теперь всех иностранцев велено будет из Франции высылать, так что не вздумал бы князь туда отправиться, но он конечно объявляет, что он, де, – частное лицо, и именно сейчас во Франции всего интереснее.

Конечно, Александр Первый узнает об этой затее незамедлительно. Реакция была предсказуема. «Я могу понять, что мсье Серж (так он называл меня в отличие от других членов нашей семьи, которые входили в его военную свиту) захотелось самому посмотреть, что творится во Франции. Но если он по собственной ему горячности возьмется за какое-нибудь поручение Наполеона ко мне, прямо в Петропавловскую крепость», – читаем в записках будущего декабриста Волконского.

Итак – «Петропавловская крепость» произнесено.

До «событий» – неполных 10 лет. В крепости князь Сергей побывает.

Слухами жив Двор и Александра Николаевна не может не знать об очередном недовольствии Государя, но в полной мере она и представить не может, какую беду ей предстоит пережить. Сам же князь Сергей, как обычно, вновь сгустившихся облаков не замечал. Осторожность была ему чужда.

В Париже события разворачивались стремительно. разгром Наполеона при Ватерлоо и возвращение Бурбонов. Расправа над «изменниками». Одним из коих был некий Лабедуайер, ранее пребывавший в близком окружении Наполеона. Его судит Королевский суд и приговаривает к расстрелу, за то, что при высадке Наполеона он перешел опять в его армию.

Как тут было не вмешаться князю Сергею, при его всеми признанной «горячности»? он срочно пишет сестре Софии

Запоздалое путешествие княгини Волконской в Сибирь

Григорьевне – пусть бы она посодействовала, ведь она вхожа к герцогине Ангулемской, пусть бы ее супруг фельдмаршал Петр Михайлович походагастовал. Он просит и супруг своих братьев Николая и Никиты помочь несчастному Лабедуайеру, которого, конечно же, расстреляли.

Но памятный Александр Первый против имени «мсье Сержа» в памяти своей внес еще одну зарубку.

В «Записках» читаем: «Император... поручил князю Петру Михайловичу выразить его негодование, сказав, что я не только сам, но и сестер увлек к недолжным действиям и чтоб я перестал бы вмешиваться в дела Франции, а обратился бы к России. Исполню ли я мне предназначенное, это увидим в исходе повествования моей политической жизни».

Если бы суд над декабристами случился бы при Александре Первом, то при исключительной памяти императора князю Сергею жизни бы не сохранить, несмотря на все его военные заслуги.

Но маловажно, что судом «фулит» Николай Первый, главное – во Дворце и в Обществе – «есть мнение». Участники Судебного Комитета, многие из коих – бывшие друзья Сергея Волконского и в близкой свите Александра Первого, о суждениях последнего были наслышаны. Они тоже – памятливы...

А пока жизнь шла, однако же, своим чередом, победоносные войны кутят, ссорятся по пустяковым поводам, что в ту пору случалось чаще всего, потом мирятся, или стреляются на дуэлях.

В Житомире князь Сергей вызывает весьма приметного в польских кругах житомирского губернатора Варфоломея Каетановича Ижицкого, и конечно же, по малозначительному поводу. Ижицкий слыл стрелком отменным и князь Сергей перед дуэлью пишет два письма: «одно на имя государя, другое на имя моей матери, в которых изъяснял все обстоятельства дела, подавший повод к поединку. Не скрою, что второе письмо писал со скорбью в сердце, зная, какое горе нанесет ей моя смерть, но выказывал ей, что она поймет, что я принял вызов по долгу

Лавиния Мятлева

не только светских приличий, но по долгу гражданина, и что я уверен, что если судьба моя нанесет ей горе, она поймет, что, не напрашиваясь на это происшествие, я приведен был к оному силой обстоятельств».

Однако, секундантам удалось уладить конфликт, противники примирились. Все закончилось банкетом.

После 1818 года князь получает заграничный отпуск. За последние десять лет он много чего повидал, многому поудивлялся и сделал для себя неутешительные выводы о безнадежной отсталости России от Европы во всех отношениях. Теперь ему хотелось повидать Америку. Не сбылось...

2

Каторга. - Судьба распорядилась иначе. Князь Сергей станет участником событий 14 декабря 1825 года и попадет в Сибирь, сперва на каторгу, а потом на поселение до амнистии 1855 года, по случаю коронации Александра II.

Царствованию Николая I, который и заслал декабристов в Сибирь, князь Сергей свидетелем не был. Зато именно в этот период проявились несправедливо недооцененные потомками удивительные свойства характера Александры Николаевны, матери декабриста.

Об этом времени немало суждений о Александре Николаевне высказывает в своих «Воспоминаниях» Сергей Михайлович Волконский, внук декабриста и правнук нашей княгини, которую он, естественно, никогда не видел, поскольку она умерла в 1834 году, и мог знать о ее внешности, настроениях и действиях после ареста князя Сергея, только понаслышке, преимущественно от своего отца, а тот — от Марии Николаевны Волконской, урожденной Раевской, его матери.

Очевидно, вопреки «обожательному» отношению декабриста к Александре Николаевне, в его семье к ней царило

отношение скорее холодное и, похоже, во многом несправедливое. Ее супруг Григорий Семенович Волконский, отец декабриста, который после «оренбургского сидения», то есть после 1816 года, никаких видных постов не занимал, и даже слыл как бы в немилости, однако числился все же членом Государственного Совета — отец декабриста умер в 1824 году, не «дожив до позора». Умер он в Петербурге на 82-м году жизни и Александра Николаевна велела похоронить его в Александро-Невской лавре, где приготовила место и для себя, но за супругом последовала лишь через десять лет.

Наверное, это были самые тяжелые десять лет ее жизни.

Правнук ее прочувствованно задается вопросом, что случилось бы с Григорием Семеновичем, если бы узнал, что «герой наш князь Сергей» поднялся на царя? Он, который писал дочери Софье Григорьевне, сестре декабриста, «утешаюсь, матушка, что ты непрерывно занята наилучшими в жизни упражнениями при высочайшем Дворе!»

Но ведь и Александра Николаевна, которую в своих письмах детям супруг называл, не иначе как «ваша добродетельная мать, моя дражайшая супруга княгиня Александра Николаевна», и которая, очевидно, и была главой семьи Волконских, со всеми отсюда вытекающими неудобствами и обязанностями, должна бы придерживаться точно таких же взглядов, как и Григорий Семенович. Она и придерживалась.

Но когда речь зашла о судьбе любимого сына, которого про себя она называла «повесой», — сработали иные стимулы. Потому что то, что он был участником 58 сражений и вся грудь у него в орденах настолько, что, по воспоминаниям современников, придя в оперу, он не снимал шинели, а на вопрос «почему» отвечал: «из скромности», и когда распахнул все-таки шинель — все застыли в изумлении от сверкания его наград — все это, в общем, было в порядке вещей.

Дворянское звание обязывало служить и воевать, а дворянская честь велела воевать героически. Так что вся юная поросль Александрова царения сверкала орденами и вошла в историю

беспримерными подвигами.

Родителям, конечно, в радость, - князь Сергей действительно был истинным героем. Но то был другой князь Сергей – «официальный», принадлежавший Двору, служебной карьере, а ее, Александры Николаевны, князь Сергей, был просто неопытным, доверчивым, влюбчивым молодым человеком, которого следовало постоянно оберегать, остерегать и выручать вовремя сказанным словом высочайшим покровителям, поскольку он постоянно попадал впросак.

Теперь, после его ареста, ей надлежало наметить для себя ту линию поведения, которая в постигшей его беде могла быть ему наиболее полезной. И она выбрала. Не по велению «сладчайших сентиментов», а – разума. Чем вызвала недоумение родственников и скрытое, а потом и явное порицание в семействе Раевских, то есть – родственников снохи.

Как пишет ее правнук, пока шел допрос декабристов и князь Сергей сидел в Петропавловской крепости, Александра Николаевна пребывала в Москве, поскольку готовилась коронация Николая I и ей надлежало сопровождать императрицу Марию Федоровну, мать будущего государя. С легким ли сердцем, - остается лишь догадываться...

Правнук, утверждая, что ее стимулами были только этикет и дисциплина, признает, однако, что «события 14 декабря поставили ее в трудное положение: первая дама в империи и сын – каторжник...».

К тому времени она уже давно переселилась в Зимний Дворец, а дом на Мойке, где потом жил Пушкин, как уже было сказано, предоставила детям.

Пока «наш князь Николай», «наш князь Никита» и «наш герой князь Сергей» воевали, разъезжали по Европе, добивались высот служебной карьеры, она пребывала в холодноватой, расписанной по часам атмосфере Зимнего, наиболее созвучной ее строго уравновешенному и упорядоченному строю души.

Александра Николаевна – человек малочисленных привязанностей. По крайней мере, по воспоминаниям правнука,

настоящая сердечная привязанность была у нее одна: ее компаньонка француженка Жозефина Тюрнанже, которая, по мнению правнука, была как бы вторым центром семьи. Она переписывалась со всеми многочисленными членами большого семейства Волконских и сообщала им все домашние новости. Но самое важное – она сообщала обо всех новостях светской жизни Петербурга далеким изгнанникам, тем самым оберегая от одиночества и оторванности от общества.

Но письма Жозефины, которую князь Сергей зовет «моя сестра» - это, по сути, письма самой Александры Николаевны. Каждую пятницу, с методичностью, столь ей присущей, она посылала письма в Сибирь. Помолвки, свадьбы, родины, крестины, первые зубки младенцев – все подробно описано, как будто сибирские Волконские вовсе из Петербурга не отлучались.

Как относился Двор к гофмейстерине Волконской? Внучка Александры Николаевны, дочь Софьи Григорьевны, сестры декабриста, Алина, сообщала своей матери, что императрица была весьма добра к Александре Николаевне в период допроса декабристов и даже предлагала своей гофмейстерине оставаться в своих апартаментах, если ей так удобнее. «Но – пишет Алина, - бабушка ради этикета все-таки присутствовала на представлении дам». А как бы иначе? Дальновидная и трезвого ума, искушенная в правилах дворцовых отношений, надо полагать, она представила, что ей не раз еще придется прибегнуть к благосклонности высочайшей власти. И – прибегала.

Иначе чем объяснить, что «мсье Серж», как называл его почивший в бозе Александр I, арестованный в Умани и привезенный в Петербург, был помещен в Алексеевский рavelин, в одной из камер Петропавловской крепости, а именно в номер 4, и отсюда числился как «заключенный номер 4». Почему, - об этом ниже.

Несмотря на все строгости к узникам, переписка князю Сергею запрещена не была и у его внука в семейном архиве сохранилось множество писем, адресованных декабристу в

Петропавловскую крепость. Писали ему все родственники, и, конечно, в первую очередь, «обожаемая маменька», Александра Николаевна. Сохранилось 4 ее письма, написанных по-русски, видимо, ею самой, а не Жозефиной, и множество других – по французски, очевидно, продиктованных ею компаньонке. Русские письма написаны до ее отъезда на коронацию в Москву, куда «угодно было императрице Марии Федоровне меня назначить ехать с собой», как она сообщила своей дочери.

Как чувствовала себя княгиня, чего ожидала? О том можно судить по письмам ее внучки Алины к разным адресатам:

«Бабушка вчера много плакала, сегодня почти не спала. ...

«Императрица была у бабушки, утешала ее»... .

«Государь (Николай I, - *авт.*) просил бабушку утешиться, не смешивая дела семейные с делами службы – одно другому не помешает»... .

И, действительно, не мешает. В день коронации Александра Николаевна получает орден Святой Екатерины 1 степени с бриллиантами.

Императрица Мария Федоровна чувствует себя перед княгиней крайне неловко. После 13 июля, когда казнены были «те пятеро», императрица несколько дней с княгиней не встречалась вовсе, а 18 июля написала ей ласковую записку, в которой признается, что сама мысль встречи с ней причиняет ей боль, и просит Александру Николаевну «принять ее благожелательно», не забывая о их старой дружбе.

О старой дружбе, очевидно, не забывали обе стороны. Почему-то же 13 июля, в день казни декабристов, с разрешения Николая I, Алина внучка Александры Николаевны, посещает дядю, князя Сергея, в крепости, а она была его любимой племянницей, и пишет матери, что при свидании присутствовал Александр Христофорович Бенкендорф и всячески ее поддерживал.

Это при том, что до последнего дня семьи прочих декабристов оставались в неведении, какова будет судьба заключенных. Волконские почему-то же надежды не теряли и сестра декабриста, Софья Григорьевна, пишет Александре Николаевне, строя

планы, в какую именно комнату они поместят князя Сергея, когда его освободят из крепости. Настолько они были уверены, что с ним ничего дурного случиться не может.

Как же, однако, не любит прабабушку Александру Николаевну ее правнук Сергей Михайлович Волконский, если пишет об этом времени: «никто не смел замолвить слова; старуха княгиня боялась вздохнуть, и только исполняла совет императрицы – берегла себя». Притом, что 15 июля Екатерина Николаевна Орлова пишет своим сестрам Раевским: «императрица сказала княгине Волконской, что Сергей останется жив». Кто-то, значит, не побоялся замолвить словечко, и не такова была Александра Николаевна, чтобы она «боялась вздохнуть»... .

В это же время наша княгиня объявляет, что поедет в Сибирь повидать сына. Об этом пишет матери опять же внучка Алина. А сама Александра Николаевна сообщает эту весть своей невестке Марии Николаевне, урожденной Раевской.

Нелюбящий правнук иронично замечает, что это, скорее, всплеск эмоций, чем намерение, ведь легче чем отправиться в Сибирь было бы навестить сына в Алексеевском равелине, но она написала ему, что не может это сделать, боясь такого потрясения для себя и для него и, кроме того, «императрица настоятельно просила ее беречь себя».

Надо полагать, императрица Мария Федоровна, прожившая насыщенную потрясениями жизнь, своей гофмейстерине давала продуманные советы. Заглядывая далеко вперед... .

До всего этого жена князя Сержа, Мария Николаевна Раевская, побывала в Петербурге и получила свидание с мужем в крепости. Помогал, чем мог, Бенкендорф, принявший ее как супругу бывшего школьного однокашника и товарища по оружию, но необходимо было разрешение Николая I, и такое разрешение Мария Николаевна получила. Кто бы замолвил за нее столь веское словечко, что по велению государя с ней даже поехал врач на случай, если она почувствует себя плохо... .

Такова была, видно, судьба Александры Николаевны. Не вызывала она в пору «чувствительных сердец» симпатию у

своих близких.

Неприятно дышат высказывания Николая Николаевича Раевского, удрученного решением дочери Марии поехать к мужу в Сибирь. Он и впоследствии, после ее отъезда, писал дочери Екатерине, что жена князя Сергея поступила так не столь по чувству, сколько следуя «влиянию Волконских баб, которые похваляли ее геройству и уверили ее, что она – героиня, и поехала, как дурочка»...

Между семьями Волконских и Раевских – необъявленная война. Отец и братья Раевские винят Александру Николаевну и ее дочь Софью Григорьевну в провокационных письмах к Марии Николаевне, жене князя Сергея. Старший брат Марии Николаевны, Александр, вообще вскрывает письмо Софьи Григорьевны и пишет ей, что отец ему велел блюсти спокойствие сестры и потому он вскрыл это письмо, и оно не было и не будет передано адресатке.

Но Волконские не сдавались. Узнав постепенно из разных источников, что Раевские затеяли своего рода «заговор» против переписки с женой князя Сергея, они стали посылать письма с оказиями, притом в нескольких экземплярах. Каждая из семей считала, что страдательной стороной является ее отпрыск.

Софья Григорьевна писала Александре Николаевне о братьях Раевских, называя их не иначе, как «исчадием ада», виня в том, что они «обошли» (то есть обманули) князя Сергея. А Раевские считали, что нежность и расположение матери и сестры декабриста – всего лишь уловка, чтобы убедить Марию Николаевну поехать в Сибирь, потому что «такое решение Волконским было, конечно, приятно», – пишет злоязычный правнук Александры Николаевны.

О странной недоброжелательности Сергея Михайловича Волконского к прабабушке Александре Николаевне можно судить, хотя бы по его описанию ее внешности, ничуть не согласующееся с известным нам портретом, живущим сейчас в иркутском музее декабристов.

Сергей Михайлович пишет, что у него была «прелестная картина», на которой в гостиной, в Зимнем Дворце,

Запоздалое путешествие княгини Волконской в Сибирь

изображена Александра Николаевна в кресле на колесах.

К слову сказать, это кресло попало потом к возвратившемуся из ссылки князю Сергею, а до того верно служило парализованному зятю его Молчанову, мужу любимой дочери Елены Сергеевны.

Так вот, на упомянутой картине в достопамятном кресле княгиня сидит, раскладывая пасьянс, а рядом с ней ее верная компаньонка. Александра Николаевна, по словам автора воспоминаний, «грузная, в белом атласном платье, а напротив нее – тоненькая, в клетчатом шелковом платье ее компаньонка Жозефина Тюрнанже. Обе в широченных чепцах. Только чепец Жозефины легкий, кисейный, а чепец княгини с тяжелыми атласными лентами и бантами, которые как пламя расходятся вокруг большой некрасивой головы. У нее было красное лицо с мясистыми щеками, небольшим крючковатым носом и большими навязат глазами. Она ходила грузной походкой, говорила, судя по странной привычке в письме удваивать согласные, сухо, чеканно. В суждениях ее чувствовался обычай, уклад, неоспоримость того, что установлено обычаем, освящено привычками».

Как не удивиться ряду деталей в этом описании? Вряд ли на «прелестной картине» княгиня была изображена с «красным лицом и мясистыми щеками». Всякий художник стремился облагородить портретируемого, особенно если это столь высокопоставленная особа, как княгиня Волконская. Сергей же Михайлович – уже вполне «современный человек». Вряд ли в начале 20 века он мог представить, что огромные чепцы, ленты и банты соразмерялись с положением женщины в обществе. Но – все это о картине.

О том же, как грузно ходила княгиня и об особенностях ее речи, по картине было не судить, об этом он мог слышать только от родителей. Вряд ли, от самого декабриста. Судя по его отношениям с матерью, он не стал бы так нелестно описывать ее. Думается, скорее Мария Николаевна, невольно проинкнувшись тенью неприязни всего ее семейства к Александре

Лавиния Мятлева

Николаевне, могла рассказывать свои впечатления сыну, а тот Сергею Михайловичу.

Хотя – отметим парадокс! – поездка Марии Николаевны в Сибирь, которую долго запрещал отец, состоялась отчасти после заявления Александры Николаевны, что она намерена повидать сына. И старик Раевский, конечно, нисколько не поверил намерениям княгини, и именно поэтому заявил: «старуха едет к сыну, чему я не верю». И – «поедет свекровь, может ехать и она» (дочь). Будучи убежден, что Александра Николаевна никуда не поедет, и стало быть, он, Николай Николаевич, не отпустит и свою дочь, сделал он столь непродуманное заявление.

Так или иначе, Мария Николаевна в Сибирь отправилась. Оставив новорожденного сына Николеньку на попечение бабушки и тетки. И сестра ее Софья Николаевна пишет в Сибирь: «старая княгиня, по-видимому, очень любит твоего сына, если вообще можно сказать, что она кого-нибудь любит, кроме своей внучки Алины».

После смерти маленького Николеньки Александра Николаевна велела похоронить его в Александро-Невской лавре, рядом с его дедом Григорием Семеновичем Волконским, и где было приготовлено место ей самой.

Удивительно, насколько все-таки непонята была при жизни близкими ей людьми княгиня Волконская. Например, следует напомнить, что она Марии Николаевне устроила аудиенцию у императрица Марии Федоровны. И неискушенная в придворных правилах игры, молодая женщина удивляется, почему Александра Николаевна заверяла ее в расположении императрицы. Потому что беседа шла о пустяках и о погоде.

Как же, о пустяках...

Может, именно вследствие этого «никчемного визита» князь Сергей и остался жив...

По пути в Сибирь Мария Николаевна опять побывала в Петербурге. Ее шурин, муж Софьи Григорьевны, князь Петр Михайлович Волконский фельдмаршал «заехал за мной, чтоб взести к себе обедать, - пишет много позже Мария Николаевна, -

я заехала обнять свекровь, которая велела мне вручить как раз столько денег, сколько нужно было заплатить за лошадей до Иркутска».

Ничего не сказано – много сказано. «Как раз столько» - значит, ничуть не больше. Маленький шип, о котором Мария Николаевна, видно, не забывала, когда рассказывала о свекрови детям...

Правда, она расскажет им и об оживленной переписке с Александрой Николаевной, и обо всех своих поручениях, которая старая княгиня истово исполняла. Расскажет и о том, как сняли с узников кандалы в 1829 году. Очень не привечавший прабабушку, Сергей Михайлович сообщает, что Мария Николаевна мечтает лишь обо одном – поселиться с мужем, что казалось и вовсе невозможным. Она многожды писала отцу, чтобы он похлопотал, пусть бы с узников хотя бы сняли кандалы. Из ответного письма генерала Раевского видно, что он хлопочет, но не очень одобряет затею.

И тут Мария Николаевна обращается к свекрови. Ждать пришлось долго. Видно, княгине нелегко дались хлопоты. Но в 1829 году кандалы с декабристов все-таки сняли, а что касается поселения Марии Николаевны вместе с мужем, княгиня из Царского Села прислала наконец долгожданное письмо, в котором пишет, что она читала государю письмо Марии Николаевны и тот ответил, что просьба будет исполнена, «как только камера Сергея это дозволит». И тут, не жалуящийся Александру Николаевну автор воспоминаний все-таки отдает ей должное: «кто знает придворную жизнь, тот знает, как подобные шаги трудны, как они были в особенности трудны в те времена. Кто знает отношение Николая I к декабристам, тот знает, как должно быть страшно подойти к нему с заступничеством за тех, кого он хотел забыть и о ком помнил до последнего дня своего».

Дело казалось безнадежным. И, однако же, старая княгиня сумела исхлопотать то, о чем так слезно молила Мария Николаевна. Осенью тридцатого года ссыльные были переведены в Петровский завод, в выстроенный для них огромный каземат.

Здесь Мария Николаевна разделила с мужем камеру номер 54.

Что ж, некрасивая, грузная, в нелепых чепцах прабабушка оказалась дважды заступницей, не только за «младшенького», но невольно и за всех его сотоварищей...

И все, все же! Неприязненность правнука проявляется в самом тоне упоминаний о старой княгине — например: «Портретов ее у меня было пять-шесть; между прочим, один «акварельный», писанный ею же самой и подаренный сыну Никите в день его рождения. Ни на одном из портретов не выглядят так страшно ее большие навывкат глаза, ни на одном пестрые банты чепца не стоят таким алым пожаром вокруг красного лица и не на одном не сияют таким блеском ордена, знаки отличия и обсыпанные алмазами медальон с портретами императриц». И тем не менее — «у меня хранилась прядь ее волос, белой, совершенно серебряной седины» — пишет правнук.

Александра Николаевна умерла в 1834 году, будучи 78 лет от роду. Стало быть, в 1825 году ей было 69 лет. Такой запомнил ее князь Сергей и Мария Николаевна, которая встретила со свекровью в 1826 году, как мы уже знаем. Ну какова же могла быть ее походка в такие годы, кроме как грузной...

Удивляет, что, сохраняя прядь волос княгини, ее правнук в своей маленькой портретной галерее, где собрал в начале 20 века чуть ли не всех своих предков по линии Волконских, начиная с Григория Семеновича и его отца, а также многих Раевских и даже Бенкендорфов, с которыми Волконские породнились, поскольку сын декабриста женился на внучке Бенкендорфа, равно и портреты Репниных, родителей Александры Николаевны — ее портрета в этой галерее не было.

Мы уже говорили, что по канонам ее времени, она считалась, очевидно, дурнушкой и, наверное, позировать художникам не стремилась. Несколько изображений, имевшихся у Сергея Михайловича и исчезнувших при конфискации его архива после революции — не в счет.

А вот неприязненное описание ее внешности сыграло злую шутку три года назад, когда возникла необходимость

иконографически идентифицировать портрет Александры Николаевны, ныне иркутский.

Все, сказанное правнуком, никак не вязалось с тонким благородным лицом статной величественной дамы с портрета. И много хлопот досталось директору иркутского музея декабристов Евгению Александровичу Ячменеву при получении экспертиз аж из трех источников, подтвердивших: да, это она Александра Николаевна Волконская. Поскольку в обиходе первоначально имелась всего лишь миниатюра написанная с 75-летней женщины, — в самом деле, в пышнейшем чепце. На иркутском портрете, по подсчетам, Александре Николаевне 45–46 лет. За последующие тридцать с ней произошло все, что и происходит с человеком с годами. Впали и втянулись губы, увеличился подбородок, — впрочем, стоит ли описывать разрушительную работу времени...

Но мы отвлеклись от темы. Надо отдать справедливость Сергею Михайловичу, в том, что он привел удивительно трогательные подробности об участии Александры Николаевны в ссылочном быту Волконских: «Доктор прописал Сергею Григорьевичу, сильно ослабевшему в каторжных работах, вино, по рюмке в день. Начальство разрешает. Мария Николаевна пишет свекрови, старуха высылает — но бутылки приходят разбитые. Целый год проходит в ожидании второй посылки (что не вина Александры Николаевны, а средств связи России с Сибирью той поры). В январе 1831 года Мария Николаевна просит свекровь выслать судков для пересылки пищи мужу, а то по пути из ее жилища в острог пища стынет, а разогреть в остроге — посуда лопается. «Не знаю, когда прибыли судки, но в январе 1832 года княгиня (Мария Николаевна, — *авт.*) их еще не получила». Не мудрено, мы уже знаем по истории с вином, что посылка, вернее, «обоз» добирался до острога примерно год.

Впрочем, Мария Николаевна тоже отдает свекрови дань благодарности. Опять же не мудрено, — из членов ее собственной семьи, то есть из клана Раевских, ей писали хоть изредка, а из клана Волконских — не писали вообще. «Только старуха

Александра Николаевна каждую пятницу писала свои малосодержательные, но с точностью часового механизма отсылаемые письма», - сообщает правнук.

Заметим это «малосодержательные»! Но ведь он сам же отмечал, что из петербургской почты декабристы узнавали, какво бьется пульс столичного общества, ведь не могла же, в самом деле, компаньонка Жозефина сообщать многие светские подробности, а также маленькие происшествия домашнего и усадебного барского быта «старухи княгини». Ей они просто не могли быть известны и, очевидно, Александра Николаевна диктовала Жозефине то, что хотела сообщить.

Далее читаем: «переписка со свекровью становится руслом, по которому мы можем проследить течение материальной и практической жизни, все заботы о муже, о его здоровье восходят к Александре Николаевне и удивляться приходится готовности и заботливости, с какой старуха исполняет поручения: сама ездит, сама выбирает, сама укладывает». Это тем более удивительно, что в эту пору, во время отсылки судков для пищи, княгине уже 76 лет!

Для Марии Николаевны, наверное, особо дорогими должны были быть в ту пору отношения со свекровью, так как Раевские хоть и писали, но не часто и без особой нежности – не могли простить ее отъезд в Сибирь. Еще реже приходили от них посылки. «Я получила «обоз» с провизией, - пишет Мария Николаевна в своих «Записках», - сахар, вино. Прованское масло, рис и даже портер; это единственный раз, что я имела это удовольствие; позже я узнала причину невнимания этого рода; мои родные уехали за границу».

Остальные декабристские жены, Трубецкая, Муравьева, Нарышкина получали «обозы» ежегодно и делились с остальными. Марию Николаевну выручала, конечно, свекровь. Без вина князь Сергей не оставался. «Во время свиданий, - пишет его жена, - Сергей клал по две бутылки в карманы и уносил с собой; так как у меня их было всего пятьдесят, то перенесены они были скоро». Надо полагать, это было еще до вселения в

«семейный номера», иначе – какие свидания?

Александра Николаевна посылает по просьбе невестки разные снадобья и даже семена для огорода, поскольку князь Сергей увлекся общением с природой и решил завести огород.

Но время неумолимо – 23 декабря 1834 года Александра Николаевна умирает, оставив после себя завещание, которое опять-таки послужило облегчению жизни декабристов. Она просит Николая I вернуть князя Сергея из ссылки, что тот, конечно, исполнить не мог. В письме, приложенном к духовному завещанию, княгиня просит царя «облегчить участь сына, принадлежащего к числу государственных преступников, по происшествию 14 декабря 1825 года, и вывести его из Сибири, где он доньше находится в каторжной работе, дозволив ему жить под надзором в имении».

13 февраля 1835 года военный министр Чернышев, бывший сотоварищ князя Сергея по наполеоновским войнам, и наиболее придирчивый допросчик во время следствия над декабристами, тем не менее, не преминувший, обращаясь к князю Сергею, сослаться на прежнюю дружбу, сообщает Александру Христофоровичу Бенкендорфу, что Николай I посчитал невозможным выполнить полностью просьбу Александры Николаевны, но «из уважения к памяти покойной княгини» повелевает: «государственного преступника Сергея Волконского освободить ныне же от каторжной работы, обратив в Сибирь на поселение». Более того, князю Сергею даже предоставляется выбор: «желает ли он остаться в Петровском заводе, свободным от работ, или переехать в Баргузин на поселение».

Князь Сергей пожелал остаться на Петровском заводе. – теперь он мог жить в собственном доме, который уже прикупила Мария Николаевна. Но она с мужем не согласна: она желает, чтобы семья отправилась на поселение в Урик, где уже находится доктор Вольф – вся семья постоянно нуждается в его наблюдении. О своем желании она сообщает письмом Бенкендорфу и, хотя речь шла о том, что Волконских надобно поселить вдали от прочих декабристов, Бенкендорфу все-таки

удается найти нужные доводы и получить монаршее согласие на поселение в Урике.

Однако, князь Сергей имел свое мнение, отличное от Марии Николаевны. Так что Бенкендорф получает сразу же после получения разрешения жить Волконским в Урике, донесение от генерал-губернатора Восточной Сибири, что князь Сергей желает все таки остаться на Петровском заводе.

На донесении генерал-губернатора – карандашная пометка: «вот опять новое?» Конечно, на этот раз уже никто не посмеет обратиться к монарху за новым решением, так что Волконские отправляются в Урик. Теперь их дальнейшая жизнь потечет уже вне покровительственной ауры Александры Николаевны, но отголоски ее влияния они почувствуют еще не раз.

Александра Николаевна уже давно нет, но незримо тень ее еще бродит по залам и коридорам Зимнего. Так что, когда Елена Сергеевна, дочь декабриста, захочет поехать с мужем в Петербург, препятствий не возникнет. Более того, здоровье Марии Николаевны в Сибири сильно пошатнулось, она решает отправиться в Москву посоветоваться с врачами, и ее дочь, Елена Сергеевна, такое разрешение для нее получает через посредство великой княгини Марии Николаевны. Правда, - государь уже не тот. . .

На троне Александр II, Александр Николаевич. Отношение его к декабристам самое благожелательное. Например, после возвращения из ссылки, Мария Николаевна Волконская обращается к высочайшей власти с просьбой вернуть княжеский титул ее сыну Михаилу Сергеевичу, а также сыну Трубецких Ивану Сергеевичу. Титул был возвращен по особому ходатайству молодой императрицы, жены Александра II. Помнили, помнили, видно, при дворе бывшую гофмейстерину. . .

Странности и парадоксы. – Известно, что, узнав о смерти Николая I-го, князь Сергей, который, казалось бы, должен был испытывать великое удовлетворение, принял эту весть с отчаянием. И более того, он оплакивал почившего императора так искренне и горько, что Мария Николаевна пишет сыну

Михайлу, бывшему в отлучке: «твой отец плачет, я третий день не знаю, что с ним делать».

О чем же плакал князь Сергей, ведь не о человеке же, который искажил всю его жизнь? Может, сам того не осознавая, он в тайне души был прежде всего, не только отпрыском, но и послушнейшим воспитанником матери, под влиянием которой оставался до 14 лет, а она была прежде всего – «человеком государственным», что в то время отождествлялось с понятием «слуга государя».

Мы знаем также, что, несмотря на дело декабристов, омрачивших начало правления Николая I, в стране он был популярен и имел много адептов как «носитель порядка» и «олицетворение силы». Впрочем, для того, чтобы отличить «силу правления» от неприкрытого гнета, нужен был взгляд со стороны. Книга маркиза де Кюстина, посвященная николаевской России в 1839 году, тому свидетельство. . .

Но князь Сергей был частью России, причем представитель придворной ее части. И слово «монарх» имело для него особый смысл и отождествлялось с понятием «божий помазанник», по крайней мере по канонам, преподанным с детства, - Александра Николаевна воспитывала сына по своему образу и подобию. Впрочем, и она тоже вряд ли «декабризм» младшего сына воспринимала как проявление серьезного протеста. Скорее, - как очередное его заблуждение и промах по беспечности, на которые он был мастер. И другие два ее сына считали точно также.

Сохранилось ее письмо к князю Сергею в крепость, а также письмо брата Никиты: «Милый мой Сережа, . . . откровенно признайся во всем государю и твоим чистым раскаянием перед ним возврати мне, твоей несчастной матери, в тебе сына утешительного». Никита Григорьевич пишет брату в том же духе, умоляя не забывать о традициях семьи и помнить о деде, фельдмаршале Николае Васильевиче Репнине: «Уверен я, - пишет брат, - что ты на все собственно до тебя касающемся, уже решительно отвечал и открыл всю жизнь свою, не скрывая, но боюсь, чтоб не завлекся ты понятием о дружбе и чести в ложную

стезю... ты должен позабыть все связи дружбы и помнить, что ты обязан верностью государю».

Уговаривал князя Сергея сознаться и раскаться также и тесть, генерал Николай Николаевич Раевский: «Ты называешь меня отцом – то повинуйся отцу! Благородным полным признанием ты окажешь чувство вины своей, им одним уменьшишь оную! Не срамись! Жены своей ты знаешь ум, чувство и привязанность к тебе. Несчастливого – она разделить участь, посрамленного... - она умрет. Не будь ее убийца!».

Письма, надо полагать, возымели некоторое воздействие, недаром же для загадочного узника номер 4 Петропавловской крепости было сделано исключение во многом. Как мы уже знаем, ему, едва ли не одному из всех, разрешена была переписка, а стражникам велено было держать в тайне, кто именно - узник из камеры номер 4.

Можно предположить, что Николай I прежде всего хотел скрыть от армии и от высшего общества, что представители знатнейших фамилий, таких как Волконские и Трубецкие – к тому же Сергей Волконский еще и признанный и всем известный герой наполеоновских войн - оказались причастны к «событиям». А если учесть к тому же, что его мать – одна из первых дам на дворцовых горизонтах, а зять - фельдмаршал, - положение было щекотливым.

В недрах Зимнего неутомимая Александра Николаевна, опираясь на близость с императрицей Марией Федоровной, методично вела свою игру. И если она не пришла к узнику номер 4 в крепость на свидание, которое мало чем облегчило бы его участь, то зато «князь Сергей остался жив». Это притом, что, если верить правнуку, Александра Николаевны, «старуха княгиня боится вздохнуть»...

Так, понемногу, мы узнавали все больше о достойной даме с нашего портрета и все больше убеждались, что жить ей – в Иркутске, в доме сына, то есть – в «Доме Волконских». Коль скоро при жизни она не могла позволить себе повидаться с ним и навестить его в Сибири – нужнее была ему во Дворце, вблизи

от тех, кто могли осложнить или облегчить его судьбу – пусть же, наконец, совершит свое запоздалое путешествие...

Реалии. – Но в Иркутске по прежнему денег не было, платить за реставрацию и приобретение портрета было нечем, пошел второй год ожидания, и мы решили, что уж раз такова судьба княгини – пусть бы осталась у нас, в кругу портретов близко знакомых ей людей из ее блистательного прошлого.

Однако, в ноябре 2001 года из Новосибирска позвонил директор иркутского музея декабристов, Евгений Александрович. Он был радостно возбужден и сообщил преинтереснейшие вести. Оказывается, ранней осенью в Иркутске побывал президент страны. Которому, конечно же, показали один из наиболее приметных центров культуры в городе – «Дом Волконских». С интересом осматривал президент все показанное и выслушал все то, что так увлекательно умеет рассказать о «своем доме» Е.А.Ячменев. Визит затянулся значительно дольше намеченного. Показана была фотография с портрета княгини Александры Николаевны Волконской и рассказано о ее роли Провидения в судьбе сына декабриста. Конечно же, ясно, что портрету этому место здесь, в кабинете князя Сергея. «Но – денег нет! – вздохнул Ячменев. И случилось невероятное: Президент обещал этот портрет подарить музею.

В ноябрьском телефонном разговоре мы узнали, что сейчас Ячменев находится в Новосибирске на какой-то музейной конференции и обговаривает с федеральным представителем президента по Западной Сибири «дело о портрете». Евгению Александровичу очень хотелось бы взглянуть на портрет вживе, так нельзя ли приехать к нам? «Мы всегда рады!» - последовал ответ, и каково же было наше удивление, когда на следующий же день Евгений Александрович, прибыв в Кемерово вместе с новосибирским представителем на его самолете, появился у нас.

Два дня мы с ним любовались портретом княгини. Определяли время написания. Предполагали, кто бы мог портрет написать. Сравнивать было не с чем – изображений Александры Николаевны, помимо упомянутой выше миниатюры, вроде бы

не имелось. Листали альбомы.

Портреты и миниатюры рассматривали скрупулезно, искали факты биографии княгини, которые нам, может, были еще неизвестны. Пришли к тем выводам, о которых сказано в начале очерка, основанным на интуитивном сопоставлении чешуек мозаики, что складывались из покроя платья, цвета шали, а, главное, выражения лица.

То есть – к тому, к чему в финале пришли, на основании разнообразных методов исследования, специалисты из реставрационного центра Грабаря, Русского музея, Исторического музея...

Евгений Александрович вкрадчиво смотрел в глаза. А нельзя ли прямо сейчас увезти для временного экспонирования портрет Александры Николаевны? Учитывая все сложности сообщения между Кемерово и Иркутском? Поскольку он, Ячменев, уже тут. Нам было очень жалко расставаться с княгиней, которую мы полюбили, но – справедливость велела: пусть хоть временно побудет в доме сына.

Евгений Александрович развернул бурную деятельность. Поскольку портрет был помещен в массивную раму резного дерева, являвшую собой самостоятельное произведение искусства – как портрет провезти в самолете? И – прежде всего, как его в Новосибирск доставить, откуда отбывал самолет на Иркутск? Прямого сообщения с нашим городом нет.

Серия звонков Евгения Александровича в Новосибирск и в приемную губернатора нашей области. Выход найден. Несмотря на праздничные дни (октябрьские праздники), последовала команда из областной администрации и в назначенное время к нашему дому подкатила особая машина, в которой удобно разместился портрет в его невероятной раме. В Новосибирске в аэропорту, тоже по команде из нашей областной администрации, Ячменеву была оказана достойная встреча и всяческое содействие.

Княгиня Александра Николаевна Волконская прибыла в дом сына. И, казалось бы, справедливость восторжествовала. А это

было главное. Хотя «низменные», то есть финансовые вопросы, не сдвигались с места и в последующие два года. Но это уже другая история...

Пока же на очередной какой-то конференции в Новосибирске некий господин Решетняк из Федерального представительства, ведающий вопросами культуры, на встрече с прессой, опубликованной в новосибирской газете, объявил, что некоторые музеи злоупотребляют стремлением президента покровительствовать культуре, так, например, работники иркутского музея декабристов «чуть было не подставили президента», представив ему некий портрет, который вовсе не соответствует высокой оценке «частных искусствоведов».

Конфуз! Евгений Александрович предвидит подвох и даже находит ему весьма правдоподобное предвыборное объяснение. Но – что делать! На чужой роток не накинешь платок. Выход один: запастись обоймой экспертиз. Что и было сделано, как сказано выше.

Так что Александре Николаевне, которой сейчас уже все 250 лет, пришлось совершить еще ряд путешествий: в Москву, в Петербург, опять в Москву, и вернуться в Иркутск уже победоносно и на самых законных основаниях.

Но к путешествиям ей было не привыкать. Ведь мы уже знали из «Воспоминаний Александры Осиповны Россет», тоже фрейлины Марии Федоровны, что в 1830 году, то есть в свои 74 года, Александра Николаевна в очередной раз сопровождает императрицу в очередное путешествие в Москву. «Прежде всех должна была ехать вдовствующая императрица со статс-дамой княгиней Репниной-Волконской (она была очень стара)... итак, они отправились, императрица со своей княжной; у старухи Волконской беспрестанно был понос (я скажу, что она чересчур омерзительна), она говорила «Permettez Madame!», из заднего экипажа, где сидели камер и юнгферы, вносили трон, гайдуки из своих ног делали ширмы и «тортунья» (ее звали la tortue, потому что она едва передвигала ноги) освобождалась»...

Дерзкая юная фрейлина Россет и во сне не видела тот крестный путь, который выпал на долю старой княгини, и

без всякого почтения к ее более чем преклонному возрасту и всегдашней готовности исполнить любые служебные обязанности и куда угодно сопровождать императрицу, резво хихикает над старческой походкой княгини и ее физиологическими слабостями.

Поистине sic transit gloria mundi. Во времена Россет уже никто из молодежи не оказывает почтения старой княгине, тогда как она только что добилась того, что с сибирских узников сняли кандалы и готовит свое завещание, где попросит государя «привести из Сибири ее сына Сергея»...

Но это так – попутно. Это к тому, что совершать длительные и малоудобные поездки в любом состоянии княгине было не привыкать...

Однако, хорошо все то, что хорошо кончается. После ярких боев Евгений Александрович, добившись получения всех «верительных грамот», читай экспертиз, в которых, по сути, подтвердилось все то, к чему мы с ним и сами пришли два года назад чисто интуитивно и просто-напросто «вычисляя» события и сопоставляя портреты родителей Александры Николаевны, ее дочери и сыновей, ее сестры Прасковьи, - заручившись «бумагами», портрет Александры Николаевны он водрузил вновь в зеленый кабинет князя Сергея и 3 марта 2003г. состоялось торжественное «открытие» портрета в присутствии представителей Партии жизни и председателя совета Федерации Сергея Миронова. В дальнейшем финансовые вопросы уладились сами собой, а ряд наших областных журналистов, каждый в своей манере, в большей или меньшей степени искажив суть события, рассказали о водворении княгини Александры Николаевны Волконской в доме сына декабриста в Иркутске.

Этот очерк хотелось бы закончить чрезвычайно емкими и выстраданными высказываниями Сергея Михайловича Волконского в его «Воспоминаниях»: «Вырванные из своих семейных гнезд, из той атмосферы родственного внимания, в которой они хранились, архивы наши потеряли, безвозвратно потеряли именно то благоухание, которое было самым ценным их

свойством. Они его потеряли потому, что оно было не им присуще, а сообщалось им сыновьею любовью родственно связанного с ними потомка. Для тех людей, которые сейчас ими занимаются, это не живые страницы далекого, но близкого прошлого, а только «документ».

Все, что будет на основании этого документа написано, будет не более как сводка; все, что будет к нему прибавлено, будет либо догадка, либо вымысел».

Все, сказанное выше, в полной мере относится и к «бездомным портретам», о которых мы писали в начале нашего очерка.

3

Армеец Каховский и другие. - Страница пушкинской рукописи. Причудливое плетение профилей. Виселица. На ней пятеро. «И я бы мог...». Оборвалась мысль, ужаснувшая автора...

178 лет тому назад, 13 июля 1826 года, они стояли около виселицы на бруствере Петропавловской крепости. Пестель, Рылеев, Бестужев, Муравьев, Каховский. Перед казнью четверо обнялись по-братски. По сохранившемуся устному преданию, пятому, Каховскому, якобы не подали даже руки. На это предание ссылается ряд авторитетных источников.

Этот эпизод всегда казался загадочным.

Сейчас, только что закончив очерк о княгине Александре Николаевне Волконской, в связи с передачей иркутскому музею декабристов портрета матери Сергея Волконского, невольно возвращаешься к полузабытой теме.

Знакомясь возможно подробнее с «Записками» самого декабриста и с «Воспоминаниями» его внука Сергея Михайловича Волконского, поражаешься ранее не впечатлившим штрихам из жизни «золотой молодежи» начала 19 века, той молодой поросли Александрова царения, которая, «понюхав пороку в наполеоновских войнах и к 25 годам, надев полковничьи и генеральские погоны, преисполнилась «молодечества»,

толкавшего на самые дерзкие «шалости», - как вспоминает уже в зрелые лета князь Сергей Григорьевич-декабрист.

Чем-то, стало быть, отличался мелкопоместный обедневший дворянин, армеец Каховский, от своих сотоварищей по столь рискованной «шалости», как бунт против царя.

Почему-то укореняется убеждение, что для всех их, кроме Каховского, это и было очередным проявлением «молодечества», но уже не в столь юном возрасте, когда, подобно Долохову из Толстовского романа «Война и мир», взбираются на подоконник бог весть какого этажа и, запрокинув голову, выпивают залпом бутылку рома, чтобы доказать – упасть не боюсь, а упаду – так ведь известно: «жизнь – копейка»...

Нет – это «молодечество» повзрослевших полковников и генералов, много чего повидавших, воевавших с Наполеоном, как велела дворянская честь слуг государевых, но и долголетне восхищавшихся им, за то, что «нес свободу Европе», и все же убедившихся в косности и отсталости России, по сравнению с европейскими странами.

Они понимали: что-то же должно измениться, ведь жизнь – в развитии.

Им очень хотелось и самим поучаствовать в развитии Отечества.

Но как это сделать, они не знали. Казалось, что как не раз бывало в наполеоновских походах, все решит дерзкая вылазка.

Тем более, у всех – крепкие тылы. Бесчисленные тетушки, дядюшки, сестры и кузины, - свои люди во Дворце, так что в случае неудачи – выручат...

У Каховского, в отличие от Сергея Волконского, например, не было зятя фельдмаршала и не имелось в роду всеми почитаемой и близкой с императрицей Марией Федоровной, матери будущего государя Николая Павловича, гофмейстерины, какой была Александра Николаевна Волконская, мать декабриста, князя Сергея...

И потому армеец Каховский с самого начала был обречен. Впрочем, и сотоварищи его по казни тоже не могли

рассчитывать на такой могущественный тыл, как Сергей Волконский или князь Трубецкой.

И они погибли. От искреннего желания «что-то изменить», от полного непонимания – что именно, а также – как и когда это можно сделать, но и просто от бурлившего в них «молодечества».

Прошло без малого два века. Нам хорошо известен медальон, задуманный для обложки герценовской «Полярной Звезды». «На обложке «Полярной Звезды» будет изображено созвездие Малой Медведицы, полярная звезда – свет, а 5 других звезд – вокруг медальона с 5 профилями Пестеля, Муравьева, и др., внизу надпись: «убиты 25 июля 1826 года». 5 звезд созвездия. Точно соответствуют числу казненных» – 8 июля 1855 года, Герцен.

«Известно, что эту «победу» над пятью в Москве отметили торжественным молебствием. Среди Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийство». (Герцен).

Пятеро казненных ушли, многого не досказав истории и многого не узнав. Не знали они, что в доме около Сенатской площади, тесть Сергея Трубецкого граф Лаваль по-прежнему дает балы, которые по-прежнему же посещают члены царской семьи. Хотя уже собирается в путь будущая некрасовская героиня, Екатерина Трубецкая, которую домашние и друзья ласково называют Каташей. Хотя именно около этого дома ищут убежища бунтовщики в день восстания, по словам очевидцев, «прячась между колоннами и выступами цоколей, тогда как картечь прыгала от стен к стенам и не падала ни одного закоулка».

Не узнают они также, как добирался до дома своей тетки Ланской юный поэт Саша Одоевский, тот самый, что накануне 14 декабря сказал «мы идем на смерть... но на какую смерть!» В поисках убежища, «он два раза падал в прорубь, два раза едва не утонул, стал замерзать, смерть уже чувствовал». В доме Ланских ему не дали ни отдохнуть, ни поесть. Ланской отвез его немедленно во дворец, а после ссылки Одоевского Ланские завладели всем его имуществом. Что, впрочем, было не уникально. Точно так Александр Иванович Чернышов, заседавший

в комитете по делу декабристов, засудит двоюродного брата Захара Ивановича Чернышова «в каторгу», дабы завладеть майоратом этого рода...

В ссылке Одоевский написал прекрасные стихи «Бал», кончающиеся строфой:

*Глаза мои в толпе терялись;
Я никого не видел в ней;
Все были сходны, все смешались:
Плясало сборище костей.*

Ибо на Фонтанке наискосок (то есть по ту сторону канала) от дома большой и дружной семьи Муравьевых, где Никита Муравьев работал над «Русской конституцией», стоял особняк В.П. Кочубея, председателя Государственного Совета, «ничтожного человека», которого не добром поминал Пушкин: «такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея не кем заменить».

Ничто не изменилось в привычном образе жизни этого дома после 14 декабря. Хотя, напротив, через канал, добрые знакомые и соседи, люди, с которыми годами Кочубеи встречались в родственных домах и модных салонах, оплакивают повешенного на кронверке Петропавловской крепости Сергея Муравьева, а также застрелившегося после провала восстания Ипполита, равно обреченного на двадцать лет каторги Никиту, и еще шесть членов этой богатой «вольнодумцами» семьи. У Кочубея давали бал. В конце Фонтанки показалась длинная вереница сопровождаемых жандармами кибиток. Кибитки остановились – им мешали кареты, стоящие у Кочубеевского подъезда. В кибитках сидели декабристы. Некоторые – в кандалах. Среди них был Одоевский. Вероятно, впоследствии, в ссылке, они не раз вспоминали роковой случай, заставивший их, еще вчерашних участников всероссийского дворянского ликования, взглянуть на бальные огни из оков и по пути в Сибирь.

Да что иллюминация во Дворце Кочубеев... Пройдет так недолго и брат Марии Волконской, «декабристки», Николай

Запоздалое путешествие княгини Волконской в Сибирь

Раевский (младший) описывает бал-маскарад – особое светское увлечение тридцатых годов, – 8 января 1830 года в доме Великой Княгини Елены Павловны – очередной маскарад. Детали скрупулезно приводит Екатерина Тизенгаузен в письме к своей сестре «австрийской посольше» Долли Фикельмон (о которой мы поминали ранее), подчеркивая, что в этом странном действе участвовал и престарелый баснописец И.А. Крылов, изображавший музу Талию. Итак: «здесь принц Альберт Прусский (брат императрицы Александры Федоровны)» и далее: «несколько дней тому назад был устроен для императрицы сюрприз, который очень удался – это был род шуточного маскарада, весь Олимп карикатурен, женщины представляли богов, мужчины – богинь. Граф Лаваль был «Грацией» вместе с Анатолием Демидовым и Никитой Волконским»...

А между тем, брат Никиты, декабрист Сергей Волконский, погружен «во глубину сибирских руд» и вот уже четыре года как Каташа Трубецкая, урожденная Лаваль, носит горячие одежды мужу в рудник, не подозревая, что ее отец, «старый, замечательно безобразный и сильно подслеповатый», потешает маскарадное общество в тунике Грации...

Такова уж была русская аристократия. «Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплые слова о родных, друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь взяты. Напротив, являлись фанатиками рабства, одни из подлости, а другие хуже – бескорыстно» (Герцен).

И как тут не вспомнить вновь бессмертную, на наш взгляд, книгу французского путешественника маркиза де Кюстина, о его пребывании в России в 1839 г., в которой слово «рабство» мелькает чуть не на каждой странице, равно применительно к дворянству, как и прочим сословиям...

За пятью профилями, изображенными на примелькавшемся медальоне, и ставшими, волею истории, похожими друг на друга, стояли еще несколько сот человек – и это только те, о которых пока известно. Убеждены, – многие имена еще вскроются с годами. Искра свободомыслия всколыхнула ту часть

Лавиния Мятлева

русского дворянства, которая после войн с Наполеоном и пребывания за границей, как бы созрела. Оказалось, что легкомысленная искра зажигала не только соломенные всполохи, но и костры возмущения, там, где и не ожидалось...

Бунтовщики были молоды, вполне дети своего века и своей касты. Но для всех одинаково жизнь поделилась надвое: до и после восстания. А были они очень сходные и очень разные...

Двойная дуэль. – В 1817 году Петербург всколыхнула оригинальная дуэль. Стрелялись две пары, из коих одна – Якубович-Грибоедов. Объект дуэли – известная танцовщица Истомина. Зачинщик – корнет лейбгвардии Уланского полка Якубович. Арестован, переведен в армию и сослан в «теплую Сибирь», на Кавказ. Яркая личность. Кумир Пушкина – «герой моего воображения» называет его поэт. Отложенная на год дуэль все-таки состоялась в Тифлисе, где оказался служащий Коллегии иностранных дел Грибоедов.

В 1822 году Якубович был личностью, сумевшей всполошить Петербург. Поклонник балета, переодетый сбитенщиком, он пробирается за кулисы и угощает воспитанниц театральной школы горячим шоколадом. Это его извлекают из знаменитой «зеленой кареты», развозящей по домам воспитанниц школы.

В 1825 году, близкий к членам Тайного Общества, Якубович предлагает взять на себя убийство Александра Первого и арест царской семьи. Конечно, сгоряча. Из удалства. Даже если бы Александр Первый не скончался преждевременно в Таганроге, вряд ли Якубович поднял бы на него руку. Тем не менее, за одну лишь неосторожную похвальбу осужден на ссылку в Сибирь, где после 15 лет каторги умер в Енисейске.

«Когда я вру с женщинами, - пишет Пушкин, - я уверяю, что разбойничал с Якубовичем на Кавказе, простреливал Грибоедова...». В 1831 г. начат «роман на кавказских водах». В основе – «скандал в благородном семействе». В 1828 году дочь Карамзина Екатерина, в замужестве Меццерская, пишет Петру Андреевичу Вяземскому, о котором мы тоже вспоминали ранее: «Слыхали ли Вы о похищении госпожи Корсаковой

каким-то черкесским князем? Если б это была правда, какой прекрасный сюжет для Пушкина как поэта и как поклонника». Верно. Пушкин, бывший поклонник Александры Римской-Корсаковой. Похищена она или нет, теперь ему все равно. И кто похитил – не в том суть. Созрел план романа. Притом, в реальности, никто иной, как Якубович, похищает героиню, Алину Корсакову, и стреляется с ее братом на дуэли. Нет, Пушкин Якубовича не забыл. Знал ли о Пушкинском плане «романа на кавказских водах» Якубович в Сибири?

Из жизни золотой молодежи. – 1824 год. Александр Бестужев-Марлинский еще думать не думает, что закончит дни свои в ссылке. В дневниковую книжку он заносит запись: «обедал очень хорошо у Андрие с французами. Поехали дурачиться с Мухановым и Акуловым у Софьи Астафьевны...».

Отличный ресторан Андрие и увеселительное заведение Софьи Астафьевны нередко поминаются в записках Пушкина и его круга. И вот год 1825-й. Гнездо Бестужевых. Мать, Прасковья Михайловна, живет в довольно скромном доме на седьмой линии Васильевского острова. Здесь собираются братья Петр и Александр, а также сестра Елена, любовно именуемая «Леошенькой». 13 декабря – запишет она – заезжал и обедал Рылеев, потом заехали Батеньков и Пуштин. На следующий день грозный удар обрушился на мирный дом. Петр разжалован в рядовые и сослан на Кавказ. Александр, недавний участник забав «золотой молодежи», вчерашний соратник Рылеева по «агитационным стихам», сослан на 15 лет в Сибирь, переведен рядовым на Кавказ. Там он узнает о смерти Пушкина, навестит могилу Грибоедова. Ведет беспросветную жизнь без малейшей надежды на перемену. Участвует в стычках с горцами, где ищет смерти. «При взятии мыса Адлер Бестужев-Марлинский кинулся нарочито в самую сечу и был изрублен в куски» – пишет современник А.В. Никитенко, в дневнике которого читаем далее слова, которые уже приводили, но не считаем излишним повторить их вновь: «Новая потеря для нашей литературы. Александр Бестужев убит. Да и к чему в России литература!».

Дело в том, что Бестужев был еще и романистом и «Марлинский» — взятый им псевдоним.

А начиналось с озорных агитационных листов Рылеева. Стихи были очень и очень не безобидны. Их приводит в своих записях Александра Осиповна Смирнова:

*«А Волконский — баба
Начальником штаба,
А другая баба —
Губернатор в Або».*

Отдельные строки стихов печатались только за границей в Лейпциге в 1861 году. Порой поминался полным текстом Арсений Андреевич Закревский, финляндский губернатор, побывавший до того министром внутренних дел. Упомянуто будет и полное имя «бабы», как именovali «шалунью» министра императорского двора графа Петра Михайловича Волконского, — кстати, шурина декабриста Волконского, мужа его сестры Софьи Григорьевны...

Дорогой и близкий друг Пушкина. — Перед нами — лицеист Иван Иванович Пущин. И вот он же — гвардеец. Выходит в отставку и заявляет, что пойдет в квартальные надзиратели — в качестве протеста против родительской опеки. Отчаяние сестер, которые на коленях молят не позорить семью. Гнев отца, который заявляет, что «ниже упасть сыну невозможно», когда тот просит послать его в родовую усадьбу управителем, потому что «он хочет трудиться». В 1824 году в своем доме на Мойке Пущин принимает будущих декабристов, Никиту Муравьева, Николая Тургенева, князя Оболенского. Они — частые гости и друзья. В 1825 году — в день восстания он надевает плащ деда, адмирала Петра Пущина — вековая фигура в истории российского флота XVIII века! — и идет на Сенатскую площадь. Чудом остался жив — изрешеченный пулей дедовский плащ тому свидетель. Он легко мог бы скрыться. Лицейский друг Горчаков принес готовый паспорт — «поспеши, сегодня отплывает

корабль», но — нет. Верный и честный Жанно, как называли его лицеисты, Пущин разделит судьбу друзей. Он лишь передаст портфель с бумагами на хранение Вяземскому, «декабристу без декабря». Не страх — забота о Пушкине руководят им. В портфеле такие улики...

Потом? Каторга, как у всех остальных. Портфель? Он получит его обратно по возвращении. Через тридцать лет.

«Христосоподобный Александр Одоевский» — потомок родовой семьи, получил прекрасное домашнее образование и обожал мать («второй свой Бог»). Как и многие иные, начинает с военной карьеры в 21-м — юнкером конной гвардии, в 23-м он уже корнет. У Одоевского явные литературные склонности, что сближает его с Бестужевым и Рылеевым. А от них, — как бы нечаянно, в Тайное Общество и в 1825-м году на Сенатскую площадь — один шаг. На суде, несмотря на слишком чистосердечные признания — из полудетской беспечности назвал многих участников, — допрос казался розыгрышем, допрашивают знакомые, которых не раз видел на светских перекрестках — зачислен по четвертому разряду, что значило 15 лет каторги в Сибири. Затем была Чита, Петровский острог, а в 1832 году — поселение в Иркутской губернии, потом в Тобольской, где романтический Саша Одоевский пребывал до 1837 года.

Уж каким хлопотам благодаря, но последовала ссылка на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк. Одоевскому повезло. Здесь он подружился с Лермонтовым. Сблизился с Н.М. Сатиным и Н.П. Огаревым. Удивительно как любили все знавшие его, в один голос называя «христоподобным». На Кавказе Одоевский отчаянно увлекся военными подвигами, участвовал в экспедиции Н.Н. Раевского и даже был произведен в офицеры.

В 1839 году умер его нежно любимый отец, генерал-майор князь Иван Сергеевич Одоевский. Саша просился «в дело», горевал, искал смерти. Но пал не от пули, а от тривиальной лихорадки. И случилось это 10 октября 1839 года в Псеузаке. От его могилы не осталось и следа. Кстати, могла исчезнуть и



его поэзия, если бы друзья не сберегли.

О нем Н. Сагин: «Из всех декабристов, Одоевский отличался веселостью, открытой физиономией и игривым умом... Ему было 34 года, но он казался моложе... Улыбка, почти не сходившая с его губ, придавала лицу его этот вид юности».

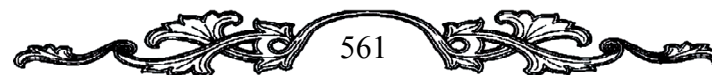
М.Ю. Лермонтов об Одоевском:

*До конца среди волнений трудных
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас.
Он сохранил и блеск лазурный глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.*

В недавно изданном пятитомнике русских портретов мы находим миниатюру с изображением Одоевского. На обороте ее – на французском: «Его пламенная душа, как огненный луч, посланный солнцем, была блистательна. Укрытый от всех взглядов, в глубине сердец нежно любящих его друзей хранится его образ».

Мимолетно блеснувший Мицкевич. – В 1824 году в Петербург приезжает польский поэт Адам Мицкевич, изгнанный из Вильнюсского университета за так называемое филломатство, то есть за участие в студенческом кружке, целью которого было глубокое изучение математических и естественных наук, к чему впоследствии добавилось и глубокое увлечение не только филологией, но и этикой и нравственным усовершенствованием общества. Что не могло не взволновать властей предрасположенных, поскольку отсюда до устремлений к всяческому «вольностям» – рукой подать. Как мы уже писали, Мицкевич близко сошелся с Рылеевым, но на очередной сходке Тайного Общества от тоста «за смерть царя» Мицкевич отказался. В ответ на возмущение друзей, Мицкевич, как доказали последующие события, в частности, связанные с польским восстанием 1830-1831 гг., к

Запоздалое путешествие княгини Волконской в Сибирь



«делам свободы» относился намного реалистичнее, чем его новые друзья, по природе своей и происхождению, – истые баловни судьбы. Достаточно было Мицкевичу заявить, что слова – это всего лишь слова, а что до дела, то он хоть сейчас готов «за делом» отправиться во дворец, «бунтовщики» забеспокоились и шумно заспорили. Цареубийство? Да как можно? Сейчас? Когда народ еще не готов? Нет, восстание пока несвоевременно! А потом пирушка шла своим чередом, тосты сменяли друг друга и к рассвету все разошлись...

Наверное, если верить Мережковскому, Пушкин не зря называл их «планщиками» (см. «Царство зверя»). В 1830 году Мицкевич посвятит бывшим друзьям волнующие строки:

*Где вы теперь? Посылаю позор и проклятье
Народам, предавшим пророков своих избиению...*

В этих стихах Мицкевич поминает и Рылеева, которого считал братом, и Бестужева, своего друга, – впрочем, эти стихи мы уже приводили.

Будущие декабристы были очень сходны. Они были романтики. Почти все писали стихи. Многие плохо, очень плохо писали по-русски. В документах Следственной комиссии встречаются слова «щет» (счет), «взойтить» (войти), «слышел», «притяснения». Их учили французскому с пеленок и, возвращаясь к Александру Одоевскому, как не вспомнить, что свою «Молитву русского крестьянина» – «я орошал землю потом своим, но ничто производимое землей не принадлежит рабу. А наши господа считают нас по душам, хотя должны бы считать только наши руки», – эти слова, приведенные в подстрочном переводе, Одоевский писал на ... французском.

Князь Барятинский пишет атеистическое стихотворение, послужившее веской уликой на процессе декабристов:

*О, разобьем алтарь, которого бог не заслужил...
Если бы бог даже существовал – его надо отвергнуть.*

Лавиния Мятлева

Эти строки – тоже на французском.

На французском же написана Сергеем Муравьевым знаменитая «Тетрадь», хранившаяся у декабриста Давыдова, в которую внесены «Извлечения из Русской Правды»...».

Корни могучих деревьев. – Будущие судьи и будущие подсудимые жили не только на смежных улицах Петербурга, но и в смежных домах. Фонтанка – облюбованное светским обществом гнездо. Дом 16 – в нем живут В.П. Кочубей, фрейлина Н.К. Загряжская, с которой так любил беседовать о старине Пушкин, а еще находится там знаменитое Третье Отделение... Дом 20 – здесь живут дружные братья Тургеневы, «гракхи», как их называли друзья, и здесь же проходят собрания литературного общества «Арзамас». Дом 24 – его занимает И.Б. Пестель – отец декабриста, который, парадоксально, но поделом слыл «тираном Сибири». Дом 25 – здесь живут Никита Муравьев, К.Н. Батюшков, известный гравер Н.И. Уткин, историограф Н.М. Карамзин. Дом 26 – В.А. Соллогуб, П.А. Вяземский, дочь Голенищева-Кутузова, мать знаменитой «австрийской посольши» Долли Фикельмон, - Елизавета Михайловна Хитрово, многие годы влюбленная в Пушкина, хотя и была намного его старше. В доме 92 обитают родители Пушкина. В доме 101 – президент Академии художеств А.Н. Оленин, в дочь которого был влюблен Пушкин и даже сватался к ней. Тут же – кумир поэтов и даже такого «позитивного», в смысле «реального», человека как цензор Никитенко, - красавица Анна Керн. Все это фамилии, прочно вошедшие в историю и известные каждому.

Будущий декабрист Нарышкин вырос в доме на углу Почтамтской улицы и Исаакиевской площади, известном не только роскошью строения, но и связанными с ним именами. Воздвигнутый в 60-е годы XVIII века архитектором Деламотт или Ренальди (по мнению Александра Бенуа), он послужил «убежищем» для приглашенного Екатериной II Дени Дидро, который у Нарышкиных гостил. 9 апреля 1774 года он пишет жене: «Они (Нарышкины, - *авт.*) были так добры со мной, как с братом, поместили у себя, кормили и вообще содержали меня на

всем готовом в течение почти месяца».

Нарышкины – либералы, критикуют Александра I, у них гостит госпожа Сталь и ее дочь...

Затем этот дом был продан Мятлевым, здесь часто бывал Пушкин. В бытность Анны Никитичны Нарышкиной участок ее находился на Английской набережной. Здесь в номере 10 – трехэтажное здание Воронцовых-Дашковых. На этом же участке стоял дом А.И. Остерманна-Толстого. Целых 50 тысяч рублей не пожалел он на отделку «Белого Зала» в два света, причем все окна были из цельного богемского стекла, о чем говорил весь Петербург. Среди редкостных коллекций стоял надгробный памятник работы Кановы, изображавший самого графа, распростертого на поле брани, после ранения. Остерманн – герой Кульмской битвы, где потерял в бою руку, был большой затейник. В этом его доме имела комната, отделанная распиленными бревнами, под вид русской избы. В столовой – живые орлы и дрессированные медведи, стоящие во время обеда с алембардами. Разгневавшись на чиновников и дворянство одной близлежащей губернии, Остерманн велел одеть медведей в соответствующие губернии чиновничьи мундиры...

В этом доме у Остерманна часто бывал Димитрий Иванович Завалишин, будущий декабрист. После 14 декабря Остерманн, не терпевший Николая Первого, добился, тем не менее, от него смягчения участи своего внучатого племянника Александра Голицына, но не сумел отстоять от наказания его брата Валериана, тоже декабриста и, окончательно осердившись, уехал за границу...

Что касается Д.И. Завалишина, он не напрасно слыл одним из выдающихся людей своего времени. Не только по отзывам современников, но даже в его допросном листе записано, что он «обладает чрезвычайной наблюдательностью и прозорливым умом: храня все горючие составы в сердце, он прежде всего печется о благе России». Завалишин дружил с Рылеевым и прочими членами Общества Благоденствия и принимал их именно в доме Остерманна. Блестящий моряк с вполне

реально намечавшейся карьерой поддался чарам великого обольстителя и романтика Рылеева, как и многие другие...

В той же «колонии избранных», в доме Анненковой, матери будущего декабриста Ивана Александровича, после актрисы Истоминой, что тоже здесь недолго квартировала, поселился Леонтий Васильевич Дубельт, который слыл как «один из первых крикунов-либералов в Южной армии». По словам современников, граф еще в двадцатых годах был членом двух вольнодумных масонских лож. После ареста участников 14 декабря, известный всему Петербургу литератор Греч все удивлялся «что же Дубельта не берут?».

Но в 1835 году Дубельт уже начальник штаба корпуса жандармов. Бенкендорф называет его своей правой рукой, а прочие — «головой Бенкендорфа». Герцен о Дубельте пишет: «Лицо его свидетельствует, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил, или лучше — накрыл все, что там было». Дубельт — оригинал. Рыдает, глядя на «Распятие Христа» Брюллова и платит своим агентам суммы, кратные трем, в память о тридцати серебряниках, полученных Иудой за предательство Христа.

Дубельт, в полном смысле слова — человек «двойкий». Так, допрашивая Достоевского, который проходит по делу Петрашевского, он столь обходителен, что будущий «великий психолог» находит его «преприятнейшим человеком!». А Костомарова, например, — «ругал площадными словами и даже угрожал». Поистине, «человек есть тайна», как много позже скажет Достоевский.

Однако ведь почему-то же вышла замуж дочь Пушкина за сына Дубельта — очевидно, именно потому, что при всех обстоятельствах, они — люди одного общего клана избранных. И почему-то же написал на смерть графа эпитафию, пусть весьма неоднозначно аттестуемый современниками Булгарин:

*Быть может, он не всем угоден,
Ведь это обций наш удел.*

Запоздалое путешествие княгини Волконской в Сибирь

*Но честен, добр он, благороден, -
Вот перечень его всех дел.*

Открывая скобку. — А вообще, прежде чем подняться к кульминационно-трагическому финалу 14 декабря, не стоит ли нам, как бы вернуться на полтора-два десятилетия назад и взглянуть на многих участников тогдашнего жизненного спектакля не нынешними глазами, а тогдашними.

Например, случайно ли вышла замуж дочь Александра Христофоровича Бенкендорфа, Мария, за Григория Петровича Волконского, близкого родственника того, «каторжного», а сын декабриста Сергея Волконского, Михаил, впоследствии женится на дочери этой пары, Елизавете? И — диво ли это? Не будем забывать, все они, как уже сказано — люди одного клана и не смотря ни на какие политические штормы, зла друг на друга не держат...

Так, оказывается, что уже вернувшийся с каторги Сергей Григорьевич Волконский, в 1860 году получает фотографию названных новобрачных, сделанную в Париже, и приглашение погостить в усадьбе Бенкендорфов, Фалле. Свадьба состоялась в Женеве, в присутствии сестры Сергея Волконского, Софьи Григорьевны.

И на приглашение декабрист Волконский отвечает письмом, где находим такие слова: «в Фалле мне еще другое утешение — поклониться могиле Александра Христофоровича Бенкендорфа, товарищу служебному — другу и не только светскому — но не изменившемуся в чувствах — когда я сидел под запором и подвержен был Верховному Уголовному Суду». А в архиве Волконских находится черновик духовного завещания декабриста от 9 мая 1826 года, отданного «для сохранения» генерал-адъютанту А.Х. Бенкендорфу. В «Записках» же своих «каторжный» С.Г. Волконский с искренним восхищением описывает былые военные подвиги Бенкендорфа, которых у того в самом деле было немало, и утверждает, что во время ссылки «голубой мундир не был для нас лицом преследования, а людьми,

Лавиния Мятлева



охраняющими и нас, и всех, от преследований». Вот такие парадоксы.

Так стоит ли удивляться трансформациям, которые происходили в поведении осужденных декабристов, и к особенностям их характеров до того. Удивительно, например, что на допросах почти все признаются, с некоторым осуждением, что на Сенатскую площадь «завлек» их Рылеев, - но об этом ниже...

Что же до названной «колонии», в которой беззаботно проживали рядом будущие палачи и будущие жертвы, то поистине, что не дом, то - норов. Так, известно, что бывший лицейский товарищ Пушкина барон Корф признавался, что в доме Пушкиных «все всегда было наизнанку». Мать Пушкина, Надежда Осиповна, привыкла, что «слуг уносят на простынях после барского гнева». Сам барон Корф пять лет жил этажом ниже в том же доме Клокачева, что и Пушкин. Между слугами бывших лицейских сотоварищей постоянно происходили стычки, и как-то, посчитав своего камердинера несправедливо обиженным, Пушкин вызвал Корфа на дуэль, но тот, помня об отходчивости Пушкина, и о том, что поэт вряд ли сам так уж балует собственных слуг - отказался. Дуэль не состоялась. Пушкину было на кого походить, - как уже сказано, Надежда Осиповна с челядью обходилась круто - собственноручно резала бороды неугодившим...

О домашнем климате в доме Анненковых, где рос и воспитывался будущий декабрист, блестящий кавалергард, и о чудачествах его матери написано столько, что нет смысла повторяться. Здесь, в этой «колонии избранных», в их стоящих рядом «норовистых» домах и было средоточие бездумной и беспредельной власти барства, которое после знакомства с обычаями и нравами Европы уже возмущало участников наполеоновских войн, взросших именно в этих домах...

У будущих декабристов были самые разветвленные и неожиданные связи. О князе Евгении Петровиче Оболенском, сыне тульского губернатора, поручике, декабристе, члене Союза Благоденствия и Северного Общества находим прочувствованные



строки у будущего цензора А. В. Никитенко, которого уже не раз поминали. Оболенский в 1826 году был сослан на каторжные работы в Нерчинские рудники. Вернется он лишь в 1856 году и поселится в Калуге.

Но пока - год 1826 и Никитенко, который живет в доме Оболенского в качестве воспитателя «маленького князя» Владимира, младшего брата декабриста, пишет: «6 марта 1826 год. Вчера дворецкий князя Евгения Оболенского просил меня придти разобрать оставшиеся... книги его господина... с горьким щемлящим чувством вошел я в комнаты, где прошло столько замечательных месяцев моей жизни, и где разразился удар, чуть не уничтоживший меня в прах. Там все было в беспорядке и в запустении... В печальных комнатах царила могильная тишина: в них пахло гнилью и унынием: что стало с еще недавно кипевшею здесь жизнью? Где отважные умы, задумавшие идти наперекор судьбе и одним махом решать вековые злобы? В какую бездну несчастья повергнуты они! Уж лучше было бы им разом пасть в тот кровавый день, когда им стало ясно их бессилие, обратить против течения поток событий, неблагоприятных для их замысла!... размышления мои были прерваны приходом адъютанта князя Оболенского, он пришел сюда за своими книгами. Мы поговорили несколько минут, и я ушел с тоской в сердце».

Рожденному крепостным, самоучке Никитенко, с трудом добившемуся вольной у своего помещика, с помощью общественного мнения, которое всколыхнул именно Рылеев, было что вспомнить. Попав в Петербург, он приобщается к орбите либерально настроенных кругов, и особенно сближается с Рылевым. В своих дневниках Никитенко тоже признается, что «испытал на себе чарующее действие его гуманности и доброты». По воспоминаниям сестры Никитенко, он оказался в самом центре круга заговорщиков, хотя они и щадили 20-летнего юношу, и не посвящали в свои замыслы. Трудно представить, как это им удавалось, потому что более года после получения вольной (11 октября 1824 г.) Никитенко, не только часто бывал

у Рылеева, но именно по его рекомендации несколько месяцев проживал в доме будущего декабриста Е.П. Оболенского, как учитель его младшего брата.

При сходах будущих декабристов Оболенский, может быть, даже более чем все остальные, задавался вопросом «о крови». Можно ли взять на свою совесть убийство царя и всей его семьи. В юности у него случилась дуэль, где противник был убит и по сию пору он не мог отделаться от чувства вины.

Вместе с тем, будучи высоко нравственным человеком, князь Евгений не дал себе труда взглянуть в суть характера своего младшего брата, воспитанного двумя гувернерами – французом и немцем, и присланного потом отцом на попечение старшего Оболенского. «Князек», как называет его Никитенко, как раз и олицетворял собирательный образ той части дворянства, которая возмущала «прогрессистов» и привела к попытке восстания. О своем воспитанике Владимире Оболенском Никитенко пишет: «князек рос, и вместе с ним и прирожденные ему пороки... его поместили в один из французских пансионов, где учат многому, но не научают почти ничему; он еще больше усовершенствовался в разных шалостях. Брат его (Евгений, *-авт.*), человек очень хороший, но, по ложному представлению Шеллинговой системы, положил «ничем не стесняясь свободы нравственного существа», то есть своего братца... Впрочем, это едва ли не применимо к воспитанию почти всего нашего дворянства, особенно самого знатного. У нас обычай воспитывать молодых людей «для света», а не «для общества», ... гувернер француз ручается за успех «в свете», а за нравственность – отвечает один случай».

Во время «событий» Никитенко в смятении. Он особенно шокирован арестом поэта – декабриста Федора Николаевича Глинки, который, впрочем, впоследствии совершенно изменит свои политические воззрения и станет изрядным реакционером и мистиком. Но это будет потом, а в 1826 году, его, как одного из руководителей Союза Благоденствия, арестуют. Судьба оказалась к нему милостива, о чем узнаем из того

же «Дневника» Никитенко.

Итак, 1 января 1826 года к Никитенко приходит старый приятель Яков Иванович Ростовцев (о котором подробнее – ниже) и сообщает, что Глинка, «который вполне заслуживает любви и уважения и которого я искренне почитаю, ... оправдал себя во всех подозрениях, какими его кто-то очернил в глазах правительства. Бумаги Глинки были отобраны, а сам он взят во дворец. Невинность его, однако, вскоре обнаружилась и сам государь отпустил его домой»...

И тут Никитенко приводит напутствие государя – еще один штрих к «климату века» и нравственного уровня той среды, из коей каким-то чудом проклюнулись декабристы, пусть неумелые, беспечные, легкомысленные, непоследовательные и необязательные даже по отношению друг к другу (вспомним С.П. Трубецкого, диктатора, который вообще не явился на Сенатскую площадь! – вдруг совершенно явственно поняв, что «дело» не обеспечено никакими реалиями и обречено на провал!), но все же обуреваемые некими высшими стремлениями не «для света», а «для общества».

Отпуская Глинку, Николай Павлович сказал: «Не морщиться, и не сердиться, господин Глинка! Ныне такие несчастные обстоятельства, что мы против воли принуждены иногда тревожить и честных людей... Скажите всем вашим друзьям, что обещания, которые я дал в манифесте, положили резкую черту между подозрениями и истиной, между желанием лучшего и бешеным стремлением к перевороту – что обещания эти написаны, не только на бумаге, но и в сердце моем».

В заключение этого абзаца еще неопытный и взбудораженный, притом очень юный Никитенко заключает: «Получив известие об аресте этого истинно доброго человека (Глинки, *-авт.*), я был очень огорчен. Но проницательность государя не дала ему ошибиться насчет правил и духа нашего милого поэта-христианина»...

Поистине, Никитенко в полном смятении. И неудивительно: в смятении – правда, по большей части скрытом – все

общество. Кого-то повесили, кого-то сослали, кого-то простили, а множество родственников осужденных, наоборот, осыпаны милостями, чинами и должностями, и Петербург по-прежнему веселится, и по-прежнему сверкают огнями ночные окна в «клане избранных»...

Неоднозначный Ростовцев. - А что же Ростовцев? Фигура сложная, о которой, даже по нескольким отрывочным записям Никитенко, можно было бы составить нечто вроде психологического эссе. Яков Иванович Ростовцев (1803-1860) – генерал-адъютант. Выдвинулся именно благодаря доносу на декабристов, с которыми был очень и сердечно близок. В 1835 году уже руководит военно-учебными заведениями, в 1856 году он – член Государственного Совета, а в 1857 г. входит в Комитет для обсуждения вопроса об освобождении крестьян. Во время событий 14 декабря на Сенатской площади тоже пострадал – случайно был ранен в руку...

Но сейчас год 1826 и Ростовцев дружит с Никитенко.

5 января Никитенко запишет: «Ростовцев просил меня переехать к нему. Я уверен в его дружеском расположении ко мне, но это самое налагает на меня, при нынешних обстоятельствах, обязанность быть особенно осторожным. Государь император его торжественно благодарил. Имя его сделалось предметом жарких толков в столице...»

22 января: «Был у Ростовцева. Он определен адъютантом к великому князю Михаилу Павловичу. Ему, кажется мне, не этого хотелось. Однако, государь к нему по-прежнему благосклонен. С его тонким умом и честолубием он может далеко пойти. Отношение его ко мне те же, что и прежде».

23 января: «Сегодня Ростовцев навестил меня. Он, между прочим, сообщил мне, что князь Е. Оболенский в показаниях своих запутал многих и в том числе Глинку, который ожидает, что его вновь арестуют».

Ростовцев заверяет Никитенко, что в случае ареста Глинка собирается призвать его в свидетели, как человека, который постоянно присутствовал при встречах Оболенского с

Глинкой, и тот просил Ростовцева об этом Никитенко предупредить.

Удивительно, как характер человека определяется с молодых ногтей. Бывший крепостной, Никитенко благоразумен, либерален в меру, дорожит возможной будущей карьерой, но не изменяет чести. Тем не менее, записывает: «Но само собой разумеется, я предпочел бы избежать этого нового осложнения»...

Прошло два года. Ростовцева мают сомнения, о чем в дневнике Никитенко.

30 января 1828 года: «Сегодня был у меня Ростовцев. Очень приятная беседа... Толковали о прошлом, вспоминали о декабристах.

- Но что скажет обо мне потомство, - заметил, между прочим, Ростовцев, - Я боюсь суда его. Поймет ли оно и признает ли те побудительные причины, которые руководили мною в бедственные декабрьские дни? Не сочтет ли оно меня доносчиком или трусом, который только о себе заботился?

- Потомство, - возразил я, - будет судить о вас не по одному этому поступку, а по характеру всей вашей будущей деятельности: ей предстоит разъяснить потомкам настоящий смысл ваших чувств и действий в этом горестном для всех событии.

Он со слезами на глазах обнял меня».

Так, в своих оценках, либеральный, но благонамеренный «цензор от бога» не отступает от раз навсегда выбранной позиции. Возможно, в тот час он, точно так же как и многие другие – из «бунтовщиков», - про себя называет мечтателя Рылеева «обольстителем»...

Что до Ростовцева, вполне может быть, что он искренне верил в правильность своего поступка: донос предотвратит плохо подготовленное и потому обреченное восстание. Но – все может быть и проще. Ростовцев боялся разгрома восстания и бедственных для себя последствий. Впрочем, доносчиком был не он один. До него доносов было по крайней мере еще три, и автор каждого, надо полагать, находил в их оправдание самые веские и благородные мотивы...

Однако, как поглядишь, сколь сходны были они, мотивы поступков весьма разных по типу людей. У мало кому еще

известного Ростовцева — и покрытого воинской славой князя Трубецкого, например...

13 декабря, в ночь, к Трубецкому, жившему в доме своего тестя И.А. Лавалы, явились Оболенский и Валериан Голицын «напомнить», что завтра — восстание, а он, Трубецкой, — диктатор! Но Сергей Петрович, обладавший недюжинным воинским опытом и талантом, твердит: «Сие есть верх безумия, судя по средствам и намерениям». Он убеждает Голицына: «надо иметь хоть каплю рассудка, чтобы видеть всю невозможность этого дела... Никто на него не решится, кроме тех, кои довели себя до политического сумасшествия»...

Спор был долгий и, убедившись, что намечено убийство всей царской фамилии, Трубецкой заявил: «Нет, не хочу, не могу. Я не рожден убийцею»... На вопрос, будет ли завтра на площади, отвечает уклончиво: «Я, право, не знаю. Я еще подумаю»...

Если верить Мережковскому, который описывает события 14 декабря в своей трилогии «Царство зверя», Трубецкой все-таки поехал к Рылеву, намереваясь сказать, что вообще выходит из Общества. Но — не сказал. Только убеждал, что не то важно, что «сами погибнем, но и других погубим». И удалился: «Нет, господа, я не могу... Я не был никогда ни злодеем, ни извергом, и произвольным убийцей быть не могу»... На вопрос, зачем он не отказался от диктаторства, ответил: «Скажу прямо; я до последней минуты надеялся, что, оставаясь в сношении с членами Общества, как бы в виде начальника, я успею отворотить зло и сохранить хоть некоторый вид законности».

Когда из особняка австрийского посланника Людвиг Лебцельтерн, его шурина, Трубецкого привезли во дворец пред очи Николая Павловича, он не изменил позиции. Признал, что состоял в Обществе, признал, что был назначен диктатором, однако твердо сообщил: «Видя, что им нужно одно мое имя, я отошел от них. Надеюсь, впрочем, до последней минуты, что, оставаясь с ними в сношении, как бы в виде начальника, успею отворотить их от сего нелепого замысла». Намерение царевубийства отрицал и заверял, что «хотел отворотить от кровопролития

ненужного».

Допросы и очные ставки. — Как разворачивалось само «действие», так много написано, что повторяться излишне. Имеется множество свидетельств очевидцев, и тех современников, что «узнали о происшествии по слухам».

Этот день описывает «московская барыня» Янькова в книге «Рассказы бабушки», впоследствии приведенные ее автором Благово в его знаменитой книге. Со многими из участников Янькова была в родстве, равно как и другие современники, так что слухи доходили от «раненых в сердце» в омраченные горем гнезда.

Достоверно описывает этот день знаменитая Александра Осиповна Россет-Смирнова, поскольку ее дядя, декабрист Лорэр, тоже был в ссылке, так что ее записки сделаны «со знанием дела». Кстати, именно из ее записок явствует, что декабристы в Сибири отнюдь не были полностью отрешены от столичной жизни, как бы парадоксально это не звучало. Не говоря об оживленной переписке, случались и наезды «столичных гостей». Например, брат Смирновой, Аркадий Осипович Россет в 1840–1841 гг. инспектировал артиллерию Сибирского и Оренбургского округов и в Восточной Сибири виделся с декабристами — в Тобольске с М.А. Фонвизиним и другими, о чем известно из трех писем его к сестре, посланных 1 мая 1842 г. из Омска, 10 октября из Семипалатинска и 10 декабря 1841 из Иркутска. В последнем он пишет о встрече с Трубецкими, которые ему рассказывали, что дядя его и Смирновой, декабрист Николай Иванович Лорэр, оставил здесь о себе хорошую и «бодрую» память: его все искренне любили за доброту и веселость — до последнего дня своего пребывания он был постоянным источником анекдотов. Екатерина Ивановна Трубецкая, никак не хохотунья от природы, говорила, «что Лорэр был смешон и мил до удивительности, когда рассказывал свои истории».

Надо полагать, «каторжные» рассказывали приезжим не только веселые истории Лорэра и подобных ему «бодряков», но описывали и ход событий злосчастного дня.

Их же, эти события, описывает князь Сергей Петрович Трубецкой, все-таки побывавший на площади, но отдельно от всех остальных. Кроме того, в письмах, хоть и завуалированно, от сосланных поступали сведения и подробности. Поэтому вновь описывать этот день нет смысла...

Заметим, что на Сенатской площади не было ни князя Трубецкого, ни князя Волконского, ни главного идейного вождя восстания — Пестеля. Правда, - по разным причинам. Да и вообще в этот день самых именитых участников Общества Благоденствия что-то было немного на Сенатской площади...

Наверное, Трубецкой не ошибался. Нужны были не столь они, сколь их имена. Имена, нередко звучавшие на поле брани, при награждении орденами, на придворных раутах, на представлениях во Дворце. Имена тех, кто учился вместе, впитывал премудрости способа жить «в свете» с детства, на танцевальных утрениках. Чтобы Николай Павлович дрогнул: свои, свои же восстали; свои отвергают; а тогда — как царствовать?

На допросах, где опять же допрашивают «знакомые все лица», арестованные декабристы вели себя неумело. Чистосердечно признавались, кто с кем познакомился в Обществе Благоденствия, кто что предложил, какие у кого были замыслы. Они не предавали друг друга. Они — признавались, потому что не могли и не хотели лгать, так велел кодекс чести. К тому же, все они были военными, свято верили в значимость принесенной присяги и понимали, что ее нарушили, а стало быть, достойны наказания, и попытка избежать наказания — трусость...

Сложнее всего обернулись дела при разборе обстоятельств убийства генерала Милорадовича на Сенатской площади. А обстоятельства были таковы, что когда конь генерала пошатнулся, Евгений Оболенский, которого «воротило от крови», с отвращением и ненавией себя, колот коня штыком, пока тот не упал. В это же время на площади щелкали выстрелы, так что вовсе неясно было, пал ли генерал от этих шальных пуль, от укола штыком Оболенского или же его на самом деле убил отставной армеец Петр Каховский.

В своем романе «Царство зверя», строго опираясь на источники, Мережковский реконструирует следующую сцену, произошедшую во время допроса:

- Каховский показывает, что графа Милорадовича убил Оболенский, нанеся ему раны штыком, - настаивал наиболее дотошный «допросчик» Чернышев. — Подтверждаете ли вы, Рылеев, что убил его не Оболенский, а Каховский, и что сам об этом сказывал у вас на квартире вечером 14-го?

- Подтверждаю, - ответил Рылеев.

Тот же вопрос Чернышев задал Голицыну, который, однако, колеблется: ведь если признается — то тем самым как бы подписывает смертный приговор Каховскому. Чернышев настаивает: «Что же вы молчите, спасите невиновного!» — и Голицын подтверждает...

Вводят Каховского. Рылеев и Голицын видят его осунувшееся лицо, словно каменное, с высокомерно оттопыренной нижней губой и взглядом бездомной собаки.

- Вы, стало быть, ... оклеветали невиновного, Каховский?

- Оклеветал? Я? Я мог быть злодей в исступлении, но подлец и клеветником никто меня не сделает. Будучи сами виновны, они смеют меня оскорблять, называя убийцей. Целовали, благословляли, и теперь как злодеем гнушаются... Этот не может меня оскорбить... Одно скажу: я не узнаю его или никогда не знал.

Сказанное — о Рылееве, которого Каховский возненавидел после вручения кинжала и четкого поручения убить Николая Павловича. Вся сцена показалась Каховскому настолько унижительной, что он этим кинжалом даже замахнулся на Рылеева — но потом кинжал бросил... Он настолько Рылеева презирал, что на допросе даже не назвал его по фамилии, а определял «этот».

Тем не менее, Чернышев настаивал и Каховский повторил свое прежнее показание, что Оболенский, возможно, убил Милорадовича штыком.

- Лучше не запирайтесь, Каховский. На вас показывают все.

- Кто все?
- Рылеев, Бестужев, Одоевский, Пушкин, Голицын.
- Голицын? Не может быть.
- Хотите очную ставку?

Он не хотел. И так все было ясно. Никогда не был он настоящим с ними, никогда не был «своим». Может быть, от этого в роковой день, целясь в Николая Павловича, промахнулся – не чувствовал за собой поддержки «клана»...

Но тут же при допросе сидел Рылеев. Обуреваемый очередным романтическим порывом, кинулся к Каховскому:

- Вместе умрем, Каховский! Ты не один, пойми же – вместе!

Каховский попросил Чернышева избавить его от подобных сцен и тот принял его успокаивать.

А Рылеев сбивчиво лепетал, что всегда любил и любит Каховского. Наверное, тот содрогнулся...

- Любишь? Так вот же тебе за твою любовь! – закричал Каховский и, кинувшись к Рылееву, ударил его по лицу.

Если верить Мережковскому, который, изучив допросные листы, именно так реконструировал эту сцену, то приходит на ум, что все стоявшие рядом сочувствовали Каховскому, хотя, по-видимому, он был глубоко чужд им, и может, кое-кто из «показавших» на Каховского и подумал про себя, что пощечина дана по заслугам. Они все прошли стадию «обольщения» Рылеевым и только сословная солидарность мешала им высказать ему, что не возьмись он, беспечный поэт, затеять кровавую игру прошлого с будущим, жизни со смертью, так легкомысленно и неумело, не сидеть бы им всем тут перед «допросчиками»...

Каховский был «не с ними», «не из них», - и потому свободен. Отсюда – пощечина.

Детские танцевальные утренники. – Будущие палачи и будущие жертвы 14 декабря учились в одних пансионах и лицеях. Самое старшее поколение декабристов училось у аббата Груббера, фаворита Павла I. Он выстроил на Екатерининском канале дом для «иезуитского коллегiums». Здесь в 1803 г. открылся «Благородный пансион для знатных русских юношей

сроком на 2 года». Знатная поросль тут же заполнила пансион. Голицыны, Вяземские, Одоевские, ... молились на латыни, жили в отдельных комнатах, где «глазок» в двери позволял надзирателям наблюдать за ними. Сергей Волконский, В.Л. Давыдов учились у знаменитого аббата Николя, тоже державшего закрытый пансион «для благородных юношей». Младшее поколение училось в Царскосельском лицее. Пушкин чудом избежал поступления к Грубберу и пошел в лицей. Здесь же – Кюхля, Пушкин, Дельвиг и сколько еще других, бок о бок с Пушкиным...

С молодых ногтей все учились танцевать и «вести себя в свете при наилучших манерах» на знаменитых утренниках, которые устраивал балетмейстер Йогель. Как поминает Д. Благово, видный литератор, а впоследствии и видный иерей конца XIX века в своей книге «Рассказы бабушки», сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева об их детских годах писала: «...Родители возили... на уроки танцевания к Трубецким..., Бутурлиным..., Сушковым, а по четвергам на детские балы к танцмейстеру Йогелю переучившему столько поколений в Москве». Сам танцмейстер жил на Бронной в собственном доме, но вел танцевальные классы также в доме Грибоедовых (в Новинском, ныне улица Чайковского, дом 17). У него учились также Д.Н. Свербеев, Н.И. Новиков, поэт И.И. Дмитриев – да всех не перечесать. Не с этих ли утренников списаны детские балы у Йогеля в «Войне и мире»?

Все они знали друг друга «в войне и в вине». Большинство находится в родстве или «свойстве». Недаром же в «бунте» участвуют шесть Муравьевых, четверо Бестужевых, декабрист Михаил Орлов, племянник декабриста Давыдова. В близком родстве с ним Владимир Лихарев и Иосиф Поджо, а Александр и Николай Раевские – его племянники, хотя и не члены Тайного Общества, все же арестованы по делу декабристов, как состоящие в близких связях с ними. Можно вспомнить Барятинского – близкого друга Пестеля, и сколько еще других...

Они занимали блистательные места в обществе, ничуть не подозревая, что однажды окажутся по разные стороны

невидимой баррикады. На общей иерархической лестнице стояли генералы Фонвизин и Сергей Волконский. Капитан главного штаба князь Оболенский и друг генерал-губернатора Милорадовича – кумир молодежи Якубович. Начальник канцелярии московского генерал-губернатора Семенов. Друг Рылеева, прокурор Сената Краснокутский, который и примчался к нему с вестью, что завтра ожидается принесение присяги Николаю. Оказавшись друг против друга на Сенатской площади, они не могли перешагнуть через многолетние, связывающие их узы. Они стояли в карз и не могли начать действовать.

Перед ними стояли братья, с которыми они учились, служили, воевали и повесничали вместе. Они могли стреляться с ними на дуэли, но – убить? На это они не могли решиться. Дети единого сословия, они вели между собою внутрисословный спор. А учитывая разветвленные родственные связи между родовыми дворянскими фамилиями, это походило даже на внутрисемейную разборку. В них не было ненависти, которая сама взводит курки. Убить царя, арестовать его семейство – решалось через разум и с помощью логики. Решение не скреплено было ни пролитой кровью, ни ранее пережитым позором, ни личным унижением.

Не потому ли Кюхельбекер, вышедший на площадь в одном фраке, вооруженный большим пистолетом и жандармским палашем, хотя и сыграл свою роль «на сцене трагической и важной», был осужден по первому разряду всего только за злоумышление – он покушался на жизнь великого князя Михаила Павловича. Покушался – но не смог выполнить задуманное...

И случайно ли, что многие члены Северного и Южного Обществ, взявшие на себя дело устранения царя, в день 14 декабря все-таки стояли в полном замешательстве, ничего не предпринимая. Друг Рылеева по лицу, Александр Михайлович Булатов, которому накануне восстания было предложено звание «диктатора», как бы дублера Трубецкого (причем он отказался), вооруженный пистолетами и кинжалом, имел твердое намерение убить Николая Павловича. Он долго простоял

рядом с ним на Адмиралтейском бульваре, но удар нанести не смог. Не решился. Боялся? В 1813-1815 гг. он проявил фантастическую храбрость и был награжден «Золотым оружием», а в Петропавловской крепости имел мужество обречь себя на голод. Он в кровь изгрыз себе пальцы перед столом, уставленным едой. Он разбил себе голову о стену, оставив предсмертное письмо: «По последнюю минуту дыхания моего люблю Отечество и народ русский и за пользу их умираю мучительной смертью» Мог ли Булатов отказаться от намерения убить царя просто из страха?

* * *

Армеец Каховский. – Все они во многом были сходны. И все – очень разные. Мы привыкли видеть посмертное изображение на герценовском медальоне. Но ведь они были живые, и, стало быть, наделенные непредсказуемыми характерами. Что мы знаем? Пять похожих друг на друга профилей весьма разных людей. Четверо – во многом сродни друг другу, не только по образу мыслей, но, возможно, и по крови. Потому что, если погрузиться в глубины генеалогии русского дворянства, несомненно, можно найти роднящие их ростки.

Иное дело – отставной армеец Каховский. Который тоже во время наполеоновских войн проявил чудеса храбрости, но был разжалован и выведен в отставку, а за дерзость в 1816 году сослан рядовым на Кавказ. Но не слышно было, чтобы он похищал родовитых красавцев или участвовал в легендарных дуэлях из-за знаменитых актрис. Он не обедал в дорогих ресторанах и не блистал на балах. Имел одну слабость – был игрок, так что почти полностью проиграл свое и так небольшое достояние в Смоленске и даже своих не то тринадцать, не то пятнадцать крепостных душ.

Вероятно, стоявшие с ним рядом у виселицы, никак не могли знать его «в войне и в вине»! Он был армеец, и, - даже по службе, - пути у них были разные. Однако, природа, не учитывая сословных приличий, наделила его «не по чину»

проницательным умом и чрезмерно пылким сердцем. А судьба – подарила короткий романтический эпизод.

Стояло лето 1823 года. Из дома под номером 10 в начале Кирочной улицы выехал на лето в глушь Смоленской губернии, в собственное имение, Михаил Александрович Салтыков, один из друзей Карамзина и образованнейший человек тех лет. Его сопровождала дочь, восемнадцатилетняя Софья Михайловна. По соседству с Салтыковыми оказался некий отставной армейский поручик, и вот уж Софья Михайловна пишет подруге: «Ах, дорогой друг, что за человек! Сколько ума, сколько воображения в этом молодом человеке! Сколько чувства, какое величие души, какая правдивость! Сердце его чисто как кристалл... Я почувствовала, что полюбила его всей душой!».

Увы, поручик Петр Григорьевич Каховский, двадцати шести лет от роду, мечтавший «повоевать за свободу греков» и овеянный столь модным тогда духом байронизма, не владел ничем, кроме кристальной души и полной энтузиазма веры в справедливость. Его же возлюбленная была девицей рассудительной и, очевидно, готовясь к возвращению в Петербург, взвесила все за и против идиллического сельского романа.

1824 год. Осень. Салтыковы вернулись в столицу, и поселились на Литейном проспекте, на углу Бассейной улицы. Там, где впоследствии памятная доска свидетельствовала, что в этом доме жил Некрасов. Поручик Каховский не смирился с потерей. Следом за Салтыковыми он явился в столицу. Он мечтал о тайном венчании и о тройке, которая умчит его с избранницей сердца. Высокая фигура, закутанная в романтический плащ, нередко маячила у заветного дома. Через прислугу передавались письма, автор которых явно привык, как и все, больше говорить по-французски, чем по-русски, так что тексты звучат как подстрочный перевод: «Одно из двух – или смерть, или я счастлив вами; но пережить я не умею. Ради бога, отвечайте, не мучайте меня, мне легче умереть, чем жить для страданий. Ах, того ли я ожидал? Не будете отвечать сего дня, я не живу завтра – но ваш я буду и за гробом». Это письмо Каховский получил

обратно нераспечатанным (оно было найдено в его бумагах, как свидетельствует Модзалевский), а Салтыкова сообщает все той же подруге: «Я отослала письмо обратно, не распечатанным, не имея ни малейшего желания прочесть его».

Каховский, по свидетельству современников, «поверженный в совершенное уныние, похудевший, одним словом, как мертвец», возвращается в неприглядные «нумера» дешевой гостиницы «Неаполь», где квартировал.

К тому времени Каховский уже сблизился с членами Тайного Общества. Он искал в них руководства для своих чувств и мыслей. Более чем у кого-либо, у них, столь блистательных и аристократичных, стыдится он просить помощи в своем бедственном положении, но, тем не менее, в минуту крайней слабости отправляет Рылееву письмо: «Спаси меня. Я не имею сил терпеть все неприятности, которые ежедневно мне встречаются. Я не имею даже чем утолить голод. Вот со вторника до сих пор я ничего не ел...».

Однако, как относятся к нему его новые друзья? Несколько снисходительно, иные – покровительственно, но все – достаточно утилитарно. И почему бы нет? Ведь он предан Обществу всей душой, а оно, прежде всего, поглощено идеей не только свержения самовластия, но и уничтожением царя и всей его фамилии, притом Каховский сам вербует для Общества новых членов...

Есть одно «но». Каховский во многом расходится со своими товарищами. Если они только «допускают» смерть царя и уничтожение династии, то он «требует» этого. Вспомним: когда Пестель впервые говорит о необходимости устранить царя, ему отвечает смятенный гул голосов: «Это ужасно». И Пестель отвечает с полным хладнокровием: «Знаю, что ужасно!», но от своих намерений не отказывается. Каховский же сразу объявляет, что устранение царя возьмет на себя.

Рылеев пишет: «Я должен сознаться, что после того, как я узнал о намерении Якубовича и Каховского (а Якубович тоже претендовал на устранение царя, хотя скорее из бравады, как

впоследствии напишет Сергей Волконский в своих записках, - *авт.*), мне самому часто приходило на ум, что для прочного введения нового порядка вещей необходимо истребление всей царской фамилии». До 1824 года и до знакомства с Каховским Рылеев с такой идеей не выступал, и даже после этого сближения такая идея всего лишь «приходила на ум». Значит, невидный армеец Каховский оказывал достаточно сильное влияние на своих сотоварищей? Притом, что первым мысль о цареубийстве высказал именно Пестель. И очевидно, - не случайно. Отец его Иван Борисович Пестель – «тиран Сибири». Сибирский генерал-губернатор, правивший из Петербурга отдаленной царской сокровищницей. Действительный статский советник, член Государственного Совета, он был выведен в отставку в 1822 году за хищения и умер в 1845-м.

И.И. Дмитриев пишет о нем: «... человек умный, и, вероятно, бескорыстный, но слишком честолюбивый, наклонный к раздражительности и самовластью... сделался грозой целого края... Новый генерал-губернатор М.М. Сперанский получил повеление исследовать о всех злоупотреблениях прошедшего сибирского начальства... Виновные преданы суду, а бывший генерал-губернатор отставлен вовсе от службы».

Более подробно об этой колоритной фигуре пишут в своих воспоминаниях уже упомянутая нами «бабушка» Янькова, а также Смирнова-Россет. Выйдя в отставку, «тиран Сибири» живет на одном крыльце с любовницей Аракчеева Пукаловой и «через нее в великой милости у самого Аракчеева».

Таким образом, Пестель – прежде всего мыслитель! – оказывается как бы верхним полюсом движения. Слишком близок к «кухне власти» и к разнообразным ипостасям насилия, чтобы не понимать, что без насилия эту власть не свергнуть. Но Пестель на Сенатской площади 14 декабря не был (он арестован накануне) и потому, по словам его биографов, осужден «не столько за то, что сделал, потому что он сделал гораздо меньше, чем мог бы при других условиях, - сколько за то, чем он был. По силе характера и силе убеждения он был, бесспорно, первым

декабристом».

Пестель и стоит всегда первым в плеяде участников и организаторов событий 14 декабря. Каховский – последним. И опять же – случайно ли? Он – нижний полюс движения. Не мысль плеяды, а действие. Не мозг ее – а сердце и рука. Еще накануне восстания его сотоварищи так мало доверяли ему, что Рылеев не решается сообщить Каховскому личный состав руководства, который известен только узкому кругу лиц. Каховский явно к этому узкому кругу не причислен.

И тогда были ли будущие декабристы, которые собирались в доме Рылеева, сотоварищами Каховского? Если верить Мережковскому, черпавшему сведения из воспоминаний современников событий, Каховский всем видом, достаточно потрепанным и не очень опрятным, голодным выражением костистого лица, постоянной привычкой порывисто ходить по комнатам во время разговора, порядком раздражал веселых и беспечных мечтателей, которые предстоящие затейные ими события мыслили скорее как смелую и даже несколько занятную эскападу.

Они до хрипоты спорили по пустякам, тогда как вопрос стоял, «будет кровь, или ее не будет». И Каховский, взбудораженный ожиданием события, в котором видел переворот всей жизни, взрывался: «Я не с вами. Не с вами я. Я – один. И все сделаю один».

А «обольститель» Рылеев успокаивал, баюкал и, в конце концов, как уже было сказано, накануне восстания передал Каховскому кинжал, служивший условным знаком. А выглядело это как приказание хозяина вассалу: пойд и убей! Каховский, связанный постоянными денежными обязательствами Рылееву, подобный жест так и воспринял. Последовал новый взрыв: «Думаете, меня можно так вот послать – иди и убей? Я сам сделаю, как и когда решу. Но – сделаю».

Его тошнило от болтовни. От бахвальства Якубовича, который тоже жаждал убийства, но не «для общества», хотя в том не признавался, а из личного оскорбления – был когда-то разжалован и послан на Кавказ.

Отвергнутый возлюбленный, без малейших перспектив на будущее, нищий в полном смысле слова (ведь принимал от Рылеева не что иное, как милостыню!), Каховский понимал, что все это видят и именно потому нашли в нем исполнителя, чуть не наемного убийцу (ведь кормят и деньги дают!), чтобы сделать то, что их убеждения, их кодекс чести, их родственные и светские связи им сделать не позволяют.

А потому всякий раз уходил, решив, что больше сюда не придет. И приходил. Приткнуться больше некуда было. Совершить задуманный поступок – это был его шанс. При удаче, насколько неизмеримо выше своих сегодняшних покровителей он поднимется! А кровь... Но разве дуэли – не кровь? И они-то чуть не каждый день стреляются из-за пустяков. *Это их честь им позволяет.* Убрать же тирана – не в их моральных правилах. Что ж, он, Каховский, не так тонко воспитан. Он – сделает...

Думается, сидя в Петропавловской крепости перед казнью, ему было о чем подумать. Ничего, что случайно промахнулся, целясь в Николая Павловича. Зато влепил-таки пощечину барчуку Рылееву. Им, этим, слишком хорошо жилось. Им требовались острые ощущения. Да полно, верили ли они вообще в успех начатого дела... Узнав о доносе Ростовцева, разыграла дворянская спесь, надобно было поступить, как положено «для света». После доноса все равно арестуют, а если провести задуманную акцию, – так хоть со славою. Последствия? Авось, да судьба помилует. Свои же ведь, не в каторгу же сошлют, в самом деле...

Теперь Каховский их ненавидел. А они до него – снисходили.

В документах следственной комиссии записано: «Каховский был суровый и очень решительный человек. Он был недоволен своими собратьями и чтобы его успокоить, ему поручили убить Николая. Он взялся за это с энтузиазмом. По пути к цели он ранил кинжалом свитского офицера Стюрлера, призывавшего солдат отступать в казармы, и выстрелом из пистолета убил генерал-губернатора Милорадовича».

Заметим, это «чтобы его успокоить». Стало быть, даже Следственной Комиссии была ясна высокомерная снисходительность, с которой будущие декабристы относились к Каховскому, который, – коли уж, по их мнению, «жаждал крови», – то и пригоден был наилучшим образом стать орудием убийства.

Заметим и то, что даже Герцен об убийстве Милорадовича пишет с явным сочувствием к последнему (а, стало быть, с осуждением Каховского): «Он был милейший человек, кумир солдат... После извлечения пули он сказал призванному нотариусу: «Есть тут один молодой человек, сын моего старого товарища, славный малый, но сорви-голова. Мне кажется, что я видел его среди бунтовщиков. Запишите, что генерал Милорадович, умирая, просил императора пощадить его».

Нельзя исключить, что Милорадович имел ввиду графа Михаила Васильевича Каховского, генерала от инфантерии, в 1792 году принимавшего участие в подавлении поляков. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона род Каховских числится как известный русский и польский дворянский род, к польской ветви которого принадлежал знаменитый историк Веспасьян Каховский. Очевидно, род состоял из нескольких ветвей, одна из коих, более «покладистая», ознаменовалась названным выше графом Каховским, а какая-нибудь другая, очевидно, менее «сговорчивая», могла придти в разорение, а отсюда и более чем скромное положение армейца Каховского.

Так или иначе, а выстрел Каховского на Сенатской площади как бы развязал намертво связанный узел. Как уже было сказано, храбрец Булатов так выстрела и не сделал. И Кюхельбекер потерпел неудачу, как человек, привыкший проявлять решительность на дуэли, но не в политическом столкновении.

Почему выстрелил Каховский так внезапно? Не потому ли, что понял: необходимо разрушить преграду к действию – словесную солидарность – и пройти Рубикон. Все последующее описано многожды.

Что произошло после «событий»? Каховский вернулся в гостиницу «Неаполь». Здесь «сдавали номера для господ,

приезжающих в сию столицу, в лучшем виде отделанные большие и малые квартиры под номерами». В вывеске сообщалось: «тут можно получить и кушанье, из самых свежих припасов и напитки превосходных доброт за умеренную цену». Все это было не для Каховского. Как уже говорилось, он жил почти впроголодь, и принимал от Рылеева подачки и советы продать последних крепостных.

В декабре 1825 года, вечером 14-го числа, он вышел из «Неаполя» и отправился вновь на Сенатскую площадь, но не смог пробиться к месту действий, все было оцеплено войсками. Повернув назад, дошел до Синего Моста, зашел к Рылееву. У того сидел декабрист Штейнгель. Каховский вручил ему кинжал со следами крови Стюрлера и сказал: «Вы спасетесь, а мы погибнем. Возьмите этот кинжал на память обо мне и сохраните его».

Небогат был, видно, близкими людьми Каховский, который веряет последнюю память первому попавшемуся в тот вечер приятелю, чтобы передать ее хоть кому-нибудь!

Рылеев не оставил у себя Каховского на ночь и тот переночевал у подпоручика Кожевникова, тоже участника событий. Утром вернулся в свои нумера, где его поджидал казак — оказывается, полиция искала его еще с вечера. Каховского увезли во дворец на допрос.

Финал романа. — Полгода тянется пытка ожидания — весь Петербург гадает, какова будет судьба бунтовщиков. В этой связи, что касается Каховского, Герцен пишет: «Единственное милосердие оказал Николай Павлович своему подданному Петру Каховскому — не пролил его крови (как просил Милорадович! — *авт.*), предав казни с пролитием крови не сопряженной...».

Софья Михайловна Салтыкова, прослышав об аресте Каховского, встревожена весьма. Но она уже замужем. За другом Пушкина, за поэтом Дельвигом. Приятельнице она пишет: «Это не пылкая страсть, какую я чувствовала к Каховскому. Что привязывает меня к Дельвигу — это чистая привязанность, спокойствие, восхищение, что-то неземное». Хотя и опечаленная судьбой бывшего пылкого возлюбленного, Софья Михайловна

весьма по земному радуется своему новому положению: «У нас очаровательная квартира, небольшая, но удобная; веселая и красиво меблированная. Я не дожусь, когда буду в ней с моим Антошей (Дельвигом, — *авт.*), моим ангелом-хранителем» — пишет она.

В это же время иные строки пишутся в казематах Петропавловской крепости. В виде ответа на вопросы Следственной Комиссии, Каховский заявляет: «На примере испанского короля Фердинанда Седьмого и его вероломства к революционеру Риего, спасшему королю жизнь, очевидно, что с царями народам делать договор нельзя... Одинаковое чувство объединяет все народы Европы и сколь не утеснено оно, подавить его невозможно. Сжатый порох сильнее действует. И пока будут люди, будет и желание свободы».

Трудное же положение было у Софьи Салтыковой! Выбор ей представился нелегкий. Дельвиг был живительным, но мирным родником. Каховский — водопадом. Софья Салтыкова, по свидетельству современников, — «очень добрая женщина, очень миловидная, симпатичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно было выносить только при его хладнокровии». Так что не зря, видно, выбрала она живительный и мирный родник.

Впрочем, иного выхода у нее и не было. Ее отец никогда не согласился бы принять в свой дом Каховского. Михаил Александрович Салтыков принадлежал к высшим общественным кругам, — был адъютантом князя Потемкина, попечителем Казанского университета, а затем и Сенатором.

Как видим, девица Салтыкова оказалась благоразумной, выбрав барона Антона Антоновича Дельвига, однокашника и одного из ближайших друзей Пушкина. Он был ленив и романтичен, писал стихи — в 1814 году «Вестник Европы» опубликовал стихи 16-летнего патриота Дельвига «На взятие Парижа».

Кончив курс лицея, Антон Антонович служил в департаменте горных и соляных дел, затем в Министерстве финансов.

Весьма чувствительный поэт, он был и добросовестнейшим чиновником. «Делал карьеру», все как положено. С 1821-1825 гг. был помощником библиотекаря Ивана Андреевича Крылова в императорской Публичной библиотеке и служил до безвременной своей кончины в 1831 году.

И, выходит, что в 1825 г., когда он женился на Софье Михайловне, Дельвиг был не только надежен, но даже знаменит. Его нередко печатали в альманахах двадцатых годов. Теперь у Дельвигов — литературный салон. Пушкин, Жуковский, Баратынский, Плетнев, Языков — его завсегдатаи. Впечатлительный и sentimentalный, Дельвиг, тем не менее, — вполне деловой человек. С 1825 по 1832 гг., вместе с О. Сомовым выпустил восемь книжек альманаха «Северные цветы», в 1829-1830 — две книжки «Подснежника». А в 1830 году Дельвиг даже принял издание газеты. . . Ленивый баловень писал романсы — по воспоминаниям весьма близкой к этому кругу А.О. Смирновой, на его слова «Только узнал я тебя» уже знаменитый тогда композитор Глинка сочинил музыку.

Даже причиной ранней смерти Дельвига послужила его чрезмерная чувствительность. О чем узнаем из известных дневниковых записей цензора, высокопоставленного чиновника по делам печати А.В. Никитенко, которого впоследствии легкомысленно отнесли к так называемым «реакционерам», тогда как он был всего лишь «дитя своего времени и своей среды».

В 1831 году Никитенко всего 28 лет. Он наблюдателен, остро реагирует на малейшую несправедливость. О будущих зигзагах своей достаточно стремительной карьеры еще ведать не ведает, и с середины 1831 года записывает: «Барон А.А. Дельвиг умер после четырехдневной болезни. Новое доказательство ничтожества человеческого. Ему было тридцать три года. Он был, кажется, крепкого, цветущего здоровья. Я не так давно с ним познакомился и был им очарован. О нем все сожалеют, как о человеке благородном».

И через несколько дней: «Публика в ранней кончине барона Дельвига обвиняет Бенкендорфа, который за помещение

в литературной газете четверостишия Казимира Делавиня назвал Дельвига в глаза почти якобинцем и дал ему почувствовать, что правительство следит за ним.

Засим и «Литературную газету запрещено было ему издавать. Это поразило человека благородного и чувствительного и ускорило развитие болезни, которая, может быть, давно в нем зрела».

За приведенными краткими строками Никитенко кроется настоящий политический скандал. Дело в том, что стихи Делавиня, напечатанные в Литературной газете (1830, № 61 от 28 октября) сопровождалась заметкой: «Вот новые четыре стиха Казимира Делавиня на памятник, который в Париже предполагают воздвигнуть жертвам 27-го, 28-го и 29-го июля» (т. е. жертвам Июльской революции — *авт.*). Бенкендорф запросил, кто прислал стихи, и куда глядела цензура, позволив напечатать строки «коих содержание, мягко сказать, неприлично и может служить поводом к различным неблагоприятным толкам и суждениям». Несмотря на всеобщее убеждение, что в стихах ничего противозаконного не было обнаружено, Бенкендорф вызвал Дельвига к себе в кабинет в сопровождении жандарма. В своих записках племянник «милого Антоши», А.И. Дельвиг, рассказывает, что Бенкендорф самым грубым образом спросил А.А.: «Что ты опять печатаешь недозволенное?». «Выражение «ты», вместо общеупотребительного «вы» не могло с самого начала этой сцены не подействовать весьма неприятно на Дельвига. . .». К тому же Бенкендорф добавил: «что Дельвига, Пушкина и Вяземского уж упрячет, если не теперь, то вскоре в Сибирь». Этот рассказ можно прочесть в воспоминаниях А.И. Дельвига, «Полвека русской жизни», т. I. «Academia», 1930 г.

Как звучало злосчастное четверостишие, погубившее Дельвига? В подстрочном переводе: «Франция, назови мне их имена! Я не вижу их на этом надгробном памятнике. Они так быстро победили, что ты стала свободна раньше, чем узнала их».

Если столь, в общем, безобидные стихи вызвали такую бурю, то какова же должна была быть реакция Следственного

Комитета на приведенные выше дерзкие строки, написанные Каховским в Петропавловской крепости...

Итак, счастье девицы Салтыковой оказалось непродолжительным. Участь стремительного водопада – Каховского, закономерна – поскольку поединок с властью всегда игра со смертью. Но обреченным оказался и «нежный ручеек», неосмотрительно пересекшийся с неисповедимыми тропами власти предрешающей...

Никитенко в рассуждении о либерализме пишет: «Ведь и барон (А.А. – авт.) Дельвиг, человек слишком ленивый, чтобы быть деятельным либералом, был же обвинен в неблагонамеренном духе».

Впрочем, если учесть сцены, которые разыгрывались в семье Дельвигов, была ли вообще счастлива благоразумная Софья Михайловна, к которой Дельвиг некогда адресовал нежнейшие строки: «Когда, душа, просилась ты погибнуть иль любить»... – конечно же, в истоках их романа...

Стоит год 1831. И Каховскому до всего этого уже давно нет дела. Не повезло ему, не повезло в любви. И всего лишь потому, что никто не дал себе труда в то время поинтересоваться его родословной. «Безродность» его была весьма спорной. Например, все тот же не раз поминаемый нами Никитенко, который в начале своей карьеры преподавал в Смольном институте благородных девиц, упоминает, что на одном из выпусков награждены были две девицы Каховские, одна из коих даже получила шифр из рук вдовствующей императрицы Марии Федоровны. А гораздо раньше, в 1794 году, уже упомянутый выше граф Каховский выручил известного остзейского генерала Карла Багговута при поражении русских войск под Варшавой и помог вывести их из окружения, – к фамилии Багговута мы еще вернемся.

Впрочем, справедливости ради, судьба одарила Каховского в последние месяцы жизни «романтической компенсацией». Известно, что на свидании со своим супругом, жена Кондратия Рылеева рассказала ему, что у Каховского завязался роман с

дочерью коменданта крепости Подушкина, Аделаидой Егоровой, весьма зрелого возраста.

Окно камеры Каховского выходило прямо напротив окон квартиры плац-майора Подушкина. Видно, Каховский был-таки наделен неким байроническим обаянием, коли девица Подушкина в него влюбилась. Не обладая особо острым зрением, узник не мог разглядеть издалека ее увядающего лица, но ее розовые, голубые, воздушные платья, мелькавшие в окне, вносили луч света в его ожесточение. Похоже, он полюбил ее, как мог полюбить Дон Кихот Дульсинею Тобосскую, наделяя примысленными в одиночестве достоинствами.

Она посылала ему книги, и он читал без устали. Встречаясь в коридоре с товарищами по несчастью, – не здоровался и чувствовал их. Продолжал ненавидеть. В камере читал и перечитывал «Божественную комедию» – итальянский немного знал, поскольку побывал в Италии, в походах. А девица Подушкина, сидя у окна и поигрывая на гитаре, пела распространенный в крепости романс:

*Он, сидя в башне за стенами,
Лишен там, бедненький, всего.
Жалеть бы стали вы и сами,
Когда б увидели его!*

Вот и все везение Каховского в любви...

Еще менее повезло Каховскому в дружбе. Известно, например, из воспоминаний Николая Бестужева, который вообще относился к безвестному армейцу достаточно прохладно, что утром 14 декабря Каховский побывал у Рылеева, после чего последний сообщил Бестужеву, что Каховский «дал нам с твоим братом Александром слово об исполнении своего обещания, а мы сказали ему, на всякий случай, что с сей поры мы его не знаем, и он нас не знает, и чтобы он делал свое дело, как умеет».

И это говорил Рылеев, который по первости собирался встать на Сенатской площади в ряды солдат, во фраке с сумою через

плечо и с ружьем в руках – тоже из воспоминаний Бестужева. Но когда последний с удивлением и раздражением прервал его, Рылеев ответил: «Да, а, может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы».

Бестужев удивился еще больше и возразил: «Я тебе это не советую. Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию к твоему благородному, но неуместному поступку. К чему этот маскарад? Время национальной гвардии еще не настало». В ответ Рылеев, задумавшись: «В самом деле, это слишком романтически – итак, просто, без излишеств, без затей. . .».

Перед нами два участника декабрьского восстания 1825 года. Столь разные. Вскоре их профили окажутся по соседству на памятной медали после их казни. Рылеев – думает о том, как будет выглядеть и в какой одежде наиболее впечатлит восставших на Сенатской площади. Каховский – решил, что «кровь будет», и что именно он возьмет на себя задуманное царевубийство. Могли ли они сблизиться и понять друг друга? Отсюда, очевидно, рассказанное Бестужевым «мы его не знаем, и он нас не знает, и чтобы он делал свое дело, как умеет».

Значило ли это, что «опасное знакомство» с Каховским должно скрываться в целях конспирации? Или, что «убийца» Каховский уже не достоин тесного общения со всеми остальными – светлыми, чистыми, романтичными. . .

Так или иначе, 13 июля 1826 года пятеро храбрецов, мечтателей и мыслителей, дерзновением опередивших наиболее прогрессивных представителей своей касты, стояли на пороге небытия, отрешенные от титулов, чинов, побед, гордыни, слабостей, пристрастий и тщеславия. Что отъединяло от Каховского других четырех героев даже в эту роковую минуту? Неужели же непричастность к их замкнутому кругу, многожды связанному узами родства, общих пансионеров, полковых и сословных традиций и воспоминаний? То, что для Каховского, быть

может, 14 декабря решался не внутрисословный спор, а рушились веками устоявшиеся преграды? То, что жертвой его выстрела пал именно «милейший человек», «кумир солдат» Мило-
радович? Или то, что сделанный выстрел и пролитая кровь, не на войне, не на дуэли, создавали казус для введения в обиход смертной казни, отмененной для дворян чуть не со времен Елизаветы Петровны?

Руки не подают человеку, с запятнанной честью. Руки не подают убийце. Неужели даже Пестель мог рассматривать выстрел Каховского как убийство, тем более, что Следственной Комиссии так и не удалось точно установить, погиб ли Мило-
радович именно от этого выстрела? Неужели эти четверо – декабристов, героев – до последней минуты не простили Каховскому, что он нарушил раз навсегда усвоенные сословные «правила игры» касты избранных?

Молчат антично-спокойные профили на медальоне первого номера «Полярной Звезды». Ничего и никогда не расскажут о последнем нерешенном споре – этическом, сословном, идейном? – с нищим армейцем Каховским. . .

* * *

Федорович и... Кузедеевская церковь. – Когда этот очерк уже был закончен, новые сведения и имена, связанные с декабрьскими событиями, всплыли весьма неожиданно. . . в связи с сибирской церквушкой в предальнем селе Кузедееве.

В записках приближенных к Николаю Павловичу от 13 и 14 декабря 1825 года часто встречается некий «Федорович». О нем мы расскажем подробнее ниже. Пока же знаем, что он, флигель-адъютант, служит Николаю Павловичу едва ли не камердинером, подносит ему все, что нужно для бритья, уговаривает позавтракать и приносит привычный кофе со сливками на тартинках.

Это он, в утро, решающее для трона России, а, возможно, и для жизни Николая, затягивает его в лосины, и подает мундир. И он же готовит на всякий случай экипажи для царской

семьи - вдруг придется бежать из дворца обеим императрицам, матери и жене, вместе с наследником, маленьким Сашей, будущим Александром Вторым.

С ним украдкой советуется Николай: может, и ему тоже – в экипаж? И тот лишь твердит: «Я думаю, что жизнь Вашего Величества...» и Николай понимает, что сейчас никто ничего посоветовать ему не может, ругает Федоровича и мчится к Сенатской площади.

Но вот кончился страшный день. Николай не спит всю ночь, чашку за чашкой пьет черный кофе. Ожидает доставленных во дворец для допросов. Верный Федорович, немного «играя в лакея», чтобы насмешить, несет на трех пальцах поднос с кофейником.

Мережковский так реконструирует эту сцену в ожидании допроса Трубецкого:

- Вы бы поспали, Ваше Величество...
- Нет, Федорович, не до сна.
- Вторую ночь не спите. Этак заболеть можно.
- Ну, что ж, заболею – свалюсь. А пока еще ноги таскают, держаться надо.

Как потом выяснилось, «Федорович», то есть будущий Министр Двора Владимир Федорович Адлерберг, находился близ Николая до конца его дней и потом служил его сыну Александру Второму, с трудом пытаясь приноровиться к новым нравам и новым веяниям.

Хорош ли был, иль плох, – судить читателю.

«За рекою, за туманами» – так назвала я в конце 80-х годов небольшой очерк о селе Кузедееве, куда мы с телевизионным фотокором прибыли, чтобы посетить цех художественной резьбы по дереву при местной фабрике детских игрушек. Цех славился своими «медведями», а «медвежьим кудесником» оказался некий Степан Андреевич Калмыков, с которым мы впоследствии приятельствовали чуть не до 1992 года. Открытки с изображением его медвежат издавали в Японии, куда занятные кузедеевские зверушки попадали как сувениры, даренные разным заморским гостям Кузбасса.

Тогда в «фокусе внимания» стояли вопросы народных промыслов, что и привело нас ранним сентябрьским утром к реке Кондоме – через нее на «карбасе» на тот берег (тогда моста еще не было) и прямо-прямо по дорожке, сквозь все село – к фабрике. Никогда не забуду это утро. Бывают же такие волшебные мгновения, когда ощущаешь – это никогда больше не повторится. Над рекой розоватой мглой еще стелился легкий туман, солнце едва золотило верхушки деревьев, мы ступали по багряно-охристому ковру – уже начался листопад...

Конечно же, побывав в цеху, мы отправились искать церковь. В ту пору такие посещения никак не входили в наши задачи ни по какой линии – ни газеты, ни телевидения, как не входили и позднее по линии Общества охраны памятников истории и культуры, где мне тоже довелось работать, но мы с Виктором Дмитриевичем Сергеевым, похоже, были единомышленны в своем пристрастии повсюду поглядеть – в каком состоянии оказались церкви...

Откроем скобку: в 1997-м году в книге «Плач золотых звонниц» мы с В.В. Тогулевым опубликовали немало документов, касающихся увиденных нами в те годы церквей и их печальной участи, в том числе и кузедеевской.

Маленькая кузедеевская церковь в то утро выглядела как-то особенно трогательно в своей скромности – уж не знаю почему, настолько она запомнилась, что много позже, после постигшей меня горькой утраты в 1984 году, о ней подумала. И в начале 90-х, вновь побывав в Кузедеево, – уже в который раз! – принесла прекрасный напрестольный крест в дар церкви в память об Ю.А. Кушникове. Крест подарила мне свекровь, дочь и внучка священника, сумевшая его сберечь в сумбуре исторических изломов. В моем понимании этот крест был как бы связующим звеном между поколениями и двумя веками – XIX и XX-м, и это казалось мне важным, потому что «зачин церкви» в подготовленном мною в то время списке памятников истории и культуры значился 60-ми годами XIX века.

Больше о ней ничего не знала. Прошло десять лет. У меня на столе оказался бесценный архив, собранный многолетне моим постоянным сотоварищем по перу В.В. Тогулевым, и вдруг там – клировая ведомость, где о Кузедеевской церкви сказано если не все, то очень многое. Не стану пересказывать ее – похоже, интересно привести эту клировую ведомость в целом; заполнена она в 1915-м году, когда церковь называлась еще Иоанно-Предтеченской. Через несколько лет она будет истреблена новой властью, а храм в Кузедееве восстановленный позднее, станет носить имя Святителя Пантелеимона.

«Из ведомости о церкви Иоанно-Предтеченской, состоящей благочиния № 14 Кузнецкого уезда Томской епархии в селе Аилокузедеевском:

...Церковь построена в 1861 году на окладные суммы Алтайской духовной Миссии, преимущественно же на пожертвования Преосвященнейшего Парфения, епископа Томского, и графини М. Адлеберг. Плана на оную нет.

... Зданием деревянная, на каменном фундаменте, с таковою же колокольнею особою, не очень крепка, покрыта тесом. Церковь застрахована.

... Престол в ней один во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Празднуется 7-го января.

... Утварью достаточна: священнических облачений 7, диаконских 1, потиров с принадлежностями 1, напрестольных евангелий 3, из них одно ветхое, крестов 4, между последними древних и замечательных чем-либо нет.

... По штату при ней положены: один священник и один псаломщик.

... Жалованья положено: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб.

... Круговых доходов за 1915 год получено 540 руб.

... Земли при церкви состоит в расстоянии 3-х верст от церкви всего 99 десятин.

... Качество церковной земли: покрыта лесом.

... Средний доход, ею приносимый:

землю причт лишь пользуется для своей надобности: дохода от земли причт не получает.

... Дома для священно- и церковно-служителей на церковной усадебной земле деревянные, построены на средства Алтайской Духовной Миссии в 1859 году и составляют собственность церкви. Дома причта застрахованы. Другие здания, принадлежащие церкви: церковная сторожка.

... Состояние домов: пришли в ветхость.

... Расстоянием сия церковь от Консистории в 456 верстах, от местного благочинного в селе Березовском в 86 верстах, от уездного города Кузнецка в 60 верстах, от почтовой станции в 60 верстах, почтовый адрес церкви: г. Кузнецк, чрез Кузедеевское Волостное Правление, село Аил-Кузедеевский.

... Ближайшие к сей церкви: в селе Калтан во имя Святителя и Чудотворца Николая, приписная к сей церкви в 24 верстах, и села Сары-Чумынского Троицкая в 40 верстах.

... Приписных к сей церкви церковей 1, часовен нет.

... Домов кладбищных и молитвенных домов, к сей церкви приписанных – молитвенных домов 2, домов кладбищных нет.

... Опись церковному имуществу заведена с 1858 года...

... Приходо-расходные книги о суммах свечной и церковной за инуром и печатью Духовной Консистории даны 7-го февраля 1915 года, ведутся исправно, хранятся в целости.

... Копии с метрических книг хранятся в целости с 1870 года до 1891 года и с 1892 г. за исключением 1891 года, которых почему-то с издавна нет.

... В обыскной книге, выданной в 1913 году декабря 5 дня за инуром и печатью 90 писанных листов, 210 неписанных.

... Исповедные росписи находятся в целости за 1870, 1890 и с 1892 года до сего года, за исключением, за 1871 г. и за последующие года включительно по 1891 год, которых нет в архиве по неизвестной причине.

... Книги, до церковного круга подлежащие, есть все, кроме месячных Миней.

В церковной библиотеке находится книг для чтения предназначенных 118 томов.

... Церковные деньги за ключом церковного старосты и печатню церковную. Неподвижной суммы состоит в кредитных учреждениях 218 рублей 12 коп., а билет находится в целости в церковном архиве.

... Имеющиеся в приходе школы церковные:

- 1) в с. Аило-Кузедеевском, открыта в 1891 г.,
- 2) в с. Калтане открыта в 1907 г.,
- 3) в деревне Кандалепе открыта в 1913 г. и
- 4) в деревне Кузедеевой Министерское одноклассное училище учреждено в 1906 году.

Церковная школа помещается в церковной сторожке, на содержание ее отпускается из сумм земского пособия учительнице из жалования 390 руб. В сем году в ней обучается 18 мальчиков, 11 девочек. В с. Калтан церковная школа помещается в церковной сторожке, на содержание ее отпускается из земского пособия учителю жалования 390 руб. В сем году в ней обучается 30 мальчиков, 12 девочек. В д. Кандалепе церковная школа помещается в квартире, откупленной обществом, на содержание ее отпускается из сумм земского пособия учительнице 330 руб. В сем году в ней обучается 23 мальчиков, 12 девочек. В д. Кузедеевой Министерское одноклассное училище, помещается в собственном здании, на содержание его отпускается из средств М. Н. П. учителю жалование. В сем году обучается в нем 42 мальчиков, 29 девочек.

... При церкви состоит старостою церковным крестьянин Матфей Григорьев Созонов, который должность свою проходит с 1908 года.

... Преосвященный в последний раз посетил приход в 1913 году...»

(сведения взяты из архивного дела: ГАТО, ф. 170 оп. 1, д. 4505, лл. 36-37).

И тут начинаются догадки. Мы только что читали в клировой ведомости, что первоначально Кузедеевская церковь была построена в 1861 году «на окладные суммы Алтайской Духовной Миссии, преимущественно же на пожертвования

преосвященнейшего Парфения, епископа Томского, и графини М. Адлеберг».

Мы знаем, что в бытность Достоевского в Семипалатинске он узнал об известном русском путешественнике Петре Агееве, более знакомом под монашеским именем инок Парфения, который в 1851 г. пребывал в Томске. Труд его «Сказания о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле инок Парфения», изданный в 1856 году, имелся в библиотеке Достоевского и даже сопровождал его в поездках за границу. Имя Парфения встречается в заметках Достоевского в предварительных материалах к «Братьям Карамазовым».

Эти сведения приводит Ирина Стрелкова в своем эссе «Семипалатинские подробности» («Танцы в районном городе», М., 1988, с. 120-121).

Поиск. – Долголетнее общение с загадочными плетениями могучих древес дворянских родов сказалось тут же – сердце екнуло. Похожую фамилию графини встречала. Но – только похожую. И вообще, какая связь может быть между некоей графиней, Томским иноком и маленькой церковью в далеком Кузедееве...

Первым делом – с полок снимаем пятитомное издание «Русские портреты XVIII и XIX вв.» (репринтное издание) Велико-го Князя Николая Михайловича Романова – ни с чем не сравнимый источник, не только иконографии, но и биографий персонажей, изображенных на портретах.

И – никакой М. Адлеберг. Зато – вдруг находим некую Юлию Федоровну Багвут, в браке Адлерберг (фамилия «Адлеберг» – конечно же, описка составителя клировой ведомости).

Что же это за загадочная Юлия Федоровна? К моменту начала поиска по слухам уже было известно, что упомянутую графиню звали Марией Васильевной. А супруга Юлии Федоровны зовут не Василием, а Федором.

Так что же нам известно о сей даме?

Юлия Федоровна родилась в 1760 году и умерла в 1839-м, происходит от остзейских дворян, родная сестра генерала Карла Федоровича Багвута, убитого под Тарутиным. Стоп!

Это тот генерал, что вместе с неким графом Каховским участвовал в битве под Варшавой в 1794 году, где Россия потерпела поражение, а он геройски спас остаток войск. Каховский? – Но Каховский – это о декабристах, другая тема, с которой мы только что, казалось, расстались...

Итак, Юлия Федоровна 15 сентября 1786 года выходит замуж за вдовца, полковника Густава Фридриха, он же на русский лад – Федор Яковлевич Адлерберг, на двадцать лет старше ее, у которого от первого брака с ее же родственницей Анной-Марией Багговут уже было четверо сыновей.

Ф.Я. Адлерберг убит на Кавказе в 1794 году и главная воспитательница Великих Княжен Шарлотта Карловна Ливен (родная остзейская душа!) рекомендует вдову Адлерберг гувернанткой к своим питомцам. Почему-то она очень понравилась супруге Павла Первого, Марии Федоровне, и та в 1802 году назначает Юлию Федоровну начальницей Воспитательного Общества благородных девиц – будущий Смольный институт, поскольку как раз место освободилось – ушла прежняя начальница, Е.А. Пальменбах.

Уж как получилось, но «полковница Адлерберг», как ее называли, прочно утвердилась на этом месте на целых 37 лет, причем уже вдовствующая императрица Мария Федоровна настолько к ней привязалась, что при болезни «полковницы», как сказано в ее биографии, «лично исполняла ее обязанности». Далее в биографии «полковницы» поминается ее единственный сын Владимир Федорович Адлерберг (1792-1884), сверстник и товарищ по детским играм будущего императора Николая Павловича. Такое товарищество – подарок судьбы, и в 1847-м году Владимир Федорович получает графский титул, а с 1852 года занимает место Министра Императорского Двора – должность, обеспечивающую широчайшие полномочия в самых разных сферах, не только дворцового, но и всего государственного организма.

Поминается в биографии почтенной Юлии Федоровны и ее дочь, тоже Юлия Федоровна, бывшая в замужестве за графом Т.О. Барановым. Что до Юлии Федоровны старшей,

то в 1835-м году император Николай Первый пожаловал ее в Кавалерственные Дамы ордена Екатерины первого класса.

Прожив долгую жизнь, Ю.Ф. Багговут-Адлерберг скончалась в 1839 году, причем современники пишут о ней: «Почтеннейшая старушка, редкая по уму и доброте сердца, нянчившая императора Николая, пользовалась всеобщей любовью и уважением». Все называли ее ласково «бабушкой», а жена императора, Александра Федоровна, писала ей по-немецки: «Liebes gutes Mutterchen», а также – «Ich umarme Sie herzlich, liebe бабушка» (что означает «любимая добрая мамочка», и «сердечно Вас обнимаю, дорогая бабушка»).

Все это прекрасно, но – как в игре, «холодно, холодно». Мария Васильевна, ах, как вас найти?...

Могла она быть, скажем, незаконной дочерью столь почтенной особы, как Юлия Федоровна? Конечно, нет. Тогда – снохой? Но обычно в биографиях, приведенных в названном издании, скрупулезно перечисляются не только сестры и братья каждой данной особы, но и все дети, а также жены и мужья детей. Здесь же мы узнаем лишь о замужестве дочери за графом Барановым. А единственный сын Владимир – разве не был женат?

Что ж, полистаем еще вечную помощницу, Энциклопедию Брокгауза и Ефрона. И – ура! Находим в томе первом: «Адлерберг – графы и дворяне». Приводятся родословная, чуть не с 1560 года, и вот он – Густав Фридрих, полковник, женатый на Ю.Ф. Багговут. «Он имел сыновей и между ними Владимира Федоровича (а вот и товарищ детских игр Николая Первого!)». И далее – длиннейший список достоинств и занимаемых должностей, «в 1817 году сделан адъютантом Великого Князя Николая Павловича, которому и был верным слугой», был в турецкой компании 1828 года (до того – участник Бородина в 1812 году), был директором канцелярии Военного Министерства, в 1841 году – главноуправляющий почт, причем «в его управление сделаны важные нововведения в почтовой администрации, в 1843 году возведен в генералы от инфантерии», а в 1852 году – Министр Двора, причем пост этот он занимали при Александре Втором до 1872 года, когда «по старости и немощи был

освобожден от должности Министра с оставлением членом Государственного Совета». Умер в 1884 году в Петербурге. Таков, значит, славный карьерный путь «Федоровича». Повезло же ему на товарища детских игр...

И тут сюрприз: в самом конце деяний, как бы вскользь — «от брака с Марией Васильевной Нелидовой, бывшей фрейлиной Высочайшего Двора, он имел несколько сыновей», среди них граф Александр Владимирович (род. 1819 г.), близкий советник Александра Второго, которого сопровождал во все путешествия и выполнял самые деликатные поручения, а потом, сменив родителя, в 1872 году стал Министром Двора и Уделов, умер в 1889 г. за границей. Второй сын — граф Николай Владимирович, «бывший финляндским генерал-губернатором, ныне член Совета». Отметим это «ныне». Том первый названной Энциклопедии издан в 1890 году — однако же, как мало лет отделяют поколения друг от друга...

Но — почему так вскользь о Марии Васильевне? Все внимание уделено ее сыновьям, а она — лишь как «первопричина» их. Притом, что названа бывшей фрейлиной. Да еще урожденной Нелидовой. Задаемся вопросом: почему же свекровь, Юлия Федоровна Адлерберг, почтенная «liebe бабушка», о ней даже не поминает? Уж кому-кому, а доверенному лицу вдовствующей императрицы Марии Федоровны точно было известно, кто состоял во фрейлинах!

Далее, — если какой-либо деятель женат на особе родовитой и примечательной, в любом источнике приводятся и даты ее рождения, и дата вступления в брак. Этих дат мы не нашли. Но попытаемся сделать выводы: сын Александр родился у Марии Васильевны в 1819 году, надо полагать, было ей около двадцати. Так что самое время ей быть представленной ко двору, тем более она жена адъютанта Великого Князя Николая Павловича и сноха столь любимой при дворе Юлии Федоровны, gutes Mutterchen!

Стоп! Мало того, что в биографии последней — ни звука о существовании снохи, тем более о ее фрейлинстве, так еще

оказалось, что Юлия Федоровна «умерла в глубокой старости на руках любимой племянницы А.А. Трубецкой (Анна Багтовут, дочь брата Аркадия, в замужестве Трубецкая, — авт.)». Но почему же у смертного одра почтенной дамы не было ни дочери, ни снохи?

Судьба Марии Васильевны, похоже, полна умолчаний. Так может быть, фамилия Нелидова — корень зла? Род Нелидовых «выдал» немало фрейлин, и нередко вовсе не на радость царствующим императрицам. Может, — скандал, а потому умолчание?

Листаем источники. Конечно, множество страниц уделено той Нелидовой, которая сумела уверить супругу Павла Первого Марию Федоровну, что ее с Павлом связывает всего лишь платоническая и чисто духовная близость, и даже стать близкой приятельницей императрицы; меньше места — но все же! — отведено той Нелидовой, что недолго радовала Николая Первого, но — никакой Марии Васильевны!

Маленькое утешение в Брокгаузе-Ефроне. Оказывается, имелось аж пять ветвей разных Нелидовых. Родственные связи между коими к моменту издания установлены не полностью, так что, похоже, Мария Васильевна не из очень родовитых и, возможно, потому как бы ускользает от внимания сановитой свекрови...

Но нет — о Марье Васильевне никак не скажешь, что она из «худородных». Рожденная в 1800 году, она — племянница Александра Львовича Нарышкина, а это, казалось бы, уж очень и очень немало. Ведь мать Петра Первого — Наталья Кирилловна Нарышкина, и ее потомки настолько это не забывают, что во времена Екатерины Второй, когда она уже обуреваема сомнениями — кто наследник, неужели ненавистный Павел? — она делится своими горестями с гостившим у Нарышкиных Дидро, и почему-то Нарышкины срочно заказывают у придворного живописца-декоратора Доминико Жакомини «невиннейший» портрет для парадной опочивальни — это одновременно своего рода гостиная и некая «святая святых», куда допускаются лишь

избранные и очень близкие. На портрете изображены дети Нарышкиных. Девочка пытается срисовать изображение мальчика – Павла Петровича, наследника, а брат, испепеляя взором непрезентабельный бюстик Павла с нарочито подчеркнутым курносым носом, повелительно хватая за руку рисующую девочку: не спеши, наследник – вот он, я! Этот портрет долго был в нашем доме, так что мы успели хорошо его изучить – он был изумительно красноречив. Поистине, - sapientium sat, «мудрому довольно», или кому следует, тот все поймет. . .

Впрочем, русские самодержцы, похоже, тоже не забывали о взрывоопасном родстве. Александр Первый осыпал милостями Александра Львовича Нарышкина, называл его «мой кузен» и одаривал орденами, осыпанными бриллиантами, которые Александр Львович, будучи весьма беспечным, сейчас же закладывал и полученное успевал прокутить.

Он же, Александр Павлович, царь вся Руси, состоял в долготелней связи с супругой Дмитрия Александровича Нарышкина, известной красавицей своего времени, Марией Антоновной, в которую был безумно влюблен также и ее племянник Лев Александрович. Все эти путаные амурные истории Нарышкинского клана при дворе обсуждались без добра и весь род слыл «каким-то неблагонадежным», хотя и облаканным сверх меры. К тому же Александра Нарышкина, несмотря на все царские милости, не без ехидства называли «шутком», так как он был весьма остер на язык и, вполне сознавая свои потомственные права, в которых, возможно, его с детства уверили родители, никак не стеснял себя почитанием чинов. Жена его, урожденная Синявина, тоже пользовалась слишком большим успехом, что опять же не добавляло блеска чести рода. . .

Никаких упоминаний, по какой линии была Мария Васильевна племянницей Александра Львовича, мы не нашли, разве что, по его великой ветрености, могла быть внебрачной дочерью его с какой-либо из Нелидовых второстепенной ветви. И тогда родство с Нарышкиными – невелики лавры.

Итак: Мария Васильевна не очень родовита, похоже, не очень любима в семье, мало почитаема свекровью. Каковы же были

ее отношения с супругом? Может быть, корень небрежения к ней при упоминаниях о семье Адлерберг таится в несчастливом браке с Эдуард Фердинанд Вольдемаром, он же Владимир Федорович Адлерберг?

О, тут неоценимы сведения из воспоминаний Александры Осиповны Смирновой-Россет. Вот уж кто все и про всех знает в Петербурге, особенно же при дворе. Это из ее «Дневников и Воспоминаний» мы узнали не только год рождения Марии Васильевны и путаную сеть отношений в клане Нарышкиных, но и то, что у Александра Первого от Марии Антоновны, жены Дмитрия Александровича Нарышкина, была внебрачная дочь Софья Дмитриевна, а это опять же мало что добавляло к почтенности семейства.

Что же думает о чете Адлерберг сама Александра Осиповна? Она пишет довольно часто о графине Юлии Федоровне Барановой, дочери «der liebste бабушка», они часто видятся. О ее снохе, Марии Васильевне, - А.О. Россет пишет всего один раз. Но как! Читаем: «Владимир Федорович Адлерберг был большой сердечкин. . . Он приезжал на санях за девицей Яхонтовой, очень хорошенькой кокеткой, становился на запятках и тут они менялись нежными взглядами и поцелуями под самым носом Марьи Васильевны, отвозили Яхонтову в Смольный и возвращались домой поздно. Начинались сцены, упреки, он сердился, она плакала и принимала валериану. Они жили на заднем дворе Аничкового дворца. Марья Васильевна все больше занималась детьми». Судя по тому, что А.О. называет сыновей Адлерберг Саша («умен, но не очень хорош собой») – это будущий верный слуга Александра Второго, и Никса (Николай Владимирович, который в 1890 году, как было сказано, еще здравствовал), это только начальные годы брака. Добавим: девица Яхонтова, очевидно, «смолянка», то есть воспитанница Смольного института, где в это время начальницей состоит графиня Ю.Ф. Баранова, то есть сестра Владимира Федоровича Адлерберга, которая не может не знать о поздних отлучках Яхонтовой и о ее связи с супругом Марии Васильевны, что, очевидно, не очень ее тревожит. Она не может также не знать,

что, как пишет А.О. Россет, «Владимир Федорович влюбился в Ярцеву, а так как фрейлина – зелен виноград для флигель-адъютанта (стало быть, роман происходит в начале 20-х годов, - авт.), то и сделался поверенным ее сердечных тайн. Она призналась, что умирает по Александру Суворову и он (Адлерберг, - авт.) устроил эту свадьбу очень легко». Каково жилось Марии Васильевне при столь влюбчивом супруге и удачливом устроителе чужих свадеб, кто теперь скажет...

Но каким был в убеждениях и деяниях «Федорович», сей Вольдемар Адлерберг, «большой сердечкин»? Если верить дневникам цензора А.В. Никитенко, Адлерберг – человек весьма противоречивый. Причем в предвзятом отношении Никитенко к нему цензора никак не обвинишь, судя по тому, что Никитенко с большим чувством описывает похороны «почтенной бабушки», матери Адлерберга, на которых он сам присутствовал, поскольку к Юлии Федоровне старшей относился очень хорошо.

Например, как пишет Никитенко, В.Ф. в 1857 году входит в Комитет по освобождению крестьян. В 1859 году идут споры о пользе гласности. Царедворцы убеждают: гласность необходима. «Только у нас дурное направление», - парирует государь и Адлерберг ему вторит.

26 февраля 1859 года Никитенко пишет: «В Академию пришла бумага за подписью Министра Двора (Адлерберг, - авт.) с изъяснением царского недовольствия по поводу шума в церкви (придворной, - авт.) при венчании Великой Княгини с принцем Баденским». Итак, приличное поведение в церкви регламентирует Адлерберг и Никитенко сетует: «возможно ли, что наше общество, высшее, образованное, до того забыло самые обыкновенные приличия и вынудило сделать себе наставления и замечания, как самому пошлому школьнику?»!

12 марта того же года. Изменения в составе Академии Наук. На сцене – наш старый знакомец по салону Карамзинных, бывший либерал, удачливый царедворец граф Блудов. Никитенко сокрушается: «Граф Блудов решительно ничего не

сделал полезного для Академии... И надавал ей почетных членов вроде графа В. Ф. Адлерберга, Буткова и пр.».

После подписания Александром Вторым Положения о крестьянах – в Петербурге чуть ли не чрезвычайное положение.

Никитенко: «Вечером 18 февраля приехали во дворец оба графа Адлерберга, отец и сын, а также Сухозанет (тот самый, что 14 декабря 1825 г. велел обстрелять из пушек восставших, - авт.) и объявили, что они явились охранять особу царя и царское семейство. Надобно заметить, что все эти господа – самые упрямые и ярые противники освобождения крестьян... Они явились во дворец не с тем, чтобы положить за царя свои головы, а с тем, чтобы самим спрятаться». Названные господа ночь провели в Зимнем Дворце и лишь поздним утром разбегались по домам. А давно ли в 1857 году Владимир Федорович Адлерберг входил в Комитет по освобождению крестьян...

1861 год. Владимир Федорович, Министр Двора, начинает самодурствовать. Возможно, по преклонному возрасту. Никитенко пишет: Александр Второй представляет народу принцессу Дагмару, будущую жену будущего Александра Третьего. Народ, как обычно, рад зрелищу и «везде восторженно изъяснял царской фамилии свое участие в ее семейном торжестве, - пишет Никитенко 22 сентября, - а здесь самая образованная и высшая часть общества оказала ничем необъяснимые... холодность и равнодушие. Вот со стороны придворного управления настоящая медвежья услуга. Говорят, что Министр Двора (Адлерберг, - авт.) так распорядился!».

Чуть позже, в октябре Никитенко возмущается используемой всеу всевластностью губернаторов: «Ведь вот даже здесь, в столице, на днях Министр Императорского Двора (Адлерберг, - авт.) раскидал же письменные приказания в ложах и креслах театра, чтоб посетители не смели изъяслять своих чувств государю при его появлении с принцессой Дагмарой».

Очевидно, Владимир Федорович Адлерберг при новом государе все более теряет уверенность, лавирует, пытается угодить, но не знает, как...

И, наконец, скандал. 1873 год. 22 апреля, четверг. Никитенко: «Много толков о процессе Анучкина, и толков, конечно, не в пользу Адлерберга и проч. ... Такое явное неуважение к закону справедливости и праву собственности у нас редко бывает. ... Здесь поступлено в духе нынешних идей, столь ясно и определенно провозглашенных Бисмарком: «сила есть право». В поступке графа Адлерберга я нахожу некоторый род юмора: он хотел поглумиться над законом и поглумился без дальних околичностей».

А дело, разбиравшееся в Сенате, было таково: «титularный советник Анучкин (возможно, ростовщик) получил из судебной палаты исполнительный лист для взыскания с графа Граббе пятнадцати тысяч рублей с процентами» и добился его ареста до выплаты денег. Но для этого надо было Граббе уволить с придворной службы. Министр Двора Адлерберг под разными предложениями в таком увольнении отказывал. И потому, несмотря на законность претензий Анучкина, Сенат ему отказал, иск отверг, открыто приняв сторону сановного должника. А если бы кто вздумал выражать свое удивление... на то у нас есть граф Шувалов с его прекрасным: «выслать административным порядком такого-то туда-то», - пишет Никитенко, - выходит, что Оксенштерн прав, сказав? «Самая нетрудная и пустая наука управлять людьми».

Но самодурство конца 60-х и начала 70-х – это уже после того 1861 года, когда достаточно незаметная, нигде не упоминаемая, многожды обманутая супругом, Мария Васильевна делает свое «преимущественное пожертвование» на строительство Кузедеевской церкви. Что послужило причиной? – Возможно, искала утешения в благотворительности. Возможно, предалась глубоким религиозным размышлениям. Близка была к Алтайской духовной Миссии? Знала миссионера Вербицкого? Была знакома с жителем Томска князем Костровым, связанным с Алтайской Миссией? Читала труды Томского путешественника, более известного под именем инок Парфения? Пока что – только вопросы. И – уверена, ответы будут найдены.

Запоздалое путешествие княгини Волконской в Сибирь

... А Кузедеевская церковь, пережив годы бурь и потрясений, стоит себе, жива-здоровехонька, за рекою, за туманами. Хотя и под другим названием, но близ места, освященного почти полтора века назад...

*Кемерово – Москва – С.Петербург-
Иркутск. Ноябрь 2001 – июнь 2003гг.*

Борис Гросбейн ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЛЬВА ТОЛСТОГО В СИБИРИ

Позвольте мне поделиться с вами радостью от сопричастности к нравственным идеалам **Л.Н.Толстого**, которые помогают мне жить и заниматься любимой работой (ныне Борис Гросбейн возглавляет одну из школ г. Новокузнецка, - *ред.*).

Я родился, рос и воспитывался среди идейных единомышленников **Л.Н.Толстого**, живших на юге центральной Сибири, в Кемеровской области, в сельскохозяйственной толстовской коммуне «**Жизнь и труд**», которая активно работала на землях по берегам реки Томи с 1931 г. до 1939 г.

Коммунары были добровольными переселенцами из разных уголков России: из Москвы, Подмосковья, Украины, Южного Урала, Поволжья, Северного Кавказа и других областей Советского Союза. Были здесь и духовные вожди-интеллектуалы, личные друзья семьи **Л.Н.Толстого** – это Евгений Иванович **Попов**, братья Сергей, Лев, Александр **Алексеевы**, их мать – Вера Ипполитовна **Лукьянская**, - все они раньше служили в толстовском издательстве «**Посредник**», но большинство коммунаров составляли потомственные крестьяне, землепашцы, разделявшие взгляды **Л.Н.Толстого** о жизни на земле.

Что искали эти люди на необжитых, диких берегах Томи?

Ответ прост: в то время (1930 – 1931 гг.) в европейской части России тотально, полным ходом шла так называемая

Борис Гросбейн

коллективизация, единоличные крестьянские хозяйства и толстовские коммуны были ликвидированы.

Сибири эти процессы еще не коснулись, и естественно, люди искали здесь вольной и свободной жизни по своим убеждениям. Знаменем их духовности, нравственности было этическое учение Л.Н.Толстого, основанное на принципах ненасилия и любви ко всему живому.

Идейными вдохновителями переселения стали друзья **Л.Н.Толстого – В.Г.Чертков, П.И.Бирюков, И.И.Горбунов-Посадов**. Они и составили в Москве инициативную группу по консолидации российских толстовцев, добились разрешения правительства на отведение земельного участка в Западно-Сибирском крае.

Народ съехался сюда разный: были выпускники Московского Университета и Ленинградской сельхозакадемии, бывалые огородники и простые труженики от сохи. Главное, что объединяло всех, – возможность работать на земле, абсолютно трезвый образ жизни, вегетарианство, – все они были сторонники безубойной пищи; радость от общения друг с другом, свободное воспитание своих детей в духе педагогических и нравственных идей **Л.Н.Толстого**. Всего переселенцев вместе с детьми и стариками собралось полторы тысячи душ.

Толстовцы умели и любили работать на полях и огородах, в саду и на пасеке. Они обеспечивали свою общину хлебом, молоком, сортовыми овощами, ягодами, но излишки возили на продажу за 20 км по реке в больших лодках строителям Кузнецкого металлургического комбината.

Этим крестьянам-подвижникам нужно было учить своих детей, и они создали свою школу!

Учителя тоже были свои: толстовцы. Не могу не назвать их имена, так как они были первыми, кто принял на себя страшные удары сталинских репрессий: **Густав и Гюнтер Тюрк, Клементий Красковский, Анна Малород, Евгений Попов, Иван Гуляев, Евгения Литвинова, А.Горяинова** и

другие.

Занятия в школе велись не по государственным программам, а по собственным, без милитаризации. Главное направление школы: привить детям дух деятельного коммунизма, т.е. дух равенства, справедливости, трудолюбия, взаимной помощи, миролюбия и трезвого, скромного поведения. Толстовская школа сеяла разумное, доброе, вечное с 1931 г. по 1936 г. Потом была уничтожена властями вместе с частью учителей... Об этой школе можно говорить долго. Это большая педагогическая поэма. Достаточно сказать, что толстовское воспитание, этот благодатный посев, дали замечательные всходы, ростки и плоды. Многие воспитанники той школы живут в Кузбассе и по сей день.

Это прекрасные люди, замечательные труженики, посвятившие себя служению родине, истине, семье. Никто из них не стал обузой для общества, среди них не было преступников. Не все они стали настоящими «толстовцами», но с высоким мужеством и терпением пронесли они по жизни идеалы добра и справедливости и привили их своим детям.

Коммунары возлагали на свою школу особые, светлые надежды, как на школу, основанную на идеалах Л.Н.Толстого. Медленно, бревно за бревном, строилось здание школы. К осени она была готова.

Первый год обучения 1931 – 1932

Необычно рано для не привыкших к сибирским морозам людей пришла осень с холодными дождями и ранними заморозками. Люди, занятые спешными огородными работами, не успели обстроиться, между тем на чердаках стало холодно и к началу учебного года школа оказалась занятой – 44 человека ютились в ней в самой невозможной тесноте. В печальном положении оказались дети. Их насчитывалось 50 душ, которые нуждались в учении. Были и учителя, некоторые опытные, со стажем, были и кое-какие учебники, немного бумаги, но помещения не было.

Тогда-то, приблизительно в первых числах октября, и началась Коммунарская «бродячая школа» из «хаты в хату», день в одной, день в другой. Пускали везде охотно, теснились, терпели неудобства от шума и грязи, производимые детворой, но пускали.

С раннего утра дети уже толпой стояли у дверей учителей и добивались: «Скоро ли?», «В какую хату пойдём учиться?», - гурьбой со скамейками, столами, книгами, и прочими школьными принадлежностями шли школьники за учителем по коммуны в поисках себе приюта, где за недостатком столов приходилось писать на окнах и на сундуках.

Посетил школу руководитель народного образования т. Немцев. На созванном по этому случаю общем собрании коммуны он заявил протест против такой нашей самостоятельной школы, назвал её нелегальной, объявил её закрытой и предложил коммуны открыть другую школу с программой точной, общеобразовательной для всех школ, с учителями, приглашенными от гороно.

На это предложение общее собрание коммуны ответило, что программы точной коммуны принять не может, а лишь постольку, поскольку она не противоречит взглядам в духе Л.Н.Толстого (то есть без военизации и без возбуждения в детях духа вражды к кому бы то ни было и без внушения детям законности насилия).

Тогда т. Немцев окончательно объявил школу закрытой, а учителей предостерег, что они подвергнутся судебной ответственности.

На следующее утро дети, особенно возбужденные, собрались у дверей своих учителей с вопросом – будут ли их учить? Или школу закроют? И получили ответ, что пока учиться они будут, и занятия продолжались своим чередом.

Коммуна подала заявление в Наркомпрос с просьбой дать ей возможность продолжать свою школу с теми своеобразными особенностями в духе Л.Н.Толстого.

Было ли это результатом этого заявления, но школа без особых внешних давлений продолжала существовать вплоть

до окончания учебного года.

В конце ноября (1932) учащиеся занимались уже в освобожденной от жильцов школе, но и теперь едва ли можно было назвать сносными условия занятий: в помещении, представлявшем одну большую комнату, находились три группы до обеда и две – после обеда – так как там же помещались сапожная, шорная мастерские, верстак, точило, ларек для раздачи хлеба и аптечка.

Второй год обучения 1932 – 1933

Осенью, перед самым началом занятий, в коммуны приехал т.Нортович (зав.школой в соседнем селении Фески) с предложением «увязать» нашу школу с отделом народного образования в г.Сталинске и предложил кому-нибудь из учителей съездить к заведующему гороно. Свидание и разговор по этому поводу с заведующим гороно т.Благовещенским показали совершенно отрицательное отношение к нашей школе: никакой своей школы у нас не должно быть, программа должна выполняться полностью, без всяких изменений, с военизацией, с пионердвижением; учителя из членов коммуны не допускаются.

И вот, в ноябре прибыла к нам заведующая школой, командированная Сталинским гороно. По поводу ее приезда было созвано общее собрание, которое принять новую заведующую не согласилось.

Занятия в нашей школе в это время были на полном ходу, в составе пяти групп, с количеством учащихся 80 с лишним человек. Занятия, в общих чертах, велись по программе обыкновенной школы. Помещение школы было от всего постороннего освобождено, оно разделялось теперь на три класса дощатыми, щитовыми перегородками, снимавшимися для проведения общих собраний.

21 марта 1933 года школу посетила комиссия из трех лиц: представитель от районо, зав.Сталинским гороно т.Благовещенский и зав.Фесковской школой т.Нортович.

Прежде всего т.Благовещенский сообщил, что отношение к нашей школе, в связи с его поездкой в Москву, меняется, а именно:

во-первых, нам разрешается школа с учителями из наших же членов;

во-вторых – без военизации;

в-третьих – из программы по обществоведению нами может быть исключено все то, что противоречит нашим убеждениям, о чем, однако, должна быть договоренность с гороно.

В остальном наша школа должна иметь вид обыкновенной школы, по примеру остальных школ Советского Союза.

После роспуска учащихся 1 мая педагогический состав школы провел несколько собраний, на которых, наряду с вопросами подготовки школы к следующему учебному году, была просмотрена также программа Наркомпроса за четыре года обучения. Результатом этого просмотра явились следующие положения, вынесенные на обсуждение общего собрания коммуны и утвержденные им.

Выписка из протокола учительских собраний в мае 1933 года

Материал по обществоведению: в связи с просмотром программы Наркомпроса выяснилось, что по всем предметам предлагаемый для обучения материал (например, материалы для задач, для грамматических примеров и т.п.) близко увязан с социалистическим строительством СССР, включающим пятилетний план, кассовую борьбу и военное дело. В школе же коммуны «Жизнь и труд» материал этот будет использован лишь в той мере, в какой он не противоречит принципам учения Л.Н.Толстого.

Материал по естествознанию: материал по изучению животноводства, охоты, рыбного промысла, согласно программе изучаемый в целях массового истребления животных, для питания, технических и научных целей, в школе имени Л.Н.Толстого может быть использован не для

практического применения его, а лишь для ознакомления в направлении привития альтруистических чувств к животным.

О религии: мы избегаем навязывать детям какие бы то ни было сектантские религиозные понятия, но считаем необходимо сообщать им правильное понятие о жизни и вытекающем из них нравственном руководстве (правила нравственного поведения), а также считаем своей обязанностью вести выяснительную мирную работу в смысле освобождения и прочих суеверий.

Материал, предлагаемый для внеклассного чтения, а также для изучения пения, может быть использован постольку, поскольку он не внушает враждебных чувств к кому бы то ни было.

Общее направление школы: в нашей школе мы надеемся внушить детям дух деятельного коммунизма, то есть дух равенства, справедливости, трудолюбия, взаимной помощи, миролюбия и трезвого, скромного поведения.

Третий год обучения 1933 – 1934

К началу этого учебного года был произведен основательный ремонт школы, были сделаны стены между тремя классами, сделана прихожая, раздевалка, приобретены парты. Школа была снабжена при помощи гороно тетрадями и стабильными учебниками. Хотя в недостаточном количестве, так как гороно не включил ее в общую сеть школ и не дал разрядку на книги, а снабдил лишь тем, что осталось на складе.

Школа работала в составе пяти групп, при наличии 105 человек, занимаясь в две смены.

Состав преподавателей

Первая группа:	А.А.Горяинова , окончила девятилетку, стаж 14 лет.
Вторая группа:	Толкач Ольга , окончила медтехникум в Москве.

Третья группа:

А.С.Малород, окончила музтехучилище в Краснодаре. Имеет и общее среднее образование.

Четвертая группа:

Е.П.Савельева, окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт.

Пятая группа:

А.С.Малород – литература.
С.М.Тюрк, математика, окончила физико-математический факультет 1-го Московского университета.

Ботаника
Биология
География

Густав Густавович Тюрк, окончил физико-математический факультет 1-го Московского университета.

Физика
История
Нем. язык

Гюнтер Густавович Тюрк, окончил девятилетку с электротехническим уклоном.

Геометрия

Е.И.Попов, окончил среднее учебное заведение.

Пение во всех группах

А.С.Малород.

Рисование во всех группах

И.В.Гуляев.

Кроме общеобразовательных предметов, учащиеся 4-й и 5-й групп проходили зачатки ремесел (столярное, токарное, бондарное, сапожное, кузнечное, кройка и шитье) в имеющихся в коммуне мастерских.

Работа школы направлялась и регулировалась при помощи собраний:

- ученических – по классам и общешкольных;
- учительских – деловых и методических;
- родительских;
- общих – всех членов коммуны.

В школе производились и внеклассные кружковые занятия. Работали:

Стенографический кружок. **Руководитель:** Е.И.Попов.

Художественный кружок. **Руководитель:** И.В.Гуляев.

Певческий кружок. **Руководитель:** А.С.Малород.

Украинский кружок. **Руководитель:** А.А.Горяинова.

По вечерам для школьников устраивались чтения (не менее двух раз в неделю). Один раз в неделю им показывались световые картины по курсу географии и естествознания.

Один раз в неделю школьники имели «Вечер свободных игр»; кроме того, не менее раза в месяц в школе устраивались ученические литературные вечера (пение, стихи, чтение), ученические доклады (темы: Пушкин, Некрасов, Тургенев – их биографии и творчество), ставились спектакли: «Чем люди живы» Толстого, «Недоросль» Фонвизина, «Порочный» Семенова, «Приключения доисторического мальчика».

Экскурсии. Преподаватели с учащимися старших групп провели несколько экскурсий в г.Сталинск, посетили образцовую школу, мастерскую при ней, музей, театр, кино.

При школе существовал кружок по ликвидации безграмотности. Занятия проводились по вечерам.

Марк Поповский, историк, публицист, в документальном рассказе о крестьянах-толстовцах пишет: «В те же примерно годы я учился в деревенских школах в Вологодской и Калининской областях. Готов засвидетельствовать: для сельской местности такая школа была редкость. Что касается нравственной установки, то школа в коммуне «Жизнь и труд» имела огромные преимущества не только перед сельскими, но и перед столичными школами. (Журнал «Урал» № 10, 1992 год, стр. 49)

Насыщенная богатым духовным содержанием, переполненная кипучей энергией жизнь толстовской школы не реабилитировала коммунаров «Скорее наоборот. Главный недостаток

такого коллектива в том как раз и состоял, что он был слишком богат собственными идеями и оставался неуправляемым извне. Учителя и ученики, вся школа, да и сама коммуна жили независимой жизнью в океане зависимых, подчиненных, придавленных страхом людей. И это бесило чиновников». (Там же)

Поэтому 27 апреля (1934), когда в школе заканчивался учебный год, коммуны посетил командированный гороно т.Благовещенский со следующим извещением от Сталинского горсовета:

Постановление № 200/535 президиума Сталинского городского совета. 27 апреля 1934 года г. Сталинск.

О школе толстовской коммуны «Жизнь и труд».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать совершенно недопустимым дальнейшее существование частной школы, как не входящей в государственную сеть.

2. Предложить зав.гороно т.Шляханову:

А) школу коммуны «Жизнь и труд» немедленно включить в государственную сеть школ, привести в надлежащем состоянии, и выделить из местного бюджета средства на ее содержание;

Б) укомплектовать школу проверенными и обладающими достаточным педагогическим опытом советскими педагогами, проводя обучение детей в полном соответствии с программой Наркомпроса.

3. Утвердить по совместительству зав.школой ФЗО № 12 т.Благовещенского зав.школой коммуны «Жизнь и труд».

4. Предупредить родителей толстовцев, что в случае попытки организации групповых занятий на дому по обучению детей к ним будут применены предусмотренные законом о всеобщем мере административного воздействия.

5. Коммуне «Жизнь и труд» выделить квартиры педагогическому персоналу школы.

Председатель Сталинского горсовета Алфеев.

Последователи Льва Толстого в Сибири

Общее собрание членов коммуны в начале мая, а потом 20 июня не согласилось с решением Сталинского горсовета и постановило поставить перед ВЦИКом вопрос о действиях местных властей и возбудить ходатайство об оставлении нашей школы в прежнем положении.

В период с 1935 по 1936 года школа опять стала «бродячей», как и в первое время, когда не было еще помещения.

Теперь помещение было, но им не могли воспользоваться, - его «опечатали», повесили замок представители районной власти.

Когда это случилось, то вызвало большое возмущение среди членов коммуны: детей надо учить, есть помещение, нами построенное, есть парты, оборудование, нами приобретенное, и вдруг — замок, и дети ходят так.

Раздавались голоса:

- Сбить замок, да и все.

- Нельзя, - возражали другие.

- Почему нельзя?

- Это насилие.

- Да какое же это насилие? Ведь это замок, а не человек...

Все же решили, что заирать местной власти не надо, но свое дело продолжать. И продолжали, хотя вновь были угрозы, что опять опечатают помещение, а учителей арестуют.

Вот один разговор о создавшемся положении со школой с Евгением Ивановичем Поповым.

- А ведь борьба за школу, - сказал Евгений Иванович, - пожалуй, начинает носить политический характер. Стоит ли?

Председатель совета коммуны Мазурин Б.В. не согласился с ним:

- Что же тут политического? Мы же не выходим за пределы интересов и дел нашей коммуны.

Угрозы применить насилие по отношению к учителям заставляли их глубже задумываться о своей деятельности,

Борис Гросбейн

взвешивать, стоит ли рисковать свободой для школы? Б.Мазурину очень врезался в память такой случай: кто-то из представителей районной власти сказал ему и просил передать учителям, что если они будут и впредь продолжать занятия, то их арестуют.

Мазурин шел по улице поселка, навстречу ему шли Анна Степановна Малород, заведующая школой, и ее муж Павел Леонтьевич. Они остановились, Мазурин сказал им о предупреждении и спросил ее:

- Что будем делать?

Анна Степановна опустила голову, задумалась и некоторое время молчала.

- Ну, как же? – спросил он ее вновь.

Анна Степановна подняла голову, посмотрела прямо в глаза и сказала тихо и улыбаясь:

- Ну, что ж, будем продолжать!

«Продолжать» пришлось Анне Степановне только до апреля 1935 года. 11 апреля 1935 года состоялся суд. Судили учителей – А.С.Малород и Клементия Красковского. Школа коммуны прекратила существование в 1936 году, так как была уничтожена вместе с учителями. Погибли в затенках ГУЛАГА талантливые педагоги, которых так горячо любили дети: **К.Красковский, И.Гуляев, А.Горяинова.**

Прошли через каторгу и ссылку учителя **Густав Тюрк, Гюнтер Тюрк, Ольга Толкач, Анна Малород.** Они ушли из жизни в разные годы, оставив потомкам великое духовное наследие. Например, в 1977 году издательство Новосибирского университета выпустило в свет сборник стихов Гюнтера Тюрка «Тебе, моя звезда». В 1991 году Кемеровское книжное издательство опубликовало поэтический дневник Василия Мазурина (учитель – толстовец из г.Москвы посещавший Льва Толстого дважды в Ясной Поляне) это замечательные, оригинальные стихи. В 1989 году Московское издательство «Книга» выпустило «Воспоминания крестьян – толстовцев 1910-1930-е годы». Ожидают своего часа

и другие уникальные материалы, находящиеся в архиве директора Новокузнецкой «Школы Л.Н.Толстого» Б.Гроссбейна.

Не распалась связь времен, цепочка жизни прирастает новыми звеньями.

В 1937 – 1938 годах сталинская громиловка достигла своего апогея. Первого января 1939 г. коммуна «Жизнь и труд» прекратила свое существование. Самые яркие личности были физически истреблены, часть толстовцев чудом уцелеет в ГУЛАГе, и в середине 50-х годов единицы вернуться к своим семьям. Итак, с начала 1939 года, радостный свободный труд без «мое» и вольная братская жизнь насильственным образом были изменены на подневольное, рабское существование коммунистическим режимом и идеологией.

В этих условиях атмосфера толстовского единения 30-х годов, коммунарского уклада жизни рассеивалась, уходила в прошлое. Государственный террор устанавливал новый быт. Ужасы второй мировой войны также накладывали суровый отпечаток на внешнюю сторону жизни бывших коммунаров – главными работницами и работниками стали женщины и дети. После войны бурное развитие тяжелой индустрии в крае, строительство угольных шахт заставило моих односельчан, не желавших расставаться с землей, снова переселяться на другой участок. Толстовцы пережили и это.

С 1948 г. по 1950 г. новый поселок был отстроен. Он получил название Тальжино, по одноименной маленькой речке, протекающей рядом. Именно с этой мало кому знакомой сибирской деревней в последнее время специалисты связывают судьбы русского толстовства. Меня это обстоятельство не удивляет. Ведь только здесь, под Новокузнецком, до конца 30-х годов оставалась, живя полнокровной жизнью, единственная на всем пространстве Советского Союза толстовская община со своим Уставом, бытом, духом, совестью. Удивительно другое: бывшие коммунары

жили бедно, но дружно – они в душах своих не растеряли, как бы их ни мытарили, изначально своего братства, дружества, любовного отношения друг к другу. Старясь, называли они друг друга по имени и отчеству, а чаще просто: Ваня, Петя, Лева, Катя, Галя, Аня...

Сколько любви к жизни, мудрости, юмора было в их беседах! Они по-прежнему не сквернословили, не пили вина и водки, не ели мяса, не курили. Окружающим толстовцы подавали пример достойной человека жизни: благоговеянного отношения к земле, животным, растениям. Удивительно: даже земля, словно чувствуя добро их мозолистых рук, дарила их обильными урожаями.

Доброе воспитание детей само собой вытекало из доброй, нравственной жизни родителей. Их дети не дрались, не проказничали, любили своих родителей, помогали им в работе. Все дети толстовцев впоследствии стали уважаемыми людьми, успешными работниками в промышленности и в сельском хозяйстве. Удивительно, что, проживая в деревне, в поте лица добывая свой хлеб насущный, они находили в себе силы по-прежнему общаться и помогать друг другу, рассуждали о высоком и прекрасном, о добре и зле, о Толстом и Ганди, об Альберте Швейцере, о вечных истинах и ужасах современного коммунистического рабства.

Мне повезло. Мое детство и юность прошли среди этих исполинов мысли и духа. Первые переселенцы 30-х годов в 50-е и 60-е годы стали моими духовными наставниками. Их нравственные беседы закаляли меня, прививали иммунитет против тоталитаризма. Защиту от зла я всегда находил потом в себе самом. Хочу назвать имена моих духовных воспитателей: **Сергей и Лев Алексеевы, Петр Литвинов, Борис Мазурин** и, конечно, мой родной отец **Арон Гросбейн**.

Столько пережить и не быть озлобленными, светиться добротой, излучать мощную жизнеутверждающую энергию! Я хорошо их помню, моих великих односельчан.

Их мировоззрение, широта и смелость взглядов, свободное волеизъявление, когда рабски молчали все кругом, поражали меня в юности.

Толстовцы с достоинством несли свой крест, свою идею, свою непоколебимую веру, провозглашенную великим духовным революционером древности Иисусом, идею, подхваченную **Львом Толстым**, сумевшим в новое время донести и объяснить ее сотням и тысячам людей.

Сущность этой идеи – не противиться злу насилием... Для тальжинских толстовцев, которые на практике своей жизни доказали ее истинность и святость, для этих стариков до смертного одра свет яснополянского пророка оставался единственным путеводителем и руководством: любить ближнего, отвечать добром на зло, не мстить, побеждать гнев кротостью. Жить на земле, пользоваться плодами только своего труда.

Они не предали идеалы своей молодости! За свои убеждения они шли на казнь, на «голгофы» в Сибирь и в другие дали...

Это были светлые души, жившие светло и просто, бедняки, наполненные дивным светом драгоценных прозрений.

В заключение хотелось бы привести примеры воплощения идей **Толстого** не только в Сибири. Толстовское движение, зародившись в России в конце XIX столетия, охватило собой многие тысячи народных масс в XX веке, хотя сам **Лев Николаевич** думал об одной сотне единомышленников. Во многих странах делались попытки воплотить в жизнь толстовские религиозные принципы путем создания кооперативных сельскохозяйственных поселений. Большинство этих попыток – например, в Англии, Голландии, Венгрии, Швейцарии, США, Японии и Чили – потерпели неудачу главным образом из-за того, что их участники не имели практического опыта ведения сельского хозяйства (большинство их составляли пришедшие из городов интеллектуалы).

Крепкая экономически (имелись рынки сбыта сельскохозяйственной продукции: строящийся рядом – 20 км –

город Новокузнецк и металлургический завод-гигант) и сильная духом Сибирская коммуна «Жизнь и труд» была разгромлена государством.

Движение последователей Толстого в Советском Союзе не имело никаких политических целей. Все, чего хотели толстовцы, - жить в соответствии с религиозными принципами, которые исповедовал Толстой. Однако именно эти религиозные принципы делали их гражданами, способными оказать положительное влияние на жизнь любого общества, они были честными, воздержанными, трудолюбивыми, мирными и преданными благосостоянию своей общины. Они жили не по лжи.

Отношение Толстого к проблемам общества и государства можно понять лишь в свете его отношения к самой человеческой жизни, сформулированного в его работе «О жизни»: «Видимая мною жизнь, земная жизнь моя, есть только малая часть всей моей жизни с обоих концов ее – до рождения и после смерти – несомненно существующей, но скрывающейся от моего теперешнего познания». Эта позиция не означает ухода от разрешения земных проблем: скорее она позволяет взглянуть на земные проблемы в иной перспективе. Она также объясняет, почему последователи Толстого не боялись ни пыток, ни смерти, и не возненавидели своих притеснителей.

Схожее с российским толстовское движение обнаруживается только еще в одной стране мира – в Болгарии. У болгарских толстовцев также были газеты, журналы, издательства и книжные магазины, массовое вегетарианское общество. В 1926 году в Болгарии возникла толстовская земледельческая коммуна, к которой даже после 9 сентября 1944 года правительство относилось с уважением, как к лучшему кооперативному хозяйству в стране. Болгарское толстовское движение насчитывало в своих рядах трех членов Болгарской академии наук, двух известных художников,

несколько университетских профессоров и по меньшей мере восемь поэтов, драматургов и беллетристов. Оно получило широкое признание, как важный фактор подъема культурного и нравственного уровня личной и общественной жизни болгар и продолжало существовать в условиях относительной свободы вплоть до конца 40-х годов.

Члены коммуны «Жизнь и труд» в 30-е годы находились с болгарскими коммунарами в дружеских корреспондентских связях на языке эсперанто. Болгары присылали «сибирякам» сортовые семена овощей, которые давали хорошие урожаи на южных склонах сибирских черноземов.

На протяжении истории человечества начала непротivления – не только толстовцы – пытались положить в основу своей жизни – индуисты в Индии, последователи Яна Гуса в Чехии, квакеры в Англии и Северной Америке, меннониты в Германии и духоборы в России.

В XX столетии было два важных и в основном успешных опыта ненасильственного сопротивления в политике.

Первый – ненасильственное движение за национальное освобождение Индии под руководством Ганди, которое заставило Великобританию мирным путем предоставить полную независимость крупнейшей из ее колоний.

Второй – компания ненасильственного сопротивления, приведшая к отмене всех законов о расовой сегрегации в США.

Чему учит опыт британских войск в Индии и американской полиции в южных штатах во время ненасильственной компании под руководством **Мартина Лютера Кинга?**

Он учит, что не только полиции, но и армии не удастся сохранить боевой дух перед лицом участвующих в ненасильственном сопротивлении народных масс, которые готовы скорее принять страдания, нежели причинить их.

Таким образом, можно констатировать тот факт, что идеи, выдвинутые Иисусом, и на русской почве развитые Толстым,

стали общечеловеческими принципами, способными не разъединять, а объединять народы, творчески обмениваться достижениями, открытиями, беспокоиться об общем благе.

- «Забыли слово «благо»... Чаше говорят «счастье», но ведь человек может быть счастлив за счет несчастья другого, или когда рядом чужое горе. А благо – это когда хорошо не только тебе, но и всем», - любил повторять Борис Мазурин, первый председатель Совета коммуны «Жизнь и труд».

Мой отец Арон Гросбейн, член коммуны «Жизнь и труд», в своей работе «Религия как учение о благе» пишет: «Все стремления человека вытекают из основного стремления, стремления к благу: стремиться ли человек иметь пищу, одежду, жилище, идти в театр, петь, купаться, воспитывать ребенка, помогать больному – все эти стремления вытекают из стремления к благу, так как без удовлетворения этих стремлений он не будет иметь блага. Если человек с опасностью для своей жизни бросается спасать утопающего, то это потому, что он не будет иметь блага, если будет видеть, что человек тонет, а он не приходит ему на помощь. Так как стремление к благу есть основное стремление, которое человек в себе ощущает, то из этого вытекает, что весь смысл его жизни состоит в том, чтобы достигнуть состояния блага. Возникает вопрос: как достигнуть состояния блага?» Но это уже другая тема.

Я обращаюсь ко всем с призывом: давайте вместе искать истину, чтобы найти в этом ненадежном мире прочную духовную пристань.

Составлено из воспоминаний членов толстовской коммуны «Жизнь и труд» Дмитрия Пащенко, Бориса Мазурина, Льва Алексева, Анны Малород (Данько), Евгении Литвиновой (Савельевой).

ПРИМЕЧАНИЯ

Виктор Вайнерман **ДВОЕ ИЗ ШЕРЕНГИ БЕССМЕРТНЫХ**

¹ (с. 143) Автор посвятил статью только двум омским поэтам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Предпочтение И. Ливертовскому и Н. Копыльцову сделано потому, что им «повезло» меньше, чем другим. О Георгии Кузьмиче Суворове написал книгу «Между двумя морями» Ю. Поляков. Фронтовой поэтический сборник Г. Суворова «Слово солдата», посмертно изданный в Ленинграде в 1944 году, переиздан с мемуарным дополнением в Новосибирске под названием «Звезда, сгоревшая в ночи» в 1970. Стихи братьев Сергея и Владимира Добронравовых собраны в сборник «Последняя высота». И только стихи Ливертовского и Копыльцова, двух выпускников филологического факультета Омского педагогического института, все эти годы пылились в подшивках старых газет и в частных архивах. Автору удалось отыскать сохранившиеся тексты в архивах, библиотеках и личных, в том числе рукописных собраниях и, убедив однокашников, знакомых и родственников написать воспоминания, собрать все материалы в книгу «Сердца на взлёте», которая, после 15 лет безуспешных попыток, всё-таки была издана в 2001 году издательством Омского педагогического университета. В сборник, между прочим, вошли также стихи Г. Суворова и воспоминания о нём. Все трое погибли в возрасте 25 лет: Копыльцов в 1942, Ливертовский в 1943, Суворов в 1944...

² (с. 147) Рукопись хранится в Омском литературном музее.

³ (с. 153) Воспоминания М.М. Миловой, Б.М. Тулиновой были написаны по моей просьбе. Они, также как и рукописная книга К. Рябинина о Ливертовском, как и письма самого Ливертовского, хранятся в Омском литературном музее. Далее цитирую по этим рукописям. Воспоминания М. Юдалевича цит. по: М. Юдалевич. Лобастые мальчики революции. – В кн.: Однополчане. – Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1980. – С. 32-55.

⁴ (с. 155) Цитата по: Ратнопорт Е.Г. Рукопись считалась утерянной. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1967. С.38-39.

⁵ (с. 155) Из письма Г. Щепеткина К. Рябинину от 29.10.1938 г. Цитата по рукописи Рябинина. Омский литературный музей.

⁶ (с. 156) *Раннопорт Е.Г.* Указ. соч. - С. 31-32.

⁷ (с. 165) М.И. Юдалевич объяснил мне, что изданию книги помешала война, рукопись была утеряна.

⁸ (с. 167) ЦАМИ (Центральный архив Министерства обороны СССР), ф. 1205, оп. 1, д. 65, л. 4.

**Мэри Кушникова, Ксения Тилло,
Вячеслав Тогулев
«КУЗНЕЦКИЙ ВЕНЕЦ» ФЕДОРА
ДОСТОЕВСКОГО В ЕГО РОМАНАХ,
ПИСЬМАХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКАХ МИНУВШЕГО ВЕКА**

**Глава первая
ОБРАЗЫ**

¹ (с. 292) *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений. - Т. 2. - Л.: Наука, 1972. - С. 510.

² (с. 292) Там же. - С. 511, 513.

³ (с. 293) Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского: В 3 т.: 1821-1881 / Сост. И. Д. Якубович и Т. И. Орнатская; Под ред. Н.Ф. Будановой, Г.М. Фридлендера. - СПб.: Гуманитарное агентство "Академпроект", 1993. - Т. 1: 1821-1864. - С. 238.

⁴ (с. 294) Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. - Т. 28. - Кн. 1. - Л.: Наука, 1985. - С. 280-281.

⁵ (с. 294) Там же. - С. 319.

⁶ (с. 295) Там же.

⁷ (с. 296) *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений. - Т. 2. - Л.: Наука, 1972. - С. 510.

⁸ (с. 297) *Кушникова М., Тогулев В.* Загадки провинции: "кузнецкая орбита" Федора Достоевского в документах сибирских архивов. - Новокузнецк: Кузнецкая Крепость, 1996. - С. 68.

⁹ (с. 297) *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений. - Т. 2. - Л.: Наука, 1972. - С. 514.

¹⁰ (с. 298) Там же. - Т. 29. - Кн. 1. - Л.: Наука, 1986. - С. 303-304; Т. 2. - Л.: Наука, 1972. - С. 515.

¹¹ (с. 298) Там же. - Т. 29. - Кн. 1. - Л.: Наука, 1986. - С. 303-304.

¹² (с. 299) Там же. - Т. 3. - Л.: Наука, 1972. - С. 490.

¹³ (с. 299) Там же.

¹⁴ (с. 300) Там же. - С. 492.

¹⁵ (с. 301) Там же.

¹⁶ (с. 301) Там же.

¹⁷ (с. 302) Там же. - С. 493.

¹⁸ (с. 303) Там же. - С. 494-495.

¹⁹ (с. 303) Там же. - С. 522.

²⁰ (с. 304) Там же.

²¹ (с. 305) Там же. - С. 523.

²² (с. 306) Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. В 3 т.: 1821- 1881 / Сост. И. Д. Якубович и Т. И. Орнатская; Под ред. Н. Ф. Будановой, Г. М. Фридлендера. - СПб.: Гуманитарное агентство "Академпроект", 1993. - Т. 1: 1821-1864. - С. 336.

²³ (с. 306) *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений. - Т. 5. - Л.: Наука, 1973. - С. 375.

²⁴ (с. 307) Там же. - С. 350.

²⁵ (с. 308) Там же. - Т. 7. - Л.: Наука, 1973. - С. 334.

²⁶ (с. 308) Там же. - С. 364.

²⁷ (с. 309) Там же. - С. 386.

²⁸ (с. 310) Там же. - С. 393.

²⁹ (с. 310) Там же. - Т. 9. - Л.: Наука, 1974. - С. 246.

³⁰ (с. 311) Там же. - С. 365.

³¹ (с. 312) Там же. - С. 241.

³² (с. 313) Там же. - С. 471.

³³ (с. 313) Там же. - С. 472.

³⁴ (с. 314) Там же. - С. 474.

³⁵ (с. 315) Там же. - С. 476.

³⁶ (с. 316) Там же.

³⁷ (с. 316) Там же. - С. 477-478.

³⁸ (с. 318) Там же. - С. 479.

³⁹ (с. 319) Там же. - С. 480-481.

⁴⁰ (с. 321) Там же. - Т. 11. - Л.: Наука, 1974. - С. 20.

- ⁴¹ (с. 321) Там же. - Т. 10. - Л.: Наука, 1974. - С. 296.
⁴² (с. 322) Там же. - С. 296-297.
⁴³ (с. 323) Там же. - С. 435.
⁴⁴ (с. 323) Там же. - С. 440.
⁴⁵ (с. 323) Там же. - С. 453.
⁴⁶ (с. 324) Там же. - Т. 13. - Л.: Наука, 1975. - С. 56.
⁴⁷ (с. 325) Там же. - С. 164.
⁴⁸ (с. 325) Там же. - С. 226.
⁴⁹ (с. 327) Там же. - С. 370-371.
⁵⁰ (с. 328) Там же. - С. 385.
⁵¹ (с. 328) Там же. - Т. 15. - Л.: Наука, 1976. - С. 457. В указатель имён в ПСС (Т. 29. - С. 207) вкралась опечатка: имя М. Д. Достоевской фигурирует не на 451-й, а на 457-й странице 15-го тома. Эта же опечатка воспроизведена на странице 7-й в издании: Кузнецк в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского. Аннотированный указатель литературы. - Новокузнецк: Кузнецкая Крепость, 1996.
⁵² (с. 328) Подробнее: Кулиникова М., Тогулев В. Загадки провинции: "кузнецкая орбита" Федора Достоевского в документах сибирских архивов. - Новокузнецк: Кузнецкая Крепость, 1996. - С. 101-121.
⁵³ (с. 329) Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. - Т. 15. - Л.: Наука, 1976. - С. 541.
⁵⁴ (с. 330) Там же. - Т. 20. - Л.: Наука, 1980. - С. 173.
⁵⁵ (с. 330) Там же. - С. 175.
⁵⁶ (с. 331) Там же. - С. 363.
⁵⁷ (с. 332) Там же. - С. 366.
⁵⁸ (с. 333) Там же. - Т. 27. - Л.: Наука, 1984. - С. 355; Орнатская Т.И. Уточнения и дополнения к Комментарию Полного собрания сочинений Достоевского: "Сибирская тетрадь" // Достоевский: Материалы и исследования. - Л.: Наука, 1983. - Т. 5. - С. 222-225.

Глава вторая ПИСЬМА

- ¹ (с. 335) Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. - Т. 28. - Кн. 1. - Л.: Наука, 1985. - С. 186-189.
² (с. 336) Там же. - С. 190.
³ (с. 337) Там же. - С. 202.

Примечания

- ⁴ (с. 338) Там же. - С. 211.
⁵ (с. 339) Там же. - С. 212.
⁶ (с. 340) Там же.
⁷ (с. 341) Там же.
⁸ (с. 342) Там же. - С. 212-213.
⁹ (с. 342) Там же. - С. 213.
¹⁰ (с. 343) Там же.
¹¹ (с. 344) Там же. - С. 214.
¹² (с. 345) Там же.
¹³ (с. 347) Там же. - С. 215.
¹⁴ (с. 348) Там же. - С. 216.
¹⁵ (с. 349) Там же. - С. 216-217.
¹⁶ (с. 350) Там же. - С. 217.
¹⁷ (с. 351) Там же.
¹⁸ (с. 352) Там же. - С. 218.
¹⁹ (с. 353) Там же.
²⁰ (с. 355) Там же. - С. 218-219.
²¹ (с. 356) Там же. - С. 219.
²² (с. 357) Там же. - С. 220.
²³ (с. 357) Там же. - С. 220-221.
²⁴ (с. 359) Там же. - С. 221.
²⁵ (с. 360) Там же. - С. 221-222.
²⁶ (с. 361) Там же. - С. 222-223.
²⁷ (с. 362) Там же. - С. 225-226.
²⁸ (с. 363) Там же. - Т. 2. - Л.: Наука, 1972. - С. 409.
²⁹ (с. 364) Там же. - Т. 28. - Кн. 1. - Л.: Наука, 1985. - С. 228-230.
³⁰ (с. 365) Там же. - С. 230.
³¹ (с. 365) Там же. - С. 230-231.
³² (с. 366) Там же. - С. 231.
³³ (с. 367) Там же.
³⁴ (с. 368) Там же. - С. 231-232.
³⁵ (с. 370) Там же. - С. 232-233.
³⁶ (с. 371) Там же. - С. 233.
³⁷ (с. 372) Там же. - С. 233-234.
³⁸ (с. 372) Там же. - С. 234-235.
³⁹ (с. 373) Там же. - С. 235.
⁴⁰ (с. 374) Там же.

Примечания

- ⁴¹ (с. 375) Там же.
⁴² (с. 376) Там же. - С. 236.
⁴³ (с. 377) Там же.
⁴⁴ (с. 378) Там же. - С. 237.
⁴⁵ (с. 379) Там же. - С. 237-238.
⁴⁶ (с. 380) Там же. - С. 238-239.
⁴⁷ (с. 381) Там же. - С. 239-240.
⁴⁸ (с. 382) Там же. - С. 242.
⁴⁹ (с. 383) Там же. - С. 242-243.
⁵⁰ (с. 383) Там же. - С. 243.
⁵¹ (с. 384) Там же. - С. 243-244.
⁵² (с. 385) Там же. - С. 245.
⁵³ (с. 386) Там же. - С. 248.
⁵⁴ (с. 386) Там же. - С. 252.
⁵⁵ (с. 387) Там же. - С. 252-253.
⁵⁶ (с. 388) Там же. - С. 254.
⁵⁷ (с. 390) Там же. - С. 256.
⁵⁸ (с. 391) Там же. - С. 256-257.
⁵⁹ (с. 391) Там же. - С. 257.
⁶⁰ (с. 392) Там же. - С. 257-258.
⁶¹ (с. 393) Там же. - С. 258-259.
⁶² (с. 394) Там же. - С. 259-260.
⁶³ (с. 395) Там же. - С. 260-261.
⁶⁴ (с. 396) Там же. - С. 261.
⁶⁵ (с. 396) Там же.
⁶⁶ (с. 397) Там же.
⁶⁷ (с. 398) Там же. - С. 262-263.
⁶⁸ (с. 399) Там же. - С. 266.
⁶⁹ (с. 400) Там же. - С. 266-268.

- ⁷⁰ (с. 401) Там же. - С. 268.
⁷¹ (с. 402) Там же. - С. 269.
⁷² (с. 402) Там же. - С. 269-270.
⁷³ (с. 403) Там же. - С. 270-273.
⁷⁴ (с. 404) Там же. - С. 274.
⁷⁵ (с. 405) Там же. - С. 274-275.
⁷⁶ (с. 406) Там же. - С. 275.
⁷⁷ (с. 407) Там же. - С. 275-276.
⁷⁸ (с. 408) Там же. - С. 277-278.
⁷⁹ (с. 409) Там же. - С. 279.
⁸⁰ (с. 410) Там же.
⁸¹ (с. 411) Там же. - С. 484.
⁸² (с. 412) Там же. - С. 282.
⁸³ (с. 413) Там же. - С. 284.
⁸⁴ (с. 413) Там же. - С. 285.
⁸⁵ (с. 414) Там же. - С. 310.
⁸⁶ (с. 415) Там же. - С. 332.
⁸⁷ (с. 415) Там же. - С. 332-333.
⁸⁸ (с. 417) Там же. - С. 333.
⁸⁹ (с. 417) Там же. - С. 335.
⁹⁰ (с. 418) Там же. - С. 338.
⁹¹ (с. 419) Там же. - С. 367.
⁹² (с. 420) Там же. - С. 373-374.
⁹³ (с. 420) Там же. - Т. 28. - Кн. 2.- Л.: Наука, 1985.- С. 25.
⁹⁴ (с. 421) Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского: В 3 т.: 1821-1881 / Сост. И.Д. Якубович и Т.И. Орнатская; Под ред. Н.Ф. Будановой, Г.М. Фридлендера. - Спб.: Гуманитарное агентство «Академпроект», 1993. - Т. 1: 1821-1864. - С. 363-364.
⁹⁵ (с. 421) Там же. - С. 383.
⁹⁶ (с. 422) *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений. - Т. 28. - Кн. 2.- Л.: Наука, 1985. - С. 33.
⁹⁷ (с. 423) Там же. - С. 39.
⁹⁸ (с. 424) Там же. - С. 39-43.
⁹⁹ (с. 425) Там же. - С. 46.
¹⁰⁰ (с. 425) Там же. - С. 46-47.
¹⁰¹ (с. 426) Там же. - С. 47.

- ¹⁰² (с. 427) Там же. - С. 48-49.
¹⁰³ (с. 428) Там же. - С. 54-55.
¹⁰⁴ (с. 429) Там же. - С. 62.
¹⁰⁵ (с. 431) Там же. - С. 63.
¹⁰⁶ (с. 431) Там же. - С. 67.
¹⁰⁷ (с. 432) Там же. - С. 70.
¹⁰⁸ (с. 433) Там же. - С. 73-74.
¹⁰⁹ (с. 434) Там же. - С. 75.
¹¹⁰ (с. 434) Там же. - С. 77.
¹¹¹ (с. 435) Там же. - С. 82.
¹¹² (с. 436) Там же. - С. 84.
¹¹³ (с. 437) Там же. - С. 88.
¹¹⁴ (с. 437) Там же. - С. 90-91.
¹¹⁵ (с. 438) Там же. - С. 92.
¹¹⁶ (с. 439) Там же. - С. 96.
¹¹⁷ (с. 440) Там же. - С. 116.
¹¹⁸ (с. 441) Там же.
¹¹⁹ (с. 442) Там же. - С. 230.
¹²⁰ (с. 443) Там же. - С. 367.

Юлия Зародова
ПЕРВЫЙ В СИБИРИ, ЕДИНСТВЕННЫЙ
В МИРЕ
Омский государственный литературный
музей имени Ф.М. Достоевского.
История создания

- ¹ (с. 446) ГАОО, ф.1405, оп. 1, д. 92, л.1.
² (с. 446) Фонд А.С. Сорокина хранится в ГАОО.
³ (с. 446) Фонды ОГИКМ, ОМК 994.
⁴ (с. 447) *Коровкин И.* Собрание автографов // Омская правда, 1961, 27 мая.
⁵ (с. 447) *Буранов М.* «Мне сейчас не до музеев!» // Омская правда, 1946, 10 июля.
⁶ (с. 447) ГАОО, ф. 235, оп. 2, д.259, л. 230 или фонды ОГИКМ, ОМК 9940/5, л.8.

- ⁷ (с. 447) Фонды ОГИКМ, ОМК 9940/5, л. 8.
⁸ (с. 448) Фонды ОГЛМД, ОЛМ 56/268.
⁹ (с. 449) Фонды ОГЛМД, ОЛМ 56/264.
¹⁰ (с. 449) ГАОО, ф. 437, оп. 14, д. 1230, л. 88-89.
¹¹ (с. 450) ГАОО, ф. 1405.
¹² (с. 451) ГАОО, ф. 1405.
¹³ (с. 451) Фонды ОГЛМД, ОЛМ 42/52.
¹⁴ (с. 453) Архив ОГЛМД, «История музея», л. 12.
¹⁵ (с. 453) ГАОО, ф. 2111, оп. 1, д. 145, лл. 142, 144.
¹⁶ (с. 453) Архив ОГЛМД, «История музея», л. 34.
¹⁷ (с. 455) Фонды ОГЛМД, ОЛМ 17/193.
¹⁸ (с. 455) Архив ОГЛМД, «История музея», л. 21.
¹⁹ (с. 455) ГАОО, ф. 1076, оп. 1, д. 318, л. 5.
²⁰ (с. 456) ГАОО, ф. 437, оп. 14, д. 1458, л. 52.
²¹ (с. 457) Фонды ОГЛМД, ОЛМ 56/153.
²² (с. 459) *Лейфер А.* Фонд Палашенкова. В книге: Судьбы, связанные с Омском. Кн. 3. – Омск, 1983, с. 240.
²³ (с. 460) Там же, с. 241.
²⁴ (с. 461) Из писем А.Ф. Палашенкова З.Г. Фурцевой. Копии писем хранятся в ОГЛМД.
²⁵ (с. 462) *Зубарева К.* Биографии, письма, заметки... В книге: Складчина -2. – Омск, 1996, с. 513.
²⁶ (с. 462) Копия письма хранится в архиве ОГЛМД.
²⁷ (с. 463) Фонды ОГИКМ, ВОМК 1647/237.
²⁸ (с. 463) Фонды ОГИКМ, ВОМК 1647/244.
²⁹ (с. 463) Фонды ОГИКМ, ВОМК 1647/243.
³⁰ (с. 464) Фонды ОГИКМ, ВОМК 1647/237.
³¹ (с. 465) ГАОО, ф. 2200, оп. 1, д. 2, л. 59.
³² (с. 465) К юбилею великого писателя // Омская правда, 1971, 20 июня.
³³ (с. 466) ГАОО, ф. 235, оп. 2, д. 2006, л. 43.
³⁴ (с. 466) *Бревнова Н.* «К юбилею великого писателя» // Омская правда, 1971, 9 ноября.
³⁵ (с. 468) *Зубарева К.* Нас было много, любивших Достоевского // Вечерний Омск, 1992, 23 июня.
³⁶ (с. 468) Там же.



- ³⁷ (с. 468) ГАОО, ф. 235, оп. 1, д. 2029, л. 218.
³⁸ (с. 468) ГАОО, ф. 235, оп. 1, д. 3091, л. 359.
³⁹ (с. 469) Архив ОГЛМД, «История музея», л. 40.
⁴⁰ (с. 470) Там же, л. 45.
⁴¹ (с. 471) Архив ОГЛМД, «История музея», л. 38.
⁴² (с. 472) Там же, л. 36.
⁴³ (с. 472) Там же л. 39.
⁴⁴ (с. 473) ГАОО, ф. 1076, оп. 1, д. 540 а, л. 1.
⁴⁵ (с. 474) *Колина О.* На каком языке говорит история? / Вечерний Омск, 1982, 11 марта.
⁴⁶ (с. 475) Фонды ОГЛМД, ВОЛМ 36/6
⁴⁷ (с. 476) Архив ОГЛМД, «История музея», л. 56.
⁴⁸ (с. 476) Архив ОГЛМД, «История музея», л. 64.
⁴⁹ (с. 478) Архив ОГЛМД, «История музея», л. 74.
⁵⁰ (с. 478) Архив ОГМД, «История музея», л. 71.

От редакции

Редакционная коллегия выносит благодарность лицам и организациям, оказавшим помощь в подготовке номера: московскому поэту **Лияну Яновичу Контеру**, кемеровскому веб-дизайнеру **Алексее Викторовичу Брагину**, новокузнецкому достоевсковеду **Елене Викторовне Констанц**, главному редактору "Нашей газеты" **Дмитрию Маратовичу Шагнахметову**, заведующей сектором краеведческой библиографии кемеровской областной научной библиотеки **Ольге Дмитриевне Крылевой**, заведующей новокузнецким музеем народного образования **Тамаре Васильевне Семеновой**, а также коллективу издательства «Кузбассвуиздат».

Примечания

Содержание

Слово к читателю	3
<i>Изящная словесность</i>	
<i>Александр Лейфер. Личный фонд, или отпуск на Канарских островах.</i>	7
<i>Мэри Кушникова Карточный расклад. Повесть.</i>	61
<i>Виктор Вайнерман. Портрет Неизвестного, или очерк о Николае Васильевиче Феокистове.</i>	91
<i>Виктория Кинг. Обитатели Олимпа. (Из новой книги «Отшельница»)</i>	106
<i>Виктор Вайнерман. Двое из шеренги бессмертных.</i> ...	143
<i>Алиса Поникаровская. Рассказы.</i>	168
<i>Владимир Каганов. Великие философы. Цикл сонетов</i>	178
<i>О малых сих</i>	
<i>Александр Дегтярев. Миниатюры.</i>	190
<i>Татьяна Багрова. Не стесняйтесь быть добрыми.</i> ...	194
<i>Сергей Дрыгин. Миниатюры.</i>	204
<i>Рецензии</i>	
<i>Ксения Тилло. О «свинцовых» временах и «человеке среди людей» (Александр Лейфер. Мой Вильям. Омск, 2003).</i>	207
<i>Марианна Фаликова. О «маленьком принце» и кодексе порядочного человека (Виктор Вайнерман. Зеркала. Омск, 2004. Виктор Вайнерман. Азбучные истины. Омск, 2004).</i>	217
<i>Переводы</i>	
<i>Шимон Токаржевский. Семь лет каторги.</i>	223
<i>Бернард Маламуд. Еврейская птица. Рассказ.</i>	264

К 185-летию Ф.М. Достоевского

Мэри Кушникова, Ксения Тилло, Вячеслав Тогулев.
«Кузнецкий венец» Фёдора Достоевского в его романах, письмах и библиографических источниках минувшего века 275

Юлия Зародова. **Первый в Сибири, единственный в мире.** Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского. История создания **444**

Екатерина Алешина. **Там, где рождаются образы.** (Некоторые особенности художественной реальности Ф.М. Достоевского и создание Новокузнецкого Литературно- мемориального музея Ф.М. Достоевского) . . . **479**

Архив

Сергей Папков, Владимир Сергиенко, Анастасия Темникова, Марианна Фаликова. **Древо с могучими корнями.** (Памяти Дмитрия Орестовича Тизенгаузена) **487**

Лавиния Мятлева. **Запоздалое путешествие княгини Волконской в Сибирь 506**

Борис Гросбейн. **Последователи Льва Толстого в Сибири 609**

Примечания 627

ГОЛОСА СИБИРИ

Выпуск первый

Подписано к печати Формат
Бумага офсетная № Печать офсетная. Усл. печ. л.
Тираж экз. Заказ №

Издательство «Кузбассвуиздат».
650043, г. Кемерово, ул. Ермака, 7. Тел. (384-2)-58-29-34, 58-34-48

internet: www.kvi.bip.ru e-mail: 233448@kemtcl.ru